ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 2 | 2012

Священный Грааль | 100 × 140 | холст, масло

Ковчег | 90 × 90 | холст, масло

Красноярский художник *Алексей Беда* — участник российских и международных художественных проектов, многочисленных выставок в России и за рубежом. Его картины находятся в государственных художественных галереях и в частных коллекциях Японии, Германии и Китая. Образы, созданные живописцем, вызывают у зрителя многоплановые реакции, подталкивают к размышлениям. Здесь Запад и Восток, Египет и Вавилон, мотивы Библии и фольклора. И всё это — в лучах вечных истин, прошедших через призму собственных философских и жанровых поисков автора.

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№ 2 | 2012*

В номере

ДиН юбилей

Ольга Карлова
3 Миф о «челе» и «вечности»

ДиН диалог

Юрий Беликов, Станислав Куняев
11 Орден изгоняющего бесов

ДиН мемуары

Юрий Дыхно, Эрнест Дыхно, Евгения Крылова
17 «Светя другим — сгораю»

ДиН память

Сергей Черняев
35 Внутренний храм

Анатолий Старухин
37 Тени Байкала

ДиН ревю

Сергей Есин
36 Валентина

Евгений Степанов
182 Профетические функции поэзии, или поэты-пророки

ДиН антология

Николай Гумилёв
46 Читатель книг

Иван Суриков
123 Честь ли вам, поэты-братья?..

ДиН стихи

Валерий Скобло
47 Я не смотрю назад…

Борис Косенков
49 Пришла пора

Сергей Шабалин
51 Антисюжет

Елена Фельдман
53 Корень жизни

Григорий Горнов
170 На острове цикад

Сергей Сутулов-Катеринич
237 Бриг «Star's & Poetry», или Поэллада из трёх заплывов

Борис Панкин
239 Город-ковчег

Варвара Юшманова
241 Старые секреты

ДиН роман

Анастасия Астафьева
55 То, чего не было

Страницы Международного сообщества писательских союзов

Юрий Хабибулин
112 Демаскирующий признак

ДиН поэма

Мариян Шейхова
124 Пиросмани

ДиН проза

Нина Шалыгина
132 Саров

Марина Переяслова
143 Во сне я писала роман

клуб читателей

Владимир Замышляев
149 Колокол исторической памяти

ДиН цитата

Илья Малинин
156 Ходорковский как декабрист. Реплика

Владимир Коркунов
194 Кровь и грехи съеденного яблока

библиотека современного рассказа

Алексей Тийду
157 Проверка на вшивость

Игорь Герман
171 Урок гражданского права

Евгений Степанов
177 Три значка

Лана Райберг
183 Тени на асфальте

Ольга Черенцова
195 Царевна-лягушка

письмо из лейпцига

Сергей Бирюков
200 Лейпцигская нота

Елена Иноземцева
201 Весна на изломе

Анатолий Гринвальд
202 Солнце до востребования

Сергей Тенятников
204 Презумпция невиновности

ДиН перевод

Флориан Лафани
206 Увертюра

208 Дубовая роща

Гильермо Кальдерон
212 Нева

ДиН полемика

Дмитрий Косяков
226 Почему я «за»

Наталья Тригалева
228 Музей? Современного? Искусства?

Игорь Панин
235 Сумерки степных божков

ДиН дети

243 Синяя тетрадь

246 ДиН авторы

Ольга Карлова

Миф о «челе» и «вечности»

Литературно-философский поиск смысла жизни

Редакция журнала «День и ночь» от души поздравляет с юбилеем члена нашего издательского совета, заместителя председателя правительства Красноярского края, философа, литературоведа, журналиста, педагога и блестящего организатора Ольгу Анатольевну Карлову. Желаем Ольге Анатольевне никогда не иссякающего вдохновения и воплощения самых смелых творческих замыслов!

XXI век многие философские вопросы вывел в игровое поле. Современный человек, как бы устав быть взрослым под спудом вечных вопросов, с удовольствием строит новые фантазии в «песочнице» расчленённых смыслов, знаков, символов. Быть может, в надежде на то, что детская непосредственность даст ответы на вопросы, которые не осилил разум и опыт предшествующих тысячелетий? Или с тайной мыслью, что возвращение «мифологического детства» человечества будет более плодотворным, чем достижения науки? Сегодня эта тенденция очевидна и почти банальна, но её истоки в XX веке стали искрами прозрения, в каждой из которых—целый мифомир оправдания жизни. Булгаковские и сартровские литературно-философские искания—два разных ответа на вечный вопрос человечества, характеризующих российскую и западноевропейскую философские традиции.

Жанровая уникальность романа «Мастер и Маргарита» не позволяет как-то однозначно определить это произведение Михаила Булгакова. В американском литературоведении, в частности в работах М. Крепса, этот роман назван новаторским для русской литературы, нелегко дающимся в руки критика, который приближается к нему со старой стандартной системой мер. Фантастика в романе наталкивается на реальные судьбы, миф—на историческую достоверность, теософия—на демонизм, романтика—на клоунаду. Видимо, в силу этого «Мастера и Маргариту» определяют и как роман символистский, и как постсимволистский, и как неоромантический. Ещё чаще его называют философско-мифологическим, а автора на основании глубины и самобытности выраженной в романе философской позиции причисляют к течению «интеллектуального романа XX века».

Содержание произведения насыщено аллюзиями и реминисценциями, отсылающими нас к Библии, к иным разнообразным литературным источникам—от фольклорных сказок и итальянской комедии масок до «Фауста» В. Гёте и «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского. Роман впитал в себя также личный социально-философский опыт художника, жившего в сложную эпоху революций и коренных преобразований социальной жизни.

Но даже на первый взгляд очевидно, что символический язык романа коррелируется прежде всего с художественным творчеством. Творческий подход Булгакова активно включает в себя рефлексию тем, идей, образов, даже целых литературных, музыкальных и живописных традиций, их переосмысление и пародию. Это придаёт «ткани» романа Булгакова не только сложность и изощрённость, но и своего рода вневременность, «вечность» творческого мифомира.

Этот мифомир осознанно создаётся писателем и воспринимается читателем, несмотря на художественную целостность текста, прежде всего как поликонструкт. Каждая из трёх его макросоставляющих строится с помощью особых стилистических и лексических средств и потому отчётливо выделяется на фоне других даже тогда, когда происходит «встраивание» одного из конструктов в другой. Тремя конструктами булгаковского романа являются три пласта повествования: литературно-библейский, инфернальный и «нравописательский», представляющий Москву 30-х годов.

Этот последний, современный автору, мир большинство исследователей трактуют в духе реалистической сатиры на московскую действительность советского времени. Он и вправду выглядит «по-зощенковски» прямолинейно—но только на искушающем тайной фоне «романа в романе» и уж тем более инфернальной фантастики. Вместе с тем «нравописательский» пласт романа не так прост.

Во-первых, пространство представленного в нём мира советской действительности жёстко

определено: действие происходит главным образом на довольно ограниченной территории старой Москвы: Патриаршие пруды, Большая Садовая, Арбат, Кропоткинская, Остоженка, Тверской бульвар—место, где расположен знаменитый Дом Грибоедова,—и прилегающие к ним переулки.

Во-вторых, сатирическое начало, отличающее современную линию романа от двух других, проявляется прежде всего в изображении литературно-театральной среды. У руля «литературного дела» страны стоят такие люди, как Берлиоз, грех которых по отношению к творчеству тяжелее, чем просто невежественная трактовка литературы в духе «оружия в борьбе за промфинплан». Этот грех преступления против творчества осмысливается Булгаковым в соответствии с дантовской традицией: чем больше в нём духовности и человечности, тем он страшнее и опаснее. Социологическое отношение к искусству, определение идейного содержания произведения классовым происхождением автора и формально-бюрократическими показателями ярко демонстрирует сцена похождений Коровьева и Бегемота в Грибоедове. Зарисовка московского писательского быта пронизана булгаковской мыслью о противоестественности идентификации творческого космоса писателя с неким документом, свидетельствующим о его принадлежности к массовой профессиональной организации.

«Московский» мир в романе рисуется Булгаковым с высоким мастерством бытописательства и «нравописательства», дающим моментальный срез привычной обыденной жизни столицы 30-х годов. Важнейшей для Булгакова антитезой является антитеза «материальное—духовное», связанная с проблемой творчества. Воссоздаваемый мир столь вещественен и материален, что его можно ощутить на страницах романа разными органами чувств—потрогать, услышать, обонять—в прямом соответствии с утверждением Воланда о лёгкой ощутимости материальных ценностей в противовес духовным. Этими «благами» можно насытить свою плоть, усладить взор, но они «не вечны» в пространстве человеческого мира, устремлённого к абсолюту. Отсюда—их быстротечность и фантомность.

Всеми цветами сатирической палитры представлены в романе члены МАССОЛИТа и администрация Варьете. В этих образах-конструктах, как и в клинике для сумасшедших, символически отражена формально-бюрократическая мифология «советского творчества» и советской идеологии в целом. Не без ассоциации со знаменитым блоковским образом «музыки революции» возникает в «Мастере и Маргарите» «музыкально-вождистская» тема, связанная с фигурами могущественного редактора и председателя МАССОЛИТа Михаила Берлиоза и профессора медицины Стравинского. Политические аллюзии не меньше, чем литературно-художественные, пронизывают текст романа. Характерен Берлиоз с его лысиной, отсутствием детей, боязнью «удара» и колоссальной эрудицией. В одной из ранних редакций романа он назван столь могущественным, что приказывать ему уже никто не мог. Связанный с ним «композиторской» фамилией профессор Стравинский со своей мягкой и вкрадчивой манерой говорить также соотносится рядом исследователей с центральной политической фигурой России того времени. На это указывает и пародирование известного телефонного разговора Булгакова со Сталиным в беседе Ивана Бездомного с профессором Стравинским.

И всё-таки принципиально важно то, что политические и социальные аллюзии представлены в романе опосредованно, через пласт художественного творчества как среду и как феномен. Перед нами, в сущности, новый смысловой феномен—советской миф о творчестве, «новотворческий миф». Этот миф, бесспорно, чужероден писателю. Он—«иной» по отношению к его субъективному инварианту его «прирождённых» мифосмыслов.

Взгляд Булгакова из собственного смысложизненного мифа, в «знаменателе» которого—философско-художественный идеал автора, порождает хирургически точный результат рационально-критической мысли. Наблюдение за жизнью «советского мифа» извне формирует в читателе устойчивое ощущение абсурда происходящего. Так, в высшей степени характерен в своей абсурдности директор Варьете Лиходеев, в котором слиты—и одновременно конструктивно «смонтированы»—демагогия нового мифа, вечное стяжательство и национальное российское пьянство.

«Новотворческий миф», с другой стороны, конструируется из многочисленных рассуждений о творчестве и любви, которыми увлечено большинство философско-сатирических персонажей Москвы 30-х годов. Более того, именно мотив любви и мотив творчества являются центральными в романе, сущностно связанными с главными героями—мастером и Маргаритой. Эти герои «московского нравописательского мира» практически в одиночку противостоят организованным «массам» своих оппонентов и их вождям. Им чаще всего определяет писатель роль своего авторского рупора, их умами и душами «проживая» философию бытия. Оба мотива в романе явлены в их неделимости и единстве, что является выражением авторской концепции, в нашем случае—стержнем булгаковского «мифа о творчестве». Мастер и Маргарита связаны не только названием и сюжетом, они живут в мире как единое духовное образование, что даже более ощущается в сценах их отдельного явления читателю. Маргарита как необходимое условие жизни мастера виртуально присутствует в его исповеди Ивану Бездомному.

Что касается самой героини, оторванной от возлюбленного, то все её чувства и действия диктуются мыслями о мастере, заботой о нём.

Мастер—литературно-мифологический двойник Булгакова, творец и созерцатель. Он—избранник, наделённый не только художественным видением мира, но и свойством постижения его смысловых «откровений». Но «чистая» созерцательность чревата трагедией прежде всего для самого творца: отказавшись от борьбы за своё произведение, он не смог больше творить. Он одинок, несмотря на присутствие в его жизни Маргариты, и, может быть, именно этим её присутствием оно и «высвечено» более рельефно и очевидно.

Маргарита—не только возлюбленная мастера, её образ обладает глубокой символикой. Это женская ипостась «творческого» мифомира Булгакова, связанная с национальной российской ментальностью в духе соловьёвского учения и лучшими традициями женских образов русской литературы. В отличие от созерцательной позиции мастера, героиня берёт на себя активную роль, пытаясь вести ту борьбу с жизненными обстоятельствами, от которой отказался мастер. Страстная «жизнестроительная» активность героини, так же как и созерцательная позиция мастера, имеет оборотную сторону: ожесточившись в столкновении с силами «иного» мифа, она использует оказавшиеся в её руках средства для мести. Таков погром в Доме Драмлита, при котором пострадали не только гонители мастера, но и люди вполне случайные и невинные, и лишь угроза гибели ребёнка останавливает Маргариту, тоже, впрочем, не случайно.

«Новотворческий» мифомир, которому противостоят Маргарита и мастер, оказывается уязвимым только для «сил тьмы». Они наделяют Маргариту сверхъестественным свойствами летать и быть невидимой, они сами творят свой суд, восстанавливая только им ведомую справедливость, наказывая людей за неспособность познать истинные ценности. Природа этой справедливости—«чело-вечность». Её главным измерением является вечность; не случайно восклицание Воланда: «О люди, вы не изменились»,—адресованное неискоренимым на протяжении веков порокам людей. Её главное действующее лицо—холодная рассудочность «чела», вместилища и тайны беспощадного разума.

Второй мифомир—демонологический, инфернальный—также связан с проблемой творчества. С одной стороны, практически все его представители имеют «литературных предшественников». Воланд—персонаж с одним из «тотемных» имён гётевского Мефистофеля и характерным портретом: «Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нёс трость с чёрным набалдашником в виде головы пуделя. По виду—лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз чёрный, левый почему-то зелёный. Брови чёрные, но одна выше другой. Словом—иностранец»[1].

Коровьев—«гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок... ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая»[1],—словом, именно такой, каким явился чёрт Ивану Карамазову в последнем романе Ф. Достоевского.

Имя Азазелло пришло в роман из Ветхого Завета, оно—производное от Азазел. Этот демон безводной пустыни, демон-убийца порой выглядит у Булгакова пародийно со свой куриной косточкой в кармане: «маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом ещё огненно-рыжий»[1]. Что касается кота Бегемота, весёлого воландовского шута, то он, громадный, чёрный, с «отчаянными кавалерийскими усами»,—выходец из волшебной стихии «страха» русского и европейского фольклора. Вампир Гелла тоже имеет свои литературные параллели—в частности, в английском готическом романе.

С другой стороны, потусторонние силы в романе играют роль своеобразного связующего звена между древним миром на заре христианства (прототипом литературно-библейского мира) и современной Булгакову эпохой. Это связь посредством вечности—символ вечности и взаимосвязи добра и зла в мире. Две этих стороны космоса булгаковского мифомира явлены в романе в ипостасях любви и возмездия. Князь тьмы Воланд в самом начале вводит в повествование древнехристианскую тему, рассказывая о допросе Иешуа Пилатом, и именно Воланд определяет весь ход «московского» действия, на «подмостки» которого он добровольно выходит со своей свитой.

Нечистая сила в «Мастере и Маргарите»—«кривое» зеркало, в котором, однако, «нормальные» и обыденные действия и нравы «московских» персонажей предстают в истинном свете своей порочности. И сами персонажи инфернального мира, скажем так, нашли в кого «вочеловечиться»: Коровьев—спившийся регент-забулдыга, Азазелло—хулиган с безобразным клыком, «оборотень» Бегемот—с чертами кота, чрезвычайно похожего на человека, или, напротив, с обликом человека, чрезвычайно похожего на кота.

Пожалуй, только Воланда авторская ирония практически не касается. Даже в том весьма затрапезном виде, в котором он предстаёт на своём балу, сатана не вызывает улыбки. По мнению

1. *Булгаков М.* Избранное: Роман «Мастер и Маргарита». Рассказы. М., 1980.

исследователей, Воланд прежде всего олицетворяет вечность и её возмездие — в развитие одной из «мефистофелевских» тем, вынесенной в эпиграф «Мастера и Маргариты». Полемика о вечном зле, которое необходимо для существования добра, — один из литературно-философских «нервов» произведения. Булгаковский Воланд так же способен предвидеть будущее, как и помнить события тысячелетнего прошлого. Он спорит со своими оппонентами с позиции вечности, с этих позиций он обнажает абсурд мира, никчёмность устремлений московских «новотворцев» и жизни, и её модели — искусства.

В первой части романа потусторонние силы действуют в современном московском мире, превращая отдельные его локусы в «мнимую» инфернальную «реальность». Такое преобразование происходит с квартирой №50, «нехорошей квартирой» — резиденцией сатаны. Вторая часть романа переносит читателей вместе с Маргаритой и на шабаш, и на великий бал у сатаны, для чего потребовалось «раздвинуть» пространство обыкновенной московской квартиры до сверхъестественных размеров. Обильно украсив бальные залы розами, Булгаков, без сомнения, осознанно дал «пищу» для разнообразных символических параллелей. В западноевропейской традиции древности и средневековья розы выступали, с одной стороны, как символ траура, с другой — как символ любви и чистоты. Здесь прочитываются и знаки розенкрейцеров, и собственно христианские знаки (крест в сочетании с пятью лепестками розы становится символом Воскресения и радости), и интерпретации восточной философии: мудрость, сила космоса, любовь — прежде всего как любовь к Богу.

Важным для Булгакова был мотив любви как прощения, связанный с образом Маргариты. Перед ней на балу проходит целый ряд отравителей, среди которых — Фрида, с её грехом убиенного младенца. Знак невинного младенца-жертвы в «Мастере и Маргарите» выступает последней мерой добра и зла, в чём прочитывается явная параллель с главой «Бунт» романа «Братья Карамазовы» Достоевского. Этот знак — не второстепенная реминисценция, он «работает» и в других пространствах романа — например, в «московской» сцене мести Маргариты.

Как праведникам на Страшном суде, так и грешникам на балу сатаны воздаётся «по их вере». В центре булгаковской философии вечности как творчества не случайно стоят преступники против Слова, которое, по мнению исследователей, трактуется Булгаковым по Евангелию от Иоанна. Это предатели и растлители Майгель и Берлиоз, те из гостей Воланда, кто ещё принадлежит к миру существующих (в действительности, бытовой или инфернальной), но вот-вот перейдёт в небытие. Они наказываются «абсолютным небытием», «беспамятностью», это, по-булгаковски, — высшая мера таинственного «со-творяющего» зло и благо мифа. Рядом с таким возмездием гуманным кажется наказание Фриды и Пилата, в чём тоже содержится элемент и внутренней связи, и полемики с философско-литературными предшественниками писателя. Ю. Лотман в статье «Заметки о художественном пространстве» укажет на круговорот «человеческого — инфернального» в этом мире: «Неправильные поступки причиняют единичное зло, нарушение предустановленных знаковых связей разрывает саму основу человеческого общества и делает Землю царством Сатаны — Адом»[2].

Полёт как феномен мира Булгакова — «ведьминский» полёт Маргариты, как и последний полёт её и мастера вместе с Воландом и его приближёнными, — уравнивает добро и зло перед вечностью, в пространстве истинного «чело-веческого» бытия. Ему соответствует не «солнечный свет» страстной веры, но тихие «лунные» смыслы человеческого бытия.

Мир третий — литературно-библейский, ершалаимский — является собственно романом в романе, воплощённым субъективным «творческим мифом» мастера. Булгаков предвосхищает здесь постмодернистские искания самодостаточности литературного текста по отношению к тексту действительности. Ершалаимские сцены, созданные прежде всего на основе литературных источников, представляют собой наивысшую этическую точку романа. Философскому исследованию и интерпретации нравственного подвига Иешуа, греха и покаяния Пилата, а также их проецированию на современный московский мир служит, в частности, демонологическая, инфернальная линия.

В ершалаимских сценах писатель сконцентрировал действие вокруг Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри — персонажа, восходящего к евангельскому Иисусу Христу. Худой и невзрачный, со следами физического насилия на лице человек, представший перед Понтием Пилатом, «был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта — ссадина с запёкшейся кровью»[1].

Неблагообразная, обыкновенная внешность и неблагозвучное имя как будто бы специально подчёркивают в Иешуа человеческое начало. В изображении этого контраста внешности с красотой его души и утверждением идеи о торжестве правды и добрых людей Булгаков внешне апокрифически полемичен, однако внутренне верен христианскому идеалу.

1. *Булгаков М.* Избранное: Роман «Мастер и Маргарита». Рассказы. М., 1980.
2. Учёные записки Тартуского университета. 1986. №720.

Но, пожалуй, наиболее апокрифичен с точки зрения ортодоксального библейского текста образ Понтия Пилата, который в «чело-веческом» аспекте творческого мифомира мастера (и Булгакова) занимает едва ли не центральное место. Здесь он — опять-таки внешне — предстаёт как человек без биографии, которая на самом деле «разлита» в тексте. Сверхъестественным образом прозревая своё грядущее бессмертие, Пилат уже в момент трагического выбора связывает собственную «вечность» с представшим перед его судом нищим бродягой. Мысль о бессмертии соединяется в нём с чувством нестерпимой тоски. После утверждения приговора «тоска осталась необъяснённой, ибо не могла же её объяснить мелькнувшая как молния и тут же погасшая какая-то короткая другая мысль: «Бессмертие… пришло бессмертие…» Чьё бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепёке»[3].

Тревога, тоска, терзания «смысла», прозрение и муки совести определяют место этого персонажа в сетке ценностной размеренности мифа мастера. И как эхо вечности и её неизменной справедливости Пилату даруется прощение в финале романа. Такая художественно-философская трактовка образов оказалась безусловно новаторской в художественном воплощении евангельской темы. И Пилат (в литературно-библейском мире), и Воланд (в мире исторической «вечности») выступают в одной и той же роли — они сохраняют для человечества истинную историю Иешуа. Иначе говоря — историю истинного Иешуа.

Герои «литературно-библейского» мифомира с мастером и Маргаритой обретают покой в пространстве реки лунного света, в которую окунается и трагический герой Иван Бездомный раз в году, в ночь весеннего полнолуния, приобщаясь, пусть на мгновение, к свету вознесённой над миром истины. Трагедия Ивана, как и всего поколения «москвичей» 30-х годов, — в утрате собственного великого Дома-мифа, национально-исторического и творческого, в замене его клиникой для душевнобольных.

Читатель созерцает все «три мира» романа в их взаимопроникновении и взаимодействии, в их взаимной «подсветке» друг другом и взаимной рефлексии. Так рождается многослойное и многосферное философское пространство загадочного булгаковского романа. Пространства и персонажи этих «миров» как бы зеркально отражают и «утраивают» друг друга. Но в этом своём «радужном свечении», конструкторской сложности роман оказывается удивительно цельным.

Роман «Мастер и Маргарита» сам Булгаков признавал главным делом своей жизни, которому предназначено определить его судьбу как писателя, хотя в перспективе публикации романа писатель был далеко не уверен. И правильно: роман не был издан при его жизни, его напечатают значительно позже, через двадцать пять лет, в «оттепельные» 60-е. Но тем более важна в связи с этим надпись на одной из страниц рукописи «Мастера и Маргариты»: «Дописать, прежде чем умереть!» По свидетельству современников, в 30-е годы Булгаков каким-то образом предчувствовал свою смерть и поэтому вполне осознавал «Мастера и Маргариту» как последний, «закатный» роман, как завещание, как своё главное послание человечеству. Здесь получили своё воплощение, в согласии с булгаковским предощущением собственной смерти, о котором мы узнаём из записок Е. С. Булгаковой, трагическая судьба мастера, обречённого на скорое завершение своей земной жизни, и мучительная смерть на кресте Иешуа Га-Ноцри.

Личная творческая драма Булгакова-писателя разыгрывалась на фоне общественной трагедии: в период революционизма в культуре и становления социалистического реализма было запрещено большинство его произведений. Возникла необходимость говорить на языке, понятном немногим, на библейском языке притчи и иносказания. Все исследователи сходятся во мнении, что в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» чрезвычайно сильны автобиографические мотивы, они проецируются в плоскость созерцательности, постижения писателем себя и своего места в этом мире, смысла своего творчества. Всё это явлено читателю в реализованной художественно субъективной модели мифомира автора, имя которой — «Жизнь как творческая exi(s)tentia».

Центральными персонажами этого мифомира являются мастер и Маргарита, прототипами которых послужили сам автор романа и его последняя любовь, жена писателя Е. С. Шиловская. Даже то, что герой по своей сути не активен, не трибун и не «делатель», а именно созерцатель, сближает его с автором. Сам Булгаков полагал себя человеком такого же типа, неспособным сопротивляться реальному миру. Впрочем, созерцательность мастера (как и созерцательность Булгакова-писателя) в определённом смысле активна — она явлена в результате творчества, в рукописях мастера, которые «не горят», в востребованном много лет спустя романе «Мастер и Маргарита».

Мифомир творчества Булгакова — прежде всего поликонструкт. Авторское противостояние советскому «новотворческому мифу» усиливается темой «чело-вечности». В вечности истории главное действующее лицо — «чело», вместилище и тайна человеческого разума. Его воплощение и утверждение — литературно-библейский роман в романе. Все три конструкта мифомира во взаимном высвечивании образуют органичное художественное целое. Такое единство не может не иметь внутреннего «сверхцентра», которым

является субъективный булгаковский миф о Жизни как Существовании (exi(s)tentia) в Творчестве.

В философской мысли Франции XX века exi(s)tentia, или существование, нашла своё отражение в антропологической проблематике смысла жизни и индивидуальной свободы. В поисках формулы гармонии французский экзистенциалист Жан-Поль Сартр, в частности, различал Бытие и Существование, где первое представлено как природный и социальный мир, а второе — как мир внутреннего индивидуального Я.

Стремление философа к «переоткрытию» истин актуализирует и соответствующий XX веку художественный приём — обращение «к ткани» древнего мифа через материал литературы. Сартр создаёт свою пьесу «Мухи» на тот же сюжет, что и Софокл трагедию «Электра». Этот сюжет — часть мифа об Атридах. Для современного читателя — это по меньшей мере «утроенное» восприятие пратекста мифа. Хотя можно ещё принять во внимание литературные версии Эсхила и Еврипида, отчего древняя мифическая «действительность» (возвращение Ореста в Аргос и во имя мести убийство матери и её мужа Эгисфа) окончательно обретает виртуальные черты.

Хотя оба рассматриваемых произведения — «Электра» Софокла и «Мухи» Сартра — начинаются с прибытия Ореста и его наставника в Аргос, этот город, «желанный и священный» для героя древней трагедии, становится для сартровского Ореста «проклятым городишкой» в изнуряющем пекле солнца, создающем гнетущую атмосферу. Текст пьесы-притчи Сартра — не просто иная интерпретация древнегреческого мифа, он резко полемически направлен по отношению к мифоверсиям Софокла и Эсхила. Если Софокл часто использовал так называемый принцип лексических «скреп»: «…вот увидишь. — Увидела — и что ж?», то у Сартра — масса «скреп» мыслительного философского характера.

Город неприветлив к пришельцам, Орест ощущает здесь себя чужим. Это ощущение — не только дань философии экзистенции, но и «отрицающее удвоение» софокловского текста. Неприветливость города-царства, даже самой природы к возвратившемуся истинному наследнику подчёркивает нежелательность его прихода для всех, его одиночество. Всё в этих картинах противоположно тёплой встрече Ореста с родиной, описанной в «Электре»:

> Ты, родина! Вы, боги здешних мест!
> О, дайте путь мне счастливо окончить.
> Вы, родовые сени, вас очистить
> Пришёл я ныне, по внушенью бога.
> Меня не прогоняйте прочь, дозвольте
> Вступить в права и вновь свой дом воздвигнуть![3]

Но ничто в «Мухах» не стремится «дозволить» Оресту хотя бы почувствовать себя «своим» — напротив, неудачные попытки узнать дорогу в запертом доме и у идиота обретают притчевый смысл.

Высшая точка чуждости мира герою — чужой бог. Место божества в мифе — его сакральный центр. Его замена символически означает «кражу», «подмену» мифа и — как следствие — подмену истинного существования неистинным. И хотя почти все персонажи сартровской притчи взяты из древнегреческого мифа — Орест, Электра, Эгисф, Клитемнестра, наставник, — перед нами уже не мифомир времён Софокла. Эти персонажи составляют как бы иную реальность, иное Бытие. Потому что смыслы этому Бытию придаёт Юпитер, введённое Сартром совершенно новое действующее лицо пьесы-мифа.

Впрочем, и сам Юпитер — фигура достаточно иллюзорная: он называется человеком, но подаёт знаки как бог; о нём догадываются Орест и его наставник, но они ничего не знают наверное. Материальна — навязчиво, до отвращения, — лишь статуя Юпитера на площади в Аргосе, её лицо красно от крови, которой вымазано. Писатель в данном случае прибег к специфической реализации мифометафоры почитания Юпитера в Древнем Риме: как бог войны и победы, Юпитер в этом своём качестве всегда имел выкрашенное в красный цвет изображение.

Статуя — материализованный символ власти божества, она — реализованное воплощение ветхозаветной истины: «Вы мои свидетели — и я Бог». Именно этого «свидетельства людей» добивается Юпитер, страстно желая сохранить существующий порядок вещей. Этот порядок вещей — «бытие в себе» мифомира, потерявшего собственного Бога. Потеря Бога — потеря смысла мифа, следовательно — его полное и окончательное разрушение.

Экзистенция — своего рода «чёрная дыра» утерянного смысла, вопиющая о смысле же. Поэтому в «пустом», «бес-смысленном» сознании возникает тошнотворный страх перед его пронизанностью внешним миром, предметами, материей, абсурдной в своём «не-для-человека» бытии. Мир сартровского Аргоса — предметный мир статуи чужого бога и бесчисленных мух огромных размеров, которые своей «бытийностью» вытесняют «существование».

Мухи, посланные богами, — символ греховности аргосцев, в которой они раскаиваются, беспрестанно, до абсурда, приучая к покаянию невинных младенцев, «послушных как овечки». В ответ на вопрос о воплях во дворце Юпитер поясняет, что праздничная церемония ритуального дня мёртвых началась. Цель этого цикличного в своей бесконечной повторяемости обряда — стимулирование всеобщего чувства вины.

3. Древнегреческая трагедия. Новосибирск, 1993. С. 285.

Версия Юпитера существенно иная, чем представления древних греков о власти рока над человеком. У Сартра повторяется рассказ об истории убийства Агамемнона. Но вина возлагается не столько на собственно убийц, которые благополучно находятся у власти, сколько на бездействующее и молчаливое население города, потворствовавшее преступлению. «Каждый виновен независимо от степени приверженности конкретному преступлению»[4]. Народ исполнен чувства первородного греха, близкого христианской аскезе, и эта исполненность в данных обстоятельствах представляется абсурдной.

Не менее абсурден с точки зрения «иного мифа» ответ Юпитера на вопрос, кается ли Эгисф: «Нет, ведь за него весь город кается». С точки зрения внешнего здравого смысла, «чела», установленный мифопорядок абсурден. Но это не мешает ему быть эффективным по отношению к культу чужого бога, рупором и орудием которого является Эгисф. Правитель постепенно сам становится жертвой своей связи с богом. Связь Эгисфа и Юпитера уже давно воспроизводит мифологическую схему мифа о Телемаке и Менторе, облик которого принимала советчица Одиссея Афина. Именно эти отношения предлагает Юпитер и Оресту, всё ещё скрываясь от него под маской смертного.

Эгисф не только верит в Юпитера, он уверовал в созданный им же самим «миф раскаяния». Царь исполнен усталости, ощущая себя «мертвее Агамемнона», и это доминирующее чувство его субъективного мироощущения символично. Преодолевая апатию Эгисфа в стремлении заставить его действовать и уничтожить, пока не поздно, Ореста, осознавшего свою свободу, Юпитер открывает правителю мучительный секрет богов и царей. И те, и другие знают, что люди свободны. Но людям это неизвестно. Такое неведение — постамент для статуй чужих божеств, а комплекс вины, ритуал рабства, пир смерти в трауре жизни — надёжная замена истинно человеческого существования.

Существование у Сартра предшествует сущности. Человек — проект, ничто, которое затем будет тем, кем себя сделает. Человек сам себя выбирает, и в зависимости от существа этого выбора Сартр делит существование на «подлинное» и «неподлинное». Свобода у него перестала быть абстракцией, она стала фундаментальной характеристикой человеческого существования. «Подлинность» экзистенции открывается человеку в «часы ясности», в пограничной ситуации болезни или страха смерти.

Несмотря на враждебность всего, что окружает его в этом чужом «родном мире», — бога, природы, людей, даже собственной сестры, — у колеблющегося ещё Ореста появляется стремление совершить какой-нибудь поступок, завладеть воспоминаниями людей, их страхами и надеждами. Выбор его труден: уехать — и утвердить своим исчезновением истину этого мифомира — или остаться, убить собственную мать и взять «всеобщий грех» на свою душу, которой он под силу.

Для того чтобы философия экзистенциализма стала самостоятельным действующим лицом, каким она выступает в «Мухах» или в романе Сартра «Тошнота», нужно «освободить» человеческий выбор. В этом смысле Сартр очевидно предпочитает Достоевского Мориаку, считая, что герой Достоевского свободен, поскольку никто не знает, что он будет делать дальше, и сам он этого не знает. Герой же Мориака — раб, придавленный абсолютной истиной, носителем которой считает себя писатель-бог. В противоположность реалистической типизации, Сартр провозглашает принцип «невмешательства» автора в творение.

Итог философско-художественной реализации этого принципа — чужой Аргосу вначале и абсолютно одинокий в финале пьесы герой. Он свободен от социальных черт, абстрактен и почти иллюзорен. Впрочем, одиночество героя — не только его собственный выбор, но и выбор обстоятельств Бытия. Он так же, как герои архаических мифов, проходит обряд инициации — это посвящение Свободой. Только обретя её и с ней — одиночество, он действительно начинает принадлежать этому городу, к которому ранее имел отношение только в силу происхождения. Он как бы рождается заново — как человек экзистенциальный.

Избранность Ореста важна, не случайно так символичен в пьесе вопрос: «Умер ли сын?» — вопрос, как бы и не требующий ответа. Сущность инициации Ореста более всего подчёркнута образом Электры. Характер сестры Ореста противоречив: она ждёт брата-мстителя (и разочарована, узнав его сомнения), она способна на протест, появляясь в белом платье на траурном празднике, но выбор ей не под силу. Она в ужасе от смерти Эгисфа, не может поднять руку на мать. Юпитер справедливо называет её ребёнком, не осознающим свой протест (Электра не упоминает о гибели отца как источнике своей скорби). Женщина, ребёнок, в древности не допускавшиеся к обряду посвящения, неспособны выдержать и сартровский «час ясности», чтобы обрести свободу.

Обретение её непросто даётся самому Оресту — он обращается за помощью к Зевсу, своему богу. Но его бога в этом мифомире нет. Знак ему подаёт чужой бог — Юпитер, ещё раз повелевая уехать. И тогда с героем происходит радикальная перемена: Орест осознаёт, что абсолютно

4. *Пинаев С. М.* Храм ненависти и благословенные острова: художественные параметры мифа об Атридах // Античность и современность сквозь призму об Атридах. М., 1996. С. 30.

свободен, им теперь никто не может повелевать. Это чувство абсолютной свободы сопровождается ощущением беспредельной пустоты и пониманием того, что до́лжно взвалить на себя «ношу» тяжкого преступления. Очищение Аргоса от тлена старого преступления как рокового не только для рода, но и для народа события происходит с помощью нового преступления, разрубающего «узел» рока, останавливающего череду трагедий. Это—преступление-освобождение, без покаяния и угрызений совести.

Выбор героя по эмоциональному накалу сопоставим с выбором Христа. Однако если Иисус средством избавления людей от греха выбрал собственную невинную смерть за них, то Орест, руководствуясь стремлением вобрать в себя покаяние всех, выбирает преступление—убийство царя и царицы. Преступление Ореста, таким образом, становится основой его собственной свободы. Свободный выбор человека для Сартра—важнейшее условие экзистенции, поскольку «ситуация реализуется только посредством человеческого выбора и действия»[5].

Объектом философского рассмотрения в экзистенциализме становится переживание индивидуального человеческого существования. Человекоцентрическая позиция экзистенциалистов в отношении к главной мифологической антитезе «человек—мир» связана с идейно-эмоциональным комплексом одиночества, потерянности, заброшенности человека, абсурдности жизни и утраты её смысла в «постницшеанском» мире без Бога.

Искусство, прежде всего его эмоциональная составляющая, выступает способом преодоления кризисной ситуации, бегства от реальности. Именно поэтому Сартр предметно занимался исследованием специфики художественного сознания и воображения, отводя последнему главную «творческую» роль. Он считал, что именно воображение—в отличие от восприятия—включает объект в содержание сознания.

С другой стороны, искусство само по себе выступает средством придания смысла бытию и способом трансцендирования и выхода в другую реальность. Иначе говоря, само творчество может выступать сутью связи человека и мира, сущностью мифа. Экзистирование и есть осуществление личностью своего «проекта», «со-творения» себя. Для философских взглядов Сартра тенденция идентификации текста наличной действительности—экзистенции—и текста творчества очевидна.

Несомненно и то, что в этот же ряд у Сартра можно поставить и искусство. С художественно-литературной точки зрения, в произведениях Сартра свобода человека становится свободой текста. Так, «Тошнота»—это роман-дневник, никем не обработанный «черновик», повествование, абсолютно аутентичное данному индивидуальному сознанию. Близкие этому роману пласты текста можно найти и в «Мухах».

И хотя XX век традиционно считают веком доминирующей иррациональности, сартровская формула существования вызывает интерес прежде всего своим рациональным началом. Тезис: «Сознание есть всегда сознание чего-то»—выступает гарантом главенствующей роли сознания, декларацией признания самого существования внешнего мира.

Экзистенциальный человек конкретен в единстве своих чувств, желаний, своего «выбора». Это его внутреннее единство, которое само себе довлеет—отчего требование свободы человека становится определяющим условием отношений человека и мира,—порождает феномен экзистенциальной философии. Таким образом, сартровская формула экзистенции есть формула связи человека и мира, иначе говоря—само содержание его субъективного мифа. И как мифу, философско-художественному воплощению экзистенции присущи символизм, опора на традицию, сетка ценностной размеренности с сакральным центром эгоцентрического характера.

Таков был ответ европейской философии XX века на вызовы времени, воплощённый в древних, архетипичных для европейской культуры образах. Этот ответ, воплощённый, так же как мифомир Булгакова, в литературно-художественной форме, тем не менее предлагает общественной мысли более абстрактные рецепты «творчества бытия и существования», замешанные на свободе и одиночестве, ибо душа героя погружается в пустоту первозданного Хаоса и Порядка как божественных атрибутов. В своём выборе, делающем его свободным, западный человек словно бы уравнивается с богом—в этом смысл экзистенциальной «чело-вечности». «Чело-вечность» в российско-библейском мифе Булгакова немыслима без свободного созерцания бытия, творчества и любви, в которых писатель раскрывает разные ипостаси бытия и существования, присущие именно Человеку. Великая тайна человеческого на земле—ключ к новозаветному пониманию Булгаковым драматургии смысла жизни.

5. Современная западная философия. М., 2000. С. 373.

Юрий Беликов, Станислав Куняев

Орден изгоняющего бесов

По его собственному признанию, он создал бы в России тайное общество. Будь бы ему сейчас лет сорок. Но даже в свои семьдесят девять он сам себе Иван Болотников, перед которым меркнет Болотная площадь! Будучи в 2009 году в родной Калуге, заступился за… памятник Пушкину: предложил самому сильному из пивной компании, нарекшему Александра Сергеевича панком и нигером, сразиться на руках, иначе — в армрестлинге. И завалил всех троих, заставив извиниться перед гением русской поэзии. А потом, решив купить пиво в знак утешения проигравшим, вместе с деньгами случайно извлёк паспорт. Сопровождавшие посрамлённую троицу девчонки, глянув в «исходные данные», зааплодировали победителю.

Он — последний из главных редакторов толстых литературных журналов, чья кандидатура утверждалась Кремлём. Однако не президентами и не их тандемом, а ещё Политбюро ЦК КПСС. В этом смысле он — правопреемник советской власти и хранитель принципов народного блага. Недаром в нашем диалоге он употребит несколько раз слово «простонародье». Не только за Пушкина, а и за это множественное сословие, которое всегда составляло основу русского бытия, он готов биться до последнего вздоха. Об этом — каждая из книг его мужественной публицистики: «Поэзия. Судьба. Россия», «Шляхта и мы», «Стас уполномочен заявить…», «Жрецы и жертвы Холокоста».

Одна из его крылатых поэтических формул, вошедших в состав русской речи: «Добро должно быть с кулаками». Близок, чтобы раствориться в родной речи, и другой куняевский афоризм: «Вам есть где жить, а нам — где умирать…» Но пройдёт время, и, быть может, наша речь, рождая триаду, озарится новым, уже озвученным прозрением моего собеседника: «Некуда глаз отвести — всюду свершается чудо…»

Вот уж пятнадцать лет как журнал «Наш современник», точно грозный крейсер мелкие посудины, оставляет далеко позади себя все прочие толстые литературные журналы столицы. Если сложить сегодняшние тиражи «Октября», «Знамени» и «Нового мира», получится тираж «Нашего современника» — 10 тысяч экземпляров. «Выходит, мы, антирыночники, обошли рыночников в их же фарватере!» — гасит усмешку его главный редактор.

В Перми, перед тем как он выступит на «Русских встречах» в здешней библиотеке имени Пушкина, его наградят орденом Фёдора Достоевского первой степени. Я припомню: на излёте восьмидесятых, когда несколько пермских поэтов организовали группу «Политбюро» («Пермское объединение литературных бюрократов»), в духе взаимного чествования, коим славится любая бюрократическая структура, ваш покорный слуга был представлен к ордену… Святого Станислава Куняева. Конечно, шуточному. Сделанному из латунной тарелки, какие во времена моего детства висели на стенах жилищ в качестве украшений. В ту пору, подтрунивая над многим, мы не могли и многого предвидеть. Оказалось, предвидел Станислав. Так что теперь, как кавалер его ордена, свои нешуточные вопросы я буду задавать ему по праву.

— Станислав Юрьевич, в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году в стихотворении «Швеция. Стокгольм. Начало мая» вы написали: «Я один, как призрак коммунизма, по пустынной площади брожу». Некоторые строки, усиленные временем, иногда наполняются поразительным смыслом. В ту пору, когда они были рождены, наверное, вслед за вами их мог бы повторить почти любой из советских читателей, волею нечаемых обстоятельств оказавшихся в том же Стокгольме. А сегодня? Если отвлечься от Швеции и прочитать эти стихи как о России (а она, согласитесь, стала другой), может показаться, что Куняев — чуть ли не единственный призрак этого самого коммунизма. Или я не прав?

— Вы правы. И… не правы. Потому что у меня не хватило тогда таланта или проницательности расширить это понятие — одиночества русского человека в западном мире. И я его свёл к политической формулировке. На самом деле нужно было сказать, что я — как призрак другой жизни, другой цивилизации, совершенно других менталитета и веры, понимания истории и всего мировоззрения — брожу по этому Западу. Я сказал правильно, но упрощённо, в угоду красному словцу. Я понимал, что эта формулировка очень соблазнительна. Понятие «призрак коммунизма» было почти поговоркой. А вообще-то, конечно, если бы я покопался в своей душе поглубже, можно было

дойти и до той формулировки, которую я сейчас в нескольких прозаических фразах попытался изложить. И действительно, каждый из нас, будучи на Западе, до сих пор ощущает себя призраком другой культуры, другой жизни, другого миросозерцания и мировоззрения. Это противостояние неизбежно. Оно будет до конца света.

— Но вопрос-то свой — о «призраке коммунизма» — я задал неслучайно. Прочитав ваш двухтомник «Поэзия. Судьба. Россия», я нашёл там подтверждение своей первоначальной догадки. По сути, вы остались верны тому, чему ещё двадцать пять лет назад верны были многие. Вот ваши слова: «Забыли мы, что Советская власть — это не только геронтологические старцы и не только тринадцать тысяч солдат, погибших в Афганистане… Это ещё и поистине подвижнический труд нескольких поколений, обеспечивших нам к середине 70-х годов пользуемые не элитой, а всем народом простые, но необходимые для него блага, — без которых невозможно скромное и надёжное благополучие народа и его воспроизводство…»

— Да-да-да! «Бесплатная вода, почти бесплатный газ, копеечное электричество, почти ничего не стоившие почта, телеграф, телефон, доступные каждому, самому небогатому человеку поезд и самолёт…»

— Я думаю, под этими словами сегодня подпишутся миллионы граждан нашей страны. Но есть ли в нынешней России предпосылки, чтобы вернуться к тому, что у этих миллионов бесчестно отняли?

— Я не знаю, возможен ли этот возврат. Потому что сатанинские и античеловеческие силы — силы зла, алчности и хищности мира сего — на сегодня набрали такую мощь, что, дабы их опрокинуть, нужны гораздо большие усилия, чем которые употребила Россия в период тысяча девятьсот семнадцатого — тысяча девятьсот двадцать второго годов, когда она провела не только Гражданскую войну, но и отбилась от всех щупалец масонских государств, готовых расчленить Россию уже тогда. Англичане были уже в Архангельске, американцы — на Камчатке, уже трепетал наш Кавказ, уже немцы оккупировали Украину и Прибалтику. И каким чудом эти кровавые большевики сумели вывернуться из международных клещей, которые замкнулись, чтобы растерзать Россию на клочки, разделив между всеми сильными колониальными державами тех времён, одному Богу известно. При помощи чего это чудо произошло?

Да, я знаю: из-за того, что русская монархическая элита отказалась идти на службу большевикам, Ленину пришлось мобилизовать местечковое еврейство. И полтора миллиона евреев поняли, что их судьба зависит от того, устоит ли Россия. И они бросились на защиту советской России с яростью племени, которое получило громадную власть над этим государством. Но революция происходила с двух сторон: не только со стороны заговорщиков-революционеров, но и со стороны народа. Народ хотел перемен в не меньшей степени, чем заговорщическая элита. Народу нужны были земля, воля и свободный труд на свободной земле. И это не демагогия. Действительно, народ поддержал большевиков, и благодаря этой поддержке они выдержали страшную Гражданскую войну, разорвав кольцо Антанты, душившее Россию. Они растерзали Антанту везде: и на Кавказе, и в Прибалтике, и на Украине, и на Дальнем Востоке. Вот такая сложная получилась тогда комбинация. Более того, я же прекрасно помню одно высказывание. О том, что Ленин и большевики собрали империю снова. Это свидетельство представителя царского дома Романовых, прозвучавшее в двадцать третьем или двадцать четвёртом году в Париже.

Что касается социализма и коммунизма, то я скажу так: простонародье борется не за идеи. Простонародье борется за жизнь. И если у народа есть ещё для этого силы, он попытается всё это возвратить. Вне всякой идеологии, а просто для того, чтобы ему выжить дальше. Это ему будет необходимо. Не то что «Родина или смерть!», а «Та жизнь, которую я хочу, или — смерть!» Когда так ставится вопрос, люди выберут жизнь.

— Некоторыми эпизодами вашей биографии ещё лет десять назад можно было бы пугать подрастающее поколение. Ну например: «В августе 1991-го Станислав Юрьевич поддержал ГКЧП, позже, в 1992–1993 годах, вошёл в политсовет Фронта национального спасения…» Но вот опять загадка времени, его поворотная линза: то, что вчера казалось знаком «минус», сегодня воспринимается со знаком «плюс». На ваш взгляд, это действительно смена духовных вех в нашем обществе или возврат народов России к своим исходным рубежам — консервативным ценностям?

— Я хватался за любую силу, которая в то время противодействовала разрушительной воле ельцинской элиты. Она, пользуясь Ельциным как тараном, почти не скрывая своих корыстных целей, шла напролом для того, чтобы «прихватизировать» общенародное достояние. Пусть несовершенное, пусть не совсем эффективное с точки зрения использования собственности. Это были не оффшоры, не Международный валютный фонд, не наши корпоративные долги Западу. Зато это была наша внутренняя жизнь, обеспеченная трудом народа, работавшего на себя. И я думал о тех силах, которые могли бы остановить этот хищнический захват, «хапок», нарастающий на моих глазах. Но я быстро в них разочаровывался, потому что они сгорали как свечки. Демократия всегда гасит все импульсивные, эмоциональные народные порывы. Почему? Потому что она хочет

ввести их в юридические русла. Но когда из-за того, что она вводит их в эти самые русла, всё равно ничего потом не получается и десятки миллионов простонародья, ставшие демократами и опустившие свои бюллетени в урны, видят, что никакого толку в смысле улучшения жизни от этой демократии нет, они рано или поздно, если в них ещё жив инстинкт самосохранения и воля к жизни, сметут её к чёртовой матери!..

— У вас есть стихотворение, которое называется «Очень давнее воспоминание». По-моему, Евгений Евтушенко окрестил его «Кони НКВД» (там действительно — рефрен: «Это кони НКВД», «Мчатся кони НКВД»). Но я сейчас — не об этом. Судя по всему, оно автобиографично? «Мать выходит на белый снег... Мать, возьми меня прокатиться!» А дальше — конкретика: «Рядом — подполковник Шафиров». Чувствуется, что за этим стихотворением — подлинная семейная история?

— Эта история такая. Когда, эвакуированные из Ленинграда, мы приехали в Горький, а из Горького мать отправили заведовать сельской больницей в глубь костромских лесов, через станцию Шарья в село Пыщуг, там начальником НКВД как раз и служил человек с этой фамилией. И конечно, он следил за всеми. А мать моя была остра на язык. В начале сорок второго года до нас дошла весть, что наш отец погиб голодной смертью в Ленинграде (он не был мобилизован в армию, потому что страдал сильной близорукостью, но на тот случай, если немцы ворвутся в Ленинград, готовил военное ополчение). Сразу после этого мама узнала, что погиб и её брат, штурман авиации дальнего действия Сергей Железняков, который бомбил Берлин в октябре сорок первого, и когда Сталин никого не награждал, потому что тогда чуть-чуть не сдали Москву, брат матери получил орден боевого Красного Знамени... И вот — похоронка. Мать пришла в отчаяние. А в это время к ней приехала жена начальника того самого НКВД и потребовала, чтобы моя матушка-хирург сделала ей аборт. Но в сталинское время аборты были уголовно наказуемы. Мать пришла в бешенство: «Когда мои мужчины погибли, вы, энкавэдэшники, жируете здесь в тылу да ещё приказываете сделать аборт?!» И — выгнала её из больницы. А через несколько дней за матушкой приехали на санях, в которые была запряжена тройка хороших жеребцов. Мать посадили в сани, а я, не понимая, что и почему, решил прокатиться. Мне было интересно: вот тройка лошадей. Да и управлявший ею лейтенант был не против. И прокатил меня по дороге, по селу. Потом высадил.

— Сколько лет вам тогда было?

— Девять. Но случилось так, что перед этим в Пыщуге побывал секретарь обкома партии Родионов, известный партийный деятель, который впоследствии был расстрелян Сталиным по делу русских коммунистов-ленинградцев. И когда секретарь райкома Андреев позвонил ему и сказал, что энкавэдэшники увезли единственного толкового врача, благодаря вмешательству Родионова маму через три-четыре дня вернули. То есть — не арестовали...

— Но, если вернуться к образу «Коней НКВД», это сильное, запоминающееся стихотворение. Недаром Евтушенко включил его в составленную им антологию «Строфы века». Только, насколько я помню, предпослал к нему комментарий. Дословно не ручаюсь, но в том смысле, что автор словно любуется этими конями, но кони-то — НКВД! Как у Шукшина: «Но в бричке-то — Чичиков!» А у Куняева — подполковник Шафиров. И в результате Евтушенко едва ли не ставит знак равенства между восхищением мальчика и собственно НКВД. Дескать, вот оно, персонифицированное «добро с кулаками»! Согласны ли вы с таким прочтением?

— Он совершенно прав: я ими любуюсь. Я любуюсь ими точно так же, как в «Медном всаднике» Пушкин любовался «сияньем шапок этих медных, насквозь простреленных в бою». Он восхищался имперской мощью, армейской красою. Однажды Лев Толстой, идучи с кем-то, повстречал двух офицеров. И говорит своему собеседнику: «Ну что это?.. Пушечное мясо!» А потом, когда они прошли мимо, он вдруг оглянулся и воскликнул: «Какие ребята! Какие красавцы! Посмотрите, как на них сидят мундиры. Наглядеться на них нельзя». Есть эстетическое восприятие государственной мощи и красоты. Это всё равно что парад на Красной площади. Ведь парады — тоже дело непростое. Они выражают сущность и величественность не только власти, но и эстетики. Власть без эстетики — не власть! Отсюда вот это: «Мчатся кони НКВД...» Меня даже слово «НКВД» заворожило! Оно красиво звучит: «Эн-Ка-Вэ-Дэ»! Ничего не поделаешь. Конечно, здесь Евтушенко выступает как примитивный моралист. А я — как эстет.

— Кстати, подполковник Шафиров — явно нерусская, скорее, тюркская фамилия. Я вспоминаю ваш недавно изданный отдельной книгой публицистический труд «Жрецы и жертвы Холокоста». Там вы приводите убедительную статистику — сколько евреев служило в НКВД и в системе ГУЛАГа. Так всё-таки кем был Шафиров?

— Кем бы он ни был, но, когда я писал стихи, мне надо было отразить историческую сущность того, что НКВД и вообще органы госбезопасности были оружием российского местечкового еврейства в борьбе со всякого рода русским патриотизмом и русским национализмом, начиная с двадцатых годов прошлого века. Недаром один из первых декретов Ленина, от тридцатого августа тысяча

девятьсот восемнадцатого года, но написанных не им, а Свердловым, именовался «О борьбе с антисемитизмом». И сколько русских людей тех сословий, которые даже если не сопротивлялись впрямую, но не были внутренне согласны с «хапком» новой власти, угодили тогда под стальные колёса этого декрета! Но тут уже ничего не переиначишь. Двадцать лет органами госбезопасности руководили революционеры еврейского происхождения. Вот все кричат: «ГУЛАГ-ГУЛАГ-ГУЛАГ!» А кто стоял во главе ГУЛАГа? В тридцать седьмом году — Ягода, а у него — три заместителя: один по фамилии Берман, другой — Раппопорт, и третий — Плинер. Двадцать седьмого ноября тысяча девятьсот тридцать шестого года в газете «Известия» опубликовали указ о награждении комиссаров госбезопасности первого, второго и третьего рангов орденами боевого Красного Знамени, Ленина и так далее. Их было сорок четыре человека. Из них двадцать один, то есть практически пятьдесят процентов, — люди еврейского происхождения. Это верхушка ГУЛАГа. Это комиссары госбезопасности — высший орган карательной власти. А на всех остальных — русских, азербайджанцев, грузин, латышей, литовцев, украинцев — приходились другие пятьдесят процентов. Такова история русской революции. И поэтому, когда в тысяча девятьсот тридцать седьмом году это неравновесие в ЧК-ОГПУ-НКВД Сталин исправил, для либералов, особенно — еврейской ориентации, тридцать седьмой год стал самым кровавым и трагическим годом в истории России.

— В своей книге вы пишете: «В новейшей истории образовались, грубо говоря, два враждебных друг другу подхода к освещению репрессий 20–30-х годов. Кто — русские или евреи задавали тон в карательных органах?» Хотя на этот вопрос ещё до вас попытались ответить Валентин Катаев в повести «Уже написан Вертер» и Юрий Домбровский в романе «Факультет ненужных вещей». Что для вас значит опыт двух этих известных личностей?

— Он для меня крайне важен. Потому что ни одного, ни другого не упрекнёшь ни в русском шовинизме, ни в русском национализме. И в том, и в другом жила еврейская кровь, но они были достаточно честными писателями для того, чтобы осудить без всяких колебаний чекистские зверства своих соплеменников. И я им за это благодарен. Приведу небольшую цитату из книги «Жрецы и жертвы Холокоста», где я полемизирую с Марком Дейчем: «Так что честь советского еврейства в разборках на тему «Кто виноват» спас из писателей, может быть, единственный праведник Юрий Домбровский. Да ещё в какой-то степени Валентин Катаев, если вспомнить «Уже написан Вертер» (после чего он был объявлен антисемитом). Остальные — Борщаговский, Гроссман, Чуковская, Хенкин, Галич, Разгон (да несть им числа!), ну и, конечно же, Дейч с Резником, — эти десятилетиями надрывались, чтобы всю кровь 1930-х годов взвалить на русского человека, на «вологодский конвой»… Но никто (кроме Разгона) из них не сидел. Сидел, и много — Юрий Домбровский. И его показания никаким ихним гвалтом не заглушить. Он единственный понял, что евреям надо покаяться. Низкий поклон его памяти за мужество».

— В своё время я изнутри мог наблюдать за тем, что называется незримым управлением людьми. В начале девяностых я входил в редколлегию журнала «Юность». Вёл там рубрику «Русская провинция». Когда я только заикнулся о её целесообразности, тогдашний заместитель главного редактора Виктор Липатов пресёк меня на полуслове: «Только пока вслух не говорите!» Спрашивается, почему?! Вот наглядный казус тех дней. В редакцию приезжает из Сибири женщина. Заходит в отдел публицистики (тогда он назывался «20-я комната»). Представляется: «Мария Ивановна…» Но дальше, склонившись: «Но вы не думайте: моё настоящее имя Мариам Хаимовна». Это о чём-то да говорит?!

— О многом…

— В девяносто четвёртом году, когда я провёл в Перми творческий вечер «Журнал «Юность» — пермский десант» и приехал в Москву на очередное заседание редколлегии, Липатов не без смущения меня уведомил: «Вы наводите смуту! Приходится выбирать: или вы — или журнал!» Это тоже о чём-то говорит?! Я даже себя зауважал: каковы чаши весов — «или-или»! Ну а нынешняя картина литературно-журнального фронта? Она всё такая же? Этот фронт по-прежнему остаётся фронтом? Или возможно братание?

— Вы понимаете, бойцы этого фронта существуют сейчас в других руслах и потоках. Я думаю, что, поскольку умная часть современного русофобствующего еврейства поняла, что печатная продукция и толстые литературные журналы нынче не властвуют над умами — сейчас над умами властвует телевидение, все главенствующие позиции были захвачены в «ящике». Возьмите любые программы: там — Якубович, Познер, Прошутинская, Соловьёв… Я говорю только о тех, о ком знаю определённо. Если взять двадцать более или мене популярных телепередач — это даже хуже, чем в тридцатые годы в НКВД. Там было лишь пятьдесят процентов. А тут — все семьдесят-восемьдесят. Поэтому держатели этой процентной ставки плюнули на журнальную власть — она не имеет особенного значения. Главное — это телевидение, «Эхо Москвы»… И на этом фоне такие журналы, как «Наш современник» и «Москва», — быть может, единственные серьёзные органы патриотической

печати. Я не говорю сейчас про массовую прессу, как газеты. Я—о литературной части нашей жизни, а литература в России всегда имела громадное значение. И журнальная политика—тоже. Она была и в некотором роде ещё остаётся последним бастионом русской национальной мысли и русского национального понимания жизни.

— В прошлом году, когда в Перми впервые проходила книжная ярмарка, я спросил главного редактора журнала «Знамя» Сергея Чупринина, выступавшего перед библиотекарями: «Почему в «Журнальном зале» есть всё что угодно, кроме журналов «Наш современник» и «Москва»? Он ответствовал: «Вот когда Станислав Куняев не будет употреблять слово «жид» на страницах «Нашего современника», тогда и…» То есть явно братанием не пахнет. Стало быть, на литературно-журнальном фронте—без перемен?

— Да, пока без перемен, и думаю, что это жестоковыйное племя не готово к переменам. А Чупринину я написал коротенькое письмо на белой страничке титульного листа книги «Жрецы и жертвы Холокоста» о том, что я никогда не употребляю это слово от себя. Если он и возмущается, то только потому, что я иногда привожу цитаты, где это слово употреблено Пушкиным, Блоком, Достоевским, Есениным. А я никогда не осмелюсь встать вровень с этими великими фигурами русской литературы. Так что, наверное, Чупринин погорячился и преувеличил мою дерзость.

— Но ведь и в патриотическом русском лагере идёт междуусобица. Я сейчас не буду брать дачный переделкинско-литфондовский вопрос, который, продолжая Булгакова, всех испортил. Возьмём просто взаимоотношения русских писателей. Говорят, что Владимир Крупин не дружит с Владимиром Личутиным. Астафьев в оное время снял со стены своего рабочего кабинета портреты Владимира Крупина и Валентина Распутина. В свою очередь, у Куняева были непростые отношения с Астафьевым. Знаете, как хочется, чтобы мы, русские писатели, наконец-таки научились у «неразумных хазар» взаимовыручке и единству. Иначе в стыки русского фронта вполне разумно врезается супротивник. Не вами ли написано:

«А что враждовали—так это не в счёт,
об этом забудем навек!
Повинную голову меч не сечёт—
так русский сказал человек»?

— Я понимаю вас. И мне этого хотелось. Но не получается. Потому что мы, русские люди, никогда не подчинены партийной дисциплине. Русскоязычные писатели, если им прикажут их «левиты»,—они, быть может, не любя друг друга, будут одновременно друг дружку поддерживать, несмотря ни на что. Мы же сначала ищем свою правду, и если кто-то этой правде, на наш взгляд, не соответствует, нас поневоле обуревает состояние раздора. Я всегда любил прозу Астафьева и люблю до сих пор. Я считаю его замечательным писателем, бесконечно талантливым и понимающим русского человека как никто. Но… Когда он прогнулся перед ельцинской властью, когда чуть ли не стал употреблять термин «красно-коричневые» по отношению к русским патриотам, когда встретил Ельцина с распростёртыми объятьями в своей Овсянке, когда за это получил деньги на пятнадцатитомное собрание собственных сочинений, куда не включил свою знаменитую переписку с Натаном Эйдельманом,—это было предательством по отношению к русскому движению, которое Виктор Петрович всегда раньше поддерживал. Ну издал он свой пятнадцатитомник. Но издал тогда, когда эти пятнадцать томов никто не прочитает, потому что в советское время ими бы дорожили, за ними бы стояли очереди. А он издал их в ту пору, когда проклял советское время и советскую власть. И что получил в итоге? Вот похоронили его дочку Ирину. Там, на кладбище, была ухоженная могилка с хорошей оградкой, бронзовыми шарами. Но уже в нашу эпоху какие-то пьяницы, охотники за цветным металлом, отвинтили-отломали эти бронзовые шары. Разве можно было такое при советской власти представить?! Вот так судьба отомстила Виктору Петровичу за его вольное или невольное ренегатство. Это нас развело в последние годы его жизни окончательно. Я написал о нём главу, называющуюся «И пропал казак», в книге своих воспоминаний «Поэзия. Судьба. Россия», где и камня не бросил в лучшие произведения Астафьева. А вот его позиция и те лавры, которые он захотел от новой власти обрести, для меня неприемлемы. Я никогда ни за что, ни за какие блага, не продавался, потому что поиск истины и нахождение правды—гражданской, литературной и мировоззренческой—для меня самое по жизни главное.

— Во властных, а особенно в околовластных структурах время от времени пробуждается нечто напоминающее условный рефлекс по физиологу Павлову: едва поднимаются голоса о русском самосознании и русском достоинстве, как их сразу переводят в разряд антисемитизма, а то и русского фашизма. По печальному примеру Алексея Ганина, друга Есенина, вологодского крестьянина и поэта, написавшего манифест «Мир и свободный труд народам». Именно за него он был объявлен главой ордена «Русских фашистов» и вместе с шестью его товарищами расстрелян в 1925 году. Почему русским, если они заявляют о себе как о русских, сразу приписывается антисемитизм?

— К сожалению, это самая простая и проверенная историческая формулировка. Когда я слышу

голоса: «Вы — шовинист, вы — антизападник, вы — антисемит!» — я говорю: «Это всё — пропагандистские штампы. Вы мне скажите: правду я пишу или неправду? Вместо того чтобы кричать, возьмите фразу, абзац из моих произведений — и объясните: это — антисемитское, это — античеловеческое, это — антигуманное? Если вы правы, я посыплю голову пеплом: «Наказывайте меня!» Но мне кажется, что я всегда стараюсь писать правду. Только не пропагандистскую, а реальную. А вы пользуетесь этими терминами как пропагандистскими, чтоб ничего не доказывать. Вам кажется, что эти термины достаточны для осуждения любого человека».

— Хотелось бы привести некоторые выдержки из манифеста Алексея Ганина: «Вместо хозяйственно-культурного строительства — разгром культуры и всей хозяйственной жизни страны. Всюду… разруха, издевательство над жизнью народа, издевательство над его духовно-историческими святынями». И дальше: «Поистине над Россией творится какая-то чёрная месса для идолопоклонников». Впечатление, как будто эти слова написаны сейчас, а не в двадцатых годах прошлого века. Не видится ли вам, что в нынешней России всё громче и громче звучит эта «чёрная месса», и в особенности в Перми, которую вы только что посетили, ставшей широкой стартовой площадкой, где «творится идолопоклонство»?

— Конечно, это так. Но тут хочешь не хочешь, но придётся обратиться к Карлу Марксу, считавшему, что история повторяется в двух вариантах: сначала как трагедия, а потом — как фарс. Во время Ганина это было трагедией, сейчас стало фарсом. Но фарсом отвратительным, мерзким и кощунственным. В частности — применительно к пермской ситуации. Никого не расстреливают и не сажают, но издеваются, благодаря приёмам этого фарса, сразу над всем народом.

— Вчера на мой вопрос о том, что, если бы вы переиздали дополненную книгу «Жрецы и жертвы Холокоста» и там нашлось бы место проделкам Гельмана в Перми, вы ответили, что «Гельман — не жрец, а „шестёрка“». По поводу этого определения я с вами согласен. Но согласитесь и вы: то, что стоит за этим субъектом, — это больше, чем «шестёрочничество»?

— Безусловно. Это процесс, управляемый более серьёзными фигурами. Наверное, я погорячился в своём первоначальном ответе. Можно начать с Гельмана и вскрыть подоплёку подхода к его владыкам — тем, кому он подчиняется. Если я займусь этим, то, разумеется, не ограничусь марионеточным галеристом-политтехнологом.

— И действительно, свет клином на нём не сошёлся. Мы сегодня приехали в уральский «град Китеж» — этнографический парк, созданный в Чусовом стараниями заслуженного работника культуры России Леонарда Постникова. Какие же мысли приходят здесь, когда, как в вашем раннем стихотворении про коней, вы вышли на чистый белый снег?

— Когда я увидел эти храмы, быт русского простонародья, знакомый мне с детства, потому что я рос в калужских деревнях маленьким мальчиком, увидел старинную кузницу, лавку со всеми товарами, которыми торговали в России в начале двадцатого века, музей писательских судеб, объединивший под своей крышей дорогих для России личностей — от Виктора Астафьева до Леонида Бородина, я подумал: это всё настолько наше, глубокое, настолько русско-славянское, изображённое много раз и лёгшее в основу русской культуры и русского понимания жизни в произведениях Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского и Есенина! В сущности, есенинское Константиново, вся его жизнь и быт, перекликается в своих вариантах уральского замеса с этнографическим парком в Чусовом, и я понимаю, что это — вечно продолжающаяся традиция, которую наш Леонард Дмитриевич возродил, потому что он плоть от плоти — настоящий человек русского простонародья, и то, что вокруг него есть и молодёжь, и писательская среда, и среда культурная, во много раз значительнее, жизнеустойчивее и долговечней, нежели бесовские проделки этого мелкого авантюриста Гельмана.

Юрий Дыхно, Эрнест Дыхно, Евгения Крылова

«Светя другим — сгораю»

К 100-летию со дня рождения профессора А. М. Дыхно

Основная заповедь, передающаяся из поколения в поколение этой удивительной семьи, — весь свой талант отдавать служению людям. Здесь каждому из них можно поклониться с благодарностью.

Могучей фигурой в обозримом прошлом их рода был дед, Альберт (Аба) Михайлович Дыхно. Купец I гильдии, хорошо образованный, честный, высокогуманный, он с восьмидесятых годов XIX века становится официальным главой многочисленной еврейской общины города Одессы и одновременно городским раввином. Эта ответственная и почётная должность предусматривала регистрацию всех гражданских актов рождения, брака, смерти и выдачу соответствующих документов. Кроме того, он был непременным членом Совета духовных правлений синагог и молитвенных домов, членом попечительского совета еврейской больницы, членом правления комиссии по раздаче пособий топливом и мацою бедным одесским евреям. Добрая слава о его делах и глубокое уважение сделали его фигуру настолько известной в России, что в 1913 году Альберт Михайлович был приглашён в Санкт-Петербург на празднование трёхсотлетия императорской династии Романовых.

При всём этом Альберт Михайлович и его жена Фаня Самойловна отнюдь не были безоговорочно преданными религиозным догмам. Своих детей они не воспитывали в религиозном духе, но к их успехам в учёбе относились с особой требовательностью. Дать детям достойное образование — вот главная цель их жизни. Из восьми четверо — две дочери и два сына — стали врачами, две другие дочери окончили консерваторию. Старший сын Михаил блестяще окончил гимназию, а затем, также с отличием, медицинский факультет Императорского Новороссийского университета. Способного молодого врача приглашают на работу сверхштатным ординатором в диагностическую клинику медицинского факультета. Здесь он встретился со своей будущей женой Миной.

Мина тоже росла в купеческой семье. Два её старших брата помогали отцу в мукомольном производстве. Мать Мины умерла, когда девочке было четыре года, и на неё рано были возложены обязанности хозяйки дома. С детства она мечтала быть врачом. Но еврейской девочке осуществить свою мечту в России довольно трудно, и после успешного окончания гимназии Мина уехала в Швейцарию и поступила на медицинский факультет Бернского университета. Со степенью доктора медицины в 1907 году Мина Александровна возвращается в Россию. Но здесь её ждёт разочарование: по действующим законам, право на работу она может получить только после сдачи лекарских экзаменов в одном из российских университетов.

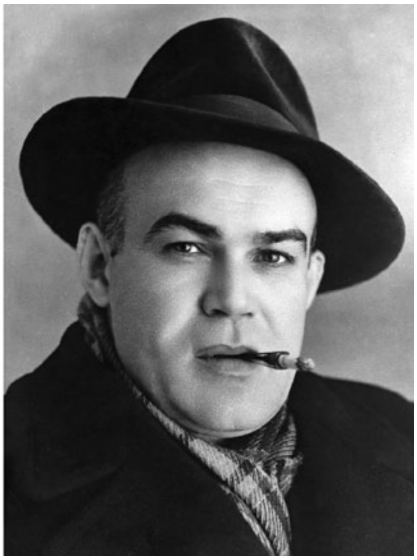
Она едет в Одессу, проходит специализацию в клинике медицинского факультета и в начале 1909 года успешно сдаёт экзамены на степень лекаря строгой Медицинской испытательной комиссии при Императорском Харьковском университете.

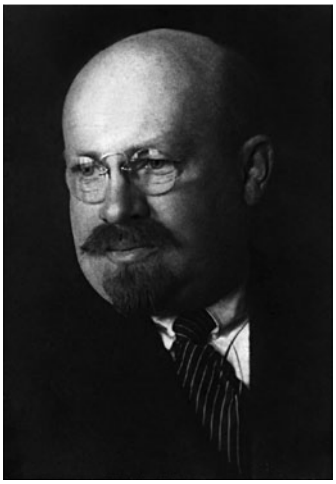
Вся последующая жизнь Мины Александровны — служение любимому делу врача и неукоснительное выполнение заветов «Факультетского обещания», одно из положений которого гласило:

> «Принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукою права врача и постигая всю важность обязанностей, возложенных на меня сим званием, я даю обещание в течение всей своей жизни ничем не помрачать чести сословия, в которое ныне вступаю.
>
> Обещаю во все времена помогать, по лучшему моему разумению, прибегающим к моему пособию страждущим. Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми своими силами её процветанию».

Эти слова стали путеводной звездой для многих поколений семьи Дыхно.

И вот уже молодая семья врачей, следуя идее служения народу, едет в Саратовскую губернию на работу в земскую больницу города Хвалынска; но вскоре они переезжают в Смоленск, небольшой, но довольно культурный по тем временам город. Там городские власти уважительно относятся к российской истории, науке, культурному досугу горожан. Бережно охраняются реликвии Отечественной войны 1812 года, памятник героям войны, перед зданием университета — превосходный памятник композитору М. И. Глинке, нарядный





Александр Михайлович Дыхно (Махачкала, 1950), Мина Александровна Дыхно (1881–1948), Михаил Альбертович Дыхно (1882–1966)

бульвар Блонье — любимое место отдыха смолян, а на высоком холме — величественное здание собора. В городе есть театр, губернская больница, где ординаторами успешно работают молодые врачи.

Авторитет Мины Александровны как врача столь высок, что к ней мечтают попасть многие именитые горожане. Вскоре у неё — и отлично оборудованный кабинет, и обширная частная практика.

9 октября 1911 года родился их первенец — Александр. В семье и среди сверстников его звали Аля. Для него приглашена няня, очень добрая и ласковая старушка, буквально боготворившая своего воспитанника. В 1914 году появляется на свет сестра Али — Нора. Летом детей вывозили на дачу. Сколько здесь было радости и соблазнов: грибы, черника, земляника, роскошная природа, приволье!

В 1913 году, словно предчувствуя скорую необходимость в этом, Михаил Альбертович увлёкся бактериологией. Это привело его в Москву, в Бактериологический институт. А в 1914 году началась война. Вот где необходимы были знания бактериолога! Грязь, инфекции, скопления людей были не менее опасны, чем раны на поле боя. Михаил Альбертович, мобилизованный военврач, заведует инфекционными и бактериологическими отделениями военных госпиталей.

Мина Александровна тоже «на передовой» — продолжает работать в Смоленской губернской больнице, на базе которой развёрнут военный госпиталь. Военные и первые годы Советской власти были очень трудными. Все заботы о детях и старенькой няне, не бросившей ставшую ей родной семью, легли на плечи Мины Александровны. Дети не голодали, но и ели не досыта. Большим лакомством были лепёшки из картофельной шелухи, печённые на растительном масле. Как долго помнился их вкус!

После войны во время летних отпусков Мина Александровна обычно уезжала работать в пригородный санаторий. Брала с собой и детей, чтобы подкормить их своим скромным врачебным пайком. Ну а дети в компании местных ребятишек совершали тайные набеги на окрестные огороды, набивая себе животы всякой зеленью. Однако тайное всегда становилось явным, и детям нередко доставалось от матери.

Но самым страшным для смолян был 1920 год. В городе свирепствовал сыпной тиф. Подхватили инфекцию и дети. Особенно тяжело болел Аля. К счастью, вернулся домой Михаил Альбертович. Он сразу приступил к организации в Смоленске крупного сыпнотифозного госпиталя. Распространение смертельной болезни было остановлено. Поправились Аля и Нора, а тут новая беда — голод. Нечем утолить появившийся у выздоравливающих «волчий» аппетит. Долго в памяти всей семьи оставался тот единственный счастливый случай, когда Мине Александровне удалось где-то достать конину и досыта накормить детей.

Михаил Альбертович возглавил санитарно-эпидемиологический отдел губздравотдела. Ему предложили создать медицинский факультет при Смоленском университете. С присущей ему энергией он принялся за работу, сумев преодолеть сопротивление некоторых чиновников, желавших закрыть факультет прекращением его финансирования. Помогли и вера в необходимость его существования, и умение убеждать в правоте своего дела, и дружба с профессором Николаем Александровичем Семашко, возглавлявшим в те годы кафедру социальной гигиены медицинского факультета Московского университета. С 1918 по 1930 годы Н. А. Семашко был наркомом здравоохранения РСФСР, одним из организаторов системы здравоохранения в СССР. Благодаря

настойчивости Михаила Альбертовича факультет был создан, а сам М. А. Дыхно был избран деканом медицинского факультета и заведующим кафедрой общей и социальной гигиены. Его по праву считают родоначальником факультета.

При кафедре Михаил Альбертович создал интереснейший музей социальной гигиены, богато оснащённый разнообразными экспонатами. Мина Александровна работала ассистентом кафедры акушерства и гинекологии, развёрнутой на базе губернской больницы.

Особое внимание Михаил Альбертович уделял подбору профессорско-преподавательских кадров. Приглашённые, как правило, в первые дни приезда в Смоленск останавливались в гостеприимном доме Дыхно. Это были увлечённые своим делом и разносторонне образованные люди. Дети росли в атмосфере зарождающихся дружеских отношений, научных и творческих дискуссий, которые так интересно было слушать!

Но и вниманием и дружбой сверстников младшие Дыхно обделены не были. Любимым местом сбора ребят был просторный двор за домом, в котором жило довольно много подростков. Игры, как правило, устраивались шумные, подвижные: салочки, лапта, прятки в потайных местах на всех чердаках, в подвалах и сараях. А зимой всей дворовой командой отправлялись на каток в Лопатинский сад. Аля хорошо катался на коньках и это увлечение сохранил на долгие годы. Но не только детские забавы занимали умы детей. Учились они откликаться и на чужую беду. В начале двадцатых годов в Смоленск хлынули толпы беженцев из южных голодающих губерний. Ребята придумали, как хоть немного помочь нуждающимся. Решили поставить благотворительный спектакль в пользу беженцев. В одном из сараев соорудили сцену, сделали декорации и костюмы, афиши развесили по всей улице. Спектакль имел шумный успех. Сборы были, конечно, невелики, но юные артисты очень гордились своей затеей.

Любили ребята бегать в соседнюю с домом Нижне-Никольскую церковь поглазеть на свадьбу или другие красочные церковные праздники. Бегали в церковь и еврейские дети. Все они были друзьями и, не задумываясь, вместе «справляли» и еврейскую, и русскую Пасху, угощались и куличами, и мацой. Между русским и еврейским населением города не было и намёка на неприязнь или антисемитизм.

Аля уже в раннем детстве был умным, сообразительным, принципиальным, честным мальчиком с открытым и прямым характером. Он всегда проявлял твёрдость в отстаивании своих убеждений и упорство в преодолении трудностей. За два года он дома под руководством отца прошёл курс начальной четырёхлетней школы и поступил сразу в шестой класс опытно-показательной школы-девятилетки. В пятнадцать лет он получил аттестат зрелости.

Но мечта была одна — стать врачом-хирургом. Да могло ли быть иначе? Он вырос в семье врачей, врачами были многие из его родственников и друзей семьи. Мина Александровна была превосходным хирургом-гинекологом; старшая сестра Михаила Альбертовича, Розалия Альбертовна Дыхно-Лейбзон, долгие годы жившая в Баку, была единственным врачом-гинекологом, которому доверяли азербайджанские женщины своё лечение. Дядя Али, Юлий Альбертович, был известным в Баку врачом-дерматологом. Профессию врача выбрали их дети и внуки. Очень способным хирургом была двоюродная сестра Али, Эрна Зеленская. Они были большими друзьями, впоследствии в письмах обменивались хирургическим опытом.

В 1925 году семья Дыхно переехала в Казань. Михаила Альбертовича избрали заведующим кафедрой гигиены с эпидемиологией и социальной гигиеной Казанского института усовершенствования врачей. В этом же институте стала работать и Мина Александровна. Для Али переезд в Казань был большой удачей. На медицинском факультете Казанского университета преподавали тогда крупные учёные, такие как профессора А. В. Вишневский, В. Н. Терновский и другие.

Аля с головой ушёл в подготовку к экзаменам. Из весёлого, беззаботного юноши он превратился в серьёзного, сосредоточенного молодого человека, устремлённого к своей цели. Но было одно, казалось бы, непреодолимое препятствие: принимали в университет только с семнадцати лет. Тогда он переделывает в документах год своего рождения на 1909-й. Так потом и остался этот год во всех документах.

В университете Аля занимается много, с большим интересом и упорством. Понимая, что без отличного знания анатомии нельзя стать хорошим хирургом, он буквально дневал и ночевал в «анатомичке». С не меньшим старанием молодой Дыхно занимается физиологией, вникает в учение И. П. Павлова и И. М. Сеченова. Позже Александр Михайлович одним из первых в СССР применит их теоретические разработки о процессах сонного торможения при лечении травматического и ожогового шока, сепсиса, повреждения костей черепа, головного мозга. Курс анатомии Аля проходит под руководством виднейшего анатома, профессора В. Н. Терновского. Успехи его были замечены, и он уже с третьего курса ведёт практические занятия со студентами-первокурсниками. Благодаря этому он не только в совершенстве овладел предметом, но и приобрёл полезный педагогический опыт.

Однако колоссальное влияние на Александра оказывает хирургия, преподаваемая крупнейшим отечественным хирургом А. В. Вишневским.

Дружба и переписка с учителем продолжается всю его жизнь.

Семья Дыхно жила рядом с университетом. В доме всегда было много молодёжи — друзей и сокурсников Али. Иногда устраивали вечеринки. Аля был душой этих молодёжных посиделок. Он прекрасно танцевал, неплохо пел. Особенно ему нравились одесские песенки «Гоп со смыком», «Бублики», которые он пел под собственный аккомпанемент на рояле. Часто слушали джазовую музыку, которую Аля очень любил, особенно джаз его кумира Леонида Утёсова.

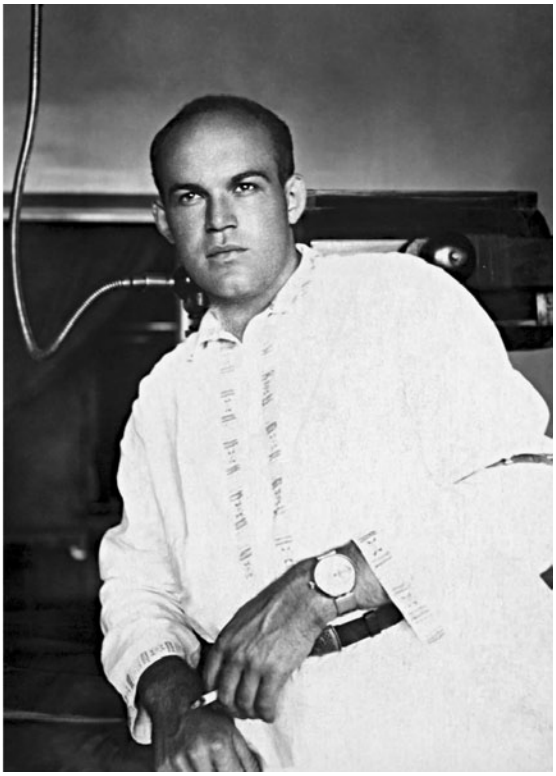
А зимой любимым развлечением был каток. Иногда ездили туда на барабэсе — зимнем извозчике, характерном для Казани тех лет: лошадь с впряжёнными большими розвальнями и мешком сена вместо сиденья. Развлечение весёлое и недорогое!

Летом семья отдыхала в одной из приволжских деревень. Волга, тогда ещё не перекрытая шлюзами и плотинами, была вольной, широкой и полноводной. Она манила молодых людей чистотой и свежестью воды, теплом золотистых песчаных отмелей, изумительной красотой неповторимых вечерних закатов. Аля хорошо плавал, соревнуясь с друзьями в дальности заплывов. Увлекался боксом и даже в составе студенческой команды выезжал на соревнования в города Поволжья, стал фанатом циркового искусства и борьбы. Только близкие знали, что в студенческие годы будущий известный учёный-хирург подрабатывал в цирке, выступая в группе силового аттракциона.

Годы работы в Казанском институте усовершенствования врачей были плодотворными для родителей Али. Мина Александровна защитила докторскую диссертацию. Михаил Альбертович закончил двухтомный учебник по социальной гигиене и социальной патологии, изданный в 1930 году.

Но в стране начинают сгущаться тучи над умными, образованными, преданными своему делу людьми. Умер директор института профессор Р. А. Лурье. Новое руководство создаёт крайне неблагоприятные условия для работы М. А Дыхно, и он вынужден искать другое место. Труды, опыт и знания Михаила Альбертовича уже известны далеко за пределами Казани. Его приглашают в Пермский медицинский институт.

Через год, после окончания университета, в Пермь приезжает и Аля. Молодой врач Александр Михайлович Дыхно начинает работать на кафедре анатомии. В 1932 году в пермском медицинском журнале появляется его первая научная статья, через год — вторая. Но семья снова уезжает, на этот раз в Ростов-на-Дону, где Михаила Альбертовича избирают заведующим кафедрой социальной гигиены, а Мину Александровну — доцентом кафедры акушерства и гинекологии. Уезжает с



Доктор медицинских наук А. М. Дыхно
Ростов-на-Дону, 1937 г.

ними и Нора, студентка химико-технологического института. Александр ещё в Перми, он женился на студентке старшего курса мединститута Марине Тихомировой. А в 1933 году молодые тоже едут в Ростов. Александр Михайлович работает в институте переливания крови и травматологии и одновременно на кафедре факультетской хирургии мединститута, которой руководит Николай Иванович Напалков — превосходный хирург и вдумчивый педагог. Благодарность и уважение к нему Александр Михайлович пронёс через всю жизнь.

Работает он много, увлечённо и плодотворно. Стремительное становление Александра Михайловича как учёного напоминает взлёт заложенной в нём энергии. В 1935 году он защищает кандидатскую диссертацию, а в 1937-м — докторскую. А ведь ему только двадцать шесть! Марина работает здесь же, в мединституте. В 1934 году у них родилась дочь Ирина. В 1936 году старшие Дыхно переезжают в Москву. Михаила Альбертовича назначают директором 3-го Московского медицинского института и зав. кафедрой социальной гигиены, Мину Александровну — доцентом кафедры акушерства и гинекологии 1-го Московского медицинского института. Семья младших Дыхно и Нора остались в Ростове.

Их спокойная и счастливая жизнь окончилась в одночасье. Грянул 1937 год. Волна жесточайших

репрессий захлестнула страну. В считанные дни тысячи ни в чём не повинных людей оказались за решёткой. В Ростове-на-Дону первыми были арестованы руководители партийных и советских организаций. В их числе оказался начальник облздравотдела доктор Марк Донской. В его отделе Александр Михайлович работал по совместительству, и М. Донской высоко ценил своего молодого энергичного помощника. Расположение «врага народа» было тогда достаточным основанием для ареста. Вскоре последовали аресты интеллигенции. За одну ночь были арестованы все профессора и старшие преподаватели крупнейшего технического вуза — Новочеркасского индустриального института, где училась Нора. Настороженное поведение сослуживцев было подтверждением худших опасений. В неизбежность ареста верили даже хорошие знакомые, спрашивая при встрече: «Как, ты ещё не арестован?»

Александр Михайлович и его близкие ждали ареста, долгими бессонными ночами прислушиваясь к шуму машин, проезжавших мимо дома. Каждая из них могла оказаться «чёрным вороном», приехавшим за ним. Это напряжение вызвало у Александра Михайловича глубокую депрессию. В таком состоянии его нашла Мина Александровна. Она немедленно увезла сына в Москву, спасая его от неизбежного ареста и гибели. Для Мины Александровны не было никого дороже сына. Между ними было глубочайшее родство душ. Александр Михайлович был внешне очень похож на мать: высокий, темноволосый, с живыми карими глазами, с волевым подбородком и высоким лбом. Общими у них были и черты характера: решительность, целеустремлённость, настойчивость, исключительная работоспособность, а в отношении к близким — внимание и забота. Да и талант хирурга он унаследовал от матери.

В Москве Александр Михайлович начинает работать ассистентом в клинике госпитальной хирургии 3-го Московского мединститута у профессора Николая Ивановича Гуревича. Приехала из Ростова жена с дочкой. Но счастливой, спокойной жизни в семье снова не получается. Серьёзно осложнились отношения с Мариной. Тревожно и в стране. В августе 1938 года его в числе десяти московских профессоров посылают на Дальний Восток в связи с военным конфликтом в районе озера Хасан. Там он работал начальником хирургического отделения одного из госпиталей и одновременно заведовал кафедрой общей хирургии в мединституте. Здесь, в военных условиях, приобретается опыт полевой хирургии. Во время боёв всё чаще применяются газовые атаки. Клубы боевых отравляющих веществ не только поражают солдат, они не дают возможности оказать необходимую срочную помощь раненым. Разрабатываются новые методы работы в условиях боевых действий. Хирург Дыхно одним из первых начинает оперировать в противогазе. Одновременно приобретает опыт лечения огнестрельных ран и огнестрельных переломов. Затем делится этим опытом в двух своих научных статьях.

На Дальнем Востоке Александр Михайлович познакомился с профессорско-преподавательским составом Хабаровского медицинского института, его клиниками и руководством. Главным хирургом Особой Краснознамённой Дальневосточной армии был профессор Михаил Никифорович Ахутин, выдающийся военно-полевой хирург, крупнейший организатор оказания помощи раненым и больным, в последующем генерал-лейтенант медицинской службы, автор фундаментального труда по военно-полевой хирургии. В марте 1939 года Санитарное управление Красной Армии отозвало М. Н. Ахутина с Дальнего Востока. Перед отъездом он рекомендовал на должность заведующего кафедрой госпитальной хирургии Хабаровского мединститута, которую он возглавлял в течение шести лет, тридцатилетнего — по документам, исправленным ещё для поступления в Казанский университет, а фактически двадцативосьмилетнего профессора А. М. Дыхно.

Вот что написал по этому поводу сам профессор М. Н. Ахутин:

> «Считаю, что Дыхно А. М., несмотря на свой молодой возраст, является чрезвычайно энергичным и способным научным работником, совершенно подготовленным для занятия кафедры общей хирургии, а в условиях Хабаровска сможет с успехом вести и кафедру госпитальной хирургии».

Бои в Маньчжурии окончились, и Александр Михайлович возвращается в Москву. Здесь его ждал развод с женой. Ничто не удерживало его теперь в Москве, и он принимает предложение руководства Хабаровского медицинского института и возвращается на заведование кафедрой госпитальной хирургии.

О молодом профессоре уже шла молва как о блестящем лекторе. Однажды во время лекции по хирургии в переполненном зале он увидел стоявшую в дверях молодую статную женщину с красивым лицом и пышной копной волос. Александр Михайлович увлечённо читал лекцию, приводил примеры из истории хирургии, говорил о её возможностях в реабилитации больных. Аудитория внимательно слушала, и это ещё больше подзадоривало лектора. Но когда он в очередной раз бросил взгляд на дверь, незнакомки уже не было.

Упустил? Не тут-то было! Через несколько дней Елену Яковлевну Злотникову, врача-невролога, пригласили в приёмное отделение больницы, где она работала. Там она увидела профессора

А. М. Дыхно, который сказал, что его давно интересуют вопросы неврологии, в частности лечение больных миастенией, и он хотел бы выполнить с ней совместную работу. При следующей встрече разговор действительно шёл о лечении миастении, о неэффективности консервативного лечения, о переводе больных в хирургическое отделение. А дальше разговор пошёл о музыке, театре, куда в те годы часто приезжали известные артисты страны, о катании на коньках — и тут вдруг выяснилось, что Елена Яковлевна в студенческие годы играла в хоккей с мячом за женскую команду института, — и о многом другом. Их встречи стали вначале частыми, а потом ежедневными. После успешно проведённой операции больной с миастенией была опубликована статья двух авторов: А. М. Дыхно и Е. Я. Злотниковой.

Здесь следует особо сказать о Елене Яковлевне и об их дружбе.

1937 год, полный горя и слёз людей, прокатился и по Дальнему Востоку. Только в Хабаровске было репрессировано пятьдесят тысяч хабаровчан.

Муж Елены Яковлевны, подполковник Солошенко Владимир Иванович, начальник пятого отдела штаба авиации особого назначения Особой Краснознамённой Дальневосточной армии, которой командовал маршал В. К. Блюхер, был арестован в августе 1937 года. На прощание успел только шепнуть жене: «Верь, дорогая, я не враг». Были конфискованы все награды, личные вещи, документы, письма, фотографии, где был он один или с семьёй, продуктовый аттестат семьи военнослужащего. Забрали всё, что только могло напомнить, что такой человек был. И только через шестьдесят лет (!) сын Александра Михайловича Юрий в Белоруссии, у дальних родственников по маминой линии, нашёл чудом сохранившееся маленькое фото В. И. Солошенко и привёз его брату. С этой фотографии художник написал портрет, который хранится в квартире Эрнеста.

После ареста мужа Елена Яковлевна с годовалым сыном и родителями была выселена из квартиры. «Друзья» исчезли, знакомые избегали встреч. Скитались по сердобольным людям. Приютила их в китайской фанзе девочка лет пятнадцати. Её семья из восьми человек в одночасье «исчезла» из дома в её отсутствие. Это её и спасло, о ней просто «забыли». Она присматривала за ребёнком, пока Елена Яковлевна была в поликлинике, где работала врачом-неврологом. Но в руководстве мединститута нашлись, к счастью, люди, не побоявшиеся поручиться за жену «врага народа». Директор института профессор Фабиан Александрович Кочан втайне поселил их в каморку в здании института, с помощью профессора Арона Моисеевича Губинского её приняли в ординатуру на кафедру нервных болезней. Уже это в те дни было подвигом. Эти люди рисковали не только своим положением, должностью, свободой, а нередко и жизнью, но, несмотря ни на что, протягивали руку помощи тем, кто оказался в беде. Нынешние политики-реформаторы перекраивают историю, пытаясь вытравить из сознания молодёжи примеры героизма, мужества и высокой духовной стойкости тех непокорённых, выстоявших и помогавших выстоять в эти страшные годы другим. Но память о них должна стать эталоном нравственности будущих поколений. Поэтому и сегодня мы говорим: низкий поклон этим людям, низкий поклон и тому человеку, который необъяснимо как вынес из стен тюрьмы записку-завещание обречённого на гибель человека к своей жене. Там было написано: «Люся[1], что бы ни говорили, ты — не верь. Я отсюда уже не выйду. Сохрани, вырасти и воспитай сына достойным человеком. Приди с сыном в 17 часов напротив тюремной стены. Надень кожаное пальто и белую беретку и прогуливайся. Может быть, я увижу вас». Елена Яковлевна ходила там с сыном на руках не один раз. Видел ли их Владимир Иванович?..

Много лет спустя семья узнала, что подполковник Солошенко Владимир Иванович был осуждён Военной коллегией Верховного Суда СССР от 25.03.1938 г. по самым страшным для того времени статьям 58-1 «б», 58-8, 58-9, 58-11. Приговорён к ВМН. Расстрелян в тот же день. Решением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 17.04.1958 г. — реабилитирован.

В эти годы было яснее ясного, какие последствия для Александра Михайловича Дыхно могут вызвать его отношения с женой «врага народа». Досужих разговоров и мнений «друзей» хватало. Это были не только отношения с коллегой по профессии, не просто прогулки на глазах у всех, это была открытая демонстрация непобедимости Жизни и Любви перед расстрелами и лагерями. С присущей ему решительностью Александр Михайлович вскоре сделал и более серьёзный шаг. В конце 1939 года, став мужем Елены Яковлевны, он взял на себя заботу о родителях жены и исполнение завещания обречённого на смерть В. И. Солошенко. Он усыновил его сына Эрнеста, дав ему свою фамилию и отчество.

25 декабря 1940 года родился их сын Юрий. Дети росли в обстановке любви, заботы, взаимного уважения. Мальчишки были, конечно, сорванцами, как все их сверстники, но были очень дружны. Как-то старшего за какую-то провинность поставили в угол. Маленький Юра подошёл, взял его за руку и встал рядом. Он не поддался уговорам оставить брата одного. Пришлось простить Эрнеста. Это повторялось не раз, к досаде и восхищению

1. Елену Яковлевну родные и друзья звали Люсей.

воспитателей. Вот это «в угол только вдвоём» и все свои лучшие качества ненавязчиво и терпеливо вложили Александр Михайлович и Елена Яковлевна в своих детей на всю жизнь.

1941 год. С началом войны изменилась и жизнь хабаровчан. Дальний Восток был объявлен прифронтовой зоной. Ожидалось нападение Японии. Ввели затемнение окон, дежурства жителей. Рыли бомбоубежища, для каждого дома отдельно. Александр Михайлович с киркой в руках всегда был рядом с соседями. И это после напряжённого рабочего дня: две-три операции, занятия и лекции студентам.

Трудности были и с продовольствием. Всё необходимое отправлялось на фронт. На каждом свободном клочке земли начали сажать картошку. В этом тоже участвовала вся семья. Ввели продуктовые карточки. Однажды их украли. Пришлось продать на базаре вещи и платья Елены Яковлевны и её мамы, Анастасии Гавриловны.

Беда пришла неожиданно. Александр Михайлович—казалось бы, могучий здоровяк, друживший со спортом,—и вдруг инфаркт миокарда. Сказались земляные работы и огромные нагрузки в эвакогоспиталях и клинике. После выздоровления он продолжает трудиться в прежнем режиме.

В хирургии он был новатором. Всё новое, передовое внедрялось в практическую деятельность. В то трудное военное время Александр Михайлович сумел оснастить клинику современной аппаратурой, инструментарием, что позволило оказывать больным высококвалифицированную медицинскую помощь.

В клинику госпитализировали больных с различными тяжёлыми хирургическими заболеваниями. Это были пациенты «полостные», ортопедические, с травмами опорно-двигательного аппарата, острыми воспалительными процессами костей, суставов, мягких тканей, в том числе и огнестрельными, после ранения периферических нервных стволов, онкологические, урологические, гинекологические и т. д. Врачам, работавшим в этой клинике, практического опыта могло хватить на всю жизнь.

Профессор Дыхно оперировал много, широко. Особенно он увлекался восстановительно-пластической хирургией, артропластикой, удлинением конечностей после перенесённых ранее заболеваний. Блестяще проводил операции на костях, суставах и печени, на магистральных сосудах и головном мозге. Перечислить всё многообразие операций невозможно.

Не прерывается и научная работа, диапазон которой был необычайно широк. Под его руководством проводятся десятки экспериментально-клинических исследований, результаты которых открывают перед хирургами новые возможности, поднимают эту область медицины на новую высоту. Первое в СССР удаление вилочковой железы при миастении с блестящим результатом получает широкое распространение в «детской» и «взрослой» хирургии. Исследуется и клинически проверяется метод переливания неподогретой крови—актуальнейшая задача военного и послевоенного времени. В восстановительной хирургии тазобедренного и коленного суставов, при косметических операциях на лице впервые в Союзе применяется органическое стекло—плексиглас. Опубликована монография «О технике резекции желудка при язвенной болезни по методу Райхель—Полиа в модификации А. М. Дыхно». Летальность в этой группе больных не превышала двух процентов—это был один из лучших показателей в Советском Союзе.

Только в Хабаровске А. М. Дыхно опубликовал пять монографий и более трёх десятков журнальных статей. За этот период сотрудники кафедры под его руководством защитили шестнадцать кандидатских и докторских диссертаций по самому широкому спектру вопросов хирургии. Примечательно и отношение к коллегам—в частности, к старшему ассистенту клиники Льву Михайловичу Тверскому, имевшему большой стаж и опыт хирурга, но не имевшему звания. Александр Михайлович убедил его, что «шестьдесят пять лет—не возраст», а огромный опыт и практика должны служить людям, и обещал свою поддержку и помощь всей кафедры. Защита состоялась. А когда в 1942 году под Сталинградом погиб единственный сын Тверского Юра, из глубочайшей депрессии морально и с помощью медицины его вывел профессор Дыхно.

А. М. Дыхно, его доценты и ассистенты в своей хирургической деятельности применяли не только отечественный опыт, но и методы лечения зарубежных хирургов. Александр Михайлович изучал опыт профессора Зауэрбруха из Германии по лечению туберкулёза лёгких. Резекция желудка, разработанная в Америке, в хирургическом «комбинате» братьев Мейо, широко применялась и в Хабаровске. Однако восстановительная хирургия превалировала, так как зав. кафедрой профессор А. М. Дыхно и зав. отделением Л. М. Тверской были продолжателями школы своих учителей из Ростова-на-Дону и Томска. Большинство трудов профессора А. М. Дыхно было посвящено восстановительной хирургии. Александр Михайлович неоднократно высказывал мысль, что хирургия подразделяется на «калечащую» и «восстановительную». И каждая «калечащая» операция должна нести в себе элемент восстановительного, реабилитационного лечения, позволяющего улучшить качество жизни больного.

Александр Михайлович проявлял особую чуткость и трогательное внимание к коллегам в дни

их бед и утрат. Шла война, и то в одну, то в другую семью стучалось горе. Люди были благодарны за поддержку, за тёплые слова сочувствия.

Многие любили приходить в гостеприимный тёплый дом Дыхно. В нём часто звучала музыка. И сейчас, спустя много лет, сыновья Александра Михайловича помнят эти незабываемые мелодии.

Вот как рассказывает об этом Эрнест Александрович:

«Не знаю, где мама получила музыкальное образование, но с раннего детства на протяжении всей жизни нас сопровождали пианино, фонотека, музыка: пластинки Леонида Утёсова, Вадима Козина, Изабеллы Юрьевой, Лидии Руслановой (довоенного и военного выпуска), Рашида Бейбутова, Александрóвича и многих других исполнителей. Было много нот — от танцев кекуок, тустеп, мазурок и гавотов, сборников этюдов Черни, купленных для меня, до Первого концерта П. И. Чайковского, оперетты Имре Кальмана «Марица», — и большие стопки других нот. Причём эта фонотека постоянно пополнялась.

Отец из командировки в Китай (после окончания войны с Японией) привёз несколько коробок с пластинками и множество подарков. Не забыл он никого. В доме всё лето звучала музыка».

С 1944 года добавилась ещё нагрузка: Александра Михайловича назначили директором Хабаровского медицинского института.

О его популярности в городе свидетельствует курьёзный случай. Александр Михайлович с женой как-то вечером отправились навестить больную сотрудницу кафедры. Дорога проходила по узкому обледенелому мосту через овраг, над речкой Чердымовкой. Здесь и произошла встреча с «весёлыми молодцами». Один из них сказал что-то нелестное в адрес Елены Яковлевны. Реакция Александра Михайловича была мгновенной — пригодилось увлечение боксом в студенчестве. Один против двух, да ещё скользящие по льду валенки — не та обувь для схватки. Крикнул: «Люся, беги!» Елене Яковлевне послышалось: «Люся, бей!» А может, и не послышалось… Только она смело бросилась на помощь, успев огреть одного из обидчиков сумкой, в которой несла для больной большую металлическую банку компота. В это время взошла луна и осветила лица дерущихся. И вдруг один из парней громко закричал: «Да это же профессор Дыхно!» Через мгновение оба убежали.

В военные годы профессору Дыхно редко удавалось приезжать в Москву к родным, а после войны он бывал в Москве ежегодно. Часто приезжал вместе с женой. Их приезды всегда были большой радостью для родителей. Особенно радовалась сыну Мина Александровна. В 1944 году её постигло большое несчастье — она лишилась ноги. На этом оборвалась её активная, полноценная профессиональная жизнь. Хотя она и продолжала работать в одной из районных поликлиник, ближайшей к дому, но это, конечно, не могло дать ей полного удовлетворения. С приездом Али в дом входили шутка, весёлая одесская песенка, забавный анекдот. Как радовало всё это Мину Александровну!

В один из приездов Александра Михайловича, 27 февраля 1948 года, Мина Александровна скоропостижно скончалась. Сын проводил её в последний путь.

Популярность профессора А. М. Дыхно, награждение его орденами Красной Звезды, «Знак Почёта» и медалями омрачалось кознями завистников. Развернувшаяся в конце сороковых годов борьба с космополитизмом глубоко потрясла его. Казалось, вернулся 1937 год, только под другим названием. Работать стало трудно. Первой знаковой жертвой стал зав. оргтделом Хабаровского крайкома ВКП(б), а до этого — первый секретарь горкома партии Комсомольска-на-Амуре Абрам Соломонович Стесин, уехавший в 1947 году «на учёбу в Москву» (в 1951 году Дыхно встретил его в Красноярске). Покинули свои посты зам. директора Хабаровского пединститута Ольга Ивановна Рута и её муж, профессор Виктор Федотович Голосов, заведовавший кафедрой философии. Тоже будущие красноярцы. Арестован режиссёр Хабаровского театра оперетты Венгеров, с женой которого вместе работала и дружила Елена Яковлевна. Его дальнейшая судьба — двадцать лет в Норлагере; после реабилитации он разыскал свою семью в Пятигорске и вернулся с ней в Норильск.

Сложившиеся обстоятельства и настойчивость Елены Яковлевны убедили Александра Михайловича подать заявление об уходе с поста директора института.

В 1949 году семья покинула Хабаровск и переехала в Махачкалу, где в течение двух лет Александр Михайлович заведовал кафедрой факультетской хирургии Дагестанского медицинского института.

Жизнь налаживалась, забыты неурядицы, связанные с переездом. Обилие солнца и фруктов, купание в Каспии — всё действовало успокаивающе.

Чуткость, отзывчивость, доброта и высокий профессионализм профессора Дыхно вызывали у всех, кто его знал, любовь и глубокое уважение. Люди знали: он никогда не откажет в помощи. Однажды ночью его разбудил стук в калитку и окно. Соседи звали на помощь: ранен подросток, единственная надежда и опора тяжело больной женщины. Он оказался жертвой кровной мести, существовавшей между двумя кавказскими родами. Все мужчины этого рода погибли на фронте, и война лишь на время прекратила вражду. Когда паренёк выходил из аптеки с лекарством для больной матери, с ним у двери столкнулся какой-то мужчина, извинился и убежал в темноту.

Мальчик сделал два шага… и упал. Оказалось, что в момент столкновения он получил удар ножом в живот. Хорошо, что это произошло возле аптеки, где ему смогли оказать первую помощь. Экстренная ночная операция, проведённая профессором Дыхно, спасла ему жизнь.

Но работа не приносила истинного удовлетворения: не было достаточной базы для научной работы, очень уж мало поле деятельности, да к тому же ещё языковой барьер. Иногда из-за многообразия языков и диалектов Дагестана невозможно было узнать, что беспокоит больного. Поэтому Александр Михайлович с радостью принял предложение переехать в Красноярск.

Не смог Александр Михайлович остаться равнодушным к судьбе одной армянской семьи с двумя дочерьми, жившей в доме напротив. Когда красивые девушки выходили на короткую прогулку, прохожие старались не смотреть в их сторону. Больно было видеть, как одна из них передвигается с большим трудом: одна нога у неё была намного короче другой. Что это значило для армянской девушки, понимали все.

Незадолго до отъезда в Красноярск Александр Михайлович сам отправился к ним. Он смог найти общий язык с родителями, преодолел барьер смирения девушки со своей судьбой и пообещал ей, что как только он обоснуется на новом месте, он вызовет её к себе в Красноярск и постарается сделать всё возможное для неё. Слово он сдержал. Сложное, поэтапное лечение заняло полгода, необходимо было «нарастить» около десяти сантиметров ноги. Покинула девушка Красноярск с нормальной ногой. Было это сделано в начале пятидесятых, задолго до успехов доктора Г. А. Илизарова.

Александр Михайлович получил предложение работать в Красноярском медицинском институте. Он ясно видел большие возможности для работы в институте, расположенном в крупном промышленном центре — столице огромного и богатого края. Он был избран заведующим кафедрой госпитальной хирургии. С присущими ему энергией, творческой инициативой и работоспособностью Александр Михайлович приступил к работе в Красноярске.

Вначале с женой и младшим сыном они живут в одной из комнат мединститута в здании на улице Карла Маркса, 124. Старший сын и родители жены оставались в Махачкале. Но вскоре вопрос с квартирой был решён, и вся семья собралась в двухкомнатной квартире на улице Сталина, 85 (сейчас проспект Мира). Сыновья начали учиться в школе № 10.

Вскоре прибыли и бережно сохранявшиеся во всех переездах вещи: пианино, набор резной, из чёрного дерева, комнатной мебели, огромная библиотека и, конечно, фонотека и папки с нотами. Прибыли и знаменитая настольная лампа с зелёным абажуром, и статуэтка мраморного льва, подаренная в Хабаровске доцентом Л. М. Тверским, с надписью: «Будь львом в жизни и науке». А свет зелёной лампы видели и знали многие. Вечерами Александр Михайлович включал лампу, работая за письменным столом, читал, писал статьи или проводил ежедневный вечерний опрос по телефону дежурных врачей клиники о состоянии больных и, если возникала необходимость, коротко говорил: «Пришлите машину!» — и уезжал в ночь. Зелёный цвет лампы и сам Александр Михайлович ассоциировались у знавших профессора с маяком и его смотрителем, отвечавшим за безопасность людей, доверивших ему свою жизнь. А зелёный цвет — цвет надежды!

И вот новый профессор появился в мединституте. Кандидат медицинских наук Лидия Константиновна Козлова вспоминает первую встречу с профессором А. М. Дыхно: «Профессор впечатляет. Он крупный, высокий, широкоплечий человек. Чёрные с залысиной волосы, большой красивый лоб, крупные жёсткие черты лица, тяжёлая челюсть, небольшие, зоркие, умные глаза. Говорит, слегка грассируя на звуке «р», это смягчает его лицо и общее впечатление. Руки сильного интеллигента, настоящие руки хирурга, с длинными, зауженными к концу пальцами, крохотная рубиновая булавка в галстуке и красивые запонки на манжетах, видных из-под рукавов халата. Профессор не спеша знакомится с сотрудниками кафедры и больничными врачами, включая нас, двух ординаторов, — Валю Красовскую и меня».

Вскоре прошла и первая профессиональная презентация профессора А. М. Дыхно. Из Сухобузимского района доставлен в клинику молодой парень с жалобой на постоянную сильную головную боль и неуверенную походку. Проводят исследования. Рентген показывает, что в черепе у больного огромный плотницкий гвоздь длиной двенадцать сантиметров! Невероятно! Делают повторный снимок — гвоздь. Выясняется, что около десяти лет назад парень чистил гвоздём ружьё. Произошёл случайный выстрел, и гвоздь через глазницу попал в череп. Пострадавший скрыл от родителей истинную причину потери глаза. Он даже сам не подозревал о гвозде, пока не появилась боль. Операция по удалению гвоздя прошла успешно. На хирургическом обществе в огромном лекционном зале профессор А. М. Дыхно представил и больного после операции, и двенадцатисантиметровый гвоздь. «Зал был переполнен, — вспоминает

1. Валентина Павловна Красовская — в будущем профессор, доктор медицинских наук, организатор кафедры и клиники детской хирургии в Красноярске.

Сотрудники госпитальной хирургической клиники (слева направо):
1-й ряд: Ф. М. Кригер, В. И. Кулеш, Э. Г. Лубкова, Д. Голощапова.
2-й ряд: М. М. Ховес, Л. К. Козлова, Е. Л. Корчагина, А. М. Дыхно, Г. Д. Воробьёва, Н. И. Захаров, В. Л. Аронов, С. Д. Марьин.
3-й ряд: А. И. Соснина, В. М. Людкова, Н. С. Дралюк, А. А. Кокорина, Е. И. Гаврилов, Е. В. Гамаюнова, З. Д. Банникова, … .
4-й ряд: М. Т. Грахова, Г. С. Чехотовская, В. Б. Береснев, А. В. Гладков, М. М. Архипенко, А. Н. Орлов, Ю. М. Лубенский, В. К. Сологуб.
Красноярск, 1956 г.

кандидат медицинских наук Ирина Аверкиевна Дударь-Стесина. — Пришли медики посмотреть не только на это «чудо» и на больного, но и на того, кто это чудо совершил». Имя профессора Дыхно было на слуху не только у медиков Красноярска, но и у жителей города. Информация об этой операции была опубликована в газете «Красноярский рабочий», а затем в журнале «Хирургия».

Следующим этапом, принёсшим профессору А. М. Дыхно ещё большее уважение и веру в его искусство хирурга у коллег, студентов и больных, были ортопедические операции, начало которым было положено ещё в Хабаровске. Люди с остаточными явлениями полиомиелита (так называемые «ползунки») после ряда операций, замыкавших «болтающиеся» суставы, обретали возможность стоять и ходить. Одна из них — Надя Ч. из Шушенского. Из-за перенесённой болезни она не могла ходить, передвигалась ползком на коленях. После операции она вернулась к нормальной жизни и возможности работать. Это и С. А. Левин, раненный в 1942 году под Москвой. Его дочь вспоминает: «Профессор А. М. Дыхно в самом прямом смысле этого слова поставил отца на ноги. В нашей семье до самой смерти папы в 1981 году и до сих пор эта фамилия произносится очень часто и с глубоким уважением и благодарностью».

Были ещё встречи у Эрнеста Александровича в администрации Свердловского района, в библиотеке, случайные и короткие на улицах, на кладбище возле памятника, но всегда начинавшиеся словами: «А вы кто профессору Дыхно?» А ведь прошло уже более полувека со дня смерти его отца.

Александр Михайлович ввёл в широкую практику модифицированную операцию по удлинению конечностей по Богоразу, пластические операции на тазобедренном и плечевом суставах с восстановлением трудоспособности. Особенно это касалось инвалидов Великой Отечественной войны. Эти операции вызвали настоящий поток больных со всех уголков нашего края, да и из других городов страны.

Почти сразу появились поклонники, сторонники, последователи, но и… завистники. Всего несколько лет прошло с того счастливого дня, когда гремели над страной победные салюты сорок пятого. Забыты встречи на Эльбе, а тем, кто прошагал пол-Европы, рекомендовано не только не писать, но даже не вспоминать тех, с кем свела судьба на чужой земле и кто остался по ту сторону границы. Опущен железный занавес, всё иностранное — под запретом. За твист на молодёжной вечеринке или брюки-дудочки и набриолиненный кок на голове можно было вылететь из института, быть уволенным с работы. Конец сороковых годов — расцвет оголтелой травли учёных, обвиняемых в космополитизме. Из учебников, научной литературы вычёркиваются статьи иностранных

авторов. Генетика считалась мракобесием, гены и хромосомы не признавались в СССР до середины пятидесятых годов. Не многие отваживались тайно проводить опыты по изучению наследственности, это грозило обвинением чуть ли не в измене Родине, тюрьмой и ссылкой. Сколько передовых, мыслящих исследователей сгинуло в жерновах ГУЛАГа! И в это время в руки Александра Михайловича попадает французский журнал по генетике со статьёй о наследственных заболеваниях. Передовой учёный прекрасно понимает, насколько нужны эти знания коллегам. Журнал передаётся из рук в руки в запечатанном конверте, где-то на улицах, чтобы не видели ни родные, ни соседи, и с неизменным предупреждением: «Я тебя не видела и ничего тебе не давала» (доцент Г. Д. Воробьёва). Читают журнал по ночам, утром передавая его другим. Несмотря на то, что «пропаганда американской медицины» было серьёзным обвинением, многие понимали значение новейших мировых исследований в области медицины. Они были благодарны Александру Михайловичу за возможность хоть что-то узнать в этой области. И глубоко верили профессору Дыхно.

Но не все были такими. Почти в каждом коллективе находился человек, считавший себя «стражем порядка». Доносы процветали, были в порядке вещей.

Вот фотография дружного коллектива клиники госпитальной хирургии. В центре её руководитель, профессор А. М. Дыхно. Милые, улыбчивые лица. И вдруг среди них натыкаешься на выстрел подозрительных, колючих глаз заведующего отделением травматологии, доцента С. Д. Марьина. Он буквально с первых дней приезда А. М. Дыхно в Красноярск люто возненавидел его. «Считаю своим долгом довести до вашего сведения…»

Сколько доносов начиналось такими словами! Они сопровождали каждый шаг профессора, каждую нестандартную операцию, каждое его новое слово в хирургии. Как хотел он остановить руку врача, спасавшего тысячи жизней, сколько судеб он пытался искалечить!

Что чувствовал этот невзрачный человечек с дипломом врача и званием доцента, отправляя очередной пасквиль в «органы», что хотел, чего добивался? Делал он это то ли от злобной зависти к блестящей работе гениального хирурга, к его растущей популярности, то ли от неистребимой ненависти к его еврейскому происхождению? Ведь «дело врачей» уже набирало обороты, и раскручивали его сотни таких марьиных… Сразу же после первой операции на сердце, проведённой А. М. Дыхно в 1952 году, последовал донос об «экспериментах над людьми». Постоянные «информации» в партийные органы, совокупность «дела» и доносы ставили под угрозу работу врачей края и клиники.

Об этом вспоминает профессор, морфолог Лидия Борисовна Захарова: «Я не успевала забрать в морфологическую лабораторию удалённый во время операции материал, как уже находилось один-два человека, интересовавшихся правильностью диагноза и тактикой хирурга. Думаю, что, возможно, нервозная обстановка была одной из причин повторяющихся у Александра Михайловича инфарктов, которые так рано оборвали его жизнь».

И собирались вновь и вновь усталые комиссии, которые были обязаны «отреагировать», разбирались в правомерности той или иной операции, назначениях и вновь убеждались в высоком профессионализме А. М. Дыхно. Он всегда с честью выходил победителем из этих разборок, но на его уже раненном однажды сердце они оставляли всё новые рубцы.

Доцент Марьин жил в самом центре Красноярска, рядом с 10-й школой, в добротном доме. Сколько доносов рождалось вечерами за этими стенами, сколько горя несли людям листки бумаги, наполненные ядовитой желчью! И словно догадываясь об этом, Марьина ненавидели все мальчишки во дворе. Детская интуиция здесь была точной. Сделать ему какую-нибудь пакость они не считали детской шалостью, а даже гордились этим. А фантазия у них была богатая. Доставалось и автомобилю доцента — редкому в те годы имуществу рядового гражданина. То в выхлопную трубу картошку забьют, то шины продырявят…

Несмотря на сложную обстановку вокруг себя, Александр Михайлович был непоколебим в правоте своих дел служения людям, по-прежнему оставался честным, прозорливым, дружелюбным человеком с открытой душой. Находил мужество в это неспокойное время защищать других.

В 1952 году заведующим хирургическим отделением Минусинской центральной больницы был Василий Алексеевич Козлов, имевший прошлое «врага народа». Он подвергался яростной травле со стороны П. И. Д. — врача-хирурга с ограниченным диапазоном хирургических вмешательств, но высоким уровнем «идеологического развития». Доходило до прямых оскорблений и угроз. Работать стало невозможно, и В. А. Козлов пишет заявление об уходе. Это событие совпало с командировкой А. М. Дыхно в Минусинск. Профессор сделал детальный обход отделения, разбор каждого больного, задавая вопросы лечащему врачу и заведующему отделением, побеседовал со всеми больными, осмотрел операционную, медицинское оборудование, кухню, прачечную, все подсобные помещения. Обход длился долго, но спокойно и корректно.

После этого пригласил обоих в кабинет. Первый вопрос — В. А. Козлову: «Почему вы хотите

уволиться?» Козлов кратко изложил причины, добавив, что в хирургии конфликтные ситуации очень опасны и для больных, и для общего дела.

«Какие у вас претензии к Козлову?» — вопрос к П. И. Д. «Да… собственно… никаких…» — «А точнее?» Долгое молчание.

Александр Михайлович резко, категорически потребовал от Д-й прекратить все выпады в адрес Козлова, добавив: «Постыдились бы после этого называться хирургом! Вы этого недостойны. А вам, коллега, надо постараться забыть эти истерические вспышки и продолжать работать как работаете. Работой отделения я доволен».

Пророчество А. М. Дыхно сбылось: в 1955 году П. И. Д. была уволена из больницы «за недостойное поведение».

Весь стиль взаимоотношений с коллегами, больными, персоналом носил отеческий характер, открытый для любого, но одновременно и строгий, но не унижающий. Он откликался на любую просьбу о помощи, от кого бы она ни исходила. К нему обращались коллеги, если не могли найти нужную книгу или статью в библиотеке мединститута. Профессор Дыхно имел уникальную библиотеку. И если он обещал «порыться», то на следующий же день приносил нужную книгу — то Мондора, то Лежара, то Войно-Ясенецкого. Клиническому ординатору (впоследствии профессору) Александру Николаевичу Орлову он предложил научную работу, посвящённую выявлению и лечению дыхательной недостаточности больных тиреотоксическим зобом. Для исследований понадобились спирограф и оксигемометр. Спирограф был приобретён усилиями Александра Михайловича через «Медтехнику», а вот оксигемометр, который только появился в столичных клиниках, он пообещал «добыть хоть из-под земли». В Москве, получив разрешение Минздрава, за свои деньги купил аппарат, лично самолётом доставил в Красноярск и вручил Орлову.

Обладая высокой хирургической техникой, прекрасно владея всеми видами анестезии — от инфильтрационной по методу А. В. Вишневского до внутрикостной и проводниковой, обладая глубокими познаниями в клинической диагностике, анатомии, патологической анатомии, физиологии, фармакологии и других науках, профессор Дыхно становится примером для своих сотрудников и студентов мединститута.

Студенты и врачи приходили на его лекции заранее, чтобы занять удобные места. Лекции профессора отличались оригинальностью, глубиной обсуждаемых вопросов, анализом клиники, диагностики. Они сопровождались обязательным разбором тематических больных, анализом монографической и периодической литературы по данному вопросу. Александр Михайлович обладал феноменальной памятью. У него никогда не было конспектов лекций, только план лекции на маленьком листочке. Он цитировал авторов, годы издания монографий, номера страниц. Студенты и сотрудники не раз проверяли это и всегда убеждались в его правоте.

Его лекции покоряли студентов, заставляли по-новому смотреть на избранную профессию. Его вопросы на экзаменах были неожиданными, он очень ценил ответы, в которых проявлялось нестандартное мышление. Успех студента в операционной или на экзамене встречал с одобрением и выражал свою радость бурно, эмоционально. Особенно ценилось в студенческом мнении то, что Александр Михайлович, при внешней лёгкости общения, проявлял абсолютную твёрдость и неуступчивость при защите принципиальных позиций и так же твёрдо и решительно мог защитить студента перед деканом или ректором, если считал его несправедливо обиженным.

Не менее ярко проявлялся профессиональный, педагогический и организаторский талант профессора Дыхно в отношении к врачам и делам клиники. После удачно проведённой в 1948 году в Москве профессором А. Н. Бакулевым операции на сердце клинике, возглавляемой А. М. Дыхно, одной из десяти в СССР, было разрешено проводить такие операции. В 1952 году им была выполнена первая в Красноярске и за Уралом операция на сердце — перевязка незаращённого артериального (Боталлова) протока. И снова сенсация: удаление инородного тела — швейной иглы — со стороны задней поверхности сердца.

В 1955 году будет опубликована статья А. М. Дыхно «Местное обезболивание при операциях на сердце», в которой в деталях описан метод тугого ползучего инфильтрата по А. В. Вишневскому. Заметим, что данный раздел местной анестезии не нашёл отражения в трудах самого А. В. Вишневского. С позиций сегодняшнего дня, когда операции на сердце выполняют под интубационным наркозом и искусственным кровообращением, не перестаёшь удивляться мужеству хирурга-новатора.

Но вернёмся в 1952 год. Александр Михайлович Дыхно впервые в стране выполнил правостороннюю гемигепатэктомию (удаление правой доли печени, поражённой злокачественной опухолью) в связи с метастазом меланомы. Его статья о проведённой операции пролежала в редакторском портфеле медицинского журнала «Вестник хирургии» более двух лет и, вероятнее всего, так и не увидела бы свет, если бы не сообщение французских хирургов о подобной операции в 1952 году, проведённой во Франции. Обе эти операции были проведены независимо друг от друга в двух странах. Редактору пришлось усмирить свои «амбиции центра», напечатать статью и признать, что пальма первенства принадлежала глубокой сибирской периферии.

Через год-полтора семья Дыхно получила новую четырёхкомнатную квартиру. Сбылась мечта профессора иметь рабочий кабинет, где бы он имел возможность более комфортно работать, принимать коллег по работе. Были куплены новый письменный стол, книжные шкафы.

Для библиотеки нужно было много места: она была уникальна и обширна, на все вкусы. И отношение к книгам было трепетным. Сочинения О. Бальзака, Г. Мопассана, полные собрания сочинений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Шишкова, Т. Драйзера, Д. Голсуорси, О. Генри, все военные и послевоенные подписные издания, К. Симонов, И. Эренбург, «Библиотека приключений», приложение к журналу «Сельская молодёжь» — «Подвиг», Большая советская и медицинская энциклопедии, книги по искусству и кулинарии. Всё это богатство путешествовало вместе с семьёй, пополнялось каждый год, бережно хранилось и хранится сейчас в семье Дыхно.

Медицинская же часть библиотеки была уникальна: труды Ю. Ю. Джанелидзе, В. А. Оппеля, А. В. Вишневского, С. П. Фёдорова, А. Бира, С. С. Юдина, журналы по хирургии, монографии, учебники, труды по многим заболеваниям, их диагностике и лечению.

А. М. Дыхно одним из первых в СССР отказался от выжидательной тактики при угрожающих жизни гастродуоденальных кровотечениях и оперировал больных на высоте кровотечения, что в последующие годы получило всеобщее одобрение хирургов.

Бескрайние просторы Красноярского края, районные центры, куда «только самолётом можно долететь», десятки, а то и сотни километров по бездорожью — как часто санитарные машины доставляли больных с острыми заболеваниями, требующими немедленной оперативной и реанимационной помощи, слишком поздно… Большая летальность таких больных была острой проблемой не только в Сибири. Для её решения А. М. Дыхно вместе с В. К. Сологубом, А. А. Кокориной, В. А. Ароновым впервые в мире предложили проводить операции при внутрибрюшном кровотечении во время полёта самолёта. И это было осуществлено А. А. Кокориной. Это нововведение легло в основу создания в стране так называемых «летающих операционных». Одновременно в НИИ хирургического инструмента было создано всё необходимое оснащение для таких операционных.

Ни одно новое хирургическое или терапевтическое предложение в мире или стране не ускользало от взгляда А. М. Дыхно. Для осуществления нового способа операции по поводу рака пищевода с помощью администрации края на заводе «Красмаш» были разработаны и изготовлены необходимые инструменты.

Александр Михайлович одним из первых в стране поднял вопрос о специализации хирургической службы и принял самое активное участие в подборе кандидатов на ту или иную специальность. Как-то «само собой» получалось (не без «помощи» А. М.), что одни занимались больше грудной хирургией, другие травматологией, урологией и т. д. Так формировались кандидаты на будущие самостоятельные направления хирургии.

Палочку нейрохирургической эстафеты профессор Дыхно передаёт Н. С. Дралюк. Она была направлена в Институт нейрохирургии им. Поленова на специализацию. Вернувшись в Красноярск, Нина Семёновна стала лидером нейрохирургии в крае и родоначальником династии нейрохирургов Дралюк. Под влиянием А. М. Дыхно новый стимул приобрели работы Н. И. Захарова в урологии.

За шесть лет работы в Красноярске А. М. Дыхно создал приоритетные направления в хирургии: нейрохирургию, сердечно-сосудистую хирургию, хирургию пищевода, лёгких, ортопедию и травматологию, онкологию. В дальнейшем из доцентских курсов были сформированы кафедры госпитальной хирургии, хирургической стоматологии, травматологии и ортопедии, онкологии, сердечно-сосудистой хирургии, урологии.

Александр Михайлович Дыхно был мощным генератором идей и начинаний. Известные учёные и практики В. Г. Вагнер, Ю. М. Лубенский, Н. И. Захаров, Л. Б. Захарова, В. К. Сологуб, А. Н. Орлов, Н. С. Дралюк, М. М. Архипенко, В. А. Козлов, В. М. Людкова, В. П. Красовская и другие признаются как на исповеди: «Своими успехами в хирургии, в науке я обязан (обязана) Александру Михайловичу Дыхно».

Всё, чем природа одарила этого человека, он без оглядки, щедро и бескорыстно отдавал людям, делам клиники, коллегам и больным. Своим ученикам он внушал свои принципы: «Если есть хоть один шанс из ста — хирург обязан идти на операцию».

Руководитель большого отряда замечательных специалистов-хирургов, он думал и заботился о каждом. «Сверху» пришло указание: озеленить территорию краевой больницы. Выйти должны были все, никто не смел ослушаться. Профессор Дыхно своим приказом запретил хирургам, операционным и перевязочным сёстрам выход на субботник, а вечером встретился с первым секретарём крайкома КПСС Николаем Николаевичем Органовым и убедил того, что «руки хирурга — инструмент, которому нет цены». В результате этого разговора Н. Н. Органов поддержал запрет заниматься посадкой деревьев хирургам и музыкантам.

Традиционные чаепития на кафедре по праздникам, юбилеям и памятным датам не обходились без участия Александра Михайловича, его щедрых

субсидий. В эти часы отдыха он был весёлым, мог петь и танцевать вместе со всеми.

На праздничных демонстрациях он всегда был в гуще веселящихся от души студентов, играл с ними в популярного в те годы «жучка»: нужно было угадать, кто из стоящих сзади ударил по руке. Угадаешь — меняешься с ним местами. Александра Михайловича часто подводила сила удара, хоть он и старался бить не очень сильно. Но и ему частенько доставалось. Звание профессора и преподавателя не учитывалось, все шутили, смеялись.

И снова беда, и как в тот раз — неожиданно. На первомайской демонстрации в 1953 году случился второй инфаркт. Его привезли домой, а не в больницу,— дом был ближе. Отклик в среде коллег был ошеломляющий. Желающих помочь — не сосчитать. У постели больного организовали круглосуточное дежурство, сменяя друг друга, как в больнице, по часам. Ведущие специалисты клиники постоянно вели наблюдение за ходом болезни. Привезли необходимую медицинскую аппаратуру. Квартира представляла миниатюрную палату интенсивной терапии. Кормили и поили его с ложечки, сами решая, что приготовить и чем кормить. Такой заботой, вниманием и любовью ответили в трудный час те, с кем он работал. Это, несомненно, помогло ему быстро поправиться и снова продолжить работу в прежнем режиме.

Опорой Александра Михайловича всегда была его жена, Елена Яковлевна. Она работала в Красноярском мединституте доцентом кафедры нервных болезней и одновременно вела курс физиотерапии. Елена Яковлевна была так же неистова в работе, как её муж. Инициативная, она очень много сделала для развития медицины в крае. Она объединила всех физиотерапевтов городов и районов края, создала курс тематического усовершенствования врачей-физиотерапевтов, сформировала краевое общество физиотерапевтов и в течение двадцати четырёх лет была его председателем. Благодаря её усилиям создана школа физиотерапевтов и физиотерапевтическая служба, которая до настоящего времени работает по единым стандартам. В знак её больших заслуг в становлении, объединении и развитии физиотерапии в Красноярске и крае научно-практическому обществу «Восстановительная медицина» присвоено имя Елены Яковлевны Дыхно.

На кладбище, где она похоронена в 1988 году, в оградке стоят два деревца — ранетки, которые каждый год весной распускают свои нежные розовые лепестки как символ дня её рождения в мае 1914 года. Здесь же сыновья поставили гранитную плиту памяти Владимира Ивановича Солошенко: 1902–1938 гг.

Александр Михайлович полностью отдался работе: много и разносторонне оперировал, опубликовал ряд оригинальных статей, методические письма по различным вопросам хирургии, возглавил краевое общество хирургов, выступал на различных конференциях и съездах. О его уникальных операциях писали газета «Красноярский рабочий», журнал «Огонёк» (№ 48, 1952 г.), научно-популярная книга профессора Л. С. Фридланда «По дорогам науки» (1951 г.) и другие.

В 1952 году к обязанностям председателя краевого общества хирургов добавилась должность главного хирурга края. Много ездит сам, уделяя огромное внимание росту квалификации хирургов периферии. Он знал лично каждого хирурга, вёл с ними широкую переписку, организовал их специализацию и усовершенствование в клинике краевой больницы, командировал хирургов клиники в районы для оказания экстренной и плановой методической помощи, проводил краевые конференции.

Кандидат медицинских наук Евгения Леонидовна Корчагина вспоминает: «Как-то районный хирург позвонил профессору домой и сказал, что выполнил пять операций под местным обезболиванием, но больные вели себя беспокойно. Оказалось, что новокаин был приготовлен не на изотоническом, а на гипертоническом растворе. Александр Михайлович сказал, что нужно делать, и сразу же вылетел в район. Все больные поправились».

А вот другой случай. Александр Михайлович направлялся по Енисею в Игарку. Теплоход пришвартовался в Туруханске. Воспользовавшись остановкой, Александр Михайлович направился в районную больницу, куда в это время доставили из далёкой фактории беременную женщину в тяжёлом состоянии. Профессор осмотрел её и сказал, что нужна экстренная операция — кесарево сечение. Вот как описывает происшедшее кандидат медицинских наук Валентина Макаровна Людкова, работавшая в то время хирургом Туруханской больницы: «Операцию он выполнил сам. Я ему ассистировала и была восхищена быстротой и виртуозностью, с которой был извлечён живой и здоровый ребёнок. Вся операция длилась не более десяти минут, а запомнилась мне на всю жизнь!»

Тысячи операций за годы работы хирургом. Работоспособность его поражала многих. Его рабочий день начинался около восьми часов утра, а заканчивался за полночь. Днём — в клинике, вечером — за письменным столом, при свете зелёной лампы. И так изо дня в день, из года в год.

Но, несмотря на огромную нагрузку, Александр Михайлович продолжал оставаться жизнерадостным, весёлым, остроумным. Он обладал какой-то притягательной силой, юношеским задором, озорством, юмором. Многогранность его характера вне стен операционной и клиники поражала

окружающих неординарностью. Казалось, он может найти выход в любой ситуации.

Однажды во время одной из командировок перестала включаться пониженная передача на автомашине. По ровной дороге едет хорошо, но как только подъём — не тянет, хоть плачь. А подъёмов — хоть отбавляй. Вместе с водителем нашли выход: на подъёмы «задом», затем разворот — и дальше, как все, до следующего подъёма. И так всю поездку.

Старший сын, Эрнест, до сих пор помнит прогулку с отцом в Атаманово: «На размытой лесной дороге мы увидели буксующий в луже ЗИС-150 с двумя измученными, измазанными в грязи шофёрами, потерявшими надежду выбраться. Отец добрался до грузовика и говорит: «Давайте-ка я попробую!» Те безропотно согласились, им уже было всё равно. Усевшись за руль и попробовав переключение передач, он начал всё сильнее и сильнее раскачивать машину, и та потихоньку двинулась вперёд. Выехав на сухое место, он вылез из кабины и говорит: «Дальше сами сможете. Запомнили, как нужно делать?» Шофёры молча кивнули, а один спросил меня: «Наверное, опытный механик?» — «Нет, — говорю, — профессор, врач». Недоумённо посмотрев на меня и ничего не поняв, молча направились к машине».

Александр Михайлович на планёрки никогда не опаздывал и не терпел опозданий. Но однажды сам опоздал минут на двадцать. Запыхавшись, с шумом влетел в зал и громко сказал: «ГАИ меня остановили, оштрафовали. Видите ли, я превысил скорость!» Но так и было. На своей машине «Победа» цвета морской волны он ездил по городу со скоростью сто — сто двадцать километров в час.

Не забывал он посмотреть новые кинофильмы и премьеры в театрах им. Пушкина и музкомедии. Сыновей учил играть в шашки и шахматы, вместе с Еленой Яковлевной приучал их к «прозе жизни»: стирать, гладить, обойтись без электромонтёра, приготовить обед, убрать квартиру. Следил за спортивными достижениями старшего сына, который уже в девятом классе играл в футбол за взрослую команду «Динамо», а затем был зачислен в сборную РСФСР. Отец смотрел многие матчи с его участием, а однажды в Атаманово, во время матча, на его глазах Эрнест сломал ногу. По команде отца ему оказали первую помощь и на руках отнесли в больницу. Первая операция, после которой — восемьдесят километров в старой «санитарке», на раскладушке, по гравийке, полной рытвин и ухабов. Пост ГАИ, где машину почему-то не хотели пропускать, и слова отца: «У меня в машине больной. Если не поднимете шлагбаум, сам сяду за руль и снесу к чёртовой матери вашу деревяшку!» Затем в краевой больнице снова накладывали гипс — кости всё же сместились. Но всё обошлось.

Александр Михайлович находил время и для отдыха с семьёй, и для общения с друзьями. Его интересовали культурная жизнь города, спорт. Не чужды ему были и состязания «на скорость» в забеге на коньках на стадионе «Локомотив» со своими более молодыми друзьями и коллегами.

«Я, будучи студентом, затем клиническим ординатором, к тому же чемпионом Сибири и Дальнего Востока по конькам, — вспоминает профессор Александр Николаевич Орлов, — не раз восхищался его успехами… конькобежца. На финише на лбу у него выступала лёгкая испарина, в глазах загорались озорные огоньки: „Ну вот, я вас обставил, чемпионы… Учтите, дорогу в науке осилит бегущий!“»

Ещё одна игра — «паровоз» на катке стадиона «Локомотив», о которой вспоминает Эрнест Александрович: «Вечер. Отец на коньках в окружении своих сослуживцев. Игра заключается в следующем: люди становятся в цепочку, каждый держит впереди стоящего за поясницу. Впереди — самый быстрый бегун на коньках. И вот цепочка начинает бег. Руки отпускать запрещено. Всё быстрее и быстрее по кругу, встречные шарахаются в сторону от крика «Берегись!». И вдруг первый, вместо поворота по кругу, несётся прямо и только в самый последний момент успевает неожиданно отклониться в сторону и остановиться. Остальные по инерции влетают в снежный отвал катка. Получается куча-мала, но все веселы и хохочут. Отец был первым».

Одно из увлечений Александра Михайловича — цирк; он знал многих артистов, особенно любил борцов и силовых жонглёров. Однажды он вернулся из цирка с подарком: артисты подарили ему щенка, карликового пинчера. Назвали собачку Дези. Она стала любимицей Александра Михайловича и всей семьи. Многие потом узнавали их издали: внушительного вида, элегантно одетый мужчина в шляпе с собачкой на поводке, величиной с его полуботинок. Эта картина всегда вызывала улыбки встречных. Он любил эти прогулки. Его умение одеваться и его облик были «визитной карточкой» узнаваемости: высокий рост, широкие плечи, шляпа (ничего другого он не признавал), костюмы менялись, но неизменно на рукавах его рубашек красивые запонки и булавка с камнем в галстуке. Дополняли облик этого человека элегантность и что-то аристократическое, в хорошем понимании этого слова, его умение общаться с людьми, его притягательность. Человек слова, долга и чести. Добавьте сюда смелость, юношеский задор и азарт, как у гусаров из старых повестей и кинофильмов, и у вас получится образ Александра Михайловича Дыхно.

Он обладал даром иметь друзей, быть верным дружбе долгие годы. Всю жизнь хранил он самые тёплые отношения с А. А. Вишневским,

А. С. Стесиным, В. Ф. Голосовым, О. И. Рута, сокурсниками, коллегами и многими другими. Както в канун большого праздника «почтальоны» (сыновья) ради любопытства решили сосчитать количество поздравлений. «Любопытство» закончилось на двести шестидесятой открытке. Были ещё, но те уже не считали.

В праздничные дни в доме собирались друзья семьи. Стол всегда поражал обилием, а приём гостей — радушием, весельем, музыкой. По просьбе гостей Елена Яковлевна играла с листа произведения Чайковского, Черни, отрывки из «Марицы», а Александр Михайлович под собственный аккомпанемент пел «ростовские» шансоны двадцатых — тридцатых годов: «Мурку», «Гоп со смыком», «Фонари качаются», причём играл и пел с азартом, а жена, поспешно убирая вазы с раскачивающегося пианино, умоляла: «Аля, Аля, осторожнее!» Смех, шутки, танцы были непременным атрибутом этих вечеров.

Весной 1956 года А. М. Дыхно был председателем Государственной экзаменационной комиссии. Сто семьдесят шесть студентов получили дипломы врачей. Сорок из них стали хирургами. Выпускной бал проходил в театре музыкальной комедии. Весь вечер, продолжая выполнять обязанности председателя ГЭК, профессор говорил всем напутственные слова, произносил разные тосты, учил, что врач должен быть профессионалом и обладать человечностью.

1954–1956 годы были для Александра Михайловича насыщены важными событиями. После выступления на расширенном заседании Президиума Академии медицинских наук в Новосибирске с докладом «О борьбе с сельскохозяйственным травматизмом» были существенно переработаны сельскохозяйственные машины на Челябинском тракторном и Красноярском комбайновом заводах. В 1955 году опубликована монография «Рак желудка», достаточно быстро ставшая библиографической редкостью. Ярким, живым словом автор делится своим личным опытом, предостерегая хирурга от неоправданных решений. В 1956 году А. М. Дыхно получает приглашение от редактора реферативного журнала «Excerpta midica», издаваемого в Нидерландах, быть членом редакционной коллегии. Несомненно, что это приглашение было основано на известности А. М. Дыхно среди хирургов Советского Союза, на его огромном вкладе в развитие отечественной хирургии и на значимости опубликованных работ.

В октябре 1956 года по приглашению министерства здравоохранения СССР профессор Дыхно принял участие во Всесоюзном совещании актива работников здравоохранения. Совещание проходило в Кремле. Александр Михайлович выступил при обсуждении проблем травматизма на промышленных предприятиях. Он указал не только количество и тяжесть травм, но и научно обосновал причины травматизма и пути его профилактики. В дальнейшем на ряде предприятий страны были реализованы рекомендации Дыхно. В этом же 1956 году в Куйбышеве он участвует в 1-й Всероссийской конференции хирургов России. Были разработаны и приняты положение о Всероссийском научном обществе хирургов, устав общества. Председателем был избран профессор А. А. Вишневский, его заместителем — профессор А. М. Дыхно. В ноябре 1956 года в Ленинграде состоялось заседание правления Всероссийского общества хирургов, на котором обсуждалась программа первого пленума и место его проведения. Был выбран Красноярск.

Пленум состоялся в конце июня 1957 года. Оргкомитет пленума, возглавляемый А. М. Дыхно, создал самые благоприятные условия для его проведения: лучшие гостиницы для делегатов, бронирование мест в театрах и кинотеатрах, экскурсии. Газеты и радио информировали жителей города о работе пленума. На заседаниях присутствовали знаменитые профессора страны: А. А. Вишневский, Е. Л. Березов, Ф. Р. Богданов, Н. И. Краковский, Б. А. Петров, С. П. Протопопов, А. Г. Савиных. Председателем совещания главных хирургов и травматологов АССР, краёв, областей и городов РСФСР был утверждён профессор А. М. Дыхно. Профессор А. А. Вишневский дал высокую оценку докладу А. М. Дыхно на пленуме: «Касаясь доклада профессора А. М. Дыхно, я могу поздравить его с большим успехом в области хирургии опухолей средостения. По справедливости он может гордиться своим опытом и достижениями».

Начало работы пленума совпало с торжественным вечером выпускников мединститута. Проходил он в ДК железнодорожников. На торжественное заседание были приглашены ведущие хирурги страны. Зал был переполнен: пришли преподаватели института, студенты и их родители, врачи лечебных учреждений города. Все хотели увидеть тех, чьи имена умножали приоритет отечественной медицины. Когда ректор Красноярского медицинского института Пётр Георгиевич Подзолков объявил доклад председателя Государственной экзаменационной комиссии, присутствующие стоя аплодировали Александру Михайловичу.

Спустя много лет на одной из конференций хирургов А. А. Вишневский в присутствии профессоров С. П. Протопопова, С. И. Смеловского, Г. Д. Вилявина, М. М. Воропаева и других сказал сыну Александра Михайловича — Юрию Александровичу Дыхно: «Мы знали о его популярности в Красноярске и в кругах хирургов страны. Но то, что мы увидели в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году в Красноярске, было подобно

извержению вулкана». А дальше следовали слова сожаления о его короткой, подобно комете, жизни.

Работа пленума, всколыхнувшая общественную жизнь Красноярска, закончилась 27 июня. По рекомендации главного хирурга Минздрава РСФСР профессора Н. И. Краковского, Александр Михайлович стал готовить документы на присвоение ему звания заслуженного деятеля науки РСФСР и для поездки на Всемирный конгресс хирургов в Мексику.

Строились планы дальнейшей работы: создание филиала Института хирургии А. А. Вишневского в Красноярске, организация специализированных отделений на базе краевой больницы, строительство нового хирургического корпуса…

В июле Александр Михайлович, Елена Яковлевна и младший сын Юра уехали в отпуск. Хотели остановиться на несколько дней в Москве для окончательного оформления документов в министерстве здравоохранения. Кроме того, в Москве открывался VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов — как же это было интересно человеку, отдававшему часть своего времени, сил и души молодёжи, своим студентам. А сейчас здесь, на московских улицах, столько интересных незнакомых юношей и девушек, представителей стран, доселе нам не знакомых — ведь ещё совсем недавно даже мысль о контактах с ними в умах советских людей была недопустима. Активному и жизнелюбивому по натуре, Александру Михайловичу хотелось как можно больше увидеть и услышать в дни фестиваля. Он даже послал сотрудникам кафедры шутливую телеграмму, что обязательно потанцует с француженкой. Кроме того, как никогда раньше, он хотел отдохнуть — сказывалась усталость после пленума.

25 июля был днём открытия фестиваля. Александр Михайлович смотрел праздничное шествие делегатов всех стран мира по Садовому кольцу вместе с женой, сыном Юрой и сестрой Норой. Там произошла его последняя случайная встреча с И. А. Дударь-Стесиной.

«Александр Михайлович рвался вперёд, где конная милиция сдерживала ряды зрителей, — вспоминает Ирина Аверкиевна. — После окончания шествия мы остались на опустевшей Садовой. Он был весёлым, много шутил, ничто не предвещало беду, только был очень бледен. Я сказала мужу: «Посмотри, какая красивая рубашка на Александре Михайловиче». На что профессор с озорной улыбкой выставил вперёд ногу, приподняв брюки, и сказал: «А у меня вот ещё что есть», — и показал красивейшие носки».

30 июля он собирался посетить «Лужники», у него были билеты, но перед этим он хотел посмотреть концерт делегации из Израиля в Измайловском парке. В этот день он был очень весёлым, купил себе новые туфли. На концерт отправился один. Здесь, во время концерта, и произошла трагедия. Третий инфаркт миокарда оборвал на сорок шестом году жизнь профессора Дыхно.

В траурном зале института им. Склифосовского состоялась печальная панихида, на которой присутствовали ведущие учёные-хирурги страны, многие другие, в том числе и красноярец Юрий Моисеевич Лубенский, его ученик, впоследствии профессор, его преемник по руководству кафедрой госпитальной хирургии. Все были подавлены случившейся трагедией, в умах этих людей кипучая, жизнеутверждающая натура Александра Михайловича была несовместима со смертью. Много было сказано тёплых, искренних слов. Боль и недоумение звучали в каждом выступлении. Затем проводы в аэропорту Быково в последний путь — домой, в Красноярск.

В состоянии подавленности были и красноярцы, когда пришло сообщение о внезапной кончине А. М. Дыхно. Утрату тяжело переживали все: и те, кто с ним работал, и те, кто у него учился и лечился, и даже те, кто никогда его не видел. Так хорошо он был известен людям даже в самых отдалённых уголках Красноярского края. Так был велик авторитет врача-целителя.

Гроб с телом А. М. Дыхно был установлен в фойе драматического театра им. Пушкина. День похорон выпал на воскресенье. Начало прощания назначили на десять часов, но ещё за час до открытия дверей театра начали подходить люди, а к десяти часам всё видимое пространство перед театром было заполнено желающими отдать долг уважения этому человеку. Прощание длилось несколько часов. Шли медицинские работники города, жители Красноярска, приезжие из городов и деревень, были хирурги почти из всех уголков края. Многие плакали. Весь Красноярск как личную трагедию принял известие о смерти профессора А. М. Дыхно. Путь от театра до кладбища был усыпан пихтовыми ветками и живыми цветами. Похоронная процессия растянулась на несколько километров. Хирурги клиники, города и края, сменяя друг друга, несли гроб на руках. Тротуаров не было видно — с обеих сторон на протяжении всего пути стояла плотная стена людей.

Похоронили его на Троицком кладбище, за оградой которого в те годы проходила единственная дорога в краевую больницу, в клинику, где он работал. Здания мединститута ещё не было. Как-то, месяца за два до этого, Александр Михайлович ехал с коллегами на работу. Проезжая мимо, он указал на угол кладбища, расположенного рядом с дорогой, и сказал, чтобы его непременно похоронили здесь, чтобы постоянно видеть окна

больницы и врачей по пути на работу. Сказано это было как бы шутя.

Все, кто слышал его слова, посчитали своим долгом выполнить его волю.

Раньше к могиле вела аллея из двадцати тополей, посаженных руками его сыновей, в конце которой поставлен строгий, обладающий какой-то притягательной силой массивный памятник из чёрного лабрадора, чем-то напоминающий покоящегося под ним человека.

Четыре тысячи смертей
(внушительный итог!)
смог отвести он от людей,
а от себя не смог…
Была работа на износ—
без поз, без громких фраз.
Тот, кто здоровье людям нёс,—
как искра, сам угас.
Но живы тысячи людей
спасённых. Потому
их жизни, жизни их детей—
вот памятник ему!
В. Грядовкин

Сегодня нет уже этой аллеи. На её месте, недалеко от могилы Учителя, Друга, Соратника, захоронены выдающиеся врачи, сотрудники Красноярского медицинского института, люди, с которыми он работал и дружил…

Решением крайисполкома за огромные заслуги А. М. Дыхно перед медицинской наукой и практическим здравоохранением клинике госпитальной хирургии было присвоено имя профессора А. М. Дыхно. Один из буксиров, по решению Енисейского речного пароходства, ходил по Енисею с гордым именем на борту: «Хирург А. Дыхно». За заслуги перед отечеством профессор А. М. Дыхно Советом Особой Дальневосточной армии награждён значком «Участнику Хасанских боёв»; орденами Красной Звезды и «Знак Почёта»—за работу в дальневосточных эвакогоспиталях во время Великой Отечественной войны; медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Министерство здравоохранения наградило его значком «Отличник здравоохранения». Было ещё одно звание: «Почётный строитель города Комсомольска-на-Амуре»—и множество почётных грамот.

В октябре 2004 года на доме по улице Карла Маркса, 132, где профессор А. М. Дыхно жил последние годы, установлена памятная мемориальная доска с барельефом легендарного хирурга. Памятная доска установлена и в новом здании краевой больницы, на стене справа от входа. На барельефе профессор А. М. Дыхно держит руку на пульсе больного, вслушиваясь в биение его сердца.

Имя профессора А. М. Дыхно занесено в Большую медицинскую энциклопедию.

Это правительственные и отраслевые награды. Но есть и другие, не менее, а может быть, и более ценные. Знаки отличия, которыми награждает народ. Александр Михайлович Дыхно—обладатель трёх таких уникальных орденов: «Уважение», «Любовь» и «Память». Трижды прошедший «сквозь строй» в страшные годы репрессий—1937–38, 1947–48 и 1952–54—в Ростове-на-Дону, Хабаровске, Красноярске, но не изменивший своим моральным принципам. Реально осознавая опасность, женится на вдове «врага народа», усыновляет Эрнеста и выполняет написанное перед смертью завещание его отца: вырастить, воспитать и выучить его сына (Эрнест Александрович Дыхно стал инженером-конструктором вертолётного КБ им. М. Л. Миля в Москве). Отбиваясь сам от доносов в 1952 году, спасает от клеветы бывшего «врага народа» хирурга Василия Алексеевича Козлова.

Итог его служения людям и науке—тысячи операций, среди которых те, что выполнены впервые в стране. Ещё одно огромное наследие профессора—плеяда учеников, выросших в видных учёных и блестящих хирургов.

До сих пор живы память и уважение этих людей и их близких к Александру Михайловичу Дыхно. Эту память хранит и продолжает эстафету его дел сын—заслуженный врач России, доктор медицинских наук, хирург-онколог, профессор Юрий Александрович Дыхно, награждённый Ассоциацией красноярских врачей «Золотым скальпелем» и золотым знаком «Герб города Красноярска» за заслуги перед городом. Недавно ему вручена медаль «За мужество и гуманизм». Его дочь Ирина Александровна Лопаева—доктор медицинских наук, микробиолог; внучка Елена Евгеньевна Лопаева—врач-косметолог. Его внук Александр Юрьевич Дыхно—кандидат медицинских наук, хирург-онколог Российского онкологического центра в Москве; правнучка Арина Александровна Дыхно—врач скорой помощи в Красноярске; ещё одна правнучка—студентка КрасМУ, мечтает стать детским врачом… Династия врачей Дыхно будет жить, унаследовав всё лучшее от Александра Михайловича, следуя его моральному кодексу: «Светя другим—сгораю».

Сергей Черняев

Внутренний храм

Совпасть судьбою с прихотью узора…

Из неопубликованной книги «Сны царя Мавсола»

Сергей Петрович Черняев родился 28 февраля 1970 года в селе Русская Лозовая Дергачёвского района Харьковской области. Стихи писал с двенадцати лет на русском и украинском языках. Занимался спортом, стал кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике. В 1993 году окончил филологический факультет Харьковского госуниверситета. Учился в аспирантуре. В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию по философии «Идеи дзен-буддизма в творчестве Дж. Д. Сэлинджера (философский аспект анализа)». С 1997 года преподавал философию и культурологию на кафедре социально-экономических и гуманитарных дисциплин Харьковского военного института офицеров внутренних войск МВС Украины. Был убит 1 мая 2002 года. При жизни поэта стихи печатались в «Антологии современной русской поэзии Украины» (т. 1, Харьков, 1998), в книге «Слобожанська муза. Антологія любовної лірики XVII–XX століть» (Харків, 2000), а также в немногочисленных журналах, альманахах и газетах. Поэт увидел изданной только одну свою книгу стихов и переводов — «Терези тиші» (Харків. Майдан, 1996. — 62 с.), по которой и был принят в Национальный союз писателей Украины. Был членом правления Харьковского отделения СПУ.

Посмертно вышли книги:

- *Янгол з безодні*: Поезії (Передмова І. Перепеляка). — Харків: Майдан, 2004. — 148 с.
- *Вибране* (Упоряд., підготовка тексту, передмова М. Красикова). — К.: Факт, 2005. — 172 с. (Сер. «Зона Овідія».)
- *Зелёное солнце*: стихи (Предисл., сост. и подгот. текста М. М. Красикова). — Харьков: Эксклюзив, 2009. — 96 с.

Фрагменты из обширного поэтического наследия С. Черняева печатались в книгах «Слобожанська яса: Антологія громадянської лірики кінця XVII — початку XXI століття» (Харків, 2006); «Украина. Русская поэзия. XX век. Антология». (Киев, 2008), журналах «Березіль» (Харків, 2004, №3–4), «Дикое поле» (Донецк, 2007/2008, №11), «Лава: Журнал поэзии» (Харьков, №1/2010, №3/2011), «Sub Rosa: Дивный журнал идей» (Киев — Елизаветград, №2/2010) и альманахах «Каштановый дом» (Киев, вып. 4/2008; вып. 5/2009), «Левада: Молодіжний літературно-художній альманах» (Харків, вип. 8/2009), «Семейка» (Вупперталь, Германия, 2011).

Внутренний храм

Мне нечего искать у ног твоих
Судьба моя как чаша отреченья
Полна слезами гроз и нет спасенья
Вкусившему как просвиру свой стих

Свершившему молебен естеству
Предвечному чья искра в нас таима
Но звёздным ветром пролетая мимо
Я буду волновать волос листву

Впивать твоё молчанье сквозь века
Былых надежд и нежности забытой
А плоть мою из хрупкого гранита
Воздвигнут точно башню маяка

На вечности пустынном берегу
Где чайки словно древние рапсоды
Непесенный мой дар уронят в воды
Задув светильник в каменном мозгу

В зеркале суеты

Я заурядным быть не боюсь
Мы все заурядны в том
Что часто меняем минус на плюс
В судьбы уравненье простом

С цифрами носимся и с собой
Ставя равенства знак
Между иерихонской трубой
И воркованьем зевак

Сердце оплёл паутиною быт
Классики с полок глядят
Как по спиралям житейским орбит
Падаем в смерть наугад

И ни один книгочей и мудрец
Или поэт-ловелас
Не успокоят наших сердец
Вечностью мира и нас

Кто изваял и нас и свет из тьмы
О ком кощунствуем и для кого пророчим
Пусть слуги мы пусть даже тени мы
Пред солнцем мирозданья — нашим Зодчим

Но алчем знать свой жребий свой итог
Избавить ум и сердце от раздора
Дабы в безмерном кружеве дорог
Совпасть судьбою с прихотью узора

Келейник

Осень мой образ ищет давно
На пёстрых лугах реклам и афиш
Вечер рассыпал звёзд домино
В жадные пригоршни ветреных крыш

Знает он тихую келью мою
Вписанную в городской окоём
Она не сродни людскому жилью
Ибо сокрыта в сердце твоём

Сон

Я полночь пил из лунного ковша
И непомерным был глоток мой каждый
Не потому ли так черна душа
Что нету ничего в ней кроме жажды

Но полночь — сон и одурь жажды — сон
Неразличимо тьма идёт на убыль
И я проснусь и увлажню росой
Иссохшие как от горячки губы

Языческие тени

На стенах высотных домов
Плясали язычников тени
Бросали в зевы костров
Вязанки своих заблуждений

И в книге предутренней мглы
Кусая бесплотные губы
Читали по буквам золы
Свои обновлённые судьбы

Подготовил к печати М. Красиков

ДиН ревю

В книгу включена повесть Валентины Ивановой «Болезнь», в 2008 году опубликованная в журнале «Новый мир».

Сергей Есин

Валентина

Москва: «Академика», 2012 г.

«Эта книга, о друге, о жене, о человеке, без которого, как оказалось, другому человеку жизни нет. Книга о моей ушедшей навсегда жене. Её имя напечатано на обложке. «Валентина» переводится с латыни как «сильная». Такова она и была. Она также была очень умной женщиной. Ум у неё был особый, не ум хозяйки или домоправительницы — ум страстного аналитика искусства, главным образом кино, которому она отдала свою жизнь. У нас не было детей, поэтому любовь к кино и искусство многое для Валентины означали.

Она трагически и мучительно ушла из жизни. Мужеству этого долгого ухода мог бы позавидовать мифологический герой. Я с этим уходом смириться не мог и продолжал, составляя эту книгу, всё время думать и вести диалог с её героиней. Мне хотелось как можно сильнее утвердить её облик в своём сознании и, если получится, в сознании людей, встречавшихся с ней или не встречавшихся.

Книга состоит из нескольких частей. Вначале мои короткие воспоминания о днях нашей непростой юности. Они практически не завершены. Когда была написана первая часть, я почувствовал, что надобно написать и вторую, доведя её до тех дней, когда, уже в зрелом возрасте, я начал вести дневник. Мы не только жили, отчётливо понимая друг друга, но и как единомышленники вместе пережили перестройку. Мне есть что сказать здесь самому и надо было договорить за Валентину. Но есть одно «но». Мне самому теперь уже много лет, и я боюсь не успеть книгу доделать и выпустить. Может быть, позже я напишу продолжение своих воспоминаний о Вале. Всё заново скажу, и это будет уже другая книга».

Анатолий Старухин

Тени Байкала

Механическая корова Втулкина

В деревушке Яловой Втулкина знала каждая собака. По сопливой от дождей главной улице, змеевидной и коварной углами изб, плетней и ям наподобие шурфов и полузасыпанных колодцев, дополняющих страшноватый натюрморт с благодатной чернозёмной почвой, и в добрую погоду едва ли продерёшься. В эту улочку, можно сказать, единственную, вросла всего-то дюжина избушек, подчернённых тремя веками времени. Ещё и каждая чётная пустовала.

Стёпа Втулкин, если по совести, и не бытовал здесь — наезжал из близлежащего города к тётке Анфиладе, некогда ударной колхознице, — в пору, когда в государстве нашем, причудливом своей историей, ещё водились колхозы вместе с их трудоднями и живыми тружениками. Стёпа, малый годков этак тридцати, можно сказать, слыл городским, но корни его деревенские, яловские, просматривались всегда, как липкий чернозём на круглогодично толстых грубых его ботинках.

— Всё копаетесь лапами, как граблями, в навозе, — говорил он мужикам в Яловой, подлаживая на короткой шее галстук в горошек с замасленным узлом под полубритым подбородком. — А времена-то теперь совсем не те, они как с неба свалились. Чхас, землячки, бизнес надо брать в руки покрепче. Поторговал, попосредничал — и карманы трещат от монет. И чёрные ногти не надо отмочаливать в бензине. Я вот…

Увы, сотенными Втулкин сорил отнюдь не часто. «Бизнес — штука рисковая…» — вскользь оправдывал он себя, когда появлялся без галстука. Ну а в последний раз Степан Петрович прибыл в тёткину избу в Яловой вовсе не на «тойоте», а на «жигулёнке»-«копейке», и, естественно, без ошейника в горошек.

— Всё отняли, упыри, автомастерскую… Но я им покажу, как Втулкина обижать да обескровливать… Ой не возрадуются!.. Ой как каяться будут!.. — пауза. — А я не прощу! Не благотворитель я, не благодетель, не Господь Бог!..

Он, рыжеватый и коренастый, с ногами коромыслом, стучал себя при этом в слегка выпуклую грудку и разливал мужикам купленную на последние городскую «Путинку».

Мужики жалели Стёпу, хлюпали носами, опрокинув между делом ещё и бидончик самогона а-ля Яловая, и даже матерились в сторону далёкого, зловещего и мафиозного города.

А уже на следующий сентябрьский денёк Втулкин буквально притартал, неведомым образом взяв приступом бездорожье, в прицепе без номеров и стоп-сигналов, некую сияющую на солнышке абракадабру. Это был давно списанный на отдалённом сырмаслозаводе сепаратор. И не только он. Патрубки и фланцы, вентили и заглушки, причудливо изогнутые коленцами трубы, а главное, большой электромотор.

— Задумал штой-то Степан Петрович. Дык пора и ему замарать руки, отбражничал, чай, отфорсил на халяву-то городскую… Погорбаться, погорбаться, Стёпушка… — комментировали технический набор Втулкина вчерашние сочувствующие краху его авторемонтного бизнеса. — Стёпка, дьявол, не пропадёт, руки-то у него, что ни говори, золотые по локоть, из гвоздя самолёт сделает и не хуже твоего голубя в небо воздымется…

А он и впрямь — не самолёт, конечно, однако мигом мог сработать из гвоздя и заточку, и отвёртку, и крючок для наружной уборной, всякое крепление, шайбу… Семечки это всё! Он однажды, ещё жива была его тётка, из жалости к ней, свекловичнице, рабыне современности, прошедшей под высшим накалом солнца все поля на четвереньках, из старья самолично соорудил тракторишко, а из металлолома — особый культиватор, никем доселе не виданный, который сам, можно сказать, под землёй дурную траву вырезал с корнем, а зародыши сахарного растения умно оставлял! А как рычал трактор — зверем! Они с тёткой за два дня и две ночи всё колхозное пространство и облагородили. Позже, уж зимой, тётке орден вручили…

…А конструкция между тем росла и вширь, и ввысь, словно опара дрожжевая. Слепила глаза никелем. Наверху красовался бункер. Несоразмерно великий, как большой петух на маленькой курице. В помощниках у Втулкина оказался человечишко совсем никудышный — Костик, подросток годков уж пятнадцати, но даун, совсем хворый на голову, почти не говорящий, если не сказать немой. Одно слово пока из себя выдавливал уважительно: «Ф-фтула». Втулкин, значит. Второе уж и ждать не захочешь. Однако честнее самого святого, добрый

до наивности и, что особо отметим, силищу в руках и ногах имел взрослую. Стёпа вставал на зорьке и начинал клепать, гайки крутить со скрипом, что-то измерять, резать «болгаркой» трубы, что твои спички…

Мужики надоедали порой:

— Что за инопланета у тебя, Стёпа, вырисовывается?.. Никак чудить начал с горя-то? Может, выпьем по маленькой — и пройдёт?!..

Втулкин ощеривался на мужиков зубастой собакой и гнал их подальше:

— На седьмой день приходите, увидите чудо. А пока в-в-вон!..

И хватался за ключ двадцать четыре на двадцать шесть, всё равно что четырёхрогий ломик…

А дни-то бежали в такт шелестящим листкам деревенского отрывного календаря. Вот он и седьмой денёк. Обещанный.

Боязливо и недоверчиво, но мужики всё же появились. Конструкция, похоже на то, приобрела завершённые углы и линии. Рама на колёсах от машины, кубическое сплетение труб, бак оцинкованный, ещё один — поменее, мотор с проводом от столба электропередачи, кнопки на пульте красные и чёрные, тумблеры… Не постичь всё это нашим простым и в меру ограниченным разумом. Да, ещё жестяная табличка привинчена четырьмя саморезами, и на ней надпись блестящая: «КорВтул-1».

— М-м-да! — сказал рябой Сёмка. — Никак вертолёт межпланетный…

— Дурак! А лопасти где? — вмешался однорукий Ваня-пуля, бывший афганец.

— Хватит, земляки, гадать… — оборвал всех Стёпа Втулкин. — Сей момент будет презентация, и всем станет ясно… Всё гораздо проще и скромнее. Это… — он сделал томительную паузу, которая, как всем показалось, длилась занудно долго, как перед открытием сельпо. — Это… просто корова. Обычная дойная ко-ро-ва! Только механическая. На почве нанотехнологий создана. Нано… Ну как вам втемяшить?.. Это технологии на молекулярном уровне. На импульсах, микротоках, чипах, на дроблении живой клетки… Чубайс командует этим хитрым ведомством нынче в стране. Чубайса знаете?..

Присутствующие переглянулись. Опять рябой Сёмка вмешался:

— Дык кто ж его не знает? Энтот, как его, ваучер изобрёл, как ты корову… по две «Волги» на каждого из нас выделил… Где энти «Волги»? Так у нас дороги-то нету, только вездеход продерётся, потому и не доехали…

— Окстись, — прошипел окопным тенором Ваня-пуля и скрытно перекрестил свой живот, как футболист, выбегающий на поле взамен «подкованному» сокоманднику. — Ты, Стёпа, того, демонстрируй дальше, без Чубайса…

— А дальше… прошу взглянуть внимательно на табличку: «КорВтул…». Это означает: корова Втулкина первого поколения.

— Первого поколения, говоришь? Стало быть, тёлка… — не унимался Сёмка. — Яловая на данный момент… как вся наша деревня…

— Сам ты яловый, потому и живёшь в деревне Яловой. А у всех остальных всё в порядке. Прошу отступить на два шага, не то шандарахнет!.. хвостом… либо отдавит что-нибудь копытом. Приступаем к испытаниям.

Лицо Втулкина вмиг сделалось строгим, портретным.

— Коллега! — обратился он к дауну Костику. — Нажми-ка вон ту кнопочку.

Даун заулыбался полнотелой луной:

— Ф-фтула-а… — и как-то быстро и ловко нажал красную кнопку, ещё повернув большой палец на ней в пол-окружности.

В чреве агрегата затарахтел мотор, зажужжал даже, с небольшим посвистом. Степан взял в руки вилы и насадил на рожки пушистую охапку свежего клеверного сена. Изобретатель не без труда приподнял свою ношу. Ловко столкнул этот клеверный навильник в верхний бункер из нержавеющей стали. Он как бы сказал тем самым: не забыл я крестьянского труда, дорогие мои землячки…

— Теперь поднимем температуру в камере, добавим водички… — защёлкал тумблерами. — А чуть попозже всыплем в растительную кашу специальный катализатор — ну, это реагент такой, чтобы вам ясно было… Поняли?.. Ничего сверхсложного. Я вам, конечно, не капитан Немо с его «Наутилусом». Внутри моего аппарата теперь идёт процесс, точь-в-точь как в животе обыкновенной бурёнки. Проще некуда!.. Даже урчит по-животному…

— М-м-да! Едрёна Феня… И правда, куда ещё проще-то… — пытался съязвить рябой Сеня, даже фальшиво просиял лицом. Как бы сразу ощутив, тем не менее, и собственную причастность к созданию гениального в своей простоте аппарата «КорВтул-1».

— А я не верю! — вдруг нарушил обстановку стопроцентной уверенности и восхищения афганец Ваня-пуля и безнадёжно махнул единственной рукой, словно птица подбитым крылом, себе под крючковатый нос. — Пока не махну молочка свеженького. Хотя бы грамм сто… Хрен с ним, пусть и искусственного…

— Сам ты искусственный, — обиделся Втулкин. — Не видишь? Сенцо-то — высший сорт. Голимый клевер с верхнего луга! И ещё скажу тебе, Фома неверящий: за смену у меня накапает не меньше центнера первостепенного молочка! Это тебе не самогонная мухоловка со змеевиком. Тут у меня тыща восемьсот пятьдесят шесть только деталей высокой точности! Нанотехнологии, как я уже пытался тебе вдолбить…

Иван не унимался:
— Ты мне лапшу не вешай, душман с блошиного рынка. Куча де-та-лей у него!.. Эка невидаль.

И выхватил из бездонного кармана своей былой солдатской куртки гранёный стакан, который у него на всякий случай всегда был при себе. Как стратегический «шансовый» инструмент наипервейшей степени важности.
— Налей, прохиндей!.. Из-под своей бешеной коровки... Слабо́, едрёна Феня?!..

На деревенском лице изобретателя, как бы свежеиспечённой поджаристой лепёшкой, ни единый нерв не пришёл в движение. Лишь незаметно дрогнула бородавка с горошину над правой бровью. Словно человек не воспринял никакой негативной информации. Степан как-то подчёркнуто безразлично взял из единственной руки ярого оппонента заляпанный стакан с отстоем красной бормотухи по окружности донышка, отступил обратно к «корове», промолвил отрешённо:
— Смотри на стрелку манометра...

Сам щёлкнул ещё одним тумблером. Кончик стрелки с красным наконечником мухой, вздрагивая, пополз по стеклу до вертикального положения. Все крутящиеся члены замысловатого механизма вышли на свои предельные обороты — а вся конструкция задрожала, как студень. Но изобретатель хладнокровно поднёс стакан к блестящему кранику... Народ замер; отчётливо было слышно, как спутанный старик Серко заржал в сосняке за избами и огородами.

Втулкин повернул кран и с некоторым торжеством победителя оглянулся на деревенских. Люди ахнули: из крана вдруг брызнула, упёрлась в дно стакана белая-белая меловая струйка. Жидкость, не колыхаясь, быстро поднялась до верхнего пояска стакана. Творец «коровы» перекрыл кран.
— Пей!..

Ваня-пуля дрожащей рукой взял свой гранёный и с каким-то отчаянием смертника опрокинул стакан в жерло большого рта...
— Ей-бо, едрёна Феня, — сливки натуральные, как у бабки Марфы первач!!!
— То-то же, интернационалист вы наш агрессивный... — Втулкин устало облокотился о «корову».

Лица обитателей Яловой вспыхнули искромётной радостью. Присутствующие загалдели, зачирикали, заверещали, выражая полнейшее доверие великому земляку, автору первой в мире механической коровы:
— А чаво, забыли, как его пропольщик по всей свекле колхозной за два дня прошёлся?..
— А ветряной двигатель?..
— А самолёт-пароход?..

Тем временем Втулкин нацедил полную трёхлитровую банку жирного молока и вручил её детям рябого Сёмки, у которого пару недель назад корова сдохла. Но эйфория людская вдруг куда-то подевалась.
— А как же теперь с нашими коровками быть?.. — писклявый голосок бабки Марфы.
— А зачем они? — просто констатировал Втулкин. — Один срам от них. Ну, конечно, из любви к живым существам, из гуманных соображений кто-то может их оставить, если сено не обрыдло косить да навоз таскать своим тяглом. Это как дополнение к собакам, кошкам. Поймите меня правильно. Если по-научному, корова — существо затратное и трудоёмкое, хотя и повсеместно распространённое. Ещё и быка-трутня, так называемого производителя, надо содержать, кормить сырыми куриными яйцами...
— Никому не отдам свою Вареньку, пеструшечку мою! — истошный вопль прервал спич Стёпы Втулкина. — Этим живодёрам на мясной комбинат?.. Там, сказывают, кувалдой по голове их зашибают и током пытают, фашисты...

Бабка Марфа залилась слезами, которые, казалось, лились не из глаз, а из самых донных глубин старушечьей души. Она резко замахнулась сучковатым батогом на рогато-трубчатое чудовище Втулкина.
— Это лишь пилотный экземпляр, как говорится, эксклюзив... — не унимался новатор. — А ежели по данному подобию соорудить сто штук, они заменят две крупные молочно-товарные фермы. А если я их, представьте себе, поставлю на заводской конвейер, как американец Форд легковушки?.. Вообразите себе, дурьи головы!.. Какая получится выгода! У вас, извиняюсь, узколобое мышление, вдаль вглядитесь, господа-товарищи. Она и деревня ваша, глядишь, станет не Яловой, а, к примеру, Стельной. Жизнь другая придёт... Народ совсем новый народится, не то что вы... Превратитесь в большую-большую коммуну, а то ведь на глазах вымираете. Идёшь, и поздоровкаться не с кем — горе одно, а не деревня...

Стёпа разглагольствовал бы и далее, но его оборвала всё та же плаксивая самогонщица Марфа, она не запамятовала оскорбления:
— Сам дурак. Кривоногий, без гайки в башке!.. — отрезала она и пригрозила Втулкину отшлифованной до лаковой полировки палкой.

На том народ и покинул экспериментальную поляну перед наследственной избой усопшей тётки.

...А Стёпа был — эх, если бы знали однодворцы Яловой! — себе на уме. Он был столь же непрост, сколь и его новорождённая «корова». Ему сейчас позарез была нужна сенсационная реклама. И он её уже организовал. Молва буквально наутро всеохватывающей и напористой волной почти необъяснимым образом целенаправленно влилась в посёлок железнодорожной станции и далее, в ещё более необъятной широте, во внушительных размеров город. Если верить молве, один мужик,

убедив жену, что вскорости «машинное» молоко окажется втрое дешевле обычного, пустил под нож две своих бурёнки.

А Степан блаженствовал разумом, отдыхал телом и… ждал. Пика славы?.. Возможно. Но не первоочерёдно. В знак избыточной благодарности он купил на станции своему верному помощнику Костику шикарные китайские кроссовки и спортивный костюм с вязаной шапочкой в полоску. Помощник, не откладывая, пыхтя и мыча, обрядился в обнову, он был на седьмом небе от нахлынувшей радости и самых божественных чувств к своему шефу.

— Ф-ф-фту-ла,—ласково и преданно выдавил он из себя в очередной раз.

Скрытно радовался и Втулкин: единственный свидетель его неповторимого творения никогда, никому и ничего не сможет поведать о технических тайнах «коровы».

…Они приехали на пятый день. В двух джипах чернее воронова крыла и блестящее новеньких резиновых калош. Сбитые из бицепсов и особого склада мышления, шестеро молодых мужиков немедленно ощутили себя богами не только Яловой, но и всего Богом данного пространства окрест.

— Показывай, братуха, свою шарманку.

— Вот она…

— У-у-у, бесхвостая. Не доить, так хоть по двору водить…

Демонстрировать возможности своего не мычащего создания Втулкин с первого раза наотрез отказался. Сбежались яловчане поглазеть на джипы. Попутно засвидетельствовали авторитетно и ненавязчиво самолично ими увиденное чудесное превращение сена в густое жирное молоко.

Договариваться с гостями Втулкин удалился в избу.

— Пятнадцать лимонов. Без базара…

— Ну ты и жлобяра яловый!.. Скидка должна быть…

— Ни копейки вниз! Изготовите сто копий моей «коровы» и станете миллиардерами… Ещё и Нобелевскую ксиву отхватите без очереди… Смокинги… шведский король, большой фуршет с девками… вдумайтесь… В историю вас впечатают… А полтора десятка лимонов, повторяю, живыми купюрами, для вас—пшик! А я бедствую. Кстати, кто-то безымянно совсем недавно присвоил мою автомастерскую в городе… По Арбузному переулку…

Когда назавтра они приехали с кассой, у калитки их встретил мент-капитан—местный участковый по прозвищу Домовой, которому Втулкин пообещал за охрану его персоны аж десять тысяч целковых. В руках он грозно держал короткоствольный «калаш», одолженный у дружбана-гаишника.

— Он кинул нас, сучара, засада!..—завопил было один, слабонервный.

— Он ждёт вас в офисе,—успокоил Домовой.

Участковый не мог знать, сколько денег положит сейчас в старый рыбацкий рюкзак его наниматель по кличке Втулка. И отродясь не узнает. Да и не надо ему знать… По службе…

Агрегат погрузили на трейлер автокраном. Чёрную папку с чертежами покупатели спрятали в объёмистую сумку.

На этом обе стороны с полным удовлетворением разошлись.

Спустя три дня джипы танками вновь вклинились в замызганную улочку Яловой. Они мчались по колее со злыми пылающими глазами в их крыльях и бамперах прямо к халупе Втулкина. Его, кстати, соседи тоже три дня в глаза не видели.

— Где эта мразь?!. Где этот ваш грёбаный Нобель?.. Где его подельник?..

Деревенские пожали плечами: дескать, Стёпка никогда не докладал им—то он здесь, а то его полгода нету, им-то что…

Привели дауна в лампасной спортивной одёжке. Физиономия Костика плавилась в улыбке. Он слушал внимательно братков и пытался сказать им в ответ:

— Ф-ф-ту-ла…—и вдруг поднял вверх правую руку, оттопырил и выпрямил большой палец, воскликнул:—Во-о-о!..—словно одобрял сделку своего изобретателя.

Откуда Костику было знать, что Втулкин заливал в свой агрегат самое что ни на есть обычное молоко от коров—упаси Господь, не из деревни Яловой, а привозил из окраинных усадебок станции. Братва хотела спалить избу обманщика, да что толку-то, ещё займётся огнём вся Яловая заодно, шухера не оберёшься…

…Поезд, азартно работая всеми своими стальными мышцами, буквально летел в сторону столицы. В дорогом спальном купе сидели двое мужчин. Культурный, в роговых очках и при галстуке, с большими залысинами и с редким остатком волос. Лет пятидесяти. Второй—с лицом простолюдина, бородавка с большую горошину над правой бровью, лет на двадцать помоложе.

— Так, говоришь, молочко непрерывно и течёт из твоей механической коровки?.. Надо же. Я всегда верил: не перевелись Кулибины и Ползуновы в нашем насыщенном талантами государстве… Концептуально это вполне возможно, ведь уже и искусственное—но живое—сердце научились выращивать из стволовых клеток…

Налили ещё по стаканчику, обнялись и выпили на брудершафт.

— А я продал им, дурак, свою бурёнку-то. Безотказную. За бесценок… Потому что за ними сила грубая… А до этого они у меня автомастерскую отобрали. Получается, я отблагодарил их вторично. По понятиям… Виноват, там не всё ещё до конца отработано. Но,—он воткнул указательный палец

в выпуклый лобик,—здесь у меня всё уже есть, в отполированном виде!..

Он поводил ногой под лавкой, нащупал тяжёлое тело рыбацкого рюкзака.

— Нас, изобретателей, обидеть—что комара прихлопнуть...— он сморщил лицо и заплакал крупными, тёплыми, почти коровьими слезами.—Вот, к Чубайсу еду...

— Это основное—чтобы в голове построилось окончательно. Идеи возникают в башке и воплощаются из башки. Молодец, Стёпа... как тебя по батюшке... Нынче всё наше спасение в нанотехнологиях, в Чубайсе. Я—человек продвинутый, это точно знаю... Удачи тебе, Стёпушка...

Учёный сосед совсем рассупонился; хмель, похоже, окончательно возобладал в его большой и умной голове. Он вроде как бы отключился и лишь бредил невнятно:

— Проте-к-цию... А там и мы... свой хвост прилепим... к твоей бурёнке... соавторы...

— А вот этого не хотел?..

У изобретателя глаза округлились и вмиг опасно покраснели. Он сноровисто, по-деревенски, туго сжал пальцы правой руки—получился смачный и жирный после колбасной нарезки, изогнутый кверху кукиш, которым он чуть не ткнул прямо в лиловый мясистый нос своему визави.

Потом Степан для верности ещё раз лягнул тяжёлую ношу рюкзака под лавкой. Он сегодня не пьянел почему-то...

— Я протекцию тебе составлю, Стёпа, к А... а... а... Борисычу,—внезапно ожил учёный сосед—видать, мозг его воспалился от новой идеи.—Такие люди, как ты, теперь очень нужны, без них никуда... И корова твоя до безысходности необходима, весьма своевременная...—он внезапно дурашливо изобразил из себя живую корову, оттянув пальцами уши и надув щёки:—Му-у! Му...

Тени Байкала

Байкал—море стылое, хоть и благостное для здешних чалдонов в этот единственный лучший месяц—август. И дряхлый катерок «Кяхта» тянул на привязи одутловатую баржу, такую же бывалую, как он сам, до упора напрягаясь из последней старческой мощи. Он тащил её с рабской покорностью с юга, из-под Иркутска, намереваясь одолеть полусерп священного моря длиною более шести сотен километров и с полным осознанием исполненного долга кинуть швартовы на северной окоёмочной стороне моря, на отмелях у Северобайкальска, городка в зачаточном состоянии, в самом шумном на сегодня месте, где люди, как и катер, делая свою работу, натужно тянут рельсы БАМа, спотыкаясь о вечные каменные хребты, врубаясь в гранит норами тоннелей.

Первобытная это затея—тащить плавсредство на буксире. Впереди шпарит баржа-самоходка, неумолимо уходя в отрыв. Однако второй такой баржи начальство не изыскало.

— Сдавай карты, Кеша, а ваще-то можешь заранее сливать воду; жаль, шурануть тебя в магазин некуда, да на берегу сочтёмся...—подгонял хромой на левую ногу Кузьма, с круглым сизоватым лицом в неопрятной, можно сказать, бурьянной растительности, мужик лет сорока, бывалый таёжник и бродяга, человек без цели на завтра, не единожды отдыхавший на зоне.—Ты, Иннокентий, не куражься и сопли не распускай: на БАМе нас встретят с оркестром—ой как люблю зуденье медных труб,—мы ж с тобой всё умеем мастерить—хоть печку сложить, хоть ребятёнка сотворить...

Кеша, малоговорливый и замедленный, как движок с последней каплей солярки, лишь иногда зыркавший на шустрого партнёра заплывшими коричневатыми глазками, одолевший уж полувековую черту своего смурного бытия, плыл на всенародную стройку, по его словам, за деньгами.

Иннокентий послушно стал тасовать стёршуюся грязную колоду. Они сидели на тарных ящиках над возвышающимся люком баржи, одетым в залатанный брезент, ближе к корме. Их попутчица Нинка, девка с невыясненной пока загадкой—врала, что едет к мужу, проходчику Байкальского тоннеля, которого якобы знает даже последний окрестный медведь,—изредка бегала в будку к шкиперу баржи и возвращалась с мятым закопчённым чайником. На них равнодушно взирал Алёха, долговязый парень, фотограф местной газетки под Слюдянкой, успевший сигануть на баржу, когда она уже показывала пирсу тупую корму.

На широкой, покатой в обе стороны, гулкой железной палубе громоздилось много всякой всячины: две электроподстанции, четыре лодки-моторки, плотная череда бочек, поставленных на попá, с краской, олифой, шпатлёвкой... Высились штабеля дверных коробок, оконных рам и прочей столярки. А на отдельной площадке находился самый восхитительный груз: шесть новёхоньких, сияющих эмалью «жигулей», а рядышком под тентами и совсем нечто необыкновенное—«мерседес»-внедорожник, чернее смолы, а почти в обнимку с ним—«BMW» цвета морской волны.

Фотограф, симпатичный малый, стройный, как даурская лиственница, неделю назад отпустивший усики, профессионально щурил глаза в поисках кадра и запечатлевал многое, не жалея содержимого камеры, поскольку обкатывал новинку—«безразмерный» цифровой аппарат. Он щёлкал затвором, и направляя объектив в сторону удалявшегося, уже едва видневшегося истока Ангары, и прицеливая его на мельтешащие ватаги чаек над зеленоватым телом Байкала, и на катерок в конце каната, и, совсем уж под своим носом, на компашку картёжников.

Фартило колченогому Кузьме. Он по-хозяйски сгребал мелочь и жёваные червонцы с доски, усеянной разномастной картой, приговаривая при этом:
— Эн-ть, паря, не в порчу, однако, сошлось, сплюнем три раза…

Фотограф видел со стороны, что хромой маленько мухлюет, держа за бортом куртки пикового туза, червовую десятку и ещё какую-то чернявую даму — должно быть, из запасной колоды. Алёхе стало весело от своих тайных соображений: он вчера в популярном юношеском журнальчике почерпнул, как надо выигрывать в картишки. Для каждого игрока процесс имеет свои циклы: выигрыш, проигрыш… Улови их и поочерёдно ставь либо по малой, когда кон потеряешь, либо по полной, когда должен сорвать его в свой карман.

Фотограф подсел к играющей троице и небрежно достал из бумажника несколько червонцев. Сдавая карты, он с прищуром, взглядом как бы прокалывая Кузьму-прохвоста навылет, со значением попросил его плотнее застегнуть куртку. Тот всё понял… Через пару часов отчаянной рубки, недолгих споров, гневного рычания Кузьмы вся немудрёная касса переместилась в ёмкий карман репортёрской безрукавки фотографа.
— Ох и варнак ты, паря, чую печёнкой, а понять не могу… — скривил заросшую физиономию хромой, пряча колоду за пазуху. — Ну чо, залётные? Небось выпить охота с проигрыша-то, а нету?.. И банкир нас угостил бы, да сельпа-то тю-тю!.. Чо бы вы робили без меня, паря?.. Сла-вно-е море, свя-щен-ный Байкал… — вдруг в мучительной тоске затянул он в полсиплого голоска. — Ут-лы-й ко-ра-бль — ому-лё-ва-я бо-ч-ка…

И стал развязывать не спеша свой тощий сидор, напоминающий солдатский вещмешок. Достал из сидора увесистый слесарный молоток, открыл коробочку с надписью «Детский пластилин», снял с лысеющей головы дерматиновый рыбацкий картуз и выдернул из подкладки большую иголку.
— Вот и весь струмент. Ччас покажу, паря, фокус-мокус.

Рывком щетинистого подбородка он как бы позвал желающих следовать за ним. Хромающей уткой подошёл к штабелю алюминиевых бочек, долго читал маркировку. Наконец остановился на второй слева и стал лепить к ней, на нижней её части, большую пластилиновую бородавку. Прищёлкнул корявыми пальцами от предвкушаемого удовольствия не то от своей загадочной работы, не то от дальнейших её последствий.
— А ты, молодуха, Нинок, чо варежку раскрыла? Тащи чайник, да порожний, без пару…

Он воткнул иголку в пластилин перпендикулярно металлу. Взял молоток, размахнулся и врезал с маху по иголке. Она послушно ушла наполовину внутрь бочки. Обломил иглу, пристукнул молотком, и из крохотного отверстия вырвался тугой фонтанчик тончайшей по консистенции, почти не видимой глазом жидкости, создав вокруг ёмкости ауру специфического дурмана. Кузьма подставил чайник…

Спирт разбавляли непокупной байкальской водицей. Когда поднимали из-за борта ведёрко на верёвке, вода в нём буквально пенилась, как минералка, нашпигованная газом. Нинка отыскала в своей сумке банку с черничным вареньем, и этот сироп превращал размытый спирт в заморский ликёр. На доске распластали жирнющего посольского омуля, что водится у южного побережья, нашлись и сало, колбаска. Матово звучали-чокались алюминиевые кружки и пластиковые стаканы. Красота-то!.. В стороне молчаливо дремала бочка с огненной водой, дырочка фонтанчика до поры и последующей надобности была замазана пластилином. Пили все и много — на халяву-то… Правда, Алёха-фотограф то отнекивался, то пропускал очередную — словом, был как бы себе на уме…

Поминутно усиливался ветер, баржу начало болтать, вскидывать, заливать холодным душем колючих струй. Только хромого эта тревожная перемена нисколечко не пугала. Скорее, он на возникающем фоне страха пытался ещё сильнее подавить психику окружающих. Кузьма припомнил, что в этом бесовском Малом Море ещё в каторжную царскую пору сарма, самый свирепый байкальский смерч, мигом опрокинула баржу с арестантами: кажись, едва ль не полторы тыщи душ утопло разом! Так на глубоком дне и остались. Вот и сию минуту надо прятаться под брезент, к шкиперу в будку, и спать покрепче — во сне и смертушка не опечалит…

Утром — полное помутнение в мозгах. Вроде к ночи налетела эта страшная сарма, что случается обычно в проливе под названием Малое Море между западным материковым берегом и островом Ольхон, вроде там и укрылись от смертной бури, вроде была там рядом какая-то ещё не то баржа, не то плавучий кран с решётчатым хоботом над мачтами… Что-то ночью гремело и бултыхало… Да мало ли что было — катерок кашлял, по-своему чертыхался, но вновь пёр свою ношу медленно, но верно вперёд, на север. Курносая красавица с чёрными цыганскими глазами-агатами Нинка пыталась стереть с личика заупокойный похмельный натюрморт. Не нашла зеркальце и пошла поглядеться в одно из шикарных зеркал «мерседеса». Откинула брезентовый полог и ойкнула на всю баржу. Под матерчатым прикрытием торчали наспех сколоченные рогатулины из сосновых реек — вместо лимузина!

Она так и присела на палубу…
— Во, паря, афера-то! Не приходилось, не приходилось… — повторял колченогий Кузьма, заглядывая в чёрную пустоту и второго полога,

где также приказала долго её ждать расчудесная «BMW».—Во дают... во мастера, однако!.. Посредь моря-то!.. Сам леший им не брат... Не трожьте, паря, ничего—ведь с нас же спросят в Северобайкальске. Знаю я ментов...

Но фотограф Алёха уже успел нащёлкаться: и пустоту, и рейки-самоделки, и якобы обескураженное мурсало Кузьмы—всё снял на «цифру». И был он свежее всех...

В Северобайкальске, в главном штабе строителей этого участка БАМа, Кузьму всё же приняли шофёром на трёхосный грузовик военной модификации, хотя и долго замеряли его укороченную ногу, но затем решили путём сварки нарастить педаль сцепления в машине. Молчаливый друг его Кеша определился экспедитором в отдел снабжения. Ниночка, мнимого мужа которой никто не знал не только в роли бригадира, но и залётной кратковременной пташки, приняла дела в буфете большой рабочей столовой и, кажется, всё чаще стала улыбаться Кузьме, махнув рукой на его хромоту и иные недоработки.

Странная пропажа двух бесценных иномарок с баржи на её полном ходу вызвала на всю жизнь запоминающееся недоумение у следователей. Пассажиров посудины потаскали, подопрашивали с полным, в рамках закона, пристрастием, но чего-либо внятного и полезного из них не вытянули. Как говорится, напились, проснулись, а чудо-машины будто сармой сдёрнуло.

Алёха бегал по трассе, как ошалелая борзая за зайцем, и щёлкал, щёлкал... Он приехал аж на два месяца и жаждал прослыть летописцем героической северной магистрали. Иногда он виделся с баржевыми попутчиками, перекидывался с ними словом-другим, как со старыми знакомыми и едва ли не дружбанами. Хромого Кузьму было не узнать: соскоблил свою плесень растительную, харя налилась молоком, даже припадать на ногу вроде стал меньше. А спустя месяц, когда Байкал уж отдавал последнее накопленное тепло небу, репортёр чуть не онемел, рассматривая доску почёта перед парадным входом в управление стройки: с чёрно-белого глянцевого картона на него невозмутимо и с достоинством озабоченного всенародным делом героя внимательно глядел столь же глянцевый ударник труда... Кузьма. Растут же люди, отметил про себя репортёр, вот уж и впрямь БАМ из гориллы сотворит святого апостола...

А вечерами, когда прикрывалась пропахнувшая кислым капустным борщом столовая, Кузьма частенько топал оттуда под ручку с буфетчицей Нинкой по тропе к общаге. Туда же, в светлую комнату труженицы общепита, облагороженную плакатными портретами оголённых поп-звёзд, заруливал на огонёк и тихоня Кеша, озабоченный снабженческими неувязками. Выпивали, судачили, крутили музычку. Но, в общем-то, в урочное время Кузьма слыл человеком тверёзым и старательным: его машина, как бы всегда ожидая указаний, готова была заурчать, почувствовав любой прорыв. А уж кто с кем спал глубокой ночью и что делал, фотографа не касалось.

И всё бы ничего, коль ударные темпы кругом, да случилось редкое, если не уникальное, по всеобщей рабочей обстановке происшествие, которое всех строителей разом настроило на свою минорную волну: на дальнем таёжном отрезке автодороги вдоль свежих рельсов, наползающих с иркутского Усть-Кута, кто-то дерзко ограбил автофургон. Разбойнички выкинули из него полсотни норковых шуб, мужские хромовые куртки на меху, пальто кожаные, шапок ондатровых и другой масти—сотни! Дефицит этот дорогостоящий шёл по спецразнарядке бамовцам. И всего-то их было, по сбивчивым объяснениям уцелевших шофёра и экспедитора, того самого Иннокентия, двое: в масках страшнущих, с автоматами, с транспортом.

На стройке как-то сразу произросла и укоренилась личинка страха. Да и утрата-то миллионная. И кто знает, не получится ли детективная «мыльная опера» из подобных ЧП?.. Вспомнили и присовокупили к сенсации и то недавнее никому не понятное исчезновение иномарок с баржи. На стройке вдруг возник незнакомец по фамилии Жарков. Одет он был малоприметно, поотирался немного в начальственных кабинетах и спустился в народ—мужик старшего возраста, но с энергичной походкой,—и протянул как-то руку Алёхе-фотографу, перехватив его на бойкой тропе.

— Иван Петрович. Между прочим, твой дальний родственник по матери—она мне двоюродной племянницей приходится... Воронежские мы с тобой мужики—значит, не сломленные, хоть ты и здесь родился. Мы с твоей матерью из Гремячьего на Дону. Сибирь-то ведь вся из переселенцев... Ну а если по сути: старший следователь, майор, чуть-чуть до пенсии... Но об этом...—он резко приложил палец к губам.—Понял?

«Как тут не понять, родственничек будто с куста свалился, повеселее дело-то развернётся»,—смекнул Алексей.

Вечером они пили с Петровичем чай в столовке—стакана по четыре опорожнили. Успел подойти Кеша-тихий, отозвал на минутку, якобы насчёт фотокарточек, и еле слышно поинтересовался: кто, мол, невиданный доселе гражданин? Петрович, родственник в третьем колене, в отдел кадров его, кажется, берут. Из-за стойки с пивным сифоном с бабьим нетерпением зыркала цыганскими глазищами Нинка в белом кокошнике на взбитых кудрях.

— Ты ведь больше всех должен тут знать... Вы, журналисты, проныры, те же сыщики...—говорил Жарков фотографу, моментами впиваясь в него зрачками, в которых горело по одному

отчётливому огоньку.—Давай будем анализировать… Начнём с изучения твоих снимков…
— Их, пожалуй, уже тысяча,—хотел охладить Алёха собеседника.
— Хоть миллион…

А наутро всё многотысячное население трассы было потрясено до последнего нерва и чувства: в пяти километрах от посёлка, у промбазы, в опавшей листве нашли убитого водителя совсем новенького «магируса». Германскому грузовику этому, двухосному, не годился в подмётки никакой иной, даже с тремя мостами. По зимникам в заснеженную пору наши «Уралы» совершенно не могли проскакивать горные перевалы: на половине подъёма, при переключении скорости, они будто психологически замирали на месте, а затем медленно сползали назад. Выручали скоростные «магирусы», которые этих перевалов не признавали вовсе. И вот кто-то лихой нашёлся, позарился. Видать, шофёр оказал отчаянное сопротивление и поплатился жизнью. Но основной-то казус: куда ускачешь с трассы, из таёжных мест, на угонном самосвале?..

Рядом с трупом молодого парня нашли большой гаечный ключ, окровавленный, с налипшими волосами не иначе как с головы забитого насмерть. В спине торчал обломок ножа…

Уже два дня, а может, заодно и ночи, Жарков сидел над фотками Алёхи, неотчётливо распечатанными на принтере в главной конторе стройки. В левой руке он держал восьмикратную лупу, в правой—то сигарету, то чашку с чёрным кофе без сахара. Его достаточно высокий и чистый лоб пересекла складка большого утомления. И хоть в карих глазах по-прежнему не гасли живые искры, свидетельствовавшие о нацеленности поиска и напряжённом рабочем состоянии души, эти же глаза, выражая усталость организма, говорили и о бесплодности усилий.
— Что у тебя ещё есть, Алёшенька?.. Чего-то не хватает…
— Кажется, всё перед вами, Петрович… Разве что несколько снимков на барже, в самом начале, ещё тогда…
— А ну-ка давай их сюда.

И опять Жарков раскладывает свой пасьянс из репортёрских картинок. Вдруг он весь напрягся, шумно выдохнул из лёгких последний воздух и завертел толстой линзой то над одним, то над другим снимком.
— Взгляни-ка, братец,—чудеса какие-то. Не то я спятил. Там, у Ольхона, видишь—плавучий кран? На одном снимке трос висит на стреле, на другом—обрывок троса спиралью сплющился…

Алексей пригнулся над снимками: да ведь кран-то один и тот же. Вечером сфотографировал—с тросом… Утром так, для разминки, щёлкнул—с обрывком…
— Не ветром же его обрубило… Так-так-так… Ясненько, почти ясненько… Стоп, Алёшенька, свет в конце тоннеля замигал, чую, нутром сыскаря чую…

Жарков почти на бегу накинул на себя непромокаемую штормовку и, не попрощавшись, хлопнул дверью, оставив репортёра в растерянном неведении.

Ответ на его срочный запрос пришёл из Иркутска спустя два дня: с шестнадцатиметровой глубины у материковой пристани против Ольхона удалось поднять автомобиль марки «BMW» цвета морской волны… Больше на дне—ничего.
— Вот так, мой мальчик: клубок в руках бабушки закрутился. Рановато нам на заслуженный и бессрочный отдых. Ты хоть понимаешь, что произошло в ту ночь после шторма? Ты же там был! Дрыхнул, как собачонок!.. А произошло следующее…

И Петрович нарисовал вполне выпуклое словесное полотно. Машины снимали в непогодной темени тем плавучим краном. «Мерс» благополучно опустили на берег. Затем ржавый трос не выдержал, и «бумер» бултыхнулся в воду. Кто мог это сделать? Пока—жирный вопрос. Менее жирный—причастность к преступной акции кого-то из обитателей баржи. Вполне допустимо—здесь нет вопроса вообще. Начинаем разработку персоналий. Нет, с Жарковым не шути…
— Ты мне дал самые первые снимки, и они оказались удачными, если не пророческими. Следуя логике предчувствий, фортуны и закона единства и борьбы противоположностей, ты, Алексеюшка, обязан меня познакомить со что ни на есть своей последней съёмкой…—Петрович отпил глоток из бокала, и на верхней губе его отпечаталась белая пенная подковка.—Что ты снимал под занавес?..
— Энтузиаста трудовых свершений, Кузьму-хромого, лучшего друга буфетчицы Нинки, что сидит вон, в конце зала. Прямо в кабине его «Урала»…
— Неинтересно… Всколыхни серое вещество: что ещё-то?..
— Да ничего. Сидел с ним в кабине незнакомый мне парень, блондин с нагловатым лицом и налитым таким, баклажанным носом, два латунных зуба блеснули, царапины на щеке… как бы подальше отодвинуться норовил, разозлился на меня: мы ведь, фотографы, тоже физиономисты, чувствуем контакт…
— С этого бы и начинал, звезда восходящая! Побежали распечатывать твой финиш…

На скинутую по компьютеру фотокарточку уже утром из Иркутска пришёл ответ: в кабине на заднем плане—Кисеров Степан Сафронович, кличка Сохатый… Три судимости за кражи, вооружённые разбои, особо опасен…
— Ты теперь-то понял, Лёшенька, насколько важным оказался твой последний снимок? Я ведь не мог взять хромого—он битый и травленый

волчара, ни в чём не признается. А теперь и повод есть: откуда и зачем гостенёк-то всем нам известный к тебе пожаловал? Но и этого жуть как мало. Вот ежели на хитрость пойти…— рассуждал Жарков, тасуя снимки на столе в общаге, как на барже тасовал карты Кузьма-хромой. Только козырей на этот раз явно не хватало.—Надо всё свести воедино, и чтоб зацепка была с каждой стороны: пропажа иномарок на барже, грабёж дефицита на трассе, убийство шофёра и угон «магируса»… Эх уж эти байкальские бродяги—кого только не тянет магнитом в наши места. БАМ—шибко хлебное место…

Они три поздних вечера до звёзд дежурили неподалёку от столовой, не особо выставляясь напоказ шныряющей туда-сюда публике. Петрович не объяснил даже толком фотографу, зачем эта комедия затеяна: постережём, сказал, и точка,—так надо. Проводив глазами последнего бамовца, мент и районный газетчик, охлаждённые до последней косточки, молчаливо шли спать. На четвёртый вечер Жарков как-то оживился, увидев в темноте фигуры прихрамывающего мужика и высоконькой женщины, покинувших яркий просвет двери заднего входа столовой. Шли они с отвисшими руками и полусгорбившись от тяжёлых баулов.

— Ты оставайся здесь, после придёшь ко мне,—с простуженной хрипотцой выдавил Жарков и скорым движением ринулся наперерез ходу тех двоих.

Раскрыл удостоверение:

— Даже буфетом не побрезговали? Жадность фраера сгубила…

Он резко обозначил рукой дальнейший путь—общага. Сумки распирало продуктами: от сухих колбас и коньяка до сгущёнки… Только сейчас сыщик понял, что завтрашнего дня у него просто не было бы. Спозаранку они слиняли бы, не помахав ручкой. Чутьё собачье… Он того и ждал, когда эти двое «загрузятся», чтоб повод был для поимки. Жильё Кузьмы и Нинки он, формально говоря, не имел права обыскивать. И всё же он успел заглянуть куда надо, так, по наитию, и сразу выдернул в комнатке хромого из-за шкафа норковую шапку, ещё с биркой, как бы сам по себе под руку попался запасной ключ от… «мерса», а в сумках оказалась и касса столовой за полмесяца.

— Знакомый товар… Может, шубку ещё найдём, а того лучше—адресок скажешь, куда сплавили и товар, и большегрузную машину? А может, вспомнишь, как напугался, как чертыхался, когда трос лопнул на кране под Ольхоном?..—Жарков нагнетал страх; следак демонстрировал преступнику, что он едва ли не Бог и ведает о нём решительно всё, до последнего шажка и вздоха, он загонял задержанного в последний угол, из которого тот не видел ни единой форточки.—А вот этот ключ узнал?—он достал из-за пазухи гаечный ключ, найденный у трупа шофёра.—Сейчас с понятыми мы пойдём к твоей машине, и, уверен, именно одного этого ключа в комплекте не окажется… Ты убил человека или Сохатый? Зачем ты его к себе позвал?..

Хромой впал в глубинную, парализующую прострацию. Его откормленное лицо проборознил поток живых ручейков.

— Сохатый, это всё кровь Сохатого…— механически и полувнятно твердил Кузьма.

Нинка сидела сбоку, размазывая слёзную тушь на глазах, и просила воды…

— Сейчас, граждане, пойдём за вашим тихоней, Иннокентием. Хватит ему копии с паспортов машин снимать да о маршрутах товаров сообщать… Не последняя спица всё же—и в нападении участвовал…

Всю троицу уже наутро увезли в Иркутск.

…По первому снегу в один из райцентров на южном берегу озера, в большое старообрядческое-семейское село, состоящее из воскового окраса бревенчатых домов, въехал серенький «жигулёнок». За рулём—крепкий мужик, выше среднего ростом, с негаснущими огоньками в глазах; профессионально поблуждал взором по воротам, наличникам, срубам и свернул в уже забытый им переулок.

— Петрович… никак тебя Всевышний послал?—мать фотографа привычно для всех сельских женщин в годах, встречающих редких гостей, начала промокать глаза ситцевым фартуком.

Вечером они сидели за большим столом под расшитой какими-то жар-птицами скатертью, в просторной, с густо нагнетённым теплом, горнице, за пахучим рыбным пирогом. Жарков поведал Алёхе обо всём том, чего уже не видел и не знал фотограф. Сохатого взяли далековато, в Красноярском крае,—продавал «магирус» на каком-то каменном карьере. «Мерс» так и провалился в неведомое… Ещё троих подельников из банды следствие вычленило по окрестностям Байкала—всех повязали.

— А знаешь, Алёшенька, малыш мой внучатый, кто атаманил-то в банде? Вряд ли догадаешься… Хромой! Бывалый волчара, хитрющий и осторожный, как росомаха… Вот так всех держал в кулаке!—майор не совладал с нахлынувшими эмоциями—костяшки его собранного кулака побелели от нескольких атмосфер сжатия.—Не «мерседес», не шуб для дамочек жалко—загубленного шоферюгу, ещё молодого… Двое мальцов остались сиротами, двое—вот они, перед глазами… Эх, как я хотел бы их всех переловить, пересадить, своими руками удавить!..

— Сам-то как, Петрович, на повышение?—Алексей счёл уместным направить разговор в другое русло, близоруко сузив глаза до щёлочек и поглаживая большим и указательным пальцами уже требующие подстрижки усы, которые прятали слепое подобие улыбки.

— На пенсион. Грамоту вручили…
— Позовут ещё. Руки не отсохли бы и награды нам кой-какие подкинуть…
— А куда они без нас с тобой денутся? Без нас обойма с пустотой, а БАМ — дорога вечная. С наградами же у нас всегда напряжёнка, сколь служил. А хромого чуть-чуть не успели облагодетельствовать — уже был представлен к медали за строительство магистрали. Ударничек, мать его… Он бы им наударял ещё… Я вот о чём сейчас: впервые в моей муторной практике фотоаппарат главную роль сыграл — раскрыл ведь всё… Хорошая штука — лучше телевизора… Да, с ногой-то у Кузьмы что: много уж лет тому на восточном берегу промышлял он кражами в баргузинских урманах — слямзил связку черноспинных соболиных шкурок у бурята-промысловика. Ну а таёжники сам знаешь как шмаляют из ружья, похлеще киллера, — с тех пор и припадает на ногу… Нинка… Шлюха, сводня, провокаторша, воровка, наводчица, наркоманка, гражданская жена Кузьмы, не то подружка близкая на данном отрезке их спланированной акции… Да, кликуха-то у Кузьмы… Тьфу, как они умеют себя возвеличить и замарать всё вокруг себя… Байкал!.. Ну, давай, держись, мужик воронежский…

За окном наполнялась непередаваемо-прозрачной байкальской просинью первая морозная ночь. Звёзды стреляли с ясного неба в остывающее море зарядами своей тайной энергии, море вздрагивало от новых трещин в своих берегах-кручах, но они тут же срастались, подтверждая вечность Байкала.

Фотографу Алёхе приснилась писаной красы женщина в неприкасаемом серебряном одеянии и с необычайно выпуклой грудью — вылитая русалка. Он хотел прикоснуться к прелестям, но личико русалки вдруг обернулось физиономией прощелыжной Нинки, на которой расплылась беззубая улыбка: «Лёшенька, хахаль мой, не могу без тебя я… и от ментов снова ушла… к тебе вот…» Тень русалки серой промокашкой налипла на море, в точности повторив все его волновые изгибы. А море вдруг обернулось тучными зелёными и бескрайними чернозёмами далёкого донского края. От странного кошмара спас голос матери:
— Сынок, вставай провожать сыщика…
— Тени всё это, тени… От солнца, от луны, даже от фонарного столба, от бычка сигареты… Появляются, пляшут, исчезают, и поймать их — всё равно что чёрта, когда он нас шутя дурачит. Но мы ловим, Алёха. Хоть и снятся нам часто кошмары… — Жарков вдруг припал к фотографу, до скрипа сжимая его костяк. — Позвали меня опять, какая-то тень-загадка объявилась над чистым водоёмом. Без нас в обойме пустота… — и быстро, как патрон в обойму, втиснулся в свою машинёшку.

125 лет со дня рождения ∴ ДиН антология

Николай Гумилёв

Читатель книг

● ● ●

Христос сказал: «Убогие блаженны,
Завиден рок слепцов, калек и нищих,
Я их возьму в надзвёздные селенья,
Я сделаю их рыцарями неба
И назову славнейшими из славных…»
Пусть! Я приму! Но как же те, другие,
Чьей мыслью мы теперь живёт и дышим,
Чьи имена звучат нам, как призывы?
Искупят чем они своё величье,
Как им заплатит воля равновесья?
Иль Беатриче стала проституткой,
Глухонемым — великий Вольфганг Гёте
И Байрон — площадным шутом… о ужас!

● ● ●

Читатель книг, и я хотел найти
Мой тихий рай в покорности сознанья,
Я их любил, те странные пути,
Где нет надежд и нет воспоминанья.

Неутомимо плыть ручьями строк,
В проливы глав вступать нетерпеливо,
И наблюдать, как пенится поток,
И слушать гул идущего прилива!

Но вечером… О, как она страшна,
Ночная тень за шкафом, за киотом,
И маятник, недвижный, как луна,
Что светит над мерцающим болотом!

Валерий Скобло

Я не смотрю назад…

Мольба

Во исполнение Высших Заветов
Стань мне опорой на тяжком пути,
Стержнем пребудь для духовного роста,
Пусть не тропинкой, пускай не ответом…

…Нет, не желает и думать об этом,
Всё повторяет, что нынешним летом
Надобно яму закрыть для компоста,
Да и сморода кустится непросто—
Надо ей место другое найти.

● ● ●

Коле—ровеснику века

У Поклонной горы
Вышел в поле я, в чистое поле…
Приносящий Дары,
Я тебя вопрошаю: доколе?

Одиночества груз
В чистом поле вдвойне неподъёмен.
Отрешитель От Уз,
Сколько нужно мартенов и домен,

Чтобы выплавить сталь,
Чтоб сковать из неё человека?
Отправляющий В Даль,
Не хочу быть ровесником века.

У метро «Озерки»,
О Ветра Усмиряющий Взмахом,
Раздают номерки,
Отправляют к целинным казахам.

Приносящий Закон,
Экскаваторы роют и роют…
И метро, и район
Много позже построят-застроят.

Я живу без проблем—
За проблемы Кто Должно ответит.
Молчаливый совсем,
Он держит ответы в секрете.

Выпускающий Пар
Изготовил нас к вечному бою—
Фильтровать этот самый базар,
За него отвечая судьбою.

● ● ●

…Будь бы «этот» другим человеком,
Да и «эта» другою была…—
Предлагаю духовным калекам
Размышлять про такие дела,

Про развилки в судьбе, а вернее,
Про другую судьбу и удел,
Где мы лучше и где мы умнее…
Я вообще бы туда не глядел—

В эту сторону, где мы другие,
А точнее, и вовсе нас нет.
Знаю, глупости это благие,
Пошловатых идей винегрет.

Так меня эта дурость достала:
Жизнь другая… с избытками благ.
Я скажу: этой жизни вам мало—
В путь-дорогу… И в руки вам флаг.

Ведь, как правило, эти уроды
Верят в… как его… метемпсихоз.
И зачем им остатние годы,
Уж никак не сулящие роз?

Вот и взяли бы—смежили веки
На любой из крутых переправ.
Потому я со злостью: «Калеки»—
Повторяю… хотя и неправ.

Что ж тут злиться?.. Представить им трудно,
Что судьба их—не выпавший фант.
Проще так вот мечтать… беспробудно,
Представляя другой вариант,

Наплевав на года за спиною,
О других вариантах в мольбе.
Ну а я своей жизни иною
Не желаю представить себе.

Не была она ровной и лёгкой,
Без готовых решений и схем.
Обзавёлся с годами сноровкой,
А привык к ней, увы, не совсем.

Всё едино: мне страшно до жути,
Как представлю я—жить каково,
Отказавшись от собственной сути,
Да и, в общем, себя самого.

Вита Нуова

Жизнь без извечного списка потерь
И без начала…
Я не влюблён, не любим — и теперь
Жить полегчало.

Если считать — ничего не сбылось:
Прочерк, кавычки…
А накопились привычка и злость,
Больше привычки…

Я повторяю, что жизнь хороша,
И не напрасно:
Я одинок, и в руках ни гроша —
Это прекрасно.

Только свобода и голый расчёт
Стоят чего-то,
Ведь не случайно всё чаще влечёт
Дело, работа

И одиночества утренний час…
Если же честно:
Всё ещё может случиться у нас,
И неизвестно…

● ● ●

— Это жизнь? — Это жизнь
 в тесноте и всегдашней обиде.
Повинись, поклонись
 вездесущей и злой Немезиде,
Что взрастила тебя
 на здоровом законе дворовом:
В одиночку и в стае
 всегда быть к отпору готовым.
Там, где плотники
 выше и выше возводят стропила,
Где романтика-стерва
 свои паруса распустила, —
Дровяные сараи
 и яростный вой керогаза…
— Это юность? — Да нет — это жизнь.
 Не войти в эти воды два раза.
— Будь готов! — …Ко всему…
 Пионерское жалкое детство,
Слава Богу, что ты
 никому не досталось в наследство.
Полустёртая рифма…
 Не хотел, но уж так срифмовалось.
Что угодно, но только —
 не слабость, не слёзы, не жалость.
Потому что сомнут и растопчут,
 как и мы… И поэтому нету
Состраданья и милости к нам,
 стороной проходящим по свету.

● ● ●

Мне всё же фантастически везло:
Пусть сил и мужества отпущено мне мало,
Я отбивался — отступало Зло…
На шаг один — но всё же отступало.

Я страсть не встретил, чтоб сожгла дотла,
Чтоб вспоминал остаток жизни, плача…
Ну а любовь, мне кажется, была.
И даже это, в общем-то, удача.

Не всё, чего хотел, в пути достиг,
Не всё успею — думаю без боли.
Но шанс у всех на чудо невелик —
И от такой не откажусь я доли.

Я дружбой тоже был не обделён:
Пусть жизнь уже почти что на исходе,
Всё так же предан с юности времён
Я — Боре, Толе, Марику, Володе.

Передо мной сужается просвет,
Нет страха перед предстоящей схваткой.
Я знаю только то, что смерти нет…
Пока мы живы этой жизнью краткой.

● ● ●

Посвящается Марине Саввиных

Там понятно: герои Шекспира
Колют… режут… разят наповал…
И придушат средь брачного пира —
Все ж дворяне, чтоб ты понимал.

Кровь у них по наследству кипуча,
И потом не белеют как мел.
Ну, и трупов под занавес куча.
Так уж издавна… Бог повелел.

Но гляди: в девятнадцатом веке
Эта страстность проникла в народ.
Итальянцы, французы и греки:
Кровь пустить — словно съесть бутерброд.

Мысль не глубже всех прочих на свете —
Из «Паяцев» и прочих «Кармен».
Залетел даже в оперы эти
Грозный ветер больших перемен.

То паяц над разбитой любовью,
То сержант (типчик тот… не в укор)…
Дело кончится пролитой кровью,
Что б ни пели они до тех пор.

Меркнет свет над пустеющей залой,
Вышли зрители… Нервно курю…
…И большая кровища за малой…
Или глупости я говорю?

Борис Косенков

Пришла пора

Пришла пора…

Всё выше спирт в термометрах
и юбки,
всё ниже нравственность
и декольте.
Всё бесшабашней взгляды и поступки,
фантазии, покупки и т. д.

Пришла пора Джульетт и своден тёртых,
сердечных клятв и беспардонных врак,
когда Всевышний восстаёт из мёртвых,
а сатана хихикает в кулак.

Когда поля водой и солнцем за́литы.
Когда душа, чуть посильнее дунь,—
взметнётся вдруг в головоломном сальто…
Чтобы с размаху грохнуться в июнь.

Зимний вечер

Вместо улиц—только тропки:
город снегом занесён.
Заключил нас, видно, в скобки
атлантический циклон.

На деревьях—панцирь жёсткий,
и под грузом ноши той
тополёк на перекрёстке
изогнулся запятой.

Ветра нет, и в полумраке
по округе там и тут
восклицательные знаки
к небесам из труб растут.

И скользят вдоль тротуара,
темноту растормошив,
многоточиями фары
проезжающих машин.

И в лучах маячат косо,
точно вестники судьбы,
в серой мути то ль вопросы,
то ль фонарные столбы.

А в неласковой восточной
чужедальней стороне
меткий выстрел
ставит точку
в чьей-то жизни на войне.

На мини-рынке

Вот это жизнь!
На удивленье публике,
и нравам, и природе вопреки,
в России, как в банановой республике,
бананами завалены лотки.

Они лежат—
десятки, сотни, тыщи!—
уже давно не роскошь и не блажь—
и вызывают слюнки у детишек
и грешные мыслишки у мамаш.

Что ж, может быть, не строя и не сея,
мы до того дотянем перекур,
что превратится хлебная Расея
в бананово-лимонный Сингапур.

Вот только не придётся ли тогда нам
с брезгливо перекошенным лицом
занюхивать шампанское бананом,
мечтая о пшеничной с огурцом?..

Всего ничего

Ни хоро́м, ни злата
за труды—
мне всего-то надо
доброты.

Чтоб в седую стужу
с ветерком
согревала душу
свитерком.

Чтоб любовь морозы
не сожгли.
Чтобы дни—не слёзы—
шли да шли.

Чтоб, как дым из печки,
в синь и свет
шли да шли колечки
зим и лет.

Юродивый

Весь изгваздан, весь расхристан,
задремав или сомлев,
он разлёгся на бугристой
примороженной земле,
заслонясь безумьем гиблым
от базарной кутерьмы.
Лишь заиндевелым нимбом
серебрятся кудерьки.
А под порослью убогой,
дёргаясь, кадык снуёт:
знать, душа в гостях у Бога
сбитень с пряниками пьёт…
Только вдруг он встрепыхнётся,
исступлённый и лихой,
и в прохожего прохвоста
ткнёт безжалостно клюкой.
Будь ты тёртый, будь ты дошлый,
будь ты масленый зело—
он под всяческой одёжкой
распознает ложь и зло.
И взовьётся вместе с визгом
слов нестройный хоровод,
и навстречу тем витийствам
набежит честной народ:
и ярыги, и барыги, и купцы, и босяки…
И спадут с души вериги
беспросветно злой тоски.
И взойдёт над пряжей пёстрой,
что из тел, телег и торб
сплёл не пром-,
не прод-,
а просто
наш кондовый русский торг.

Откровенный бред и лепет—
как церквушка на крови…
По Руси молитв и сплетен
закачаются круги
и пойдут молвою шумной
до починков, до застав…

Аккуратный и разумный,
перед миром трезво встав,
веря в свой созревший гений,
изложи базару ты
свод открытий и прозрений
слогом, полным красоты.
Не бессвязный шёпот свыше,
а итог трудов и мук…
Ты надеешься—услышат?
Ты надеешься—поймут?
Ты хоть отклика, хоть взгляда
от толкучки жаждешь той?..

Нет, наверно, всё же надо,
как пророк или святой,
чокнуться, чтобы в итоге
напрямую, без мостков,
мозгом чуять биотоки
окружающих мозгов
и кидать, хрипя и корчась,
в эти страждущие рты
смесь дурачеств и пророчеств,
правды и белиберды.

Сергей Шабалин

Антисюжет

● ● ●

Короткий перечень заслуг:
перестраховываясь всуе,
я слышал потаённый звук,
толчки сейсмические чуял.
Но это был не спорт, а спор.
Пожар — не уличная свара.
Как искушённый брандмайор,
я вычислял очаг пожара.
Огонь попахивал бедой
непредсказуемых пропорций.
Спасибо воздуху с водой —
нет в мире лучших миротворцев.
Многометрова высота,
которую осилил «Боинг».
Что было под крылом? Вода
и пар, переходящий в воздух.
В столицах отступивших стран,
в зловонных выбоинах лета
нас разделяет океан.
И я люблю его за это.

● ● ●

Я пью рубиновый портвейн
февральским вечером в субботу
и узнаю тебя в толпе
с экстравагантным идиотом.
Преображенские коты
хвостами хлещут мне по роже.
Это, естественно, не ты,
а та, что на тебя похожа.
В проулках памяти снуя,
коты выруливают в лето.
Это, наверное, не я,
а отзвук прежнего поэта,
что был отчаянно смешон,
искал соперника упорно.
Это, по-моему, не он,
а местный оборотень в чёрном.
Прикосновенье полутьмы.
Прощальный штрих. Знакомый уголь.
Это законченно не мы,
а звенья замкнутого круга.

● ● ●

Памяти Егора Радова

Зачем затевать исчезающих стран раскопки,
созерцая тома умерших на полке;
у чужой домбры выпрашивать соло,
величать царя обречённо-голым,
жить в режимах тел вовек инородных —
безнадёжно-бренных, местами модных,
чаще безобразных в любом обличье,
безучастно-двуногих, совсем не птичьих…
в общем, змееподобных, хоть и бегущих?
Замыкаться в себе — зачем? Не лучше ль,
опустив, как встарь, козырёк бейсболки,
чтоб спасти глаза от шального солнца,
слишком яркого для зимы по-русски,
позвонить в турфирму, взяв атлас в руки,
а потом билет до Дели и дальше,
можно даже в Гоа, если нрав запальчив…
Но вернуться домой, конечно, вернуться
(прихватив с собой кирпич Камасутры),
только не в Москву или, скажем, в Лондон,
а освоить избу в предместье Коломны…

Город Зеро

Он запомнил погоду лётную
и гастроли в приморском городе;
много цвета запомнил — воздуха,
первый ряд и улыбки зрителей.
Восемь лет прошло (или около) —
он не знал: это мало, много ли?
Будто в рыхлом яблоке косточка,
он опять в этом шумном городе.
Тот же дом в переулке каменном.
Та же сцена в театре камерном.
Да и зрители прежние… только вот
их улыбки сегодня восковы.
И, взглянув ещё раз в зал зрительный,
испугался артист увиденного:
понял он, что сих лиц носители —
не друзья ему больше…

Футбольное фото

Я вовек—за «Трактор» (Сталинград).
За каскад голов слепого братства.
За скульптурность каменных солдат,
Взмывших ввысь над выжженной вратарской.
Я за порох евразийских войн—
Удальцов, что пали в сорок первом.
За творцов, что не догнал соперник,
Растворивших капсулы обойм.
Камера обскура грозных лет.
Примус и полпачки «Беломора».
Антикварный хаос на столе—
Память о голах конквистадоров.
Рытвины на карте потолка
Подтверждают бытопись упадка.
Приутихла музыка полка,
Певшего по-детски, без оглядки.
Но, воскреснув под трибунный рёв,
Вопреки реваншу скучных сборных,
Рушит штанги маг Пономарёв,
Метит в «девять» футурист Проворнов.
Что случилось с ними—лагеря?
Неизвестны жизни бомбардиров,
Но на дне небудничных турниров
Легендарных судеб якоря.
Я за лето каменных солдат,
Побеждавших в схватках над вратарской,
За абзац обманутого братства—
За команду «Трактор» (Сталинград).

● ● ●

Я пишу для театра «Кривое эхо»
несерийной жизни антисюжет.
Отражаюсь в зеркале—только я ли это?
На плечах пальто, но меня в нём нет.
Протыкаю кофе двурогой вилкой—
зачерпнуть пытаюсь. Из года в год
я вхожу в ваш дом через чёрный выхлоп,
выхожу через жёлтый вход.
Каждый миг на ось ошибки нанизан.
Застревают в чёлке намокшей пальцы.
Устою на тощем ребре карниза,
поскользнусь на сухом асфальте.
Леденящим сном по кадык залит,
вижу, как над постельной ванной
расписное яйцо Земли
вязнет в сетке меридианов.
Мне бы чёрной дыры недра
вскрыть спиралью тысячелетий,
но вокруг меня… жидкое небо,
как в одной позабытой ленте.
Я пишу для театра «Кривое эхо»
несерийной жизни антисюжет.
Вот моё отражение—только я ли это?
Вот пальто, душа… но меня в них нет.

● ● ●

На знаке номерном блестит роса—
химический состав вполне знакомый.
Он любил случайность в адресах,
которые когда-то станут домом,
почти что книжным—вот и первый том.
В нём эйфория и закономерность.
Всё потому, что память—это дом,
всё остальное—стены, эфемерность…
Том номер два. В нём зверствовал борец—
он увлекался саморазрушеньем.
И эпилог напоминал конец,
но был всего лишь на оси вращеньем.
На собственной оси… четвёртый том—
чужие парадигмы или знаки.
Антуриум в петлице цвета хаки.
Страна другая? Это тоже дом.
В ноябрьском парке зрел девятый том
напротив монумента с голубями
на бронзовом плече, но не о нём
вещал синхронный переводчик—память.
Архипелаг, а может быть, фантом
витал над разрисованной скамейкой…
Шарф на ветру или метла кометы,
что расщепит одиннадцатый том.

● ● ●

Итак—улыбка, сумерки, графин…
И. Бродский

Дым над Москвою, и над Тулой смог:
горят леса, и выси бронзовеют.
Но смог над Тулой горше и мертвее,
и этот дым никто не превозмог.
Ни классик русской прозы, ни Шойгу;
ни гастарбайтер из Таджикистана,
что улетает вечером в тайгу
без регистрации и чемодана.
Мертвеет шум «мустангов» и «тойот»
не потому, что здесь дороги хуже…
И курит «Кент» столичный патриот,
мечтая искупаться в тульской луже.
На Главпочтамте, что угрюмо-чист,
красотка жаждет интернетных связей,
пока потомок—панк, но глобалист,—
крушит букет в муниципальной вазе.
В пустом дворе рассохся старый стол,
на коем в домино нещадно бились.
Встал «Арсенал»—и отменён футбол,
и протрезвели даже те, что спились.
Итак: Июль. Провинция. Жара.
Никто не знает, как с судьбой бороться.
Но пьют росу из тульского колодца
и местный бомж, и гость из-за бугра…

Елена Фельдман

Корень жизни

Память

А если спросит кто-нибудь меня,
Как жили мы с тобой в тот год на свете,
Я, в памяти имён не сохраня,
Отвечу, что мы были только дети.

Что мы хотели жить не так, как все,
Но оказалось—все хотят того же;
Что время в среднерусской полосе
В людей глядится ласковей и строже,

И тот, кто прожил здесь хотя бы день,
В своих чертах приобретает малость
От дерева, роняющего тень
На то, что от корней его осталось.

В крыльцо плескалась талая вода,
За стенкой перешёптывались мыши,
И нестерпимо синяя звезда,
Склоняясь к нам, светила тише, тише.

Когда в пустые лёгкие войдёт
Январский воздух, голубой и колкий,
Я запущу, как мячик, память влёт:
Мы жили счастливо, хотя недолго.

Корень жизни

Олень-цветок, стригущий нежным ухом
(Как карта мира—шкура в белых пятнах),
Идёт по снам моим со странным звуком,
Звериным топотком, копытным стуком,
И говорит доверчиво и внятно:

—Ты станешь храбрым юным капитаном,
Добудешь корень зрелого женьшеня.
За азиатским золотым туманом
Не унижай ни пулей, ни капканом
На водопой пришедшего оленя.
Не соблазнись целебными рогами,
Не трогай ланки с малым оленёнком—
И красными февральскими ночами,
Когда ваш бог уже не будет с вами,
Так пощадят и твоего ребёнка.

Как тонкий рог сайка, в рассвете мглистом
Зелёный луч отчаялся пробиться,
И в тишине задумчиво и чисто
Судьбу мою, как медное монисто,
Вызванивает узкое копытце.

Месса

…А в день седьмой Бог шёл сквозь юный сад,
Где был с оленьим следом рядом—львиный.
Сиял в листве пурпурный виноград,
И черенок раскачивался длинный,
От тяжести освободиться рад…
Упав, распался плод на половины—
И встретил изумлённый Бога взгляд
Две светлые, как солнце, мандолины.

С тех пор их звук один не оскорбит
Прозрачного молчания в соборе,
Где сквозь витраж последний луч горит,
Как Он, преображённый на Фаворе,
И Магдалина у креста скорбит,
А время замирает с нею в горе;
Где Пётр, как проказу, прячет стыд
В опущенном к земле Голгофы взоре.

Закат заткал Господень дом парчой,
Пролил вино на белые ступени.
Витраж зелёный, красный, золотой,
Как звон струны, длит хрупкое мгновенье.
Под гулкий свод, изогнутый дугой,
Вступает бестелесное виденье—
И мандолины голос неземной
Как будто просит у Него прощенья.

Потсдам

Притормози за милю до Потсдама.
Тут слишком невесомо и светло.
Сосна, как пригласившая нас дама,
Расправила алмазное крыло.

Топлёным маслом смазаны вершины,
Коньячно-чист и выдержан закат.
Мотор затих. В снегу увязли шины.
И лес—как сад,

Запорошённый лепестками вишен.
Я знаю—дальше дом с большим крыльцом…
Но не проверить: мой мираж недвижен,
Разбрасывая отблески кругом.

И чудится: вот-вот стекло молчанья
Пробьёт иглой астматик-патефон…
Секунда длится. Что за наказанье:
Зима, война, а я опять влюблён.

Сон Сантьяго

Надвигается шторм, и мигрень не щадит головы.
В тёмной маленькой комнате ветер гоняет газету.
Старику всё равно. Старику снятся львы,
Мавританский залив и тропически-пёстрое лето.

Так прозрачна вода, что нетрудно на дне разобрать,
Как ползут по песку деловитые рыжие крабы.
Океан в тишине чуть качает кровать,
Положив на борта свои мокрые лапы.

Раздвигая тростник, всё плывёт по волнам колыбель,
И, начавшись однажды, движение длится веками.
«Я тебя не хотел убивать, голубая форель,
Так не мучай меня хоть во сне, шевельни плавниками».

Простыня обмоталась вокруг смуглых жилистых ног,
Ком подушки всплывает из мрака, как снежная глыба.
Старику всё равно. Старику снится Бог,
И он видит, что Бог—это добрая старая рыба.

Иго

Мой беспощадный язык! Чёрно-бурый лисёнок,
Камень запазушный, мальчик жестокий и гибкий,
Ты—недолюбленный мамкой татарской ребёнок,
Выщерившийся навстречу из тряской кибитки.

Кем, за провинность какую тобою наказана?
Ради чего в башмаки из железа обута,
Точностью липкой твоей хуже дёгтя обмазана?
Ты—мой конвой до последней тишайшей минуты.

Звонкая сухость германская, сладость романская—
Вечно вы мне достаётесь в подруги-попутчицы.
Тяжесть червонная, как Богоматерь Казанская,
Душная, царская,—я остаюсь с тобой мучиться.

Август

Я помню: был горяч и хрусток хлеб,
Осока не сминалась под ногами,
Роса на солнце полнилась мирами,
Лежал в траве монетой курослеп.

И сладкая студёная вода
Была дороже всех сокровищ мира.
Я нёс её, как ладан или мирру,
В ладонях. А вечерняя звезда

Катилась с тихим звоном на крыльцо,
Чтоб, светом васильковым пламенея,
Вдруг освятить живущее под нею—
Колодец, сад, усталое лицо,

Склонённое над книгой в тишине…
И падала так долго, долго книга,
Когда ты через всю огромность мига,
Вставая, протянула руку мне.

Наследница

Жизнь моя—свободный перевод
С древнего еврейского подстрочника.
Как в доспехи, рёбра и живот
Спрятала в корсет для позвоночника.

Что болело, больше не болит.
Память—белый звон на грани слуха.
Почему же из воды глядит
Юная красивая старуха?

Врач мне рассказал, что всё пройдёт,
Сломанная кость срастётся верно.
Катится к излому тёмный год—
Дальше будет солнечней, наверное.

Ты ведь бог, так сотвори мне миф:
Дом и лес, при доме—палисадник…
Плачет золотая Суламифь—
Птицы разорили виноградник.

Выставка импрессионистов

Весь мир—огромный, тёплый, чистый,
Он дышит в простынях рассвета,
Как бархат глаз новорождённых,
Глубоких синих океанов.
В некошеных лугах туманов,
Полынных, от природы сонных,
Колодцы розового света
Дрожат от ласки пианиста:
Пусть будет Лист. Сыграйте Листа!

Взмывает в воздух столб фонарный,
Исполненный немого танца,
Он рвётся к черепичным крышам,
От них совсем чуть-чуть до неба…
Зеленщик и торговец хлебом
Зевают; покупает вишни
Мадам с болонкой; в сочном глянце
Её сновидит плут в пекарне—
Меж дочкой пекаря и псарней.

Ночным дождём умытый город
По-воробьиному взъерошен,
Но перья разноцветных ставен
Уже полны дневного жара.
И за стеклом мансарды старой
Один художник, чуть печален,
Толпой и Музой равно брошен,
Вдыхает улиц хмельный солод,
Влюблён—опять, и снова—молод…

…На ясном небе ангел вышит.
Смеётся Бог. Картина дышит.

Анастасия Астафьева

То, чего не было

Окончание. Начало: «ДиН» №1, 2012.

Глава 7

Спроси совета у Небес

Гром прогремел среди ясного неба. В самом прямом смысле этих слов. Ксения посмотрела вверх: над далёкими кронами сосен растекалась безупречная голубизна. И только порыв ветра, набросившийся вдруг на их пушистые ветви, подтвердил её опасения. Приближалась гроза. Собака вопросительно посмотрела хозяйке в глаза: домой? Но возвращаться было глупо. Может быть, тучу утянет к реке, а если дождь всё-таки начнётся, они всё равно вымокнут по дороге домой. А до цели прогулки—молодого тонкоствольного соснового бора—было рукой подать. Вон он, плывёт зелёным облаком среди редких оставленных на вырубке деревьев. Ветер снова грубовато потрепал их кроны и улетел. И в лесу вдруг стало до жути тихо. Только брякали под сапогами вымытые до белизны дождями высохшие обломки сосновых ветвей. Лесорубы прибрали вырубку плохо. Обрубленные ветки собрали, сложили в огромные кучи, но не сожгли. На преющем дереве густо разрослись малинники. А обломками забились ямы и лужи на дороге. Лето в этих краях выдалось жарким, вода из луж испарилась, обломки пересохли. Потому и брякали сейчас, потревоженные шагами идущего человека, и звук этот навевал мрачное сравнение со стуком пустых, полегчавших от давности костей. Ксения шла по костям росших когда-то здесь деревьев…

Гром ударил сильнее. Туча приволокла и раскинула своё пухлое тело над бором. Сделалось темно, влажно. А через пару минут на лицо Ксении упали тёплые капли. Она развязала стянутые на поясе рукава курки-ветровки, надела её и, приметив крупную бордовую ягоду, остановилась у малинника. Ела переспелую пьяную малину и думала: как прекрасно было бы идти сейчас по лесу вместе с Алексеем, угощать его с ладони этими крупными душистыми ягодами. Он брал бы мягкую малину тёплыми губами, и получался бы такой необычный, такой нежный, такой ароматный поцелуй. И они смеялись бы, радовались бы друг другу и этому дню… Ксения не замечала, что капли падают на её лицо всё чаще, всё тяжелее, что умная собака забралась в молодой ельник, подальше от дождя. Хлынул ливень. Очень тёплый, словно июль стоял, а не доживал свой срок август. Пришлось и Ксении пристроиться рядом с верной рыжей подружкой.

Грозовой ливень обычно короток, лишь пыль прибьёт. А тут разошёлся не на шутку, и скоро даже густые ветви елей не спасали от льющейся с небес воды. Она стекала с волос, капала с носа, с рукавов куртки, в сапогах зачавкало. Ксения решила, что терять нечего, смело выбралась из ельника под дождь и бодро пошагала на бор. Собака печально посмотрела ей вслед, нехотя вышла из укрытия и, поджав хвост, поплелась за хозяйкой.

Но упорство Ксении было вознаграждено. Молодой бор плодоносил щедро. Она срезáла крепконогие с тёмными бархатными шляпками белые грибы, а собака мешала—приваливалась промокшим боком к тёплым рукам и с мольбой смотрела в глаза: «Пойдём!» Ксения шуточно отпихивала псину, но у следующего гриба всё повторялось. Небольшая корзина скоро заполнилась, и грибники отправились домой с чистой совестью. Дождь затихал, туча уползала за реку. Они ещё не дошли до деревни, когда на небе с новой силой засияло умытое солнце.

Деревня, где жили мама с отчимом, была невелика—десяток домов, половина из которых опустела, потому что хозяева оставили их, обретя местечко в ином мире… Когда-то из этой деревни уехал в Ленинград дед Ксении, так что мама появилась на свет в городе на Неве. Она выучилась на журналиста, по распределению уехала в провинциальный город, там и родила Ксению. После развода с Кузнецовым она долго жила с дочерью вдвоём и второй раз вышла замуж уже в зрелом возрасте. Муж оказался человеком деревенским, и, лёгкая на подъём, неистребимо романтическая, мама перебралась из города в родовую деревню. Круг замкнулся.

Они прожили в любви, делах и заботах, коих множество у тех, кто решился вернуться к земле, пятнадцать лет. Держали коз, кур. Мама ещё умудрялась иногда заниматься журналистикой, но последнее время её серьёзные очерки о простых

людях, о крестьянах печатать перестали. Пресса желтела и глянцевела со скоростью света. Поэтому жили тем, что выращивали сами, да на две невеликих пенсии.

Весной отчим заболел. В районной больнице долго ничего не могли определить, потом догадались направить его в областную, но было уже поздно. Когда Ксения приехала в деревню, на него было страшно смотреть: кожа да кости, беспрестанный, вырывающий душу кашель. Отчим умирал. Мать—тоже выхудавшая, с потемневшим, углублённым в себя взглядом,—ещё как-то улыбалась, шутила; обрадовавшись прибывшей помощнице, затеяла ремонт в зимней избе. Отчим лежал в летнем домике, который строил, покуда хватало сил… И Ксения со своим любовным томлением была так тут неуместна, так чужа… Нужно было печалиться, скорбеть, а она носила внутри себя, где-то под сердцем, в районе солнечного сплетения, что-то необъяснимое, что-то шелковистое, что-то розовое, как фламинго, нежное-нежное, прозрачное, лёгкое, светлое, что-то на грани яви и сна. Там, под сердцем, столько лет была зияющая холодящая пустота. Как будто она была всё время простужена. Там, где, предположительно, живёт в человеке душа, теперь плескалось маленькое розовое озерцо талой воды. И от этого ощущения так было хорошо, так… Этого не объяснить, это надо чувствовать…

— Мама, я так влюбилась, ты не представляешь…

Мудрая мама тихо улыбалась в ответ:

— И очень хорошо. Живым—живое.

— Как ты будешь жить одна? Здесь? Я с ума схожу, как представлю…

— Ну, пока я ещё не одна…—опустила она глаза.

— Прости… Я брякаю, не думая. С ним тоже брякнула. Перед отъездом… Вчера вот письмо отправила, наваляла там всего, теперь жалею… Ну почему я совсем не умею обращаться с мужчинами? Не знаю, как себя с ними вести… Да и вообще с людьми. Вот недавно одна дама сказала, что я грубая и высокомерная. А это всё от стеснения, от неуверенности. Я в какой-то ступор впадаю, очень хочу выглядеть умной, и в результате… круглая дура… Ну как? Как? Научи… у тебя же всё это было… Что мне делать?

Мама, ещё удерживая на губах улыбку, смотрела в кухонное окно, на закатывающееся за лес солнце, но взгляд её постепенно уходил внутрь.

— Моя бабушка… я же каждый год ездила к ним сюда, на каникулы. Она мне однажды рассказала удивительный духовный стих. Там длинно, а мою память дырявую ты знаешь… но суть в том, что какая-то женщина ждёт в гости Бога, и вот она целый день всё прибирает, намывает, готовится встретить Господа… а к ней то старушка приходит за подаянием, то сиротка голодная и оборванная плачет под окном, потом усталый путник просится на ночлег. И женщина всё отсылает, отсылает их за помощью к соседям, к другим людям: мол, рада бы, да некогда—жду Великого Гостя. И вот она сидит поздним вечером нарядная в своей чистой избушке, а Бог всё не идёт, и она скорбно решает, что он зашёл к кому-то другому, не удостоил её чести… Ночью женщина видит сон… вспомню сейчас… подожди… «Явился Господь предо мною…» Да! «Любовью светилися очи, когда он со мной говорил: «И днём Я, и в сумерках ночи три раза к тебе приходил. Три раза Меня отсылала у ближних приюта искать…»—«О Боже!—в слезах я сказала.—Тебя не могла я узнать!..» Бог, конечно, простил неразумную женщину… но ничего уже нельзя было вернуть, изменить, хоть беги за этими нищими, хоть отдай им всё.—Мама помолчала, снова вглядываясь в себя.—Мне кажется, со всеми людьми надо… наверное, надо стараться жить по этой притче. Никого не отталкивая, не презирая… Я ещё школьница была, когда услышала этот стих, и я, конечно, тогда его не совсем поняла… И даже взрослая… нам ведь так часто кажется, что мы делаем что-то очень важное, мы так заняты, так рвёмся к вершинам, и кажется, что в этом смысл жизни… поэтому нам хочется выглядеть умными, какими-то особенными… но Богу, Ему не нужны ни наша слава, ни наши достижения… может быть, ты один раз переведёшь бабушку через улицу, да просто—выслушаешь кого-то, остановишься в суете и выслушаешь, не отмахнёшься, не отправишь к другим за советом и вниманием… и одним этим маленьким, незаметным, но искренним поступком отмолишь все свои грехи… Высокопарно звучит, да? И, может быть, не совсем о том, что ты спросила… Но я стараюсь жить именно так, и какое спасибо за это бабушке… Вот всю жизнь она здесь, в этой маленькой деревне, прожила—как сама говорила, «раз в кузницу да раз на мельницу» выезжала. А всё о жизни знала и понимала…

В глазах Ксении давно стояли слёзы, она смотрела сквозь них в окно, и контур чёрного леса, горящий по краю алым огнём, дрожал, расплывался. Солнце ушло на покой. Завтра нужно ехать в райцентр за обезболивающими свечами для отчима…

— Если бы, если бы мы все жили так…—прошептала она одними губами.

Чайка всё время взмывала на одну и ту же высоту. И камнем падала на взволнованную прибоем воду залива. И всякий раз промахивалась. Это было невозможно, хищные птицы практически никогда не промахиваются.

«Какая-то контуженая чайка»,—подумал Алексей, следя за её отчаянными попытками в окуляр камеры. Белокрылая птица то появлялась в кадре, то падала за нижний его край. И тогда всё пространство кадра занимала серая хмарь. Небо над

заливом набухло дождём, который никак не мог пролиться.

Алексей перевёл взгляд камеры на такую же серую, чуть вспенённую у кромки каменистого берега воду. Теперь чайка стала исчезать в верхнем крае кадра. В какую-то секунду в её оранжевых лапах блеснуло серебро, и больше птица в кадр не влетала. Алексей оторвался от камеры, осмотрел небесный простор и увидел её, улетающую с пойманной наконец добычей к ближайшей скале. Серый камень был усеян белыми, ужасно гомонящими птицами. Они по очереди взлетали, кружили над скалой, падали на воду и возвращались обратно с серебристыми рыбками в оранжевых лапах. Найти среди них его чайку было теперь невозможно.

Алексей выключил камеру и побрёл вдоль берега, изредка лениво подбирая понравившийся гладкий скользкий камешек и кидая его в воду. Съёмки на сегодня сорвались, день пропадал, и он решил потратить его на лирическую прогулку. Такой же точно кадр с чайкой он мог снять и на Финском заливе, и никто бы не увидел разницы. Такое же по-питерски серое небо, отливающая сталью вода… Европейские морские города похожи, словно родные братья. Особенно осенью. Особенно для Алексея, который порой просыпался утром и далеко не сразу понимал, где он, в какой стране, под каким небом, на каком языке нужно разговаривать с горничной или лежащей рядом девушкой…

Сюда его пригласил старинный приятель-режиссёр, пригласил в качестве оператора. Проект был небольшой, работы недели на две, и Алексей согласился не раздумывая. Смена обстановки как раз кстати, да и деньги посулили неплохие. Идея будущего фильма была банальной, но милой. Исчезающий старый город, его жители, противостоящие нагло напирающей, вызывающей современной архитектуре, молодым шустрым предприимчивым бизнесменам — поклонникам быстрого строительства из бетона и стекла. На самом деле эта проблема давно стала общей, всемирной. Улицы, целые кварталы старых застроек с их неповторимой атмосферой, с их бытом, с их стариками, дворами, бродячими собаками должны были уступить место новой жизни. И её, эту новую энергичную жизнь, не интересовали чужие воспоминания, замшелые ценности давно прожитых дней.

Съёмочная группа уже отсняла улицы старого города, дома, несомненно, имеющие архитектурную ценность, но по какой-то причине не включённые в реестр охраняемых, сняла старый порт, записала три десятка интервью со стариками. На сегодня оставался разговор с местным строительным магнатом. И всё уже было готово, но в последний момент позвонила секретарша господина Бертра и отменила встречу: её шефа срочно вызвали в мэрию.

Алексей подхватил совсем плоский, отливающий розовым камешек и попробовал запустить его «блинчиками». Но по беспокойной воде «блинчик» прыгнул только пару раз и исчез в волне.

В эти две недели Алексей старался не думать о своей картине. Что-то кардинально изменить в ней было уже невозможно. В общем-то, она была готова. Это он, вечно сомневающийся и придирчивый к своей работе, всё выискивал недостатки, недомолвки. Оставить бы «Зазеркалье» в покое, но песенка… Вместо того чтобы сочинять текст, сумасшедшая девчонка писала ему пространные письма о деревне, о лесе, о ягодах и грибах, в конце вздыхая: «У меня пока ничего не получается». Было бы глупо надеяться на одну Ксению, и он давно, ещё до того как попросил её, дал такое же задание знакомой московской поэтессе. Последняя прислала два варианта, но они, профессионально написанные, были как-то не совсем о том… Вчера Ксения огорошила его сумбурной и напористой эпистолой (если так можно сказать об электронном письме) по поводу их дальнейших отношений. По́шло называя его «зайчиком» и «медвежонком», она намекнула на какую-то свою прежнюю горестную любовную историю и предложила не мучить друг друга понапрасну. А точнее, написала так:

«Поверишь ли, нет ли, но у меня больше пяти лет не было ни с кем вообще никаких отношений. Я очень выборочна в плане людей, с которыми общаюсь, которых допускаю до себя. Ты интереснейший, обаятельнейший человек, мне с тобой легко. В конце концов, ты просто роскошный мужик! Мне вдруг захотелось заполнить вакуум именно тобой, меня к тебе потянуло. Что в этом плохого? Хочешь ли этого ты, и интересно и нужно ли тебе это, решать вам, мужчина!

Так что хорошо, что есть этот месяц, чтобы мы оба поняли, чего нам хочется. Что́ мы можем дать друг другу. В любом случае, моё уважение к тебе бесконечно и останется со мной на всю жизнь, даже если не будет ничего большего!»

«Заполнить вакуум» — каково сказано! Писательница, одно слово. Вот никогда не подумал бы, что с Ксенией могут начаться проблемы выяснения отношений. Казалось бы, достаточно зрелая, оч-ч-чень неглупая девица, тонко чувствующий человек… После того как он прочёл её сочинения, он убедился в этом окончательно. Был даже удивлён — ожидал девчоночьих любовных соплей, а на деле читал крепкую, написанную твёрдой мужской рукой прозу. И темы были не девичьи: о парне, дезертировавшем с чеченской войны (пусть и наивно местами, и неправдоподобно, но чувства человеческие подлинные, страшные, понятные всем). А рассказы о детстве — классический жанр, заезженная тема, но ведь внесла что-то своё, живое… Чудный рассказ о природе, с какой любовью она описывает этот лес, эти листики, травинки…

Но более всего его потрясла пьеса. Об отношениях Сергея Кузнецова с дочерью он только слышал что-то, какие-то чужие сплетни, разговорчики. Лиговцев, когда Ксения только появилась на фестивале, с присущей ему восторженностью рассказывал о ней. Но всё это был взгляд со стороны. А она описала всё это изнутри. Какими слезами были политы эти страницы, можно было только догадываться; её искренность, беззащитная обнажённость сбивали с ног. Ему казалось, он стал что-то понимать об этой девчонке, вдруг почувствовал её совсем близкой, родной. Она нравилась ему всё больше и больше и теперь разбудила в нём неподдельный человеческий интерес, а не только мужское желание. И вот — вывезла такое. Что и почему он должен решать? Спать с ней или не спать? Вот прям сейчас, сию секунду решить?! Первый раз она вызвала в нём такое раздражённое недоумение.

Он добрёл до маленькой бухты, где, заглушив мотор, покачивался на волнах рыбацкий баркас. Спросил троих загорелых мускулистых мужиков, далеко ли он ушёл. Один из них, узкий и высокий, как мачта, присвистнул и сказал, что до города больше пяти километров. Алексей показал рыбакам купюру в пятьдесят евро и попросил подбросить до порта. Мужики о чём-то с усмешкой посовещались, подвели баркас к берегу и помогли ему взобраться в него.

Через четверть часа Алексей высадился на твёрдую землю, около заброшенного причала, среди двухэтажных чистеньких домиков. Баркас тут же затарахтел мотором и умчался обратно в залив. На причале удили рыбу двое худосочных мальчуганов и с любопытством поглядывали на бородатого дядьку с видеокамерой. Алексей спросил их, где его высадили, и, выслушав ответ, иронично усмехнулся: предприимчивые рыбаки его обманули, высадили в каком-то пригороде. Он спросил про дорогу, и мальчишки махнули рукой за дома, туда, откуда доносился невнятный шум. Это мчались по шоссе к городу машины. С трудом остановив одну из них, заплатив ещё двадцать пять евро, Алексей добрался-таки до гостиницы. Совершенно измотанный, он сразу свалился в кровать и проспал до утра.

Первый сон Ксении Сергеевны

Они шли узкой горной тропкой. Шестнадцатилетний парень, сын чабана, и подпасок лет восьми. Они тащили на базар мешок шерсти, его нёс на плечах старший. Мешок был объёмный, неудобный, хотя и довольно лёгкий. Им предстояло миновать по мосту беспокойную горную речку, и там, на той стороне, будет солнечный город и шумный базар. Если они успеют к открытию, то смогут продать шерсть по выгодной цене…

Мост оказался разбит. С той, городской стороны. Его снесло каменным обвалом, и сейчас кучка горцев шумно обсуждала случившееся, стоя на сохранившейся половине моста и поглядывая на несущуюся далеко внизу пенистую воду. Мальчишки подошли к ним, и сердце старшего сжалось от внезапной беды. Что теперь делать? Идти в обход по горам, до следующей переправы? Но тогда они потеряют время, попадут на базар к вечеру, и их шерсть совсем обесценится. Можно попробовать перейти речку вброд, но сделать это не так-то просто. Речка эта необычная. Нужно сперва поймать и съесть юркую серебристую рыбу, которая плавает в её холодной бурной воде. Тогда можно не только посуху миновать опасную реку, но научиться понимать язык зверей и тайные мысли людей. Это такой заманчивый путь, и сын чабана подошёл к самой воде, протянул руки за рыбой… Горцы напряжённо и грозно следили за его действиями. И — вот чудо! — рыба, юркая хитрая рыба, которую ещё никому не удавалось поймать, сама прыгнула ему в открытые ладони. Вот она, влажная, тяжёлая, отливающая серебром, в его руках, сейчас он съест её и станет посвящённым, но горцы закричали насмешливо и напуганно с моста: «Собачья еда! Собачья еда! Будешь проклят, если съешь её!»

Сын чабана с печалью посмотрел на рыбу и… бросил её обратно в воду. Что остаётся? Он снова поднялся на мост, подошёл к разрушенному краю, посмотрел вниз. До берега с острыми серыми камнями далеко. Конечно, можно рискнуть и прыгнуть, ведь у них с подпаском так мало времени. Рынок уже, наверное, открылся, и шерсть каждую минуту теряет в цене. Но они могут разбиться. Ладно он — здоровый крепкий парень, но этот безвинный ребёнок, который зачем-то увязался за ним… И тут счастливая мысль осенила сына чабана. Мешок! Конечно! Он же полон шерсти! Он мягкий, нужно лишь правильно им распорядиться! Да! Он прыгнет, подвернёт под себя мягкий мешок с шерстью, а подпаска уронит сверху на своё тело…

Прыжок. Сердце зашлось на мгновенье… Смягчённый удар о камни. Сверху упал подпасок. Сын чабана успел подумать, что они целы, и сознание покинуло его…

Солнечный город. Пыльные улицы. Глинобитные стены. Женщины в чадрах. Ослики тянут повозки со свежими овощами и зеленью… Где-то в этом городе шумит восточный базар, и два пацана с мешком шерсти, наверное, успели добраться до него как раз ко времени…

В Питере стояла волшебная золотая осень. Сухая, звонкая, улыбчивая. Сияли листвой цвета солнца клёны и каштаны, берёзы щедро сыпали на тротуары, под ноги прохожих, позолоченные монеты, блестела стальной чешуёй невская вода, и воздух, если втянуть его медленно, через

неплотно сомкнутые зубы, отдавал ароматной яблочной кислинкой. Это был вкус и цвет счастья. Озерцо талой воды, там, внутри, где-то в районе солнечного сплетения, превратилось в маленькую пушистую кошечку. Она тихо мурлыкала, ласкала, убаюкивала. Ксения улыбалась поселившемуся внутри тёплому комочку всё время, даже на людях, даже когда шла по улице. Улыбалась губами, глазами, и проходящие мимо мужчины восхищённо оглядывались на неё, невероятно похорошевшую, похудевшую. Они оглядывались, даже если шли под руку со своими строгими дамами, с детьми…

— Какая ты красивая! Большая и красивая! — подвыпивший усатый кавалер, с такими же взвеселёнными другом и подругой, попытался обнять её прямо посреди тротуара.

Она увернулась со смехом.

— Какай ты хорошья! Какай ты красивья! Как тебья зовут? — без стеснения приставал на автобусной остановке чернокожий житель северной столицы. — Я бы хотель любить тебья. Скажи, как тебья зовут?

Ксения давилась от смеха. Прыскали в ладошки стоящие рядом девчонки-школьницы. Загибались от хохота курившие в ожидании автобуса парни. Напрягали слух любопытные старушенции.

Впервые она по-настоящему верила в то, что красива, что желанна, что достойна любви, как и все вокруг. Но эти комплименты не шли ни в какое сравнение с тем, что написал ей Алексей. Написал давно, в тот день, когда она уезжала к маме. Она не взяла с собой мобильный — в то лето в их деревню ещё не пришла сотовая связь. Надо же, она ехала в поезде и не знала, что в её маленькой опустевшей комнате звонит и звонит телефон. Что Алексей хочет сказать ей: «Не спал до утра. Всё прочитал. Как хорошо! Ты необыкновенная!» Что, вернувшись, она увидит эти слова, сохранившиеся в уснувшем телефоне, и будет на разные лады повторять: «Ты необыкновенная!» — стараясь почувствовать то же, что чувствовал любимый человек, когда писал эти чудесные фразы… Значит, он понял, что она не такая, как все! Значит, она смогла задеть его за живое! Значит, она ему всё-таки небезразлична!

«Ты необыкновенная…» — нежно мурлыкала кошечка внутри, и Ксения по-кошачьи жмурилась от удовольствия и ласкового сентябрьского солнышка. Где же ты, милый? В какой стране? В каком городе? Почему не откликаешься и день, и два, и три? Почему не знаешь, что я вернулась и жду нашей встречи? Жду и оттягиваю её, желая подольше сохранить это мурлыкающее предвкушение, эту млечную нежность…

— Здравствуй, маленький! Ты приехала?!

Как ему удаётся говорить одновременно грустно и радостно? Она рассказывает ему про поездку, спрашивает, где был он, что с фильмом. А он то перебивает её, вставляя смешную глупую фразочку, и они смеются, то вдруг по-мальчишески озорно восклицает: «Ну, здравствуй, Ксеня, здравствуй!» — словно не верит, что она действительно снова рядом, и они в третий, в четвёртый раз здороваются. Он рад! Как он рад!

— А что там у тебя за грохот? — она, прислушиваясь.

— Ты будешь смеяться, но у меня под окном опять что-то роют! — он, весело.

— Ты получил тексты? — бодро.

— Да… Не обижайся. Немножко не то, — осторожно, тактично.

— Я же говорила, что не сумею… — с самоиронией.

— Мне надо посидеть, подумать, — скромно.

— Мы увидимся? Давай вместе поработаем, я попробую поправить… — по-деловому.

— Не знаю… — тихо, вяло.

— Я привезла тебе гостинец. Ты любишь грибы? — чуть растерянно, но к концу бодрее.

— Люблю… Я не знаю. У меня настроение какое-то… Я перезвоню.

Кошечка внутри перестала мурлыкать и тревожно заводила ушами. Лежи, милая, он просто устал. Он просто такой человек. Если любишь — люби всяким. Надо переждать этот день, перетерпеть, и завтра всё снова будет хорошо. Ведь никто не говорил, что будет легко. Кошечка успокоилась, легла, свернулась клубком и снова убаюкивающе замурлыкала.

Алексей точно знал день, когда Ксения вернулась в Питер. Она звонила ему, и он печально смотрел на светящийся экран взывающего к нему мобильника, где было написано её имя, и не отвечал. От неё приходили нежные вопросительные смс-ки: «Солнце моё, где ты?» Он читал и перечитывал их, но ничего не писал в ответ. Он испугался. Испугался того, что при мыслях о ней ему становилось тревожно, что мысли эти стали приходить слишком часто. От её звонков начинало ускоренно биться сердце, а по затылку бежали мурашки. Он, взрослый мужик, становился каким-то незащищённым, будто раздетым, потому что ей невозможно, бесполезно было врать, бессмысленно пытаться заранее режиссировать ситуации, с ней нельзя было ничего предугадать. Он не понимал, как этой девчонке удавалось то, что никак не удавалось ему: такая непосредственность, такая прямота. Эти стороны её характера и пугали, и очаровывали его. Почему с ней ему вдруг захотелось быть слабым? Зачем он рассказывал ей о своих проблемах, болячках, неудачах? С ней было так трудно удерживать привычный образ успешного, независимого, уверенного в себе человека. Этот образ так легко принимали и проглатывали окружающие, им можно было соврать, не стыдясь, перед ними можно было играть, не опасаясь быть разоблачённым; всем было удобно и даже уютно в этом спектакле. Ксения

куражилась над ним; когда ему казалось, что он отыграл свою роль безупречно, выстреливала в лоб насмешливо и точно, выбивала табуретку из-под ног. И он болтался в петле собственной беспомощности и обидчивости, в ужасе хватая ртом воздух из заготовленных заранее фраз и поз. Образ рассыпáлся, как карточный домик. Его же оружие поворачивалось против него. Ещё несколько месяцев назад он точно знал, чтó хочет от неё, чтó ожидает от него она. И был так спокоен, так уверен в том, что эта интрижка оставит лишь ванильное послевкусие, как от съеденного прохладного пломбирного лакомства. На деле десерт оказался не только острым и солоноватым на вкус, но и непредсказуемым в своём содержании. То и дело в нём попадались осколки от ореховых скорлупок, которые нерадивый кондитер не побеспокоился выбрать. Клиент рисковал обломать на них зубы. Зачем? Не проще ли отставить вазочку в сторону и занести этот ресторан в чёрный список?

Но как она трогательно смущается при нём! Как заливается румянцем от пошлостей, которые он несёт. Дурень! Как пробивает её током от его прикосновений, он чувствует это, он знает, потому что и сам томится при ней, и ждёт, и боится её ласки. А последнее время по вечерам ему так настойчиво, так головокружительно вспоминается её запах. И пальцы до сих пор помнят бархат её кожи, шелковистость её волос, и губы всё ещё хранят в уголке сладкий след её отчаянно смелого поцелуя… Нырнуть бы им обоим, как в омут, с головой в это любовное приключение, не оглядываясь ни на что, ни на кого, не беспокоясь об окончании, забыв всех, кто был до, и не вспоминая о том, что кто-то придёт после. Нет. С ней не будет легко и беззаботно. С ней… А с ним? Ксении с ним будет как?

«Ну, давай, Лёха, только честно. И сам от себя иногда не знаешь чего ожидать. Сегодня нужна, завтра нет. А ведь человек-то живой. Будет мучиться, спрашивать «почему?», а ты будешь вечно виноватым. Всегда будешь виноватым! И мы это уже проходили не единожды… Зачем ты вообще за неё глазом зацепился? Ведь у неё на лбу написано, что она не для лёгких сиюминутных отношений! Теперь вот надо выпутываться… Надо уходить. А то ведь ещё немного—съем и не поперхнусь. Зачем вот позвонил сегодня? Зачем?! Всю решимость как ветром сдуло. Давай по новой… Мне не нужен этот роман, мне не нужна эта проблемная девочка. Работай лучше, Алёха-мастер! Чего в Амстердам повезёшь, гений мирового кинематографа?!»

Алексей плеснул в рюмочку. Выпил. Стало тепло и спокойно. Он налил ещё. Отрезал дольку лимона. Опрокинул горькую огненную жидкость в рот и тут же охладил её цитрусовой свежестью. Третью рюмочку взял на рабочее место, к компьютеру. Туда же перекочевало и блюдечко с нарезанным лимоном.

Алексей прогнал фильм от начала до конца. Потом ещё раз. И решил попробовать сделать второй, более короткий вариант. Для этого нужно выкинуть, не жалея, два солидных куска. Каждый минут по семь…

Через час позвонила жена. Он сказал, что останется ночевать в кабинете, улыбнулся, услышав, как звонко кричит в трубке младший: «Па-па, па-па-па!» Вышло почти в унисон с его же криком в фильме, как раз попался в монтаже такой эпизод… Жизнь, кино—как всё тесно переплетено, всё перетекает друг в друга, всё сливается, становится единым процессом существования… незаметно и упорно.

Алексей просидел за работой до рассвета, пока вконец не занемели спина и правая рука, управляющая «мышью». Он поднялся, потянулся, размял ладонями шею, повертел головой. Подошёл к окну. Там зарождался новый, такой же солнечный и чистый день, как те, что стояли и всю предыдущую неделю. Огороженная турникетами аварийной службы горводоканала, знаменитая на весь мир яма робко выпускала сквозь треснувший асфальт струйки пара. Нет слов…

И вдруг, как вспышка, в памяти возник образ понурой, алеющей стыдом Ксении с той злополучной кассетой в руках: «Тут, понимаете… так получилось… дождь, а девочки без зонтов… они бежали. В общем… тут промокло, этикетка вот…»

Она так ему нравилась в тот момент. Так хотелось обнять её и сказать: «Да шут с ней, с кассетой этой! Пойдём куда-нибудь… куда? Не знаю! Просто пойдём…»

Алексей быстро сел за компьютер, зашёл в электронную почту, нашёл последнее письмо от Ксении и кликнул «Ответить».

Через пять минут он выключил компьютер, устало зевнул, взглянул на часы, которые показывали половину восьмого, и рухнул на диван.

Ксения забежала в фестивальный офис за парочкой дисков и заодно решила заглянуть в почту. В «мыле» висело письмо от Алексея. На открыточке с осенним орнаментом было начертано несколько трогательных фраз: «Грибы—это хорошо. Грибы мне нравятся… И ты мне нравишься… Но я очень люблю другую женщину…»

Слёзы просто брызнули из глаз Ксении на клавиатуру компьютера. Её приподняли на руках к небу: «…ты мне нравишься…»—и тут же со всего размаху грохнули оземь: «…я очень люблю другую женщину…» От такой боли и сердце могло разорваться.

Зашмыргивая в себя слёзы вперемешку с соплями, глядя на расплывающиеся перед глазами буквы, она набрала: «Что ж, зато честно, и на том спасибо… Но вот я тут сижу и плачу…»

Через пару минут ей на телефон (будто ждал сидел, гад!) пришло смс: «Не горюй, солнышко! Радуйся. Было бы хуже. Я—ужас».

Какая самокритичность, какое самоуничижение, какая святость, какой стоицизм! Да вы ли это, господин Данилов?! И женщина эта, которую вы «очень любите», уж не жена ли ваша?! Браво! Аплодисменты публики! И слёзы раскаяния от юной соблазнительницы… Взбешённая кошка впилась всеми восемнадцатью когтями в нутро и рвала его нещадно. Но слабое маленькое существо сдалось быстро. Испуганная и раненая кошчонка забилась в самый дальний угол души и принялась зализывать раны. Зачем было её трогать?! Зачем столько времени подогревать, распалять, очаровывать, приручать? Зачем забираться так глубоко, в самую душу? И выжидать момент, чтобы нанести удар, чтобы добить!.. У этого человека нет сердца, ведь тебя предупреждали! Не реви теперь. Знала, на что идёшь! А раз приняла правила игры, не жалуйся теперь. Или уходи с поля. Навсегда. Насовсем.

Но уже послезавтра Данилов испугался своей решимости.

— Поедем, выпьем кофе,— печально проговорил в трубке его голос.— Я буду через десять минут.

— Я не успею. Через двадцать…

— Через десять.

— Через двадцать пять,— насмешливо потребовала она.

— Хорошо. Через пятнадцать,— бросил он и отключился.

Пока Ксения шла от двери подъезда к его машине, Алексей раздосадованно смотрел на неё: она была хороша и независима. Он виновато и напряжённо заглянул ей в глаза. Нет, она не собиралась выяснять отношения, рыдать, бить его кулачками в грудь, отвешивать пощёчины. Да и с чего бы? Что между ними было? Полунамёки, полуигра, полуфантазия.

Он дружески улыбнулся ей и протянул давно обещанные диски:

— Лучше поздно, чем никогда. Правда?

— Правда!— приняла она подарок с вежливой улыбкой.— Спасибо. А это тебе— гостинец. Тебе же нравятся грибы,— сказала Ксения с прозрачным и злым намёком на недавние обстоятельства.

Алексей тихо поблагодарил и сел в автомобиль. Скоро тёмно-синий «Форд» слился с общим потоком машин, несущихся в центр города.

Прошло всего несколько минут, всего несколько глубоких вдохов воздуха, наполненного теплом сидящего рядом мужчины, и Ксения поняла, что уже почти простила его, что готова уткнуться ему в грудь и разрыдаться, по-детски спрашивая: «Почему?!» Вот, он даже бороду снова отпустил, чтобы ей нравиться! Алексей посматривал на неё чуть встревоженно и виновато.

— Мне очень понравились твои произведения,— он заговорил тихо, ровно.— Всё понравилось. Но особенно пьеса. Мне даже кажется, тебе удалось создать какой-то новый жанр. Да? Жанр документальной пьесы… жизнь так, как она есть.

— Ничего нового,— возразила Ксения.— Полно произведений, основанных на переписке…

— Нет. Дело даже не в этом. Понимаешь, у тебя чувства какие-то документальные. Как будто ты их проживаешь только-только в тот момент, когда я читаю… Как будто я становлюсь тобой, как будто рядом стою и все твои движения, слова повторяю… нет, не могу объяснить. Я даже плакал там, в том месте, когда…— его голос совсем потух.— Ладно… Только знаешь, ты не обижайся,— он осторожно коснулся её руки,— это никто не поставит. По крайней мере, в ближайшие пятьдесят лет. Потому что твой отец— классик, икона, а ты пока… ты не обижайся только, ты пока никто. Для них. Ты можешь, конечно, изменить все имена, перенести место действия в Америку, поменять поэта на актёра или на учёного. Но ты не должна этого делать ни в коем случае…

— Мне именно это и предлагали сделать— очень уважаемые люди из очень серьёзного театра. И я отказалась…

— И я тебе завидую! Да! Именно потому, что ты не должна никому и ничего. И делай только так, как велит тебе сердце. Всегда. Никогда никого не слушай…— Алексей помолчал, а потом заговорил веселее:— Я вот совершенно не умею выражать свои мысли письменно. Это для меня такая проблема. Я не могу сценарий к своему собственному фильму написать… Болван! Моя же идея, и я не могу написать… да что сценарий, письмо иногда и то не получается…

— Да уж! Ты мне в деревню какие-то телеграммы слал,— уколола его Ксения и после короткого раздумья продолжила:— Я пишу странно… Редко. Бывает, по году, по два вообще к письменному столу не подхожу. Зато потом сажусь и отписываю большой черновик дней за десять. Не ем, не сплю, работаю как больная.

Алексей вдруг с такой отчаянной радостью посмотрел на неё.

— И это не лень!— выпустив руль и эмоционально потрясая в воздухе руками, вскричал он.— Меня ругают, что это неправильно. А если это мой способ работы? То как?

— Какая же лень?— удивилась Ксения.— Я ведь всё это время думаю, круглосуточно мысль работает, даже во сне. Просто я не люблю черкать. Люблю, чтобы всё сначала в голове сложилось, чтобы сразу начисто писать, чтобы знать, что и как в начале и в конце…

— Дай лапу, друг!— он схватил её ладошку и от восторга очень сильно сжал.— Как хорошо! Как хорошо, что ты мне это сказала, друг мой! Значит, я не один такой! Значит, всё правильно!

Ксения смотрела на него, как на человека в приступе безумия.

— А меня задолбали… прости… «Ты ленишься, ты не хочешь!» На самом деле то, что они вымучивают из себя месяцами, зарабатывая геморрой… прости… мы с тобой с наслаждением делаем за неделю! Ты с меня такой камень сняла! Спасибо тебе!
— Да не за что,—усмехнулась она и досадливо поморщилась на некстати подброшенную памятью мыслишку о позавчерашней выходке Алексея.

Так не хотелось сейчас разрушать внезапно вернувшееся ощущение родства с ним… А ведь они действительно во многом похожи! И как она хотела знать о нём всё. Плохое и хорошее. Самое простое и самое сложное одновременно. Она так хотела рассмотреть в нём просто человека. За его скрытностью, высокомерием, позёрством, звёздной личиной, блестящей обёрткой. Снимать все эти наносные слои, как шелуху с луковицы,— один, второй, третий, обнаруживая под каждым из них новое, настоящее, человеческое: слабость, неуверенность, страх, желание любви, тепла, мучительное познавание жизни и себя в ней, поиск веры, опоры, защиты… Всё то, что искала в этом мире она. Всё то, что ищет каждый человек, независимо от своего положения в земной иерархии. И кажется, ей это чуть-чуть удалось. Вот он сидит рядом, совсем другой—не пошлит, не кривляется, не ёрзает, и она любит, любит, любит его такого! Она в эти минуты знает его таким, каким, может быть, его не знают многие, все те, кто распускает мифологический туман вокруг его фигуры. Мифотворчеством очень любят заниматься те, кому просто лень думать, вникать, стараться понять. Куда как проще и выгоднее прилепить ярлык и, свалив всё на необычного, не похожего на них человека, красиво оправдывать своё нежелание духовно трудиться.

Они, как те злые горцы из её странного сна,— спросила совета, вот Небеса и ответили!—видят в её руках волшебную серебряную рыбу и от зависти, от страха кричат: «Собачья еда! Будешь проклят, если съешь её!» Да, да! Будешь несчастна, пропадёшь, если свяжешься с Даниловым! И она малодушно готова отпустить, бросить редкую рыбу обратно в воду из боязни быть осмеянной, опозоренной… Конечно, куда как общественно приличнее переть огромный—но на деле-то лёгкий—мешок своих проблем, своего прошлого горького опыта дальше, как все, да ещё и стараться повыгоднее продать, выменять на медную монету жалости, на фальшивую банкноту сочувствия.

У неё в руках волшебная рыба, которую ещё никому не удавалось поймать, у неё есть любовь, странная, никому не понятная, трудная, рисковая, возможно—обречённая на провал, на боль, на печаль. Но она живёт внутри уже три месяца, она растопила своим дыханием ледники, на свой страх и риск свила гнёздышко в её, казалось, навеки напуганной душе! И она, Ксения, снова может жить! Жить по-настоящему, полноценно, жить женщиной! И не бояться больше ничего! Это её любовь, только её. И поэтому совсем не важно, кого любит он… Пусть любит кого хочет. Она постарается простить его и понять; пусть это так трудно, она постарается. Лишь бы ей дали любить самой, лишь бы ей дали дышать…

Алексей привёз Ксению в маленькую уютную французскую кондитерскую. Всего пять столиков. Большие, словно вокзальные, часы на стене—довольно странные для столь компактного помещения. Немыслимой красоты и аппетитности пирожные за стеклом аккуратного, с закруглёнными краями прилавка. Восхитительный запах свежей выпечки и кофе. Девушки в белых кружевных передниках и чепцах заулыбались Алексею как старому знакомому.
— Выбирай,—весело предложил он Ксении.—Посмотри, какое здесь всё вкусное. Я обожаю сладкое!

Но она в ответ лишь капризно сморщила нос. Не станешь ведь объяснять ему, что кусок в горло не лезет.
— Лена! Два капучино,—крикнул Алексей пухленькой черноглазой девушке.—Только молока поменьше.
— А мне побольше!—добавила Ксения и села за свободный столик, как раз под часами.

Скинула с плеч куртку, поправила волосы. Взглянула на Алексея, который терпеливо стоял у стеклянной витрины в ожидании заказа, и впервые заметила, что он слегка сутулится. Или ей так показалось—из-за приглушённого света и низких потолков кондитерской. Небольшая очередь из трёх человек оттесняла его к стене. Чья-то маленькая девочка, протиснувшись к стеклянному прилавку, тянулась к верхней полочке пальчиком— показывала, какое пирожное ей хочется. Им было невдомёк, что они толкают всемирно знаменитого режиссёра. Ксении вдруг очень захотелось подойти незаметно сзади и обнять Алексея. И она встала, и подошла, и, едва касаясь, провела, погладила рукой по его спине. Он дёрнулся от её прикосновения, словно его пробило током, и спросил с радостной готовностью:
— Что? Ты что-то хочешь?! Вот это, со свежей вишней, очень вкусное. И вот то мне нравится, с орешками!

Ксения улыбнулась ему, ещё раз окинула взглядом соблазнительную коллекцию сладких угощений и снова отказалась:
— Нет. Ничего. Я просто так.

Они взяли кофе. Сели за столик. Алексей достал какие-то листочки. Ксения увидела на них распечатку текстов к песенке.
— Вот эта фраза мне нравится: «Твой выполняю каприз. Думаешь, выдадут приз?»—он посмеялся, но как-то натянуто. И повторил задумчиво:—«Думаешь, выдадут приз…»

— Лёша, это всё плохо. Я сама знаю. Не мучайся…

Он поднял на Ксению глаза. Она замолчала, мелкими глотками пила кофе и слишком внимательно глядела в окно. Между ними густым облаком висело напряжение.

Алексей смотрел и смотрел на неё, словно бы фотографируя, фокусируя взгляд на какой-то одной детали: вот сейчас он вдруг заметил эту родинку на мочке уха, очень тёмную, почти чёрную, безупречно круглую, словно чернил капнули… Потом, когда она вновь заговорила, рассматривал её губы, несколько минут смотрел на них, как художник, которому нужно их изобразить: какой у них абрис, плотно ли они сомкнуты или чуть приоткрыты, смеются ли, обнажая крупные, крепкие, плотно поставленные зубы, или двигаются в разговоре, при этом чуть искривляясь к левой части лица…

— …а я такая дура была, ну представь—двадцать лет! Ума нет! Дверь в его кабинет ногой открывала. Это к начальнику-то увд! На глазах у всего личного состава. Катастрофа просто! А он всё терпел, говорил: «Сядь, Ксенечка, успокойся…» Первый и последний раз в жизни видела, чтобы у человека глаза светились при виде меня. А я всё чего-то выступала, всё чего-то гордилась, дверь ногой… труба рулю…

Ксения опустила взгляд, грустно улыбаясь своим воспоминаниям, стала водить пальцем по краю чашки. Туда-сюда, туда-сюда. Алексей внимательно следил за её руками. Руки большие, с полноватыми пальцами, с удлинёнными ногтями, на которых простенький самодельный маникюр. Ладошки у неё горячие и почти всегда чуть влажные. Это от волнения. Она знает эту свою особенность и не любит, когда он пожимает или целует ей руки… А он знает, что она волнуется при нём… Ксения снова что-то говорила, а он смотрел, как она берёт чашку—за ручку или за саму, как водит пальцем по краю, очерчивая полумесяц, а по внешней стенке чашки в это время стекает кофейная капелька… вот она достигает салфетки, постеленной на блюдце, и на белоснежной поверхности начинает медленно расплываться коричневое пятнышко, оно растёт, ширится, сначала очень быстро, потом медленнее, медленнее, и останавливается, достигнув своего максимума… Как в кино, суперкрупные планы…

Что он хотел разглядеть в ней? Он и сам не знал. Ему просто очень нравилось её рассматривать. Может быть, он любовался ею, даже сам не до конца понимая это.

— Ты точно как моя мать!—сказал Алексей резко и хмуро.—Она тоже такая же прямолинейная была. Скажет—как пригвоздит… Ты писала про это? Про те твои отношения?

— Нет… Хотя—да. Да!—усмехнулась Ксения, припоминая.

— Говорила мне моя мама!—весело погрозил он ей указательным пальцем.—Не спи с писателями. Всё пропишут!

— Умная, однако, мама…

— Да уж… Хочешь ещё кофе?

Алексей снова отошёл к сладкой витрине. Снова Ксения смотрела на его спину, неловкие, чуть скованные движения, его опять толкали не очень-то вежливые посетители кофейни.

«Вот оно!—внутренне восклицала Ксения.—Вот что неосознанно и, может быть, болезненно притягивает его ко мне. Неужели я напоминаю ему мать? Просто карма какая-то. Все мои мужчины ищут во мне маму. А я не хочу быть мамочкой! Не хочу! Надоело!..»

Алексей принёс кофе, и когда ставил чашку на столик, она вдруг заскользила по блюдечку, кофе плеснулся через край… Ксения видела, как смутился её кавалер, может быть, даже разозлился на себя за оплошность, но ничем не помогла ему, не попыталась разрядить ситуацию шуткой…

— Вот ты говоришь, что никогда не врёшь,—присев обратно за столик, перебил Алексей течение её мыслей.—Но это же невозможно! Бывают такие ситуации, когда правдой можно убить человека. Вот у меня сын заболел, младший, делали операцию. И мы врали деду. Как можно было ему не врать? У него бы сердце не выдержало. Только инфаркт перенёс… Что это? Ложь во спасение? Но ведь это всё равно ложь!

— Ты берёшь патовую ситуацию.

— Но ведь врать нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах! Поэтому я вру всегда. Твоя профессия—профессия писателя—это же профессия враля! Даже если ты описываешь абсолютно документальную историю, ты её приукрашиваешь, а значит, врёшь!

— Это художественный вымысел. Это другое!

— Да то же самое! Ложь имеет такое же право на существование, как и правда. Это две равновеликие силы.

«Почему его так волнует этот вопрос?—задумалась вдруг Ксения.—Может быть, было время, когда он пытался быть честным и открытым? И чем более резкую и больную правду он говорил, тем меньше ему верили, тем чаще смеялись над ним. И тогда он решил врать, или делать вид, что врёт, или просто рассказывать, а слушатели уже пусть сами решают—врёт он или нет. Ведь на самом деле человек никогда не лжёт просто так, чаще всего его вынуждают делать это его же близкие, его любимые…»

Вот она, например, ни разу не поймала его на вранье. Ну, по крайней мере, на каком-то глобальном. Так, мелкие простительные шалости. Получалось, что ей он не врал? Или врал всегда и везде—и одно и то же, чтобы не путаться, и эта ложь, эта выдуманная жизнь уже давно стала реальной?

Значит, опять он не врал! Ведь всё настоящее! Это немного похоже на шутовство, на юродство. Вот я предупредил, что всё время вру, притворяюсь, усыпил вашу бдительность и теперь могу говорить всё подряд! А что—взятки гладки. Если какая-то претензия, подвох, недопонимание—а что, я же врал! Удобная защитная позиция. Это как: «Да ладно вам, я же пьяный был, дурак!»

— Вот у тебя всё есть, ты уже всего добился,—неосторожно начала Ксения.

Алексей колко взглянул на неё и опустил глаза.

— Ну, почти… Но ведь жизнь длинная. Чего ты ещё ждёшь от неё? Чего хочешь? Как обычный человек.

— Я жду мудрости,—тихо заговорил он, вертя в руке кофейную ложечку.—Вот доживу до пятидесяти—и я сразу начну мудреть. А к концу жизни перемонтирую все свои фильмы,—он поднял повеселевший взгляд.—А вообще, я хочу долго жить. Лет до девяноста. Я хочу побыть дедушкой. Из меня получится очень хороший дедушка, я думаю…

— М-м, я так далеко не замахиваюсь. Лет до шестидесяти дотянуть—и то хорошо бы…

— До шестидесяти?—вскинул Алексей брови.—Но это значит, что ты уже прожила половину жизни.

— Ну да, прожила. Поэтому надо торопиться делать что-то полезное.

— Вот и пошли. Делать что-нибудь полезное,—внезапно поднялся Алексей из-за столика.

— Ты меня гонишь?—вызывающе спросила Ксения.

— Нет. Просто у меня назначена встреча. И я уже почти опоздал…

Они вышли из кондитерской на шумную душную улицу.

Ксения курила только в самых стрессовых ситуациях—на фестивале, например, в аврале. Но пачка сигарет иногда болталась у неё в сумке, была и на этот раз, и она медленно достала её, прикурила. Специально тянула время. Алексею это не нравилось, она знала и поэтому курила намеренно долго. Чтобы досадить ему. Чтобы знал, как ей плохо! А он всё это время терпеливо стоял возле машины и тоскливо смотрел на неё, на её пальцы, сжимающие сигарету, на облачка сизого дыма, который она выдыхала… Жевательную резинку достала, кинула белую подушечку в рот. Зачем курить, если даже самой противно?

И вдруг Ксения поняла, что красиво завершить выходку не удастся: нигде поблизости не было урны. Бумажки, фантики от конфет, окурки были натыканы в щели узорных столбиков освещения. К одному из них тут же подошли бабушка с внучкой, и девочка затолкала в ещё не занятое место обёртку от мороженого.

— Вот ведь невоспитанные люди,—картинно возмутилась Ксения, когда парочка отошла на приличное расстояние.—Бросить нельзя, так они по углам рассовывают! Я так не могу…

— Просто ты трусиха!—многозначительно улыбнулся ей в ответ Алексей.

«Ещё какая»,—печально подумала неудачливая курильщица, бросила потухший окурок на тротуар и села в машину.

Алексей отвёз Ксению до метро. Всю недолгую дорогу они молчали, почти не смотрели друг на друга. Попрощались тихо и словно устало. Как старые, давно сроднившиеся любовники, у которых уже всё было—и страсть, и ссоры, и измены, и прощения. И вот пришла пора расставаться… И никто уже не задаёт сакраментальный вопрос: «Когда мы теперь увидимся?»

Глава 8

Этот город неприкаянных людей…

«Никогда! Никогда больше не буду заниматься журналистикой! Бр-р-р…»—думала Ксения, понуро шагая следом за размахивающей руками полусумасшедшей тёткой, одетой в рваную болоньевую куртку. Спускались ранние октябрьские сумерки, настырно накрапывал дождь. Тётку было жалко: полгода назад в её квартире на первом этаже провалился пол, и до сих пор она скиталась по родным-знакомым, пытаясь добиться хоть какой-то справедливости. Пока ходила по инстанциям, в покинутом жилище высадили окно, растащили более-менее ценные вещи, а теперь ещё и поселились бомжи. Оставшиеся в аварийном доме жильцы били тревогу: в любой момент могли рухнуть перекрытия второго этажа, а непрошеные гости по пьяному делу—и вовсе спалить ветхое здание. Тётка писала письма в жилконтору, в прокуратуру, в районную и городскую администрации. Под письмами стояло несколько десятков подписей, но они совсем не трогали сердца и умы чиновного люда, живущего, по-видимому, в элитных новостройках. Как раз со строительства в непосредственной близости такого элитного жилого комплекса и начались все беды жильцов дома по улице Витебской, дома 1911 года рождения.

— Вы только представьте, что мне предложили: коммуналка из одиннадцати комнат, без удобств!—кричала бедная женщина, разучившаяся за последние полгода разговаривать по-человечески.—Это у них называется маневренный фонд! Комнатка десять метров! Только согласись, только переедь—никогда не выберешься! Никогда! Сдохнешь в этой коммуналке. Я ведь сюда, в эту квартиру, из такой же коммуналки… Сорок три года мучалась. Надеялась хоть остаток жизни пожить в тишине, в уюте. Всё пропало! Всё!

Они вошли в низкую квадратную арку жёлтого двухэтажного дома и оказались в крохотном дворе, где едва смогли бы разместиться три-четыре легковые машины. С трёх сторон, буквой «П», его окаймляли старые малоэтажные дома. Четвёртой

стеной — стеной неприступной, уходящей в далёкие-предалёкие серые небеса, — стоял новёхонький девятиэтажный богатырь. Казалось, что он взирал на сжавшиеся у его ног домишки и копошащихся людишек со злой презрительной усмешкой и только ждал момента, чтобы одним движением смести их с лица питерской земли.

— Вот, смотрите! Эта трещина появилась, когда начали строить этого монстра! — тётка хлопала ладонью по грязно-жёлтой облупившейся стене понурой аварийной двухэтажки. — Комиссия определила, что она сквозная, идёт через весь дом, от фундамента до крыши. И что они сделали? А?

— Что они сделали? — спросила Ксения, стараясь изобразить заинтересованность.

— Они поставили подпорки! Под балки второго этажа они поставили подпорки из бруса! Мои соседи ложатся спать и не знают, проснутся ли утром.

Тётка пробежала вдоль дома к зияющему чёрной дырой низкому окну.

— Моя квартира!.. Эй, вы! Где вы тут? — закричала она, перегнувшись через подоконник внутрь. — Шатаются где-то по помойкам. К ночи приползут. Мои шкафчики, мой столик… подушки мои, — горестно перечисляла она. — А вот провод, видите? Это они времянку кинули. Меня ведь сразу отключили и от света, и от воды, и от тепла. В феврале-то! А они придумали. Со светом пьют, сволочи. Но ведь это всё до поры до времени. Полыхнёт, как спичка… идите сюда, можно через окно сфотографировать. Вон они себе кровати устроили…

Ксения осторожно пробралась по обломкам и осколкам к окну. Из квартиры ужасающе несло гнилью и канализацией.

— Очень темно. Не получатся фотографии.

— Вспышка же есть! Полу-учится!

Спорить было себе дороже, и новоиспечённая журналистка несколько раз щёлкнула дешёвенькой «мыльницей»: перекошенные стены и провалившиеся в подвальный ад половицы, загаженную кухню с висящими над провалом белыми настенными шкафчиками, двухэтажные нары, сооружённые рукастыми бомжами.

Хотелось поскорее уйти отсюда, но тётку увидела из окна соседка и вышла к ним. Ксения сочувственно слушала несчастных женщин, уповающих на её помощь. Потому и обратились в редакцию районной газеты, куда она две недели назад устроилась. Найти работу на полгода не так-то просто, а жить на что-то надо, вот и хваталась Ксения за любую. И нельзя было сказать этим женщинам, что и сама молодая журналистка живёт в шумной полуаварийной коммуналке, что нервный плешивый потный редактор наорал сегодня утром на неё ни за что, ещё и пригрозил оштрафовать. А какие штрафы, если и зарплаты пока в глаза не видала? Нельзя было им об этом рассказывать, потому что они ещё верили, по старой советской привычке, в силу печатного слова, в человеческое неравнодушие…

За две недели работы Ксения написала пяток статеек — про юбилей Петроградского узла почтовой связи, про работу с жалобами и письмами территориального отдела администрации Приморского района, про аварию на теплотрассе, про труд дворников, про детский клуб, созданный при некоем муниципальном образовании… Тоска зелёная, болотная. Но надо, никуда не денешься. Газеты, выпускаемые редакцией, в которую её угораздило попасть, писали в основном о коммунально-бытовых проблемах разных районов Санкт-Петербурга. Единственным светлым пятном среди редакционных заданий был очерк под рубрикой «Портрет улицы». Ксения совершила прогулку по Коломяжскому проспекту, который брал своё начало у печально знаменитой Чёрной речки. Добросовестно описав «современный момент»: новостройки, супермаркеты, автозаправки, здание «Зала конгрессов Свидетелей Иеговы», — к концу очерка она всё-таки отдала поклон вечности.

«Я намеренно оттягивала этот момент и сперва провела вас по всему маршруту, чтобы затем вернуться к его началу. Здесь нужно постоять тихонько и постараться отключиться от земной суеты, припомнить бренность всего сущего, задуматься о своём жизненном пути. Ведь если не минует смерть *таких* людей, то что уж нам остаётся.

За спиной грохочут грузовые машины, гудит и лязгает по рельсам электричка, но это где-то там, словно за стеклом. Я стою среди чёрных голых стволов деревьев. Отчего так тихо здесь и хочется остановиться? Словно само время застыло с того самого мига, краткого и непоправимого мига выстрела, когда:

> Погиб поэт! — невольник чести —
> Пал, оклеветанный молвой,
> С свинцом в груди и жаждой мести,
> Поникнув гордой головой!..

Я стою на месте дуэли Пушкина с Дантесом. Дорожки, скамеечки, гранитные плиты. На одной из них уже приведённый мною отрывок стихотворения М. Ю. Лермонтова, на другой надпись: «Здесь, на Чёрной речке, 27 января (8 февраля) 1837 года великий русский поэт А. С. Пушкин был смертельно ранен на дуэли». Посередине всего — девятиметровый обелиск из красного неполированного гранита с бронзовым барельефом Пушкина. Памятник установлен 8 февраля 1937 года, спустя сто лет со дня гибели поэта. На цоколе памятника — даты жизни…

Мне уже не слышны машины. Не стало ни домов, ни железнодорожного переезда, да и самого Коломяжского проспекта ещё нет. Есть только чёрный лес на Чёрной речке. Есть люди в чёрных

пальто и цилиндрах. Чуть в стороне — чёрная карета с чёрными же лошадьми. Всё словно в детской глупой страшилке.

О примирении не может быть и речи… Выстрел… Вороны с резким карканьем взвились с деревьев, закружили над ними. На белом снегу чернеет тело Пушкина. Он ещё жив, но рана его смертельна…

Почти два века потомки гениального поэта будут докапываться до причин этой дуэли: и ревность, и оскорбление, и сознательные поиски смерти, и модное ныне «заказное убийство», завуалированное под дуэль. Можно сказать только одно: смерть Пушкина положила начало грустной и страшной традиции — поэты в России не живут долго. Перечислять имена многих и многих ушедших не имеет смысла. Они всем известны…

Резко каркает ворона. Вот уж вечная и живучая птица! Передо мною памятник, дорожки, посыпанные гравием.

Я оборачиваюсь: бесконечный поток машин, супермаркеты, высотки. На дворе XXI век.

Торможу маршрутное такси, и оно мчит меня по питерским улицам. Дома, мосты, набережные, проспекты… Всё-таки какой он разный, Санкт-Петербург: открываешь его снова и снова, читаешь, словно бесконечную книгу, которая не надоедает и не разочаровывает».

И в этих последних строках не было ни капли кокетства. Несмотря на коммунально-бытовые приключения и эстетические потрясения, постигшие Ксению при переезде в Северную столицу, она любила Питер по-прежнему самозабвенно и бесконечно. Так же, как и четыре года назад, когда…

Прямо на полу толпились опорожнённые бутылки из-под пива, среди них стояла коробка с растерзанным тортом. В первозданном виде на нём красивыми кремовыми буквами было выведено слово «Ленинград». Грохотала музыка, и Ксения с подругами прыгала до потолка в уже не своей, в уже проданной квартире. Повод для всего этого разврата был серьёзный — её провожали на ПМЖ в Питер. В Питер! Представьте себе! Это же город на Неве! Северная Венеция! Это море возможностей для карьерного роста и устройства личной жизни! Провинциальные-то мужики и в сравнение с питерскими мачо не идут! В общем, подруги ей завидовали. Кто-то искренне и радостно, а кто-то, может, и не совсем. Ксения тоже себе отчасти завидовала. Но только отчасти… Она не хотела омрачать веру подружек в светлое завтра своими сомнениями и тревогами. Их мечта, затерявшаяся где-то среди туманно-гранитных берегов Невы, должна была остаться там навсегда. А Ксения резко меняла ход своей жизни. Она уже решилась на это. А они решатся ли когда-то? И не сочтут ли, протрезвев утром, её сумасшедшей? Или просто самоуверенной нахалкой, посчитавшей вдруг, что её ждут в Питере с распростёртыми объятиями?

Нет, Ксения не была нахалкой, и тем более самоуверенной. Она очень даже неуверенной была. И от этого долго ворочалась в бессоннице на нижней полке плацкартного вагона. Поезд отсчитывал километры перестуком колёс, и рельсы позади него сгорали, не оставляя возможности для обратного пути. Это, конечно, был только её полночный кошмар: Ксения образно «сжигала мосты».

Что-то мрачно совсем. Она ехала не в чужой для неё город. Там были родственники, друзья. Она любила этот город, она была им очарована. Иначе не решилась бы вернуться туда, откуда почти тридцать лет назад уехала её мать. Но…

Но одно дело приезжать в Питер для прогулок, для отдыха, для восторгов. Совсем другое — жить в нём. Не растеряет ли она своей любви? Не растратит ли на бытовые мелочи? Не раздавит ли её огромный город, не перемелет ли?..

Ксения уснула лишь к утру, и ей приснилась маленькая уютная комнатка с очень светлым окном. Даже номер квартиры ей запомнился — 22. (Потом он перевернётся и превратится в 55, но это гораздо позже.)

Сон был не случайным — Ксению ожидали поиски и покупка жилья. Первый серьёзный шаг к оседлой питерской жизни. И арифметика была проста: из двухкомнатной отдельной квартиры при всех расчётах выходила комнатка в коммуналке.

Скудные средства не позволяли ей нанять агента, поэтому поисками комнаты она занялась самостоятельно. Приобретя в киоске бюллетень недвижимости, Ксения на какое-то время почувствовала себя Штирлицем, получившим шифровку из Центра: столбики с цифрами и буквами требовали профессионального подхода. Если вы никогда не сталкивались с подобным изданием, то вот вам задание на засыпку: отгадайте, что значат сочетания букв «СФ», «СФК», «СТ», «БВ», «ВК», «СУ», «СС», «Пр. пр.», «ХС», «ВП» и т. д. Единственно понятными ей сразу стали мелконькие циферки в предпоследнем столбце. Это была цена… Перед ней было самое настоящее меню дорогого ресторана, и если поначалу она ещё прикидывала, в каком районе ей бы больше понравилось жить, подсчитывала квадратные метры «от 16 и старше», то тут она сразу поняла, что «наша не пляшет». Квадратные метры упали хотя бы до двенадцати, район просто не рассматривался.

О дорогие мои питерцы, терпеливцы мои! Весь дальнейший рассказ — это не насмешка и не издёвка над вашей жизнью, это гимн вашей самозабвенной отречённости, вашей выносливости, вашей вере в лучшее! Этот рассказ для приезжих, для тех, кто видит только парадный Санкт-Петербург, отреставрированные к юбилею фасады Невского,

позолоту петергофских фонтанов, ослепительно блестящие на солнце купола соборов, шпиль Петропавловки, разведённые мосты, белые ночи…

«…Весь этот день я ходил по городу и искал себе квартиру… ещё с осени хотел переехать, а дотянул до весны. В целый день я ничего не мог найти порядочного…хоть одну комнату, но непременно большую, разумеется вместе с тем и как можно дешёвую. Я заметил, что в тесной квартире даже и мыслям тесно. Я же, когда обдумывал свои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперёд по комнате…»—надо же, у героя романа Достоевского «Униженные и оскорблённые» были те же проблемы, что и у Ксении!

Первой для осмотра в её списке была комната на улице Г-ой. «Ого!—воскликнули приятели.—Куда замахнулась! В самый центр. Дерзай!»

Но дерзновение её сразу было утихомирено. Агент-продавец решил за один скрип показать эту комнату всем желающим, а желающих набралось ни много ни мало человек двадцать. Короткий инструктаж состоялся около дверей подъезда: дом 1875 года постройки (какого?!), капитальный ремонт делался после войны (империалистической?), в квартиру заходим по очереди, на лестнице не толпимся (ещё бы, вдруг обвалится!).

Претенденты на комнату рассредоточились на лестнице с первого по четвёртый этаж. Было сумрачно, так как все стёкла на площадках оказались перебиты и их заменяла фанера; кое-где потихоньку завывал ветер, забрасывая горстки снега в разверстые рамы. Стойко и тошнотворно тянуло сыростью из подвала. В ожидании своей очереди люди перешёптывались. Те, кто были ближе к квартире, передавали по цепочке, что заставляют снимать обувь и дают тапочки, как в музее.

Ксении тапочек не предложили. Провели узким тёмным коридором, распахнули дверь. Комната была квадратная, очень маленькая на первый взгляд, совершенно пустая, только в углу стоял ржавый разобранный велосипед. А ещё на потолке зияла огромная дыра от обвалившейся штукатурки, бесстыдно обнажившая перекрестья дранки (тут ещё и грибок какой-нибудь, устанешь замазывать…).

Теперь хотите знать, что такое «вк» в вышеприведённой шифровке? Всё предельно просто: ванна в кухне. Так вот она и стоит себе скромно в уголке (хорошо ещё, не посередине!), а вокруг столы, шкафчики, плита газовая, чайники-кастрюльки. Хотя подождите: а это вообще как? Один чай пьёт, а другой в это время неистово натирает мыльной мочалкой различные части тела, насвистывая при этом «Марш энтузиастов»? Феноменально…

Пункт второй в списке комнат—проспект К-ва. Ксению привлекли немалые квадратные метры, обещанные в бюллетене. Она долго мёрзла на ветру, стоя под номером дома в ожидании агента. Десять минут, пятнадцать, двадцать. Он опоздал на полчаса. Они поднялись по лестнице, пропахшей мочой всех живущих здесь существ. Вошли в абсолютно тёмный коридор. Долго пытались нашарить на стене выключатель. Комната оказалась светлой, чистой и действительно большой. Ксения уже прикидывала, что на ремонт потратится несильно, когда агент провёл её в кухню. Закопчённые стены, перекошенная плита, три стола впритык, ржавая раковина с медным подтекающим краником и непередаваемый запах. Ещё у кухни был маленький закуток, и тут агент рассыпался в любезностях, описывая ей, как замечательно встанет здесь кабина для душа. Теперь Ксения знала, что означает буквосочетание «бв»: без ванны. Медный краник с холодной водой в кухне—это все двадцать четыре удовольствия. Она растерянно улыбалась и кивала, мучительно стараясь припомнить, какой век на дворе. Агент ещё радостно рассказывал ей, что жильцов в квартире немного, только у одной соседки челюстно-лицевая травма, сперва можно испугаться, но со временем все привыкают!

Ксения почти сбежала из этой квартиры. А дальше…

У неё могли бы быть милейшие соседи, с которыми она познакомилась в квартире на улице К-ой. Но, кроме них, ничего привлекательного в том доме не оказалось. Разбитые в хлам парадные, разобранные в связи со сменой труб полы, крохотный двор-колодец с окнами в стену соседнего дома. Это означало, что в её жилище никогда не было бы лучика солнца, и без того редкого в Питере. И сама улица, на которой стоял этот дом, была голой, каменной, тоскливой, словно безжизненной.

С каждой осмотренной комнатой Ксения мрачнела всё больше, словно пыль этих дряхлых домов оседала у неё в душе.

Если бы она знала, какой противоречивый соблазн ждёт её дальше. Комната в двухкомнатной квартире! Одна соседка! Все удобства! Раздельный! Шестнадцать квадратных метров! Постойте, а в чём подвох?

«Желаю удачи!»—с саркастической ноткой в голосе сказала ей агентша на прощание, и Ксения поехала смотреть комнату. Да, всё было именно так, как сказано выше. Замечательно удобная квартира, не требующая ремонта комната, привлекательная цена. Да! Да! Да! Я уже согласна, только познакомьте меня с соседкой…

Всю ночь Ксения думала, для чего жизнь в те дни вдруг стала посылать ей больных и уродливых людей в качестве возможных соседей? Что она должна понять и принять? И куда ей засунуть свой дурацкий эстетизм?..

Она чувствовала, что начинает уставать.

А впереди ещё было много неожиданного и шокирующего. Затопленные, загаженные, вонючие

подъезды, гордо именующиеся парадными. Двенадцать жильцов на три комнаты с восьмиметровой кухней, где ещё умудрялся размещаться душ. Пьющие или впавшие в маразм соседи. Покосившиеся полы, а значит, и фундаменты домов. Лифты размером пятьдесят на пятьдесят. Вход в квартиру через кухню. Совмещённые санузлы. Разбитые раковины и унитазы, сидячие ванны. Заросли тенёт в коридорах и углах. Пауки, тараканы, кошки… И хозяева, хозяева, хозяева этой нищенской недвижимости, просительно и с надеждой заглядывающие ей в глаза: купи, помоги выбраться отсюда. Ты—молодая, сильная, ещё всё наладишь.

Эта круговерть домов, арок, дворов, квартир, комнат, кухонь носила Ксению по Питеру, и она окончательно теряла ощущение времени и пространства, порой уже ожидая увидеть двуколку вместо «мерседеса», газовые фонари вместо электрических, жандармов вместо милиционеров, щёголей в цилиндрах, дам в шляпках, дворников в белых фартуках, прачек, трубочистов, лотошников, шарманщиков, чахоточных студентов, нищих в рваных лаптях. Раскольниковых, Мармеладовых, Ихменевых, Свидригайловых, Смердяковых. Это был Петербург Достоевского. Это был какой угодно век, но только не двадцать первый!

И лишь рекламные плакаты кричали на каждом углу яркими буквами: «Время жить в Петербурге!».

Жить… Жить! Но не существовать, не проживать годы, не переживать бытовые неудобства в ожидании: «Вот приедет барин, барин нас расселит».

Воистину, теперь Ксения могла с особенным пониманием сказать: нет такого другого города на всей земле.

А потом, когда уже и комната была куплена, и не где-нибудь, а на Ваське, как любовно именовали сами жители свой Васильевский остров, и жизнь входила в ровную колею, ехала она как-то по фестивальным делам из Москвы в Петербург. Суматошный, нервный, во многом пустой день, проведённый в столице, вымотал её. Оказавшись в вагонном купе, Ксения со вздохом облегчения опустилась на полку, обессиленно привалилась к стене и прикрыла глаза. Через мгновение она открыла их и удивлённо всмотрелась в лица попутчиков. Все пребывали в одинаковом состоянии, близком к трансу. С минуту они смотрели друг на друга, потом дружно рассмеялись и так же дружно в один голос произнесли: «Какой всётаки злой город!» Вскоре выяснилось, что все её попутчики—коренные питерцы. В Москве у каждого были свои дела.

«Мне в столицу часто приходится мотаться—командировки,—пожаловался симпатичный, хорошо одетый мужчина средних лет.—Так представляете, приеду и только на перрон выйду—уже устал!» Все согласно покивали ему. А у Ксении появился повод для ночных раздумий. Она забралась на верхнюю полку купе и погрузилась в свои мысли о том, что…

Сравнивать Москву и Санкт-Петербург уже даже не модно. Искать различия между москвичами и питерцами—дело неблагодарное и обидное. Однако всякий раз, когда слышишь, с какой напыщенностью средства массовой информации называют Питер второй или культурной столицей России, так и подмывает заняться сравнительным анализом.

То, что уровень жизни в Санкт-Петербурге значительно ниже московского, легко видится даже после недолгой прогулки по улицам города. И дело отнюдь не в соотношении количества иномарок и отечественных автомобилей на дорогах, не в процентной доле шикарных офисов или дорогих магазинов на фоне рассыпающегося «жилого фонда». В первую очередь взгляд Ксении задерживался на питерских стариках. Ей давно не приходилось видеть так бедно и жалко одетых бабушек и дедушек, бредущих по своим делам. И вместе с тем—с каким достоинством несли они свою нищую старость. В Москве—переулки, подземные переходы, станции метро заполонены попрошайками. Уже давно робкая просьба о «копеечке на хлебушек» превратилась в примитивный и наглый вид бизнеса. Среди питерских же стариков было значительно больше тех, кто, выйдя на улицу за финансовой помощью, пытался облечь этот позорный для себя факт в хотя бы минимальные рамки приличия: вынести на продажу связанные своими руками носки и рукавицы, какие-то ненужные, но ещё приличные вещи. Совершенно незабываемая пара старушек долгое время пела в подземном переходе у Гостиного двора. И как они пели! Даже в уличные урны в поисках пустых пивных бутылок питерские старики заглядывали как-то осторожно, с чувством неловкости, что ли. Казалось бы, в тяжёлых условиях выживания человек должен быть более озлоблен и агрессивен к ближнему, по-животному отстаивая свой кусок. Ан нет! На то он и человек. Тем более—человек русский. Ещё один парадокс нашего характера заключается как раз в том, что в самые трудные дни мы всё-таки умеем сплачиваться, всё ещё умеем слышать просьбу о помощи, всё ещё чувствуем чужую боль и способны разделить радость.

То был год трёхсотлетия Санкт-Петербурга. И, не обращая внимания на чьи-то ворчливые замечания, что эта дата—лишь очередной красивый повод для отмывания денег, что, как всегда, Питер «причёсывается» только для отвода глаз иностранцев, что стоит пройти празднествам—и все ремонтные работы тут же остановятся,—город сиял, и не только золотом куполов и шпилей, но и улыбками людей. Ещё бы, не каждому поколению

выпадает шанс встретить такой круглый день рождения родного города! Он ещё так молод, хоть и пережил за три столетия столько, сколько иной город не увидел и за тысячелетнюю историю! И много можно спорить о том, прав ли был Пётр I, когда ценой сотен тысяч жизней возводил на болотах град сей. Град этот есть и будет. Он восхищает и влечёт. Он шокирует и удивляет. Он светел и мудр. Он—незабываем. Петербург, Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург... Сколько бы ни было у него имён, каждый знает и любит этот город по-своему. А если ты не чувствуешь себя дома, ступив на невские берега,—что ж, ты никогда не станешь ему своим. Значит, небо над Питером всегда будет для тебя низким и хмурым. Нева—холодной и мрачной. Климат—непригодным для жизни. Это особый город. И люди, живущие в нём,—люди особой души: гордой, независимой и сильной...

Как эта несчастная нищая тётка с Витебской улицы. В конце беседы она пообещала обратиться за справедливостью в Страсбургский суд и не отпустила Ксению домой, пока не привела к друзьям, у которых временно обитала, и не накормила тем, что было, последним. Кусок застревал в горле у журналистки районной газетёнки, потому что она знала: ничего не изменит её статья. Тётка в конце концов попадёт в неврологическое отделение психиатрической больницы, и хорошо, если только в неврологическое. И хорошо, если не навсегда. Это только пустой гибкий бамбук способен вынести любые ветра...

Глава 9

Забыть всё

Ксения медленно шла из Адмиралтейского района на свой Васильевский остров, в надежде проветрить тяжёлый запах разорённого жилища, которым, казалось, пропитались вся её одежда до белья, волосы, кожа, и думала, что ей ещё долго предстоит учиться у этих людей живучести, горделивой осанке, чтобы стать в доску своей. И она усмехалась, вспоминая недавний звонок подруги из оставленного северного провинциального города; та восхищённо выдыхала в трубку: «Господи! Для меня Васильевский остров—это как Канары!» Пусть подруги думают, что у неё всё прекрасно, она не станет их разочаровывать. Не станет жаловаться, что иногда, особенно поздней осенью и ранней зимой, здесь бывает невыносимо. Тогда даже на коренных ленинградцев вместе с потемневшим, мрачным, набрякшим сыростью небом наваливается смертная тоска, ежегодная предновогодняя депрессия. Что любимая фестивальная работа на самом деле не приносит ни особого дохода, ни великой славы. Что питерские мачо предпочитают любить своих питерских синьорин. Что завтра она принесёт в редакцию районных газетёнок статью о стойкой женщине и, может быть, потерпит ещё месяцок, напишет ещё десяток статей о проржавевших трубах теплотрассы, а потом не выдержит и положит на стол редактора заявление об уходе. И будет как-то тянуться до февраля, до того времени, как начнут приходить в адрес питерского кинофестиваля конверты с дисками, с иностранными обратными адресами. Впереди будет следующий фестиваль, и внутри что-то сладко заноет от предвкушения необычных событий, как каждый год. И неважно, что предвкушение это обманчиво, что всё будет как всегда и в конце ждёт только зверская усталость. Почти такая, как сейчас...

Наглый ветер теребил и лохматил волосы на голове, зазывно свистел в уши, бросал в лицо мелкие дождевые капли. Под ногами дрожал и грохотал временный мост, возведённый рядом с мостом Лейтенанта Шмидта на период ремонта. От этой металлической дрожи и гула становилось не по себе, а в мыслях вспыхивало тревожное удивление: как это хрупкое, ненадёжное на вид сооружение сносит ежедневный многотонный поток машин? Как не рухнет сейчас в чёрную маслянистую, похожую на нефть невскую воду, в которой плавятся огни набережных?

Ксения оглянулась: справа, над крышами тёмных, отдыхающих после рабочего дня казённых зданий, подсвеченный вечерней иллюминацией, высился Исаакиевский собор. Мощный, тяжеловесный, вечный. Дальше—лёгкое праздничное Адмиралтейство. Сиял кружевными огоньками Дворцовый мост. Она перевела взгляд налево: там чернели гигантские уродливые ворота Адмиралтейских верфей. Чуть подальше уснувшими жирафами толпились в порту подъёмные краны. Вытянувшиеся по набережной в строгий ряд оголившиеся липы, словно в мольбе о пощаде, тянули руки-ветви в тёмные, без единой звёздочки, небеса. Как темно. Как скуден, жалок жёлтый свет фонарей. Как мала и одинока она, Ксения, сейчас на этом грохочущем, лязгающем холодном мосту. Это по земным меркам она чересчур крупная девица, а если взглянуть из Космоса, из этого бесконечного чёрного провала, где нет сейчас ни единого живого огонька, то она—песчинка. Такая же, как все в этом городе, в этом мире. И как спастись от этой темноты, от этого беспощадного ветра, от этих ледяных капель? Ну полюбите меня! Кто-нибудь! Нелепую, промокшую, хмурую, недоверчивую, уставшую от недлинной, но такой непростой жизни... Полюбите кто-нибудь и бедную полусумасшедшую женщину, не по своей воле ставшую бомжем, услышьте её, помогите ей. Пожалейте, пригрейте этого пса, зачем-то спящего в грязи и копоти на тротуаре у подножия моста. Может быть, тогда на небо снова выйдет Луна,

может быть, тогда ей не страшно будет взглянуть на нас своим и без того печальным оком.

Ксения достала из сумки мобильный телефон и написала всего одно слово: «Соскучилась». Поразмыслила над ним несколько минут—всё-таки три недели продержалась, но припомнила, что всегда «лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном», и отправила.

«Ну вот…»—пришёл ответ.

Ответ озадачил.

«Что «ну вот»? Достаю, да?»

«Хочешь совет?»

Ксения в ответ разозлилась:

«Знаю я твой совет: займись делом!»

«Нет. Могу дать совет, чтобы не отпугивала мужиков».

Сердце неприятно скакнуло и как будто застряло в горле.

«Что уж я, такая страшная?»

«Глупая».

«Если умный, так научи…»

«Сейчас занят. Позвоню, как освобожусь».

Ксения пришла домой в самом мизантропическом настроении. Ветром распахнуло форточку, в комнату надуло холод. Закрыла поскорее, натуго заперла все створки. Ужинать не хотелось. Статью она решила написать утром. Быстро разделась и юркнула под плед. Но её колотило, и не столько от холода, сколько от чёрных мыслей, лезущих из тёмных углов её маленькой тесной комнаты, из самых мрачных глубин её души. Топали по коридору, брякали на кухне кастрюлями и орали друг на друга за тонкой стеной соседи по коммуналке. Достали! Рвал, словно желая истрепать в клочья, железные крыши и карнизы ветер. Точно, днём передавали штормовое предупреждение… Хлестал в стёкла дождь. Такой же тяжёлый и бесконечный, как злые слёзы Ксении, которые разъедали глаза, словно кислота. Слёзы давно не приносили ей облегчения. Потому что она почти разучилась плакать. Пять лет назад разучилась. После того, как плакала и плакала по умершей любви, не переставая, три месяца подряд. Наверное, тогда и кончился запас её добрых женских слёз, приносящих облегчение душе. Остались только тяжёлые, как ртуть, какие-то концентрированные, ядовитые. Они разъедали не только веки, но и сердце, стирая всё светлое и лучшее, что ещё жило в нём. И тогда из тёмной части души, из-под застарелой ряски обид, из болотной гнилостной жижи страха, из вязкого ила ненависти, словно восставшие зомби, выбирались зловонные удушливые воспоминания… Они хохотали над ней, обзывали, издевались, тащили по острым камням, по холодной траве в тёмный вонючий подвал, на пустынную стройку, кидали на голые не струганные доски, на земляной пол, стаскивали с неё новенькие, купленные мамой джинсы, хапали её повсюду, жадно, отвратительными липкими пальцами, угрожали обломком кирпича, блескучим лезвием топора… и хохотали, хохотали, цокали языками, смачно обсуждали свои мерзкие ощущения, хватали её за руки, тянули куда-то к себе, в себя, и она, почти на грани обморока, чувствовала своими ледяными ладошками что-то очень горячее, что-то очень твёрдое, что-то очень большое, страшное!

Ксения стонала, выла в подушку, кусала её. Морок начал было рассеиваться, но не рассеялся до конца, потому что вылезшие из подсознания призраки не желали убираться обратно. Они носились по тёмной комнате, под высоким потолком, пикируя на неё, словно стервятники, обдавая смрадным дыханием и невыносимым холодом, от которого коченели, немели руки и ноги, дрожала каждая жилочка маленького девчоночьего тела. И они хватали её, совершенно беззащитную, и тащили назад, вниз, вниз, в какую-то бездонную яму, в чистилище. Они снова хохотали над ней, толкали её, презрительно оглядывали с ног до головы, словно искали изъян, клеймо. Они пялились широко открытыми, такими невинными глазами, но сквозь эту детскую невинность уже сквозило жестокое пренебрежение, почти уничтожающая ненависть. А другие призраки ломились в запертую дверь, подслушивали, подглядывали в замочную скважину на то, как главный призрак-стервятник возвышается над ней и клокочет, клокочет о том, что она достойна смерти… И она видит в своих детских заледеневших пальцах большой ржавый гвоздь—и бьёт им себя в грудь, в самое сердце, разрывая, раздирая его. Пусть будет больше крови, стервятники любят свежую кровь, пусть будет; может быть, тогда они простят её, может быть, тогда отпустят, может быть… может быть… Но нет ни крови, ни скорой помощи, ни жалости, ни прощения. Есть только горящие острым любопытством глаза, есть только презрение, отвращение, насмешки, тычки… Всё плывёт, всё скользит мимо, всё кружится, и кружится голова, холодеет позвоночник… тошнота подкатывает к горлу… потому что сердце бьётся не в груди, где ему положено быть, а прямо в горле, открытое, живое, сошедшее с ума, не верящее в то, что это не просто ночной кошмар, не просто буря за окном, что всё это происходит, происходило на самом деле! Нет, это чей-то ужасный, недобрый рассказ. Нельзя сочинять такие страшилки, нельзя… это патология, это болезнь, это беда…

Ксения выползла из-под пледа, который всё равно не согревал, трясущимися руками нащупала в темноте на столе кувшинчик с водой. Пила, пила, пила воду большими глотками, такими большими, что болью отзывалась гортань. Словно сердце и впрямь застряло там, будто мешало пить воду. Надо успокоиться, надо уснуть, тогда скорее придёт утро, тогда скорее уберутся на место эти твари,

тогда снова уляжется на дно души зловонный ил ненависти, тогда опять задёрнется, зарастёт ряской страх…

Но подушка — как камень в изголовье, но тело измято, измучено, призраки-воспоминания опять надругались над ним, над его памятью, над любовью, верой, над надеждой, что всё забудется, что всё ужасное уйдёт в небытие. Они отняли у неё и эту искорку, этот огонёк, который она хранила в своих закоченевших ладонях, который несла вперёд, которым освещала путь все последние месяцы. И оставили с ней только всепоглощающее, беспросветное, как абсолютная тьма, чувство вины, эту чёрную дыру, в которую с бешеной скоростью улетает её нежность, её женственность, её чувственность, её желания, её жажда любви… Только уродливое, только гадкое, только грязное и грубое остаётся в ней, только ненависть, только омерзение — и вина, вина, вина, которая разрастается в черепной коробке, будто распухает мозг, до звона в ушах, до беспрестанного крика: «Ты дрянь! ты должна сдохнуть! ты во всём виновата! только ты! ты дрянь, дрянь!» Ничего хорошего уже не будет, ничего хорошего уже не выйдет. Она опять останется виноватой. Виноватой даже в том, чего ещё не совершила. И опять будет страх, он ходит рука об руку с виной. И опять она будет бояться новых отношений, чувств, желаний. Зачем они приходят, если всё всегда заканчивается одинаково? Они обвиняют, она рвёт себе сердце ржавым гвоздём вечной вины. Она не такая, она неправильная, она заклеймённая. Пусть уходят! Уйдите! Не трогайте! Это же всё живое, так больно. Не прикасайтесь! Вы всё равно не излечите мои язвы. Я плохая! Я больная! Я прокажённая! Прокажённых всегда боятся. Они разносят болезни, они разносят неудачи, несчастья. Я вас отпугиваю? Ха-ха! Ну и хорошо! Хорошо!!! Уходите! Все уходите! Я надену на свой посох колокольчик. Пусть он звенит. Вы будете слышать его звон и будете бояться. Будете обходить меня стороной. Нет среди вас храбреца, нет самоотверженного лекаря, который смело вложит персты в мои язвы, который исцелит их. Нет среди вас настоящего Мужчины. Потому что нет в вас настоящей Любви. Потому что только огромной многотерпеливой Любовью можно излечить мою проказу!.. Звенит колокольчик! Звенит! Громко! Уходите! Уходите все!!!

Хромое утро приковыляло в город со своими старыми пожитками — ветром, дождём, низкими тучами.

Ксения автоматически умывалась, чистила зубы и боялась взглянуть на себя в зеркало, висящее над раковиной, на своё бледное осунувшееся лицо, на распухшие глаза, губы. Она слишком хорошо знала этот образ. Нет, он не часто являлся ей. Но она увидела его лишь раз и запомнила навсегда.

Через силу влив в себя чашку тёплого чая, Ксения села за статью. Голову после бессонной ночи словно заковало в стальной обруч с шипами, но мысль работала чётко, быстро. Она просмотрела ксерокопии документов, которые отдала ей героиня будущей статьи, подчеркнула карандашом особо важные строки и застучала пальцами по клавиатуре ноутбука.

«Ежедневно с телеэкрана нам радостными голосами сообщают о строящихся элитных жилых комплексах, один другого краше, один другого престижнее.

Для миллионов россиян это несбыточная мечта, раздражающий фактор, унижающая роскошь чужой жизни. Этим людям не нужна роскошь, они просто хотят пожить по-человечески. Тем, кто ещё полон нездорового оптимизма и веры в справедливость, я хочу поведать историю Нинель Николаевны Тарутиной. Историю абсурдную, но от этого не менее реальную…

В доме №16 по улице Витебской героиня моего рассказа прожила больше десяти лет. Когда переезжала сюда из комнаты в коммуналке, была просто счастлива. Постепенно обживалась, обзаводилась хозяйством. Сокращённая ещё в перестроечные времена с должности инженера, Нинель Николаевна окончила двухгодичные курсы преподавателей современных бальных танцев и стала работать по школам, Дворцам культуры, клубам. Зарплата у всех преподавателей — одни слёзы, поэтому подрабатывала по вечерам уборщицей. Из этих невеликих средств она умудрялась ещё выкраивать деньги на то, чтобы шить своим подопечным бальные костюмы…»

Ксения настолько погрузилась в работу, что даже вздрогнула от звонка мобильного телефона. Взяла его в руку, и надорванное за ночь сердце неприятно кольнуло. Засекреченный номер. Девяносто девять с половиной процентов, что это звонит господин Данилов. Она ответила на звонок, ответила грубо, потому что уже ни о чём не хотела с ним говорить.

— А что с голосом, Ксеня? — благостно настроенный режиссёр никак не ожидал такой реакции.

— А что? Я должна от радости до потолка прыгать? — рубила она.

— Ну хотя бы не хамить… У тебя плохое настроение?

— Ну извини, что у меня плохое настроение, — съязвила Ксения.

— Ты хочешь узнать, что я хочу тебе сказать, или нет? — удивлённо и немного встревожившись спросил Алексей.

— А что ты можешь мне нового сказать?! Что я плохая?!

— Да не плохая ты!

— Но тебе же всё не нравится! Вам всем всегда всё не нравится!

— Извини, что я позвонил,— он бросил трубку.

У Ксении в горле снова закипели слёзы, но уже не злые, а абсолютно бессильные. Она тут же набрала его номер и смертельно устало сказала:
— Лёша, ну что за капризы?
— Это у меня капризы?! — взвился он.— Ты посмотри! Ты посмотри, что происходит! Это у тебя постоянные капризы! Ты всё время чем-то недовольна, ты всё время мне грубишь, тебе невозможно ничем угодить. Я всё время чувствую себя виноватым! Люди должны получать удовольствие от общения друг с другом! А мы с тобой только ругаемся! У нас с тобой ещё только всё начинается. У нас ещё даже ничего не началось! Мы ещё даже ни разу не целовались. А уже ругаемся! — Ксения была сбита с ног этой отчаянной тирадой, она пыталась что-то лепетать в своё оправдание, но Алексей не слышал.— Всё время, из-за всего ругаемся! Как будто муж и жена, которые прожили вместе тысячу лет, надоели друг другу до смерти и не знают, как друг от друга избавиться! Как можно так строить отношения? Невозможно! Маленький мой, давай будем учиться! Я прошу тебя, давай будем учиться общаться! Ты же тонкий, умный человек, как ты этого не понимаешь?!
— Но у меня же есть на это причины,— проговорила Ксения тихим охрипшим голосом, когда он на мгновение умолк, чтобы перевести дух.
— Я готов выслушать все твои причины. Я готов помочь тебе, если смогу…
— Да. Помоги мне, пожалуйста… — по её лицу текли слёзы, они сползали по щекам в рот, и Ксения чувствовала их почти непереносимую горечь.
— Вот что,— очень серьёзно заговорил Алексей.— Я сейчас правда очень занят, но как только закончу фильм, мы выедем куда-нибудь на три дня, и я тебе всё про тебя расскажу! Не знаю, когда это случится, но мы выедем, и я тебе объясню, какая ты есть. Только сначала я тебя выпорю! Я готов выслушать все твои причины! Но сначала я тебя выпорю! Всё. Я вообще-то в машине, еду по делам… Целую тебя. Пока.

Ксения плакала и плакала. К ней медленно, очень медленно, как вода после отлива, возвращалась украденная ночными призраками надежда на то, что она всё-таки может изменить свою жизнь. Что есть, всё-таки есть на этой земле человек, который готов ей в этом помочь…

С этого дня они стали друг с другом очень осторожны и предупредительны. Алексей звонил иногда ей по вечерам сам, а иногда Ксения посылала ему короткое смс: «Соскучилась. Позвони, если можешь». Он перезванивал, порой шутя на бегу: «Подожди, ботинки завяжу! Выскочил из дома, как…» — и они разговаривали по часу, по два, обо всём на свете, подробно, внимательно. Как-то они просто смеялись минут сорок, радуясь голосам друг друга и спрашивая: «Почему ты смеёшься?» — «Просто рад / рада тебя слышать!» Алексей мог ни с того ни с сего позвонить и спросить: «Ты где?» — «Дома».— «Да? Ну ладно»,— и положить трубку.

«А где я должна быть?» — возникал у Ксении резонный вопрос.

Если ему не спалось или не работалось, он мог набрать её номер посреди ночи, послушать сонное недовольное: «Да! Алло!» — и положить трубку. Он всегда звонил с засекреченного номера, но она знала, что это он. Во-первых, больше некому было валять дурака, Ксения на двести процентов была уверена, что у неё нет тайных воздыхателей; во-вторых, он однажды сам себя выдал: днём позвонил из дома, молчал, но не учёл, что рядом лопочет маленький, и она, услышав в трубке детский писк, догадалась, что звонит Алексей.

Только один раз он, издёрганный работой, сорвался, сказал что-то грубое, но тут же прислал трогательное, извиняющееся смс: «Спасибо тебе, дорогой мой человечек. Спасибо, что терпишь меня!» Да сколько угодно она была готова его терпеть, лишь бы услышать такие слова, лишь бы всё у него, у них получилось.

Ксения иногда думала, что если бы не было телефона и Интернета, не было бы и этих странных, каких-то невзрослых отношений. А однажды и Вера грустно, со скрытой тревогой за подругу, пошутила, что, мол, «ваш роман так и остаётся телефонным».

За полтора месяца они с Алексеем не встретились ни разу. Ксения и не стремилась к встрече сейчас, тайно храня, как драгоценный камень, за семью печатями, его обещание подарить ей три дня. Она знала и понимала, что пока он не вернётся после премьеры из Амстердама, ему не до серьёзных разговоров. Пока он бился над фильмом, не зная, как ещё его можно улучшить, отшлифовать. А вот когда он приедет домой с победой, счастливый, расслабленный, вот тогда, может быть, и ей достанется частичка его света, его тепла…

В те дни Ксении часто приходилось отгонять от себя томительные фантазии о «трёх счастливых днях», в ней опять, с новой силой, боролись дух и плоть. Ах, как непросто, почти невозможно молодой одинокой женщине не мечтать о ласке и внимании любимого мужчины! Да и мужчина не монах! А тут ещё её неуёмное воображение. Она даже думала, удивляясь сама себе, что среди её чувств совсем нет места ревности, что Алексей так хорош, так достоин любви, что она готова делить его с другими. С совершенно спокойным сердцем она принимала мысль о том, что, поговорив с ней, он кладёт трубку, а ему тут же звонит другая, и с той, другой, он ведёт такие же беседы. Лариса, например… К ней у Ксении было уже почти родственное, какое-то сестринское отношение,

молчаливое сочувствие… Она уже давно признала право Алексея на любовь к «другой женщине». И ей даже казалось, что есть в нём какая-то затаённая боль. Он словно бы проверял силу своего обаяния на сильных, властных, красивых, умных женщинах. Они так легко велись на него. И его брала злая досада на них всех за ту, единственную, которую он никак не мог завоевать! Конечно, были ещё многие женщины в его жизни, о которых она не имела представления, но допускала—да нет! твёрдо знала, что они были, есть и будут. И она даже не рассчитывала занять среди них ведущие позиции. Она и хотела, чтобы между ней и Алексеем всё произошло, и боялась этого, с трезвой горечью понимая, что уже утром, следующим за желанной ночью, всё между ними закончится. Она будет не только ему неинтересна, но и неприятна… может, даже отвратительна… И за одну эту ночь со смертельным исходом она отдаст часы и дни их общения? Не-е-ет… Борись с собой, Ксюха, прижми к ногтю свою темпераментную натуру. Пусть молчит и не рыпается. Хотя—стоп. Нет, не могла она представить себе физиологический акт с ним. Так бывает при общении с интересным непростым человеком: вдруг ловишь себя на мысли, что его образу чужды человеческие надобности и слабости. А ведь он тоже ест, спит, сморкается, может быть, храпит, ногти грызёт, чавкает за обедом, у него тоже случается расстройство желудка или сенная лихорадка. Вот и с образом Алексея Ксения не могла связать всю эту механику и физиологию любовного процесса. Ей просто хотелось побыть с ним, под его защитой, полежать на его плече, на его широкой горячей груди, по-детски трогательно уткнуться в его подмышку и дуреть от родного уютного запаха крепкого мужского тела. Она бы перебирала шелковистые волоски в его бороде, целовала его руки, и всё было бы чисто, смущённо, волнующе, словно в первый раз… и всё это было так нереально в жизни. И так доступно в её фантазиях…

Она представляла, что он привезёт её в какой-нибудь домик на берегу тихой речки. Там будет и лес, и чистый первый снег, искрящийся на солнце. Они станут гулять среди уснувших елей и сосен, разговаривая о чём-то отвлечённом, не касаясь пока главной темы, будут шутить, смеяться. Потом вернутся домой, затопят печь, и пока дом наполняется теплом, им придётся согреваться чаем из термоса. Она приготовит что-нибудь вкусненькое… или нет, он не даст ей, решит похвастаться своими кулинарными способностями. Да, он же не ест мяса! Значит, на их столе не будет запретных продуктов. Они выпьют вина, совсем чуть-чуть. Может быть, она даже откажется, потому что лучше выпьет потом, когда всё расскажет. Он осторожно тронет её за руку, и она, старавшаяся до этого сохранять дистанцию, вдруг опустится на пол у его ног, положит голову ему на колени, возьмёт его ладонь и припадёт к ней губами, ведь ей так нравится целовать любимые мужские руки… Он попытается поднять её с холодного пола, но она попросит оставить всё как есть и не перебивать её. Даже если она будет говорить что-то очень неприятное, даже если с ней будет происходить что-то странное—не перебивать, не останавливать её. И он узнает всё про её детскую беду. Только сначала она скажет: «Знаешь, почему плохо, когда нет папы? Потому что ты знаешь, что тебя некому защитить. Потому что никто не скажет: «Ты у меня самая красивая, самая умная, самая хорошая!» Мама? Она, конечно, защитит, всегда встанет на твою сторону. Но однажды ты, ещё совсем маленькая, шестилетняя, видишь её утром заплаканной и вдруг остро, по-взрослому, понимаешь, что не можешь надеяться на её защиту, потому что она такая же слабая, потому что она тоже девочка… И с этого дня ты начинаешь рассчитывать только на свои силы…»

И она расскажет, как росла без отца, была сорванцом, гоняла по двору с мальчишками в хоккей, футбол, играла «в войнушку». Ей нравились мальчишки: сильные, весёлые, честные! А потом всё рухнуло… Первый раз, конечно, было интересно, запретно и жутко. Что она тогда понимала! Только то, что поступает плохо. Что мама будет ругать. Но потом, когда, кроме её «друзей», в их двор стали приходить чужие мальчишки, она испугалась, она почувствовала приближение беды, она стала сопротивляться… тогда в ход пошли угрозы, кулаки… а однажды они затащили её на стройку, на девятый этаж, и орали, что выкинут из окна, если она не разденется. Была зима, было холодно среди обледеневших красных кирпичей, она плакала, кричала, и тогда старший, заводила, принёс откуда-то топор… Это тянулось очень долго, очень… Почему она никому не жаловалась? Они говорили, что убьют. Она верила. Но после топора не могла больше. Рассказала подружке-однокласснице, а та—учительнице… Она до сих пор помнит, как из класса выгнали всех мальчишек, но им было интересно, и они толпились у запертых дверей кабинета, шумели. Остались одни девчонки, её выставила перед ними «первая учительница» и в красках рассказала, чем она занимается в свои восемь лет… Тогда ей очень хотелось иметь в руках большой гвоздь, почему-то именно гвоздь! И разорвать им себе грудь, до сердца, чтобы было очень много крови и скорая… её опозорили, оплевали, обвинили во всём, и она не помнит, как ходила потом в эту школу, где её все презирали. Пока мама не перевела её в другую… Этих месяцев нет в её памяти. На этом отрезке память её просто пожалела. А тех парней никто даже не искал, никто их не наказывал… Она так ненавидела всё мужское отродье. Крупная, сильная,

лупила парней в школе, защищая девочек, а иногда даже думала, что если у неё родится когда-нибудь мальчик, она его убьёт, задушит… это в девять, в десять лет, Господи! Она уже всё понимала, она понимала, что так становятся маньяками… она молилась как умела, как могла. Ей очень хотелось забыть всё, навсегда. Но пришла пора влюбляться! Для всех людей любовь—счастье, а для неё любовь равна вине и страху, потому что за любовью всегда следует наказание и позор. Для неё это была самая большая беда, ведь она влюблялась… во врагов, в самых ненавистных существ на земле! И она корчилась от любви и ненависти одновременно. Она всегда так зависела от объекта своего поклонения, она прикипала мгновенно и намертво, замирала в восторге перед ним, потому что с ней рядом никогда не было мужчины, который бы защитил её, который бы сказал, что она ни в чём не виновата! Её любимые казались ей сильными, мудрыми, они должны были помочь, но… всем нужно было только её тело, а не её проблемы и беды… тогда она начинала ненавидеть их, бояться… подсознание с охотой подкидывало детские обиды, и она снова хотела уничтожать мужчин, мстить за себя, даже не осознавая этого до конца… но время проходило, принося успокоение, до нового—удивительного, мудрого и сильного… Пока. Пока не ушёл один, другой, третий. Пока она не потеряла самого дорогого из всех человека. Пока не поняла, что ходит по замкнутому кругу. Что слышит от своих мужчин одни и те же обвинения, что она сама отталкивает их, даже очень любя, даже очень желая быть рядом… Она поняла, что любовь и ненависть не могут идти рука об руку. И лучше она останется навсегда одна, чтобы в её жизни не было ни той, ни другой. Чтобы никого не мучить и не мучиться самой. Но для этого надо не иметь сердца. Потому что его, сердце, никогда не удержат сухие доводы разума.

«И вот я полюбила тебя. И снова всё так неправильно, всё так трудно… Твоя семья, твоя жизнь… мне опять нет места рядом с любимым человеком. Зачем тогда приходит эта ненавистная любовь? Зачем так терзает меня, делает своей рабой? Твоей рабой… И я гоню тебя. Гоню из страха, из малодушия, из слабости. Люблю и гоню. Потому что… не трогайте там, вы всё равно не сможете этого понять, как это больно, как мерзко, как страшно, когда ненавидишь себя, когда хочешь убить в себе женщину!.. Почему именно ты должен… ты согласился мне помочь? Разве ты сможешь научить меня больше не бояться чувств? Не бояться мужчин? Помнишь, ты сказал, что я трусиха? Ты даже сам тогда не знал, как ты близок к истине! Я люблю тебя и боюсь… Почему я… да нет! сама жизнь выбрала тебя мне в спасители? И сможешь ли ты меня спасти? Ведь сколько уже было до тебя… Для этого надо слишком сильно, слишком терпеливо меня любить. А я уже знаю, что ты меня не любишь…»

Он, не проронивший ни слова, ни разу не перебивший, бережно поднимет её с пола, и она почувствует, как затекло, как занемело всё тело. Он обнимет, прижмёт её разгорячённую голову к своей груди. И они будут долго молчать. А потом он осторожно отстранится, пристально посмотрит ей в потемневшие глаза, потому что её душа ещё не до конца вернётся оттуда, из ада воспоминаний, и скажет очень тихо, один, прощая за всех: «Ты ни в чём не виновата…» И повторит: «Запомни, ты ни в чём не виновата!»

И придёт ночь, и между ними не будет ничего, кроме объятий. Она будет лежать рядом с ним, свернувшись клубком. Маленькая девочка, которая впервые за много-много лет уснёт светло и беззаботно под защитой сильного верного Мужчины. Между ними ничего не будет, кроме стука сердец, кроме тепла тел, кроме переплетения рук, пальцев… Потому что ничего не может быть между отцом и дочерью.

Глава 10

Падение Икара

Алексей улетел в Амстердам в середине ноября. За два дня до этого он звонил ей, весёлый, на подъёме, смеялся, что опять всем недоволен, что будет до последнего, на ходу, под сигналы подъехавшего такси, ещё пытаться что-то доделать в картине, отрезать, пришить… Всегда он так, и в аэропорту уже знакомы с его закидонами, поэтому дают ему «зелёный коридор».

—Так что полетел!

—Удачи тебе, Лёша! Я буду держать за тебя кулаки…

Но ещё раньше ей позвонила Вера и сказала:

—Шеф отправляет меня на IDFA.

—Круто!—восхитилась Ксения.

—Ну да, круто. Только у меня загранпаспорт, как назло, кончается, и мы бегаем все в пене по комитетам, чтобы мне его быстро продлили. И с гостиницей там запара. Они же только участникам предоставляют. Вот и сижу в Инете, подбираю, чтобы недорого и недалеко от киноцентра…

—Это всё фигня! Ты же не была в Амстердаме?

—Не, там не была.

—Это как в «Вокзале для двоих», помнишь? «…Подруга в Алжир улетает, жену по телевизору показывают. Для меня это как жизнь на Луне. А тут весь день с подносом!» Когда же я куда-нибудь поеду?

—Не парься. Отправим и тебя,—покровительственно проговорила Вера.

— А ты хитренькая, увидишь Лёшин фильм раньше меня,—подколола её Ксения.

—Ну, это для вас, Ксения Сергеевна, событие. А мы, как-то так вышло, не ярые поклонники

господина Данилова и его творчества,—язвила любящая подруга.—Особенно после того, что он творит с вами.

—Да ну, перестань, Вер,—Ксения смущалась и краснела даже наедине с собой.—Он классный.

—Вам виднее... Ладно! Буду тебе эсэмэски слать о том, каких мы там призов нахватаем.

Вот так Ксения осталась в Питере сразу без друга и подруги на целую неделю. Ожидание усугублялось ещё и бездельем—из редакции газетёнок она всё-таки ушла, а новую работу пока не искала. Выбеганных в должности внештатного журналиста средств хватало до Нового года. Голова была наполнена нежными мыслями о любимом человеке, в солнечном сплетении опять плескалось сладкое млечное томление. Ксения почти в режиме non-stop гоняла в ноутбуке дорогие сердцу диски с Лёшиными фильмами. И чем больше она их смотрела, тем больше открывала для себя слоёв, пластов, значений, деталей. И лопались, как мыльные пузыри, недобрые и завистливые выдумки, густо кружащие вокруг имени режиссёра и его творчества.

За окном фильма «Без слов» не просто бесконечно копали яму, там шёл дождь, падал снег, плавал в медленном жарком воздухе тополиный пух, бесились в солнечных лучах пылинки, сверкали брызги, обречённо висела в небе над ночными очертаниями питерских крыш скорбная Луна. Она пристально, молча смотрела за экран, в глаза тому странному, не видимому зрителю человеку, который почему-то не спит в столь поздний час, который, как и она, бледен и одинок сейчас. И сливался, плавился на мокром асфальте свет Луны и фонарей, рождая палитру самых невероятных цветов и оттенков. И лишь на секунду, еле уловимо, мелькало нечаянным отражением в тёмном стекле лицо этого человека. Слишком бесплотное, слишком коротко, чтобы поверить в его существование.

Так же коротко и скупо мелькали перед глазами Ксении лица героев «Понедельника...». Только эти люди, наоборот, были слишком облечены в плоть, слишком приземлены, и она ничего не успевала о них понять. В этом фильме люди ходили, ели, спали, пили, размножались, работали, ехали, умирали, писали стихи, курили, любили, воспитывали, жалели, ругались, шутили, звонили по телефону, отказывались, соглашались, не понимали, не умели, не хотели, боялись, смеялись, болели, рубили, сторожили, чинили, молчали, стеснялись, плакали... Если бы Ксения не знала с самого начала предысторию создания этой документальной картины, то долгое экранное время думала бы, что это фильм просто про каких-то людей, бессюжетно, нелогично, невнятно соединённых вместе. Но, даже зная предысторию про «абсолютных ровесников», она тщетно пыталась угадать среди застолий, среди уличного людского потока, среди праздничной полупьяной толпы *те самые* лица. При первых просмотрах Ксения была не согласна с такой позицией режиссёра, но, постепенно открывая многослойность фильмов Алексея, она всё больше убеждалась, что его картины перестают быть только документальными. В них есть то, что не показывается на экране, то, что всегда нужно домысливать, анализировать. Это такие иносказательные головоломки, рассчитанные на избранного и очень вдумчивого зрителя. Если отодвинуть внешнюю сторону «Понедельника...», перестать видеть в нём документ эпохи и города, то замысел режиссёра сразу приподнимался, так же как камера «взлетала» над городом, над его ржавыми крышами, чёрными провалами дворов-колодцев, над суетой крохотных машинок и песчинок-людей. Режиссёр подсказывал: посмотрите на всё это глазами Творца... Как жалок человек, и как его хочется любить... Когда Ксения смотрела «Понедельник...» самый первый раз, она очень боялась сцены с умершей матерью. Столько вокруг этого короткого эпизода было накручено, столько возмущений. А на деле: скудный свет едва определял лежащее в постели тело какой-то пожилой женщины, не было видно ни её лица, ни лиц тех, кто склонился над умершей. Даже невозможно было угадать, кто так тоненько, так горько плачет в этой сумрачной комнате... Алексей мог бы никому не говорить о том, что это его мать, и никто бы и не догадался. Но он был честен—с собой и с другими.

Ксения смотрела «Философа» и, казалось, чувствовала, как трепетал Алексей перед этим сверхчеловеком, как не смел при монтаже прикоснуться ножницами к бесценной плёнке, сохранившей облик и голос Быкова. И очень верно, что начинающий режиссёр интуитивно ли, по счастливой ли неопытности оставил монолог Философа нетронутым. И смерть Быкова, подробное, долгое прощание с великим старцем, составляющее почти половину часового фильма, Ксения прочитывала как часть его Бытия, как Успение святого. И таким пронзительным, таким тоскливым становился к концу картины непонятный навязчивый звук—это руки Философа дрожали, когда он пил чай и держал чашку с блюдцем. Мелкий дробный стук фарфора—такой живой, такой бытовой звук—после смерти героя вдруг занимал всё пространство, отдавался эхом в углах опустевшего кабинета, дома, мира... И ещё кто-то снова плакал всё время, тихо, зажато, горько.

Плакала Мария Петровна Ковалёва по своей погубленной жизни, по рано схороненным мужьям и как приговор себе самой выносила: «Это мне за то, что в молодости отказала парню, Гришеньке! Родители не велели, а я побоялася перечить. Вот вся жизнь и перековырялася...» Плакала

и работала, плакала и смеялась, плакала и пела. И тяжёлыми каплями с крыши плакал вместе с ней дождь—так, как будто это были слёзы того, невидимого человека.

И, словно следуя из фильма в фильм, из судьбы в судьбу, этот невидимый плачущий человек появился и в «Неаполитанском танго». Там на экране сильная женщина оплакивала медленный и мучительный уход любимого мужа, и этот кто-то вторил ей так же тихо и горько. Она говорила о вере, о надежде, живущей вместе с человеком до последней секунды, о том, что она не должна раскисать, что Пётр не должен видеть её слёз. И она расчёсывала густые длинные волосы, надевала строгое платье, она бежала на богатый итальянский рынок, торговалась с продавцами, она быстро, по-деловому мыла полы в стоматологической поликлинике и спешила, спешила домой, обратно, к своему любимому. И там целовала его в провалы глаз, разговаривала ласково, шутливо, между делом ставила уколы, массировала тонкие бледные кисти рук, бесчувственные ступни, варила бульон, звонила по мычащей просьбе мужа знакомым, желая всем только здоровья, здоровья. Как страшно было видеть всё это и понимать, что исход близок и предопределён. Ведь все, и она сама, знали это. И только от непомерной усталости, от минутного отчаяния она позволила себе слёзы перед камерой, перед очень близким человеком. И когда этот человек за экраном заплакал вместе с ней, она воскликнула: «Не надо, Лёша! Не надо, нельзя! Мы не должны, ради Петра...»

Лёша, милый Лёша, ты умеешь плакать над красотой и жестокостью этого мира! Как невероятно! Как хорошо! Ты—необыкновенный!

И Ксения часами бродила по набережной Лейтенанта Шмидта, засыпанной свежим, ещё не успевшим прокоптиться снегом, и думала, думала об Алексее. Вот здесь он остановил машину, когда она выложила ему сплетни о нём. Бедный, как он тогда облез. Дура, тысячу раз дура! Даже перед памятником многоуважаемому адмиралу Крузенштерну стыдно. До сих пор... Уже не стояли у набережной белоснежные семиэтажные морские лайнеры, не торговали матрёшками, цветастыми платками, балалайками и прочими «советскими» сувенирами пронырливые лотошники. Не грохотали музыкой, не светились разноцветными огоньками плавучие ресторанчики. На волнующейся невской воде качались сонные флегматичные чайки, и какой-то пацанёнок всё пытался докинуть до них комьями земли.

Ксения перебежала по «зебре» на другую сторону набережной. Машины здесь носились как угорелые, еле переждёшь, пока пропустят. Прошла по пустынной 14-й линии до Большого проспекта и дальше, дальше, решив совершить «круг почёта» до метро и обратно. На пешеходной 6-й линии многолюдно, суетно. В метро в эти вечерние часы не протолкнуться. На Среднем тоже озабоченный, хмурый людской поток. Транспортная пробка от 9-й до Съездовской. Машины, автобусы, трамваи забили до отказа узкие улицы. Чистый белый снег, которым она любовалась на своей набережной, здесь давно превратился в грязное мокрое месиво, он только портит обувь и вызывает раздражение. Магазины, витрины, музыка, грохот, скрип тормозов, гудки, крики, ругань, смех. Как густо замешана жизнь на этом крохотном клочке небольшого питерского острова. Чем дальше она будет уходить от метро, тем реже станут попадаться спешащие люди, резвые машины. А пока она бредёт в общем потоке мимо маленького уютного кафе «Идеальная чашка». Зазывный свет горит внутри. Петропавловка застыла на стене. Девочки за стойкой всё так же вежливы и предупредительны. Столики на двоих. Вот за этим, где сейчас расположилась юная парочка, сидели и они с Алексеем. И её кофе был невыносимо сладким! И потом они пошли вот по этой стороне Среднего, и она, осмелев, взяла его под руку. И было так хорошо! И он засмеялся, сказав, что пешком не гуляют!.. Вот идёт она хмурым питерским вечером, среди озабоченной толпы, и улыбается. Одна из всех. И наплевать ей на все жизненные трудности, на отсутствие денег, работы, на соседей по коммуналке, которые опять утром скандалили... Они просто несчастные люди, которых никто никогда не любил. Они не знают, как это можно—идти по холодной серой улице, меся ногами грязный снег, с мятой десяткой в кармане, и улыбаться, улыбаться, и нести в груди тёплый ласковый комочек нежности. Она любит, и поэтому мир прекрасен! И может быть, может быть, её тоже любят. Ну совсем, совсем чуть-чуть...

Алексей сидел в тёмном зрительном зале, на самом нижнем ряду, с краю, поближе к дверям. Сидел, уперев локти в колени и опустив разгорячённый лоб на сложенные друг в дружку холодные ладони. Его маленький герой кричал и бился ручонками в огромный экран, словно в стекло, словно просил выпустить... Всё не так, всё не то. Почему он увидел это только здесь, в этом премьерном зале? Так всегда: невозможно взглянуть на своё произведение со стороны, пока оно не отделится от тебя. Но как только оно уходит в самостоятельную жизнь—всё видишь, недостатки просто бьют в глаза! Слишком статичная камера... Слишком долго она статична, словно не знает, что ей делать, куда смотреть... Плохо! Надо было по-другому снимать. Надо было снимать сразу несколькими камерами, с нескольких точек. Но как? Тогда и оператор отражался бы в зеркале... Соорудить ширму? Скрытую камеру использовать?.. Надо, надо было решиться на это, чтобы видеть всё происходящее и сверху, как бы глазами взрослого, и глазами

ребёнка. Немного бы другой ракурс… И вообще, надо было не такое зеркало! Не такое! Надо было без рамы, во всю стену! Чтобы герой шагал в другой мир, в зазеркалье. И чтобы зритель иногда сам путал отражение и реальность. Побоялся, что сын испугается многих камер, чужих людей… и так почти не дышали… да нет, всё правильно, это такой интимный, такой таинственный момент… не смог бы снять по-другому. И повторить уже ничего, никогда нельзя. Ещё это контрастное пятно: сынуля оторвал тёмные обои, и обнажилась белая стена. Белое пятно на тёмных обоях! Почти посредине кадра, над светлой головкой ребёнка! Ведь видел его! Не подумал, что так будет тянуть на себя одеяло. Надо было заклеить. Не заклеил, показалось, что это придаст натуральности. Ведь корявые детские рисуночки, эти каляки-маляки фломастерные на тех же обоях, легли в общий антураж превосходно! И сам вот влез в кадр, крокодил! Видеть тебя не могу! Толстый, противный… но как ещё можно было вывести малыша на главную точку? Никак не приходило к нему узнавание. Для него — в зеркале жил чужой мальчик! Надо было их соединить в его бедной головушке. И только когда маленький герой увидел в том же зеркале брата, папу, только тогда понял что-то об отражении, о себе… Чудеса не происходят сами… Всегда нужно их тщательно подготовить. Просчитать. А как просчитать, срежиссировать реакцию ребёнка? А ведь ты видел уже на стадии материала, что всё пошло не так! Ведь видел, признайся, не ври сам себе! Потому что пятнадцать лет назад ты видел другое кино! С таким же маленьким, но другим героем! Нет, жизнь нельзя повторить, этим она и прекрасна, и ужасна…

Алексей услышал негустые аплодисменты и быстро, пока не успел зажечься свет, выскользнул из зала. Занял столик в баре, заказал коньяк, выпил… Кажется, в этом конкурсном блоке ещё один фильм, кажется, длинный. Тогда у него есть время, чтобы придти в себя. А потом набегут в бар за стаканчиком горячительного многочисленные киноколлеги. Он взял ещё порцию коньяка и выпил её уже не залпом, как первую, а глотками. Тепло стекало по горлу в желудок, почти нестерпимо обжигая его. Ладно, всё равно сделал. Пусть не лучше, чем у других, но однозначно не хуже. Это всё нервы. Нервы ни к чёрту. Концовка получилась, это главное. И внутри есть крохотные фишки, которые смогут заметить только самые внимательные зрители. Как бежит по мосту мальчик, а его тень отстаёт от него… Такой обманчиво примитивненький фильм получился, чтобы расслабить в начале и оглушить в конце. Рано, Лёха, расквасился. Выпей-ка ещё…

Через полчаса бар стал наполняться людьми. Пришёл длинный большой Ляшенко, по болезненной привычке близоруко щурился на окружающих. Алексей позвал его за свой столик. Выпили за премьеру. Ляшенко тоже привёз фильм: последнюю серию большого документального сериала. Лет пятнадцать он его снимает, с одними и теми же героями. Как они растут, меняются. Превращаются из подростков во взрослых людей. Из советских школьников в менеджеров и бизнесменов. Из мальчишек и девчонок — в мужей и жён, в отцов и матерей… Благодатная тема. Да-а… Интересно было бы лет через двадцать снова разыскать своих абсолютных ровесников, снова снять про них фильм. Кого-то уже не будет. Что-то изменится в жизни живых. Станут взрослыми родившиеся перед камерой дети… Нет. Не потянуть такое ещё раз… Ляшенко крепкий режиссёр, настоящий профессионал — выносливый и терпеливый. Вот только зрение совсем его подводит…

Пришла и села за их столик громкая, по-глупому восторженная немолодая Кристина, координатор чешского документального фестиваля, сразу рассыпалась похвалами в адрес обоих режиссёров, а потом безостановочно теребила Данилова:

— Какой мальчик! Какой мальчик! Такой трогательный фильм, Алексей! Это какая-то волшебная детская страна. Как будто сейчас из-за лёгкой прозрачной занавески выйдет добрая Фея и коснётся солнечной головки плачущего мальчика, и он превратится в Маленького Принца. Это такой лёгкий, такой светлый фильм! У тебя было много мрачного, трудного раньше, меня это пугало. Но сегодня я с тобой полностью примирилась, — Кристина доверительно коснулась руки Алексея. — Принеси мне завтра диск, я увезу его с собой. Мы в этом году в феврале. Ты уже в конкурсе!

Алексей на всё согласно кивал. Ляшенко щурился. Никогда невозможно было понять, что ему нравится, а что — нет. Скажет потом, когда останутся одни. А пока их компания всё расширялась. Пришёл Владимир Илларьевич Корнеев — «последний могиканин» ленинградской киношколы. Он всё ещё работает, ещё ездит по фестивалям. Ляшенко и Вересова его опекают. Устроили через Союз эту поездку, как подарок к семидесятипятилетнему юбилею. Вот и Лариса — легка на помине, а с ней худенькая строгая Вера — координатор питерского фестиваля.

Вересова пробралась-таки к нему под бок, на двухместный диванчик, где он до этого широко сидел один. Улыбался ей, строил глазки. Всё как всегда. Вера скромно присела на стул. Владимиру Илларьевичу принесли от соседнего стола удобное кресло. В другом сидел Ляшенко. Кто что будет пить? Они-то с Ляшенко уже пьют коньяк. Лариса захотела того же, что у него. Вера заказала сухого красного вина. Кристина сама взяла сок. Корнеев от спиртного отказался, попросил чаю. Алексей стряхнул с себя Ларису, отошёл к барной стойке. Взял уже целую бутылку коньяка — надоест скакать

за порциями. Вежливая Вера—единственная—помогла принести напитки за стол. Там уже появился ещё один человек—приятель-поляк Штефан Каминьский. Обнялись, поздравили друг друга. Сели. Выпили. Весёлый Штефан шутил, много и быстро говорил.
—Почему ты не хочешь преподавать? Давно пора заводить учеников!—приставал он к Алексею.—Я уже второй набор выпускаю. Славные ребята. Они всё видят иначе. Их бывает трудно понять, но с ними так интересно! Много девушек идёт в режиссуру. Такая неженская профессия, а они идут. Мне их жаль. Но они иногда сильнее мальчишек. Посмотри, даже Игорь,—он кивнул на Ляшенко,—такой занятой человек, набрал в прошлом году курс. Но он в Москве. У вас же есть в Петербурге киношкола?
—Институт есть,—негромко, без улыбки ответил ему Алексей.—Я тоже занятой человек. А не иду преподавать как раз потому, что девушки… они в меня все поголовно влюбляются. Какая уж тут учёба.

Штефан заржал, подмигнул и панибратски хлопнул его по плечу. Лариса кокетливо хмыкнула. Вера взглянула исподлобья. Ляшенко заморгал глазами, зажмурился, как будто их резало. Кристина громко переспрашивала:
—Что? Что он сказал? Я не поняла.

Владимир Илларьевич строго посмотрел на Алексея и отставил пустую чашку из-под чая. Незаметно подошла официантка, унесла грязную посуду.
—Девочки любят красивых успешных мужчин,—красивым густым голосом произнесла Вересова.—Так уж мы устроены! Давайте выпьем за это!

Она попробовала осторожно взять Алексея под руку, но он отстранился. Выпили.
—Мне кажется, Штефан прав, Лёша,—глухо заговорил Корнеев,—настал твой черёд передавать свой опыт молодым режиссёрам. Когда-то мы всей студией опекали тебя. Я ничего не хочу сказать плохого, ни в коем случае не умаляю твоего труда, твоего творческого пути. Ты прекрасный, абсолютно самостоятельный режиссёр. Но помнишь, мы все тебе помогали, когда ты начинал: кто-то дарил тебе плёнку, кто-то бесплатно снимал для тебя… Сейчас другое время. Мы, слава Богу, живём теперь иначе. Твоим ученикам уже не нужна будет материальная поддержка. Но в творчестве они тыкаются, как слепые котята. Кто их научит? Игорь, Штефан—они делают благородное дело…

Глаза Алексея недобро сузились:
—А помните, Владимир Илларьевич, мне было лет семнадцать, зима была… мне совершенно некуда было деться… вы тогда очень помогли мне—дали ключ от дачи. Я два часа ехал в холодной электричке. Шёл до дачи в темноте. А когда пришёл, оказалось, что замок невозможно открыть…

Владимир Илларьевич растерянно смотрел на Алексея. Все за столом напряглись. Но он словно не замечал этого.
—На следующий день я вернул вам ключ, сказал, что замок сломан. А вы засмеялись, назвали меня «чучелом» и велели в следующий раз пописать на ключ. Замок просто замёрз… Но следующего раза не было…
—А какое отношение?—ещё глуше заговорил Корнеев.—Как это сопоставить—наш разговор об учениках и эту неприятную историю?.. Извини, я не помню, конечно, но извини… через столько лет.
—Какое отношение?—сказал Алексей тихо и зло.—А потому что вы все думаете, что мне всё очень легко даётся…
—Я не говорил этого… совсем наоборот…—пытался реабилитироваться бедный старик.

Вера медленно бледнела и от неловкости не знала, куда прятать глаза. Ляшенко хмурил лоб и моргал всё чаще. Штефан глупо улыбался. Кристина закурила. Алексей не кричал, нет, он говорил очень тихо и спокойно, но от этого спокойствия всем было не по себе.
—Вы, наверное, все думаете, что я только пальцами щёлкну, и всё само собой получается! По щучьему велению… Это вам дают деньги в Госкино. Я в Госкино давно не хожу. Я закладываю своё жильё, свою машину. Я всегда рискую! У меня каждый раз язва желудка открывается! Но вам это неинтересно… Вот мы с вами знакомы сто лет. Мы вроде бы друзья, приятели. А давайте честно: ведь вы только того и ждёте, чтобы я упал. Чтобы освободил вам место…
—Перегибаешь, Алёша,—пробасил Ляшенко.—Никто на твоё место не метит. Каждому хватает забот на своём. Кончай бузить. Давай лучше выпьем. Извинись перед Владимиром Илларьевичем. Никто ни в чём не виноват.
—Извините,—сказал Алексей, не глядя на Корнеева.

Чокнулся коньячком с Ляшенко.

Кристина пошла кого-то искать, на прощанье напомнив, чтобы Алексей принёс завтра диск. Он кивнул ей, уже миролюбиво, уже стесняясь своей выходки, жалея старого несчастного Корнеева.

«Не надо больше пить. Нельзя…»

Булькнул мобильный в кармане. Он достал его и даже не понял сперва текст смс. Перечитал два раза, пока строки не сложились в японское танка:

«Всё это время
Так любовь сильна!
На летнюю траву она похожа;
О, сколько ни коси, ни убирай,
Растёт опять и покрывает поле!»

Посмотрел отправителя. Ну конечно, как не догадался, это Ксения атакует его. Даже в Амстердаме! Эстетка какая нашлась…

— Кто там?—сунулась в телефон Лариса.—Девочки пишут любовные послания?
— И как ты догадалась, умная моя?—скривился Алексей в деланной улыбке, убирая от её любопытного взгляда телефон.
— Сердце чувствует твоё коварство, милый друг!—пропела она.

Ещё долго сидели. Ещё зачем-то пили… Снова булькнул телефон, но Алексей не стал доставать его. Корнеев засобирался в гостиницу. Он проводил его немного, долго извинялся, обнимал. Старик по-отечески хлопал его по спине. Алексей вернулся на диванчик, развалился, сместив надоедливую Ларису на самый край. Но она всё терпела, улыбалась, вязалась.
— Чего ты злой такой сегодня, Лёшенька?

Алексей осмотрел сидящих за столом, словно увидел их впервые. Раскрасневшийся, вечно хмурый Ляшенко басил о чём-то с поляком. Курила невесть когда вернувшаяся Кристина, с ней пришла какая-то незнакомая девушка. Кажется, немка-дебютантка. Во всяком случае, так он понял из разговора. Алексей сладко заулыбался ей, поцеловал ручку. Молчаливая Вера давно допила своё вино. Он предложил ей ещё бокал, но получил вежливый отказ.
— Я родился в июле… вы все знаете,—заговорил Алексей, не обращаясь ни к кому конкретно.—Все видели «Понедельник. Утро»… ты говоришь, Кристина, что я снимаю мрачное кино. Это всё жизнь… это документальное кино, понимаешь? У кино всегда есть неразрывная связь с судьбой.

Чешка вежливо улыбнулась в ответ.
— В июле много полевых цветов… Они всякие—жёлтые, белые, синие, фиолетовые тоже…красные… лепесточки такие нежненькие. Пахнет всё… я родился в июле. Вы все знаете…
— Напился…— возвела Лариса глаза к небу и тяжко вздохнула.

Ляшенко укоризненно посмотрел на Данилова и продолжил более интересный разговор с поляком.
— Мать рожала меня в городе. А отец был за городом… в деревне, там… у своих. Я родился, и они поехали в город на мотоцикле. Они напились от радости… очень пьяные ехали…

За столом снова повисло напряжение. Все замолчали, глядели на Алексея, а он смотрел сквозь них и рассказывал с садистским спокойствием какую-то неправдоподобно жуткую историю.
— …очень пьяные оба были, и отец, и его брат, без шлемов, на мотоцикле. Они нарвали в поле этих цветов—белых, жёлтых, синих… и красных тоже… И везли букет моей матери, за меня… И на повороте разбились. Слишком быстро ехали, да ещё и пьяные. Брат сразу насмерть. А отца собирали по частям… он потом долго болел… Матери некуда было пойти после роддома… со мной. Потому что дед, отец моего отца,—он сказал, чтобы меня ему не показывали… что это из-за меня погиб его сын, а другой—инвалид…
— Лёша, я тебя умоляю!—вскричала Лариса.—Посмотри, ты напугал женщин. Кристина, Марта, Вера, не слушайте его. Он любит сочинять всякие страшилки. Пойдём, я уведу тебя в гостиницу…

Алексей дал поднять себя с диванчика, усмехаясь чему-то, ещё договаривал на ходу:
— Я не сочиняю. Это документальное кино… Это всё жизнь, такая, что и придумать нельзя…

Лариса увела его за собой, как послушного телка. Кристина покачала головой и, разведя руками, резюмировала:
— Одно слово—гений, со всеми полагающимися недостатками…

Компания окончательно развалилась. Мужчины ушли в зрительный зал на ночные просмотры. Кристина и Марта отправились в свой отель. А Вера нехотя поплелась в свой—поиски пристанища на время фестиваля через Интернет привели её к анекдотическому результату. Она, сама не подозревая того, поселилась в маленькую частную гостиницу для… геев. Амстердам—город свободных нравов. Там принято уважать права всех и на всё. Там даже есть такие специальные гостиницы. На сайтах они помечены каким-то значком, о котором Вера не подозревала. Заполнила заявку, получила подтверждение, перевела на указанный счёт часть суммы авансом. А когда приехала в Амстердам и поняла, во что вляпалась, изменить что-либо было уже невозможно. Ухоженные, пахнущие духами, вежливые мужчины с затаённым любопытством и непониманием взирали на высокую стройную девушку, затесавшуюся в их ряды. Возможно, подозревая в ней трансвестита. Впрочем, у этой гостиницы были свои неоспоримые плюсы—в ней было очень тихо, чисто и уютно. И можно было не опасаться никаких посягательств на свою честь…

Старый, дребезжащий всеми своими суставами автобус высадил Алексея среди леса и, обдав на прощание облаком пыли, увёз оставшихся пассажиров дальше. Алексей надел на плечи тяжёлый рюкзак, сошёл с дороги на заросшую тропинку и зашагал в сумрачной тени дремлющих старух-елей. Только хруст шишек под его ногами да случайно спугнутая птица нарушали их ленивый покой.

Тропинку оплело корнями, они выпирали из земли, бугрились, словно мозоли на ладонях натрудившегося за жизнь старика. До родной деревни идти неблизко. Когда кончится лес, нужно будет пересечь заброшенное, давно не паханное поле, заросшее ромашками, колокольчиками и разной сорной травой. Потом пройти вдоль обрывистого глинистого берега реки до огромной высохшей берёзы, миновать заросший ракитой овраг, и тогда только он увидит десяток серых домов, рассыпанных на берегу.

Алексей шагал широко, пружинисто и мысленно перечитывал последнее письмо матери:

«Здравствуй, желанный сынок, письмо я твоё получила, большое спасибо. Сыночек, я чернику тебе посылаю, посылаю вот тут прополис, настоянный с маслом, натирай переносицу, чтобы не закладывался у тебя нос. Держи в тепле ноги, прогревай пятки всё время. Нет-нет да возьми горчичную ванну и сделай.

Сынушко, жалей себя, любимой ты мой, желанной сынок, ласковое моё дитя! Я теперь век прожила, хоть и помру, так наплевать. Береги семью, живите дружно. Гале большой привет, здоровья ей желаю. Егорку жалей, приласкай когда, береги…

А жись-то моя, ты знаешь, я в письме писать не буду…»

— Где?! Где эта тварь?! — пьяный отец в расстёгнутом полушубке ввалился в избу вместе с морозным паром. — А-а-а, что, сука?! Зарублю сейчас! Убью! — он замахнулся на мать недопитой бутылкой.

Мать склонилась над столом, на котором раскатывала тесто для пирогов, сразу из молодой женщины сделавшись горбатой старухой.

— Явился, — проговорила она очень тихо, — только и пожила два дня спокойно.

— Что?! — взвился отец и одним движением руки смахнул со стола на пол противень с бледными овальными пирожками. — Убью, тварь!

— Только убей, скотина! Только убей! — прямо посмотрела мать в его стеклянные глаза.

Лицо её, испачканное мукой, казалось мертвенно-бледным.

Спящий на русской печи девятилетний Лёшка резко проснулся от крика и грохота.

— Конечно! Конечно! И это будет справедливо!

Отец куражливо уселся на лавку и, громко стукнув о столешницу, поставил бутылку посреди стола.

— Что справедливо? Что справедливо? Нахал!

Мать трясущимися руками собирала с полу пирожки.

Лёшка лежал, замерев и дрожа каждой жилкой своего худого длинного тела, и думал, что у матери, наверное, опять непроизвольно подёргивается верхняя губа. Тётка Капа говорит, что это нервный тик.

— Ты неси деньги на стол, — мать покидала испорченные пирожки в пойло скотине. — Неси деньги на хлеб. Пропьёшь, а потом явишься, за горло меня берёшь? Нахал.

— Это спорный вопрос!.. Лёшка-а-а!

Мальчишка сжался в комок и голосу не подал.

— Лёшка-а-а! Сатанёнок! — и снова переключился на мать: — У меня денег миллиарды!

— Где?! — криво усмехнулась она. — Последние портки — и те рваные!

— Не физически.

— Надо уйти с глаз долой, пока живая, — мать говорила быстро, как всегда от напряжения, и при этом машинально управлялась с домашней работой: убирала со стола, мыла пол. — А то у него ума хватит. И парня хоть человеком вырастить.

— Не уйдёшь! Дом не бросишь! Картошку пожалеешь!

— Жри сам картошку, а мы уйдём! А то топор он точит на меня, нахалюга. Только и дразнит каждый день: «Молись Богу! Проси у Бога прощения!»

— Проси у Бога прощения! — отец поднялся с лавки и навис над склонившейся к ведру матерью, как небесная кара. — Только у Бога проси прощения!

— За что? За что мне прощения просить?

Отец пнул ведро, и грязная вода разлилась по только что подтёртому полу. Мать бросила тряпку в лужу, бессильно опустилась на лавку и заплакала:

— Господи-и! Да неужели заступы за меня не бу-у-уде-е-ет? Я становлюсь в шесть утра и как муха топчусь…

Вода расползалась по кухне, затекала под дрова, сложенные на полу у русской печи.

— А что такое? — пьяно захохотал отец, топая по луже валенками. — А что такое? Я не понимаю! Для чего? Для чего ты встаёшь в шесть утра? Ради своего самолюбия?

— А за что ты меня зарубишь? И снесёшь в торфяную яму?

Лёшка очень осторожно соскользнул по печной приступочке на пол. Хорошо, что лесенка с коридора, а не с кухни, где снова скандалили родители. Схватил в охапку пальтишко и шапку, пихнул босые ноги в валенки.

— Маня, Марья Петровна, — заговорил вдруг отец очень ласково, — дорогая моя, единственная, любимая моя жена… настолько ты погана…

Лёшка выскочил на мост, стремглав слетел с крыльца и, на бегу натягивая одежонку, понёсся куда-то по морозу, сам не зная куда. Только бы подальше от семейного скандала, только бы не слышать, как куражится над матерью отец. Только бы не видеть, как он её бьёт, как утирает мать белым платком кровь с лица, и на платке остаются пятна, словно от давленой клюквы. Как сосредоточенно, до последнего крохотного осколочка, собирает она с полу перебитую расходившимся отцом посуду…

Мать быстро и ловко подмыла тугое розовое коровье вымя и, ласково приговаривая, уверенно начала дёргать за соски.

— Уж ты моя красавица, кормилица… Звёздочка моя ясная… любимая моя коровушка… ласкуша моя…

Рослый телёнок забрёл через открытую дверь в хлев и потянул морду к подойнику.

— Уди-и! — любовно пихнула его мать локтем в лобастую морду. — Василёк! Уди-и!.. Молёчка

захотель, мой ма-а-аленькой!—нежно коверкая слова, говорила мать телёнку.—Сейчас дам, сейчас дам тебе молёчка-а-а…

Звёздочка флегматично жевала свежескошенную траву, которую хозяйка всегда приносила ей перед дойкой, иногда лениво поматывала головой, отгоняя жирных приставучих мух.

Зимой траву заменяло душистое лесное сено. Лёшка любил рыться в нём, отыскивая засохшие прямо на веточках ягоды земляники. Он совал тёмно-бордовую, почти чёрную ягодку в рот и думал, что если корову кормить одной сушёной земляникой, то молоко, наверное, было бы розового цвета и пахло летом, напоминая о солнце, жаре, птичьем пересвисте, лесной прохладе, высоком синем небе, о реке, что течёт под обрывом, о еже, которого нашли они как-то на опушке…

Обезумевшая от добычи Жулька тыкалась в ежиные колючки, до крови исколола себе губы и нос, визгливо лаяла на пыхтящий и тукающий острый комок. Мать закутала ёжика в платок и понесла над головой. Но собака прыгнула, выбила из её рук добычу и закрутилась вокруг юлой. Мать снова попыталась отобрать у собаки ежа, опять завернула его в платок, совала Жульке карамельку в фантике. Но коротколапая собачонка всё прыгала и прыгала, ёжик всё падал и падал…

К осени телёнок вырос в настоящего молодого быка, но был всё такой же крутолобый, с влажными сливовыми глазами, ручной, ласковый, всё ходил за коровой. На пару они повадились валить хлипкие прясла старого забора и пробираться в усад, где ещё была не выкопана картошка, лопухами висели крупные свекольные листья, барыней сидела капуста.

Мать гоняла их, хлопая по толстой бархатистой шкуре охапкой картофельной ботвы. Лихо управляясь с тяжёлым топором, чинила забор, поднимала, подпирала кольями давно подгнившие столбушки.

— А не ругай меня, мамаша, что я хлеба много е-е-эм,—напевала она, подкапывая густой, совсем не по-осеннему зелёный картофельный куст, отряхивала его и проворно выбирала из земли жёлтые ровные клубни.—Дайте белую котомочку, я вам не надое-е-эм…

Лёшка уносил полные вёдра к открытому подвалу, склонившись в очень низкой двери, нырял в темноту, в запахи плесени, свежей земли и кислой капусты. Высыпал картошку прямо в широкий, как сцена в сельском клубе, засек, разравнивал картофельные кучи, чтобы проветривались. Сентябрь выдался сухой, картошки было много, и вся чистая, крупная.

— Посиди со мною рядом, ягодиночка моя-а-а,—доносился с поля материн напев.—Чтобы сердце не болело у тебя и у меня-а-а…

Пьяный отец сегодня смирно сидел в избе перед окном, курил и наблюдал, как они работают.

Мать разогнула затёкшую спину, воткнула лопату в рыхлую землю и пошла к столбу, на котором стояла банка с болтанкой. Чуть отряхнув руки, она взяла банку и припала к ней пересохшими губами, жадно глотала подкрашенную смородиновым вареньем воду. Напилась, огляделась. Небо серое, низкое, но это не дождевые тучи; даст Бог, управятся с картошкой до затяжной сырости.

— Не ругайся, дорого-о-ой…—пропела она и умолкла.

Сегодня отец был тихий, а вчера ни с того ни с сего кинул в мать миску со щами, потому что они показались ему холодными…

— Куда?! Куда?!!—мать прямо голой рукой рванула большой пучок крапивы от забора и побежала в другой конец усада, туда, где Василёк напирал широкой грудиной на прясло.

Пока мать бежала по перекопанному полю, забор упал, бык вальяжно взошёл на гряды, направился к свекольной ботве. Хозяйка лупила его крапивой, пихала в упругий бок. Но всё без толку. Спихнёшь его, такую махину. На усад медленно зашла Звёздочка. Мать кинулась к ней, шлёпнула два раза, потом опять ринулась к Васильку—да и плюнула, бросила истрёпанную траву, встала между ними руки в боки…

— Ну что ты за человек? Что ты за человек?—беспомощно вопрошала мать спокойно сидящего за столом хмельного отца.

Тот сегодня был в философском настроении. Покачивался над остывающим стаканом чая. Не знаешь, что и хуже: его ор и драки или его пространственные занудные рассуждения о жизни, которые он заставлял слушать всю семью. Попробуй не сядь и не послушай—обида, скандал.

— Парню в школу не в чем ходить! А ты всё пропил!

Мать рубила в корыте варёную картошку для пойла и утирала то и дело набегающие бессильные слёзы.

— Я характеристику себе давать не буду. Не-ет. Нет… Нет уни-ирсального че-ека, чтобы идеально чистый. Я не могу характеристику себе, что ты хороший или плохой, не могу. И никто не вправе… даже не вправе никто. Не знаю… Для кого-то я буду и хороший, а для кого-то я враг… Жуленька, Жуля,—позвал он собачонку, и она прискакала, радостно повизгивая, виляя хвостом, принялась взахлёб лизать его обросшее щетиной лицо. Отец пьяно похихикал, отпихнул её.—Поэтому рассужжэния о человеке я запрещаю. Обсужжэние человека поверхностно я запрещаю.

Он неуверенно сунул руку в карман рваных брюк, достал мятую пачку «Примы», вынул наполовину высыпавшуюся папиросу, закрутил её

с пустого конца и долго прикуривал, всё промахиваясь огоньком спички мимо.

— Или как рассуждают... Уж я-то ладно, я-то жила плохо, пусть они хорошо. Вот уж нет, у их другое будет, обстановка... другое общесво они построят. Я сама конфетку не съем, а ему дам. Нет! — треснул отец ладонью по столешнице. — Ты сама съешь!.. Вы живите, я ради вас... Я разбиваю эту теорию, я в корне не согласен. Знаешь что? Тебе дана однаединственная жись. Тебя больше нету, во втором варианте нету. А? Так неужель ты ради кого-то? О-хо-хо-о-ой! Ну для чего ты тогда родился? Для чего? Ты в одном экземпляре в мире. Вот, я борюсь за личность! А не общие масштабы.

Мать в обе руки подхватила тяжеленные вёдра с пойлом для скотины, толкнула ногой дверь и вышла из избы. Но отец продолжал вещать. Благо, Лёшка сидел тут же за столом и тупо пытался делать уроки.

— Ведь вот недаром ставится вопрос о смертной казни. Понимаешь, сынок, в чём дело? Я отменяю её, смертную казнь. От-ме-ня-ю!.. Если ты такой супротивный, я слушаю, пожалуйста, объясни...

Не дождавшись от сына ответа, он продолжал:

— Вот все ссылаются на государство. Я разбиваю эту политику. Государство, Лёшка, это ты, я. У меня мама есть, папа. Вот ты конкретно назови: что есть государство? Ты, да мы, да я с тобой? О-хо-хо-о-о-ой! А знаешь что-о... я бы, например, запретил в государстве производить игрушки детские. Девочка сшила бы куклу, я ей тряпочек отдам. А если готовое, она истреплет. А если бы ты сам скон... сконсруировал? Вот это уже потенци-иа-а-ал большо-о-о-ой! Я бы запретил в Союзе выпуск детских игрушек. Заводы, предприятия закрыл. Ширпотреб выпускают!.. На данной стадии цивилизации мы не осознаём то, что мы сами себя губим... Я бы хотел, если мысль послать всем людям, сказать: «Не троньте человека! Пусть развивается естественным путём...»

Мороз забирался к голому Лёшкиному телу под изношенное пальто. Когда убегал из дому, не прихватил рукавицы и теперь тщетно пытался согреть окоченевшие руки в дырявых карманах. Парень брёл куда-то по пояс в снегу, в кромешной темноте, через ветер, через снежную крупу, бьющую в лицо тысячей иголок. Внезапно оступился, кубарем покатился в гулкую неизвестность. Перепуганное сердце горячим комом забилось в горле, светлые вспышки в мозгу... Снег набился в глаза, в рот, под воротник, в рукава, в валенки. Успокоившись, понял, что упал с речного берега. Как теперь выбираться? Глаза как будто привыкли к темноте, или это ветер разогнал тучи, вычистил небо, обнажив многочисленные капли звёзд, загнутый, как крутые коровьи рога, месяц.

Лёшка устал и замёрз. Дома не успел поесть. Только мать поставила перед ним миску с картошкой, как явился отец, и началось... А есть так хочется. Хоть бы хлеба. Сразу бы стало теплее... Надо выбираться обратно на берег. Где-то тут овраг... Сил нет. Посидеть немножко. Если сесть в сугроб, зарыться в него, спрятаться от ветра, можно немного согреться. Он так и сделал. Как будто стало теплее. Вспомнилось вдруг, как нынче летом они с другом караулили на заимке лосей... Лёшке стало жарко от приятных воспоминаний, даже почудился комариный писк. Откуда? Зимой-то... Посижу тут до утра, посплю...

Очнулся он на печи от дикой боли и сразу закричал. Обмороженные руки и ноги отходили в тепле, и это было невыносимо больно! Мать хлопотала вокруг, обматывала ноги тряпками, смоченными в тёплой воде. Резко пахло каким-то лекарством...

Отец наконец-то успокоился, сидел на табуретке, опершись локтем о стол, и буйная его головушка то и дело склонялась на молодецкую грудь.

Мать растапливала печку, посматривала на засыпающего мужа и еле сдерживала смех.

Вот отец качнулся, но усидел. Другой раз — снова усидел. Третий... Мешком вальнулся с табуретки на пол между столом и печкой, и дом тут же огласился его храпом.

Мать засмеялась в голос и вдруг пошла-пошла по избе, словно заслышав наигрыш гармошки. Скинув с ног опорки, босиком отбивала такт по крашеным половицам:

Неужели тебе, рыбинка,
Не холодно зимой?
Неужели тебе, миленький,
Не весело со мной?

Лицо её было строгим, худым, взгляд в себя, из-под платка выбилась прядь серых волос.

Мой муж арбуз,
А я яблонька.
Когда мужа дома нет,
У меня ярманка!

Так болело её сердце, так кричала душа от исковерканной жизни, что выдержать это было невозможно! Пекло́ изнутри болью, и она кричала от этой огненной боли:

У милого моего
Волосы волнистые,
Я его не заменю
На горы золотистые!

По её щекам уже давно текли слёзы, она кружилась и кружилась по избе, словно боясь остановиться, словно, пока она вот так будет выкрикивать наперекор беде эти частушки, она только и будет

жива. А как только остановится, так рухнет подрубленной лесиной и больше не встанет.

Разделка была,
Переделка была,
Семь раз родила,
А всё девка была!!

Пока Лёшка был совсем маленький, он только пугался пьяного отца, ревел и просил маму спрятать его. Потом, когда стал немного соображать, всё думал, почему мать не уйдёт от отца, даже упрашивал её… мать только плакала.

Соседи о чём-то шушукались, смотрели на него косо, неохотно пускали в дом, когда он убегал от скандала и просился переждать. За всю его сознательную жизнь дед навестил их только два раза. Приезжал из села. И оба раза мать спешно прятала маленького Лёшку где-нибудь, просила посидеть в хлеву, пойти к приятелю. Он никак не понимал такого отношения и жутко обижался.

И вот всё разъяснилось, нашлись доброхоты, рассказали тринадцатилетнему парню, да так, что он лежал сейчас за банями, распластанный, уткнувшись лицом в жёсткую траву, выл в голос и бил кулаками землю.

Отец после аварии перенёс десяток операций, и пить стал из-за этого, и мать бить…

А мать его жалела, потому и терпела. Русская женщина…

Дед так никогда и не простил Лёшку: «Гадёныш, если бы он не родился, мой сын был бы жив! Уберите с глаз, зашибу!»

Сейчас Алексей ехал в родовую деревню, где не был много лет, потому что дед умирал…

Мать повисла на сыне, и у него от её слёз мгновенно намокла рубашка на груди.

— О-о-ой. Какой ты! Городско-ой! Сынушко мой желанный!

В доме тяжело пахло чем-то прокисшим. От постаревшей матери пахло так же, как и прежде: хлевом и дымом. Он отвык от этих запахов в городе.

С утра подогретый отец тоже пустил пьяную слезу, начал что-то рассуждать о невозможности человеческой жизни в отрыве от земли. Но Алексей его не слушал. Быстро выложил на кухонный стол гостинцы, осторожно заглянул в комнатку, где лежал дед, высохший и коричневый, как болотная сухостоина. Алексей постоял несколько минут в дверях, но подойти к нему так и не решился.

Мать хлопотала с обедом, с баней.

Вечером, намытые, они втроём сидели за столом, чаёвничали. Мать расспрашивала о делах, о городской жизни, о внуке. Он отвечал. Но, в общем-то, разговаривать было не о чем. Отец самостоятельно убрался спать, что очень удивило Алексея. А мать, радостно заглянув сыну в глаза, сообщила:

— Он меня теперь не бьёт! Так, пошумит немного. Я уж и внимания не обращаю…

Алексей попросил устелить ему на веранде. Долго не спал, выходил на ночную улицу.

Мать услышала, что он никак не угомонится:

— Ты чего, Лёшенька? Попить, может, хочешь?

— Нет, ничего, сейчас лягу.

Она вышла к нему на крыльцо в тонкой ночной сорочке. Но скоро замёрзла, ночь выдалась прохладная. Алексей молча обнял её, прижал к себе. И подумал: как будто ниже ростом стала?

— Ты к деду-то подойти завтра… Не носи камня за пазухой. А то за жизнь таких камней знаешь сколь наберётся? К старости не унесёшь…

Алексей промолчал.

— Он не хотел к нам ехать. Да как совсем не смогать стал, мы и увезли его, уже лежачего. Ох, что ж это за болесть такая—рак?.. Мается человек, смотреть же нельзя!

Где-то в деревне встрепенулась спросонья собака, гавкнула пару раз и затихла.

— Врач уколы-то не набегается ставить. Дала нам свечек; пока в сознании был, дак помогало, а сейчас—не знаю, в беспамятстве, так не спросишь…

— Ты бы шла спать, мама, замёрзла совсем.

— Подойди к нему, обещаешь?

— Хорошо… Завтра…

— Ну вот и ладно…

Мать ушла. Алексей улёгся, но так до утра глаз и не сомкнул. Сморило уже на заре.

Открыл глаза, словно от толчка. Мать сидела на стуле около его раскладушки и смотрела на спящего сына.

— Красивый ты у меня. Отец-то такой же вот был, когда женились… Умер дед. На заре уж… Я тебя пошла будить. А ты лежишь такой… Так и сижу часа два… Теперь легче будет. Всем нам… Теперь всё будет хорошо, Лёшенька…

Она так и не сказала ему, что он был копией погибшего в день его рождения дядьки…

Алексей проснулся с дикой головной болью; сердце билось, словно у полёвки. Долго стоял под душем. Чуть тёплые струи воды стекали по лицу, по телу, кружили вокруг ног и бурно уносились в сточное отверстие. Вместе с ними туда же утекало и тяжкое похмелье… И очень хотелось, чтобы туда же смыло и все воспоминания. Так мучителен был сегодняшний пьяный полусон, полубред, в котором так причудливо, так неожиданно сплелись кино и действительность. В этом сне были реальная мать, реальный отец, он, маленький, а потом тридцатилетний, тоже был настоящий, и корова, и телёнок, и собачонка—животные из его детства. Всё это было на самом деле. И скандалы, и побеги из дома… и умирающий дед… Но в сегодняшнем сне они все тесно и слишком правдоподобно вплелись в сценарий «Ковалёвых».

И он знал, до кома в горле, до выворачивающего наизнанку крика знал, зачем сегодня пришли к нему умершие мать и отец. Он знал это и раньше, но как было возможно в этом себе признаться? Такое простое и такое невыносимое признание! Неужели художник должен обязательно страдать? Почему не может всё быть просто красиво, просто мило, загадочно, интересно? Но вот опять этот сон подсказывал ему то, что он не мог себе сказать: только то, что ты делаешь из самого сердца, только то, что полито твоими слезами, твоей собственной кровью, только то, что оставило рубцы на твоей душе,—только это будет истинно. Поэтому и не можешь ты до сих пор перешагнуть «Ковалёвых», не можешь прыгнуть выше них. Всё остальное, что от ума,—это всё тоже хорошо, всё высокопрофессионально, комар носа не подточит. Тебя даже наградят за это, и не раз. Но люди плачут тогда, когда ты выплакал перед ними свою душу.

Может быть, это удалось ему ещё раз, когда делал «Неаполитанское танго», когда снимал своего умирающего учителя Петра Радулова. Там уже почти не оставалось человека, на подушке лежал обтянутый серой кожей череп, и огромные глаза—как провалы в бездну. В них можно было заглянуть и всё понять о смерти… Только Неля, неутомимая, неунывающая Неля бегала, суетилась, бодрилась, варила ему какую-то курочку, какие-то бульончики… И вот так она бегала, бегала, говорила, говорила и вдруг упала на стул на террасе, упали её резвые ловкие руки, её сильные быстрые ноги, лицо упало на тонкие музыкальные пальцы, и всё вокруг наполнил стон… Потом, очень быстро, она распрямилась, откинулась на спинку стула и снова говорила, говорила. И всё метались по стенам, по её лицу тени от виноградных листьев, терзаемых ветром с моря. И Алексей снимал её бесконечный монолог, снимал, пока она снова не заплакала, пока он сам не заплакал, и не мог больше снимать, и отвёл камеру… Это был порыв, интуиция. Но именно из этого необдуманного движения камеры получилось что-то настоящее. Метались по стене тени, и ничего больше не нужно было говорить. Всем и так было видно, как мучается живая душа этой жизнелюбивой женщины, как душа его умирающего учителя трепещет на последнем дыхании. Все мы—как листья, нас унесёт осенним ветром, и через несколько лет никто не вспомнит, какими мы были…

Алексей уже знал, что «Зазеркалье» ничего не получит на нынешнем IDFA, можно было даже не ходить на закрытие. И это было справедливо.

«Да, Лёша, справедливо; впрочем, сейчас только утро, и ещё ничего неизвестно. Живи пока надеждой…»

Он привёл себя в порядок, высушил и причесал волосы, чуть поправил маникюрными ножничками бороду, надел белую рубашку, свой лучший костюм. Надо нести принятый однажды образ. Пусть все думают, что у него всё в порядке. Взглянул в мобильный—пара пропущенных звонков, одно смс:

> «Лишь вечер настаёт,
> Пылаю я сильней,
> Чем светлячок.
> Но пламени тебе, наверное, не видно,
> И оттого ты равнодушен…»

Ксения была неугомонна.

Алексей отправился в киноцентр пешком, чтобы окончательно развеять похмелье и мрачные мысли.

Этот день поздней осени в голландской столице выдался очень холодным, но ясным. Для Алексея так было даже лучше: ледяной порывистый ветер обжигал лицо, бодрил и отрезвлял. В солнечную погоду Амстердам походил на праздничную открытку—яркий, красочный, шумливый. Разноцветные, словно игрушечные, дома отражались в бесчисленных каналах, и город словно проживал сразу две жизни—на твёрдой земле и в зыбкой воде. Какие-то птички, тоненько попискивая, порхали с дерева на дерево, наглые кошки гуляли по улицам сами по себе, нетерпеливые собачки тянули за поводки хозяев… И так много разных звуков слышалось вокруг: трели велосипедов, бряканье трамваев, гудки машин, многоязычная разноголосица—сюда постоянно приезжают иностранцы, такое чувство, что их больше половины населения города. И сейчас, несмотря на холод, улицы оказались полны людей. Столько улыбчивых, приветливых, молодых лиц попадалось Алексею навстречу, что можно было подумать, будто он в городе всеобщего благоденствия.

Как хорошо было бы просто идти по Амстердаму, без цели, ни о чём не думая, проветривая измученную голову, улыбаясь женщинам, радуясь ясному прозрачному дню, солнцу, беззаботности. Но никак, никак у него не получалось расслабиться…

На фестивале этот последний день прошёл в разговорах, обсуждениях с продюсерами будущих проектов, в очередных выпиваниях, в приставаниях Ларисы, восторгах Кристины, под умным взглядом Веры и ужасной неловкости перед Владимиром Илларьевичем.

На церемонии закрытия Алексей пытался сесть подальше от них всех. Хотел собраться, сосредоточиться. Оторвался от компании, пробрался на единственное пустое местечко в шестом ряду. Сел, успокоился, насколько мог. Но тут снова булькнул мобильник.

> «Проходит время,
> А заветного свидания всё нет!
> Однако же лукавым обещаниям твоим
> Пока ещё я верю,
> Знай!»

«Достала! Она всю книжку японской классической поэзии мне перепишет?!» Алексей отключил телефон. Раздались аплодисменты. На сцену вышел ведущий, за ним президент фестиваля, члены жюри. Говорили много, долго. Слишком долго для умирающих от нетерпения участников конкурса.

Как и принято, начали с дипломов. Всего пять, и среди дипломантов фамилии Данилова не прозвучало. «Может быть, всё не так плохо, Лёха!» Мимо пролетели и специальные призы, и приз зрительских симпатий. Остальные делились на номинации: обязательно и отдельно оценивались дебюты. Маленькая немка Марта, подпрыгивая от восторга, пробежала на сцену за своей наградой; захлёбываясь, благодарила всех подряд. Серебро за лучший короткометражный досталось узкому лохматому парню. «Датчанин, кажется. Какое-то андеграундное кино он снял, про своих приятелей-музыкантов…» Красивая высокая американка получила приз за лучший фильм на тему защиты прав человека. «Про ветерана вьетнамской войны у неё картина. Любят они эту тему… Вот! Внимание! Номинация на лучший фильм от тридцати до шестидесяти минут! Спокойно, Лёха, спокойно… Так, три фильма включили в номинацию. Мартин Кравец, «Дорога на Голгофу», Израиль,—пусть, нормальное кино. Ага! Штефан со своей «Игрой в поддавки»… «Зазеркалье», Алексей Данилов. Россия! Yes! Господи, помоги. Хотя бы серебро!»

«Серебряный волк» достался Кравецу…

«Всё. Ваша не пляшет. Можно лететь домой прямо сейчас. Но самолёт завтра. Значит, надо пойти на банкетную тусовку, постараться расслабиться и получить удовольствие…»

Гран-при сорвал голландец.

«Всё правильно, смешно бы на Амстердамском фестивале и не получить главный приз. Вполне справедливо и заслуженно. Половину мирового документального кино спонсирует эта, в общем-то, невеликая и не самая богатая страна. Всё, Лёша, всё. Пошли пить…»

Глава 11

А был ли мальчик?

—…я уже не знаю, куда от тебя деваться! Я всё время чувствую себя виноватым,—фальцетом кричал в трубке Лёшин голос.—Ты всё время нападаешь на меня! Ты даже в эсэмэсках своих агрессивна. Вот в прошлый раз—у меня сидели люди! Я действительно не мог разговаривать! Но ты обиделась! Ты сказала: «Ну-у ла-а-адно-о-о!» Типа, я тебе это припомню!

—Лёша!—взывала к его разуму Ксения.—Это было не так! Совсем не так! Я очень переживала, что позвонила не вовремя! Если хочешь знать, я по нескольку дней хожу около телефона, не решаясь набрать твой номер, чтобы, не дай Бог, не помешать, не отвлечь. Ты подозреваешь меня в чём-то, что ко мне не относится! Я же вся на ладони! Я как открытая книга—бери, читай.

—Ты всё время только про себя! Ты меня не спрашиваешь: «Как дела?»

—Смешно, но именно с этой фразы начался наш сегодняшний разговор!

—Нет! Ты не так спрашиваешь. Ты просто спрашиваешь, но тебе не интересно.

—Хочешь, спрошу сейчас ещё раз?

—Спроси,—в голосе промелькнули умиротворяющие нотки.

—Лёшечка, как твои дела?

—Пока не родила!

—Зайчик мой, ну послушай себя! Что ты несёшь?

И так продолжалось уже три недели. С того момента, как раздавленный великий режиссёр вернулся из Амстердама. Человека просто подменили. На фестиваль улетал милый, весёлый, бодрый, очаровательный, целеустремлённый, просто душка Лёша. В Нидерландах его полностью «перезагрузили» и выдали обратно колючего, раздражённого, нервного, вспыхивающего, словно порох, от любого неловко сказанного в его адрес слова и беспробудно пьющего Данилова. Ксения позвонила ему вечером в день прилёта и поняла, что с человеком стряслась настоящая беда. Всё можно было понять, представить весьма мучительные терзания от пережитой неудачи, но чтобы разумный взрослый человек вдруг завалился в такую депрессию, чтобы его так корчило и ломало… Окажись Ксения на месте Алексея, пожалуй, и она выдавала бы разнообразные неожиданные кренделя, изводила бы родных-любимых кислым видом и истерическими выпадами. И видеть бы никого не хотела неделями. Нужно переболеть. Всё даже очень понятно. Но… Сейчас хотелось чем-то помочь любимому человеку, пусть даже во вред себе.

Ксения довольно трезво оценивала свой характер, осознавала все его многочисленные недостатки, но в те дни узнала от Алексея о себе много нового.

—Что ты мне звонишь каждый вечер? Что тебе от меня надо? Я уже готов телефон в окно выкинуть! Ты звонишь, и тебе не важно—хочу я разговаривать или нет! Может, я никого не хочу видеть! И слышать тоже. Может, у меня несчастье! Может, у меня кошка умерла!.. Да! Конечно! У меня на самом деле несчастье, у меня фильм не получился! А вам всем наплевать, что со мной происходит!.. Зачем ты мне звонишь в плохом настроении? Не звони мне больше никогда в плохом настроении!

—Прости, Лёша, но, по-моему, это у тебя плохое настроение…

—Да! Да! У меня плохое настроение! А с чего оно должно быть хорошим? Вы думаете, Данилову всё очень легко даётся! Такой везунчик! А у меня опять язва желудка открылась!

— Тебе надо барсучьего сала поглотать. Хочешь, достану у знакомых охотников?

Голос в трубке начинал трепетно подрагивать:
— Нет. Не надо никого убивать. Пусть живут маленькие пушистые зверушки… Я пью абсент. Знаешь, что это такое? Восемьдесят пять градусов. Он прижигает…— пауза — и пластинку заедало:— Так вот, тебе надо научиться общаться с людьми. Вот ты написала мне тогда в своём письме, что тебе нравятся взрослые мужчины. Но взрослые мужчины — они заняты, понимаешь? Они работают, у них могут быть свои дела, у них есть семья, дети. Ты же просто требуешь внимания — сейчас, сию секунду. Пишешь мне эти свои: «И долго ты меня будешь игнорировать?» Долго! Я занят, понимаешь? У меня несчастье! Я переживаю своё несчастье! Это тоже труд, это тоже работа… часть моей работы…

Ну на кого он ещё мог так бессильно орать! Она слушала его получасовые вопли, сидя с телефоном на диване, корчила в зеркало на створке шкафа рожицы, соответствующие накалу текста в телефонной трубке, которую приходилось прикрывать ладонью, чтобы неприкаянный киногений, не дай Бог, не услышал её нервических защитных смешков. Посреди тирады Лёша мог вдруг остановиться и вполне мирно сказать: «Подожди, мне нужно вымыть чашку…» И она слышала, как он кладёт на стол трубку, как встаёт, слышала шум льющейся воды, звяк чашки. Потом Лёша возвращался и спрашивал: «Ты ещё тут? Слушай дальше…» И она продолжала выслушивать совсем не лирические рассказы о своих недостатках, а также о его проблемах и мучениях. Это было одновременно смешно, жалко, беспомощно и почти не обидно. Всё, что он говорил, можно было с полной отдачей переадресовать ему. Просто поставить перед ним зеркало, и пусть вещает про эгоизм, хамство, самолюбование, неумение общаться с людьми, отсутствие такта, нетерпимость и гордыню. Если отбросить субъективную оценку и она действительно такова, как он считает, то они достойные соперники. Непонятно только, зачем и кому нужно было это соперничество. Можно было положить трубку, можно было не звонить больше никогда, но «только мелочь одна здесь важна очень сильно, ты приехать должна к окончанию фильма», как поёт Митяев. К «концу фильма» — точнее, телефонного моноспектакля,— Лёша «приезжал». Он брал долгую паузу, потом начинал тихонько похихикивать — видимо, над собой, а затем ласково и трогательно спрашивал тонким, качающимся от выпитого, как пьянчужка, голосом:
— Как ты живёшь, маленький?..

С этого момента разговор приобретал лёгкую вменяемость.
— Извини меня. Мне плохо. Очень плохо…— тоскуя и мучаясь, говорил великий режиссёр.
— Лёша, тебе надо перестать пить. Зачем ты гробишь себя? У тебя и так больной желудок. Надо взять себя в руки, заняться чем-то… новым проектом заняться… поехать куда-то…
— Не-ет,— умирающе отвечал он, и Ксения слышала тихое бульканье — это в рюмку наливалась очередная порция спиртного.— Не-ет, всё, я больше ничего не хочу… Для чего, маленький? Я теперь буду только пить и спать…
— И долго ли?
— Да. Долго… очень… Пока не пройдёт.
— Так — оно никогда не пройдёт.
— Ну и пусть…

Не сразу, но Ксения всё-таки догадалась поинтересоваться, что же такое Лёша пьёт, что за абсент такой. И её ждало неожиданное, кое-что разъясняющее открытие. Всемирная кладезь человеческих глупостей и мудростей Интернет сообщал:

«Абсент (фр. *absinthe* — полынь) — крепкий алкогольный напиток, содержащий обычно около 70% (а иногда выше, 75 или даже 85%) алкоголя. Важнейший компонент абсента — экстракт горькой полыни (лат. *Artemisia absinthium*), в эфирных маслах которой содержится большое количество туйона. Именно туйон — главный элемент, благодаря которому абсент славится своим эффектом. Другие компоненты абсента: римская полынь, анис, фенхель, аир, мята, мелисса, лакрица, дягиль и некоторые другие травы.

Эффект от употребления:

Состояние настоящего абсентного опьянения не похоже на алкогольное. Эффект от абсента может быть самый различный. Это может быть приятное спокойное расслабление, бодрость, эйфория, неожиданный и беспричинный смех. Абсент может заставить людей совершать непонятные и нелепые поступки, которые оставляют яркие воспоминания. Но поступки не всегда безобидные: некоторые люди описывают ощущения, возникшие после употребления абсента, как состояние необъяснимой агрессии. Как и в употреблении большинства алкогольных напитков, многое зависит от личности пьющего, его настроения, воспитания, морали и обстановки, в которой пьётся абсент.

Иногда при употреблении абсента возникают галлюцинации, которые обычно связывают с содержанием в нём туйона. В своей книге «Абсент» Фил Бейкер рассказывает о случаях галлюциногенного эффекта от приёма абсента, вообще не содержащего туйон, что говорит скорее о важности второстепенных факторов, таких как соблюдение ритуалов приготовления абсента, атмосфера и переносимость ингредиентов напитка организмом пьющего, чем о каких-то магических свойствах «зелёной феи».

Предполагается, что специфические психотомиметические эффекты абсента сопряжены с воздействием туйона как неспецифического

блокатора некоторых рецепторов, препятствующего деятельности тормозящих систем организма. Он не только ослабляет некоторые стороны алкогольного опьянения, но и вызывает общее возбуждение, что может в некоторых случаях способствовать галлюцинациям.

Так или иначе, сообщения о состояниях изменённой реальности всегда сопровождают абсент».

Ну что ж, кажется, Лёша вернулся к своей старинной и верной возлюбленной — Зелёной Фее. Она его понимала как никто, её изумрудными глазами он видел сейчас окружающий мир, и её ласково-коварное влияние на него не имело разумных пределов. Остальным воздыхательницам, как законным, так и незаконным, оставалось только набираться терпения и утешать себя надеждой о скором волшебном превращении Чёрного Тролля обратно в Белого Короля.

Всё это здорово. Но Ксения была живым человеком, у неё тоже имелись не слишком крепкие нервы, периодически портилось настроение и болела голова. Поэтому иногда она не выдерживала его вампирические атаки.

Как-то вечером от Алексея пришло смс: «Включи телевизор. Россию». Ксения щёлкнула пультом. Показывали документальный фильм про отца, который она уже видела. Ответила: «Спасибо!» Потом позвонила:

— Я его уже видела.

— Да? — по голосу она почувствовала, что разочарованию Алексея нет предела. — Тогда это всё не имеет значения.

Ему опять не удалось поразить её, порадовать, удивить, проявить заботу. Она всегда его обламывала!

— Но я с удовольствием посмотрела ещё раз. Хороший фильм!

— Раз ты видела, значит, всё не имеет смысла, — заладил он.

«Зануда», — показала она язык трубке.

— Вот я опять почему-то виноват перед тобой. У тебя всё время какой-то камень за пазухой. Тебе надо научиться общаться с людьми, понимаешь?

— Может быть, мне надо научиться общаться с тобой?! — сорвалась Ксения. — Почему-то это я всё время чувствую себя виноватой!

— Всё правильно! Так и должно быть! Человек чувствует себя виноватым, когда он не прав… — заело пластинку.

«О Господи! — закатила Ксения глаза перед зеркалом. — Какой интересный, какой непредсказуемый человек! Кого-то мне всё это напоминает, Лёша? Точно! Вечно пьяный деревенский философ из «Ковалёвых»! Уж не родственник ли он вам?! Недалеко уехали…»

Это был какой-то бред! Впрочем, совершенно добровольный. Брось, обидься, оставь его в покое, исчезни из его жизни — нет, тянуло; казалось, пройдёт этот жуткий период Лёшиной депрессии, и всё наладится. Потому и терпела. Любила, жалела…

— Кого?! — возмущалась Вера, и на её гладком бледном лбу складывались тонюсенькие морщинки. — Уж кто меньше всего нуждается в жалости, так это Данилов!

— Ты знаешь, это как-то завораживает, — уверяла её совершенно шарахнутая Ксения. — Вот сидит в своём кабинете пьяный, несчастный, лохматый всемирно известный режиссёр, в какой-нибудь старой, протёртой на локтях рубахе. И никто его таким не видит, не знает. Может быть, я единственный свидетель его терзаний…

— Вы оба больные! Он садист, ты — мазохистка. Идеальная парочка!

— Вера, я тебя так люблю…

— Я тебя тоже…

Когда Вера рассказала ей про неприятное представление, которое Лёша устроил в баре амстердамского киноцентра, про то, как он обидел Корнеева, она миролюбиво согласилась с ней, что это была всего лишь пьяная выходка, что он опять распускает вокруг себя мифологический туман. Но наедине с собой Ксения долго обдумывала рассказанную им страшилку. Она-то знала, что это правда, потому-то он и сказал тогда ей, что не любит свой день рождения, что прячется от людей. А она-то, дурочка, решила, что он просто кокетничает. Потому он так упорно не хочет говорить о своём детстве, о родителях… Многое встало на место в голове у Ксении после того, как она узнала эту жуткую историю, многое стало понятно в его трудном, издёрганном, непостоянном характере. Даже то, что происходило с ним сейчас, тоже отчасти оправдывалось той историей. Когда ребёнка все вокруг ненавидят и обвиняют, кто из него может вырасти? Но он как-то справился со своей бедой, стал человеком, да ещё и далеко не самым последним. Значит, Бог его ведёт, бережёт…

Она уже потихоньку начинала привыкать к постоянным и совершенно неожиданным переменам в настроении Алексея. Такой человек. Это его двуличие даже напомнило ей давний спектакль «Ревизор», который несколько лет назад шёл в их провинциальном тюзе. В той постановке образ Бобчинского-Добчинского был решён режиссёром весьма оригинально: этих двух персонажей играл один актёр, его костюм был геометрически ровно разделён на две половины — чёрную и белую. Если актёр шёл по сцене справа налево, он был в белом сюртуке, с семенящей походкой, с мягкой улыбкой, с тихим голосом, благорасположенным ко всем, — это был Бобчинский, но стоило фигуре направиться слева направо, как образ её кардинально менялся: чёрный фрак, жёсткий шаг, саркастическая ухмылка, рубленые просчитанные фразы, — это был Добчинский.

Но спектакль хотя бы имел логическое окончание. А тут был Гоголь, что называется — «во всю голову»! Всё было дано человеку — красота, ум, невероятное обаяние, несомненный талант, успех у женщин, слава, достаток, общение с такими персонами, с какими простые люди даже во сне не встретятся. Он имел семью, детей, объездил почти весь мир, мог позволить себе не ходить на какую-нибудь идиотскую службу с восьми до пяти, давно позабыл, что такое общественный транспорт в час пик. Почти небожитель! На десятерых бы хватило всех этих божьих милостей. И этот человек так себя загонял, сам себя загонял в ловушку собственных болезненных эмоций, недоверия к людям и к миру. Он смел быть несчастным! Да почему же?!

— Лёша, ну посмотри, у тебя же всё классно! Ну не получил ты приз сейчас, что ты в угол забиваешься? Прекрати пить, работай. Снимешь кино в сто раз лучше! Ты же можешь! И всё у тебя будет! И призов нахватаешь ещё…

— Призы, деньги, слава… — очень тихо и очень серьёзно проговорил в трубке его голос (надо же, неужели сегодня трезвый?). — Они ничего не меняют в моей жизни… Это всё ерунда, это всё прах… Мне нужна любовь. Очень нужна. Без неё всё не имеет смысла… — Алексей взял долгую, трудную паузу и очень спокойно, очень выдержанно добил Ксению. — Мне нужна женщина, которая простит мне всё, даже то, чего я ещё не совершил. Ты не эта женщина. Вот в чём дело. Успех, деньги… Мне нужна любовь. Только любовь.

Она понимала его. Прекрасно понимала. Только любовь и творчество раскрашивают жизнь во все цвета радуги. И вот им обоим нужно было одно и то же. И они не могли друг другу этого дать. Как будто вокруг смертельный голод, а у каждого из них в кармане по краюхе хлеба. И вот они жалуются друг другу, просят накормить, говорят, что обессилели, что умирают. И ни один не догадается просто достать из кармана эту чёрную краюху и протянуть её другому…

Она слушала его с какой-то обречённостью и думала: «Как странно, как нелепо, что ты говоришь это именно мне. Вот моя любовь. Возьми её. Дай мне свою… но вместо этого мы всё больше закрываемся друг от друга, всё больше страха между нами, всё сильнее мы запутываемся в игре, всё глубже вязнем в недоверии. Скоро уже не сможем выбраться никогда… Лёша, Лёша…»

Если бы они могли общаться на равных! Или хотя бы как очень близкие друзья, просто как два интересных друг другу человека. Если бы забыли, что один из них мужчина, а другая — женщина. Если бы оставили всю эту борьбу полов. Если бы их общение не вызывало побочного эффекта в виде физической тяги. Как бы было хорошо! Почему она с такой уверенностью говорит «мы, у нас, нам»? Это всё происходит только с ней. К нему это не относится; послушать только, что он говорит! Как она могла опять возвести этакую гору фантазий?! За себя и за него трудилась, не давая покоя голове и сердцу. Чего и удивляться, что они к тридцати годам уже не выдерживают нагрузок?!

Застряла любовь… Три счастливых дня, обещанных любимым, превратились в три злобные головы дракона, который улетел в тридевятое царство, не пообещав вернуться.

> Проходит время.
> Обещания твои — лукавы и обманны,
> Как первый снег, что поле голое укрыл.
> Над ним кружит, тоскуя,
> Птица…

«Надо что-то изменить в себе. Причём очень резко, вызывающе. Он сбил бороду, потому что у него «застрял» фильм, а я побрею голову, потому что у меня «застряла» любовь. И пусть ему это не помогло, и пусть мне это не поможет. Но хотя бы на какое-то время это заставит меня не вязаться к нему! Не смогу же я предстать перед ним с лысой, как коленка, головой. Значит, не буду искать встречи и внимания! Не буду больше ни о чём мечтать! Никогда! Нельзя же любить лысую уродину!»

Ксения устроилась в комнате перед зеркалом, которому строила рожицы во время разговоров с Лёшей. Было ощущение, что она собралась уродовать себя у него на глазах. И ножницами состригла в таз волосы по всей голове. Получилось похоже на тифозную больную: там похватано, тут торчит.

«Ну и взгляд… Наверное, такой взгляд бывает у девушек, которые собрались топиться от несчастной любви…»

Она заперлась в коммунальной ванной. Протёрла забрызганное крохотными белыми крупинками зубной пасты зеркало. «Заняла» у соседа полную ладошку пены для бритья и долго, неумело водила безопасным станком по ставшей почему-то очень маленькой черепушке. Оказалось, что под волосами, на коже головы, жили неизвестные ей четыре родинки и две бородавочки. Одну она срезала по неосторожности, и крохотный нарост разразился совершенно неостановимыми кровавыми слезами.

«Смешное самоубийство могло бы получиться. Девушка побрилась налысо, порезалась и умерла от потери крови… Зайдут в ванную, найдут меня, лежащую в луже крови, на неровном цементном полу, около стиральной машины, среди вёдер и половых тряпок. Какой бред! Как будто вены вскрыла, а не бородавку! Хорош! Вон как необычно выглядишь. Прямая дорога в скинхеды».

Сразу огромными и ещё более тёмными стали глаза, зачернели брови. Дело сделано. До нового фестиваля, за полгода, волосы успеют отрасти. Пока походит в платочке. Ей идёт. Главное — улыбаться! Всегда улыбаться!

Через три дня голова стала замшевой, и по ней очень приятно было проводить рукой. А через неделю Ксения впервые после проделанной над собой экзекуции выбралась на тусовку: в «Родине» проходил ежегодный студенческий кинофестиваль. Она решила сходить на закрытие, повязав на голову лёгкую, поблёскивающую вплетёнными в чёрную ткань золотыми ниточками косынку.

Невский сиял предновогодним убранством, вспыхивал и переливался радужными огоньками. В воздухе над проезжей частью висели люминесцентные снежинки, пульсировали цветными струями электрофонтаны, игриво подмигивали прохожим высоченные искусственные ёлки, под их холодными пластмассовыми ветвями улыбались застывшие в напряжённых позах Деды Морозы и Снегурочки. Надо же, она совсем забыла, не хотела думать, что скоро Новый год. Слишком непраздничнo всё было в её жизни и в жизни её близких.

В «Родине» Ксения сразу же нос к носу встретилась с Лиговцевым и Ольгой Феликсовной. Шеф по-отечески сопровождал на фестивале своих студентов — в позапрошлом году набрал мастерскую по режиссуре. «Кормящая мать» по его протекции обеспечивала банкеты для студенческого кинофестиваля.

— Случилось чего-то? — испуганно посмотрел Лиговцев на чёрный платок на Ксениной голове.

— Нет! Всё в порядке. Просто там, под ней… ничего нет, — улыбалась Ксения.

Шеф пощупал её голову под косынкой. Отросшие волоски кололись сквозь тонкую ткань.

— С ума сошла, — сказал он с тревогой, подразумевающей его уверенность в поставленном диагнозе.

— Это ты зачем? — спросила проницательная Ольга Феликсовна, оглядывая её с ног до головы. — И похудела вся. Ну-ка повернись… брюки пора ушивать. Хорошо, конечно, но всё это не просто так!

— Да всё отлично! — пожала Ксения плечами. — Надо же хоть иногда менять имидж. Новый год — новый образ.

— Ладно, — махнула рукой Ольга Феликсовна, поняв, что своенравная девица не собирается открывать карты. — Приходи после показа наверх. Банкет в ресторане Дома кино. Поешь хоть…

Ксения пробралась известным ей ходом на балкон огромного кинозала «Родины», облокотилась на широкие перила и смотрела не столько на экран, сколько на головы сидящих внизу будущих режиссёров, операторов, сценаристов, актёров, продюсеров. Юные и выпукло честолюбивые студенты кинематографических вузов немного пугали и напрягали её. Всё-таки очень отличается киношный люд от писательского. Она прекрасно помнила контингент Литературного института, который окончила несколько лет назад, и могла сравнивать. Начинающие прозаики, драматурги и поэты, особенно последние, ходили по этажам института как тени, погружённые в свой собственный, не всегда здоровый мир, с блуждающими очами, иногда с бормотанием, вечно голодные, небрежно одетые. Они могли вдруг остановить однокашника на бегу странным, не относящимся к ситуации вопросом. Любили вдруг процитировать какого-нибудь классика, а рядом — себя. Много и неразборчиво пили, водили в общежитие московских писателей, подцепленных в ЦДЛ, — кто просто для компании, а кто и для прочих утех. Могли шептать или кричать в угарном дыму о своей гениальности, читать стихи, могли подраться, пройти голыми по коридору, могли валяться в невменяемом состоянии у лифта, могли переломать мебель в комнате и даже выброситься в окно. Но всё это было как-то скромно, как-то в пределах своего биополя, в каком-то коконе. Писатель — обречённо одинокое существо. Ему не нужен никто и почти ничто для служения искусству. Бумага и карандаш. Компьютер — это тоже роскошь, вовсе не обязательная в писательском быту. Что бы ни происходило, если попёрло, если пришла пора рожать, родишь хоть в поле, хоть в лесу, как бедный, сошедший к концу жизни с ума Гаршин: он работал железнодорожным смотрителем и в промежутках писал свои рассказы на коленях, сидя неподалёку от железнодорожного полотна на берёзовом пенёчке. Писатель написал, спрятал в стол — потомки решат, плохо это или хорошо, главное — опростался, освободился, главное — произведение живёт, дышит. Поэтому писатели по природе своей аутичны, они отшельники, катакомбные монахи. За исключением сильно признанных, которые вынуждены нести не всегда лёгкое и приятное бремя общественности.

Творческие роды кинематографиста зависят от всего: от хорошего или плохого сценария, от продюсерских капризов и нерезинового бюджета картины, от старого или нового оборудования, от выкрутасов актрисы и медлительности оператора, от трезвости осветителя и честности директора. Потом они зависят от героя фильма, от редактора, от зрителей, от фестивального жюри. Кинематографист — персона медийная, он всегда на виду, он всегда среди многих и многих людей, он обязательно должен предъявить миру то, что сделал, чтобы оправдать потраченные средства. Поэтому главнейшим качеством кинорежиссёра является даже не его одарённость, орлиная острота взгляда, умение управлять процессом, а нечеловеческая выносливость, упрямство и полная, непоколебимая уверенность в том, что он в данный момент снимает именно то, что только и надо снимать. И никакие «препоны и рогатки» не способны сдвинуть его с намеченного пути. «Как я сказал — так и будет!» — вот внутренний девиз каждого режиссёра. Иначе — не будет ничего.

Поэтому студенты кинематографических вузов и кинодеятели вообще в основном чем-то похожи: они напористы, темпераментны, горделивы, эгоистичны, подвижны, резки, нетерпеливы, разговаривают чаще по делу, легко и незаметно для окружающих вовлекают их в свои прожекты, тяжело переживают неудачи, иногда даже неприкрыто завидуют сотоварищам. Но всё это, конечно, и общечеловеческие качества, только на кинофестивалях они почему-то выпирают особенно. По крайне мере, ей, как координатору одного из них, так виделось.

Ксения посмотрела программу призёров, отметив в голове пару фильмов, которые достойно выглядели бы в будущем конкурсе дебютов на их фестивале. Спустилась с балкона, нашла Лиговцева, обсудила с ним эту идею—шеф согласился и предложил взять ещё пять работ. Заспорили, слегка поссорились—рабочий процесс пошёл!—и отправились на банкет.

Густой и громкий рой студенческого бомонда уже облепил длинный аппетитный стол. Чуть в стороне от него могучей кучкой угощались мэтры—руководители питерского киноинститута и организаторы фестиваля. Лиговцев сразу слился с ними, а Ксения набрала в тарелку закусок и подсела к столику, уставленному бокалами с шампанским. Большая часть из них уже была осушена, оставшиеся слабо струились микроскопическими пузырьками. Из шумного голодного сборища молодых кинематографистов Ксения почти никого не знала и чувствовала себя на чужом празднике не очень уютно. Поэтому, чтобы расслабиться, выпила один бокал шампанского, превратившегося уже в полусладкое винцо, другой, третий. Поймала на себе внимательный взгляд Ольги Феликсовны. Выпила четвёртый и пятый, усугубила своё состояние выкуренной сигаретой. Народ постепенно рассеивался. Ольга Феликсовна, зорко оглядывая разорённый стол, прошлась по светлому банкетному залу, подсела к Ксении и, скрывая любопытство, слегка язвительно произнесла:

— Когда у женщины не остаётся других радостей, кроме еды, она начинает набирать вес. Какие это печали ты пытаешься заесть и запить таким количеством шампанского?

— Но я же не толстею. Во всяком случае, пока…— ответила ей в тон захмелевшая Ксения.—Как-то даже совсем наоборот.

— Не увлекайся, не заметишь, как опять наберёшь. Сколько я ни пыталась худеть—всё возвращается… Ах, надо сказать на кухне, чтобы собрали остатки. Пусть заберут в институт. Будут завтра похмеляться, съедят…

И она отправилась по своим делам, колыхая широкими бёдрами.

— Приятного аппетита…— буркнула ей вслед Ксения, быстро вылила в себя седьмой бокал и вышла из ресторана.

Чужой фестиваль, чужой праздник не принёс ей никакого удовлетворения и утешения.

Ну зачем она так напилась, зачем снова набрала давно выученный наизусть номер?! Захотелось человеческого тепла, понимания, нежности, любви, наконец! В этот тёмный, пустой, одинокий вечер. В этой маленькой, узкой комнатушке. Под этот монотонный бряк терзаемого ветром карниза.

— Привет, Лёша… Как у тебя дела?

— Это опять ты! Ты ничего не хочешь понимать! Я думал, ты умный, тонкий человек. Нет! Ты не тонкий человек! Ты тогда сказала одну только фразу, и мне всё стало с тобой ясно! Ты тогда мне рассказывала про того твоего милиционера… Я понял, как ему было с тобой тяжело! Так же, как и мне с тобой тяжело. По одной твоей фразе понял! Ты сказала: «Труба рулю!» Боже! И ты любила этого человека! И ты так про него говоришь!

— Да ты же ничего не понял!—отчаянно закричала в трубку Ксения. Лицо вспыхнуло, словно ей дали пощёчину.—Мне так трудно про него говорить! Я от стеснения, от неловкости…

— Не-ет! Я всё понял! «Труба рулю!»

— Ну конечно! Главное ведь—выводы сделать: дура, и всё! А ты выслушал мою историю? Прошёл её со мной от начала до конца? Переболел? Умер вместе со мной и воскрес?! Не-ет, главное ведь—сделать вывод! Не важно, что с человеком происходит, почему он так поступил. Может, он боится чего-то смертельно! Зачем?! Зачем напрягаться?! Вникать! Куда проще сделать вывод и забыть! А то ведь надо душевные силы подключать, стараться понять, простить… полюбить, может, даже! Вот ещё! И все сейчас так. Никогда ещё на земле не было такой душевной лени!

— А ты не сваливай на всех! Ты с себя начни!

— Хватит на меня орать,—чеканя каждое слово, прервала его Ксения,—ты всё время на меня орешь! Всегда! Always!

— Ты учишь английский, маленький?—не уловив её ярости, медово спросил Данилов.

— Учу!—рявкнула она и бросила трубку. Считая, что навсегда…

Глава 12

Ворота в иной мир

Отчим умер на Рождество. Ксения ехала на вокзал и молила Бога, чтобы в эти праздничные дни в кассе нашёлся для неё билет. И он нашёлся.

В холодном плацкартном вагоне она сразу забралась на свою верхнюю полку и отвернулась лицом к перегородке. Не для того чтобы спать, а для того чтобы о многом подумать. Но среди прочих приготовленных ей в те дни судьбой испытаний было и испытание соседством.

В вагон набилось полно разновозрастных ребятишек. То ли на соревнования они приезжали в Питер, то ли на экскурсию. И теперь направлялись обратно… Были при них и сопровождающие — два мужика, которые к вечеру насосались пива и напрочь позабыли следить за подопечными. Мальчишки шумели, бегали по вагону, много и часто курили в тамбуре. На боковушке, примыкающей к купе, где на второй полке устроилась Ксения, ехали два пацана из этой группы: один — крепкий, темноволосый, шустрый, лет одиннадцати; другой — тонкий, длинный, прозрачный, вокруг глаз тёмные круги, слабые руки, тощие кривые ноги, лет на семь он выглядел. И вот они весь вечер ели эти мерзкие чипсы, эти жуткие сухарики и запивали их кока-колой из двухлитровой бутылки, прямо из горла. Ещё всё смеялись, когда лезла из горлышка пена…

А на соседних плацкартных полках, совсем рядом с сумрачной, напряжённой до состояния лучной тетивы Ксенией, ехал ещё и незадачливый уральский папаша с двумя великовозрастными кобылицами. Девицам, как поняла Ксения, было шестнадцать и четырнадцать лет, но, хорошо кормленные, телесно развитые, попастые и грудастые, они выглядели двадцатилетними налитыми молодками. И вот эти молодки с четырёх часов дня — с момента отправления поезда — и до одиннадцати часов вечера, когда Ксения не выдержала и наорала на них, не переставая скакали с нижней полки на гнущуюся под их тяжестью верхнюю и обратно, звонили новыми мобильничками, самозабвенно ржали, общались исключительно на повышенных тонах, без стеснения называя одна другую «гадиной», «козой» и «проституткой». Такие же «любящие» сёстры жили и в Ксениной коммуналке. И она надеялась хотя бы в поезде не слышать их родственных разборок. Не удалось. Сидящий на нижней полке папаша всё время что-то жевал, пил пиво, сморкался, шелестел газетами и даже не пытался угомонить дочерей. Он просто их не замечал. Видимо, он и по жизни не очень-то занимался их воспитанием, ограничившись физиологической причастностью к их существованию. Видимо, ему доверили дочерей на время каникул и только ввиду поездки к родственникам в Питер. Папаша добил Ксению окончательно, когда, ничтоже сумняшеся, при ней, спустившейся попить чаю, при своих ржущих кобылицах, при мальчишках снял брюки, оставшись в растянутых застиранных плавках. Ксению едва не стошнило от увиденного, она поспешно отвела в сторону глаза. Мужик неторопливо надел треники и завалился спать, а девки продолжали скакать по полкам, по нему, сопящему и храпящему.

Ксения заставляла себя не обращать на них внимания, но внутри всё вскипало и вскипало негодование, пока пар со свистом не вырвался наружу:

— Хватит скакать и орать! Вы где находитесь? Дома на диване или в общественном месте?! Должно же быть какое-то уважение к окружающим! Люди едут кто куда, у каждого своя дорога и свои причины! И может быть, кому-то совсем не до веселья! У меня, например, похороны…

И, как всегда, после волны праведного гнева к ней пришёл стыд — за то, что сорвалась, за то, что надо больше всех… Но папаша проснулся на мгновенье и шикнул на девок. В вагоне погас свет, и они угомонились, уснули. А Ксения так и не сомкнула глаз, лежала, слушала перестук колёс, думала о жизни и периодически ловила старшую девицу, устроившуюся наверху. Та развалилась всей своей богатой плотью на узкой плацкартной полке. Матрас под ней съехал вбок, одеяло наполовину свесилось. И сама она при поворотах, при торможении нависала сдобным телом над провалом между полками, и тогда Ксения осторожно подталкивала её колено, плечо обратно. Девица сонно вздыхала, подбиралась, переворачивалась на безопасный бок…

Ксении хотелось плакать от всего происходящего, от ждущей дома беды, но слёз не было. Что происходит с нами? Что происходит с людьми? Почему мы не видим, не слышим никого вокруг? Заткнули уши плеерами, а души ватой равнодушия…

Глубокой ночью поезд остановился в родном северном городе. Ксения выглянула в окно: знакомый светло-зелёный вокзал улыбнулся ей огнями окон и фонарей. Она проезжает мимо. Уже который раз путь её не заканчивается в этой точке России… Решила воспользоваться стоянкой и выпить взятый в дорогу сок, слезать не стала, ловко дотянулась до сумки, стоящей на третьей полке, вынула бутылочку, открыла и замерла испуганно — в темноте что-то лилось на пол вагона: неужели лопнула хлипкая посудинка? Быстро спрыгнула вниз, всмотрелась и поняла, что стряслось. Хилого мальчишку с нижней боковушки безудержно рвало в проход. На полу уже образовалась лужа, а его всё выворачивало и выворачивало. Не понимая со сна, что с ним происходит, он дрожал, смотрел мутными испуганными глазами. А вагон крепко-крепко спал, храпел на разные голоса. Глухая ночь. Четыре тридцать утра. Первой реакцией Ксении было отвращение, и она сердито спросила мальчишку:

— Ты с кем едешь?

— Там, Сергей Иванович… — еле выдохнул пацан.

— А наверху кто? — спросила она, кивнув на спящего крепкого парня.

— Брат…

— Это потому что вы всю дорогу чипсы ели, да ещё этой отравой запивали. Разве можно? — журила его Ксения, уже понимая, что разруливать ситуацию всё равно придётся ей.

— Да…— шептал мальчишка, и голова его обессиленно валилась набок.— Мне нельзя. У меня желудок… и печень…

Ксения перешагнула лужу на полу и быстро дошла до проводницы. Та стояла в холодном заиндевелом тамбуре, ожидая отправления поезда.
— Там мальчика вырвало. Убрать бы надо…
— Вашего ребёнка вырвало — вы и убирайте!— огрызнулась проводница.
— Это не мой ребёнок,— отрубила Ксения.— Разберитесь…

И ушла, разозлённая, в нерабочий тамбур — охладиться после неприятностей и переждать, пока в её купе приберутся. Она вернулась на место минут через двадцать, когда поезд уже отъехал далеко от города, и увидела, как несчастный мальчишка, в темноте, в полуобмороке, размазывает по проходу крохотной, похожей на носовой платок тряпочкой свою рвоту. Он делал это с обречённостью и покорностью раба, почему-то очень осторожно окуная руки в ведро с водой. Воды было мало, Ксения не сразу поняла, почему он боится прополоскать тряпочку, но потом прикоснулась к жестяной бадье, и волосы встали у неё дыбом на голове. В ведре был живой кипяток… И он окунал в него свои тонкие прозрачные пальцы и размазывал, размазывал. Хотелось взять это ведро, пойти и вылить кипяток на голову проводнице. Но это ничего бы не изменило.
— Пойдём,— взяла она ведро и понесла его в туалет.

Мальчишка покорно поплёлся за ней.

В туалете она разбавила воду холодянкой, отыскала за батареей тряпку побольше и стала учить пацана:
— Прополощи тряпочку как следует. А вообще, если вырвало, то водой не вымыть. Надо сначала бумагой, газетой убрать, вытереть, а потом уже влажной тряпкой протереть.

Пацан внимательно слушал, посматривая на неё своими глазищами в тёмных кругах, и сосредоточенно полоскал тряпку.
— На, забери рулон бумаги, расстели её там по полу… мало только… иди пока, я сейчас у проводницы газет спрошу.

И она снова пошла к проводнице, чтобы услышать, что газет у неё нет. Сорвалась, высказала сволочной бабе всё, что думает, в запале пошла в соседний вагон, просила у других проводников какой-нибудь бумаги. Кажется, они приняли её за сумасшедшую, но газет дали.

Вместе с мальчишкой они расстелили их по проходу, дружно сходили вымыть руки и легли досыпать.

Когда Ксения утром выходила на своей станции, размичканные газеты лежали в проходе. Проводница так и не удосужилась прибрать, да хотя бы взглянуть на место происшествия. Мальчишка спал, его бледно-зелёное худое лицо утонуло в большой подушке…

Что с нами происходит? Мужчине зажало дверями автобуса руки, и машина поехала, а он бежал по улице следом и кричал, и все молчали и смотрели с тупым любопытством: долго ли продержится… Двухлетнего мальчика в толчее оттеснили от молодой матери, запинали под троллейбус. Женщина кричала, пыталась вытащить ребёнка, но крутолобые мужики пёрли в салон, чтобы поскорее занять место. Выхватила в последний момент, из-под колёс… В поезде мужчине стало плохо с сердцем, он вдруг охнул, завалился на бок, а соседки по купе, которых он только что угощал чаем и кофе, внимательно смотрели, как он падает, и ждали развязки…Так овцы стоят в стороне и смотрят на доедаемую волками подругу — даже не переставая пережёвывать жвачку… Не нас, и ладно.

Она не могла. Она даже уговаривала себя иногда: «Молчи! Не суйся! Разберутся без тебя! Опять будешь выглядеть дурой, выскочкой…» Но не могла, кричала водителю автобуса, чтобы остановился, помогала расталкивать рвущееся в троллейбус стадо, подхватывала падающего мужчину, бежала к проводнице… потому что вот ещё секунда, и всё станет непоправимо. Это же только миг — он ещё есть в руках, ещё жизнь пульсирует, а через секунду её может не стать. И все будут стоять, смотреть, качать головами, *переживать*, как они переживают свои собственные отрезки существования… А она думала: кто, если не я?

Нет, не святая, конечно, Боже упаси возомнить. Это всё с чужими людьми. С чужими легко быть добрым, самоотверженным.

«Злые люди сентиментальны»,— грустно пошутила как-то её давняя подруга. Неужели она злой человек? Почему же так часто не хватает её отзывчивости, её ума и сердца, чтобы жить в мире с близкими и любимыми?

Сейчас они укладывали с матерью и пожилым соседом длинное, высохшее, костистое тело отчима в гроб, и она с ужасом думала, что гроб слишком короткий, узкий, что закоченевшее тело не поместится в него. И слёзы текли, текли по её лицу, потому что жизнь у человека, который жил в этом теле, была очень трудной, в чём-то неправильной, потому что отношения между ними были сложные, потому что ничего-ничего нельзя было уже прожить заново. Отчим был первым покойником в её жизни, к которому она прикоснулась. Были, конечно, и раньше похороны: хоронили знакомых, дальних родственников. Но это было в городах, где всем занимаются специальные ритуальные службы. В деревне всё было слишком по-земному, слишком подробно, слишком физиологично — и жизнь, и смерть. Пока Ксения ехала, то думала, что легко возьмёт на себя заботы о поминках, что постарается освободить мать от

всевозможных мелочей, но ни за что не сможет помочь обиходить покойника. А приехав, переступив порог нетопленого летнего домика, увидев лежащего на столе, уже обмытого и одетого отчима, вдруг поняла, что ей всё-таки придётся к нему прикоснуться.

— Я не смогу! — вскрикнула она на просьбу матери.

— Больше некому… — ответила мать.

И они, пригласив соседа, втроём подняли холодное тяжёлое тело и долго и неумело укладывали его в гроб, и она кричала сквозь слёзы:

— Руки! Посмотри, как они высоко! Крышка не закроется!

Она просто не понимала в тот момент, что крышка не плоская, всё-таки гроб не кастрюля, что всё делалось по размеру.

Может быть, может быть, то, что она смогла переломить себя, побороть свой страх, это хоть чуть-чуть примирило их после его смерти, оплатило какой-то долг… И зачем только она всё последнее время носила чёрную косынку? Будто торопила его смерть, смерть, которая словно бы открыла ворота в иной мир. И одна за другой пошли в эти ворота души родных, близких, любимых людей. Через полтора месяца после смерти отчима в Питере умрёт от сердечного приступа мамин брат. Утром он сходит в магазин, напечёт блинов, а вечером, лёжа, смотря телевизор, вдруг захрипит, и через минуту его не станет… Мать, не проронившая на похоронах мужа ни слезинки, вдруг зарыдает страшно, с подвывом, прижавшись всем телом, лицом к шершавой серой стене крематория. А дед, когда гроб с остывшим телом ещё недавно живого родного существа медленно станет опускаться вниз, как в преисподнюю, вдруг выкрикнет тонюсеньким старческим голосом: «Прощай, сын!» Весной не станет дедовой родной сестры, она, самая старшая из всей семьи, из всех шести детей, давно слепая, долго звала смерть, а уходили всё молодые, дети уходили. И сам дед умрёт тоже весной, через четыре года, и перед смертью всё будет сокрушаться, что лежит, что надо работать, земля ждёт его трудолюбивых рук… Через год после отчима, в январе же, тяжело и непримиренно умрёт от рака близкая мамина подруга, фактически вторая Ксенина мать. Они вместе воспитывали её с самого рождения. И всё смеялись в ответ на неумный вопрос окружающих: «А где у девочки папа?» — «Папы нет, зато две мамы!» Давно уже никто вместе не смеялся, отношения качались, рвались, расползались, трещали по швам. К концу они примут самый драматический вид. Всё, что тридцать лет казалось незыблемым, исчезнет, испарится в один день, как только человека засыплют землёй. Облегчённо задвинув подальше Ксению с матерью, кровные родственники погрязнут в дележке имущества. Тридцать лет люди улыбались друг другу, дарили подарки, хлоп — и всё лопнет, как мыльный пузырь. Будто и не было целой жизни…

«Это похоже на круги по воде, только в обратную сторону, внутрь. Вот они сходятся, сходятся, исчезают, очень медленно, — один, другой, третий. Это уходят сначала просто знакомые, потом дальние родственники, потом троюродные, двоюродные, бабушки, дедушки, потом отец, мать, и однажды, однажды подойдёт твоя очередь…» Так сказал когда-то Ксении любимый человек, тот самый, глаза которого светились при виде её, тот самый, расставшись с которым, она едва-едва не умерла, на расстоянии ногтя мизинца, половины этого ногтя была от смерти. Выжила. Видимо, до неё круги на воде судьбы ещё не дошли. А давно ставший чужим, но всё-таки дорогой человек продолжит череду смертей и через несколько лет тоже уйдёт в открывшиеся ворота. Он покинет этот мир в начале января, как и все её самые близкие люди, окончательно утвердив своё так и не признанное кармическое родство датой смерти.

Но все эти уходы были впереди. И счастлив человек тем, что Всевышний оберегает его от знания будущего.

В просторном, уже натопленном летнем домике, который отчим так и не успел достроить, собрались на поминки простые земные люди — работяги, крестьяне. Приковыляли две деревенские старухи и сосед, помогавший справлять скорбные дела. Пришли из ближнего села несколько мужиков, уважавших покойника. Приехали на машине из райцентра родственники. Поминали ушедшего человека добрым словом, зажато выпивали, стеснительно закусывали, потихоньку, согласно говорили о том, в каком красивом сухом месте будет он лежать, под светлыми соснами, в песочке. Хорошее кладбище, тихое, не тесное — кивали головами старухи, а сами, внутри себя, наверное, неторопко думали о том, что скоро и им придётся перебираться под сосенки… Они, едва пригубив водки, сжевав по кружку колбасы, раскланявшись, парочкой первые побрели по своим одиноким избушкам. Одну дома ждала кошка, другую — старая коза. В сумерках уехали обратно в райцентр родственники, осталась только погостить пару дней мамина старая тётушка. Телефонными звонками вызвали домой своих засидевшихся мужиков беспокойные жёны. И в домике, за длинным столом, на котором так и стояла почти нетронутой поминальная еда, остались усталая вдова, печальная тётушка, задумчивая Ксения и единственный задержавшийся дольше всех мужик — Василий.

— Вы не прогоняйте меня, — говорил он тихо и вполне разумно, хотя выпито было немало, — не хочу домой идти. Поговорить хочу, всё вот тут болит, разрывает… — показывал он на грудь под клетчатой рубашкой.

Бывший когда-то рыжим кудрявым бодрым молодцем, к своим пятидесяти он почти облысел, ссутулился, в светло-голубых глазах его застыл какой-то немой недоумённый вопрос. Василий крутил в корявых, изуродованных земляной работой руках свою вылезшую кроличью шапку. Он уже раз пять, пытаясь соблюдать вежливость, собирался уходить, надевал свой утеплённый армейский бушлат, шапку, но снова садился на табуретку около стола, раздевался и говорил, говорил. Теперь уж и раздеться забыл. И выпить не стремился, его ополовиненная стопка так и стояла на столе. Он иногда смотрел на неё, нет, даже сквозь неё, наверное, видя через замутнённую прозрачность гранёного стекла свои обретшие вдруг образные очертания мысли. Пару лет назад Василия избрали председателем местного колхоза, точнее—какого-то там ООО... Да как угодно назови, никакие аббревиатуры, переписанные наново уставы не способны были изменить ситуацию, остановить бешено летящее в тартарары сельское хозяйство. А ему, мужику душевному, ответственному, упорному, казалось, ещё два года назад казалось: можно, можно всё исправить, встать с колен, только надо работать, много и сильно работать... И он работал, и бился рыбой об лёд, и стучался в закрытые двери, и обивал пороги, и вопил в пустыне, и тормошил спящий, пьющий деревенский народ. Он думал, ему помогут, за ним пойдут, а на деле...

—...ещё одну корову вчера на бойню отвёз. Думали, у неё двойня, мучилась всё, никак не могла разродиться. Ну и решили, что всё равно помрёт, так лучше пусть телята останутся. А её на мясо. Прокесарили, а там у неё телёнок с двумя головами, урод! Главное, у одного... одна морда нормальная, уши там, рот, глаза, а у второй вместо челюсти—как сгусток какой-то кровавый. В жизни такого не видал... Можно, я тут покурю?—спросил Василий, доставая из кармана бушлата мятую пачку дешёвых папирос.—Больше пятнадцати лет ведь не курил. То есть я курить-то рано начал, как пошёл, так и закурил!—улыбнулся.—А в тридцать пять думаю: всё, хватит,—и бросил. Главное, легко бросил...

—Зачем же опять-то закурил?—с тихой укоризной спросила мать.

—А как стресс-то ещё снимать?—ответил Василий.—Я ведь к выпивке-то не особо. Не умею это дело... Главное, такие телята крепкие рождаются! Коровы тощие, еле на ногах стоят, а рожают хороших телят! Потом, когда выносим, так два мужика еле тащат...

—Куда выносите?—переспросила Ксения, оставив в покое грязную посуду, которую начала было прибирать.

—Дак куда—дохнут, дак...уносим из телятника. Они пока под мамкой, пока молоко сосут—хорошие такие стоят. Ну, смотришь, окреп телёнок, отсаживаешь от матки, переводишь в телятник. А он там—кирдык через неделю...

—Просто так не может хороший телёнок пропасть,—недоверчиво перебила его тётушка,—рано отсаживаете, или болесть какая-то имеется.

—Как же рано-то?—спокойно возразил председатель, выпуская из ноздрей едкий сизый дым.—Нормально отсаживаем. Я одного возил в ветеринарку, на экспертизу. Поставили «вяломышечность». Я не больно понимаю, чего это, ну, у них сердце как тряпочка, вялое сердце, как оно работать-то будет? Вот и мрут... Прошлой зимой одиннадцать телят потеряли из-за этого. Я так своим крестьянским умом понимаю, это у них недоразвитие из-за плохого питания материнского. Коровы, пока тяжёлые ходят, чего едят-то? Грубый корм, клетчатку, там ни витамина, ни каротина, солома да комбикорма. А комбикорм какой закупаем? Самый дешёвый. Денег-то нет! А что в этот комбикорм намешано, если у коров вся печень сожжена? Они у нас падают от недокормицы, пичкаешь всем, что под руку попало... Эх, были бы деньги, разве бы так скот кормили? Нынче вот опять неурожай. Трава—и та не наросла из-за засухи. Всё зерно, сколько намолотили, за ноябрь-декабрь скотине и скормили! Вот ещё только-только год начался, а мы уже побираемся. Уже скот режем. А и мяса-то на коровах нет! Нормальная корова должна весить сто восемьдесят, двести, двести двадцать килограммов. А я вчера—просто повезло, по случаю,—продал двух коров. Мужик подвернулся из мясоперерабатывающего цеха. Так это повезло! Доставили коров, а он: «Ты чего мне дров привёз?!» Худые, как из концлагеря. Две коровы еле-еле двести пятнадцать килограмм вытянули. Одна сто шестнадцать, а другая...—Василий махнул рукой и замял пальцами давно потухший окурок; перегоревший табак пылью посыпался ему на брюки, но он не замечал, всё смотрел куда-то в себя, в свою тоску.—Вот они, стельные, валятся, а им ведь ещё рожать!.. Конечно, если корова падает, мы её пытаемся поднимать усиленной кормёжкой, лечим там, уколы, прививки, это всё, конечно, есть. Если за неделю не встанет—на бойню. А мясо-то плохое, пахнет лекарствами... кому оно надо? Да и незаконно это. Не имеем мы права скот продавать...

—Это ещё почему?—удивились одновременно растревоженные тяжкой исповедью председателя Ксения и её мать.

—С налоговой сразу проблемы возникают. Вот стоит сто пятьдесят коров; мы уже семь на бойню угнали, а их всё сто пятьдесят... потому что коров заменяем нетелью. Чтобы поголовье поддержать. Иначе сразу налоговая: плати, получил доход—плати налог. Если реализовываешь—не имеет значения что: мясо, овощи, технику,—пиши заявку, что, по какой цене, и они отщипывают.

Имущество-то давно всё арестованное, всё в долгах. Прокурорская проверка вот приезжала: почему не платим заработную плату? А чем её платить? Вот продали молоко, купили солярки. За литр солярки надо фактически отдать три литра молока. А доход, если можно оставшиеся гроши доходом назвать, весь уходит на закупку этих поганых кормов! Поэтому налоги платить не с чего. А не платишь—арестовывают имущество! Замкнутый круг! А где деньги взять? Это никого не интересует. Бери «фомку». Иди грабь банк…—Василий резко повёл в воздухе рукой, будто отмахнулся от своих мыслей.—За электроэнергию нас теперь приучили день в день, копеечка в копеечку платить. Потому что если не заплатишь—на следующий же день приезжает бригада молодцев, отключают ферму, правление опечатывают. Заплатите—будете со светом. Вот и бегаешь: тут займёшь, этому отдашь, у того перехватишь, с тем рассчитаешься, и так всю жизнь с протянутой рукой.

— Так, может, бросить?! Уйти?! Пожить для себя,—заговорила мать.—Зачем же ты на второй срок согласился?

Василий усмехнулся, взгляд его на мгновение посветлел.

— Ты понимаешь, это же своего рода наркотик. Два года жизни отдал, ведь жалко. Пластаешься, пластаешься… Вот первый год, когда я председательствовал, так дружно за дело взялись, артелью, в посевную ни одного пьяного в тракторе не было, так же и сенокос. В тот год травы хорошие наросли! Заготовили кормов достаточно—и сено, и силос, так и коровы стояли, и молоко было. Так и настроение у людей совершенно было другое! И у меня, соответственно. И работать дальше хотелось. А год на год не приходится. Вот нынче. Сначала июнь всё захолодил, засушил, а в июле резкая жара, и всё сгорело. Специалисты сразу разбежались: агроном уволился, зоотехник на всё лето в отпуск ушла. Люди за своё хозяйство схватились, своей скотине заготавливать бросились. А общее—гори синим пламенем. Вот тут на годовом собрании, когда меня переизбирали, один больно сильно выступал. А сам ни дня не работал! Народ взвинченный, спичку брось—взорвётся. Вот он и завёл всех. И получил я по голове от своих же односельчан. И перевес у меня был всего в четыре голоса. Девятнадцать против двадцати трёх…— Он помолчал, вздохнул, повертел в руке недопитую стопку и снова заговорил:—Трещат на каждом углу: будем сельское хозяйство поднимать! Родное государство. Мать его… Дают субсидии, как божью милость, а у самих уже всё наперёд просчитано: сколько мы должны за это молока, мяса, овощей, сколько налогов отстегнём… А засуху, неурожай—это они не считают, не прогнозируют… Тут весной областная администрация инициативу такую затеяла. Найти инвестора. Привезли к нам какого-то голландца. Девушка при нём, переводчица, в сапожках светленьких, на каблучках приехала! Да в самую-то грязь, в самую-то распутицу я и повёл их по полям. А поля-то наши—сами знаете: камень на камне, особенно весной, как родятся из земли, кузовами вывозим! А они всё прут каждый год. Пахать—беда одна, только лемеха на плугах летят, устанешь покупать.—Василий снова отчаянно махнул рукой.—Так вот, этот голландец бодрый такой был сначала. Говорит, на вашей песчаной почве хорошо корнеплоды родятся: морковь, свёкла, брюква… а как на поле-то вышел, как увяз да как россыпи эти драгоценные узрел, так за голову схватился: «Как у вас вообще что-то на этих камнях растёт?!» Всё охал, ахал да и сбежал. И ни слуху ни духу. Так что никто в нашу нищую землю вкладываться не хочет. Мы только жизнь свою да пот зарываем… Бросить всё… А куда я уйду, в пятьдесят-то? Свой бизнес организовывать? Все эти пилорамы через год-два лопнут. Это тоже всё ненадёжно… На трактор снова? Всей технике по двадцать-двадцать пять лет, комбайны, поди, ещё при Брежневе покупали! Один грузовик на весь колхоз, что называется—и в пир, и в мир. Сначала на нём навоз на поля вывезем, потом помоем и в него же зерно сыплем, потом он дрова везёт, коров на бойню. Сегодня вот и батьку вашего на погост свезли… Ладно. Простите меня. Это телёнок меня вчера… как-то вот подорвал. Нечасто такое увидишь. Да сегодня ещё и похороны. Живёшь, живёшь, бьёшься, бьёшься, будто птица в клетке. А потом отнесут под сосенки. И зачем жил? Не знаю…— Василий поднялся.—Простите. Держитесь… Если дров там надо или чего, не стесняйся, Тоня, обращайся, худо тебе теперь будет без хозяина… Пойду,—он нахлобучил перемятую шапку на голову,—а то там моя, наверно, уж рвёт и мечет…

Он вышел на крыльцо, по крестьянской привычке плотно закрыв за собой дверь, жадно закурил и ходко пошагал домой. В незанавешенное окно было видно его одинокую тёмную фигуру, удаляющуюся по освещённой морозным лунным светом дороге. Высоченные ели, склонившие свои тяжёлые лапы под снежной одеждой, молча и недвижимо сторожили январскую ночь. Небо отмерило этим деревьям век куда длиннее человеческого, а потому им не нужно было торопиться жить. Это люди внизу всё суетились, всё бежали куда-то, всё спорили, всё делили чего-то, всегда спешили и никогда ничего не успевали. Столетние ели с ленивой усмешкой наблюдали за ними; они слишком хорошо знали, что можно стать мудрыми, даже никуда не двигаясь с места…

Алексей открыл глаза и сразу почувствовал: что-то вокруг изменилось. Нет, не внешне. Комната всё та же, и большой рабочий стол, и спящий

компьютер на нём, и книжный стеллаж вдоль стены, и диван под боком, и старое потёртое кресло перед телевизором, и старинная люстра под высоким потолком, и тяжёлые тёмные гардины на окнах — всё было привычное, знакомое до мельчайших, давно не замечаемых подробностей. Но стал другим воздух этой комнаты, то есть он только сейчас, проснувшись, и именно в это утро вдруг заметил, как душно, как тесно и темно ему здесь. Почему же раньше, ещё вчера, он стремился оставаться в этой норе, ему было в ней покойно и самодостаточно? Прошла ночь — и всё изменилось. Открыть занавески! Распахнуть окно! Пусть морозный зимний воздух заполнит всю комнату, пусть вытеснит, прогонит из неё тоскливую хмарь, пусть дневной свет проникнет в каждый, самый дальний запылённый уголок и заставит выбраться из него засидевшихся, приютившихся там хандру и бессилие. Пусть убираются к чёрту!

Откинув одеяло, Алексей вскочил с дивана, в два широких шага пересёк комнату, не заметив и уронив на ходу ногой не на место поставленный стул, резким сильным движением раздвинул плотные шторы и зажмурился. Ослепительное февральское солнце хлынуло в комнату неудержимым потоком и затопило её, затекло во все потайные углы, в трещины потолочной штукатурки, в паркетные щели, окатило лучами стол, корешки книг, рассыпалось искрами по золотым и серебряным статуэткам, застывшим между томами на полке. Света было столько, что им, казалось, можно было захлебнуться. Алексей дёрнул правую створку окна, она поддалась не сразу, а когда открыл ещё и уличную, с её внешней стороны на его голые ноги посыпался слежавшийся снег. От него было холодно и щекотно. Вдохнул несколько раз полной грудью, не боясь наглотаться зимнего воздуха, не опасаясь заработать обострение хронического бронхита. Теперь он совершенно здоров!

Внизу, под окном, проехала машина, потом прошёл пожилой мужчина, следом за ним пропорхнула, звонко хохотнув, девичья парочка. Где-то совсем близко — наверное, на старом тополе, что рос на другой стороне улицы, — пробуя голос, тренькнула синица, раз, другой. Она замолкла на мгновенье, а затем смело, уверенно запела людям о том, что где-то, ещё далеко, но уже ощутимо, уже непредотвратимо прокладывает свой путь в этот город весна.

Алексей обернулся, окинул критическим взглядом запылённый кабинет, оделся, заметив, что на ноге образовался солидный синяк, — видно, сильно шарахнулся об стул, надо же, даже не почувствовал! — и решительно направился на маленькую кухоньку. Там он набрал в ведро тёплой воды, порвал на тряпки старое полотенце и принялся тереть, отмывать, вытирать, скоблить, драить свою застоявшуюся за зиму берлогу. Закончил, когда солнце закатилось за крыши домов. Всё-таки зимний день, даже в конце февраля, короток. Помылся, как мог, под струёй воды в раковине на кухне — в его рабочей квартире не было ни ванны, ни душа, — переоделся в чистую одежду и ушёл из кабинета, оставляя его прибранным и в любой момент готовым к работе, прихватив у дверей брякнувший пустыми бутылками мусорный мешок. Дома его терпеливо ждали жена, сыновья, через неделю его хотели видеть на кинофестивале в Греции, ещё через неделю он должен был лететь на съёмки в Японию. Как раз в середине марта там зацветает сакура, и мало что в мире может сравниться с этим сказочным зрелищем…

Глава 13

Пермский период

Деревья тоже иногда лгут сами себе, и у них есть период, когда они торопятся жить. Весной, в апреле, они просыпаются, и тогда из пропитанной талой влагой земли по их жадным оголодавшим корням в настывший, истосковавшийся по теплу ствол, к перепутанным жестокими зимними ветрами ветвям устремляются жизненные соки. И дерево распрямляет свои скрипучие плечи, расплетает ветвистые косы, в истоме распахивает нежные почки и покрывается восхитительными зелёными веснушками. Всё быстрее, быстрее бежит древесный сок, бегут по асфальту запоздалые грязные ручьи, бежит по водосточным трубам первый весенний ливень, бегут трещины через посиневший, намокший лёд рек и каналов, бегут, перегоняя друг друга, по высокому прозрачному небу редкие лёгкие облака, бегут по своим делам оживившиеся горожане, через перекрёсток, за отходящим автобусом, за сорванной озорным апрельским ветром кепкой, бежит за девчонкой в розовой курточке бойкий пацанёнок, брякает её школьным рюкзаком по спине, и всё это — и чёрную мокрую землю, и деревья, и камни набережных, и крыши домов, и купола соборов, и торопливых людей — целует, целует своими лучами любвеобильное солнце.

Ксения спешила на работу, щурилась от яркого солнечного света, внутри всё так и подпрыгивало, так и резвилось, поэтому, наверное, хотелось бежать вприпрыжку. И кто выдумал глупость о том, что в Питере никогда не бывает солнца? Наверное, тот, кто приезжает сюда только поздней осенью или ранней зимой. Она пересекла всегда многолюдный, забитый машинами перекрёсток Невского и набережной канала Грибоедова и на нужной ей стороне, совсем недалеко от фестивального офиса, увидела прихрамывающую, обвешанную авоськами с разнокалиберными конвертами фигурку шефа. Быстро пробежала под аркой левого крыла Казанского собора, догнала Лиговцева, сняла с него пару сеток; он чмокнул её в щеку.

— Вы чего-то сегодня сильно хромаете, Виктор Михайлович!
— Да нога — обострилась, видно, — поморщился шеф, — весной всегда так; ладно, привык уже.
— Столько конвертов опять несёте! Я фильмы регистрировать не успеваю.
— Это я ещё не смог всё унести, Яков заедет, заберёт. Но я тебе девочку нашёл хорошую в помощницы. Тем более что тебя неделю, да больше даже с дорогой-то, не будет, а у нас аврал.
— А куда я денусь? — удивлённо спросила Ксения, открывая перед шефом дверь в подъезд.
— Я тебя в Пермь хочу вместо себя отправить, — объяснял Лиговцев, заходя в тёмную прохладу старого каменного дома; голос его гулко отдавался под арочными сводами. Шеф погремел ключами, отпер дверь в офис, они вошли, зажгли свет. — Я там всё сто раз видел, а потом, у меня как раз встреча с нашей губернаторшей назначена. А тебе будет полезно. Сиди, смотри кино, выбирай для нашей конкурсной программы.
— Ух ты, Виктор Михайлович! — восхищённо выдохнула Ксения, сваливая на рабочий стол авоськи с конвертами. — Наконец-то я взгляну, как на других фестивалях всё устроено.
— Посмотри, посмотри, — умиротворённо говорил шеф, — президента фестиваля — Колю Сердцева — ты знаешь, он к нам приезжал не раз. Кажется, и в жюри у тебя был?
— Да, когда я первый год работала. Только я тогда была так напугана, что плохо помню и людей, и события.

Ксения принялась отстригать ножницами края разномастных конвертов с иностранными обратными адресами: Корея, Австралия, Испания, Аргентина, США, Франция, Греция, Швеция, Германия, опять Испания, Франция снова, Япония.
— Смотрите, Виктор Михайлович, из Японии чего-то прислали! Мультик!.. А когда ехать-то?
— Я думаю, тридцатого. Второго ночью будешь на месте. Как раз к открытию.
— Так это же послезавтра! — воскликнула Ксения, растерянно посмотрев на роющегося в каких-то бумагах шефа.
— Послезавтра, да. Я Коле уже позвонил, что ты приедешь... Сейчас Яков придёт, даст денег, купишь билет и сразу пермским девчатам позвонишь, скажешь, когда встречать, вагон какой... Там, кстати, Лёши Данилова новый фильм в программе...

Сердечко в груди Ксении ёкнуло.
— Я ещё не видел, — продолжал говорить Лиговцев, не подозревающий о девическом смятении, — но мы берём его в национальный конкурс.
— Он же на IDFA провалился... — осторожно проговорила та.
— Ну и что! — сразу вспыхнул шеф, трудно переносящий возражения по отбору фильмов. — Там у них свои критерии, у нас свои! Это всё-таки Данилов, а не кто-то. Чего бы он ни снял, плохого он просто по определению снять не может.
— Да почему же? — вспыхнула в свою очередь Ксения, продолжая автоматически вскрывать конверты.
— Да потому что он — особая фигура в документальном кино! Всё. Это даже не обсуждается!
— О чём спор? — строго спросила вошедшая в комнату Вера.
— Я говорю, что берём новый фильм Данилова в конкурс, — попробовал найти у неё защиты Лиговцев.
— Слабенький фильмец-то, — тихо возразила главный координатор, садясь на рабочее место и включая компьютер. — На IDFA ему вообще ничего не дали.
— Да что вы заладили — IDFA, IDFA! — пылил шеф. — Нам до них тянуться — не дотянуться!
— Да ладно. Увидим... — попыталась потушить ссору Ксения.
— Не увидим. А я сказал! — догорал шеф. — Чего вы вообще против Данилова имеете?
— Я? Против Лёши? — нежно улыбнулась Ксения. — Против Лёши я ничего не имею, он же просто душка.
— Absolutely, — развела руками Вера.
— В конце концов, если вы профессионалы, то вы должны забывать о личных претензиях. Это к искусству не имеет никакого отношения, — затухал Лиговцев.
— Ладно, Виктор Михайлович, оставим это пока, — спокойно, но настойчиво переводила его мысли на работу Вера. — Вот испанцы написали, что «Коррида» сейчас поедет на фестиваль в Польшу, потом, оттуда, в Германию. А они с нами чуть-чуть пересекаются. Они предлагают другую копию, с каким-то браком незначительным. Соглашаться?
— Ну-ка, чего там, прочитай ещё раз, — подсел Лиговцев к главному координатору.

Рабочий процесс входил в привычное деловое русло.

На столе Ксении росли стопки из дисков и кассет, ширилась на полу гора вскрытых конвертов. На пальцах, вокруг ногтей, рождались новые заусенцы, а на подушечках появлялись микропорезики. Но все эти мелкие неприятности были ничтожны рядом с глобальным осознанием того, что на жёсткой грубой бумаге конвертов, на её руках — пыль всей планеты, крохотные частички чужой, такой далёкой и необычной жизни.

Она не видела его с сентября! Больше полугода. Были только телефонные разговоры да смс-ки. Да ещё эти нелепые ссоры... Последний раз они разговаривали в феврале, в день похорон её дяди. Не выдержала, позвонила в отчаянии. Он выслушал её спокойно, говорил что-то ровно, бесстрастно. Сказал общепринятое: «Держись...» Она была

бесконечно благодарна ему даже за такое сочувствие. Она уже ничего не ждала от него, душила любые желания, фантазии. Думала, что увидит его в июне, на их фестивале, и того достаточно. Во всяком случае, на своём мероприятии всегда есть деловое оправдание для общения… Но тут! Ведь он возьмёт и подумает, что она специально выпросилась у Лиговцева в Пермь, чтобы его подоставать! Пойди докажи, что это не так… Хотя—что уж он, совсем?.. И как вынести эту недельную пытку его близостью и невозможностью прикоснуться, обнять? Как суметь выстоять? Как остаться бесстрастной, не наломать дров?! Вера смеётся: «Господи, хоть бы у вас уже всё случилось, тебе не понравилось, и ты успокоилась!» Успокоишься тут! До того вся извелась, что заболел желудок, и всю дорогу, уже сутки, тошнит. Даже воды попить трудно. Под глазами синяки—красавица! И уснуть бы, уснуть. Чтобы хоть немножко восстановить силы.

Ксения наглоталась но-шпы, но колики в желудке не прекращались. В таком измочаленном состоянии и явилась в Пермь. У вагона, в ясной ночи, её встречала милейшая юная девушка Наташа. Она искренне улыбалась, обнажая прекрасные зубы, нежнейшим голосом спрашивала: «Как доехали?», проводила её до машины, где уже сидела на заднем сиденье худенькая светловолосая женщина—видимо, её встретили раньше, с московского поезда. Ксения с радостью узнала в ней Ирину Губаревич—режиссёра с Украины, она приезжала к ним в прошлом году. Ну что же, будет на чужом фестивале кто-то хорошо знакомый, так всегда легче. Они приветливо поздоровались, обменялись несколькими фразами. Наташа села на сиденье рядом с водителем, и они поехали по ночной Перми. Город вовсе не спал. На улицах было полно машин, гуляющей молодёжи, ночные клубы и магазинчики манили огнями. В приоткрытое водительское окно прорывался в автомобильный салон душистый, уже майский ветер.

— У нас, к сожалению, участники и гости в разных гостиницах живут,—посетовала девушка,—но все они недалеко от киноцентра. Открытие завтра… то есть уже сегодня, в четыре. Машина будет в три. Но это только в день открытия. А дальше утром и в обед за вами будут заезжать автобусы. В номере, на столе, вы найдёте каталоги и программу фестиваля, там же пакеты с небольшими сувенирами. Отдыхайте,—улыбнулась девушка выходящей из машины Ксении. Её гостиница оказалась первой на пути следования.

Тихий, пустынный коридор. Маленький, но очень уютный номер. Тёплый душ, душистый шампунь. На тумбочке—косметика, кремы, лучшие духи. Надо привести себя в порядок. Надо выглядеть.

Ксения увидела на столе каталог, пролистала, нашла «Зазеркалье»… Значит, участники живут в другой гостинице? Это очень хорошо, Лёша, очень… Снова заныл желудок. Вряд ли она сможет что-то есть и тем более пить на открытии. А, как это всё не важно… Главное—выстоять.

Но жизнь оказалась гораздо мудрее, чем ожидала Ксения. На открытие Алексей не приехал. Сдерживая лёгкое разочарование, она спросила у милой Наташи, когда ожидать Сысоева и Данилова. Анатолий Иванович Сысоев, славный, добрый, умный дядька, с которым они слегка дружили с первого её фестиваля, когда он вместе с Сердцевым был у неё в национальном жюри, в этом вопросе попал в пару к Данилову только для отвода глаз. Нет, нет, Ксения счастлива будет с ним пообщаться! Но сейчас её интересовало другое. Узнав, что Сысоев уже где-то тут, а Данилов приедет завтра, она радостно расслабилась. На банкете они с Ириной держались друг друга, непринуждённо болтали, потом к ним присоединилась уже приехавшая Лариса Вересова со своей верной спутницей Юлией—Ксения наконец узнала, как её зовут. К ним то и дело подходили иностранные режиссёры: и красивые улыбчивые женщины, и какие-то пацанистые, вертлявые ребята. Много было и хорошо знакомых ей русских режиссёров. Анатолий Иванович, увидев Ксению, подошёл, поприветствовал женщин, а ей галантно поцеловал руку. Все весело зашумели, заставили выпить с ними. Ксения всё-таки глотнула вина и очень пожалела об этом. Промучилась до конца мероприятия, пока не подошли автобусы до гостиницы. И она с радостью вернулась в свой номер, чтобы наконец как следует отдохнуть. Выпила купленные днём таблетки от желудка и быстро уснула.

Второй сон Ксении Сергеевны

Она спустилась в подвальное помещение магазинчика и сразу заметила его, такой яркий, солнечный. Но вдруг он не подойдёт ей, этот чудесный жёлтый брючный костюм? Пусть даже из секонд-хенда. Он же совсем новенький и такой красивый! «Вот тут, на правой брючине, маленький брак,—показала продавщица аккуратно заштопанный тонкий порез,—а в остальном костюм прекрасный и будет вам в самый раз!» Ксения зашла с желанной вещью в примерочную. Ну надо же—сидит как влитой! И она купила его. И вышла с ним из магазина. И вдруг… Костюм заскочил в отъезжающий трамвай, взялся пустым рукавом за поручень. Ксения бежала за трамваем, почему-то в домашних шлёпанцах, и эти шлёпанцы всё время спадали с её ног, она останавливалась, пихала ногу в тапку и снова бежала за уезжающим трамваем, крича: «Отдайте! Это мой костюм! Я его заслужила!» И на какой-то остановке ей выбросили костюм. Она обняла его, как самое желанное существо. Но тут налетел ветер, разразилась буря, настоящее землетрясение.

Сыпались жёлтые дома, разверзался чёрный асфальт, с корнями вырывало деревья… Выжил ли кто-то в этом Армагеддоне?

А потом, когда буря стихла, над бескрайней пустыней, уходящей далеко за горизонт, засияло холодное солнце. Кое-где среди жёлтого песка ещё сохранились после ливня лужицы чистой голубой воды. Голое, словно костлявое дерево росло посреди пустыни, а рядом с ним совершенно неуместно стоял старинный узорчатый платяной шкаф. Его распахнутые дверцы поскрипывали, когда к ним прикасался ветер. И там, в фанерной пустоте, висел жёлтый костюм. Совершенно один, никому не нужный…

Непереносимая тошнота комом стояла в горле. Никакие таблетки не помогали. Ксения вышла на крыльцо киноцентра, чтобы выкурить сигарету, надеясь, что табачный дым хоть немного снимет её. Не успела сделать и пары затяжек, как увидела, что из подъехавшей «Волги» вышли милая девушка Наташа и бодрый, улыбающийся Алексей. Они резво, весело переговариваясь, направились к крыльцу.

— Лёша,— позвала Ксения, когда они оказались совсем близко.

Она была так рада ему!

Алексей быстро отделился от девушки, вспорхнул на крыльцо, ловко обогнув колонну, всё с той же открытой улыбкой подбежал к Ксении, коснулся губами её щеки:

— Привет,— но тут же, заметив сигарету в её опущенной руке, скривился:— Ты всё куришь?

— Да плохо чувствую себя…— попыталась оправдаться она, но Алексей уже покинул её, уже умчался вслед за своей спутницей.

Ксения видела, как он, будто бы невзначай, положил руку на хрупкую талию Наташи. В душе скребнулась кошка, но Ксения шикнула на неё. Она уже всё решила. Она решила, что пойдёт до конца, всё поймёт про этого человека в эти дни, на этом фестивале, или никогда.

Ксения вернулась в зрительный зал, где ещё горел свет. Постояла у дверей, окидывая внимательным взором просторное, высокое помещение. Почти все места были заняты. Взгляд цеплялся за знакомые лица. Ирина сидела где-то посередине, Сысоев — на переднем ряду; с краю, у прохода,— Сердцев, рядом с ним Юлия, без Ларисы. Странно… По обеим сторонам от кресел далеко вверх уходили покрытые серым ковролином ступеньки. Лестницы упирались в самый последний ряд, и в конце ближней, левой, на самой верхотуре, в уголку, сидел Алексей. Ступеньки вели прямо к его ногам. Рядом с ним оставалось свободное место. Ксения поколебалась лишь секунду и быстро взбежала по лестнице, на ходу, боковым зрением, отметив, что у стены, заложив руки за спину, ступенек за семь до последнего ряда, стоит Лариса. Ксения почувствовала её цепкий колючий взгляд, но не притормозила ни на мгновенье. Улыбаясь, села рядом с Алексеем, по-свойски просунула руку под его локоть, лежащий на ручке кресла. Он не отторгнул её, но остался совершенно безучастен, словно бы никого и не появилось рядом. Свет погас. Засветился экран. Ксения доверчиво положила подбородок на плечо Алексея и прошептала:

— Соскучилась по тебе просто смертельно…

— Н-да?— взглянул он на неё как-то искоса и свысока и уставился в экран.

Но Ксения проглотила пренебрежение, даже не поперхнувшись, руку не убрала, гладила потихоньку пальцами замшевый рукав его жакета, с улыбкой поглядывая на слабо освещённый неподвижный строгий профиль. Она касалась плечом крепкого плеча Алексея, прислушивалась к его дыханию и с радостью отмечала, что столь близкое соседство с этим мужчиной уже действует на неё не так опьяняюще, как раньше. А ещё она видела, кожей чувствовала, как смотрит на них всё так же стоящая у стены Лариса.

— Ты чего такой мрачный?— прикидываясь наивной дурочкой, ласково спросила Ксения.

— Кино смотрю…— процедил сквозь зубы Алексей.

Она проглотила и это и продолжала свою нежную атаку:

— Неужели ты нисколько мне не рад? А я вот рада тебе, очень!

— Ксения!— раздражённо поморщился он.

И в этот момент произошло невероятное: не выдержавшая пытки Лариса вдруг быстро поднялась к ним, и села на ступеньку у самых ног Данилова, и откинулась чуть назад, прижавшись всем телом к его ногам, положив голову ему на колени.

Ксения оцепенела, у неё даже желудок мгновенно перестал болеть. Алексей весь напрягся, словно перед прыжком. Очень медленно она убрала руку из-под его локтя, чуть отстранилась, от греха подальше, и с тревогой стала следить за происходящим. Лариса едва заметно тёрлась щекой о колено Алексея. Он хмурился и морщился, словно от зубной боли. Ксения ожидала, что Лёша всё обернёт в шутку, встанет, уступит женщине место, но он стал зло отбрыкиваться и шипеть:

— Лара, тебе что, сесть больше некуда? Вон места есть. Иди отсюда!

Но Лариса только сильнее прижималась к пинающим её ногам и шутливо — чего ей это стоило!— говорила:

— Можно мне немного посидеть в ногах у гения? Ну пожалуйста, хотя бы десять минуточек. Лёшенька, ты должен быть снисходителен к простым смертным…

— Лара!— всё больше раздражался гений.— Иди! Сядь на свободное место! Отстань!

— Ну ещё минуточку...— упорно откидывалась назад потерявшая всякое достоинство женщина.

«Боже! Как она может так унижаться!— в ужасе думала Ксения.— Вот, Ксюха, посмотри, посмотри на это! Тебе полезно. Тоже хочешь так валяться у него в ногах? Тогда продолжай... продолжай его добиваться, к тому и придёшь!.. А он — как он может её пинать?! Женщину пинать! Любящую, верную женщину!» Ей вдруг сделалось так жутко, будто с ней рядом сидел не человек, а чёрт. Изящный чёрт. «Как хорошо! Как хорошо, что Господь привёл меня увидеть это. Какое откровение! Господи, благодарю Тебя...»

К счастью, первый фильм в блоке был коротким. Через двадцать минут в зале зажёгся свет. Лариса молниеносно встала, пересела на свободное место. Алексей тут же вскочил со своего, быстро сбежал по лестнице и больше на этом сеансе в зал не вернулся.

Если вы всё ещё мечтаете о рае на земле, если думаете, что только вам живётся непросто, а там, у других, особенно тех, кто за границей, всё прекрасно, посетите какой-нибудь кинофестиваль — их сейчас много проводится по всей России — и обязательно посмотрите программу документальных фильмов. Вы с головой окунётесь в чужую жизнь, в чужой быт, со всеми его подробностями, в чужие мысли и мечты, в чужие труды, заботы и редкие праздники. Скорее всего, через неделю вам станет ясно: все люди на этой планете, независимо от цвета кожи и вероисповедания, живут одними и теми же, близкими и понятными каждому человеку, печалями и немногими радостями. Потому что для любого из нас нет ничего страшнее потери близких, утраты надежды, потому что люди кричат и плачут от боли одинаково на всех континентах, и смеются тоже одинаково, и хотят есть, и иметь крышу над головой, и любить, и растить детей. И умереть в двадцать три года от рака в богатой, благополучной Швейцарии так же возможно, как прожить большую счастливую жизнь в тесноте и согласии с огромным семейством на тростниковом плоту где-нибудь в таиландских болотах.

После многолетней работы на кинофестивале Ксению уже не посещали иллюзорные мысли о земном рае, и пословица «хорошо там, где нас нет» обрела особое значение. И с каждым новым увиденным фильмом, с каждой новой судьбой в ней укреплялось чувство общности со всеми живущими на этой планете; но, как известно, «многие знания умножают скорби», и ей иногда очень хотелось не смотреть, не слышать, не понимать, не впускать в душу чужих людей. А они, порой уже и неживые в реальности, двигались на экране, говорили, улыбались, плакали. Они жили какой-то второй таинственной киножизнью.

...Эти восемь арабских вдов после смерти мужей остались с детьми на руках и без средств к существованию. Они могли кое-как влачиться на пособие, могли пойти плакаться к родным, сесть им на шею, могли покорно ждать, пока их подберёт другой муж — в этом случае им пришлось бы не только предать свою память, но и своих сыновей и дочерей. По жестокому, нелепому обычаю дети от первого брака не принимаются в новую семью, их передают на воспитание родственникам умершего мужа. Но гордые, сильные, вовсе не забитые восточные женщины решили стать независимыми — они организовали предприятие по производству солений высокого качества. И так дружно, с таким усердием взялись эти женщины за разделку овощей, так споро и ловко укладывали в банки огурчики, помидоры, патиссоны, луковки, морковь, зелень, всевозможные пряности, так бодро развозили готовую продукцию по магазинам, что оставалось только радоваться их успеху. За работой они вспоминали своих мужей, свою любовь, своё утраченное счастье, а кто-то — и семейные сложности, и побои, и унижения. Но они всё время улыбались, шутили, иногда даже скабрёзно, иногда даже допуская крепкое словцо. Их дела шли в гору, и зритель так расслаблялся, так погружался в эти овощные подробности, что уже чувствовал аромат маринада, острый вкус хрустящего огурчика, и вдруг... лица женщин стали озабоченными, взгляды потускнели, в их голосах зазвучала тревога. И режиссёр, и зрители оставляют этих женщин, с которыми сроднились за час экранного времени, в трудную минуту: их дело разрушили конкуренция и хваткие перекупщики, в их чисто женское предприятие — что, оказывается, невиданная наглость для этой арабской страны — вмешались мужчины.

Красивая, энергичная женщина-режиссёр потом рассказывала, что события, показанные в её фильме, происходили больше года назад. Эти женщины так и не смогли восстановить производство своих солений, они разобщились и стали выживать каждая сама по себе. Скорее всего, их судьбы сложились печально. И оттого Ксении ещё горше было вспоминать их счастливые улыбающиеся лица, их резвые трудолюбивые руки, их отчаянную веру в возможность изменить свою жизнь.

...А герои этого фильма даже не стремились изменить свою. Они просто работали. В нечеловеческих условиях, терпеливо и тупо. И благодарили Бога за то, что могут за свой адский труд получить горсть монет, миску похлёбки. Четыре страны, три цвета кожи, жилистые руки, дрожь в ногах от непомерной тяжести.

Грязь, дым и вонь огромного мясного рынка, кажется, ощутимые даже в зрительном зале. Сюда пригоняли своих тощих коз и быков такие же тощие длинные чернокожие мужчины и старались продать всё: мясо, шкуры, кости, головы, рога, копыта, внутренности. Кругом лужи крови,

смрадные костры. Сливались в общий гул предсмертные крики животных и вопли торговцев. Липкими пальцами они пересчитывали свой нищенский доход, тут же ели что-то… И чистому, сытому зрителю, наверное, казалось, что не может быть ничего хуже. Но из этого ада он попадал в другой — теперь ему мерещился запах серы, и не случайно. Здесь, на плечах дремлющего вулкана, эти мужчины, больше похожие на подростков, добывали серу. Изо дня в день они приходили сюда опасной горной тропой, кололи ломиками окаменевшие жёлтые пласты, укладывали куски в корзины и несли на своих узких костистых плечах километр за километром. Гнулась и поскрипывала от тяжести толстая палка, на которой подвешены корзины; голые ноги в сношенных сандалиях привычно выбирали — куда безопаснее ступить. Ксения смотрела и спрашивала себя: сколько бы дней выдержала она? Эти люди так проживали свои короткие, отравленные парами серы жизни. А в это время на другом краю земли к пустынному морскому берегу, к последнему причалу подплывал огромный, отслуживший свой век нефтяной танкер. На этом берегу было уже много таких же ржавых уродливых мёртвых колоссов. Это место — кладбище кораблей. Люди, словно муравьи, облепили их холодные пустые гулкие тела и медленно, упорно резали сваркой металлические конструкции. Ползла алая огненная нить по ржавой обшивке, сыпались искры, с адским грохотом падали вниз с многометровой высоты вырезанные куски железа. Смуглые молчаливые мужчины приходили сюда на работу каждый день, год за годом, потому что этот металлолом можно продать и купить хлеба детям. «Чем так жить, лучше умереть! — сжавшись в мягком кресле, думала Ксения и успокаивала себя: — Это всё далеко! Это Нигерия, Индонезия, Пакистан. Там войны, голод. У нас всё не так. Не может быть так…» И словно в ответ на её слабость и малодушие режиссёр приготовил следующий эпизод: российский горняцкий посёлок, когда-то он был богатым и процветающим. Но теперь устаревшие выработанные шахты забросили, а вместе с ними — и живущие здесь семьи шахтёров. Чтобы как-то прокормиться, оставшиеся без работы мужики собирались группами и шли в чёрные адские пасти забоев. На коленях, полулёжа, вручную, как в позапрошлом веке, долбили уголь, насыпали в мешки, волокли их на свет Божий на себе и каждый день рисковали не вернуться домой. И по их почерневшим бесстрастным лицам легко можно было догадаться, что они иногда и сами мечтают об этом. «Неужели всё и останется так беспросветно?» — ужасалась Ксения. Но вдруг возникли на экране счастливые лица, жених и невеста, они любят друг друга, они вместе и поэтому верят в лучшее, верят в светлое будущее своих ещё не родившихся детей. И взлетал в небо жидкий свадебный салют, и молодожёны, и их гости, и зрители, сидящие в тёмном зале пермского киноцентра, смотрели на искусственные звёздочки, расцветающие в чёрном бездонном пространстве, и в эти секунды всем так наивно хотелось верить, что огоньки надежды не погаснут никогда.

…Рядом с мощным тяжеловесным кинополотном австрийца эта киноавантюра двух молодых чехов выглядела просто хулиганской выходкой. Стоя посреди огромного голого поля и самоуверенно улыбаясь с экрана, они сообщили зрителям, что через несколько месяцев выстроят на этом месте гипермаркет-фантом под названием «Чешская мечта». Его строительство будет сопровождаться широкой рекламной кампанией — плакаты на улицах, статьи в газетах, ролики по телевидению. Но зазывные тексты будут звучать непривычно и, главное, правдиво: не приходите, не покупайте, не тратьте деньги, не торопитесь, не верьте, не давайте себя обмануть, не смотрите, не слушайте, вы не получите подарков, и скидок не будет. И дальше зритель в подробностях наблюдал, как, собрав группу молодых художников и пиарщиков, долго и трудно создавали режиссёры логотип несуществующего гипермаркета, выдумывали слоганы, как запестрел столичный город яркой антирекламой, как возводился в чистом поле огромный алюминиевый каркас, как на сильном, словно бы сопротивляющемся недоброй людской затее ветру обтягивался он гигантским, разрисованным псевдодверями и окнами полотнищем… Настал день истины. Утомлённые затянувшейся авантюрой режиссёры уже без улыбок, с тревогой в голосе, на фоне собравшейся к открытию человеческой толпы, поделились со зрителями опасениями за собственную жизнь. Но отступать было некуда, и ударил гонг, и несколько сотен людей с рюкзаками, с авоськами, с сумками на тележках, с корзинками бросились через поле к «Чешской мечте». Впереди — мужчины, молодые женщины, подростки. Сзади — пенсионеры, инвалиды, один даже на коляске… И кто-то, в надежде на дешёвые покупки и подарки добежавший до разрисованного фасада первым, уже застывал в недоумении, уже хмурился, уже ругался, злился, уже смеялся, а кто-то, как эта несчастная старушка с палочкой, ковылял последним и непонимающе смотрел на подбежавших девушек из съёмочной группы. Всё-таки сжалились режиссёры над инвалидами и стариками, остановили их в самом начале пути. А сильные, молодые всё бежали, всё пёрли к своей мечте, не обращая внимания на разочарованных, идущих обратно людей, не прислушиваясь к их советам не ходить, не верить, не торопиться, не обманываться… Всё смешалось в этом поле. Через несколько минут разгневанная толпа потекла к двум поникшим, съёжившимся у турникета

авантюристам, и Ксения по-настоящему испугалась за отчаянных парней. Но до рукоприкладства не дошло. Много было шуму, возмущений, криков, обвинений, оскорблений. И вдруг какой-то круглый лысоватый мужичок, что безудержно хохотал над затеей всю обратную дорогу, громко сказал: «Да сами мы дураки! Нам же говорили: не приходите,—а мы пришли! Бараны!» И сразу умолкла толпа, потупила взор и очень медленно стала рассеиваться.

В воскресенье всех желающих из числа гостей и участников фестиваля, а таких набрался полный «Икарус», повезли далеко за город, в музей деревянного зодчества. Ксения уже бывала в таких музеях, и у себя на родине, и в других местах, но здесь—под открытым небом, на сказочно красивом, густо зазеленевшем холме, по которому пышной гривой взбирались к небу гордые ели,—раскинулся целый бревенчатый городок. Десяток широких почерневших изб, между которыми протянулись дощатые тротуары, просторные дворы, где хватало места и для хлева, и для сеновала, и для амбара. Бани, мельница, деревянная, словно кружевная, церковка в окружении кокетливо задравших свои зелёные юбчонки молоденьких ёлочек. И внутри изб всё было по-настоящему: голые, отмытые добела бревенчатые стены, широкие лавки вдоль них, крепкий ладный стол, за которым свободно могла отобедать семья из десяти-двенадцати человек, некрашеные половицы, покрытые яркими домоткаными половиками—узор на них был иным, чем на тех, что плели в родной для Ксении губернии. И на скатертях, на рушниках, вышитых чьими-то терпеливыми руками, застыли вроде бы такие же, да не такие петухи, коровы, домики, солнышки, ёлочки… Каждый народ шифровал что-то своё в этих нитяных знаках. Люлька на очепе, воткнутом под широкую надёжную матицу. Огромная, как пароход, русская печь, на шестке чугунки, кринки, рыльники. Устье высокое, широкое. В такой-то печи и вправду можно вымыться, выпариться и, выбираясь на свет Божий, не свернуть плечо о свод. В деревенском доме её матери печь невеликая, с низким узким устьем, куда и чугунок задвинуть надо умеючи… А около печи, на положенном месте, приютились ухваты, хлебная лопата, метла, охапка берёзовых дров. На лавочке у окна небрежно брошено какое-то шитьё: кажется, платьице доченьке шила хозяйка, да отложила, вышла на двор. А у двери, на толстоногой табуретке, хозяин оставил сапожное шило и клубочек суровых ниток, тут же, рядом, на полу, не подшитый ещё валенок. Отвлёкся на что-то, но вот сейчас вернётся и завершит начатое дело.

Напрочь забывшие о своих земных корнях, избалованные городской цивилизацией люди искусства тесно толпились посреди избы, молчаливо и как будто с какой-то неловкостью глазели на чужую неведомую жизнь. И всё казалось, что сейчас войдут в дом по-простому, в натуральные ткани, одетые хозяева, и придётся извиняться перед ними за вторжение.

Ксения физически ощущала, что вокруг них—иной век, другой воздух, и было даже немного не по себе, потому что вот выйдешь сейчас на волю, а там ни автобуса, ни стилизованного под старину, но всё-таки современного домика дирекции заповедника. Вдруг там только лес, только река, только вечные солнце и земля?

И потом, чуть позже, она поняла, почему появилось это ощущение. Они с Ириной оторвались от общей экскурсии и пошли по узкой тропочке на самую вершину холма—мимо лёгкой, воздушной церковки, к влекущему в свою влажную темноту пышному ельнику. Думали просто прогуляться по весеннему лесочку, но тот внезапно кончился, и их взгляду открылось непередаваемое, неописуемое, сражающее наповал зрелище. Можно было, не задумываясь, остаться на этом холме навсегда, превратиться в каменного идола, чтобы смотреть и смотреть неморгающими глазами на древнюю Каму. Широкая, мощная, суровая река с вековечным достоинством несла свои воды среди высоченных обрывистых белёсых берегов. Берега поросли ровными, совершенно одинаковыми полуголыми серыми елями. И эти отвесные известняковые скалы, и эти деревья, и эта вода, ледяная даже на вид,—всё это было здесь, на этом самом месте, под этим небом миллионы и миллионы лет назад. Перед лицом Ксении стояла сама Вечность, и они смотрели друг другу в глаза, и под этим бездонным взглядом её человеческая жизнь в несколько секунд свернулась, скрутилась сухой берестинкой, вспыхнула от поднесённой спички и превратилась в прах…

Потом, когда вернулись к автобусу, экскурсовод, с которой она поделилась своим потрясением, подтвердила её ощущения. Именно в этом месте учёные изучали древние известняковые отложения, и нижние слои этих берегов—те самые, из пермского периода развития нашей планеты. Потому он и получил такое название, по месту раскопок и археологических изысканий…

—А кто-нибудь видел сегодня Данилова?—прискакала к автобусу Лариса, сопровождаемая Юлией.—Почему он с нами не поехал?

Кто-то ответил ей, что Алексей, мол, уже бывал тут много раз и потому не поехал. Но Лариса никак не могла успокоиться, что-то восклицала по поводу его лени и нежелания доставить женщинам удовольствие. На неё уже посматривали с усмешкой.

Автобус ехал обратно по хорошей ровной дороге, среди бесконечного, обвитого зелёным туманом березняка, и так же бесконечно, километр за

километром, у подножия белоствольных деревьев тянулся ковёр из нежнейших розоватых подснежников. Никогда в жизни Ксения не видела столько весенних первоцветов. И она была счастлива в эти минуты, безупречно, абсолютно счастлива.

И так не хотелось, чтобы кончался этот волшебный тёплый майский день, и они с Ириной ещё долго гуляли по набережной. Кама здесь была уже другая: притихшая, смиренная на вид. Она вынуждена была сдерживать свой дикий норов в закованных в бетон берегах.

Ксения натёрла ногу новыми, неразумно купленными специально для поездки туфлями. Пришлось вернуться в гостиницу, чтобы она могла переодеть более удобную мягкую обувь.

У лифта они встретили Ларису с Юлией, и все вместе поехали наверх, поскольку жили на одном этаже.

В тесноте лифта Лариса сквозь дымчатые стёкла очков снизу вверх посмотрела на высокую Ксению и с плохо скрываемой язвительностью вопросила:

— Ксения, а Лёша разве не с вами?

— Со мной? А почему он должен быть со мной?—с насмешливой улыбкой повела та бровью.

— Вот так всегда. Женщины его ждут, надеются, а он где-то, с кем-то… Уж такая наша с вами доля!

Юлия неловко заулыбалась. Ирина смотрела на Лару с брезгливой жалостью.

— Может быть, это ваша доля, но не моя!—усмехнулась Ксения.

И эта восхитительная женщина вдруг посмотрела на неё таким выгоревшим от многолетнего страдания, таким обречённым взглядом, что ей стало не по себе.

— Эх, Ксения, мы с вами сёстры по счастью и несчастью одновременно… Приехали.

Ксения онемела.

Двери лифта открылись. Все вышли, и Ирина вдруг трезво и жёстко сказала:

— Лариса, а если попробовать забыть его? Просто взять и бросить.

— Не-ет, я так не могу. Мы друзья,—отвела та взгляд в сторону и чуть виновато наклонила голову на плечо.—Мы помогаем друг другу. Когда надо—словом, а иногда и деньгами… Мы звоним друг другу по ночам, разговариваем часами. Я в Москве, он в Питере. Он иногда, когда у него что-то не получается, так кричит на меня!—мечтательно подняла Лара взгляд к потолку.—Но я не обижаюсь: кто его выслушает, кроме меня?..

— «Она мой друг…»—«Уже?»,—негромко, но чтобы её расслышали, процитировала Ксения.

— Что значит «уже»?—встрепенулась Лариса.

Ксении следовало бы промолчать, но она не смогла:

— Помните, у Чехова в «Дяде Ване»? Разговор Астрова с Войницким о том, что женщина сначала любовница, потом друг.

Ирина осторожно пихнула её локтем в бок.

— Не-ет,—печально улыбнулась Лариса.—На этот раз вам придётся поверить мне, а не литературному классику. Бывает и по-другому. При всей своей внешней развязности, Лёша очень целомудренный.

И с абсолютно прямой спиной, с гордо поднятой головой Лариса пошла от них по коридору. Юлия посеменила за ней, как верный паж. Ирина негромко прокомментировала:

— Да-а, Лариса контужена Даниловым на всю жизнь.

— Я не понимаю! Она же такая классная тётка! Умная и такая вся… не знаю… аппетитная! За ней табуны мужиков должны ходить!

— А потому что она встретила его в самый роковой для женщины период. В тридцать лет, если женщина всё ещё одна и всё ещё умеет влюбляться, она вцепляется в объект поклонения покрепче всякого клеща. Это любовь на всю жизнь. И хорошо, если она заканчивается свадьбой, тихой семейной жизнью, а если нет…

У Ксении внутри всё сжалось, прямо до слёз. Данилов питался этой женщиной, а она отдавала ему себя всю так, как могла, как он ей позволял. Свою молодость, свою красоту, свою любовь, свой ум, свою верность. И эти редкие короткие встречи, эти разговоры по телефону, эти его вопли, его капризы, его желания, его повеления, его равнодушие, его творчество, его пьянство, его безделье, его неудачи были, по сути, её семейной жизнью. Лариса всего лишь одна из многочисленных жертв, принесённых на алтарь его успеха. И Ксения по щелчку пальцев, практически добровольно, встала в очередь, ожидать, когда подойдёт её черёд взобраться на этот алтарь и сгореть на костре в жертвенном экстазе, вознося хвалу богу-Данилову.

Всё то лучшее, что дал Алексею Господь: ум, чувственность, эмоциональность, проницательность, талант, нечеловеческое обаяние,—всё это он использовал во зло, тешил свои болезненные амбиции! Но ведь это не принесло ему счастья! Тогда зачем? Почему не наоборот?!

И она не могла на него злиться, не могла его ненавидеть. Она чувствовала, она знала, что с ним просто какая-то беда. С его душой.

— Но мне не совсем понятен один момент,—настороженно посмотрела на неё Ирина.—Какое отношение к Данилову имеешь ты?

И Ксения, не умевшая врать и выкручиваться, вынуждена была всё ей рассказать. И на эти дни у неё появился неожиданный соратник в противостоянии отрицательному—теперь это было очевидно—обаянию её недавнего героя. Стоило Данилову появиться рядом с Ксенией, как тут же поблизости возникала и Ирина, она ласково брала подопечную под руку и уводила, якобы по делам. Если он приглашал её присесть рядом в зрительном зале, по-хозяйски похлопывая

ладонью по свободному сидению, за его головой тут же взметался красноречивый кулачок Ирины: не смей! Ксения не могла сдержать смех, и Алексей, наверное, думал, что она насмехается над ним. «У меня здесь тоже есть свободное место…» — независимо отвечала она с другого ряда и видела, как он злится. Около неё всё время вились какие-то мужчины: с Сысоевым они вместе обедали, с Сердцевым обсуждали общефестивальные дела, у других она спрашивала диски с понравившимися фильмами для отбора, с кем-то откровенно кокетничала. Алексей, словно специально, садился на обеде за соседний стол и на стул, стоящий прямо за спиной Ксении. Как она ни старалась, совсем не чувствовать его близкое присутствие не получалось. А он ещё мог обернуться, спросить что-нибудь типа: «Ты когда уезжаешь?» И она тут же начинала таять, как пломбир в жаркой комнате. Но видела строгий взгляд Ирины и снова собиралась, трезвела, гордо и независимо вскидывала голову.

Лариса Вересова пасла Алексея беспрерывно, они уже хихикали вместе, он строил ей глазки, как будто и не было той отвратительной сцены. И Ксения догадалась, что это норма для их отношений. Сегодня попинал, завтра пообнимал. И всё ладно. И всё это длится уже больше десяти лет! Ей Алексей перестал улыбаться совсем, ходил поодаль, смотрел исподтишка, настороженно, пристально, часто. Но стоило ей обернуться на его взгляд, как он тут же отводил глаза. Всё это её ужасно забавляло! Как-то она, опоздав на сеанс, забежала в уже тёмный зал, на ощупь поднялась по ступенькам, села на крайнее место и не сразу, но заметила на этом же ряду, кресел через пять от себя, Данилова. Подумала с досадой: «Какое попадалово! Ведь скажет, что я специально именно тут села!» Алексей, до этого полулежавший в кресле, сразу подобрался, сел прямо, взглянул в её сторону раз, другой, третий, потом встал, как-то чересчур медленно, неуверенно прошёл до неё. Ксения подобрала ноги, чтобы пропустить его, но он остановился, покачиваясь, около, пьяно посопел и вдруг взъерошил всей пятернёй волосы над её лбом:

— Ну что ты всё время сердишься на меня, маленький?..

Она настолько не ожидала от него подобного жеста, что даже испугалась и, нервно хохотнув, ответила:

— Я совсем не злюсь на тебя, Лёша, что ты…

Он нехотя убрал ладонь с её головы и, держась за стенку, стал спускаться вниз.

«Опять пьёт», — опечаленно подумала Ксения. Лёша долго, с трудом, выходил из зала, запустив в раскрытые двери долгий длинный луч света. Больше она его в этот день не видела.

Зато увидела «Зазеркалье» и после фильма боялась попадаться Алексею на глаза, боялась, что он спросит её мнение, а она не сможет соврать. Человек, снявший «Зазеркалье», никогда не смог бы снять «Ковалёвых». Между ними была непреодолимая пропасть… Но, похоже, Лёша и сам не хотел ни с кем говорить о своей последней работе. Тем более после того, как его «прокатили» и на пермском кинофестивале. Даже диплома не дали, понимая, наверное, что это будет ещё более унизительно для режиссёра такого ранга.

Ксения спустилась к автобусу с уже собранной дорожной сумкой. Поезд ночью, и на вокзал она поедет прямо с банкета, не заезжая в гостиницу. Она и ещё несколько человек довольно долго сидели в «пазике» в ожидании задерживающихся Ларисы и Юлии. Московские критикессы прибежали в автобус при полном параде, Лара долго извинялась за опоздание.

Уже знакомый путь до киноцентра показался Ксении совсем коротким, так всегда бывает под конец, а в первый день вроде бы ехали, ехали и приехать не могли. За неделю город разоделся в зелёные летние наряды. А когда прибыла в Пермь, всего семь дней назад, сквозь редкие мелкие листочки ещё можно было увидеть солнце. Теперь под деревьями лежали широкие тени. В Питере, наверное, уже всё цветёт…

На крыльце киноцентра стояли кучками знакомые люди. Радостные, они разговаривали, смеялись. Кто-то заходил в стеклянные двери, кто-то выходил из них. Зорким глазом Ксения высмотрела Алексея, который с деланной скромностью стоял чуть в стороне от общего собрания.

Сумки разрешили оставить в автобусе. Она первой вышла на волю, перекинув кожаную куртку через руку, направилась к киноцентру. Увидев её, Алексей стал медленно спускаться по ступенькам навстречу, в шикарном белом костюме, просто как какой-нибудь Карел Готт на концерте «Песня-80», микрофон бы ещё в руку. Опять эта улыбка властителя сердец, взгляд в упор. Промурлыкал:

— Ну и где ты была все эти дни?

— Я?! — возмутилась Ксения. — Ты знаешь, где-то тут!

На эту сцену, замерев, с любопытством, смотрели все. И ей пришлось поучаствовать в импровизированной театральной сценке, разыгранной великим режиссёром.

— Так и не поговорили, и не погуляли… — проговорил он печально.

— А кто же виноват? — насмешливо спросила Ксения. — Ну, пригласил бы кофе попить.

— Значит, я виноват?

— Ну не я же! Мужчина должен проявлять инициативу!

— Ну надо же! Я не знал!

— Или я виновата уже в том, что просто родилась? — хитро сощурившись, подколола его Ксения.

— Господи, бедная, как же тебе тяжело живётся на этом свете! — картинно возвёл Алексей глаза к небу. — Скажи, почему, как только мы встречаемся с тобой, мы сразу ругаемся?
— А мы поругались?
— Конечно! — произнёс он капризно и так же медленно и артистично стал подниматься по ступенькам обратно.

Ксению подхватила под локоть подоспевшая Ирина и увлекла в здание. Там, в ресторане, уже были накрыты столы, негромко играл джаз, посреди торжественного зала невинно журчала вода в маленьком фонтанчике…

Глава 14

Рука на сердце

Чернокожий малыш смотрел с фотографии огромными, влажными, как чёрная смородина после дождя, глазищами. Приёмная мать малыша — очаровательная белая американка — с восторгом рассказывала о своём сынишке собравшимся вокруг неё русским женщинам.
— He is only three years old, but he is able to read.
— What wonderful eyes! — воскликнула Ксения.
— Yes, I am so happy! — улыбнулась американка. — Do you all have children?

Вопрос смутил. Лариса, Юлия, Ксения — все промолчали, и молчание это было слишком красноречивым. Восторг красивой американки, её счастливый взгляд поселил в этих гордых и независимых женщинах смутное сомнение и тревогу: может быть, они всё-таки чем-то обделены в этой жизни?.. Только Ирина светло улыбнулась и с материнской гордостью сказала:
— Yes, I have a daughter.

Американка взглянула на неё с тёплым пониманием. Ирина достала из сумочки паспорт, в нём, под прозрачной обложкой, хранилась цветная фотография её маленькой дочери.
— How old is she?
— Five.
— She looks very much like you.

Мимо щебечущей женской группы вальяжно прошёлся Данилов, искоса посмотрел. Но никто не обратил на него никакого внимания. Слишком заняты были фотографиями и своей болтовнёй.

Ксения, конечно, заметила его променады, как до этого видела его, барственно развалившегося на стуле, в компании двух длинноногих блондинистых журналисточек. Одна из них так восхищённо пожирала его глазами, так ластилась к нему. Алексей, сладко улыбаясь, с котовьей ленцой намурлыкивал ей что-то на ушко, а из его глаз на неё просто сочился мёд! Его традиционная белая рубашка была расстёгнута чуть ли не до пупа, рукава закатаны, рюмочка с водкой в холёных длинных пальцах, в руке на изящном отлёте. Он по очереди нежно брал льнущих к нему девушек под локоток и прогуливал вдоль стола, поддерживая за гибкий стан, угощал виноградиком, мандаринкой. Девушки звонко смеялись в ответ на его щекотные шептания на ушко. Ксении хотелось плюнуть вслед прохаживающейся парочке. Но журналисточки одномоментно испарились. И Алексей заскучал. В одиночестве посидел на стуле, закинув ногу на ногу. Все вокруг общались парами, кучками, группками. Даже старый приятель Штефан Каминьский, попавший сюда со своей «Игрой…», всё время общался с кем-то другим. Правда, к Алексею иногда подходили с рюмочкой, чокались, выпивали. Он улыбался, если спрашивали — отвечал что-то. Потом несколько раз взглянул на весёлую женскую компанию — там были и Лариса, и Ксения. Обе его воздыхательницы подозрительно долго не обращали на него внимания. И он прошёлся раз, другой мимо них. На третий Лариса всё-таки зацепила его за рукав рубашки, усадила рядом с американкой, сама села с другой стороны, прижалась пышной грудью к его плечу.

Ксения видела, как при его появлении по лицу Ирины пробежала лёгкая тень. И она сочла это за знак. Сразу встала и пошла к Анатолию Ивановичу, который сидел с другой стороны большого стола. Ксения поздравила его с победой — Сысоев получил серебро за полный метр, приглашала на свой фестиваль. Они выпили по чуть-чуть. Хорошо воспитанный Анатолий Иванович интересовался здоровьем Лиговцева, финансовым состоянием питерского фестиваля, немного рассказал о герое своего нового фильма, сдержанно пожаловался на трудности, скромно поведал о том, что на днях ему исполнится шестьдесят пять лет. Ксения искренне поздравила его, предложила выпить за юбилей, пусть и заранее. И они чокнулись рюмочками и выпили, и только тогда она поняла: эти пятьдесят грамм уже были лишними. Быстро сжевала бутерброд с красной рыбой и, сославшись на то, что в ресторанном зале душно, покинула Анатолия Ивановича. В фойе натолкнулась на милую Наташу, остановила её:
— Я хочу вам сказать, что вы очень приятная девушка. Мне отлично известно, сколько на фестивале бывает проблем, трудностей, даже неприятностей. И как вы устаёте. И тем не менее, у вас остаются силы быть внимательной ко всем, улыбчивой и… вы всё делаете на самом высоком уровне. Так держать!

Наташа покраснела, спрятала смущённую улыбку:
— Спасибо! От вас мне особенно приятно услышать похвалу, от координатора такого фестиваля! Из самого Питера!

Ксения и сама смутилась не меньше. Почему люди всегда думают: «У нас тут — это так, ерунда, а вот там, у них — это да-а!»

Она вышла на крыльцо киноцентра и… попала в западню. Хоть разворачивайся и уходи, но както глупо… На крыльце стояла Лариса. Внизу, уже на земле, около нижней ступеньки,—Алексей, в руке—недопитая рюмочка.

— А вот и Ксения!—воскликнули оба в один голос.

— Кажется, я вам помешала?—спросила та, пытаясь понять, чем был вызван такой возглас. Разговор шёл о ней?!

— Ты не можешь помешать, Ксеня,—ласково проговорил Алексей и очень медленно просканировал её взглядом снизу доверху, от носков новых коричневых туфель до всё ещё короткой непослушно торчащей чёлки.

Лариса перехватила его взгляд и с плохо сдерживаемым сарказмом спросила:

— Как вы думаете, Ксения, почему Алёша нас избегает?

— Мне так не кажется,—ответила она, якобы не понимая иронии вопроса.—Мы вполне нормально общаемся…

— Никогда нельзя до конца понять этого человека,—продолжала самозабвенно иронизировать Лара.—Посмотрите, Ксения, он—победителен и застенчив одновременно, смысл говоримого им часто маскируется паузами, как его взгляд—длинными ресницами…

— Милые, прекрасные женщины,—лукаво заговорил Алексей,—вам бы обеим по хорошему верному мужику! А я, пожалуй, пойду,—и он действительно сделал шаг к крыльцу.

Но Лариса остановила его, сказав царственным тоном:

— Что значит—пойду? Женщины о нём разговаривают, а он пойдёт. Стой и слушай!

— Вы меня расстреливаете, а я должен стоять спокойно?

— «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»,—скользко скаламбурила Ксения.

Алексей строго посмотрел на неё. Ларису несло дальше:

— Ксения, а вам известны слабые места этого мужчины? Может быть, поделитесь знаниями?

— Можно, я оставлю это при себе?..

— Так у вас уже есть общая тайна!—сверкнула Лара стёклами очков.—Алёша, ты ничего мне не говорил! Вы знаете, Ксения, он такой скрытный!

Ситуация становилась всё более идиотической. Ксения чувствовала, что ревнивая Лариса виртуозно вовлекает её в неприятную игру. Нужно было красиво исчезнуть, и, на её счастье, на крыльцо вышли Ирина и ещё двое знакомых по фестивалю мужчин—их уже ждала машина, чтобы отвезти на вокзал.

— Всё, я поехала,—поцеловала Ирина Ксению в щёку и, мгновенно оценив мизансцену, осторожно взяла её под руку и увлекла с крыльца.—Ты остаёшься?

— У меня ещё два часа до поезда…

— А то поехали с нами,—настаивала Ирина,—прогуляешься…

— Не-ет. Чего на вокзале ошиваться?..

— Ну смотри,—строго взглянула она Ксении в глаза и, обернувшись, бросила:—Всего доброго, коллеги!

Ирина села в «Волгу», помахала рукой за стеклом, и машина умчалась. Ксения пошла обратно—на крыльце уже никого не было. А в зале громче играла музыка, царил полумрак, людей стало заметно меньше. Кто-то уже ушёл в гостиницу, кто-то, как Ирина, уехал на вокзал, в аэропорт. Из знакомых здесь оставались только Анатолий Иванович, Лариса с Юлией и, конечно, Лёша. Ксения и сама не заметила, как выпила с кем-то ещё рюмочку, ещё… Ресторанный зал словно сузился, стал теснее, цветные огни влажно дрожали перед глазами, то тут, то там в полумраке мелькала белой рубашкой фигура Алексея. Он всё чаще, всё призывнее смотрел в её сторону. И она всё смелее улыбалась ему, и уже не первый раз оказывалась слишком близко, и уже кружилась голова—может быть, от выпитого, может быть, от его голоса…

Алексей разговаривал с поляком. «Кажется, его зовут Штефан»,—проползла в голове Ксении вялая мысль.

— Who is this woman?—спросил поляк.

— She is not woman. She is writer,—ответил Алексей и посмотрел на Ксению, как удав на кролика.

Смысл сказанного дошёл до неё гораздо позже, и она стояла рядом, глупо улыбаясь. Словно изпод земли выросли Лариса с Юлией. Все несли какую-то околесицу, все пили что-то, смеялись, а Алексей с Ксенией стояли в этой развеселившейся компании друг против друга, и он смотрел на неё в упор, и по губам его блуждала то ли улыбка, то ли усмешка. Ксения поймала его за пуговицу на рубашке и сказала:

— Пойдём-ка, поговорить надо…

— Пойдём!—сразу же согласился Алексей и позволил себя увести под возгласы Ларисы:

— Интересно, куда это? О чём это вы собираетесь говорить?!

Они встали у длинного разорённого стола—точнее, чуть присели на его край. Алексей, улыбаясь, ждал. Ксения молчала, и сквозь мысленный бред в её голове вспыхивало слабое опасение: «Почему он так странно улыбается?..»

— Ну, что же ты молчишь?—спросил он снисходительно.—Я слушаю тебя…

От его тона Ксения как будто отрезвела.

«А ведь он ждёт совершенно конкретных слов!—пронеслась мысль.—Ждёт, что я начну говорить о любви…»

— Трудно прямо вот так взять и сказать…— произнесла она.

— Не бойся. Это только кажется, что трудно. Надо только начать… Ну же!

Ксения взглянула на него. Алексей даже не смотрел на неё, он стоял в наполеоновской позе и сиял самодовольным профилем, покорительной улыбкой и уверенностью в своей победе.

«Лёша, Лёша… сказать: «Я люблю тебя…» — и ты нежно возьмёшь меня за руки, печально, влажно взглянешь мне в глаза и с хорошо сыгранной горечью в голосе станешь говорить о том, что тебе очень жаль, но ты не можешь разделить мои чувства… ты благодарен мне за них… что я славная… Ведь именно эти фразы ты заготовил, не так ли?..»

— Я не знаю, как это объяснить, но я бы хотела, чтобы мы не были чужими. Понимаешь?

Алексей перестал улыбаться и прислушался.

— Если бы я хотела просто переспать с тобой, это давно бы уже произошло.

— Ты в этом так уверена? — вставил он капризным тоном кисейной барышни.

— Но мне нужно не это! Совсем не это! Это слишком просто и скучно. Мне это всё уже не интересно. Я бы хотела, чтобы у нас были отношения… ну-у, такие, как… ты для меня — как отец, как старший брат…

На высоком гладком лбу Алексея сложились глубокие морщины, он смотрел на Ксению как на сумасшедшую — с недоумением и опаской.

— Знаешь, я хочу, чтобы ты это знал. Тогда, ещё на фестивале, я села с тобой рядом, в том зрительном зале, и почувствовала тебя как совершенно родного человека. Такое тепло от тебя шло, такой уют… Если ты никогда не переживал ничего подобного, то тебе этого не объяснить… Понимаешь, мне кажется, мы могли бы дать друг другу гораздо больше, чем просто… чем эти обычные отношения между мужчиной и женщиной…

— Значит, как брата? — раздражённо перебил её Алексей. — Тогда слушай, если как брата! Как отца слушай! Мы с тобой уже давно не чужие, очень давно, но я всё время чувствую себя виноватым. Ты так умудряешься строить наши отношения, что я всё время чувствую себя дерьмом! — голос его засрывался на фальцет. — Тебе надо научиться разговаривать с людьми. Общаться научиться. Я не успел приехать, как ты сразу меня унизила.

— Да я же была первой, кто тебя здесь встретил! — воскликнула оглушённая его очередной отповедью Ксения.

— И что ты сказала?

— Я… я сказала, что плохо себя чувствую…

— Нет, не это, потом!

— Когда?! Я не понимаю…

— Ты сказала, что ты смертельно соскучилась. Смертельно, понимаешь? То есть получается, что я виноват, что я заставил тебя смертельно страдать. Никому не захочется чувствовать себя виноватым! А ты всё время всё делаешь так, чтобы я…

— Disaster… — отчаянно проговорила Ксения, уронив лицо на руки. — Этот человек ничего не хочет слышать…

— Катастрофа! Конечно, катастрофа! Два человека целый год не могут договориться. Вместо того чтобы наслаждаться общением, мы всё время скандалим… Я тебя просто боюсь! Понимаешь? Ты всё время нападаешь на меня. Ты да Лара! Вы обе всё время пытаетесь меня в какой-то угол загнать. Я уже не знаю, куда от вас обеих деваться! — Алексей вдруг замолчал, посмотрел на склонённую голову Ксении и заговорил тихо, страдальчески: — Почему ты никогда просто не подойдёшь, просто не скажешь: «Лёша, как я рада тебя видеть!», просто не обнимешь меня? Почему ты из каждой нашей встречи устраиваешь сцену?

Ксения поднялась со стола, шагнула к Алексею, просунула руки ему под мышки и крепко обняла и положила голову на плечо, уткнулась в его мягкие чистые волосы. Как давно, Боже, как давно она хотела это сделать!

— Ну наконец-то! — воскликнул он, но не обнял её в ответ, его руки так и остались висеть плетьми.

А у Ксении пол стал уходить из-под ног, и тело, и мысли сразу сделались слабыми, безвольными, и ничего ей не хотелось больше, кроме как найти сейчас его губы и поцелуем заставить наконец замолчать…

«Что за дурдом…» — подумала она, но, оказалось, что не только подумала, но и произнесла, и Алексей вдруг резко оттолкнул её и со смехом, как пакостный мальчишка, отбежал к стоящим недалеко и с любопытством взирающим на происходящее трём иностранцам. И спрятался за них. Не понимая, что происходит, Ксения по инерции ещё пошла за ним, но он начал прыгать вокруг смеющихся, переговаривающихся по-английски ребят.

— Да что я, девочка, что ли, бегать за тобой в трёх берёзках? — хмуро проговорила Ксения и понуро пошла прочь.

Бред и позорище… Неужели все это видели?

Но, к счастью, люди были заняты собой, своими разговорами; по крайней мере, делали вид.

— Ксюша, автобус подошёл, — остановил её Анатолий Иванович. — Мы ждём вас на улице.

— Да, сейчас. Только с Сердцевым попрощаюсь, поблагодарю…

И она нашла президента пермского фестиваля, поговорила с ним минуту, приняла от него небольшой подарок для Лиговцева и двинулась к выходу — и, как нарочно, проходя мимо фонтанчика, наткнулась там на Данилова. Заметно покачиваясь от выпитого, он, словно невинный котёнок, играл со струйкой воды.

— Пока, — примирительно протянула Ксения ему ладонь.

— У меня рука мокрая.

— Ну, что ж сделаешь, — усмехнулась она.

— Ну вот, опять! — возвёл глаза к небу, точнее зеркальному потолку, Данилов. — Ты дура!!

Нетрезвая кровь ударила ей в голову. Она шагнула к нему:

— Что опять?! Что я опять не так сказала?

— У тебя что-то с головой не в порядке! Потому что ты ничего не понимаешь!!! Идиотка!!! Видеть тебя не могу!!! Уйди от меня, дрянь!!! Дура!!!

Безобразно пьяный, в задравшейся рубахе, с бешено блестящими глазами, потеряв всё своё барственное достоинство, посреди праздничного зала, у мирно и ласково журчащего фонтанчика, бесновался совершенно незнакомый ей человек. Но это был тот самый… самый настоящий Алексей Данилов.

— Целый год ты мне жизнь отравляешь!!! Мне ничего от тебя уже давно не надо!!! Ты сумасшедшая!!!

— Лёша! Лёша! Господь с тобой! Успокойся, Алёша!

— Что?!!! Я уже сорок три года Алёша!!! Уйди от меня!!!!

— Лёша! Милый… Дорогой мой… Успокойся… Услышь меня!..

— Ты всю жизнь будешь одна!!! Тебя ни один мужик не вытерпит!!! Кретинка!!! Пошла вон!!!

Она протянула руку к его перекошенному лицу и осторожно провела по щеке:

— Алёша, ты болен. Мне жаль тебя…

— Не прикасайся ко мне!!!

Но она уже была далеко. Очень далеко…

Ксения бежала через фойе киноцентра и очень старалась не зарыдать. Но слишком велико было напряжение этих дней, да что там — всего оставленного позади года, и оно, это напряжение, хлынуло неостановимым потоком слёз.

Она выбежала на уже тёмное крыльцо, оглянулась беспомощно. Какие-то две женщины. Сысоев терпеливо ждал её. Она бросилась к нему:

— Анатолий Иванович! Можно, я обниму вас? Как папу!

— Что случилось, Ксюшенька? — испуганно заговорил он, прижимая её вздрагивающее тело к себе. — Что случилось?

— Я думала… — всхлипывала она, — я целый год думала, что у меня есть родной человек. А его нет… его и не было никогда…

— Пойдёмте, Ксюша, успокойтесь… пойдёмте, я помогу вам сесть в автобус…

Он бережно довёл её до раскрытых дверей автобуса, помог войти, проводил на сиденье, разыскал её сумку, принёс, поставил рядом и тактично оставил одну. Но сел неподалёку, чтобы помочь в любой момент…

Автобус ехал по ночному городу на вокзал, и хорошо, что в салоне было темно, потому что слёзы могли течь свободно, их можно было не стесняться, и на вокзальном перроне так жидко светили фонари, что тоже можно было плакать и плакать…

Они сели в поезд. Анатолий Иванович донёс до её купе сумку, извинился и ушёл в своё.

Попутчица улыбнулась Ксении.

— Фестиваль у нас был. Закончился вот… — развела та руками.

Женщина согласно закивала: мол, всё понимаю.

Ксения вытащила из сумки джинсы и футболку, сходила в туалет, переоделась, умыла лицо, стёрла с глаз остатки потёкшей туши. Хороша… Поезд дёрнулся, заскрипел и пошёл набирать скорость. Когда она вернулась в купе, попутчица уже лежала на нижней полке, накрывшись с головой одеялом.

Минут через десять заглянул Анатолий Иванович, шёпотом поинтересовался, как дела. Она улыбнулась: «Всё в порядке», — вышла к нему в коридор, тихо прикрыла дверь в купе и, облокотившись на перила, глядя, как мелькают за окном тусклые фонари станций, стала рассказывать доброму, терпеливому человеку о своей жизни. Она говорила об отце, об их трудных и таких коротких отношениях, о матери, об отчиме, о том, что ничего невозможно исправить, о том, что получилось, а что нет, о том, что хотела бы успеть сделать, о том, что устала быть одна, о том, что чего-то недопонимает, а скорее всего, просто не умеет жить… Анатолий Иванович стоял, слегка опершись на стену, слушал её тихо, серьёзно, почти не перебивая, и она сама не заметила, как положила правую ладонь ему на грудь, а он тихо прижал её кисть сверху своей широкой надёжной мужской рукой.

— …я теперь думаю, что на свете нет плохих людей. Есть люди несчастные, недолюбленные, есть те, кто не понимает истинной ценности и цели жизни, не верит в Провидение, в Божий промысел… Есть те, кого обуревает гордыня, других — страх, третьих — обида на судьбу. Кого-то крепко держат земные соблазны, прелести… кто-то боится смерти, кто-то нищеты, кто-то зависимости… есть люди больные — кто физически, кто душевно. Не в смысле психики, совсем нет, а люди с больной, уродливой душой… они такими родились, они жили так… мало кому удаётся подняться над собой… это подвиг, и если человек всё-таки делает за свою жизнь хотя бы шаг вперёд, это уже очень-очень много… Конечно, есть просто конченые садисты, убийцы. Но это всё равно общая беда. И кто, кому, когда, для каких отношений, для каких уроков, для каких испытаний будет послан… нам знать не дано. Но только ни один человек на земле не встречается с другим просто так. От скуки. Богу скучать некогда… Мы все дети, маленькие, часто жестокие… Я недавно читала роман Михаила Попова «Народный театр», там два героя разговаривают о детстве. И один, уже пожилой, со сладкой грустью вспоминает своё детство, а другой,

ещё молодой, категоричный, вдруг высказывает страшную мысль… я боюсь не вспомнить точно, но смысл в том, что нет более ужасного периода в жизни человека, чем детство… он говорит, что в детстве человек ближе к животному, он находится в некоем животном беспамятстве. Маленького человека мучают дикие, иррациональные страхи, он бесконечно совершает подлости, причиняет близким боль и неприятности. Этот герой совершенно серьёзно считает, что такого эгоизма, такой жестокости, такой неблагодарности, такого тупого подчинения любому, самому бесчеловечному приказу не бывает никогда больше… Вот мне и кажется, что среди нас очень много таких так и не повзрослевших детей. И нам всем дано единственное средство для того, чтобы всё-таки повзрослеть,—любовь. Но даже любить мы не умеем… Принимать любовь не умеем… Слышали, наверное, как иногда говорят: «Вот, она такая стерва, а он её любит»,—или: «Он такой подонок, а она надышаться на него не может»? Да потому что только любовью можно спасти этих людей, этих недолюбленных детей. И те, любящие, они это понимают, они знают это интуитивно, душой знают. И любят самоотверженно, божественно любят… Но таких, по-настоящему взрослых, людей на всё человечество—единицы… Это—святые. Я не святая, я такая же маленькая, эгоистичная, напуганная девчонка…

— А мне кажется, Ксюша,—осторожно заговорил Анатолий Иванович,—что вы сегодня резко повзрослели…

— Вы так думаете?—вскинула она растерянный взгляд.

— Вам теперь нужно только научиться быть чуточку сдержаннее. Эмоции, импульсивность—это всё хорошо в юности. А вы—зрелая и очень красивая женщина.

— Надо же, никогда не думала о себе так…

— И совершенно напрасно.

— Посмотрите!—воскликнула Ксения.—Моя рука лежит прямо у вас на сердце! Вы как будто напрямую сердцем слушаете меня! Как восхитительно! Спасибо вам… Спасибо. Вы не представляете, что вы сегодня для меня сделали.

Анатолий Иванович по-отечески улыбнулся и мягко прижал её ладонь к своей груди, и Ксении почудилось, что она чувствует сквозь плотную ткань пиджака, через одежду ровное, спокойное, уверенное биение большого и мудрого сердца этого человека.

Впереди ещё оставался долгий путь. Утром и Сысоев, и попутчица выйдут, и Ксения, поистине оберегаемая самими Небесами, ещё сутки будет ехать совершенно одна в целом купе. Она сможет без стеснения плакать и плакать, радостно и с благодарностью понимая, что слёзы её светлы, чисты, легки, что душа её размягчается и освобождается от невыносимого многолетнего гнёта вины и страха…

Моторы самолёта гудели ровно и басовито, как большие деловые шмели. Алексей сделал глоток приторно сладкого сока из пластикового стаканчика и снова откинулся на спинку кресла, опрокинул чуть назад тяжёлую голову, прикрыл глаза. Казалось, что моторы гудят прямо в мозгу. Думать было трудно, лучше всего сейчас уснуть и проснуться уже на земле, в Питере. Нет, летать он совсем не боится. Наверное, четверть жизни провёл в самолётах. Уже давно привык и философски относился к возможности однажды не приземлиться. Просто не хотелось думать о вчерашнем эпизоде. От этой мысли что-то внутри у него вздрагивало, как в детстве после проделки и заслуженного наказания, как всхлипы после бурных ребячьих слёз. Он никак не мог припомнить, кто ещё оставался в ресторане на тот момент. «Да и чёрт с ними, поговорят и забудут. Плохо только, что эта ссора была слишком похожа на разборку любовников. Опять станут сочинять добрые сказки о моём донжуанстве. Ладно, всё, наплевать! В конце концов, я мужчина, мне простительно, а вот Ксении должно быть паршиво. Чего я там ей орал? Не помню. Не хочу помнить… Сама виновата. Потрясающий талант у девчонки—выводить меня из себя. Как хорошо, что у нас с ней ничего не было. Слава Богу, что не дошло до постели. Она бы вообще меня со свету сжила. Есть ведь такой отвратительный женский типаж. Мстительницы. Сами жить не умеют, только мучаются, и другим покоя не дают… Нет. Всё к лучшему. В общем-то, все остались чисты и ничем друг другу не обязаны… Всё к лучшему. Ничего не было…»

Алексей почувствовал, что на него кто-то смотрит. Приоткрыл глаза и, не отрывая голову от спинки кресла, лениво повернул её направо. На соседнем ряду у круглого оконца сидела элегантная молодая женщина. Он приметил её ещё в аэропорту, на посадке, они стояли через человека. Высокая, с очень хорошей изящной фигуркой; у неё были прекрасная, почти балетная осанка и классические, как у древнегреческой статуи пугливой нимфы, черты лица. Пожалуй, актриса или танцовщица. Только духи её не понравились Алексею—слишком густые, слишком навязчивые, не для этой лёгкой милой женщины; такими духами пусть орошают себя молодящиеся старушенции. Впрочем, с похмелья он вообще тяжело воспринимал любые запахи, сам в такие утра не мог пользоваться никаким парфюмом.

Женщина оглянулась, едва заметно улыбнулась. Алексей, словно в знак согласия, прикрыл глаза. А когда через пару секунд открыл, красавица уже смотрела в иллюминатор. Но во всей её фигуре, в её позе, слишком пристальном взгляде туда, где

смотреть было не на что — за иллюминатором только бескрайняя пухлая вата облаков, сквозила заинтересованность.

«Наверняка у неё даже пульс зачастил... — подумал Алексей. — И что вы только все от меня хотите? Если бы я отвечал взаимностью каждой заинтересовавшейся мною женщине, я бы с утра до вечера только вами и занимался. Какое уж тут кино! Был бы обвешан подружками с ног до головы. И каждая — каждая! — хотела бы быть единственной. Вот была бы битва!» Алексей даже заулыбался своим смелым мыслям. Каждая мечтает быть единственной — красивая, страшная, глупая, очень умная, расчётливая, наивная, напористая, скромная, образованная и пишущая с ошибками, пышная и плоская, как доска, страстная, чувственная и холодная, как рыбина, городская, деревенская, — не имеет значения. Все хотят безраздельно владеть любимым мужчиной. И он когда-то — а ведь не так и давно! — искал свою единственную. Когда снимал «Понедельник. Утро», взбрела вдруг в голову мысль о том, что, может быть, женщина, рождённая с ним в один год, день и час — астрологическая сестра, только и способна понять его до дна, принять как своё зеркальное отражение, как своё воплощение в мужском теле. Полсотни девочек родилось в Ленинграде тем июльским днём. Сорок одну из них он разыскал. Им всем было по тридцать шесть. А в их глазах, кроме усталости, замотанности, обиды на судьбу, недоумения, страха, недоверия, обречённости, не было ничего! Ничего живого, трепещущего, рвущегося, ищущего, зовущего. Если бы он встретил такой взгляд, он бы сразу понял: вот она. Моя единственная! И замерло бы сердце, и дыхание остановилось. Я и Я. Вот оно — моё женское воплощение. Я такой. Точнее — такая. Может быть, не слишком красива, может быть, конопата, может быть, полновата, маловата ростом, работаю бухгалтером, не умею пить и носить высокий каблук, видела Эйфелеву башню только на открытке или в телевизоре, последний раз брала в руки книгу прошлой зимой, у меня двое сорванцов и беспутный муж, но я так хочу вырваться! Я знаю, что можно, нужно жить как-то иначе! Я хочу встречать с тобой рассвет на железной крыше старого питерского дома, хочу мчаться под весенним ливнем к тебе на свидание, я хочу обнять тебя и молчать, молчать, потому что ничего не нужно нам говорить друг другу, потому что мы и так всё-всё друг о друге знаем, потому что мы — две идеально равные половинки. Тебя и меня создал Господь, и мы счастливцы, потому что встретились, потому что нашлись. Давай начнём жизнь сначала, ведь нам всего-то по тридцать шесть!

Но эти женщины, очень медленно, постепенно изживая своё недоверие к странному, наверное, не совсем нормальному человеку с кинокамерой, начинали жаловаться на судьбу, спрашивали совета, ждали помощи, завидовали, плакали, занимали денег, приглашали выпить, даже переспать, но ни одна не смогла разглядеть в нём родственную мужскую душу. Они, в лучшем случае, воспринимали его как Старшего Брата. И он слушал, слушал их бесконечные исповеди, смотрел и смотрел на их слёзы и сперва жалел, старался понять, помочь. Пока не устал, как-то сразу, вдруг, в один день. Потому что понял: они могут жить только так, как живут, они жалуются, но ничего не предпринимают, не стремятся что-то изменить. Им удобно находиться в состоянии жертвы. Приятно сидеть, жалеть себя и ждать помощи от кого угодно — от него, от государства, от доброго барина, от справедливого Бога. Так пусть живут так и дальше. А он будет двигаться вперёд — и искать, искать, покуда хватит сил и веры...

И вот прошли годы, и уже давно за сорок, и столько пронеслось за это время мимо женских лиц, характеров, судеб. И ни с одной не было той лёгкости, той безоблачности, той открытости, того единения и душевного родства, о которых он так мечтал. Наверное, уже и не будет. А тогда зачем ещё и ещё раз начинать всё заново, когда в начале знаешь, чем может закончиться очередная романтическая история?..

Поэтому пусть улыбается ему эта красивая элегантная женщина, он не пойдёт за ней. Потому что единственное, чего ему сейчас действительно хочется, — это оказаться в своей тихой квартирке-кабинете. Забраться в неё, спрятаться от всех своих и чужих проблем и забот, от ссор, от выяснений отношений, от прошлых и будущих грехов и проступков, как в детстве прятался от скандалящих родителей в большой старинный платяной шкаф. Там, в душной безопасной темноте, среди приторно пахнущих нафталином пальто и шуб, он засыпал сладко-сладко, и однажды ему приснились добрые, весёлые, любящие его мать, отец, дед, дядька, ещё какие-то родственники. Они все сидели в большой светлой избе, за длинным-длинным столом, покрытым чистой белой скатертью, и он прибегал к ним, заспанный, со смятыми ото сна волосёнками, и они улыбались ему, и брали на руки, и целовали, и щекотали усами, и передавали друг другу — с одних крепких, надёжных рук на другие. И никогда в жизни, наяву, он не был так счастлив, никогда не чувствовал себя таким защищённым...

Через неделю Алексей улетел в Амстердам на переговоры с голландскими продюсерами. Он задумал гигантский проект, съёмки которого должны были проходить в разных частях планеты. Безумно дорогостоящее предприятие. Но голландцы оценили задумку по достоинству и взяли на себя сорок процентов расходов, остальное по частям уже

начали перечислять бельгийцы, немцы, англичане и испанцы.

В конце июня «Зазеркалье» получило на питерском фестивале золото как лучший короткометражный фильм российской конкурсной программы. Кудрявый мечтательный кентаврёнок с венком в тонких ручонках занял своё место на книжном стеллаже среди других статуэток. Ещё на двух мировых фестивалях последняя картина Алексея Данилова получила приз зрительских симпатий. Все неприятности, связанные с этим фильмом, отходили на задний план рядом с большой, интересной и напряжённой работой, которая ждала знаменитого режиссёра впереди. Он чувствовал в себе силу и творческое нетерпение, схожее с мелкой мышечной дрожью резвых ног молодого коня, застоявшегося в стойле, жадно принюхивающегося к весеннему влажному воздуху. Ещё немного, и его выпустят на волю, на простор, и он покажет всю свою прыть, всю свою стать, весь свой азарт и талант и, уж поверьте, оправдает вложенные средства. И с гордо поднятой головой, ухоженный, красивый, благополучный, он проследует в голове общего парада. И пусть любуются, пусть завидуют, пусть шепчутся, пусть смотрят во все глаза…

На последнем фестивале Ксения чувствовала себя усталой и опустошённой. Что-то подсказывало ей: надо двигаться дальше. Куда — пока непонятно. Фестиваль для неё перестал быть праздником, работа начала казаться всё более рутинной, бессмысленной. Ведь она, по сути, обслуживала чужое творчество, чужой успех. Здесь она уже ничего нового открыть для себя не могла, и мысли её всё чаще стали устремляться в иное русло — к уединённым размышлениям. Так хотелось тишины и покоя. Нужно было до конца разобраться в пережитом, чтобы не тащить проблемный «мешок с шерстью» в солнечный город будущего. Она чувствовала, что начинается какой-то совершенно иной этап в её жизни. Он ещё только в зачатке, едва брезжит, но уже не позволяет жить как раньше, не даёт стоять на месте.

Алексей приходил на фестиваль, но они даже не здоровались, обходили друг друга на безопасном расстоянии. Он смотрел в её сторону мрачно и напряжённо. Ксении было и смешно, и грустно видеть, как он старательно избегает её. Простое человеческое «здравствуй», брошенное походя, примирило бы её с собой, помогло бы не бояться вынужденных официальных встреч с ним. Так или иначе, они всё ещё в одной тусовке, почему бы не соблюдать политес? Или он всерьёз держит её за сумасшедшую? Смешно…

В конце концов, ничего между ними не было. Никто никому ничем не обязан. И по большому счёту — никто ни в чём не виноват. Так сложилось. А значит, всё к лучшему… Хотя многое осталось ей непонятно в их странных, не совсем здоровых отношениях. Зачем её чувства дали такой труднообъяснимый зигзаг: от неприязни к человеку до его обожания и дальше — к горькому недоумению? Насколько всё произошедшее было красиво, а насколько ужасно? Трагедия это была или фарс? Лет десять назад это могла быть стопроцентная трагедия — она не вынесла бы подобного потрясения и унижения. А сейчас — сейчас иногда даже посмеивалась, вспоминая отдельные эпизоды их общения. Могла ли эта история иметь другое развитие и более радостный финал? Или такое завершение их отношений и есть тот самый счастливый вариант? Одно несомненно — за прожитый год она здорово изменилась. А он? Его хоть что-то как-то затронуло? Неизвестно. Непонятно… А там, где что-то непонятно, где хочется разобраться, — рождается искусство. Уж она-то знала это наверняка…

Юрий Хабибулин

Демаскирующий признак

1974 год, весна, гарнизон «Победа», в/ч 61615, окрестности г. Гардабани, Грузия

— Восемь триста пять! П-а-м-о-о-чь! — по огромному залу техцентра, с «параллельно-линейным» расположением постов радиоперехвата справа и слева от центрального прохода, перекрывая стук пишущих машинок, гудение вентиляторов охлаждения аппаратуры и негромкую разноголосицу эфира, несущуюся из лежащих на столах наушников, разнёсся отчаянный крик.

И сразу же в спёртом воздухе помещения, провонявшего запахами табачного дыма и дешёвой мастики, будто бы прокатилась невидимая ледяная волна, окатывая персонал холодом и тревогой, мобилизуя, захватывая внимание и заставляя свободных радистов тут же встряхнуться от дремоты и приятных воспоминаний с гражданки.

Полундра, братцы!

Свистать всех наверх, заделать, заткнуть собой пробоину! Вытащить из помех и федингов, на пределе слышимости, на чутье, интуиции, на ясновидении, на японской маме, на чём угодно, нужный позывной из какофонии помех! Принять и записать шифрограмму, имеющую, возможно, огромное значение для безопасности страны.

На спецузле радиоразведки и дальнего перехвата, относящемся к оперативному подразделению 16-го Управления КГБ СССР, просто так на боевом дежурстве не орут.

Это чрезвычайная ситуация.

Турция, Трабзон, часть № М-34 Кара-Денизского военного округа

Настоящий кофе должен быть чёрным, как ад, сильным, как смерть, и сладким, как любовь.

Командир части полковник Исмаил Эрдинч отхлебнул глоток из изящной фарфоровой чашечки и довольно прицокнул языком. Кофе, приготовленный вышколенным адъютантом, был отменным и полностью соответствовал смыслу старинной поговорки.

Полковник медленно, с наслаждением допил кофе, поставил пустую чашку на стол и с удовольствием откинулся в мягком кожаном кресле.

Окно в просторном кабинете было открыто. Два вентилятора, один на столе, другой под потолком, работали бесшумно и создавали в комнате приятный свежий ветерок, от которого слегка шевелились разложенные на столе бумаги.

Один лист, с распечатанными на пишущей машинке колонками цифр и набросанным чуть ниже карандашным текстом, лежал отдельно в центре стола и грел душу хозяина кабинета. В который уже раз полковник пробежал глазами только что расшифрованную личным ключом радиограмму, полученную сегодня ночью из генерального штаба Минобороны Турецкой Республики. С удовлетворением подумал: «Слава Аллаху, всё идёт по плану! В части всё в полной готовности: офицеры отозваны из отпусков, бронетехника заправлена и укомплектована боеприпасами под предлогом предстоящих учений. Диспозиция сил окончательно ясна. «Соседи» справа и слева — союзники. Проблем при необходимости выдвижения и захвата важнейших стратегических объектов округа быть не должно. Военный переворот просто обречён быть успешным!»

И тогда…

У Исмаила Эрдинча глаза непроизвольно устремились ввысь, к потолку. Если всё получится как надо, то его, перспективного офицера, слишком долго задержавшегося на периферии, ждёт головокружительная карьера в центральном аппарате Минобороны. Преданных людей командующий ценит и приближает.

Полковник мечтательно прикрыл веки, с удовольствием вдохнул чистый воздух, засасываемый вентиляторами с близкого побережья через открытые окна кабинета, крутнулся в кресле.

Через несколько дней его личный радист Селим принесёт долгожданную радиограмму от командующего с часом Х — временем взятия власти в свои руки военными. Содержание радиограммы будет совершенно безобидным, никто из службы радиоконтроля ничего не заподозрит. Прочитать секретное сообщение можно, только применив личный шифр-ключ полковника.

Когда Эрдинч получит повышение и переедет в Анкару, он обязательно возьмёт Селима с собой. На новом месте понадобятся доверенные люди, особенно опытные связисты, радисты-скоростники, владеющие современной техникой и методами защиты трафика от перехвата. А Селим — ас! Проходил спецподготовку в Штатах.

Когда около года назад к Исмаилу Эрдинчу на каком-то совещании как бы случайно подошёл один из заместителей командующего и, осторожно прощупав настроения полковника и его взгляды на будущее когда-то великой Османской империи, предложил возможность посодействовать возврату былого величия, тот согласился сразу.

Почему?

Потому что он в душе давно выбрал между действующим продажным «светским» правительством и патриотами, которые хотят вернуть страну под сень законов фундаментального ислама. Вернуть забывающиеся ныне традиции предков и строгие устои шариата. Турция—великая мусульманская страна, и она должна сохранить в неприкосновенности все наставления Корана, а не идти на поводу у неверных, у недалёких, перехитривших самих себя американцев и европейцев, несущих миру свою идиотскую «демократию», ювенальную юстицию, лукавую «политкорректность», финансовые и другие надутые мыльные пузыри «современного просвещённого общества», которые рано или поздно, лопнув, похоронят не только сдуревшие Америку и Европу, но и весь мир…

Когда Исмаил Эрдинч думал об американцах, на него тут же накатывало глухое раздражение. Он терпеть не мог наглость и бесцеремонность янки, их примитивные методы выкручивания рук дипломатам угрозами, компроматом, подарками, соблазнение наивной молодёжи так называемыми «западными ценностями» и пустышками-стразами: тупыми развратными фильмами, модными вещами и тряпками, вседозволенностью, распущенностью.

Разрушить устои общества, созданные за столетия, легко, если расчётливо использовать лживые лозунги, беззубое правосудие и соблазны от шайтана!

Граждане каждой страны должны жить на своей территории по своим законам, а не перенимать чужие! Даже навскидку видно, какие скрытые цели преследуют гяуры! Но у них есть деньги, военная сила и… масса разных привлекательных штучек, на которые попадаются, как мухи на мёд, не только молодые люди, но и некоторые ценители роскоши, удовольствий и комфорта из высшей турецкой элиты.

И это очень плохо!

Если так, как происходит сейчас, будет идти дальше, то очень скоро патриархальная Турция из страны бывших строгих нравов и традиций превратится в такое же развращённое и умирающее феминистское государство, как те же Штаты, Европа или СССР. Страны, где формально у власти вроде бы находятся мужчины, а в реальности, по втихомолку протащенным через парламенты и другие структуры законам, правят феминистки будто бы от имени всех женщин, защищая не интересы нации, а свои собственные, эгоистические и откровенно блядские, поощряющие полигамию, лесбиянство, сексуальные провокации и тому подобные «свободы личности».

Институт семьи в этих странах последовательно разрушается, влияние Церкви задавлено и существует лишь формально, мужчины—мужья и отцы—подвергаются откровенной дискриминации. Там процветают проституция, «женский бизнес» на разводах с отъёмом имущества и детей у мужей, «стервомания», вознесение в СМИ деловых и моральных качеств «свободных раскрепощённых женщин» с одновременным шельмованием всех мужчин как бездельников, насильников и дураков.

Преступления и глупость, безответственность многих женщин, их скрытые мотивы и природные, установленные Всевышним ограничители, такие, например, как телегония, гормональные бури в определённые дни, физическая немощь, специфическое мышление, замалчиваются или искажаются профеминистскими СМИ и ТВ. Ни Русская православная церковь в СССР, ни Национальный совет церквей США, ни католическая церковь в Европе, хотя и знают о проблеме, не могут противостоять тайному и мощному феминистскому лобби в правительствах самых развитых стран мира.

Там вопят о правах человека, подразумевая при этом права исключительно женщин-карьеристок и феминисток, совершенно забывая о правах мужчин и балансе устойчивости общества, законах его существования и воспроизводства.

Эксплуатируют всюду присказку «женщины и дети» только в плане получения дополнительных льгот и преимуществ для небольшого круга избранных, лишая подавляющее большинство всех женщин счастья иметь нормальную семью и совершенно забывая о другой стороне значения растиражированного словосочетания: женщины *как* дети. И за теми, и за другими нужен строгий надзор мудрого мужа, главы семьи!

Давая неразумным бабам волю, теряя контроль над генофондом, нарушая все заветы Всевышнего, недальновидные подкаблучники-мужики постепенно подводят свои страны к катастрофе.

Женщин освобождают от уголовных наказаний или настолько их смягчают, что можно не опасаться сколько-нибудь серьёзных неприятностей чуть ли не за любое преступление. Отсюда у многих недальновидных, но наглых стерв появляется чувство безнаказанности, вседозволенности, эгоцентризма.

И мир, в котором управляют сварливые злобные бабы, такие, как, например, нарисованная у русского писателя Пушкина в сказке о золотой рыбке, начинает рушиться…

Исмаил Эрдинч и все правоверные мусульмане понимают угрозу и изо всех сил сопротивляются навязываемому извне «окультуриванию».

Это постепенное загнивание и смерть нации!

Насаждение «западных ценностей», троянского коня с разрушающей любое общество феминистической начинкой, и является одной из главных причин трений и сложностей в отношениях со Штатами и Европой. А те делают вид, что не понимают сути проблемы, и в то время, когда мужчины в их странах постепенно превращаются в зависимых от злобных мегер слуг, граждан второго сорта и просто рабов, западные СМИ кричат на весь мир, что мусульмане «дремучи» и не хотят принимать «свет цивилизации»!

Глупость и наглая ложь!

Нет, истинные правоверные никогда не примут даров от данайцев, не будут пить из отравленного источника!

Пусть эти «дарители» травятся сами! Когда они станут слабыми, изнеженными, беспечными, погрязнут в наслаждениях, как древние римляне, перестанут воспроизводить мужчин-воинов, то их земли окажутся без защиты, и туда придут те, кто следовал воле Всевышнего, сохранил генофонд, патриархальные традиции, семейные ценности, не нарушал мудрых, выстраданных самой жизнью законов предков!

Полковник Исмаил Эрдинч, его единоверцы, большинство истинно верующих из других основных мировых конфессий правильно понимают суровые законы природы. И, если понадобится, умрут за свои убеждения. Ради будущего своей родины. Ради будущего своих детей.

Гарнизон «Победа», в/ч 61615,
окрестности г. Гардабани, Грузия

Большие круглые часы «Терек», висящие на стене над дверями зала техцентра, показывают четыре часа. За окнами темнота.

В ночных дежурствах есть свои приятные и неприятные моменты. Смена, которая дежурит с двух часов ночи до восьми утра, как правило, не загружена работой. Опекаемые сети неактивны, «вероятные противники» и «вроде бы друзья-союзники» в основном отдыхают. Трафика почти нет. Барабанить по клавишам пишущих машинок, крутить ручки приёмников и жечь нервную систему не требуется. Можно расслабиться, послушать свободным ухом музычку, «буржуинское» враньё или покемарить в позе, издали воспринимаемой как «напряжённое бдение на посту». Правда, если начальник смены, проверяющий из штаба или спецотдела незаметно подкрадётся и на месте проконтролирует, чем занимается в данную минуту радист, то отхватить пять нарядов вне очереди можно так же просто, как опрокинуть стопочку.

В общем-то, ночью скучно.

«Зелёный молодняк» тренируется в приёме морзянки, гоняет магнитофонные записи радиограмм, портит бумагу и гробит изношенные пишущие машинки. На местном жаргоне это называется «забубенивать до малинового звона». В ушах и мозгах. И ещё потом от тысяч ударов по жёстким механическим клавишам долго болят чувствительные кончики пальцев, особенно после наряда на кухне, когда котлы и посуду на тысячу человек три раза за сутки приходится отдраивать горячей водой с горчицей.

Официальное название упражнений с пишущей машинкой—СЭС, станционно-эксплуатационная служба. Это главный предмет при сдаче на следующий класс воинского мастерства.

Опытные спецы из старослужащих и прапорщиков в ночные часы предоставлены сами себе. Кто-то в свободном поиске ищет новые вражеские сети, кто-то просто бдит за контрольными частотами или изучает матчасть, а кто-то пытается развлечься, придумывает какой-нибудь смешной прикол, размышляет о смысле жизни или пишет стихи.

Из последних «приколов-изобретений» среди некоторых скучающих старослужащих была технология заправки середины сигареты соструганными со спичек крошками фосфора. Когда кто-нибудь из соседей подходил «стрельнуть», ему предлагалось взять из пачки «случайно» выдвинутую «модифицированную» сигарету. Или подменить сигаретку в пачке при отсутствии хозяина. Ну а далее…

В зависимости от величины заряда спичечного фосфора недалеко от губ незадачливого курильщика происходил «большой бабах» с приличной вспышкой. Пострадавший в шоке иногда падал со стула с опалёнными губами или усами, а подлый «террорист» внутренне бесновался в полном экстазе.

После случившегося вся смена обычно беззлобно подшучивала над жертвой и слегка расслаблялась.

Кто виноват? Да никто! Просто сигарета такая «неправильная» попалась. На заводе сделали.

В этом невинном развлечении вроде бы не было ничего страшного до тех пор, пока один из «дедов-асов», не включив магнитофон, демонстрируя «высший пилотаж» и неуместную браваду, небрежно, без страховки, принимал важную радиограмму с «заряженной» сигаретой в зубах. После срабатывания подложенной петарды «ас» не только свалился на пол и, ударившись виском о металлическую кромку стола, получил небольшую временную контузию, но и «проссал» важный циркуляр с пометкой «Срочно. Совершенно секретно».

Это было уже серьёзно.

«Ас» получил пять нарядов вне очереди, обещание от начальника смены драить сортиры части до самого дембеля и страшный разнос от командира подразделения. От более жёстких мер беднягу спасли только прошлые заслуги.

Если бы «дед» не выделывался и включил магнитофон, как предписывала инструкция, то никто об инциденте и не узнал бы. А так…

Прокол «слухачей» грозил неприятными последствиями — нашествием кучи комиссий, проверяющих уровень «боевой и политической» подготовки личного состава, выявляющих недостатки в оперативной работе, несоответствие служебному положению отдельных командиров, наказывающих случайно попавших «под раздачу».

Часть бы долго «трясло». Она вполне могла лишиться и гордой приставки «отличная», и некоторых связанных с этим преференций. Никому сие не было нужно. И прежде всего — самому командиру части, полковнику-инженеру Дудичу.

Как выкручиваются в таких случаях находчивые советские офицеры?

Находят «нестандартные» тактические решения. Для того и учились в академиях. Ну, и не исчезли ещё из армии такие вещи, как взаимовыручка и боевое братство.

Спас Дудича командир родственной части, базирующейся недалеко, у Джандарского озера. Передал запись перехваченной радиограммы на плёнке. При этом, конечно, выпили. И за связистов, и за госпожу-удачу, и за друзей-однополчан из академии Дзержинского, разбросанных по всему свету…

Выпили от души, не мелочась. После той пьянки Дудич потом три дня отходил. Но боевую задачу решил. Ни одна единица важного трафика не была пропущена!

Некоторые особо важные направления в ведомстве дублировались. Справедливости ради надо сказать, что время от времени помогали не только «джандарцы» «Победе», но и «Победа» им. Всяко случалось…

В общем, обошлось тогда дело. Но после того случая строже стало. «Петарды» стали взрываться значительно реже. А уж когда против «минёров-подрывников» пострадавшие разработали эффективные ответные меры, то опасные «развлечения» постепенно вообще прекратились.

Вычислить шутника «постфактум» было не так уж и сложно. Главное, не оставлять свои сигареты где попало и не «стрелять» их у разных лиц с тёмной репутацией.

Практиковалось два вида возмездия: обычно вначале «мокрое», а если «товарищ не понимает», тогда «жёсткое».

«Жёсткое» возмездие — это обычная «тёмная» в подходящее время, в подходящем месте. С болезненными физическими последствиями.

А «мокрое» возмездие — о-о… это нечто! Это бессовестное, утончённое, коварное, можно сказать, садистское издевательство над провинившимся насмешником. Над самыми интимными струнами его души. В оправдание себе «мстители» говорили, что, во-первых, на боевом посту солдат должен замечать всё вокруг и бдеть, чтобы враги не могли подкрасться, во-вторых, надо отвечать за свои поступки, в-третьих, надо крепить стойкость советских воинов в любых неожиданных обстоятельствах, и в-четвёртых, учиться выходить сухим из воды.

С последним, правда, ни у кого из «воспитуемых» так и не получилось ни разу.

Разработанная секретная технология «мокрого» возмездия была до изумления простой, учитывающей особенности «параллельно-линейного» расположения постов.

Каждое рабочее место радиста состояло из большого стола, на котором располагались: металлический ящик с антенными коммутаторами, различная спецаппаратура и два — четыре здоровых, размерами с небольшие холодильники, выкрашенных серой молотковой эмалью приёмника Р-250-М2. Если их было четыре, то они ставились «в два этажа», друг на друга. Под столом или в отдельной стойке-этажерке находился бобинный магнитофон-регистратор «М64-Звук». Дополняли оснащение поста вращающийся фанерно-металлический стул на роликах и ещё одна стойка-этажерка для пишущей машинки типа «Оптима» или «Украина» с латинским шрифтом. Машинка комплектовалась кронштейном с бесконечной бумажной лентой.

Соседи, сидящие на одной линии постов, прекрасно видели друг друга, а вот те, кто размещался в следующем ряду, впереди или сзади, попадали в «мёртвую зону». Приёмники и коммутаторы стояли плотно, закрывая один ряд от другого почти непрерывной стеной. Но с отдельными небольшими просветами.

Вот через эти-то просветы и проводились «тайные операции».

От рулона бумаги для пишущей машинки отрывалась «портянка». Затем бумага сворачивалась в длинную трубку с небольшим конусом и, под наклоном, просовывалась через малозаметное подходящее отверстие в непрерывной стене из аппаратуры прямо в карман х/б или к ширинке приколиста-взрывника.

Естественно, что путём скрытого наблюдения выбирался момент, когда «объект возмездия» терял бдительность — дремал или слушал музыку. Вот тут-то всё и случалось.

В воронку заливалась некая жидкость, состав которой обычно зависел от степени вины наказуемого. В одном случае это могла быть обыкновенная вода из крана, в другом… сами понимаете что…

После акции трубка мгновенно втягивалась обратно, как перископ подводной лодки, и найти какие-либо улики становилось невозможным даже для детектива уровня Шерлока Холмса.

Далее понятно. Через несколько секунд жидкость пропитывала х/б и доходила до рецепторов на коже. Наказуемый начинал ощущать дискомфорт, ёрзать на стуле, вертеться. Потом догадывался

встать и посмотреть на штаны. Какой он при этом имел идиотский вид, можно себе представить.

Естественно, этого момента все посвящённые ждали. Невзначай появлялись, выражали сочувствие:

— Ну как же это ты так обоссался? Да на боевом посту? Ты что, заболел, что ли?

Наказанный, снизу весь мокрый, умирая от стыда и позора, шёл через весь зал к начальнику смены отпрашиваться в сортир и долго оттуда не возвращался, застирывая штаны и удивляясь тому, как это он не почувствовал течения физиологического процесса.

Наказание повторялось несколько раз, чтобы «лучше дошло». Сердобольные «друзья» морщили носы, жалели страдальца и что-то говорили о плохом воздухе, проблемах с нервами и энурезе, который нужно лечить, пока не поздно. Когда наказанный испивал чашу унижения до дна, доходя до нужной кондиции, пытку прекращали, поздравляли с «выздоровлением».

Каким-то шестым или седьмым чувством пострадавшие обычно улавливали отдалённую связь между своими невинными развлечениями — петардами в сигаретах — и возникшим вслед за этим внезапным странным заболеванием.

Приходили возвышенные мысли о Боге, который всё видит и посылает кару с небес. Приколы с петардами переставали привлекать. Находились другие, более достойные занятия.

Турция, Трабзон, часть № м-34
Кара-Денизского военного округа

Капитан Селим Мехмед после беседы с полковником Эрдинчем прошёл в свою комнатушку, находящуюся в техническом помещении под самой крышей штаба, открыл окно и, облокотившись на подоконник, уставился вдаль.

Там, далеко-далеко, где тонкая изогнутая ниточка горизонта соединяла море и небо и где ничего нельзя было разглядеть без мощной оптики, пряталась тайна. Неизвестно, чего ждать оттуда через час, завтра, через неделю. То ли шторм с дождями или цунами, то ли вражеские корабли, то ли долгую тёплую и солнечную погоду.

Неопределённость почти такая же, как и в жизни, с той лишь разницей, что если на стихию и волю Всевышнего повлиять нельзя, то на личное будущее умными или глупыми поступками — элементарно.

Полковник много чего хорошего сделал для Селима: продвигал по службе, посылал на стажировку в Штаты, помог жене и дочкам устроиться на хорошую работу. Селим был перед ним в долгу. А долги, как известно, надо платить.

Но, по правде говоря, после памятного откровенного разговора с Эрдинчем, когда тот объяснил капитану простыми словами положение дел в Турецкой Республике, интересы «светского» правительства и цели патриотов — высших офицеров Генштаба, законспирированной военной организации по подготовке государственного переворота для возврата к национальным ценностям и традициям, Селим почувствовал, что этого давно хочет и он сам, и миллионы настоящих турок.

В душе не было диссонанса между пониманием воинского долга и счастьем Турции, её граждан.

Селим не хотел, чтобы его дочери так же, как американские шлюхи, европейские бляди и русские «наташи», развлекающиеся или зарабатывающие первой древнейшей профессией на пляжах Антальи, базарах Трабзона, в отелях Стамбула, Анкары, Аданы, стали «раскрепощёнными» и «успешными» «бизнес-вумен», бездетными, бессемейными и трахающимися с кем попало. Такое могло привидеться только в страшном сне…

Жена Селима, Гюльбахар, тоже бы этого не хотела; более того, она бы просто умерла от горя и позора.

Святое назначение женщины — прежде всего дети, семья, муж. У каждого человека — у мужчины, у женщины — свои обязанности в земной жизни, которые нужно выполнить для своей страны, своих детей и рода. Горе тому народу, кто забудет об этом. Рано или поздно он просто исчезнет с лица земли, а его место займут другие социумы, которые не потеряли нравственных устоев, не забыли заветов отцов и не утратили контроль над стадом, бездумно бросающимся на чужеземную яркую, но отравленную сочную траву…

Новоиспечённые феминистки, «бизнес-вумен», скрытые шлюхи и лесбиянки — это дезертиры от природных обязанностей в обществе, демагоги и мошенники, спекулирующие на самом святом для любого народа: на детях, на моральных табу, на правах человека.

А потому Селим без всяких сомнений будет на стороне лучших людей Турции, желающих прекратить сползание страны к бессовестным и бесчеловечным «западным ценностям».

Преобразования грядут, и уже скоро…

Селим глубоко вздохнул, отошёл от окна и уселся за стол, на котором стояли блоки радиостанции, лежал аппаратный журнал и на кромке столешницы был закреплён телеграфный ключ.

Капитан включил питание аппаратуры, надел наушники и, услышав привычное шипение эфира, покрутил ручку настройки трансивера.

Пять килогерц вправо, пять килогерц влево от заданной частоты. Если у корреспондентов к сеансу связи есть сообщения, то они будут приняты. Если нет, то после обмена приветствиями и кодовыми фразами радиостанции замолкнут до следующего «свидания».

У самого Селима пока радиограмм для передачи нет. Может быть, до конца дежурства принесут,

а может, и нет. Это уж не от него зависит. Он всего лишь радист, его функция — принять-передать текст без ошибок и согласно инструкции по радиомаскировке провести определённые «мероприятия» во время сеанса связи для защиты шифровок от перехвата «любопытными» разведслужбами иностранных государств. А уж это Селим делать умеет. На курсах в США его хорошо научили. Даже бумажку специальную дали о высоком квалификационном уровне. Селим на отлично сдал все экзамены.

Единственное, чего он не любит, так это работать на модном сейчас электронном ключе. Скорость передачи с ним больше, но, во-первых, теряется твоё внутреннее «я», индивидуальность и возможность эмоционально «самовыражаться» через упругую ручку ключа, посылающую сигналы через пространство далёким коллегам, во-вторых, многие из них, из-за ограничений слуха, небольшого опыта или местных помех, всё равно не могут принимать радиограммы на большой скорости.

Тут работает «человеческий фактор». Да и потом — ещё один важный момент: по личному «почерку» радиста Селим всегда узнает, кто за ключом и даже какое у него настроение и самочувствие в данный момент. Как ни крути, а это в военном деле важный момент. «Чужого», новенького или «подставного» оператора всегда узнаешь и на проверочных мероприятиях со сменой частот, диапазонов, направленных антенн и кодовых слов выявишь замаскированного врага.

Гарнизон «Победа», в/ч 61615,
окрестности г. Гардабани, Грузия

В наушниках жила и дышала Вселенная. Сергей давно уже воспринимал шум эфира как дыхание живого существа. Иногда оно злилось, рычало, свистело, грохотало, как взбесившийся океан в двенадцатибалльный шторм, а иногда нежно ласкалось, рассказывало что-то о себе странными звуками из космоса, голосами далёких радиостанций и непостижимой для непосвящённых музыкой морзянки.

Сергей у радиоприёмника чувствовал себя Одиссеем, плывущим на утлом кораблике по безбрежному морю. О корму бились ленивые волны, где-то в лазурной глубине мелькали хищные силуэты огромных акул и каких-то подводных чудовищ, над мачтой кружили и кричали альбатросы, а уши заливало сладкой патокой и звало куда-то в таинственную даль очаровывающее и гипнотизирующее пение сирен.

Это был особый, неповторимый мир, мир радио, который Сергей открыл для себя совершенно случайно, когда стал заниматься в кружке радиолюбителей на станции юных техников, ещё учась в восьмом классе.

Антенны, фидеры, передатчики, приёмники, международные коды, экзотические страны и увлечённые общим делом друзья захватили тогда всё внимание и свободное время Сергея, подтолкнули к выбору профессии радиоинженера-связиста.

Отучившись год на вечернем отделении института, по призыву попал в армию, сначала в учебку, а потом в подразделение «слухачей» радиоразведки. Быстро втянулся в работу, здорово помог радиолюбительский опыт. Всё было знакомо по гражданке, разве что пришлось осваивать пишущую машинку.

Освоил. С большим запасом выполнял норматив мастера, но солдатам-срочникам редко разрешали сдавать официальный экзамен на высшую планку. В штабе говорили, что денег по этой статье расходов на всех не хватает. За классность полагалось денежное довольствие — пятнадцать рублей в месяц за первый класс и двадцать пять рублей за мастера. Потому со значком «М» ходили в основном прапорщики.

Сергей из-за этого особо не расстраивался. Главное ведь не железка на груди или какая-то там бумажка в кармане, главное — не выглядеть асом, а быть им!

За окнами весна, скоро дембель, есть о чём подумать. Надо подготовить себе достойную смену на несколько освоенных сетей. Под контролем Сергея полиция и жандармерия Ирана, Минобороны Турции, некоторые диппредставительства США. Три приданных стажёра-солобона из первогодков усердно долбят по клавишам и осваивают премудрости военно-учётной специальности ВУС-087.

В «своих» сетях Сергей узнаёт каждого радиста по почерку, по характерному фону несущей передатчика, по «жёстким» или «мягким» фронтам телеграфных сигналов, по «кваканью», «взлаиванию», «плачу» и другим особенностям «голосов» чужих радиостанций.

Из-за этих самых особенностей и трудно разбираемого индивидуального почерка многие, даже опытные, операторы на первых порах вообще не в состоянии распознавать отдельные знаки Морзе, так же как обычные грамотные люди — буквы и слова, написанные неразборчивым рукописным шрифтом.

Искусству безошибочно принимать «чужеземные» закодированные радиограммы, да ещё с неповторимыми «местными акцентами» и мероприятиями маскировки, нужно учиться долго. Стажёрам предстоит немало попотеть и недоспать…

Турция, Трабзон, часть № М-34
Кара-Денизского военного округа

В соответствии с поступившим из штаба Минобороны приказом, предписывающим произвести очередную инвентаризацию резервных и запасных частот, проверку техники и связи, а также навыков радистов, Селим, после разговора с полковником

Эрдинчем, регулярно проводил, кроме плановых, ещё и дополнительные «тестовые» сеансы связи. За армией были закреплены частоты так называемой «второй очереди», на случай войны или форс-мажорных обстоятельств.

Эта «спящая» сеть очень пригодилась командующему для координации действий, уточнения задач и подготовки военного переворота.

В целях «тестирования» качества связи по запасным частотам передавались как пустые проверочные сообщения, так и зашифрованные радиограммы для командиров воинских соединений, давших согласие на участие в путче.

Селим и другие корреспонденты «спящей» сети работали в ней с максимальной скрытностью, с новыми позывными и кодами.

В связи с задачами, разъяснёнными полковником Эрдинчем, и во исполнение приказа командующего у Селима появились теперь и ночные дежурства.

Гарнизон «Победа», в/ч 61615,
окрестности г. Гардабани, Грузия

Пару недель назад, в свободном поиске во время очередного ночного дежурства, Сергей случайно наткнулся на морзянку, передаваемую радистом с очень знакомым почерком. Характерное затягивание последнего тире в знаке, нерегулярные паузы между группами символов, «журчащий» звук сигнала и некоторые другие детали сразу вызвали из памяти «портрет» одного из корреспондентов «опекаемой» турецкой сети. Его почерк, привычки и «индивидуальные признаки» радиосигнала за многие часы наблюдения и перехвата были изучены Сергеем досконально. Как манера говорить и тембр голоса старого друга. Или врага.

Только вот что этот турецкий корреспондент делает в неурочное время на незафиксированной в паспорте поста частоте?

Личная инициатива радиста, не связанная со службой? Может, подрабатывает человек где-то в коммерческой структуре? Такие случаи уже бывали в практике оперативной работы. Или произошли неожиданные изменения в трафике, частотном расписании? А может, учения? Или… какие-то местные чрезвычайные обстоятельства?

У турок давно проблемы с курдами, выступающими за отделение почти трети территории республики и создание собственного государства. Периодически на востоке Турции случаются террористические акты, проводятся полицейские и военные операции, происходят различные заварушки. Может, и на этот раз случилось что-то подобное…

В любом случае с этим надо разобраться. Прослушать все переговоры, зафиксировать новые частоты, позывные, выявить структуру сети, записать кодовые фразы, принять радиограммы и передать их для анализа и дешифровки в Москву. А там уж решат, стоит ли овчинка выделки, нужно ли «пасти» новую сеть, достаточно ли ценная информация по ней проходит…

По содержанию открытых переговоров, в которых иногда мелькают имена радистов, поздравления с праздниками или трёп о погоде, Сергей запомнил имя работающего сейчас телеграфиста. Его зовут Селим, и он ведёт передачи откуда-то из района Трабзона. Турецкие военные радисты тоже люди и любят иногда в мирное время потрепаться между собой на всякие бытовые темы. Нарушения случаются во всех службах всех без исключения государств…

Сергей принял несколько радиограмм, которые передавались с особыми мерами предосторожности — частыми сменами частот, маскировкой под несущими радиовещательных станций и другими «фокусами». Настораживало то, что корреспонденты обнаруженной сети работали очень чётко, без лишней болтовни, часто применяли неизвестные кодовые слова, после которых передача радиограмм прерывалась и продолжалась уже на новой волне.

Когда такое происходило, Сергей аккуратно записывал кодовое слово, потом по знакомому почерку радиста и тону передатчика находил соответствующую шифрованную частоту и продолжал приём сообщений.

Из их кратких и непонятных заголовков трудно было сказать что-либо о важности содержания, которое представляло собой просто группы цифр.

После того как Сергей сдал начальнику смены несколько перехваченных радиограмм с пометкой «Новая сеть», через пару дней из Москвы пришло распоряжение срочно поставить обнаруженный источник на круглосуточный контроль, присвоить ему буквенно-цифровое наименование и индекс высшего уровня важности.

Странность была в том, что новая сеть работала только в ночное время и «главным» в ней почему-то оказался Селим, который в основной сети Минобороны Турции являлся рядовым периферийным корреспондентом.

Что происходит в Трабзоне, недалеко от границ СССР и труднодоступных горных районов турецкого Курдистана? Загадка…

Сеть взяли под плотный контроль, но «орешек» оказался твёрдым. Не все радисты разбирали заковыристый почерк Селима, успевали отследить перескоки по частотам, разобраться с «сюрпризами» от классного профи и полностью принять все радиограммы.

Начальство требовало «брать весь трафик» полностью, без пропусков. Радисты делали всё возможное, но получалось не очень хорошо.

«Весь трафик» на своём дежурстве брал только Сергей. Ему почерк Селима и его адресатов уже

был хорошо знаком, антенны по направлениям наилучшего приёма подобраны, а когда сигнал корреспондента «затухал» или перепрыгивал по коду на новую неизвестную частоту, Сергей не стеснялся кричать, просить помощи. Отыскивали пропавшего врага тогда всем скопом свободные радисты смены вместе с начальником, шаря вслепую по диапазонам кв и щёлкая кнопками антенных коммутаторов.

Постепенно вырисовывалась структура и иерархия новой сети. Построена она была по принципу русской «матрёшки». Главная радиостанция основной сети Минобороны в Стамбуле передавала некий закрытый поток информации только своему рядовому корреспонденту в Трабзоне, а тот уже в статусе «главного администратора-распорядителя» «вложенной» сети рассылал перекодированные сообщения отдельным избранным получателям по всей территории Турецкой Республики и даже за её пределами.

Что это за такое странное перераспределение информации в одном и том же ведомстве? Почему понадобилось создавать дополнительную ветку? Разве нельзя было рассылать любую информацию всем адресатам «веером» из Стамбула? Где тут смысл?

Похоже, на эти вопросы смогут ответить только аналитики и дешифровальщики, когда у них соберётся достаточный объём перехваченной информации.

А пока… надо продолжать разрабатывать сеть, изучать уловки радистов и стараться не пропустить ни одной радиограммы, ни одного сеанса связи, постоянно контролировать несколько уже известных «вызывных» частот радиообмена.

Турция, район Трабзона, часть № м-34
Кара-Денизского военного округа

Прошедшей ночью Селим принял только одну большую радиограмму из Стамбула с обесценивающей её значимость пометкой «*тест*». Капитан утром лично вручил её Эрдинчу и сдал дневное дежурство сменщику. А вечером, ещё до начала своей вахты, был вызван к полковнику.

Всегда подтянутый, собранный, с небольшими, тщательно подстриженными щёточкой чёрными усами и жёстким волевым лицом, командир части находился в приподнятом настроении. У него явно были хорошие новости. На столе лежали вчерашняя радиограмма с карандашными пометками и, отдельно, ещё один лист бумаги с колонками цифр. Полковник протянул его вошедшему.

— Селим, кажется, большие перемены уже близки. Продумай и подготовь оперативную схему маскировочных мероприятий на сегодняшний ночной сеанс связи. Когда примешь пост, передашь вот этот циркуляр. Постарайся управиться за один раз, без повторов! С максимальными предосторожностями. От каждого корреспондента запросишь подтверждение о принятии всего текста полностью, без пропусков. После того как все отчитаются, сменишь несколько каналов и передашь ещё вот эти два слова «кирк беш». Это ключ к шифру для прочтения сообщения. Также получишь подтверждение от каждого получателя.

— Понял, господин полковник.

— Постарайся сработать так, чтобы ни одна из чужих радиоразведок не смогла перехватить эту радиограмму и ключ к ней. На карте судьба Турции и…— полковник сделал паузу, пожевал губами, тихо добавил:— Да и наша с тобой тоже…

— Слушаюсь, мой командир,— вытянулся Селим,— задачу понял и выполню. Разрешите идти?

— Идите, господин капитан, и сделайте то, что умеете лучше всех. Ради своей родины, ради вашей семьи, ваших дочерей! Надеюсь скоро лично поздравить вас с внеочередным воинским званием и личным кабинетом в столице. И командующий, и я ценим преданных офицеров. Идите. Аллах акбар!

— Аллах акбар!— ответил Селим и, внутренне ликуя, выбежал из комнаты.

Наконец-то невыносимое ожидание долгожданных преобразований заканчивается. Скоро начнутся дела для настоящих решительных мужчин и патриотов.

Гарнизон «Победа», в/ч 61615,
окрестности г. Гардабани, Грузия

Сергея приказом командира подразделения вывели из состава смены и назначили на еженощные дежурства по новой турецкой сети. Освободили от всех нарядов и хозработ. Ночью он бдел на посту, днём отсыпался в казарме. А какой может быть днём сон? Появилась какая-то непреходящая усталость. Глаза болели, веки слипались, мозги вялые, в уши будто кто-то ваты насовал…

В общем, физическое состояние неважнецкое. Да ещё и эта хитрая сеть, в которой в авральном режиме надо успеть понять, кто из корреспондентов куда «свалил», где идёт настоящая передача радиограммы, а где турецкие асы проводят отвлекающий манёвр для нерасторопного противника. И поддаться на уловку, «проссать» радиограмму никак нельзя, Родина не простит. Начальник смены тоже. Так и сказал:

— Раз уж так вышло, товарищ солдат, что обнаружил ты эту сеть, раскрыл новую дислокацию противника, так тебе на этом рубеже и оборону держать. Если что— кричи! Мы подсобим, когда зашиваться будешь. Справишься с задачей— молодец! На дембель поедешь с первой партией. Подведёшь— получишь звездюлей по полной программе от всех вышестоящих командиров! И в первую очередь от меня лично. У нас тут невидимый фронт обороны страны, а на войне— как на войне, хоть на этой и не стреляют. Так что не

обессудь, что поспать по-человечески тебе пока не удастся. На гражданке отоспишься.

Сергей, собственно, всё понимал. Да и справедливый армейский закон знал: сам предложил—сам и выполняй.

Ночью не смыкал глаз, жёг мозги, нервную систему, составлял и анализировал таблицу уже раскрытых частот, отмечал, какие из них используются чаще, какие реже. Припоминал повадки, приёмы и предпочтения Селима по прошлым сеансам связи.

Сегодня ночью «главная» появилась необычно рано и сразу же стала давать общий вызов, звать всех корреспондентов сети.

Явно у Селима есть важное сообщение. Надо быть готовым к «высшему пилотажу» в плане всего комплекса мер искушённого профи для обеспечения защиты трафика от перехвата.

Судя по понятным только мастеру мелким особенностям телеграфирования, напряжённости руки оператора, каким-то особо кратким, отрывистым переговорам, Селим нервничал.

После общего вызова на частоте начали появляться корреспонденты, называя свои позывные. «Главная» лаконично подтверждала приём каждого, просила ждать, слушать и оставаться на частоте.

Сергей, включив магнитофон, в аппаратный журнал скрупулёзно записывал позывные. В списке сегодня оказалось несколько новых.

После того как отметился сорок седьмой корреспондент, Селим несколько раз передал код, означающий «Внимание».

Минутная пауза, затем быстро несколько цифр—очередное неизвестное кодовое слово, и вся вражеская сеть, как стайка испуганных воробьёв, немедленно куда-то упорхнула с замолчавшей волны-веточки.

Сергей быстро записал в журнал новый код, вцепился в ручку настройки и, слившись в одно целое с наушниками и приёмником, превратился в некое бестелесное существо, обладающее одним только слухом. И неудержимым, всепоглощающим желанием найти, услышать знакомое «чириканье» исчезнувшей стаи чужеземных золотых птичек с бесценной информацией в клювиках.

Ночной эфир был таинственным тёмным «нечто», в котором жили только звуки, но, в отличие от гидролокаторщиков на подводных лодках, которые могли искать цель, посылая сигналы сонара и автоматически сканируя огромные пространства, у Сергея такой возможности не было. Ему приходилось полагаться только на интуицию, навыки и тренированный слух.

В какой-то степени его действия напоминали действия опытного охотника, выслеживающего осторожную дичь в безлунных непроходимых джунглях, среди рёва хищников и грома непогоды, шипения змей и шелеста листьев, треска цикад и криков ночных птиц. И во всей этой какофонии, неизвестно, как далеко или близко, в глубине какого-нибудь дупла дерева, в пустоте под водопадом в середине бурной реки или высоко под кроной гигантской секвойи, нужно услышать, почувствовать, догадаться, что вожак маленькой стайки незаметных серепеньких дрессированных воробышков затаился именно здесь и тихонечко «чирикает» секретное сообщение своим сородичам.

А как только закончит, стайка моментально вспорхнёт и разлетится в разные стороны, не оставив никаких следов ускользнувшей тайны на месте кратковременной встречи.

Искать иголку в стоге сена глазами, наверное, легче…

Визг, вой, раздирающий барабанные перепонки, тарахтенье железнодорожного состава, писк морзянки…

Не то… Ничего близкого к эталону в мозгах.

Опять вой, треск, новости радиостанции «Маяк», болезненно царапающий и рвущий сознание звук циркулярной пилы, какие-то паровозные гудки, песенка на английском языке, удары по ушам гигантского парового молота…

Искать, искать!

Сейчас даже крикнуть, попросить друзей о помощи нельзя. Неизвестна частота, на которую ушла сеть, а почерк Селима знает только Сергей…

Надо обязательно найти хитрого врага!

Казалось, прошла целая вечность, пока обнаружилось журчанье знакомого передатчика в узкой тихой «ямке» между двумя мощнейшими «соловьями-разбойниками».

Сигнал передатчика пел на одном тоне, становясь то чуть сильнее, то слабее. В конце концов он зазвенел громким, кристально чистым кварцевым звучанием.

«Главная наседка», вероятно, сменила антенну, и радист подстроил под неё выходной каскад передатчика, чтобы по возможности всем его «цыплятам» было хорошо слышно. Они ведь все от «мамочки» на разных азимутах. Трудно добиться качественного приёма одновременно для всех корреспондентов, даже применяя антенны с круговой диаграммой направленности. Но это рискованный ход. Многократно повышает вероятность перехвата радиограмм разведслужбами противника, потому крайне редко применяется.

Обычная тактика работы военных радистов-асов иная. Добиться удовлетворительного приёма сигнала максимально большей частью корреспондентов, несколько раз по кодовым словам сменить частоты, затрудняя жизнь «слухачам» противника, «спрятаться» под мощной помехой, затем передать радиограмму на скорости, обеспечивающей её уверенный приём с первого раза самым слабым радистом сети. Для того чтобы,

по возможности, не «светить» лишний раз в эфире секретный материал.

Если не все «цыплята» справились с задачей, это плохо. Придётся дублировать передачу с новыми мерами предосторожности и кому-то начислять штрафные очки.

«Главная» на новой частоте ведёт «перекличку», проверяя, не потерялся ли кто из корреспондентов во время «перепрыгиваний» в эфире.

Рапорты о присутствии от сорока семи корреспондентов займут несколько минут…

Пока они разберутся, можно чуть сбросить нервное напряжение. Есть время позволить себе небольшой перекур на рабочем месте, с наушниками на голове. Пишущая машинка заправлена бумагой и готова к бою, ленты на бобине в магнитофоне ещё достаточно много.

В голове у Сергея гудит, перед глазами цветные мушки: наверное, давление подскочило или сердце пошаливает.

Уф-ф! Густой сладковатый дым сигареты немного успокоил звенящие нервы. Сергей помассировал пальцы, кисти рук. Сейчас начнётся…

Надо постараться принять всю радиограмму с первого раза и не сделать ни одной ошибки.

Пошла передача шифровки! На невысокой скорости, вполне можно печатать одной рукой, а второй подкручивать ручку настройки приёмника и стряхивать пепел с сигареты.

Принято уже несколько десятков групп символов. Сколько ещё осталось?

Сигнал «главной» вдруг начал слабеть, теряться в шумах… Фединг? Или Селим зачем-то снизил мощность передатчика? Может, пока идёт «пустышка», а «главная» пытается подобрать минимальную мощность передатчика, достаточную для приёма только своими, близкими корреспондентами, отсекая чужие любопытные уши? Потом опять «кю-эс-вай», прыжок на новую неизвестную частоту, и там уже со всеми возможными предосторожностями пройдёт тщательно скрываемое настоящее секретное сообщение Минобороны Турции?

Этих частотных перескоков, в принципе, может быть сколько угодно, пока у Селима хватит терпения или он посчитает, что достаточно запутал следы…

Сергей с огромным напряжением слуха «вытаскивал» отдельные знаки из затухающей трели морзянки…

Пора, пора звать на помощь!

Дождавшись маленькой паузы между группами, Сергей приподнялся над пишущей машинкой и изо всех сил прокричал в сторону поста начальника смены:

— Восемь триста пять! П-а-м-о-чь!

Затем сразу же плюхнулся обратно на стул, продолжил приём. И тут…

Бам-м-м!

Вспышка перед самыми глазами на несколько секунд выбила Сергея из состояния предельной концентрации. Взорвалась «модифицированная» сигарета! Давно таких подлянок не происходило, и надо же — ещё в такой момент…

Сергей, ожесточённо протирая глаза, в ярости скрежетнул зубами:

— Убью падлу!

Магнитофон писал, но… за те несколько секунд, что Сергей приходил в себя, исчезли всякие признаки передачи на контролируемой частоте. То ли сигнал полностью утонул в глубоком фединге, то ли Селим успел дать короткую команду к переходу на новое место встречи…

Иди догадайся…

Что делать?

Один приёмник на левом наушнике оставить на прежней частоте, другим приёмником на правом наушнике искать исчезнувший «голос» Селима.

Слава Богу, что успел крикнуть о помощи!

Одна из непостижимых загадок мирового эфира состоит в том, что радист, находящийся в десятке метров от подавшего «сигнал бедствия», может прекрасно слышать «пропавшую» радиостанцию и полностью принять вроде бы утонувшую в шумах радиограмму.

Это можно иметь в виду, но особо рассчитывать на везение не стоит. Надо крутиться самому!

Левый наушник молчал, на старой площадке никого не было. Правый надрывался от визга помех.

Искать! Искать!

Сергей потерял ощущение времени. Затылок раскалывался от боли, в груди что-то больно кололо, а руки била нервная дрожь. Хотелось всё бросить, сдаться, упасть лицом прямо на машинку и отрубиться в благословенном сне… Но что-то мешало так поступить…

Профессиональная гордость? Чувство долга? Страх посмотреть в глаза товарищам и командиру в случае позорного прокола? Услышать унизительное: «Проссал-таки…»?

Как на диком пляже, сноровисто и терпеливо перебирая нескончаемое количество песчинок, высматривая и разыскивая ту самую, единственную, Сергей делал свою работу.

Подсказки — только большая таблица уже известных частот вражеской сети и… уже интуитивно отложенные в подсознании привычки и предпочтения Селима как знакомого по поведению противника. Где-то уже предсказуемого.

Была ещё надежда на неявную помощь безымянного бога безграничного океана эфира — того бесплотного существа, которое дышало в наушниках каждого «слухача» и которое так же, как и Нептун — бог морских пучин, имело власть над жизнью и душой моряка или радиста, попавшего в чужие владения.

Эти божества могут помочь дерзкому или утопить недостойного…

Несколько раз, благодаря сумасшедшему везению или подсказке ангела-хранителя, Сергею удавалось выудить через сито напряжённого внимания слабый голосок радиостанции Селима и принять небольшой кусок радиограммы. Потом «главная» кодом давала переход на новую неизвестную частоту и немедленно исчезала вместе со всем выводком корреспондентов.

Турецкий ас проявлял невероятные терпение, осторожность и мастерство.

Сергей, меняя настройки приёмника, направленные антенны и узкополосные фильтры, гонялся за Селимом вслепую, больше надеясь на удачу и интуицию, чем на отработанные в учебке и на практике приёмы перехвата по математической вероятности возврата противника на один из базовых «каналов общения».

Сергей терял и находил Селима. Принимал часть радиограммы и снова терял сигнал…

Этот бешеный аврал казался бесконечным…

Где-то глубоко внутри Сергея билась надежда, что всё-таки, в конце концов, разорванные куски радиограммы при прослушивании с ленты и восстановлении удастся «склеить». В памяти отложилось несколько запомнившихся особым звучанием одинаковых групп символов, что давало надежду на успех.

Последнее могло говорить о том, что с первого раза не все корреспонденты приняли радиограмму и Селиму пришлось повторять её. Возможно, даже и не один раз.

В этом случае шансы собрать по частям тело радиограммы резко возрастают.

Когда турецкая сеть отработала и Сергей принял от «главной» короткий прощальный сигнал «sk» — конец связи, то в полном изнеможении откинулся на фанерную спинку затрещавшего хлипкого стула. Гимнастёрка была насквозь мокрой, по лбу и щекам катились ручейки пота. В голове нестерпимо грохотал огромный царь-колокол, а сердце билось так, как будто хотело пробить грудную клетку и выпрыгнуть наружу.

Сергей поднял голову и только тут заметил, что вокруг его поста сгрудились почти все радисты смены.

Никто ничего не говорил, да слова и не были нужны. Друзья по оружию всё понимали и без них…

Здесь тоже идёт война. Вот такая, особенная. И хотя прямо тут, на этом «ненастоящем» поле сражения, обычно не умирают, отдалённые последствия дуэлей радистов очень скоро могут «аукнуться» многими реальными смертями и межгосударственными конфликтами…

Радиограмму по частям удалось «собрать» полностью. Кое в чём и ребята помогли. Сверхважная шифровка отправлена в Москву, и теперь Сергей, наконец, может немного поспать…

Москва, Лубянка,
кабинет Председателя КГБ СССР

В большом зале за длинным столом с зелёным сукном сидели пять генералов. Перед ними лежали раскрытые папки с документами, карты, листы бумаги с малопонятными символами. Пепельницы были заполнены окурками.

Совещание шло уже давно, но это был тот случай, когда последствия принятия неправильного решения могли быть настолько значительными и трудно прогнозируемыми, что никто из участников не осмеливался высказаться определённо. За столом слышались предположения, общие рассуждения, сожаления о недостаточности информации…

Наконец председательствующему в гражданском надоело толочь воду в ступе. Сверкнув стёклами очков, он иронично-устало взглянул на подчинённых и негромко спросил:

— Итак, товарищи генералы, всего-навсего один простой вопрос. Выгоден ли сейчас для СССР переворот в Турции и приход к власти военных? Да или нет?

— Юрий Владимирович,— тяжело потерев лоб, первым ответил начальник 16-го Управления генерал Бурьянов,— по тем оперативным данным, которыми мы располагаем на сегодняшний день, расклад пятьдесят на пятьдесят. С одной стороны, с приходом к власти исламских фундаменталистов Турция отдалится от США и Европы. Это, в принципе, для нас хорошо. Но вряд ли турки выйдут из НАТО. При этом вполне возможно, что непредсказуемо изменится и внешняя политика Турецкой Республики — как в отношении СССР, так и некоторых наших союзников. В таких неясных обстоятельствах принять выверенное решение невозможно.

— Так вы предлагаете выбросить наш козырь, Лев Вениаминович? Не воспользоваться им вообще? — раздражённо бросил председательствующий.

— Я не могу предложить однозначно выгодного решения, потому что у нас нет достаточной ясности по вопросу. И нет времени. Если мы предупредим правительство Турции о готовящемся перевороте, дадим всю информацию, полученную от нашей радиоразведки, то теоретически премьер и президент страны должны быть нам благодарны, но… во что может вылиться эта благодарность практически?

К разговору присоединился представитель 1-го Управления:

— Да… и торговаться с ними мы тоже не можем. Назначить плату за информацию о готовящемся перевороте? Некрасиво. Недостойно великой державы. А если начнём переговоры и не

договоримся? Это ж какая политическая бомба получится?

Председательствующий недовольно постучал пальцами по столешнице.

— Выходит — что в лоб, что по лбу… Явных значимых выгод нет, а вот в случае ошибочного решения последствия непредсказуемы. Плюс внутренние проблемы у турок. Напряжённость с курдами, да и с греками на Кипре. И нам они слишком близкие соседи… В общем, доложу я все эти соображения в ЦК, пусть там принимают коллегиальное решение. Товарищи генералы! Все свободны!

Турция, Трабзон, часть №М-34
Кара-Денизского военного округа

Когда в кабинет Исмаила Эрдинча ворвалась группа военной полиции, полковник сразу всё понял.

Мелькнула мысль: «Пронюхали, шайтан вас забери! Значит, не сейчас… Но — ничего не отменяется… Только откладывается. Временно…»

Гарнизон «Победа», в/ч 61615,
окрестности г. Гардабани, Грузия

На дембель Сергей поехал с первой партией, начальник смены старший лейтенант Серков не обманул.

И на погонах появились ефрейторские лычки.

Впереди была целая жизнь, в которой не последнее место займёт то самое загадочное и непостижимое бесплотное существо, дышащее в наушниках каждого радиста и рассказывающее о тайнах людей и мироздания на своём специфическом языке для круга посвящённых, — эфир необъятной Вселенной…

170 лет со дня рождения ∴ ДиН антология

Иван Суриков

Честь ли вам, поэты-братья?..

* * *

Честь ли вам, поэты-братья,
В напускном своём задоре
Извергать из уст проклятья
На певцов тоски и горя?

Чем мы вам не угодили,
Поперёк дороги стали?
Иль неискренни мы были
В песнях горя и печали?

Иль братались мы позорно
С ложью тёмною людскою?
Нет! Всю жизнь вели упорно
Мы борьбу с царящей тьмою.

Наше сердце полно было
К человечеству любовью,
Но от мук оно изныло,
Изошло от боли кровью.

Честны были в нас стремленья,
Чисты были мы душою, —
Так за что ж кидать каменья
В нас, измученных борьбою?!

* * *

Не корите, други,
Вы меня за это,
Что в моих твореньях
Нет тепла и света.

Как кому на свете
Дышится, живётся —
Такова и песня
У него поётся…

Жизнь даёт для песни
Образы и звуки:
Даст ли она радость,
Даст ли скорбь и муки,

Даст ли день роскошный,
Тьму ли без рассвета —
То и отразится
В песне у поэта.

Песнь моя тосклива…
Виноват в том я ли,
Что мне жизнь ссудила
Горе да печали?

* * *

Не грусти, что листья
С дерева валятся, —
Будущей весною
Вновь они родятся, —

А грусти, что силы
Молодости тают,
Что черствеет сердце,
Думы засыпают…

Только лишь весною
Тёплою повеет —
Дерево роскошно
Вновь зазеленеет…

Силы ж молодые
Сгибнут — не вернутся;
Сердце очерствеет,
Думы не проснутся!

Мариян Шейхова

Пиросмани

Пир вселенский

Медно-жёлтая земля трубным звуком в бой зовёт—
Эркемали[1], оглянись.
Цепь хозяина крепка, рог крутой по небу бьёт—
Пой, Тифлис.
Бой баранов—пир вселенский, зуд в подпиленных рогах;
Откормили, опоили—барабаны выбьют страх.

На лугу овечка бродит,
За собой ягнёнка водит,
Первой травкой машет высь:
Эркемали, оглянись.

Чёрный глаз барана ярче алой удали толпы.
(Эркемали, отзовись!)
Бьются лбы, теснятся рьяно в дикой ярости мольбы.
(Эркемали, сторонись!)
На арене—бой баранов, бьёт хозяин чужака,
Цепь свободна для удара, кровь темней у вожака.

● ● ●

На лугу овечек в белом
Ночь упрятать не сумела.
У потехи—долгий час,
Время прячет красный глаз.
Спят пасхальные ягнята,
Ночь раскаяньем объята.
Бой баранов—гнёт рогов,
Ночь и утро—кровь и кров,
Кров и кровь,
Старь и новь…

Шамиръ са свего карауломъ

Горы снегом заковала хищной удалью клинка
Рука.
В клочья небо разорвали, в реки сбросив облака,—
Века.
Взмах кинжала—пропасть в чёрном, кручи—каменным кольцом—
Гром.
Саблей горы рисовали, скалы высекли резцом—
Дом.

1. Трёхлеток, бойцовый баран.

Две мечети с минаретом, полумесяцем—петля, трое в чёрном, в несогретом, в белом—тайна Шамиля, борода, папаха—чернью, тенью—ружья за спиной, над обрывом потемневшим караул стоит стеной. Там, поодаль, смутно тают крыши сакли, чтоб аул в тайной думе ожиданий над печалью снов вздохнул. Миг раздумий в чёрно-белом, над обрывом ждёт имам, горы тонут в светлом-светлом, свет струится по горам. Лошадь движется по кругу, ждёт приказа тишина. Жест короткий и упругий—чёрным двинулась война.

Тенью лица штриховали, шрамы вывели свинцом,
Камнем тени провожали, свет хранили чабрецом.
Небо—в белом, землю—в белом нарисуй опять, Нико,
Миг раздумий будет белым, как парное молоко.

Из-под белой перевязки каплет красная петля; к сапогам, от крови вязким, чёрной данью льнёт земля; спи, могучий белый витязь, воин, горец, спи, солдат, белым саваном прощанья дни прощения летят; обними, ушедший, память—нерождённое дитя, чтобы винной каплей славить долю скорбного питья.

Он только во сне золотистый

Он только во сне золотистый—три птицы кружатся над ним,
Трава изумрудным батистом скользит, словно сказочный грим.
Мой тёзка, Жираф цветоносный,
Весь в пчёлах, в занозистых осах,—
Он только во сне золотистый—три птицы кружатся над ним.

А явь колыхалась травою и синью небес растеклась,
Волнистой, как воздух, тропою, забытой, как кроткая бязь.
Мой тёзка, Жираф чёрно-белый,
Пятнисто-напуганным телом,
Серпами зрачков оробело
Навстречу шагнул корабельно,
А явь колыхнулась травою
и синью небес растеклась.

А чёрное—было, и белое есть, и солнце мне больше не снится,
Послал мне художник далёкую весть, простую, как платье из ситца,
И грация зверя качнулась углом,
И быть ему явью, и быть ему сном,
В изгибе хвоста улыбался питон,
И шейная боль обвивала винтом,
И в яблоке глаза дрожащий затон
Округло роняет ресничный бутон…

Нет у ответа вопросов. Здравствуй, Жираф золотистый,
Бархат спины пятнистой тронет рука моя—пристань
Яви и сна
Кисти.

Да здравствует хлебосольный человек

Да здравствует хлебосольный человек!
На скатерти его ожиданий
Соль вырастает до солнца.
Лучи погружаются в пену
Туманных волнений утра.
Кланяюсь новому дню.

Махаробели[2], махаробели,
Овцы с травинкой во рту оробели.
Алая лента, на чёрном—трава.

Да здравствует хлебосольный человек!
Олень на кончике взгляда
Испариной чует утро.
По обе стороны двери
Зияет белая скатерть.
В поклоне немеют уста.

Махаробели, махаробели,
Сердце овечки бьётся форелью.
Ручка кувшина тепла.

Здравствуй, хлебосольный человек!
Солонка на скатерти белой
Последнее слово знает.
Сына встречай и помни:
Вкус поменяют ви́на.
Кланяйся новому дню.

Махаробели, махаробели,
Землю весёлым напитком согрели.
Просят ладони хлеба.

Сладко ли быть травою
И, расстилаясь в вечность,
Встретиться с саблей ветра?
Чашей бездонного блюда
Небо дождинки кормит.
Ах, как хлеба всходили…

Махаробели, махаробели,
Горы под тяжестью снега осели,
Махаробели…

Мимо белого духана

Мимо белого духана мчатся кони, как во сне.
Вечер в небе полыхает, словно ягода в вине,
И деревья озорные гнутся гибко, как лоза.
У кутил усы шальные и суровые глаза.

О чём споёт им Маргарита, взлетая в белом над землёй?
Что не случилось—то забыто, что было—хлынуло волной.
Прими блаженство неземное поляной белых роз к ногам.
Рисую красками, как жизнью, чтоб возвратить её богам.

Блики жёлтого скольженья, взлёт над зеленью холма,
Чёрным высится возница, в тень упрятаны дома.
У кутил серьёзны лица—сердце держат на замке.
Руки вскинет Маргарита, словно птица, в кабаке.

О чём поёт им Маргарита? Бровь полумесяцем летит,
Земля букетами укрыта, а кисть ласкает и горит…
Прощай, неведомый художник, луна взметнулась нотой «си».
Шарманщик, горести виновник, у песни слова не проси.

2. Вестник радости *(груз.)*.

…Мимо белого духана мчатся кони, как во сне.
Бредят руки кистью белой, красной плачут о вине…
Мрак подвала, пол холодный, груда битых кирпичей,
Вздох последний… крошку хлеба… никому… никто… ничей…

Янтарный шарик на запястье, и в стайке жёлтых птиц—лицо,
У белых роз—права на счастье, у невозможности—кольцо.
Не пой о прошлом, Маргарита, в ладони пряча лепестки.
Душа прощению открыта, но нет спасенья от тоски…

Ты—самое большое чудо Божье

Кто-то скупил на корню пять садов целиком, пять садов—
От застенчивых роз до безумных камелий и лилий.
Над поверженной ночью селений, огнями больших городов
Он читает любимой стихи, он читает Бараташвили.

«Ты—самое большое чудо Божье»,
От ожерелий глаз светло, как днём.
Нет рук нежней, улыбки нет дороже,
Нет большего блаженства—быть вдвоём.

Кто-то увидел навек—и повержен, повержен печалью.
Осторожные скрипки запнулись, и цветы эту песнь завершили.
Над Мтацминдой-горой голоса, как цикады, звучали—
Маргарита, послушай Нико: он читает Бараташвили.

«Ты—самое большое чудо Божье».
Как угадал поэт мои слова?
Я до утра не жизнь, а песню прожил,
Осталась на столетия молва.

Кто-то скупил на корню пять садов целиком, пять садов.
Лепестками смущённых камелий цветы о надежде молили.
Над молчанием спящих селений, огнями больших городов
Он читает любимой стихи, он читает Бараташвили.

«Ты—самое большое чудо Божье»,
Распахнут мир сиянью карих глаз.
Нет ничего любви земной дороже,
Нет никого вокруг счастливей нас.
Ты—самое большое чудо Божье…
Ты самое большое чудо Божье…
Ты самое большое чудо Божье…

Четыре лилии на чёрном

Четыре лилии на чёрном, на белом—женская рука;
Над бурой пашней дышит паром усталость спящего быка.
Спят ортачальские мадонны, и оголённых плеч тепло
Ягнёнком белым на колени вздремнувшей ночи прилегло.

Птица жёлтая в бубен бьёт,
Осень сотая мёд нальёт.
Заходи в мой дом, Солнце красное,
На пиру моём небо ясное.

В мускатных гроздьях винограда тучнеет жертвенно река,
Алеет винный язычок над горловиной бурдюка,
И скатерть таинством травы легла под тени песнопений,
Лучи закатные запнулись о белоснежные колени.

Заходи в мой дом, Солнце красное,
На пиру моём небо ясное,
Дрогнет ночь от птиц
На плече моём,
Будем крылья шить
Мы с тобой вдвоём.

Прощаю—белым, красным—пла́чу, а жёлтым—рушатся века.
Четыре лилии на чёрном… Какая в зрелище тоска…
На небе—только небо в белом, на чёрном—почва и цветы,
И день доверчиво глядится в полёт звенящей темноты.

Птица жёлтая утро пьёт,
Осень верная хмель нальёт,
Дрогнет ночь от слов—
День расступится,
Я сорву покров—
Свет потупится.
Заходи в мой дом, Солнце красное,
На пиру моём небо ясное.

Я в три цвета люблю

Дай клеёнку, тифлисский духанщик,—разбитая скрипка смешна.
За окном уплывает мой век, запряжённый верблюжьей печалью.
    Я в три цвета люблю и в три песни скучаю, княжна,
    В ожиданье холстов над слонами из охры дичаю.

Ах, духанщик с усами лихими, зачем тебе львы?
За порогом толпятся овечки в ожидании рук торопливых,
    А орнамент белеет на пяльцах, а пальцы нежнее халвы…
    О, простите, княжна, живописцев голодных и льстивых.

Чёрной костью пишу и зелёной землёй, серой пылью от неба укроюсь,
Рог ветвистый на вывеске блекнет, а лаваш истончился, как нож.
    У духанщика щепки в горсти—я со временем, пери, не ссорюсь
    И в три цвета кричу да в три песни молчу, чтоб продать своё солнце за грош.

Я в застолье попал на века, виноград в Мирзаани янтарен.
Продавец моих дров над жирафом смеётся—я рад.
Уплывает олень, князь поёт над пирами развалин,
И пасхальный ягнёнок оплачет щедроты утрат.

    О, простите мой дым… этот старый мангал… о Нино,
    Твои печи полны благодатного жара и тени…
    Разве хлеб выпекают ещё?.. разве льётся вино?..
    Разве есть ещё миг, чтобы плакать в чужие колени?..

Восхождение

Вереница белых звуков в рог охотничий трубит,
Тур в горах, лисица в поле, а в ладонях птица спит.
Восхождение дымится, рог ветвится до небес,
Между пнями бродит пьяно голубой, как утро, лес.

Дом без кровли, конь без сбруи.
Пой, Нико, и пей до дна.
Утро льёт в ладони струи
Пенной прыти молока.

Ветерком трава играет, перекатываясь всласть,
Две косули в поле тают, воды сбрасывает снасть,
Бьёт серебряная рыба воздух росписью хвоста,
По воде рыбак шагает, улыбаясь неспроста.

Ночь без дня, а день без ночи.
Пой, Нико, и пей до дна.
Краски с неба льются звонче
Алой повести вина.

Непричёсанное солнце львёнком нежится во сне,
Ломтик дыни прячет нежность у оленя на спине,
Сбросят краски покрывала, схвачен заяц синевой,
По отрогам Авлабара бродит мальчик сам не свой.

Дом без кровли, ночь без дома.
Пой, Нико, и пей до дна.
Жизнь—предсмертная истома,
Смерть—рожденье и судьба.

Прощание с оленем

Прохладу белого с синим ловит зигзаг коромысла,
Солнце распишет лучами сорванный с неба день.
Нет в оперении тайны, в тени нет спящего смысла,
Шею земных желаний к водам склоняет олень.

Снова кормилица в белом
Держит кулич пасхальный,
Вырос ягнёнок спелым
И уронил дыханье.

Копья охоты безглазой гриву травы догоняют,
Замер на линии слуха в небо летящий тур,
Лани недремлющим ухом русло реки укоряют,
Мальчик взмахнёт хворостиной, жёлтым заплачет чонгур.

Руку ищи на сердце,
Белым земля ответит.
Мальчик откроет дверцу,
Всадника встретят дети.

Выбежит пёс навстречу, мальчик откроет калитку,
Чёрный пунктир дороги листает ржавчину сур.
Смотрит олень удивлённо, как уплывает рыбка,
Млечным Путём уходит в звёздное поле тур.

Снова женщина в белом
Вскинет над полем руки,
Станет младенец телом,
Чтобы уйти от разлуки.

3. Струнный музыкальный инструмент.

Возвращение Оленя

Щекой к щеке два персика на блюде, разгульный рог по кругу брызжет алым—
Я готов тебя пить, кахетинское солнце, плыви!
Освежающий дождь из зелёного лука, редиска—как связка кораллов,
И ликующий свет виноградных напевов в крови.

Вазиани, Мукузани, Цинандали,
Гурджаани, Мелаани, Мирзаани.
А-я-я,
А-я-я,
Оооооо,
Бродит в марани[4] вино.

Чуреки—полумесяцем на блюде, плывёт хоралом рог, искрятся рыбы,
Кахетинские реки прольются в застолье дождём.
На ореховых листьях мацони, сулгуни, унаби[5]—
Вновь Саркиз наливает вино над победным, как охра, жнивьём.

Молочник, жестянщик и дворник,
Крестьянин, духанщик и шорник—
А-я-я,
А-я-я,
Ооо,
Лучший кутила—кинто[6].

Баранина, припудренная перцем, под барбарисом празднично дымится,
Щекочет ноздри воздух песнопений, мастеровые знают ремесло.
Назначим встречу на земле—плывут подносы вереницей,
В твои владения, художник, нас дивной кистью занесло.

Сапожник, угольщик, возница,
Маляр, лудильщик и певица—
А-я-я,
А-я-я
Ооо,
Сытым не ходит никто.

● ● ●

Пирамида сыров в помидорной осаде, как столетье, грозится распадом,
В кахетинские травы осенние листья летят.
Светлый угол в подвале сниму, а пока разделю солнце с братом,
Над щекастой тоской зурначей опьянённые птицы кружат.

У лисицы—нора, и у птицы—гнездо,
У косули—родник, у Тифлиса—Нико.
Грациозно верблюды бубенцами звенят,
Мясники на майдане обнимают ягнят.

Истекает бурдюк хлебосольем, и форель в серебре нежно тонет,
Кукурузной лепёшкой луна заглянула в чужое окно.
Маляра не искали, батоно? Солнце сходит в пустые ладони,
Чтобы чёрное небо печали превратить в золотое руно.

Онемели уста, и глаза широко распахнулись,
Над вершинами гор на прогулку выходит Олень.
Донна Анна права: пусть всегда возвращается Улисс,

4. Винохранилище *(груз.)*.
5. Плод наподобие фиников.
6. Бродячий торговец, балагур, остряк.

Ибо к ночи навстречу спускается день,
Ибо белым хранит трава-одолень,
Ибо сходятся руки за тостом в кругу,
Ибо белое утро в ночи стерегу,
Ибо озеро спит на росистой траве,
Ибо песня моя о тебе, о тебе…

Чёрный лев

Под кроной ореховых листьев ныряет обманчивый свет.
Чей ангел на кончике кисти взлетает над горечью бед?
Мир прост, как цветение сада; пригублена будет до дна
И юная боль винограда, и алая старость вина.

Я чёрному льву отворяю высокое небо вдали,
Отворяю.
Семь небес ожидают его над багровым прощаньем земли,
Ожидают.
Жаркой кистью хвоста покоряет он мир,
Покоряет.
Отчего же он смотрит с наивной печалью
И снова прощает?

Свет струится, горит и мерцает, взбегает над повестью лет.
Жёлтая осень, праздник в Болниси, поле крестьянское—свет.
Мир прост, как рождение лани, как свадьба былых времён,
Как сладкая кисть винограда, как горькая песня о нём.

Я чёрному льву отворяю высокое небо вдали,
Отворяю.
Семь небес ожидают его над багровым прощаньем земли,
Ожидают.
Жаркой кистью хвоста покоряет он мир,
Покоряет.
Отчего же он смотрит с наивной печалью
И снова прощает?..

Выступление Нико Пиросмани на заседании Общества художников

Тбилиси, 1916 г.

Братья!
Построим дом деревянный,
в сердце города—дом без затей.
В нём большой самовар—от веселия пьяный
и счастливый от новых гостей—
на столе будет жаром дышать, горячиться,
а вокруг—лишь друзья, лишь любимые лица.
Пусть за чаем горячим поведает каждый,
как от красок вокруг обезумел однажды.
Об искусстве вести разговоры—услада…
О чём я?..
…..
Простите…
……
Кому это надо?
…Да, да…
Пропустите,
братья…

Нина Шалыгина

Саров

Святой и таинственный город Саров

Вот ведь странно: город, куда направили служить отца Тони, тоже был святым местом и монастырём. Поселились они в бывшей трапезной паломников, которые вплоть до прихода власти Антихриста шли сюда со всех краёв поклониться мощам святого Серафима Саровского.

Город к приезду семьи так засекретили, что он на многие десятилетия исчез из всех географических карт. Здесь делали атомные, а чуть позднее водородные бомбы. Строительство вели заключённые. У вольнонаёмных был почти такой же статус: за пределы зоны никого и ни в коем случае не выпускали. Ни в отпуска, ни на похороны самых близких, ни на какие иные случаи. Но на Тоне это никак не отражалось.

Дороги города детства

Антонина никогда не была в роли человека, который всю свою жизнь прожил на одном месте, никуда не выезжая, не стремясь познать всё новое и новое, неизведанное, а значит, увлекательное. И не исчезает в душе вечного странника насовсем ни одно из мест, где остались если не друзья, то товарищи. Но у каждого есть главный город детства. Там прошли школьные годы, там была первая любовь, первое свидание, первые разочарования.

Школа никогда не вызывала Тониного восторга своей ортодоксальностью, размеренностью, строгостью расписания, шагистикой под надоедливую антимузыку барабана. Но со школой связана память о друзьях-товарищах, о том, что составляло суть жизни вне этой самой школы.

Глазами всеми и душой — в историю

Вот ведь странно: город, куда направили служить отца Тони, тоже был святым местом и монастырём.

Три страсти по-настоящему томили и волновали её в те далёкие годы: чтение всего, что попадало под руки, театр да ещё стремление проникнуть во все таинственные закоулки, где жутко и сладко, всё пропитано стариной и непознанным.

В Саров она приехала с родителями в 1947 году из старинного города Ростова Ярославской области. В Ростове, пожалуй, не пропустила ни одной возможности побывать в полуразрушенных церквях, влезть на самую высокую колокольню. А уж богатейшие ростовские музеи с восковыми фигурами, каменным мешком, древний Ростовский кремль были исхожены не по одному десятку раз.

И вот после такого древнерусского предисловия встал на её пути легендарный и трагичный своей полуразрушенностью Саров! На высоком холме, якобы насыпанном богомольцами, идущими со всех краёв с узелками свойской землицы в котомках. Об этом происхождении саровских валов Тоня слышала в первые годы по приезде в этот город.

Это теперь известно, что в древности для защиты от врагов-кочевников и просто авантюристов, «землицы чуждой алкавших», строили города-крепости, рыли под ними подземные ходы, насыпали земляные валы повыше.

Конечно, саровские валы к сороковым годам двадцатого столетия ничем не напоминали древние боевые заграждения. Но в мыслях перед ней, начитавшейся вдоволь исторических романов, представал город во всей своей красе, в оперении крепостных стен, с золотыми куполами ухоженных соборов и церквей.

Одна беда: глаза откроешь, а вокруг всё поразрушено, истерзано, изувечено. Будто только что Мамай прошёл. Всё испепелил.

И всё-таки Саров сороковых был удивителен и даже прекрасен. Выделялась в нём своим величием и строгостью линий «пятиглавка», которая стояла посреди городской площади. Площадь же с четырёх сторон была обрамлена небольшими церквушками и двухэтажными белокаменными постройками, где раньше размещались монашеские кельи. А между ними находились дом настоятеля монастыря да службы всевозможные.

Площадь с одной стороны имела колокольню, под которой проходили городские ворота. Левее «пятиглавки» робко жалась к могучему боку небольшая церковь, украшенная резьбой по белому камню. В декоре её выделялась золотая верёвочка, будто связывая воедино это изящное и хрупкое тело.

В этой церкви устроили ресторан с неофициальным названием «Золотая верёвочка». Через небольшое время «Золотую верёвочку» снесли, а ещё раньше разрушили «пятиглавку». Она была великолепной, хотя с двадцатых годов использовалась

как гараж для тракторов. Все стены были покрыты сантиметровым слоем копоти, скрывающим росписи. Но ребятня, бывавшая почти ежедневно в церкви, откуда её регулярно гоняли, брала с собой чистые мокрые тряпки и слой за слоем отмывала настенные рисунки, забравшись как можно выше, куда вели лестницы внутри трёхметровых стен.

И тогда… из-под слоя закоптелости прыскали в глаза яркостью красок какие-то прекрасные фигуры, диковинные деревья, города, ослики и совсем непонятные существа. Лишь полвека спустя Антонина узнала, что собор имел имя Успенского, а «пятиглавка», которой они так восхищались, была храмом Пресвятой Богородицы, Живоносного её источника.

Ничего этого девчонки не знали. И «пятиглавку» называли собором. Он манил и притягивал к себе с необычайной силой. Тоня, по своей привычке к лидерству, собрала свой отрядик и ходила в «пятиглавку» и летом, и даже зимой. Зимой внутри стен образовывалась наледь, и можно было легко свернуть себе шею. Ну, это в тех местах, где время или люди съели ступени и повырвали перила лестниц, таящихся внутри стен. Там же находились дымовые ходы, по которым в прежние времена подавалось тепло от находящихся где-то внизу печей.

Главный притул был необычайно высок, и когда однажды, испугавшись расконвоированных заключённых, Антонина от страха взлетела по «колодцу»-лазу на самую верхнюю точку — в луковку-подкуполье, до низа казалось метров семьдесят. Наверху, куда постоянно манило своей таинственностью, на удивление не было почти что ничего: только груды сгнивших деревянных икон, кожаные переплёты от превратившихся в прах огромных книг, да ещё разлезшийся балахон священника, затканный золотом и густо засиженный голубями.

В соборе (так его будем для удобства называть) выломаны ворота, выбиты все окна и двери, изувечен пол, лишь кое-где сохранились куски чем-то украшенных каменных, а может чугунных, плит. Но даже при таком разгроме он был настолько просторен, высок и ладен, что дух захватывало от всей его несчастной красоты. И силён он был необычайно.

В этом всем вскоре пришлось убедиться, когда городские власти решили убрать с городской площади все церковные постройки.

Но оказалось, что собор охраняется государством как исторический памятник, кажется, четырнадцатого века. И сносить его без разрешения Патриарха Всея Руси нельзя.

Естественно, Патриарх сносить не разрешил. Тонина компания возрадовалась, но — увы! — радость была недолгой. Обнесли строение колючей проволокой, заложили где надо тротил, на время убрали жителей из этой части монастыря и рванули, да так, что по всей поверхности центрального притула собора образовалась трещина, а купола вообще повисли, как шляпы, надетые набекрень.

А дальше всё — дело техники: снимки, письмо об угрожающих разрушениях и, наконец, разрешение на снос.

Взрывали и вывозили бренные несчастные останки собора месяца полтора. Он не поддавался, приседал и охал, как живой! Казался совсем неубиваемым. Ведь убивали его с тридцатых годов, да вот не убили!

Но у всего есть конец. Все работы по разборке развалин производили заключённые. Из подвальной части, когда дело дошло до неё, выбросили множество костей, остатки гробов, какие-то плиты с надписями. А однажды извлекли из-под обломков огромный, блестящий, весь в узорах из диковинных листьев и с божественными ликами гроб. Теперь-то понятно, что был он серебряным. А тогда Тоня и её компания называли его золотым. Внутри него находился другой гроб — небольшой, выдолбленный из цельного ствола дерева, а в нём какие-то кости. Каждая косточка завёрнута была в церковную хоругвь, тканную золотыми нитками.

Тонин отряд в этот день очень удачно пристроился у одной из щелей на чердаке своего дома с отцовым фронтовым биноклем. Девчонки видели, как заключённые из этих длинных золотистых тряпок косточки повыбрасывали в траншею, над чем-то потешались, примеривая к себе тряпочки вместо портянок. Потом это всё увидал стрелок, подошёл кто-то из начальства. Гроб увезли, косточки, наверное, собрали. Детей отогнали от щели. Что это был за гроб, так и не узнали, но кое-кто даже утверждал, что это и была главная святыня.

Площадь «расчистили» от красоты, убрали заодно кладбище, где имелось множество изумительных памятников. Не сломали только собор из красного камня, устроив там театр. Только доломали оставшуюся ещё от обрядов крестильную и какое-то возвышение в конце собора, сделали шикарную по тем временам отделку и повесили дорогую, из настоящего хрусталя, люстру.

Из всех церковных зданий нетронутой оставалась колокольня, да и та, наверное, потому, что снести её не представлялось возможным: под ней размещались городские ворота, а вокруг — здания, приспособленные под различные учреждения. В одном размещалась городская поликлиника, рядом — какой-то научный сектор, и так далее.

Детское любопытство простиралось на эту самую колокольню. Там тоже лазили по полусгнившим лестницам на самый верх, рискуя приземлиться оттуда на собственную искорёженную

шею. Конечно же, заводилами являлись девчонки, которые считались местными: Валя Гладышева, Лёля Романова, Рая Давыдова. Все жили тут же, рядом, в здании, где прежде также располагались монашьи кельи. Напротив имелся кинотеатр «Октябрь», расположенный в обезглавленной церкви. Впрочем, это был скорее культурный центр. В одной из церквей рядом роскошно расположился магазин смешанной торговли, где отоваривались высокие тузы, так называемые «бобры». Словом, все оставшиеся культовые сооружения получили новую утилитарную жизнь.

Жгучее любопытство вызывали неведомо откуда долетавшие разрозненные сведения о существовании в Сарове подземного хода, который, по словам старожилов, пролегал от мужского монастыря града Сарова до женского монастыря Дивеева.

Начинался он от здания бывшей гостиницы для паломников, построенного ниже городских валов, на старице реки Сатис. И витала в воздухе легенда о многотрудном его строительстве. Может, так это и было.

В том здании в сороковые и пятидесятые годы располагалась какая-то контора, земляной вал вокруг здания выложен был кирпичом, а у самой лестницы имелась небольшая дверца в кирпичной стене. Там конторские уборщицы и дворник хранили всякую всячину.

Не хочу утверждать, что именно девчоночья компания разведала, что если войти в этот сарайчик да выломать в стене несколько кирпичей, то можно запросто попасть в подземный ход. Сказала им об этом старшая подруга — студентка Казанского университета Тамара Козина, а ей — её бабушка, которая в детской колонии в двадцатые годы бывших уркаганов писать учила.

Тамара не только сказала, но и показала вход.

Скоро девчонки освоили свой «новый объект» и зачастили в подземный ход, надеясь изучить, насколько далеко он ведёт. И попытались представить себе, как он строился. А вымысел-домысел создал сказку, легенду-полубыль.

Тайна подземного хода

Давным-давно, когда городище Саров был маленьким, а дома все в нём деревянненькими, бродили вокруг него кочевые племена чудь да жмудь, кривичи да буртасы и творили набеги да всяческие выкрутасы. А чтоб спастись от них, жители валы высокие возводили, норы под городищем рыли и прятали в них во время чуждых набегов жён своих, старцев своих да молодь свою, кака не могла ещё встревать в бою.

А уж после, когда нечисть на Саров напала, нор подземных стало мало. Пуще бедолаги стали копати, чтобы слабаков своих да малых от смерти сберегати. И так хитроумно схоронки эти делали, что вороги ходили поверху да не ведали, где от глаз чужих меньшие сберегаются, где от стрел струйных сохраняются.

Скоко разов вороги побили защитничков всех до единого, но Саров из пепла вставал — новы доспехи надевал. Жён среди саровчан становилось всё меньше. Какие сами убегли, кого татары подстерегли, в полон увели, орехами откормить, потом съесть-убить. И порешили защитники Сарова взять на себя монаший обет, чтобы Господь пуще сберегал от бед, а на месте городка деревянного, какой завсегда сгорал-пропадал, построить монастырь каменный этими же руками.

Начали строить, да сперва подземные захоронки расчистили, землю оттедова повыкидывали, своды глиной мокрой поразглаживали, под факелы смоляные гнёзды поналаживали, а вдоль главного входа келий понаделывали да на каждую дверь понавешивали. А ещё сотворили множество ходов-тупиков, чтобы ворог, ни будь он каков, под землёй сырой позаблудился, в эти тёмные ходы на смерть свою понабился. Да выкопали монахи несколько колодцев, чтобы отсиживаться подоле, коли ворог захочет лишить их воли. Копали они, когда ворог поверху ходил, по сусекам блудил. А сиденчество тако бывало долгим-долгушеньким. Копание продолжалось, а чтобы враги не поняли того, монахи землю в кожаны мешки сбирали, ночами у потайных наземных щелей высыпали, сами чистым воздухом дышали. А как ворог лютый уходил, весь народ на свет Божий выходил, мешки с землёй рассыпал по городским валам. Без молитвы русский человек жить не может, так там, под землёй, даже подземную церковь построил, земляную, стены и купол глиной с водой замазал-укрепил.

А наверху сам снова кирпичи лепил-обжигал, на стены выкладал. Монастырь подрастал, только что звёзд не достал.

А там и татарам пришёл конец, как повелел Всевышний Отец.

Повыходил народ на белый свет, позабыл-позабросил подземный сед. Начал на земле жити, солнце любити, ржицу сеяти, мучицу молоти-веяти.

Слава про город Саров и его сынов далеко прошагала, много Божьих служителей посбирала. Уж и соборы ввысь поднялись, и кельи в кружево каменно одяглись. Стали Саров святым городом называть, как ни изничтожила его никака тать, ворог никакой не порушил. И живут в ём люди — душа в душу. Не дерутся они, не лаются, ничего-то они не пужаются. А ещё есть в нём источник воды живой: если кто недужий или даже неживой в него окунётся — здоровым да молодым обернётся.

Шли богомольцы изо всей Руси, Господи еси, дажно из Болгарии и, прости меня, грешную, из самой Татарии.

Кто не крещён был — здесь крестился, кто неправедно жил — тут винился. Стал монастырь расти, богатеть, большой прибавок иметь.

Наезжали богатые люди, много даров оставляли монастырю. Многие давали завет, чтобы здесь их схоронили. А однажды приехала бабушка поэта, тогда опального, Михаила Юрьевича Лермонтова. Огромный вклад сделала да икону Скорбящей Богоматери, в изумрудах да алмазах, подарила.

Вдоль дамбы, отделяющей реки Сатис и Саровку, росли могучие деревья. Тоне сказали, что это царица посадила. А какая, не сказали! Может, Екатерина Вторая? Или ещё кто? А за пятнадцать лет до жуткого своего большевиками уничтожения приходила из самого Петербурга царская чета — сыночка у Бога выпросить. Вот несчастная Александра Фёдоровна и посадила аллею эту ручками собственными.

Проходя по аллее, Тоня прижималась к могучим стволам, и ей казалось — становилась она сильнее. Начиталась исторических романов, представляла себе царицу в кринолинах, в кружевах и в короне. Как она собственноручно высаживает саженцы деревьев, привезённые из Петербурга. И даже садовника столичного, что выращивал маленькие прутики, представляла себе: он в белых рейтузах, поверх — панталончики с кружевами и чуть перепачканный землёй камзол.

Это была игра. Впрочем, всё было игрой — вся жизнь. Ведь школа ничего, кроме вечного страха за невыученный урок, не давала.

Особенно интересным для девчонок различного возраста оставался таинственный подземный ход. Ходили в него как к себе домой. Ходили, рискуя никогда не увидеть света белого, погибнуть от страха, голода и жажды, задохнуться, заблудившись в хитромудром лабиринте подземелья.

Всё их снаряжение состояло из спичек, огарков свечей, мела да мотка шпагата. Фитилёк свечи еле тлел — мало было кислорода, на поворотах пламя кренилось вбок, огарок угрожал догореть. Ну, естественно, никто из взрослых понятия не имел, где дети, и случись беда — кроме летучих мышей, которые водились там в изобилии, никто и никогда не узнал бы об их местонахождении.

Мелом помечали на стенах свой маршрут, шпагатом обвязывали кого-либо из девчонок вокруг пояса, когда та обследовала очередное ответвление. Чаще всего это была атаманша Тоня.

Там, наверху, кто-то рассказывал всяческие ужасы о заблудившихся под землёй, о тридцатых годах, когда комсомольцы выгребли оттуда кучу скелетов, икон, церковной одежды и почему-то детских скелетиков. Кажется, всё это исходило от Вали Гладышевой и её семьи, жившей в Сарове ещё до революции. И что после революции здесь прятались белогвардейцы, их там перестреляли и газом потравили; что, когда закрывали монастырь, монахи где-то в тайниках припрятали наиболее ценную церковную утварь. Девчонки слушали, замирая от ужаса и втайне надеясь отыскать что-нибудь интересное. Но, увы, ничего на их долю там не осталось.

Каждый раз «исследовательницы» уходили немного дальше вчерашнего. Но по-настоящему продвинулись только тогда, когда в мешке рыбацком у своего отца Тоня нашла фонарик-жужжалку. Он, правда, очень плохо освещал дорогу, но зато никогда в нём не могло ничего кончиться — ведь он сам вырабатывал электроэнергию, от движения руки.

Отец хватился своей пропажи, пришлось вернуть. И снова в ход шли огарки свечей, похищенные из дома спички и шпагат.

И всё же ужасный случай произошёл с Тоней и её командой. Как всегда, зажгли огарок свечи и храбро двинулись вдоль ещё не обследованных келий. Спички, с трудом раздобытые, держала в руке и никому не доверяла новенькая из пятого класса. Тоня шла впереди и в металлической банке из-под американских сосисок несла своё светило.

Неожиданно на повороте откуда-то налетел ветер, и миллиметровый огарок свечи погас. Ощупью обнаружив Тоню, Лёля Романова позвала новенькую со спичками. И — о, ужас! Спички были мокрыми от пота новенькой и никак не загорались. Слишком страшным для девочки оказался первый спуск в подземелье. Кто-то уже стал тихо подвывать, а перед этим все храбрились. Казалось, что само подземелье начинает душить, не выпуская никого из своих лап.

— А ну перестаньте! Взялись дружно друг за друга! Достали еду и воду, — крикнула Тоня во весь голос.

Вой на время утих. Кто-то рядом с ней хрумкал полусырую картошку. Тоня выпила саровской воды из источника. Сил и мужества, кажется, прибавилось.

— Надо набраться терпения и ждать. Только снимите белые платки, чтобы летучие мыши не набросились. Лёля, ты готовила Маринку. Почему не сказала, что нельзя ничего белого надевать?

— Тоня! Я прямо из школы.

И Маринка снова завыла высоким голосом, который вызвал шелестение крыльев летучих мышей.

— Да замолчи ты, — командирским тоном приказала Тоня.

— Сейчас на твой визг тысячи мышей слетятся, — страхом попыталась остановить девчачий ужас Рита Уткина.

— Тише! Кажется, кто-то ещё есть в подземелье.

И тут из кромешной темноты, мигая и покачиваясь, выглянул, как бы дразнясь, лучик света.

— Девчонки, а ну до предела умолкните, прижмитесь к земле. Может, нас выследили, а это похуже

смерти,—прошептала Валя Гладышева.—Если в лапы к тем попадёмся, нам и родителям нашим каюк. Присобачат шпионаж!

Между тем свет приближался. Значит, кто-то проговорился всё-таки о подземном ходе. Но в этот миг из-за поворота показался слабый лучик света.

Ура! Спасены! Это шла с двумя подружками Тамара Козина—дочь местного судьи. У них в руках настоящая экипировка искателей приключений—фонарь «летучая мышь». Да ещё если их поймают, то дочери судьи ничего не будет.

Святые места

Не менее часто ходили они по местам, связанным с именем Серафима Саровского. Никто и ничего о нём не рассказывал, нигде ничего нельзя было прочесть—тема была запретной. Но какая-то неведомая и, как теперь стало ясно, добрая сила звала ребятню снова и снова в места, достойные любого россиянина.

Особенно привлекала к себе купальня, выложенная когда-то мрамором. Да ещё родник, где имелся деревянный крест, к которому прикладывались не только верующие, но и—с оглядкой—иные жители города. Крест почти всегда был из нового дерева, что означало, что его систематически сносили, но кто-то устанавливал его снова и снова. В купальнях постоянно кто-нибудь находился: то женщины сидели, опустив в ледяную воду больные ноги, то старушки поливали друг друга из ведра, если даже это было глубокой зимой.

От виденного бил озноб, кожа становилась «гусиной». Однажды одна из девчонок, Лёля, буквально силой заставила Тоню вылить на её голое тело два ведра ледяной воды из родника, откуда люди брали лечебную воду для питья. От очереди, которая вытянулась к роднику, ей здорово попало:

— Бери из купальни!

Но Лёлька Романова вопила:

— Только из родника! В купальне старик только что сидел со струпьями на ногах!

А одна старушка, которая почти постоянно им здесь встречалась, сказала:

— Мальцы редко сюда приходят. Пусть набираются здесь доброты. Может, людьми вырастут.

И толпа оставила их в покое. А Лёля после такого купания не только не заболела, но стала ещё сильнее и бегала стометровку за 11,7 секунды. И щёки стали ещё краснее!

Вскоре началось настоящее наступление на купальни и родник со стороны партийного руководства. Сперва купальни засыпали, а позднее на месте купален и креста озеро сотворили. Так ли это, Тоня уточнила позднее, уже прожив несколько лет в других местах.

Увы! Так и было! Кому мешали купальни, какой вред крест чинил—узнать невозможно. Но в восьмидесятые годы, по приезде в Саров, Тоня узнала: только что снова, в который раз, милиция разогнала молящихся в день успения преподобного Серафима Саровского. И повеяло на душу подземным холодом.

Тогда уже было известно, что приходила на богомолье в Саров императрица Александра Фёдоровна с Николаем Вторым молить о рождении сына, вымолила. Родился после её паломничества царевич Алексей, но на какую судьбу! И совсем некстати подумалось, что, может быть, борьба с памятью о Серафиме Саровском велась как раз из-за прежнего пребывания царицы здесь, в святом городе.

Антонина Александровна даже пошла поглядеть, жива ли липовая аллея, посаженная Александрой Фёдоровной в её посещение. Кое-что от аллеи осталось.

Утешило также то, что стоит-красуется собор, где разместился в своё время театр, с которым у неё так много связано. Его готовились передать церкви, а здание театра уже достраивалось.

Самым удивительным оказался изменившийся быт горожан. Во время службы, несмотря на большое число церквей, не все желающие в них умещались—«хвосты» местами тянулись до середины улицы. Пост соблюдался строго. По крайней мере, в семьях, где Антонина гостила. На здании одного ресторана красовалась надпись: «Постные обеды у нас и обеспечение вам на дому постного ужина».

Все были заняты поисками купальни отца Серафима и его источника, скрытого в «совковые» годы многометровым слоем воды, образовавшей озеро.

Антонина, в детские годы только чуть приобщённая к православию, теперь с ужасом подумала: кто из подручных ада задумал на святом месте разместить ядерный центр?

Ну конечно, это были Лаврентий Берия и Иосиф Джугашвили. И как они сумели совратить на античеловеческое дело величайших учёных—Андрея Сахарова, Юлия Харитона, Сергея Королёва, Игоря Курчатова?

Андрей Сахаров раза два читал в их школе лекции. Был очень худ, рыжеват. Если бы Тоня хотя бы терпеть могла эту самую математику, встреча с этим великим человеком осталась бы неизгладимой. А так всё её раздражало: и «няньки» академика из органов, и бесконечные вопросы школьников. А она сиди тут с умным видом, когда давно надо быть на репетиции. Не знала и не предполагала, что сведёт их судьба на одной дорожке.

А получилось так, что в коттедже, где жил Андрей Дмитриевич в Сарове, теперь живёт Тонина ближайшая подруга, Валентина Захарова. А в доме в городе Горьком, где он впоследствии находился под горьким домашним арестом в квартире на первом этаже, жил водитель Валентининого мужа,

и на седьмом этаже этого дома несколько дней гостила Антонина.

И тогда убедилась, как уважал рабочий люд своего необычного арестанта. Но именно только его. А не Елену Боннэр! И с какой болью говорили о бесчеловечном обращении с ним властей.

Антонина помнит, что квартира его находилась слева, перед ней стоял письменный стол и сидел застывший, как бонза, квадратный милиционер. Перед входом в дом, под открытым небом, стояла насмерть проржавевшая «Волга» Андрея Дмитриевича. Все жители были предупреждены: попросит газету—не давать! Гвоздь—не давать! Лезет этот старик под машину—не сметь помочь, и т. д. и т. п. В разговоры не вступать, даже если просто спросит, какое число.

И наконец—появление депутата Андрея Сахарова на трибуне Съезда, и вслед за этим—его фактическое убийство бабищей из Средней Азии и Михаилом Горбачёвым.

Антонина в это самое время—тоже депутат в крохотном сибирском городке, член движения «Демократическая Россия».

И слёзы, слёзы сразу за всё, а главное—за то детское торопыжество в театр на очередную репетицию. Когда надо было до глубины души впитывать каждое слово Гения. А не только запоминать, что ходил он раскачиваясь, был худ и рыжеват.

Я помню пророка. Он был некрасив…
Красивы пророки не все на Руси…
Ходил—будто воздух бодал головой,
Его же рубил он свободной рукой.
Большая, не к телу, его голова
На шее, казалось, держалась едва.
А шея была чрезвычайно тонка,
И резок, по-грифьи, уступ кадыка.
Высокий, в потёртом своём пиджаке,
С былинкой, случайно зажатой в руке,
Он в собственных мыслях печально тонул—
Уж слишком тяжёлую лямку тянул!
Был молод. Веснушки сияли да чуб,
Рыжинка и жёсткость пророческих губ—
Всё это я помнила юным умом,
И кажется ныне легендой иль сном.
Мы знали, что часто пророк голодал—
Талоны столовские семье отдавал…
К деньгам равнодушен был—город-то знал,
Как он от кассиров при встрече бежал.
Зарплату-получку он брать не желал…
А деньги от премий в детдом отсылал…
Две «няньки» ходили за ним по пятам,
Поэтому был недоступен он нам.
Он был для России—первейший секрет.
И мы замирали, ступая вослед…
И город Саров на высоком холме
Ценить его славу любил и умел.
Пророк проходил, а за ним—шепоток:
Он то рассчитал, что никто бы не смог!
Немало в том, прежде святом, городке
Живало таких же, «с былинкой в руке»:
Светила науки—безмерная цветь—
Должны были раньше «заморских» успеть!
Узнать, рассчитать, испытать, устрашить,
Врагам показать термоядерный щит
В степи Казахстана (в назначенный час—
Весь мир известил о событии ТАСС).
В степи Казахстана взрывною волной
Два раза обвязан был шарик земной…
Пророк рассчитал, «зачехлил» Харитон,
Страна напрягалась, создателям в тон,
Родная страна выбивалась из сил,
Но сил придавал Серафим легкокрыл.
Мы всех устрашили, первей всех—себя,
И стали мы—в силе! Над силой скорбя.
Посеяли ужас, вражинам в укор.
Теперь вот не сеем, но жнём до сих пор…
Дамоклов наш меч на страже всему…
Пророково имя причастно к тому!
…Он быстро прозрел, он быстро подрос,
Достал головой до Эльбруса и звёзд.
Он первый призвал обуздать смерти гон—
Но стал неугоден компартии он…
А город Саров, разлюбив его вмиг,
Фальшивую истину покорно постиг.
И начал он травлю. «Ату»,—он кричал,
И совесть не слушал—рубил он с плеча!
Голгофой грозил, распоясавшись, смерд…
Пророку пророчил беду он и смерть!
Тот в Горьком провёл много горестных лет,
В ушко милицейское взят да продет.
Всё в том же потёртом своём пиджаке,
С былинкою пыльной, зажатой в руке.
…Вот он на экране, на съездовской сходке.
Он вышел к трибуне, качаясь, как лодка,—
Высокий, согбенный—нетленный старик.
А в зале—раздрай, истерический крик!
А в зале, в безумных глазах дикарей,—
Весь мир перевёрнут: «Гоните взашей!
Он врёт! Он клевещет на армию нашу!
Терпенью конец—переполнил он чашу!»
Но мир рукоплещет—не око за око,
Вздымая пророка высоко, высоко…
А Меченый взвился: «Прошу вас сойти!!!»
…В Бессмертье уходит пророк… Бог, прости!

Ходил Сахаров, переваливаясь со стороны в сторону. О нём имелась то ли правда, то ли легенда, что он не хотел получать те огромные деньги, какие ему положили за его гениальность в этой большой человеческой клетке: «Зачем мне деньги? Я ещё те не истратил. Куда их можно истратить? Отдайте какому-нибудь детскому садику, что ли».

И потом, после его переселения, когда Тоня гостила у своей подруги в коттедже, где жил этот гений, она очень удивилась, каким замызганным

и никогда не ремонтированным было это жильё, как скрипели полы и расшатанная лестница на второй этаж. Во дворе стоял железный гараж, крыша в котором провалилась.

А в Горьком у него не было и такого укрытия для машины. За семь лет «Волга» изоржавела «на нет».

Андрей Дмитриевич у жильцов дома (а это в основном были рабочие строящейся Горьковской АЭС) вызывал большое сочувствие.

— Совестно, когда этот уважаемый пожилой человек лезет под машину в случае поломки, но ничем нельзя помочь. Вот и проходишь, опустив глаза, под прицелом милицейского ока,— говорил Володя, жилец той квартиры на седьмом этаже, где Антонина несколько дней гостила.

Тоня однажды видела, как шла по делам опальная пара. Он, Сахаров,— сзади, а метрах в трёх впереди вышагивала Боннэр.

— Она часто ездила в Москву, получала большие суммы, привозила деньги за пазухой, а приходя в сберкассу, высыпала их на прилавок и на вопрос: «Сколько?» — отвечала: «Считайте! Это ваша работа»,— это уже делилась своими опасениями жена Володи, оператор сберкассы.— А вдруг она потом скажет, что денег было больше, чем записано?

От пребывания в горьковской Щербинке у Антонины осталось впечатление, что великий учёный унижен был дважды: милицейским и домашним надзором.

Вообще, из-за того, что отец Тони занимал крупные посты в атомной промышленности, Тоня лично знала многих ведущих специалистов этой отрасли. Например, с Кирпичёвым (это был псевдоним Сергея Павловича Королёва) она однажды ходила на ранний подлёдный лов.

Такой вид рыбалки неизвестен сибирякам. Реки в Сибири бурные, непокорные. Пока их мороз льдом скуёт, они из своих волн такие кренделя накрутят!

То ли дело равнинные реки в Центральной России. Их поверхность чуть морозец погладит, они и сдаются сразу. А через несколько дней — извольте: ровнейшее прозрачное зеркало на всей поверхности. Мальчишкам раздолье: хочешь — катайся на коньках, в хоккей играй. А самые безрассудные и неугомонные ещё и качались на тонком льду, как на болотных кочках,— туда-сюда. Где жизнь, а где вода.

Лёд «заматерел»? И тогда в ночное время выходили на лов рыбаки. Снасть — хороший фонарь в руках впереди идущего и берёзовая кувалда (охан) на плече следующего за ним. Да ещё — острый глаз, чтобы разглядеть спящую подо льдом рыбу.

Отец Тони обычно шёл с берёзовой кувалдой. И на этот раз — тоже. С фонарём — Кирпичёв. Ну а Тоня — сбоку. У неё-то глаз самый острый.

— Рыба! — верещала Тоня.

Бах-бух! Готово!

— Ну что ты так кричишь? Рыба проснётся!

— Не на промысел же мы пришли, а на отдых.

Вот такая была рыбалка. Тоня глазастая, а огромную рыбину, вероятней всего сома, просмотрела. Думала, это бревно подо льдом. А это бревно как поплывёт — только хвостом гребанул, как веслом, по льду.

— Папа! А кто этот дядька в телогрейке был? И почему там вдалеке за нами ещё два дядьки ходили?

Он ничего Тоне не ответил. И только когда в начале 1966 года пришло трагическое сообщение о смерти Сергея Павловича Королёва, отец сказал:

— Помнишь, мы с ним на Сатисе с оханом рыбачили? Он тогда в длительной командировке находился. Так вот то и был Сергей Павлович. А ещё он — земляк твоей мамы.

Вообще, ей очень везло на такие встречи. Впрочем, в городе Сарове, буквально изобилующем гениями всех мастей, это было совсем не трудно. С дочерью Вениамина Ароновича Цукермана она училась в одном классе и даже бывала у них дома на поедании пирожков с яблоками, какие пекла Даша. Дочь Евгения Валерьевича Маевского, свою одноклассницу, она привела к себе домой после ареста её отца. За что от мамы ей выпала взбучка. А папа похвалил дочь и увёз девочку к директору совхоза «Сатис». Там уже находился мамин племянник Павел Верповский.

С Юлием Харитоном она каталась на коньках. Он тогда как-то удрал от своих надоевших охранников, которые даже спали на раскладушках рядом с шефом. Вот он и вырвался. Увидел девчонку, что одна так поздно катается, и тут же присоединился. Одного круга сделать не успели, как выскочили трое, как из мешка, и уволокли Тониного партнёра. Дома по описанию узнала, с кем каталась.

А уж генералов всяких, типа Георгиевского, насмотрелась вдоволь. А потом ещё с Ефимом Павловичем Славским (министром атомной промышленности) блины едала.

Игоря Васильевича Курчатова она видела только раз, проплывая на весельной лодке по реке Сатис мимо дач научных работников. Он там с Козыревым играл в большой теннис.

О Сарове

Но самое время вернуться к рассказу о Сарове — любимом городе Антонины.

Выше, кажется, упомянуто, что до сооружения театра центром культуры был кинотеатр, расположенный в одном из культовых зданий. Помимо фильмов, там ставились спектакли, давались концерты: вначале — силами заключённых, а затем совместные с вольнонаёмными исполнителями.

Здесь впервые услышала она малый симфонический оркестр, которым руководил политзаключённый Геллер. Здесь же приобщилась к оперному искусству: поставлены были под руководством, очевидно, прославленных режиссёров—расконвоированных заключённых—оперы «Наталка Полтавка», «Запорожец за Дунаем», сцены из оперы «Чио-Чио-сан». Тоня не может назвать ни одного исполнителя, но, очевидно, взрослые их знали, так как некоторых встречали овациями. А исполнителей приводили и уводили под конвоем. Всё это вызывало бурю возмущения, особенно когда после воздушной пачки балерины она однажды увидела исполнительницу главной роли в «Лебедином озере» в сером тюремном бушлате.

Всё казалось перевёрнутым вверх ногами, как и сама жизнь в городке, откуда нельзя было в первые годы выехать даже по причине смерти кого-либо из близких. Единственным источником духовности являлись эти спектакли, концерты да театр, которого с нетерпением ждали буквально все—от мала до велика. Театр собирались открыть к одному из революционных праздников, но всё сорвалось. Буквально в канун открытия, когда всё уже подходило к концу, кто-то из озлобленных зэков разложил на чердаке театра, напротив великолепной люстры, костёр. Потолок прогорел, люстра едва не рухнула с высоты. Торжество перенесли на несколько месяцев. А у «кумовьёв» прибавилось работы! Ведь тогда в каждом поступке искали шпионов и диверсантов, не понимая, что это был простой человеческий протест или воля какого-либо вора в законе. Таких тоже в лагерях города имелось во множестве!

Но всё исправили. Зал получился на славу. К театру примыкало здание ресторана, находящего в бывшей церкви. Купол расписала политзаключённая Маргарита (к сожалению, Тоне не запомнилась её фамилия). Известно только, что она прежде была московским архитектором, о ней ходила слава как о самой красивой женщине. А убила её из ревности одна из блатных зэчек. Но это так, к слову.

А купол, на котором имелись голубое небо, ласточки и кленовые деревья, ещё долго служил людям. После ресторана там расположился читальный зал городской библиотеки. А сама библиотека имела прекрасный книжный фонд, комплектовали её люди, которые запомнились читателям своей неординарностью и влюблённостью в дело: Искра Витальевна Денисова, Юлия Николаевна Ушахина.

Между тем состоялось торжественное открытие театра. К этому времени в городе уже была скомплектована труппа, в неё пригласили артистов московских театров. Возглавил труппу артист Ананий Бернс, который приехал вместе со своей супругой Ларисой Артуровной. К открытию подготовили блистательный концерт, в котором зрителям представили, кроме всего, отрывки из будущих спектаклей. Часть номеров представили заключённые актёры.

В дальнейшем на малозначительные роли брали самодеятельных артистов из кружка-студии, которым руководил Борис Иванович Смагин, организовавший настоящие студийные занятия по полной программе.

Детская студия ставила спектакли, в которых участвовали профессиональные актёры, исполняющие роли взрослых героев. И наоборот: детей в профессиональных спектаклях играли студийцы. На спектаклях негде яблоку было упасть, всегда аншлаг. Ведь это был единственный источник духовности. А жили в городе на особом режиме в основном москвичи. Детская студия ставила такие спектакли: «Снежная королева», «Любовь к трём апельсинам», «Её друзья», «Двадцать лет спустя» и другие. А силами профессиональных актёров были подготовлены и показаны зрителю не только драматические спектакли, но и музыкальные комедии—например, «Девичий переполох» Милютина.

Золотое время детства! Сколько чудесных дней вспоминается сейчас, когда прошли годы.

И удивление вызывает, что какие-то события и эпизоды как бы идут за тобой всю жизнь. Для Тони это была история, связанная с древней архитектурой России, с её главными духовными наставниками—в лице, например, преподобного Серафима Саровского. Всё, что связано с ним, впитывалось как губка. Всё, что хотя бы отдалённо напоминало бывшие церковные сооружения, волновало, восхищало и удручало тем, что было варварски разрушено.

И вот, наконец, наступила пора восстановления. В городе, в котором впоследствии Тоня прожила полвека, строили церковь Преподобного Серафима Саровского. Тоня было возглавила попечительский совет, но когда осознала, какие там мимо Господа деньги проплывают,—поняла: она комар, а там эскадрильи истребителей. И хотя сердце уже наполнялось чем-то сладким, она с позором сложила руки. Только в мыслях так и остался след давнего благолепственного почитания города своего детства—Сарова—и преподобного Серафима Саровского. А судьбой ей на полсотни лет даровано было участие в зарождении молодого сибирского города Зеленогорска, где построена была церковь Серафима Саровского.

А пока ещё—Саров. Тоне шёл всего только четырнадцатый год. Никаких обязанностей, никаких забот. В голове только театр, театр и ещё раз театр.

Сразу же попала в театральную студию, которую вели известные московские артисты. Театр размещался в обезглавленном бывшем соборе.

Сценическую речь преподавала ведущая актриса Малого театра, Лариса Артуровна Бернс; её муж, бывший заместитель директора того же театра,—историю театра и систему Станиславского; Ариадна Николаевна Лысак, киноактриса,—сценическое движение. Преподавались также такие предметы, как фехтование, танцы, сценическое освещение и бутафория. По этим предметам занятия вели Виктор Горюнов, Борис Смагин и Анатолий Лысых.

Все они обманом завезены были якобы на гастроли, а потом Берия их много лет никуда не выпускал. Московская слава их померкла за годы, а золочёная клетка превратила их в провинциальных актёров. Почему именно золочёная клетка? Потому что на золочёный крючок повышенной зарплаты изловил их Лаврентий Павлович. Ведь актёрам страны в то время платили до смехотворного мало. А здесь!

Тоня так увлеклась театром, что забросила занятия в обычной и музыкальной школах. Играла ведущие роли в детских и взрослых спектаклях. Нос носила высоко. С мальчишками совсем не зналась, а более взрослых парней влюбляла в себя и безжалостно бросала. Особенно любил её Виктор Макеев. Даже, узнав, что она любит другого, бросился с крыши высокого дома. Не убился, но покалечился. Чем ярче он проявлял чувства, тем больше она над ним куражилась. Была дерзкой. И однажды услышала: «Тебе ещё отольются мои слёзы».

Так оно и случилось. Слёзы в жизни, пока не окрепла, лила долго и обильно. Всё вернулось к ней бумерангом. Лила слёзы и её мама, изо дня в день. А однажды даже хохотала до слёз. Бросился за ней с ружьём зять, так она от страха забралась в будку к соседскому псу, овчарке Вулкану, мимо которого ранее даже проходить опасалась. Тогда и хохотала сама над собой, над своей храбростью.

А вот отец Тони и слёз не лил открыто, и не боялся карабина бывший фронтовик. Это Тоня прыгнула на ствол оружия, в результате чего пуля ушла в пол. А слёз не было—прибежал сосед и отобрал оружие у стрелявшего.

А ещё до своего отъезда Тоня безумно влюбилась в лейтенанта Валентина Близнякова, который помогал ей и её подружкам готовиться к экзаменам по математике за седьмой класс. Он берёг её в большой чистоте. И ни слова не говорил ей, пацанке, о любви.

Математика и любовь так перемешались, что однажды, от избытка не выплеснутых чувств, она на спор резанула бритвой по руке своего любимого. Потом сама билась в рыданиях, обезумев, зализывала его раны и вообще вела себя как помешанная. И если сказать точнее, то именно из-за любви к Валентину вся её жизнь пошла кувырком. Сдав все три тура вступительных экзаменов по специальности в Киевский театральный институт на «отлично», она случайно позвонила домой и, узнав, что Валентин женился, бросила всё и вернулась домой. Что было дальше, думаю, внимательному читателю понятно.

А много раньше произошла, точнее, могла произойти, драма. Как уже говорилось, строительные работы в Сарове выполняли заключённые. Отец её работал начальником монтажно-строительного управления. И в предпусковые периоды домой не приходил неделями.

Однажды мама послала Тоню отнести отцу на работу хотя бы чистое бельё. Тоня пошла. А в это время на колокольне, где вёлся монтаж водонапорной башни, урки играли в карты. И её, девочку в красном платье, проиграли.

К Тониному отцу относились хорошо, и он в тот же день узнал о проигрыше. За ночь Тоню собрали в дорогу и отправили в Киев, к тёте Шуре Щербаковой. Благо, было куда! Там она занялась почему-то изучением медицины и истории дипломатии. Школьные задания опять-таки—между делом.

Зато в Киеве, как в Ростове Великом и в Сарове, она облазила развалины всех церквей, до умопомрачения, по десять-двадцать раз, посещала одни и те же исторические музеи.

Если бы не обмороженные ноги, жизнь шла бы знатно. Из-за болезни она целый год пропустила занятия в школе.

В Киеве никто не ограничивал её свободу. Город прекрасен, тётя Шура заботилась о ней лучше, чем о своей дочери Нелли и сыне Юрочке. Там возникла влюблённость в Вадима Софиева—квартиранта тёти Шуры.

Когда в лагере лопатами забили насмерть урку, который в своё время проиграл Тоню и не смог её убить, отец вернул свою дочь в закрытый город. Ей в это время шёл уже шестнадцатый год.

Две верных подруги имелись у Тони. И обе—с надломленными судьбами.

Клара Зайцева брошена была родной матерью в возрасте двух месяцев на руки её тёти. Появилась в её хорошо организованной и счастливой личной жизни только глубокой старухой, да ещё попыталась разрушить семью дочери.

Клара вытерпела все её капризы, и, как настоящую мать, хлопотами мужа своего—полковника штаба Варшавского договора—похоронила на одном престижном кладбище города Минска, и памятник у хороших скульпторов заказала и установила…

Самой верной и щедрой, несмотря на трагическую судьбу, была Валя Логинова (Деменюк). Гулящая мать повесила на Валину голову свою дочь Тамару и сына Лёву. А Вале было чуть больше пятнадцати. И к этому времени в её жизни было всё: чужие дядьки при живом отце, один из которых на глазах Вали и Тони пытался зарезать

жену. И работа Валина после уроков по уборке чужих квартир. И раздел имущества родителей. Потом — неудачное замужество и ещё более неудачная любовь к шефу своему, Ламинскому.

Одиночество… В Сарове, этом научном ядерном центре, она семнадцать лет жила в одной квартире с бывшим мужем. А он, в отместку ей, женился на совсем молоденькой лаборантке из того же сектора, где Валя работала дозиметристом. При ней росла дочь Галина — ровесница своей мачехи! А Пётр с новой женой в той же квартире дорастили до пятнадцати лет своего сына.

Только золотой характер Валентины удерживал без качки эту странную квартирную лодку. Несмотря на все сложности быта, она к Тоне приезжала в московскую больницу, потом в Сибирь и во Владимир, пытаясь залатать брешь хотя бы в семье подруги.

Вы скажете, надо было ей разменяться с бывшим мужем, разъехаться? Уехать куда глаза глядят? Земля велика! Э, не! Вы не знаете, что в закрытых городах до середины восьмидесятых годов — никаких разменов и обменов. Ясно? В Сарове вообще были громадные очереди на жильё.

Ну, мы опять отвлеклись. Валя за несколько лет получила однокомнатную квартиру для себя и дочери, но оказалось, что слишком поздно. Производственное заболевание, лучевая болезнь… Шесть операций по пересадке спинного мозга. Умерла в шестой московской клинике.

Но мы вновь возвращаемся к недавнему посещению Антониной города Сарова, где она долго и упорно искала могилу Валентины Логиновой (Деменюк). Нашла и рыдала. Несчастная, неухоженная могилка. Шариковой ручкой подписано, кто здесь нашёл вечный покой. Тоня сразу же решила заказать табличку с фотокарточкой. Но тут выявилось Валино очередное несчастье: дочь приехала из Североморска и категорически запретила что бы то ни было делать.

«Так вот, Валечка, достала тебя и на том свете деструктивная секта.

А в городе, где мы с тобой жили, быстро набирает вес русское, исконное православие. Саров до сих пор — закрытый город. И носит он уже давно своё историческое название. Помнишь, как его раньше называли? И Шатки, и Арзамас-16, и Кремлёвск, и т. п.

И не зря мы уливались слезами, когда ломали пятиглавый собор. Тебе бы, при твоей тонкой душе, не вынести то, что открылось недавно…

Я о том, как разорялось это святое место. Теперь всё открыто даже для нашего закрытого во всех отношениях города. Кстати, мне сюда приезжать разрешают только потому, что я здесь жила. Да ещё Миша Кудрев сделал когда-то на моих документах разрешительную помету. Всё же, Валюша, он меня любил».

Богоборчество, или бой с мёртвыми и живыми

Как вот тот, чей красный галстук мы, Валя, носили, собрал 20 июня 1920 года заседание Совнаркома под своим председательством, то есть когда-то крещёного господина в кепке Владимира Ульянова-Ленина.

Там приняли решение о ликвидации всех мощей во всей России. Взял под козырёк Темниковский райсовет и принялся за обесчещивание мощей преподобного Серафима Саровского, канонизированного в 1902 году.

Как только слух об этом прошёл, народ со всей округи, от самых Кремешков, вооружившись чем попало, окружил святыню. Нашёлся человек, возглавивший эти толпы. Это был бывший белый офицер Антонов. Он к моменту саровских событий руководил восстанием крестьян Тамбовской губернии против засилий советской власти. Впоследствии попытка спасения православных святынь была названа позорным словом «антоновщина».

Даже в современных документах архивисты избегают указывать на истинную причину сопротивления верующих поруганию святыни Серафима Саровского. Взбунтовались, мол, крестьяне на пустом месте. Иначе чем объяснить, что против безоружных защитников российской веры применили армию Тухачевского, отозвав её от ворот Варшавы для усмирения «бунта»? И усмиряли вилы и косы пулемётами и пушками. И применили против тех, кто пытался спрятаться в лесах, отравляющие газы. Это было вторым в мировой практике применением отравляющих газов.

Став взрослой, окончив Московский архивный институт, Тоня поняла, что значит для русского народа вера. За неё — в огонь, за неё — на плаху, за неё — безоружным под пули и снаряды. Вера творила чудеса и спасала Россию от полного разорения. Таким чудом стало то, что даже после смерти преподобный Серафим собрал со всех окрестностей православный народ на защиту святыни.

Несмотря на это, рака с мощами была вскрыта, всё разобрано, расчленены на части мощи. Отброшен серебряный золочёный гроб.

Мощи выставлены на всеобщее обозрение. Каждый обязан был подойти и плюнуть или что-нибудь ещё хуже. То есть нанести поругание мёртвому Серафиму Саровскому.

Организаторы кощунства подготовили четыре подводы. На них как попало покидали на сено косточки и увезли на четыре стороны. Приказ господина Ульянова не исполнили до конца: мощи не сожгли, не потолкли до состояния муки, не спустили в нужник. А увезли. Вероятней всего, слишком сильным и сплочённым было противодействие, да

и Тухачевский с пушками и ипритом на собственный народ где-то под Варшавой подзадержался.

До 6 апреля 1922 года шла успешная борьба с безоружными крестьянами. Но у кого не было даже вил или косы с серпом для защиты веры, в бой пускали собственные зубы. Не зря в медицинском отчёте армии за двадцать первый год сказано, что девять революционных бойцов скончались от крестьянских укусов.

За два года «войны» было уничтожено сорок пять тысяч крестьян, сожжено со всеми жителями четыре деревни, «невинно сложили голову восемьсот семьдесят славных красных бойцов».

В день подавления «бунта» в Саров прибыли представители власти для конфискации церковного имущества. Под слёзы паломников и монахов монастыря с икон сдирались серебряные ризы, выковыривались скатные жемчуга, алмазы, аметисты. Верующие пытались спасти ризу с Чудотворной иконы Владимирской богоматери весом один фунт и восемь золотников. Собрали всё, что у кого было из золота, серебра и драгоценных камней. Но инквизиторы на обмен не согласились. Хотели спасти оклад от тут же сожжённого старинного Евангелия. Но и здесь получили отказ.

Всего было украдено конфискаторами в Сарове сорок шесть пудов и двадцать с половиной фунтов серебра ювелирной работы, четырнадцать золотников скатного жемчуга и полфунта мелкого жемчуга, семьдесят четыре алмаза, два камня аметиста.

Недавно были попытки расследовать, куда же это всё подевалось. Никаких следов не найдено. В состав имущества Темниковского уезда не внесено. И для утишения голода, идущего вдоль Волги, когда матери ели своих детей, никакому обмену на хлеб для голодных не подлежало. А вы ещё будете спрашивать, откуда брались в нищей стране Корейки?!

Было просто сброшено в грязь множество великолепных вышивок, покрывавших престолы, и изумительной работы изделий из бисера — ведь при монастыре сто пятьдесят лет действовали мастерские.

После разорения храмов был дан приказ уничтожать и сами здания, построенные на пожертвования Радищевых, Голицыных, Оболенских, бабушки М. Ю. Лермонтова. В этих храмах бывали и жертвовали на них Даниловский-Михайловский, Мусин-Пушкин, Орлова-Черемисова, князь Куракин, князь Трубецкой, граф Шереметьев, граф Зубов, герой войны 1812 года Платов.

Не смогли в те годы снести храмы с лица земли, не было у разорителей такой силы.

Расписывали храмы живописцы А. Волков, А. Красносельцев, Е. Мокалинский, А. Богомолов, О. Никитин, Е. и С. Никитины, М. Крюков.

В 1906 году реставрировали их живописцы А. И. Ступин, Семён Серебряков. На реставрацию ушло шестьдесят семь тысяч рублей золотом, а через год, при реставрации собора, одна только работа стоила сто тысяч золотых рублей.

Подробности событий двадцатого — двадцать второго годов рассказал в совхозе «Сатис» Тониному кузену, Павлу Верповскому, хозяин квартиры, где тот ждал разрешения на въезд в город. Хозяин был сумасшедший, это с ним случилось почти сразу после вскрытия мощей и конфискации церковных ценностей. Он тогда и возглавлял бравых комсомольцев во имя возлюбленной своей революции.

Павлик побоялся что-либо записывать. Да и рассказчик был не в своём уме. Но, имея свойственную всем Верповским память, хорошо всё запомнил. Хотя сестре рассказал только в девяносто четвёртом году. Этот рассказ, только ещё достовернее, из первых уст, подтвердил те сведения, что получены в городском музее города Сарова.

Висит над кроватью Антонины образ преподобного. Его подарил Епископ Красноярский и Енисейский Антоний.

В свой приезд в восемьдесят шестом году она написала в местной газете о разрушении «пятиглавки» и о детских подземных путешествиях. Указала даже, где вход. И — о, чудо! — оказалось, что это не подземный ход, а подземная церковь, которую в настоящее время реставрируют. Даже запретили тяжёлым машинам ездить по центру города. Подземных церквей в России осталось не больше трёх. Одна из них обнаружена отрядиком Антонины в 1949 году.

Марина Переяслова

Во сне я писала роман

«Там, во сне, наконец-то всё получилось так, как я давно желала: день принадлежал мне, а не моим многочисленным обязательствам, обещаниям и встречам, и на меня сошло то сладостное состояние внутренней взволнованности, которое только и рождает строчки, берущие читателя в плен. Там, во сне, я схватила подвернувшийся под руку большой конверт и, не обращая внимания на закипевший на плите чайник, карандашом принялась судорожно переносить на поле конверта клубившиеся под сводом черепной коробки образы, мысли и прозрения.

Это было блаженство, зовущееся «полной внутренней свободой». Кому-то оно даётся от рождения, а кто-то завоёвывает его каторжной внутренней работой длиною в целую жизнь. Я писала с юности, но всегда помалу и урывками, считая необходимым разрулить сначала «неотложные дела». А неотложными эти дела были потому, что они касались других людей: мамы, подруги, начальника. И никому никогда в голову не приходило, что я только и жду момента, чтобы закрыть дверь своей «кельи» и начать разговор с Господом, в котором Он доверит мне предназначенные лишь для меня откровения. Другие «Божьи дудки» услышат от Него каждый своё, и всё это критики назовут «современным литературным процессом».

Писатель должен быть эгоистом, в хорошем смысле этого слова, чтобы осуществился Божий замысел о нём. Работники библиотеки в Переделкино, созданной Чуковским, вспоминали: когда Александр Солженицын приходил к ним, чтобы забрать отложенные для него книги, несмотря на их неприкрытое желание побеседовать с «живым классиком», тот вежливо благодарил и поспешно уходил — недописанное не отпускало от себя, не оставляло возможности переключиться на дела и обыкновения мирские. Так, не пишущие люди часто обвиняют тружеников пера в высокомерии, нелюдимости и прочих грехах, не вникая в особую природу творца, и ему остаётся пребывать в мире вечным изгоем до тех пор, пока имя его не засияет на небосклоне отечественной словесности…»

Из романа Елизаветы Столешниковой «Исправление ошибок»

Глава 1

Родители назвали её Елизаветой в ту пору, когда новорождённых девочек награждали именами Татьяна, Марина, Елена. Это были пятидесятые годы двадцатого века, и имена из девятнадцатого столетия — Аглая, Евдокия, Аграфена — казались неприятно архаичными, а их редкие юные обладательницы удостаивались насмешек сверстников и сочувствующих взглядов взрослых, понимавших, как нелегко нести бремя родительских необузданных фантазий. Попробовали бы вы в те годы ответить парню, представившемуся вам как Димка или Олег, что вас зовут Фёклой… В лучшем случае он спрятал бы в углах губ усмешку, ну а в худшем — скривился бы или разразился тирадой по поводу забронзовелости ваших «предков», выкопавших откуда-то подобный старый хлам: неужели не нашлось более приличного имени для любимой дочки?

Лиза как раз входила в возраст Джульетты, и всё её существо, подобно ещё закрытому, но уже набухшему бутону редкостного цветка, было готово разорвать путы зелёного панциря и явить миру свою благоуханную нежную прелесть. Так выстреливают из почек первые изумрудные листочки черносмородиновых кустов, наполняя мир стойким ароматом будущих сочных ягод. Сама она вряд ли об этом догадывалась, но с четырнадцати лет заработала в Лизе программа её будущей жизни, подчиняющейся законам творчества.

Ничто в судьбе человека не происходит сразу: сначала грядущее даёт о себе знать случайными, казалось бы, заметами, которым в юности не придаёшь значения и лишь с годами научаешься их примечать и прозревать их тайный смысл.

Впервые это случилось с Лизой в десять лет, когда родители купили для неё путёвку в пионерский лагерь на Чёрном море, недалеко от города Туапсе. Лиза, привыкшая выезжать на лето в пригородные заводские детские здравницы, поначалу, к удивлению предков, яростно запротестовала, ударившись в слёзы и отказываясь от поездки. И лишь позже папа с мамой узнали истинную причину рыданий своего чада: девочка знала, что всю жизнь родители мечтали хоть одним глазком увидеть море, и вот теперь за огромные для их бедной семьи деньги радость встречи с земным бирюзовым чудом предстояла лишь ей одной.

Но в конце концов она, конечно же, поддалась на уговоры «мудрых взрослых». И вот поезд, загруженный до отказа красногалстучной шумливой ребятнёй, спускается по рельсам из зелёного массива к откосу, и глазам высунувшихся в форточки и прилипших к стёклам детей открывается не виданная прежде картина: отливающая многими цветами голубая ширь, а на ней, ближе к берегу, сверкают мириады золотых звёздочек, которые слепят глаза и захлёстывают душу восторгом. Глаза Лизы начинают привыкать к краскам и солнечным бликам, и она вдруг улавливает незнакомый, совершенно особенный запах моря, приятно щекочущий ноздри. Она уже различает как бы несколько слоёв морской глади: у самого берега море бирюзовое, дальше оно становится синим, а совсем вдалеке—фиолетовым.

Поезд медленно движется по самому краю насыпи; кажется, что ещё немного—и он упадёт с откоса вниз. От этого Лизе страшно. Девчонки в вагоне визжат, когда состав делает очередной поворот на круче, слегка наклоняясь в сторону моря.

Всё это было первым жизненным потрясением Лизы. Вернувшись домой, она припомнит ощущение моря, схватит школьную тетрадку и запишет в неё свои восторги от встречи с ним. А потом, уже в сентябре, когда класс получит домашнее задание написать сочинение на тему «Как я провёл лето», она сдаст учительнице литературы свои записки, и та поставит оценку «пять с плюсом» и зачитает перед классом опус Лизы в числе лучших.

Елизавета тогда ещё, конечно, не знала, что море и тетрадь с ручкой будут теперь идти с ней по жизни и даже станут её «сладкой болезнью», главным приоритетом и тайным отчаянием. Не потому ли однажды родятся в ней поэтические строчки:

Две страсти мои—
Это север и юг.
Ах, Чёрное море!
О, Санкт-Петербург!

В эти же годы Лиза начала петь; её трепетная, ранимая душа требовала выплеска, и выход находился в голосовой исповеди. Елизавета любила советскую эстраду, но ещё больше волновали её сладкозвучные зарубежные певцы, слов песен которых она не понимала, но голоса, в которые перетекали их души, отменяли необходимость перевода. Девочка бесконечно слушала пластинки с записями Дина Рида, Тома Джонса, Сальваторе Адамо, Рафаэля, Энгельберта Хампердинка, Мирей Матье, Джо Дассена, Тото Кутуньо, Массимо Раньери, Риккардо Фольи и, конечно же, неподражаемой английской четвёрки «Битлз». Заслушав пластинки до дыр, она выучила их наизусть. Голосок у Лизы был тонкий, даже писклявый, она не вытягивала высокие ноты, порой фальшивила, но пела самозабвенно, не страдая комплексом неполноценности из-за своего вокального несовершенства—ведь её единственными слушателями были собственное отражение в зеркале трюмо да отчасти живущие где-то на облаках соседи с верхних этажей.

Однажды к ней прибежала запыхавшаяся подружка Танька и, вытаращив серые глазищи, срывающимся голосом выкрикнула:
—Лизка, бежим скорей в музыкалку, там приёмные экзамены заканчиваются—может, ещё успеем! Будем играть на пианино и в хоре петь, вот здорово будет!

Слово «пианино» лишь слегка задело сознание Лизы, а вот «петь в хоре»—это уже прозвучало магически, и, наскоро одевшись, она выскочила из дома, подгоняемая шиканьем подруги за слишком медленный бег.

Они успели. В зал, в углу которого стоял рояль, пропустили последних пятерых девочек и двух мальчиков. Ещё не остывшие от бега будущие певицы предстали перед строгой комиссией, состоявшей из пяти музыкантш и одного музыканта, который и был председателем приёмной комиссии.

Танька, хорошо и часто певшая со сцены на школьных утренниках, легко прошла испытание по вокалу и точно воспроизвела звуки, которые извлекла из клавиш рояля молодая женщина в очках с толстыми линзами. Когда же пришёл черед Лизы, она вслед за подружкой уверенно ринулась в бой, затянув высоким голосом их любимую песенку про лошадь Каролину:

Каролина, мой дружок,
На заре со мной встаёт,
Никогда не устаёт,
Скачет весело вперёд.
Мчится Каролина, ветру не догнать…

И вот на этой самой строчке о ветре голосок Лизы задрожал и сорвался, обнаружив, что его обладательница «дала петуха». Видимо, это выглядело очень смешно: энтузиазм, с которым Лиза разогналась в песне, и вдруг—внезапный срыв, как будто её любимая Каролина споткнулась и полетела в пропасть. Комиссия как-то очень дружно и беззаботно рассмеялась, а у Лизы от стыда и огорчения потемнело в голове, и как потом педагоги ни уговаривали её попробовать спеть другую песенку, девочка больше не издала ни звука, а потом и вовсе убежала из зала, заплаканная и несчастная.

Таню приняли в музыкальную школу, а Лиза, и без того зная, что провалилась, даже не попыталась узнать результаты приёмных экзаменов. В её душе поселилась жгучая горечь, и она ещё долго не могла избавиться от этого чувства. Теперь она пела свои любимые песни не громко перед зеркалом, а тихо, себе под нос, больше не представляя себя на сцене перед публикой.

Глава 2

Поняв, что певицы из неё не получится, юная Елизавета переключила свои помыслы на кино, ведь они с Танькой буквально не вылезали из кинотеатров, экономя для этого деньги на школьных завтраках. Как же крутило их бедные животы на второй перемене! Но мысль о том, что после уроков они окажутся в зале, где на сияющем экране оживут волшебные картины, заставляла подружек идти на многократные жертвы. Они самозабвенно любили своих кумиров: Лиза—Вячеслава Тихонова, а Таня—Алексея Баталова,—и могли часами листать уже затрёпанные до дыр журналы «Советский экран», мастерить коллажи с наклеенными кадрами из любимых фильмов и до хрипоты спорить, какой из них лучше.

Однажды Лизе всё-таки удалось утереть Таньке нос. Она положила в конверт открытку с портретом Вячеслава Тихонова из своей объёмной коллекции и написала своему любимцу, как восхищается его игрой в кино, а в конце попросила прислать ей автограф. На конверте, недолго думая, она написала адрес: «Москва, киностудия «Мосфильм», артисту В. Тихонову». И стала ждать. А когда ждать уже надоело, в почтовом ящике, к неописуемому своему восторгу, Лиза обнаружила письмо из столицы, в котором к ней благополучно вернулся её собственный Вячеслав Тихонов с аккуратной, красивой подписью на обороте. То-то же лопалась от зависти верная подружка, не верила в подлинность автографа, а сама тайком отсылала Алексею Баталову конверт за конвертом. Увы, безрезультатно. Видя, как месяц от месяца всё больше мрачнела Таня, Лиза подарила ей своего драгоценного Тихонова, после чего напряжение как-то само собой рассосалось.

Все последние школьные годы Елизавета не переставала бредить кинематографом и твёрдо знала, что хочет учиться только в одном вузе страны (о Европе речи тогда быть не могло)—во ВГИКе, причём непременно в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Она ни минуты не сомневалась, что они её «возьмут». Долгими бессонными ночами она читала им на вступительных экзаменах «Письмо Татьяны к Онегину» и отрывок из «Гранатового браслета» Куприна и, по юношеской своей наивности, даже не задумывалась над тем, что нужно что-то предпринять, чтобы для начала очутиться в Москве.

Большую и жирную точку в этой затее поставила её суровая мама, безапелляционно заявившая буквально следующее:

—Даже не мечтай об этой глупости. Тоже мне, нашла профессию! Быть артисткой—несерьёзно. Там один разврат. Будешь копейки считать. Да и таланта у тебя никакого нет. В общем, денег я тебе на дорогу не дам. Лучше садись за учебники и готовься в наш пед на иняз. Всегда заработаешь себе репетиторством на хлеб с маслом, а может, и с икрой.

Никакие Лизины рыданья не смогли растопить лёд материнского сердца: мама лучше знала, что нужно её дочери. А дочь была ещё, к сожалению, таким безвольным и послушным ребёнком, что подчинилась родительскому приказу, загнав свою мечту глубоко внутрь себя.

Елизавета без особого труда поступила на факультет иностранных языков областного педагогического института—видимо, потому, что совсем не волновалась по поводу результатов экзаменов, хотя именно туда был самый большой конкурс. Куда сильнее её беспокоил просмотр в труппу народного драматического театра при Дворце культуры, где она размечталась получить ведущие роли и тем самым заместить утрату своей кинематографической мечты. Лиза очень легко стала членом театрального коллектива и совершенно напрасно этому радовалась. Полгода спустя она поймёт, что все главные роли в спектаклях уже давно были распределены, и «новеньким» режиссёр уготовил место в массовке. При этом массовка проводила на репетициях ровно столько же времени, что и ведущие артисты, с той лишь разницей, что одни были в зале, а другие—на сцене (к сожалению, массовых сцен в спектаклях было от силы две-три). При всей горечи полученного опыта Лиза уяснила для себя одну важную вещь: её темперамента не хватило бы на столь длительное действо, как полноценный театральный спектакль, и она совершенно искренне удивлялась, где прима Анечка брала столько душевных и физических сил, чтобы без устали играть в трёхчасовой постановке. Через много лет её знакомая киноактриса

подтвердит и объяснит ей эти ощущения: «Я по своей сути—артистка кино, а не театра. Меня не хватает на театральный спектакль, для работы на сцене нужно родиться стайером, нужно иметь глубокое ровное дыхание, особый темперамент. Я же могу собраться лишь на небольшой по протяжённости выплеск, рвануть, подобно спринтеру, лишь на короткую дистанцию. Я не могу играть по много лет в одной и той же пьесе. Мне нужно всё проживать впервые и единожды».

Однажды, после очередной затяжной, испытывавшей её терпение репетиции, Елизавета брела по усыпанной пухом тополиной аллее, и вдруг её стремительно окружила пёстрая и говорливая стайка молодых цыганок.

— Красавица, ты что такая грустная? Хочешь, тебе погадаю? Всю правду расскажу, ничего не утаю. Только положи мне на ладошку рублик,—сладкозвучно пропела цыганка.

— Не надо мне никаких гаданий,—стала инстинктивно обороняться Лиза.

— Ну, не хочешь гаданий, тогда дай рублик малым деткам на хлебушек.

— На, возьми, только отстань от меня,—протянула Лиза деньги.

Цыганка одобрительно кивнула и всё-таки схватила Лизу за запястья и повернула обе её руки ладонями вверх. Лиза сразу обмякла и, как в тумане, стала слушать цыганку.

— Смотри, милая, на правой руке у тебя много линий, здесь написано, что может случиться в твоей жизни. Вот линия судьбы, она заканчивается разветвлением: это значит, что у тебя много талантов, но ни один из них ещё не стал твоей судьбой. По какой из этих дорог ты пойдёшь, ещё не знает никто. А теперь смотри на левую руку, она почти без рисунков. Только когда ты будешь долго идти по своему пути—увидишь на этой руке его следы. Ну, хватит с тебя, что-то я разговорилась. Прощай.

И стайка цыганок испарилась так же стремительно, как и возникла. Елизавета же, всё ещё продолжая оставаться под гипнозом, как будто в неё впрыснули незримую анестезию, почувствовала сильную дрожь в ногах и поспешила присесть на ближайшую скамейку. В голове гудело, но слова навязчивой представительницы кочевого народа почему-то сильно зацепили. Много позже Лиза поймёт, что они не просто зацепили, а прямо-таки впились в её сознание: как говорят в народе, «нарисовались—не сотрёшь».

Глава 3

Зодиакальный знак Лизы—Дева, и это обстоятельство подарило нашей героине глубокосидящую закомплексованность. Природа наградила Лизу миловидной внешностью, но всю юность и молодость она считала черты своего лица и фигуру несовершенными, а форма ног вообще повергала её в отчаяние. Девушки с более чем скромными внешними данными вели себя как королевы, откровенно соблазняли парней, демонстрируя свои убогие «прелести», а Лиза вечно забивалась в дальний уголок, уходила в тень, пряталась от заинтересованных мужских глаз. И только в одном Елизавета никогда не сомневалась: она твёрдо знала, что в сердечных её глубинах зарыт бесценный клад—способность любить, страстно и самозабвенно. В её груди бушевал океан нежности и глубочайшей преданности избраннику, единственному на всю жизнь. Как же хотелось ей высказать своё заветное в стихах или песнях, но не дала ей Природа ни поэтического, ни вокального дара. И тогда Лиза стала бессознательно искать выход, чтобы заглушить боль от собственной немоты и невозможности выплеска.

Потом, прожив на свете не один десяток лет, она осознает, что способность писать стихи, так же как и способность петь, даётся человеку свыше—это Божий дар. Господь выбирает человека для озвучивания своего замысла, и этот избранник становится своеобразным радаром, улавливающим звуки небес и передающим их обитателям Земли. И сколько бы литературных институтов и консерваторий ты ни окончил, гениальным писателем или певцом ты можешь стать только тогда, когда Всевышний наметил тебя для этой миссии. В этом случае Он награждает своего подшефного фантастическим трудолюбием, увлечённостью и упорством в достижении поставленной цели. Такого человека не остановит ничто: ни козни врагов, ни слёзы родных, ни бытовые проблемы, ни безденежье, ни провалы на экзаменах. Господь пошлёт ему на пути нужных людей, которые протянут руку помощи, введут в круг судьбоносных знакомств. Человек реализует себя и станет знаменитым, потому что таков Божий замысел о нём. Препятствия же на пути Божьих радаров только укрепляют их волю к победе. В той же самой ситуации простой человек отчаивается и опускает руки, сворачивает с избранного пути. Приехавший в Москву поступать в институт и провалившийся на экзаменах простой смертный вернётся в свой родной провинциальный город Н. и похоронит свои мечты. Божий избранник скажет себе: «Я никуда из столицы не уеду, потому что моё место—здесь, я не смогу дышать без этого города, я буду держаться за него зубами». Он любыми правдами и неправдами «зацепится» в главном городе страны, чтобы в следующем году штурмом взять стены неприступной крепости.

Лиза и сама не понимала почему (хотя чётко это осознавала), жизнь всегда сводила её с талантливыми людьми, независимо от того, были ли

они ко времени их встречи уже знамениты или делали ещё только первые шаги по дороге своей судьбы. Каким-то природным внутренним чутьём она безошибочно выделяла их из сонма других встречных, только к ним её неудержимо тянуло, только с ними ей было по-настоящему интересно.

Пожалуй, один только раз, в самом детстве, она прошла мимо таланта, не узнав, не почувствовав его. Но что мы можем понимать в шестом классе?

Это был удивительно дружный шестой класс обычной средней школы в небольшом городке «большой химии». Каждое утро в будние дни Лизочка просыпалась с радостным ощущением: «Нужно бежать в школу!» Ведь после звонка с урока начнутся самые интересные вещи: на перемене мальчишки начнут скакать по партам и петь новые песни из нашумевшего кинофильма «Кавказская пленница», а девчонки будут изображать из себя то «красавиц, студенток, комсомолок», то многочисленных жён восточного султана. Потом стайка девочек убежит в коридор, и, забившись в укромный уголок, они начнут наперебой рассказывать друг другу новости о мальчишках-одноклассниках, в которых они «втрескались», или о недосягаемых кумирах из десятых классов. И всё это будет так восторженно и целомудренно, так таинственно и впервые! Вот тогда-то Лиза и проглядела «бегавшего за ней» Генку Якунина.

Генка сидел на второй парте, прямо позади Лизы. Он был самым высоким в классе, и поэтому учителя периодически пересаживали его на последнюю парту, но вскоре он опять оказывался позади Лизы и «доставал» её своими шутками. То косички завяжет ей в узелок, то начнёт тыкать в спину ручкой в надежде, что упрямая девчонка обернётся и он покажет ей язык. В общем, не разглядела тогда Лиза в Генке таланта, зато, когда через пять лет она «играла» в массовке в спектакле народного театра «Девочка и олень», именно Генка и был тем самым артистом, которому после бурных аплодисментов зрительницы несли на сцену все свои букеты. В такие минуты Генка смотрел на Лизу взглядом победителя, а она отводила в сторону восхищённый и виноватый взгляд и жалась ближе к кулисам. Но ничего изменить уже было нельзя. В первом ряду на всех спектаклях сидела их одноклассница Света, тихая и добрая девушка, которая сразу после школы стала Генкиной женой.

Глава 4

Обычные люди, не обременённые сверхзадачей творческой самореализации, просто плывущие по течению жизни, были Лизе неинтересны. Она не презирала их, даже уважала многих за их несомненные достоинства, но как бы проходила мимо них, не пуская глубоко в свою душу. Рядом же с талантами она непременно останавливалась, искала встречи с ними, желала совместных дел, загоралась их идеями, как будто подзаряжаясь от них для жизненных подвигов. Их слова глубоко западали ей в душу, заставляли идти в библиотеку, на выставку живописи, ехать в другие города за впечатлениями. Она погружалась в этих людей надолго или на короткое время, но все они непременно оставляли в её душе неизгладимый след, обогащали её отзывчивое существо новым знанием, только их она помнила отчётливо всю жизнь, тогда как многие другие встречные исчезали в дымке её памяти вскоре после разлуки. Будто влажной тряпкой стиралось с доски времени всё ненужное, ещё недавно написанное мелом.

В седьмом классе Лиза перешла в другую школу, рядом с домом. Ребята в классе подобрались, в её представлении, на удивление «серые». Основную массу интересовало только одно: как бы не схватить «пару» и как бы поскорее удрать из школы. Лиза пыталась проводить с ними литературные есенинские и лермонтовские вечера, звала на каток, но они лишь с восторгом рассказывали, как «бухáли» во дворе и «тискали девок». Через пять лет Лиза не смогла вспомнить имён многих своих одноклассников, за исключением Валерки Иванникова, вечно задававшего учителям провокационные вопросы, ставившие их в тупик, на которые им приходилось долго и пространно отвечать.

Увы, при всей её творческой, чуткой, мечтательной натуре, в добавление к этим достоинствам, через гены, словно родовое проклятье, Лизе было передано одно незавидное свойство, разрушавшее все лучшие начала её личности, имя которому — леность. Пассивность была присуща ей не в той степени, в которой она досталась небезызвестному Илюшеньке Обломову, но в достаточной, чтобы не давать мечтаниям перейти в реальные дела. Эта черта характера присуща очень многим представителям рода человеческого, и, тем не менее, многие из них преспокойно доживают с этим до старости. Другое дело — с творческими натурами, нуждающимися в самореализации и выплеске. Для них это сущая пытка — хотеть сказать слово и не мочь часами заставить себя сесть за ноутбук, чтобы это слово материализовалось на светящемся экране, способном сохранить его на века и передать человечеству. Лиза всегда с завистью наблюдала за деятельными натурами, предпринимавшими героические усилия для того, чтобы воплотить свои замыслы в жизнь. Она же как будто всё время плыла по течению в ожидании часа, когда Бог пошлёт ей то, о чём она бредила в своих мечтах. Сколько замечательных идей и планов сгинули втуне только из-за того, что их автор так и не удосужился пошевелить хотя бы пальцем.

Когда Лиза осознала эту мерзкую ущербность своей натуры, она научилась бороться со своим недостатком одним нехитрым и подходящим для неё способом. Будучи по природе человеком

ответственным, обязательным и совестливым, дав кому-то слово выполнить работу в сжатые сроки, она обязательно её выполняла — качественно и вовремя (не случайно ведь Девы считаются самыми лучшими исполнителями заданий начальства). В одном журнале она как-то прочла интервью с известным украинским журналистом, назвавшим себя «Человеком-*Да*». «*Да*» — было его жизненным кредо. Он трудился в редакции международного журнала, где работа была сопряжена с многочисленными командировками. И вот, когда все члены редакции дружно отказывались ехать в какую-то дальнюю страну, он в этом случае всегда говорил «да» — и ни разу об этом не пожалел. Благодаря этому он объездил весь мир, стал знаменитым, востребованным корреспондентом и был очень доволен своей жизнью, ведь скучать ему было некогда. Возможно, он верил, что всё, что ему посылает Господь, — его счастье, а может, просто таким уродился, важно одно — он в этой жизни состоялся.

Вот и Лиза стала отвечать «да» ещё до того, как была до конца высказана просьба, чтобы лень не успела уговорить её отказаться. И таким образом ей стало удаваться всё время поддерживать себя в рабочем состоянии. Как страшнейшей напасти, стала она бояться простоев в делах, которые будто со скачущего коня сбрасывали её в яму, из которой приходилось потом мучительно выдираться.

Глава 5

Наличие вокруг Лизы талантливых творческих натур позволяло ей попасть в ауру их высокого напряжения и тоже начинать пылать — подобно сухим ветвям, на которые перекинулось пламя соседних горящих трав. Ей нельзя было надолго выходить из этого окружения, чтобы не потухнуть, будучи залитой случайным дождём.

К тому времени после окончания института Лиза устроилась работать редактором в книжное издательство. Вгрызаясь в чужие рукописи, она испытывала истинное наслаждение от работы, ведь каждый день ей приходилось иметь дело с литературой. Она даже издала тоненькую книжечку стихов под названием «Росток», снабдив её самой выигрышной своей фотографией, на которой она походила не то на русалку, не то на инопланетянку. Робея от свойственного ей самоуничижения, Лиза однажды подарила свой первый поэтический сборник маститому писателю С. Всю неделю с замиранием сердца она ждала его появления в редакции. И писатель не заставил себя долго ждать. Он протянул Лизе её творение и, растягивая фразы, как будто вымучивая впечатление от прочитанного, произнёс:

— Для первой книги сносно; мне было любопытно читать не то, *как* вы пишете, а скорее то, *о чём* вы пишете. Я думаю, вам стоит попробовать писать литературную критику или эссе. Ведь поэтический дар — удел избранных. Зато фото автора мне безоговорочно нравится.

И многозначительно взглянул на начинающего литератора. Лиза залилась румянцем, как взъерошенный снегирь. На глазах стали медленно набухать слёзы, и она поклялась себе никогда больше не писать стихов. В тот миг она готова была уничтожить весь тираж своего «Ростка» вослед классику отечественной литературы Алексею Николаевичу Толстому, изъявшему у книготорговцев свой первый поэтический опыт.

Пережив потрясение от первой устной рецензии, Елизавета попробовала настроить себя на прозаический жанр. Она начала писать о том, что бурлило в её душе, не рифмованными строчками, а обычным человеческим языком, ничего не выдумывая и ничего специально не конструируя, никогда не зная, какой будет следующая строка, вырвавшаяся из-под её пера. Так пролились на бумагу тексты первого в её жизни романа «Исправление ошибок». Лиза едва сдерживала рвавшийся из её глубин поток. В эти минуты она отчётливо понимала, что нашла способ для выплеска. Ей суждено писать прозу. Пусть не великую, но искреннюю. На левой её ладони из разветвления линии судьбы стала отчётливо выделяться одна веточка, идущая вверх.

И ещё Елизавета Столешникова верила, что её ещё не родившиеся дети в самом ближайшем будущем придут на эту землю и обязательно будут уметь блистательно писать стихи, играть на сцене и петь песни о любви божественными голосами, а иначе зачем Господь дал ей такую трепетную душу и сердце, через которое проходит вся боль и вся радость мира. Эта вера оправдывала её существование в веках как необходимого звена в цепочке цивилизации, без которого не состоялось бы рождение нового яркого творца. Это убеждение стало её утешением на трудном пути к себе самой.

Владимир Замышляев

Колокол исторической памяти

О книге В. Шанина «Суриков, или Трилогия страданий»

В истории русской литературы и искусства немало имён, которым посвящены монографии, литературоведческие, искусствоведческие сочинения и аналитические статьи. Есть книжная серия «Жизнь замечательных людей». Но много ли романов о русских писателях и художниках? Мы пытаемся вспомнить хоть один о художнике—и не можем. И вот событие: в 2010 году в Красноярске вышел роман Владимира Шанина «Суриков, или Трилогия страданий». Три тома, 1670 страниц. Для современного читателя книга такого объёма вызывает психологическое отторжение. Скорописание отучает людей от неспешного, вдумчивого чтения, от бытия наедине с книгой. Рыночный слоган «время—деньги» детерминирует и литературное «производство», девальвируя качество в угоду «массовой культуре».

Мы прочитали роман. При этом не торопились, спрашивая и автора, и самого себя: что перед нами? Действительно ли это «трилогия страданий» великого художника—или всего лишь очередной пересказ биографии В.И. Сурикова?

Писатель В. Шанин работал над романом, как он сам уведомляет нас, более двадцати лет. Что же он искал все эти годы, подвергая себя и свою семью такому тяжёлому испытанию, потому что при неспешном писательстве быстрых денег не бывает, а жить надо каждый день?

В. Шанин изучил всё написанное о художнике до сих пор, и в первую очередь, конечно, архивы, местные и центральные, а в архивах—архивные документы, свидетельствующие о Василии Ивановиче Сурикове, его родителях и родственниках—всех, кто находился в пространстве его рождения, становления и творческого бытия. Одним словом, писателя интересовала эпоха второй половины XIX века и первых шестнадцати лет века XX-го. Какое множество лиц! Можно сказать, литературная империя.

Тут перед писателем особенная ответственность. При изображении конкретных исторических лиц художественное воображение ограничено, а убедительность изображения при этом не отменяется. Очевидно, документальная основа и громадная фактология помогли писателю удержать историческую правду и в то же время не опустить её до уровня архивной справки. Писатель создал художественное произведение на документальной основе, сам, по сути, став историком, краеведом и в какой-то степени—этнографом и фольклористом. При этом он назвал его «романом-исследованием».

Исследуя жизнь и творчество В.И. Сурикова, он вычленил очень важный период его «страданий» при создании трёх картин: «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове» и «Боярыня Морозова». Но, как нам кажется, роман является и краеведческим исследованием. Особенно первый том, «Деревья живут корнями». В контексте самого названия слышится голос земли, а в содержании тома раскрывается жизнь сибирских казаков в Красноярском остроге-городе и его широких окрестностях: от губернского центра до Туруханска, Минусинска, Хакасии, вплоть до границ с Монголией и Китаем (не случайно этот том очень насыщен топонимикой и тщательным описанием быта казаков, крестьян, «инородцев»).

Если вычленить в романе все этнографические детали, речевые обороты, сказки, детские игры, «дразнилки», то получится, наверное, объёмистый краеведческий фольклорный материал, достойный отдельного внимания и изучения. Филологическое образование писателя, видимо, заставляло его обращать внимание на «вкус и цвет» народной жизни на берегах Енисея.

Мы бы назвали трилогию и краеведческим романом, хотя мы и не ставим под сомнение его художественный уровень. Русская классическая литература, если рассматривать её в географическом ракурсе, осваивала в основном центральные земли Российской империи, а её восточная часть пребывала в небрежении—как колония, недостойная отдельного изображения. И литературные герои имели лицо и характер срединной России. Даже в XX веке, во времена размаха «ударных строек» и освоения целинных земель в Сибири и на Дальнем Востоке, появился в литературе герой, который, опять же, пел песню: «Мой адрес—не дом и не улица, мой адрес—Советский Союз». Однако большая сибирская литература в XX веке всё же возникла; тому доказательство—хотя бы

книжные серии «Писатели на берегах Енисея», «Современная сибирская повесть». Но, кроме имён В. Астафьева и В. Распутина, она была недооценена как самобытная часть общего художественного наследства и современного творчества в России.

Мы повторяем, что историко-краеведческое содержание романа «Суриков, или Трилогия страданий» необычайно глубоко и панорамно, с охватом всей народной жизни, от несущих государственную службу казаков и чиновников — до духовенства, политических ссыльных (декабристов и поляков) и уголовников.

И добровольно освоенная, и ссыльно-поселенческая Сибирь представлены в романе без романтической идеализации, но с любовью писателя, в ней рождённого. Его кровная любовь к изображаемым лицам и природе взошла на генетическом уровне и не нуждается в презентации. Подлинная любовь всегда скромна и стесняется аффектов.

В понимании и изображении народной жизни через раскрытие семейных корней В. И. Сурикова писатель выделил её главное основание — нравственные ценности, как христианские, так и установленные самими казаками и крестьянами. В романе наглядно представлены формы нравственного поведения «героев» того времени. Например, обращение с животными, отношение к лошадям. Казак не может бить своего коня. На подворье Суриковых конь Каурка уважался и ценился как надёжный друг-работник. Или такой факт: крестьяне отказались ремонтировать эшафот для казни преступников, заявив, что не будут «срамить топоры».

Характерно осуждение красноярцами такого явления, как представленная на выставке в Париже гильотина, которая может отрубать по восемь голов сразу. Об этом рассказывал побывавший на выставке авторитетный в Красноярске купец П. И. Кузнецов, меценат юного художника Сурикова. А в Красноярске были трудности с подбором палачей для совершения публичной казни: никто не хотел идти на эту «службу» — население сочувствовало казнимым поселенцам.

В романе много примеров живой, а не рассудочной нравственности. До сих пор, например, актуальна затронутая в романе проблема спаивания народа; это ведь давно укоренившаяся государственная политика. Приведём отрывок из романа на эту тему:

«…— А водка в кабаках отвратительная — обычный «сивалдай», господа, зато продаётся «под орлом».

— Надо пожить в деревне, чтобы понять всё значение этой отвратительной торговли… Надо посмотреть на деревню в престольные праздники, чтобы убедиться, какое гибельное влияние имеет этот главный источник наших государственных доходов,— с волнением в голосе высказался фельдшер Иванов.

Его поддержал отставник Иван Суриков, напомнив слова покойного родственника Ивана Васильевича Сурикова, служившего винным приставом в Сухом Бузиме: „Деревня спивается, и это только начало. Конец может быть непредсказуемым“…»

Заметим, что и отец В. И. Сурикова не пил, и мать, Прасковья Фёдоровна, была весьма строга к выпивавшим, даже гостям.

Реконструируя исторические факты, писатель отнюдь не подстраивает их под нашу современность. Он показывает, как неизбывна нравственная пропасть между государством, властью и народом, когда источником богатства и «прогресса» в стране стал кабак. Кабаки преобладали числом над церквями и над единичными учебными заведениями — приходскими школами. Да в этом отношении и сама церковь — не святая: и церковные иерархи, и местные священники не прочь угощаться зельем по разным поводам, от губернаторских балов до обычных крестин и поминок.

Триада «государство (самодержавие), церковь, народ» в романе выстроена концептуально, и чаще — в несводимых противоречиях, чем в освящённом официальной политикой единстве. Вот смотритель Красноярского уездного училища, коллежский асессор и кавалер А. К. Мошков, в кабинете губернатора спросил священника о. Иоанна Рачковского, протоиерея Воскресенского кафедрального собора: «Готовы ли вы, святой отец, помочь нам и взять на себя заботу о попечении образования народа?» — и отец Иоанн в ответ привёл высказывание из Соборного послания святого Иакова: «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». И тут же язвительно добавил, что «жалованье для законоучителя — унизительное! Всего-то сто рубликов. А мирскому учителю — сто двадцать, и при готовой квартире!»

Препирательства между властью и церковью в «заботе о попечении образованию» задержали его развитие, в сравнении с Европой, на несколько столетий, что привело к огромному разрыву между образованной элитой и остальным народом. Это и одна из причин революционного терроризма в империи, начиная с бунта декабристов и кончая 1917 годом.

В романе В. Шанина приводятся имена немцев и ссыльных поляков, находившихся на чиновничьей службе в Енисейской губернии по простой причине: они были образованными. Нелюбовь к немцам, полякам и евреям среди красноярского населения была заметной: иностранцы «слишком нахально забирают власть», «издеваются над русскими» и обжуливают их в торговле и кабаках. Правда, издевались над простым людом и свои, русские «начальники», но когда — «свои», то это вроде как легче.

Вопрос об отношениях самодержавной власти, православной церкви и населения, отнюдь не фанатичного в православии, да ещё в переплетении с иными верами и национальной принадлежностью,—традиционный и очень непростой в истории России. В. Шанин, как нам кажется, никого не оскорбил и никого не возвеличил без заслуг, представляя на страницах романа мирских и духовных лиц, русских и инородцев, немцев и поляков. Он на стороне исторической правды, сожалея о том, что «не то худо, что худо, а то, что никуда не годится». В этой универсальной народной мудрости, приведённой писателем, заключена «загадка русской души», принимающей всех в свой широкий мир и при этом их недолюбливающей, а порой и презирающей.

В первом томе романа вопросы веры, нравственности и бытового, мирского деяния прописаны во всём многообразии сибирско-красноярской провинции. Её губернское становление прошло длинный и сложный путь—со сменой многих генерал-губернаторов, с временным пребыванием в Красноярске по государственным делам таких выдающихся деятелей, как М. М. Сперанский, Н. Н. Муравьёв-Амурский, Н. П. Резанов и др. А вынужденное проживание в городе всеми уважаемого декабриста В. Л. Давыдова! А блестящая плеяда местных купцов—Кузнецова, Щёголева, Сидорова, Матвеева, их просвещённых жён и образованных детей! А само казачество с укоренёнными бытовыми традициями, с высокими понятиями о чести и достоинстве, даже с непослушанием, когда достоинство оскорблялось! Одним словом, губернский город Красноярск ко времени рождения В. И. Сурикова имел все признаки деятельного общества, связанного со всей Россией, переживавшего все происходившие в её центре события, хотя и с опозданием из-за задержки, как сегодня говорим, информации. Сибирский каторжный путь и ямщицкая почта—вот основная коммуникация между Сибирью и центром России до строительства Транссибирской железнодорожной магистрали.

Атмосфера жизни в первом томе романа—это быт и нравы. Даже эпиграфы, выбранные автором, настраивают на такое восприятие: «Это не роман, это история нравов» (Ю. Трифонов)—и тут же: «Исторические лица интереснее вымышленных» (Г. Флобер). Главное же в том, что это и роман, и историческое повествование о быте и нравах той народной стихии, в которой рос и воспитывался будущий художник.

В этой многообразной стихии провинциальной жизни, при её скудной событийности, когда приезд важной персоны встряхивает сон и скуку провинции, порой пропадает главный герой романа, Василий Суриков. Он пока не очень заметен среди подобных ему детей и подростков, но мы понимаем замысел писателя: если бы уже в ребёнке Васе Сурикове он «изображал гениальность», это было бы фальшью. Для автора здесь важнее другое: казацкая и обывательская среда, отнюдь не лишённая ни воинской доблести, ни духовной ипостаси, хотя бы в лице священников и ссыльных интеллектуалов, вроде декабриста и поэта Давыдова. В то же время писатель обращает внимание читателя на то, что Вася Суриков с малолетства увлечён рисованием, что-то уже «царапает» на домашней мебели. Знак будущему подан! И первый том заканчивается выпускным экзаменом в Красноярском уездном училище в присутствии исполняющего обязанности губернатора И. Г. Родюкова. В этот торжественный момент учитель рисования Гребнёв говорит: «Иван Григорьевич, господа! Василий Суриков—самый лучший мой ученик. И я не ошибусь, если скажу—лучший во всём! Вы слышали, как он отвечал на вопрос. А как он рисует… Вы только взгляните на эту акварель, написанную с натуры!» Акварель всех восхитила и была подарена её автором Родюкову. И тот сказал: «Ты будешь художником, Суриков!»

Обратим внимание на похвалу со стороны учителя Гребнёва: акварель «написана с натуры»! А с другой стороны, писатель добавляет к светской оценке начинающего художника слова учителя Закона Божьего. В своё время на вопрос юного Васи Сурикова: «Почему Бог решил истребить род человеческий и оставить в живых старика Ноя с его сыновьями?»—законоучитель резко заметил: «Ты такой же еретик, как и твой отец, как твои дядья, как твой дед—в церковь не ходят и постов не соблюдают!» И в прологе к первому тому романа автор при описании знакомства Максимилиана Волошина с Василием Суриковым приводит мнение москвичей о сибирском художнике: «воинствующий реалист», «слишком народен». По сути, начало творческой судьбы художника и её завершение закольцованы в этих концептуальных определениях: «реалист», «атеист», «народник»,—хотя ни одно из них применительно к В. Сурикову нельзя трактовать однозначно.

Семья Суриковых, в том числе и сам Василий Иванович, не была ретивым приверженцем веры; но и безбожниками их назвать нельзя. Религиозно-нравственное чувство в роду Суриковых было корневым, но внешне незаметным, не истово показным. Народность В. Сурикова—не та, которой заболели разночинцы XIX века и пошли «в народ». Ведь народ их не принял, даже выдавал жандармам. И в романе (во втором и третьем томах) мы не видим сочувствия к ним со стороны В. Сурикова. Казни народовольцев и повешение «первомартовцев», убивших императора Александра II, не воодушевляли Сурикова ни на их хулу, ни на их защиту: художник отнёсся к этим событиям, как А. Пушкин—к восстанию декабристов в 1825 году.

Отрицавший всякое беззаконие, Суриков не следовал примеру ни «второго царя» Льва Толстого, ни философа Владимира Соловьёва, просивших Александра III помиловать бунтовщиков. По своему мировоззрению художник не разделял революционных убеждений.

Он был историческим живописцем, а история, как известно, «дама с характером». Есть в ней некая тайна, которая не укладывается в научные формулировки и революционные лозунги. Основы исторического познания рационально осмыслены в науке (в концепциях, парадигмах, законах), прописаны в конституциях, однако научная история страдает релятивизмом, поддаётся фальсификации и, следовательно, не убедительна. И только художественные образы спасают человеческое сознание и память от нигилизма, от убийственного деления мира на белый или чёрный цвета, на два измерения—святое или грешное. Подлинное искусство также исключает антиподы; в нём не бывает одномерного прочтения реальной жизни. Реальность есть то, что существует на самом деле, но в ней надо увидеть, найти, почувствовать сокровенный смысл исторического бытия. И художник Суриков встал на подвижнический путь поиска этого смысла.

Второй том романа, «Святой дух времени», представляет созревающего душой и телом юношу Василия Сурикова. В нём складывается бунтарский дух казака-живописца. Он побывал в школе «иконников», учился у мастера иконописи Агапитова, написал по заказу купца Плотникова икону Абалацкой Божьей Матери. Но вот оценка иконы преосвященным Никодимом: «сибирский пошиб». Именно в этом «пошибе»—заявка на творческую свободу будущего живописца.

В юношеские годы В. Суриков узнаёт от своего учителя Гребнёва о художниках-передвижниках, бросивших вызов академической школе живописи и обративших свои взоры на образы реальной жизни.

И ещё один важный импульс будущего «пошиба» в художнике, обозначенный писателем. Во время венчания его сестры Кати с женихом Василий вообразил себе царевну Софью у церковного алтаря перед тем, как она навсегда отправится в Новодевичий монастырь по приказу её брата Петра. Допустим, что такое видение в сознании юноши—вымысел писателя, но он не вызывает возражения. Тут надо вспомнить о том, что XIX век—это эпоха формирования исторического самосознания русского общества, начатая ещё в XVIII веке. Философ В. Соловьёв, сын историка С. Соловьёва, писал в конце XIX века, что русское общество, созревшее телом в предыдущие столетия, именно в XIX веке стало созревать душой, духом, философией. И вполне естественно, что новые исторические мысли и идеи, в том числе и оценка реформ Петра I, носились в воздухе «суриковского» периода. И начинающий думать об истории России юноша Суриков слушал и слышал многое, о чём судили в обществе, о чём писалось в книгах, журналах, газетах, приходивших из столицы империи в Красноярск. Кроме того, влияли на атмосферу общественного созревания публицистика разночинцев-демократов (Писарева и др.), новые романы И. С. Тургенева. Всё это обостряет национальное самосознание русских людей. Красноярцы к тому же видят ещё и новый приток ссыльных поляков—участников восстания 1863 года (как сказано в романе, их число в Красноярске насчитывало две с половиной тысячи человек). Благодаря реформам императора Александра II с 1861 года прекращается крепостное право, вводится земство. В то же время в Сибири начинается общественное движение «областников» Г. Н. Потанина, Н. М. Ядринцева, С. С. Шашкова, отразившее общее желание сибирского населения быть более самостоятельным во всех сферах управленческой и хозяйственной деятельности, более независимым от имперского центра. И взрослеющий Василий Суриков не мог быть равнодушным к духовному брожению и преобразованиям страны в 60-е годы бурного столетия. В то же самое время молодость сама собой хороша, поэтому Суриков и его дружки «катали девчонок и орали песни», сочиняли их и пели под гитару, чем увлекался и сам художник. Просияла в сердце и первая чистая, целомудренная любовь к девушке с ангельской душой Анюте Бабушкиной. Это чувство навсегда сохранится в душе В. Сурикова. Красота отношений с женщиной проявится потом и в семейной жизни, в большой и верной любви к другой женщине, Лизе Шарэ, ставшей его женой. И вообще, эта сторона жизни художника вызывает восхищение—она выпадает из традиции богемных «похождений» в артистической и художнической среде.

Смерть любимой жены отяготит «трилогию страданий» В. Сурикова, о чём написано в третьем томе романа. А пока мы обратим внимание на то, что юность живописца завершается переездом его в Петербург, поступлением (не с первого раза) в Академию художеств, успешным в ней обучением, получением поощрительных медалей за выпускные живописные работы и первыми гонорарами за них. Обучение в Академии художеств свидетельствует об укреплении в Сурикове-ученике «сибирского пошиба»: твёрдого характера и настойчивости в достижении цели. Перед зачислением в Академию художеств Суриков обучается в рисовальной школе при Обществе поощрения художников, основанном дворянами-меценатами в 1962 году. Эту школу окончили выдающиеся художники Крамской, Репин, Верещагин. Как написано во втором томе романа, «Василий хорошо их знал по репродукциям в журналах и картинам

в Третьяковской галерее в Москве и очень хотел бы познакомиться лично, поучиться у них мастерству, тайно мечтал подняться до их высот». И вот уже известный художник Крамской появляется в рисовальной школе, чтобы познакомиться с учениками и их работами. Для Василия Сурикова встреча с ним имела особое, ключевое значение.

Думается, что в эпизоде встречи учеников рисовальной школы с Крамским В. Шанин сумел увидеть один из главных поворотных моментов в русском искусстве второй половины XIX века и в личной творческой судьбе Василия Сурикова. Крамской, посмотрев на рисунок Сурикова с изображением «грека Милона», сказал: «У вас твёрдая рука и острый глаз». Крамской спросил ученика: «После школы—в Академию, не так ли?» И ученик с радостью ответил: «Да, хочу композиции обучиться: меня стихия толпы привлекает. Я много видел, читал—и такие картины перед глазами! Словами это не выразишь!» Так ли говорили Крамской и Суриков? Это право писателя на такой диалог. Ясно одно: встреча с Крамским, его поощрительные замечания в адрес ученика укрепили в Сурикове желание живописать «стихию», т.е. саму историю, как художественную композицию.

Отметим и мастерство писателя в описании эпизода посещения Крамским рисовальной школы, и блестящее искусствоведческое изложение мыслей этого мастера относительно задач искусства: «…только образ, только живопись даёт реальность мысли. Если бы этого не было, живопись не имела бы смысла». Писатель внимательно следит за тем, как мастер и ученик бьются над пониманием смысла жизни и истории, но—разными средствами. Смысл истории станет основным устремлением живописца Василия Сурикова—сначала в школе, потом в Академии, а потом и на избранном им пути.

История страданий В. Сурикова как человека и как исторического художника изображена писателем в третьем томе исследования. На протяжении пятнадцати лет, по окончании Академии художеств и до смерти жены в 1888 году, художник вдумывался в трагизм русской истории в период от эпохи Петра I («Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», «Боярыня Морозова») до современной ему России. Видел казнь убийц императора Александра II. Наблюдал за царствованием Александра III, постигая смыслы Российской империи через судьбы личностей от императора до извозчика. По общему мнению современников, «простых зрителей», критиков, журналистов (порой злопыхателей и невежд), художник проявил высокий уровень исторического мышления. И совершенно прав В. Шанин по отношению к живописцу, прослеживая становление историчности его художественного мышления в главах, когда Суриков, с увлечением слушавший выступление проповедника ненасилия В. Соловьёва с призывом к царю помиловать преступников, оказался в эпицентре созревания национального исторического сознания. Россия переживала тогда бурный, сложный период самодержавного, православного и народнического брожения, разночинно-демократического диссидентства, девальвации многих ценностей. И именно в эти годы понадобился талант Сурикова, чтобы сдерживать в обществе соблазны либеральной конъюнктуры и социальной энтропии, чтобы дать ему своё видение истории России, не заимствованное ни у кого… В романе приводится оценка произведений Сурикова Л.Н. Толстым: «Вы свободный творец, а Илья Ефимович всё чего-то мечется». Да, Репин тоже был великим художником, но такого глубокого историзма, как у казака В. Сурикова, в картинах у Ильи Ефимовича нет.

Очень ценно для нас, читателей, представленное в романе общение между «вторым царём России» Л.Н. Толстым и В.И. Суриковым, для которого политика—«пустое». Художник—не политик, но жизнь прямо или опосредованно втягивает в политику всех. Картина «Утро стрелецкой казни», как «первое страдание» в трилогии романа, выставлялась в дни скорби по убитому Александру II (1 марта 1881 года). Мистика это? Или прозрение самой истории через её выдающихся художников?

Известно, что перед убийством Александра II общественная жизнь России была потрясена речью Ф.М. Достоевского на открытии памятника А.С. Пушкину, и особенно—выступлением писателя в общественном собрании. В романе сказано, что речь писателя не произвела особого впечатления на В.И. Сурикова, прочитавшего о ней в газете. Как знать, будь художник на этом собрании—может быть, он бы более обострённо воспринял размышления Ф.М. Достоевского по «русскому вопросу», мучительному для интеллигенции до сих пор? Жаль, что писатель и художник не встретились, как это было в отношениях с Л.Н. Толстым.

Романист В. Шанин туго увязал содержание трилогии, и особенно—третьего тома, с темой ответственности искусства перед историей и народом, её главным героем. Как умно и красиво наставлял юных художников учитель В.И. Сурикова по рисованию Гребнёв: «Самый лучший учитель—жизнь, умей присматриваться к ней, не теряй связи с нею». А преподаватель Академии художеств П. Чистяков утверждал: «Искусство—не ремесло, а песня, спетая во всю мочь, от всей души». Кстати, ценители творчества Сурикова порой называли его «композитором»—за музыкальную композицию его картин.

Автор романа размышляет об искусстве не только средствами монолога Крамского, произнесённого в школе рисования,—но и рассказывает

о суждениях и оценках суриковской «трилогии страданий» со стороны выдающихся художников Товарищества передвижников, а также авторитетного художественного критика В. Стасова, суждений которого все ждали и в то же время боялись. Приходится лишь удивляться, с каким мастерством автор управляется на страницах своего романа с таким огромным количеством мнений, высказываний и оценок.

Кстати, В. Стасов отмечал и недостатки в картинах В. Сурикова, в целом оценивая их в превосходной степени,—но и он не всегда понимал глубины историзма суриковских картин. О картине «Боярыня Морозова», например, критик высказывался так: «Нигде я не увидал ни единого проблеска злобы, хотя бы и вполне бессильной, мести, ярости. Все кротки. Возможно ли это?» Суриков же, прочтя это, возмутился: «Какая злоба? Какая месть? А кротость... Это как у Пушкина: «народ безмолвствует». Нет, Лилечка (к жене.—*В. З.*), в моей картине выражено сочувствие мятежной боярыне, в образах—покорность судьбе, вера в высший суд, высшую правду. Оттого и усмирение человеческой гордыни. Как сказал в восьмидесятом году преподобный Амвросий Оптинский, «народ наш действительно ещё полон смирения... эти качества вырабатываются веками...». Я пишу как понимаю, как чувствую, как вижу».

В. И. Суриков понимал историю так же, как и А. С. Пушкин. Мы можем допустить аналогию между «Медным всадником» и «Утром стрелецкой казни». Кто в них главный герой? И в поэме, и в картине присутствует исторически напряжённая оппозиция: власть и народ, насилие и жертвы. Но есть ещё Божий суд, и не в силе Бог, а в правде. И этой правдой овладели и А. С. Пушкин, и В. И. Суриков, не вступавшие ни в какие конъюнктурные политические партии и заговоры.

Согласимся с В. Я. Шаниным, столь проницательно исследовавшим историческую проблему «власть, народ, художник»: автор внимательно прослеживает на страницах своей трилогии живую, непосредственную связь художника Сурикова с родной почвой, бытом и нравами русского народа, сибирского казачества. Эта связь укрепляется в Сурикове благодаря чтению множества книг на тему каждой предстоящей картины, встречам с историком Забелиным, с церковными иерархами, знающими прошлое православия и страны.

Василий Иванович хорошо учился в Академии художеств, изучая теоретические дисциплины, к которым некоторые ученики были настолько равнодушны, что иногда бросали учёбу. Благодаря этому он стал живописцем-мыслителем. Но мыслителем не абстрактным, а реальным. Может быть, именно это имел в виду Репин, когда говорил Сурикову: «Тебя я вижу казаком, а это покрепче, чем волжский мужик»?

Современники Сурикова, ценившие и его творчество, и его самого, постоянно подчёркивали присутствие «русского духа» в характере художника и в его картинах. В. Шанин, наверное, сознательно сосредоточивает наше внимание на «русском духе» в содержании всей «трилогии страданий». О России, о «русском вопросе», о «русской идее» рассуждают почти все персонажи романа-трилогии. Даже человек с немецкой фамилией Гаупт признаётся: «Я всю жизнь прожил в России и стал русским. Тяжко и грустно читать в газетах о России. Всё, что есть поляк и немец, есть власть, сила, закон; всё, что есть русский,—унижено, порабощено...» Купец Щёголев жалуется: «Стыдимся быть русскими». И все согласны «возвысить русский элемент». Именно такую политику проводил император Александр III, но судьба отвела ему мало исторического времени для преобразований. При нём Россия вышла на первое место в мире по темпам развития экономики, реформирования общества, армии и флота. Его деятельность можно назвать консервативным динамизмом за счёт «русского элемента».

Роман В. Я. Шанина актуализирован на «эпоху перемен» в России начала XXI века не по заказу какого-то ведомства или политической партии—а исторически, с постижением того, как сложна и противоречива история государства Российского, как не преодолён до сих пор разрыв между властью и народом. На множество бедных—меньшинство самых богатых, владеющих всем, что созидал народ не за одно столетие.

Наиболее совестливыми по отношению к народу выступают в романе «граф в валенках» Л. Н. Толстой и художник в сапогах, казак В. И. Суриков. Писатель В. Я. Шанин обстоятельно цитирует яснополянского мудреца, который более других «народников» понимал крестьянскую жизнь и целостное историческое явление под именем Народ. Вот его слова: «Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нём дурное. Оно есть в нём, но лучше говорить про него... одно хорошее. В нём больше доброго, чем дурного, поэтому естественнее и благороднее искать причины первого, чем второго». Этот концептуальный смысл надо бы осознать всякому, кто пишет «о времени и о себе», ставя на первое место Народ, а уж за ним—и самого себя. И не клеветать на историю народа, не болтать, что история—это миф, что народ—«быдло», а «элита»—его спасители.

Мы не переосмысливаем текст романа Шанина, но отвечаем на его смысловые вызовы и подтверждаем: они исторически верны и остаются на «повестке дня». Роман ударяет в колокол исторической памяти, побуждает к действенному размышлению.

Три выдающихся «страдания» В. И. Сурикова («Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», «Боярыня Морозова»)—это, безусловно, победа русского духа в трагедии исторического процесса. Народ в них «безмолствует», но это не покорная толпа. И сколь великое духовное сопротивление заключено в известных словах казнимого стрельца: «Посторонись-ка, царь, здесь моё место». На Западе такие поступки русского народа считают равнодушием к смерти. Нет, это не равнодушие и не слабость, это преодоление смерти—«смертию смерть поправ», несправедливую, неправедную смерть—во имя праведной жизни.

И тут опять к месту сказанное Л. Н. Толстым в беседе с В. И. Суриковым в романе В. Я. Шанина: «Жизнью для тела благо не достигается, жизнь для тела доставляет страдание. Благо достигается жизнью для духа. Счастье и несчастье не от Бога, а от нас самих». И ещё: «Всё, что разумно, то бессильно; всё, что безумно, то творчески производительно». Это страдальческий путь писателя или художника. Можно назвать безумием и решимость В. Я. Шанина написать трёхтомный роман о великом художнике. Однако роман перед нашими глазами, и мы признаём его «творчески состоявшимся».

Постоянное состояние «безумия» и «страдания» изнурительно для производителя искусства. Суриков, вероятно, был на грани нервного истощения после периода жизни, в котором были роспись фресок в храме Христа Спасителя на темы «Диспуты на Вселенских Соборах» (кто знает сегодня о сущности этих тягостных христианских «диспутов»?), многолетнее бдение над созданием живописной трилогии, любовь, женитьба, дети и самое страшное переживание—смерть жены Лизы (Лилечки). При внешне небогатой событиями жизни художник носил в себе глубокие душевные переживания. Потрясённый смертью жены, он замкнулся и сбежал из Москвы, уехав на родину, в Красноярск, искать утешения.

Описанием этого периода жизни художника писатель показал, что спасать личность от истощения и распада может только земля, на которой родился. Не случайно почти все пишущие обращаются в своём творчестве к детству, тщательно восстанавливая его в памяти. Время лечит, если не потеряна связь с большой и малой родиной.

Картина «Взятие снежного городка», созданная Суриковым в период душевного надлома,—это не этнография, как писали о картине некоторые московские оценщики; это памятник его малой родине, Сибири, это Свет Души, заложенный в художнике с детства. Без такого исхода в народную жизнь «трилогия страданий» оказалась бы мрачной и безвыходной. Сибирский «пошиб» художника и тут выручил его…

Композиционно роман В. Шанина «Суриков…» «закольцован». Начинается он с пролога, в котором появляется «необычный человек», обращающий на себя внимание обывателей Москвы. Это Максимилиан Волошин, рыжеволосый поэт и художник, «дуэлянт» из Феодосии в Крыму. Он приехал в Москву в 1913 году, чтобы познакомиться с Суриковым, задумав написать о нём книгу. Встреча состоялась; Василий Иванович по его просьбе соглашается рассказать о себе. А заканчивается трилогия беседой этих двух «необычных людей». Выйдя затем на улицу, М. Волошин встречает молодого художника Василия Рождественского и на его вопрос о Сурикове: «Как показался вам наш мэтр?»—отвечает: «Да, великий художник. Может быть, единственный, кто сумел проникнуть своим острым взглядом в глубь веков и вскрыть могучий героизм русского народа, его всегдашнее стремление к свободе. Редкий талант! Мне иногда кажется—на его родине, в Сибири, все гениальны… каждый по-своему, конечно».

Во-первых, этим эпилогом В. Я. Шанин как бы снимает с себя бремя окончательной оценки суриковских «страданий»: пусть лучше об этом расскажут другие, в данном случае—Макс Волошин, поэт и опытный журналист, и начинающий художник Василий Рождественский. Замкнув таким образом кольцо повествования, автор придаёт своему объёмистому повествованию более чёткую форму.

Повествование это, многочастное, неспешное и в целом последовательное, местами, может быть, и перегружено бытовыми описаниями и избытком деталей—но этот избыток искупается потребностью дать почувствовать читателю «аромат эпохи», особенно в сибирских условиях.

Неспешность изложения в трёхтомном романе напоминает течение Енисея, внешне плавное, даже спокойное, но какая силища в нём! Сибирский характер сродни великой реке. Чтобы изобразить всю глубину характера сибиряка В. И. Сурикова, могучий талант и благородство поступков его, внешне сдержанного, необычайно скромного в оценках самого себя и своего творчества, автору потребовалось столь огромное полотно. В результате характер художника и замысел романа о нём совпали, «концы окружности соединились».

Однако писатель воскресил перед нами не один многогранный образ Сурикова, но вместе с ним и десятки имён русской истории: мы нашли в романе образы почти всех русских художников, утвердившихся в истории российского искусства XIX века. Отнюдь не формально представлены в романе и многие известные писатели «суриковского» времени. И каждый из этих персонажей отмечен в романе тем или иным значимым поступком, имеющим отношение к формированию национального самосознания, к созданию «золотого века» русской культуры.

Хронологически описание жизни Сурикова в трилогии завершается созданием картины «Взятие

снежного городка», обозначившей рубеж перед следующим весьма значимым периодом жизни великого художника-сибиряка: ему ещё предстоит создать шедевры «Степан Разин», «Покорение Сибири Ермаком», «Красноярский бунт», «Переход Суворова через Альпы» и неожиданное, поразившее современников «Благовещение», выставленное в 1914 году—в год начала Первой мировой войны, за два года до смерти живописца. Нам известно, что В. Я. Шанин намерен и этот период творческой деятельности гениального живописца исследовать и написать о нём.

Какой объём работы ещё предстоит выполнить—знает только сам автор. Дай Бог ему сил и на этот исследовательский и литературный труд. Мы, читатели и ценители русской литературы, благодарны ему уже за то, что своим романом о В. И. Сурикове он продлил жизнь национальных литературных традиций. Многонаселённый роман-трилогия, как художественное исследование на документальной основе, обогащает сегодня нас, потерявших всякие нравственные ориентиры среди продажных СМИ и поверхностной литературы, ничего не отражающей.

Я бы советовал каждому школьнику и студенту прочитать роман «Суриков, или Трилогия страданий», а не метаться в поисках исторической правды в сорока вариантах нынешних учебников по истории. Написавшие их имеют травмированное сознание или корыстно уводят ныне живущие поколения молодых людей от национальных традиций в некую виртуальную реальность, в которой нет ни добра, ни зла, а есть лишь безответственное существование в масс-культуре. Скорее всего, «красота» не спасает мир—её самоё, а заодно и искусство, надо спасать от распада и добровольного апокалипсиса. Мы говорим это не для устрашения и не от отчаяния. Надежда всегда остаётся. Мы говорим о том, что роман В. Я. Шанина о В. И. Сурикове—это чистое течение в русской сибирской литературе, как и течение Енисея,—из царства необходимости в царство свободы.

Д*и*Н ЦИТАТА

Илья Малинин

Ходорковский как декабрист. Реплика

«Ходорковский», Кирилл Туши, 2011

Несомненно, главным политическим событием отечественной кинодокументалистики стал выход в прокат скандального фильма немецкого режиссёра Кирилла Туши, посвящённого судебному процессу и личности Михаила Ходоровского. Ничего принципиально нового, как замечают многочисленные критики, в нём высказано не было, но был подведён определённый политический итог дела, совпавший с политическими итогами «нулевых» и определённым образом с ними взаимодействующий. <…>

Основной онтологический интерес представляет в фильме политическая работа с пространством. Ходорковский, отбывающий наказание в отдалённой сибирской колонии, выглядит декабристом в ссылке, «узником совести» существующего политического режима. Метафорическое противопоставление Российской Федерации начала XXI в. Российской империи второй четверти XIX в. весьма продуктивно, особенно в рамках концепции цикличности и повторяемости национальной и мировой истории. Ходорковский здесь выводится «вечным» русским персонажем, интеллектуалом-изгнанником, чьё непримиримое несогласие с властью—знак его (Ходорковского) отличия. Именно знаки протеста конструируют Ходорковского в качестве видной исторической личности, что отсылает нас и к диссидентам, и к народникам, и к декабристам.

Документальный жанр призван показать акт свершающейся истории. Процесс Ходорковского—идеальный объект исследования новейшей истории, ещё не застывшей, а продолжающей свершаться. Пока неизвестно, как будут развиваться события в 10-е гг., но можно предположить, что в ближайшее время нас ждёт стагнация и последующий социальный взрыв, назревающий в обществе.

«Альтернация», №8, 2012 г.
http://www.promegalit.ru/publics.php?id=4674

Алексей Тийду

Проверка на вшивость

Гриня

Солнце уже почти опустилось за горизонт, и Василий Петрович неторопливо складывал свои рыболовные снасти в багажник автомобиля. Казалось, каждая вещь там имела не только своё строго отведённое место, но даже и некое пространство, невидимое для поверхностного взгляда, но строго ограниченное взглядом Тихомирова. Руки его, занятые тем или иным предметом, оперировали только в пределах пространства, ему (предмету) отведённых, и все их движения заключали в себе сочетание хирургической точности и какой-то едва уловимой грации. Грации, которую легко отличает человек, занимающийся каким-либо видом спорта или единоборств или, может быть, увлекающийся какой-нибудь гимнастической системой, но разглядеть этот особый вид пластики человеку, от этого не только далёкому, но и в определённой степени лишённому эстетического вкуса, представляется мало возможным. Такому человеку подобного рода движения будут представляться то какими-то очень показными, то мелочно щепетильными, то исполненными высокомерного пафоса, то лишёнными живости. Как раз именно к таким людям и относились как жена Василия Петровича — Татьяна Николаевна, так и бóльшая часть друзей и знакомых Тихомировых. Однако к чести их стоит отметить, что относились они к ним весьма условно, причиной тому служило присутствие у них в достаточной степени развитого такта — особой формы добродетели, которая с избытком компенсирует многие наши недостатки.

Василий Петрович, закончив с укладкой рыболовного инвентаря, закрыл багажник. Сделал он это двумя руками, затратив ровно столько усилий, сколько требовалось, чтобы замок защёлкнулся; далее его руки плавно соскользнули с крышки багажника и опустились, полностью распрямившись, таким образом, что ладони развернулись несколько наружу. Он замер, наблюдая опускающееся за горизонт светило. Стоял тёплый июльский вечер, комаров почти не было, и Тихомиров, хотя дневная жара уже давно спала, всё ещё не надел рубашку. Его худощавое, но так ещё и не иссушенное возрастом, жилистое тело светилось в лучах заката нежной бронзой.

Он стоял неподвижно, но не был похож на замершего истукана. Жизнь словно струилась по всем частям его тела; конечно, форму, которую она принимала, уже нельзя было связать ни с молодостью, ни с избытком сил стареющего организма. Скорее, она находила отражение в каком-то особом виде созерцательной способности, приобретённом Василием Петровичем в последние годы. Всё его тело словно аккумулировало её, постоянно напитывая взгляд чудесной животворной силой, почти осязаемой; возможно, поэтому, даже когда он стоял неподвижно, создавалось ощущение какого-то постоянного плавного течения жизни внутри и одновременно вне его. Это течение имело направление, скорость и даже определённые ритмы, чутко улавливаемые всем существом Тихомирова. И каждое движение своего тела, каждый жест, даже каждое слово он начинал и заканчивал в унисон этому течению. Так что и состояние покоя казалось скорее ожиданием какого-то свежего прилива тёплых пульсаций или поиском где-то в пространстве нужных амплитуд, с которыми можно было бы гармонично соотнести начало нового движения.

Родом из Тулы, после института Василий Петрович по распределению попал в далёкий сибирский город Ачинск и так в нём и остался, встретив здесь свою будущую жену — Татьяну Николаевну, тоже приехавшую сюда после института из Минска. Всю свою трудовую жизнь он проработал на Ачинском глинозёмном комбинате, к постам и регалиям не стремился и почтенно вышел на пенсию в должности то ли начальника участка, то ли бригадира смены. У Тихомировых было двое детей — сын и дочь. Разница в возрасте у них была лишь два года, и оба они, когда-то уехав поступать в вузы, первый — в Новосибирск, вторая — в Омск, так и остались там после учёбы. Жизнь их уже давно была устроена и шла своим суетливым чередом, очередь до родителей в котором доходила примерно раз в год, а то и в два.

«Ну, поехали, Гриня», — обыденно произнёс Василий Петрович, обращаясь к автомобилю, и, выжав сцепление, он снял передачу и завёл двигатель. Гриней он называл свой ВАЗ первой модели.

Когда-то, ещё в семидесятых, эти машины пришли по разнарядке на комбинат, и ему, как заслужившему и перспективному, достался автомобиль из первой очереди. Ослепительно оранжевая «копейка» и по сей день блестела всеми своими хромированными деталями. За всю свою долгую автомобильную жизнь Грине так и не удалось побывать ни в одном ДТП, отчасти поэтому он до сих пор смог сохранить свою первозданную привлекательность. Привлекательность не дизайна или хорошего ухода, а именно те черты, которые отличают автомобиль, словно только что сошедший с конвейера. Какую-то особую заводскую осанку, определённое сочетание запахов со свежестью фактур материалов, подтянутую автомобильную выправку, неразличимую глазом в деталях, но когда эти детали, будто части мозаики, складываются воедино, она становится очевидной даже для неискушённого взгляда.

Гриня не спеша поехал, плавно покачиваясь на небольших неровностях просёлочной дороги. Сначала она тянулась по поляне вдоль Чулыма, затем, извиваясь змейкой, повернула в небольшую берёзовую рощу, будто разделив её на две равных части. Потом, как ручей впадает в реку, впала в двухполосную асфальтированную дорогу, и Гриня плавно ускорился, незаметно подхваченный более мощным руслом дорожного течения, которое несло его в сторону небольшого сибирского города.

После выхода на пенсию Тихомиров погрузился в несуетливость провинциального быта. Спиртное Василий Петрович никогда не любил, и круг его интересов вобрал в себя лишь рыбалку, нечастое чтение (он изредка перечитывал кого-нибудь из классиков) и Гриню. Конечно, у Тихомировых был и садовый участок, но занятия на нём были для Василия Петровича больше осознанной необходимостью, чем любимым делом. И хотя он прилежно содержал своё садовое хозяйство, делал он это больше для урожая, который был двум пенсионерам хорошим подспорьем, и для удовольствия своей супруги, для которой как раз дачные интересы были первостепенными. Татьяна Николаевна чутко держала свои руки на пульсе дачной жизни, прилежно отслеживая все лунные фазы, благоприятные для сбора и посадки чего бы то ни было. Она знала, кто из соседей первым вскопал землю весной, кто первым посадил чеснок, картофель и редис, кто первым прополол и окучил. И, словно оператор или опытный диспетчер, корректировала время и скорость посевных и уборочных работ Василия Петровича, просчитывая его таким образом, чтобы можно было не только сохранить чувство собственного достоинства в глазах всевидящих соседок, но и оставаться одним из флагманов садовой жизни, на который другие могут лишь равняться, как на недосягаемый эталон.

Тихомиров же, самоотверженно отработав дачный оброк, приходил в свой гараж, что стоял под окнами их хрущёвки. Но чтобы не вводить читателя в заблуждение, я попробую сразу предвосхитить его представление об автомобильном увлечении Василия Петровича, предвосхитить и опровергнуть. Дело в том, что автомобильное пристрастие Тихомирова, пусть даже его гаражная обитель и была полностью оборудована всем необходимым практически для любых ремонтных работ, имело несколько непривычный акцент. И хотя акцент этот для поверхностного взгляда был не только неразличим, но недоступен и даже непонятен по своей природе, именно он (акцент) и служил истинной причиной его увлечения. Когда-то давно, ещё до выхода на пенсию, Василий Петрович заметил, что любой механизм, узел агрегата или вообще любое механическое соединение, вплоть до болта с гайкой, не то чтобы имеют какую-то невидимую связь с внешним миром, но определённо реагируют на каждое воздействие, совершаемое в отношении них. Да и сама реакция их тоже весьма условна, она проявляется лишь в функции, которая вроде бы и так сама собой подразумевается существованием этих механизмов. Скорее даже, это, собственно, и не механизмы как-либо реагируют, а в их функционировании находит отражение какой-то ещё не изученный закон — Закон Взаимосвязи Движений, так для себя условно назвал его Тихомиров.

«Любой механизм или агрегат, — размышлял Василий Петрович, — создан человеком для определённой функции, в этом его суть. Выполнение этой функции с математической точностью просчитано и невозможно без участия человека. К тому же, если нет человека, функционирование любого механизма не только невозможно, оно теряет своё назначение. Таким образом, человек является не только неотъемлемой составной частью каждого механизма, он, в своём роде, является его духовным началом, наполняющим существование механизма смыслом».

Не стану ни опровергать, ни поддерживать эту теорию Тихомирова, так как изначально я и не ставил перед собой такой цели. Но доподлинно известно лишь то, что после выхода на пенсию Василий Петрович настолько в неё углубился, что уже практически не мог мыслить вне её своей жизни. И, так сказать, полигоном для её отработки, как теперь уже ясно, стала его оранжевая «копейка».

Закон Взаимосвязи Движений, в понимании Тихомирова, предполагал, что человек должен не только быть гармоничным продолжением любого механизма или агрегата, с которым он взаимодействует, но и как бы его духовно-нравственным началом. Именно это и является залогом длительного срока службы чего бы то ни было. Человек — не только главная «деталь» любого механизма, но

и единственный «источник воли», «центр силы», а значит, все его движения должны быть математически точными, наполненными некоторой властью и в то же время отстранённой безмятежностью. Ведь он, с одной стороны — являясь частью, с другой — самодостаточен и самозакончен. Являясь одной из деталей, генерирующих функцию, с одной стороны, он является единоличным её потребителем — с другой. И эта «многогранность» человека, по мнению Василия Петровича, накладывала на него больше обязанностей, чем прав.

Чтобы читателю стало ясно, какое же отражение в реальной жизни Тихомирова находила его теория, нужно отметить, что постепенно все движения, жесты и даже мимика Василия Петровича в отношении Грини претерпели радикальное преображение. Из их арсенала полностью исчезла всякая суетливость и непоследовательность, при обращении с автомобилем Тихомиров перестал рассматривать своё тело как нечто ограниченное в возможностях в связи с возрастом или леностью. При управлении Гриней он не позволял себе ни малейшего раздражения, спинка его кресла всегда была приведена почти в вертикальное положение. Начинающая стареть осанка преображалась: плечи распрямлялись, а живот втягивался. Все его манипуляции за рулём стали приобретать оттенок движений дирижёра, отточенных и утончённых. Эти метаморфозы коснулись всего, вплоть до его взгляда в зеркало, до настройки волны в авторадиоле. Василий Петрович, приближаясь к Грине, словно запускал в себе какой-то внутренний маятник, синхронизируя его с металлическим щёлканьем гаражного замка, с пятью шагами от входной двери гаража до водительской дверцы. Все его движения обретали какую-то особую гармонию, математически точную, но в то же время обладающую нотками некой душевности. Нельзя сказать, что Тихомиров рассматривал Гриню как нечто живое, нет; и хотя он порой и обращался к нему, называя по имени, — скорее, в этом обращении был элемент игры Василия Петровича с самим собой, который забавлял его, но не более.

Конечно, Тихомиров и в привычном для обыденного понимания смысле делал всё необходимое, чтобы автомобиль служил исправно. Всё, что подлежало профилактической замене, смазке или чистке, менялось, смазывалось и чистилось, но если бы кому-нибудь довелось увидеть Василия Петровича за этими занятиями, то он бы обязательно отметил эту причудливую синхронность действий. Все они были точно осмыслены и словно перетекали друг в друга. В них не находилось места каким-либо бытовым жестам или вздохам. Они были, если так можно сказать, геометрически выверены в пространстве, но в то же время не автоматичны. Это была какая-то ожившая форма механики, рациональная и одухотворённая. И если случалось, что последовательность движений по какой-то причине прерывалась, Василий Петрович просто замирал на несколько мгновений, погрузившись в какие-то только ему известные глубины. Он словно отыскивал те ритмы, с которых по оплошности сбился. Уловив их направление, он как будто мысленно забегал вперёд и, дождавшись в заданном месте, ловко подхватывал их, продолжая прерванное движение.

Постепенно эта необычная форма грации Тихомирова начала выходить за пределы его автомобильного увлечения и распространилась на все аспекты жизни Василия Петровича. Изменились его осанка и походка, изменились позы в кресле, за чтением книги и за кухонным столом. И даже Татьяна Николаевна заметила, что супруг стал как-то странно вскапывать и окучивать гряды, но, видя, как он это красиво и даже как-то торжественно делает, она отнесла это преображение к большому «дачному стажу» мужа.

В какой-то момент Тихомиров заметил, что стал меньше уставать от дневных забот, что радикулит вот уже без малого год как не даёт о себе знать, а, не утомившись, прочитать перед сном он может почти вдвое больше прежнего. Постепенно Василий Петрович начал испытывать ощущение какого-то понимания реальности, почти подсознательного, и в этом понимании он ещё больше утвердился в верности своей теории. Теперь уже он рассматривал весь окружающий его мир как череду нескончаемых и взаимосвязанных движений. И будто заново осознавая в нём своё место, Тихомиров словно влился в русло неведомой доселе жизни. Он так явно ощутил мощь её потока, эту энергию, которая наполняет собой всё, что в неё погружается, и обретённое умение чувствовать ритмы и улавливать амплитуды помогало ему наслаждаться движением в самом центре этого русла.

Пластика его тела исполнилась какой-то постоянной трансформацией гармонии, каждое его новое движение не только завершало предыдущее, но и предвосхищало последующее. И если бы была возможность облачить Василия Петровича в соответствующее одеяние, то он запросто сошёл бы за какого-нибудь мастера йоги, или монаха, или заслуженного наставника одного из видов единоборств. Но пенсионер жил в своей размеренной уединённости и даже никогда не пытался поделиться столь важными для него маленькими наблюдениями и открытиями с супругой или с кем-либо из знакомых. Взгляд его, наряду с живостью и постоянным присутствием мысли, обрёл необычайную безмятежность. Пожалуй, это было связано с тем, что Тихомиров в своей размеренности настоящего словно начал чувствовать будущее. Не какие-то определённые события или факты, а будущее как подступающую закономерность последовательных действий, которая обретает

свои основные черты в настоящем, а позже лишь наполняется деталями. Он ощущал эти черты, и это ощущение и оставляло на его лице след той самой мудрой безмятежности.

Гриня медленно подъехал к гаражу. Чтобы ровно поставить в него автомобиль, Василий Петрович обычно немного сдавал назад, выворачивая руль. Но сделав это, Тихомиров почувствовал какой-то лёгкий толчок, будто автомобиль, двигаясь назад, наехал на преграду. Пенсионер с невозмутимым видом вышел из машины; он был настолько уверен, что это ему просто показалось, что ни одно препятствие не в состоянии возникнуть между Гриней и гаражными воротами просто потому, что это противоречит всему, что он исповедовал в последние годы. Но, обойдя машину, он увидел, что она упёрлась углом заднего бампера во вкопанный в землю и криво торчащий из неё примерно на полметра обрезок рельса. Тысячи раз Тихомиров совершал этот манёвр, но никогда даже не замечал этой преграды. Рельс торчал в непосредственной близости от кустарника и, прикрытый его ветвями, оставался неприметным. Может быть, в этот раз он немного ближе подъехал к гаражу или чуть сильнее вывернул руль; Тихомиров не понимал, как это могло случиться. Он загнал машину в гараж и ещё раз осмотрел место удара. На углу бампера была незначительная вмятина, хромированное покрытие, словно труха, скаталось и местами осыпалось, а крепление бампера немного повело. Но Василия Петровича беспокоил не автомобильный дефект, а те непонятные для пенсионера обстоятельства, при которых он возник. Это событие было инородным телом, каким-то аномальным дисбалансом во всём мироощущении Тихомирова. Он достал из багажника и разложил по полкам рыболовные снасти и, закрыв гаражные ворота, пошёл домой, прихватив ведро с уловом.

Вскоре трёхкомнатная хрущёвка Тихомировых наполнилась ароматом жареной рыбы. Татьяна Николаевна хлопотала на кухне, а Василий Петрович, устроившись в кресле, пытался что-нибудь почитать. Но ничего не получалось, все его мысли были заняты этим не поддающимся объяснению происшествием. За поздним ужином он скупо поделился с супругой его основными деталями. Та поспешила его успокоить, сказав, что это лишь пустяковая царапина, что даже и чинить её не стоит. Заботливо положив Тихомирову добавки, она налила свежезаваренный чай из смородиновых листьев, и его аромат, подхваченный плавными струями тёплых воздушных потоков кухни и полуночной прохладой уличных сквозняков, сплёл в пространстве возле стола объёмный узор, обволакивающий и наполняющий ленивой умиротворённостью.

Ночью Василий Петрович спал крепким, младенческим сном. Ему снился берег Чулыма, яркое солнце озаряло пойму реки. Лёгкий ветерок слегка колыхал густые травы и ветви склонившихся к воде ив. Тихомиров ехал по привычной для него дороге вдоль реки к своему излюбленному рыболовному месту. Порой он почти начинал осознавать, что это сон. Может быть, потому что вновь был уверен, что с Гриней всё в порядке; может быть, потому что плавно колеблющиеся травы и ветви деревьев оставляли в пространстве полупрозрачные нежно-золотистые шлейфы, так что вся речная долина, за исключением самой реки и оранжевой «копейки», была наполнена размытыми пульсациями. Но, не достигнув нужного места, дорога закончилась. Василий Петрович остановился и вышел из машины. Дорога не прервалась вовсе, а превратилась в тропу среди волнующихся от лёгких дуновений ветра трав. По ней навстречу Тихомирову вышла рыжеволосая голубоглазая девочка лет восьми, одетая в длинный белый сарафан. Лицо её светилось улыбкой, она махнула ему рукой, как бы призывая следовать за собой. И рука её тоже оставила в пространстве полупрозрачный шлейф. Заворожённый красотой этого движения, Тихомиров посмотрел на свои руки. Они выглядели совершенно обычно; он провёл правой рукой перед собой, стараясь сделать это как можно плавней, но результат был тот же. Девочка, поняв его желание, подошла ближе и, всё так же улыбаясь, медленно провела своей рукой перед его лицом. Василий Петрович, очарованный красотой её движения, увидел, как наполненный каким-то внутренним светом шлейф словно осыпается с её руки подобно золотистой пыльце. Он попытался повторить движение рукой вновь и заметил, как пространство вслед за ней на долю мгновения наполнилось нежным свечением. Девочка одобрительно кивнула, вновь увлекая его своим жестом. Тихомиров, сомневаясь, посмотрел на Гриню. Машина выглядела так, словно он только вчера её купил. «Дальше на машине нельзя, не проедете»,—произнесла девочка, и Василий Петрович, положив ключи на капот, последовал за ней. Они пошли по тропе среди высоких трав, и, удаляясь от машины, они всё больше растворялись в этом мягком пространстве, среди плавно перекатывающихся, наполненных внутренним свечением волн.

Татьяна Николаевна встала пораньше и, как обычно в субботнее утро, принялась печь оладьи; она хотела было разбудить супруга, чтобы тот сходил в гаражный погреб за вареньем, но Василий Петрович так умиротворённо спал, что она не стала его будить. В холодильнике ещё была сметана, и, приготовив завтрак, она накрыла на стол.

Немного позднее врач установил, что смерть наступила во сне, предварительно — от остановки сердца, где-то между пятью и шестью часами. Сарафанное радио тут же разнесло весть о смерти пенсионера по всем родственникам, соседям, бывшим сослуживцам, знакомым и не сильно знакомым людям. Все приходили попрощаться и утешить убитую горем вдову. Татьяна Николаевна много причитала, постоянно вспоминала про то, что супруг накануне вечером повредил автомобиль, а ведь больше трёх десятков лет отъездил — и ни царапинки. Винила себя за то, что не придала этому происшествию значения, хоть и знала, что муж в машине души не чаял.

Так как Гриня в этом районе города был автомобилем достаточно приметным, то вскоре даже поползли слухи о той самой оранжевой «копейке» и её хозяине, который так любил свою машину, что, помяв бампер, умер от сердечного приступа.

Хотя после похорон жизненный уклад Татьяны Николаевны и претерпел радикальное преображение, но всё-таки она смогла, что называется, удержаться на плаву, несмотря на горе и возраст. На даче ей стали помогать её двоюродный брат с супругой, свой участок оставив сыну с женой и внукам. На удивление, трое пенсионеров смогли быстро ужиться на этом ухоженном клочке земли.

Машину Татьяна Николаевна продала через полгода, сразу, как вступила в наследство. Купил её таджик или узбек, имеющий свой павильон на овощной базе. И ещё через полгода от былого Грини не осталось и следа. Обрушившаяся на него автомобильная старость безжалостно разрушала, казалось, не только кузов и подвеску, но всю его сущность.

Что же касается Василия Петровича, то я не знаю, был ли его сон последним сном или же он был лишь началом чего-то большего; достоверно известно только то, что когда его движения начали оставлять в пространстве полупрозрачный нежно-золотистый шлейф, Тихомиров был счастлив.

Почему святые не улыбаются

«Почему святые на иконах не улыбаются? Ведь они же в раю», — размышлял Гриша всякий раз, как ходил с родителями в храм или заглядывал в бабушкину комнату, заставленную образами. Лица святых Грише представлялись какими-то измученными и удручёнными, строгими, с испытывающими взглядами. Эти взгляды словно пронизывали насквозь. «Если б я был святым, я бы улыбался, ведь мне бы было хорошо, — продолжал он свои размышления. — Ведь когда кому-нибудь хорошо, он непременно должен улыбаться». Мальчик даже поделился своими размышлениями с бабой Катей, сказав, что когда он вырастет и станет святым, он будет улыбаться, и когда в рай попадёт, и на иконах тоже. Гриша был уверен, что этим своим признанием он наполнит бабушкино сердце радостью — ведь её внук выбрал для себя очень правильное и почётное будущее, что бабушка восхитится его наблюдательностью и рассудительностью. Но баба Катя только осуждающе посмотрела на него. Она сказала, что святым он никогда не станет и что святые — это мученики, они очень много страдали и терпели при жизни и стали святыми не потому, что хотели, а потому, что так решил Бог. Баба Катя говорила, что им сейчас хорошо, а не улыбаются они потому, что видят, как нам тяжело и как мы плохо живём. Бабушкино объяснение заставило взглянуть маленького Гришу на эти строгие и печальные лица совсем иначе, и он больше никогда не говорил, что хочет стать святым, и вообще стал гораздо меньше улыбаться. Впрочем, он рос здоровым и подвижным ребёнком, и время от времени, в минуты беспечного счастья, звонкий смех наполнял пространство. Потом мальчик, словно что-то вспоминая и чего-то стыдясь, умолкал и снова становился серьёзным.

Шли годы, Гриша рос и мужал, баба Катя давно умерла, и храм на соседней улице уже не представлялся ему каким-то загадочным собором, полным божественных таинств и скрытых от глаз откровений. Это была обыкновенная церковь с низким входом, перед которым постоянно сидели грязные страждущие с пропитыми лицами. Осталась только серьёзность, она укрепилась и глубоко укоренилась в душе. И он, уже и сам не осознавая её причин, постоянно был словно чем-то озадачен, какая-то огромная проблема, если не сказать беда, томила Гришин разум, стесняла его широкую и свободную натуру, будто заставляя чего-то в себе стыдиться. И хотя он был улыбчивым и добродушным человеком, улыбки его со временем стали какими-то виноватыми и бесхарактерными, почти тщедушными. Серьёзность же, напротив, оставляла на лице печать необъяснимой скорби. О чём была эта скорбь, Гриша и сам не знал. То ли о себе, то ли о людях, то ли о жизни, но она была о чём-то непременно высоком и сложном. Она была о чём-то очень серьёзном, о чём-то, над чем нельзя шутить и смеяться, о чём-то таком, о чём и говорить нельзя, — вот какая это была серьёзная и сложная вещь. Но, похоже, так считал только Григорий, и нет-нет да кто-нибудь глупый и весёлый спросит его: мол, ты чего такой серьёзный? А Гриша в ответ или виновато улыбнётся, или вовсе промолчит, сделав ещё более серьёзное выражение лица: ну не распинаться же перед дураком, не выворачивать же всю душу наизнанку. И обидно ему, что над ним подшучивают, и досадно, страдает, значит. Страдает и терпит.

И вот уже стал он не просто Григорий, а Григорий Михайлович. У него жена, дети, квартира, работа. В общем, он уже совсем большой мальчик.

И серьёзность его тоже стала совсем взрослой. Постепенно она, будто при реакции гальванизации, покрылась блестящими слоями социальной морали, гражданской ответственности, служебного положения, супружеского и отцовского долга. Конечно, он уже давно не хочет быть святым, и особо верующим Григорий Михайлович себя тоже не считал, хотя где-то там, в глубине сознания, он всё ещё верил, что есть Бог, что Он справедливый, что святые в раю и что всем им там печально смотреть на бестолковых людей. И только он вспомнит об этом, как гальванический процесс с новой силой покрывает оболочку всего его существа следующим слоем глянцевой серьёзности.

Григорий Михайлович воспитывает своих детей правильно, но когда они начинают больше меры баловаться, он раздражается. Он старается объяснить им, что нужно быть серьёзней, что он и сам не прочь с ними время от времени поиграть, но когда приходит пора закончить игру—нужно её закончить. Детям часто становится стыдно за своё баловство и невоспитанность, а Григорию Михайловичу уже давно не бывает стыдно за свою ложь. Ведь ни он, ни тем более его дети не смогут при желании вспомнить то самое время, когда их отец с ними играл.

Вот, в общем, такой он и есть—Благих Григорий Михайлович; точнее, таким мы его застали как раз в тот момент, когда он переходил через дорогу на зелёный сигнал светофора,—почтенный гражданин, заботливый муж и отец, хороший человек. Таким же его застал передний бампер мчащейся на красный старой иномарки, затем её решётка радиатора, капот, лобовое стекло, крыша… Дорожная разметка на перекрёстке тоже успела застать Григория Михайловича почти в тот же момент, но уже без ботинок и сознания. Жаль, что мы застали Гришу так поздно, ведь понаблюдай мы за ним денёк-другой до рокового дня—я уверен, что мы смогли бы ещё шире и глубже раскрыть характер этого замечательного человека. Но нет, вот он лежит на асфальте в нелепой позе, и под ним медленно расплывается лужица вязкой красной жидкости. Автомобиль скрылся, и пострадавшего уже обступили прохожие.

А что же сам Гриша? То есть собственно то, что мы привыкли называть душой? Где он, как он? Боюсь разочаровать читателя, но он не смотрит на своё тело откуда-нибудь со стороны или сверху. Конкретно в случае с Григорием Михайловичем ничего такого не происходит. Помимо всего прочего, у него черепно-мозговая травма и глубокая потеря сознания. Да, он всё ещё жив, но непременно умрёт. А если ему в ближайшее время не оказать квалифицированную помощь, умрёт он очень скоро.

Я не знаю, как ваши мысли, а мои почему-то непроизвольно вернулись к тому улыбчивому Грише, который хотел стать святым. Суждено ли его детской мечте осуществиться—хоть отчасти? Как узнать об этом, если даже автор бессилен заглянуть по ту сторону бытия? Ведь в жизни Григория Михайловича были и страдание, и терпение, и добродетель, и любовь, и уважение. Да, я не знаю, как читателю, но теперь уже и мне самому стало интересно, что будет с Гришей. Тем более как-то невежливо допускать смерть главного героя, едва его представив.

Но всё же постараюсь остаться честным перед читателем. Я не буду плаксиво рассуждать о том, что у Григория остались жена и дети, а в жизни им нужна опора и защита, что ему ещё шестнадцать лет предстоит выплачивать ипотечный кредит, что он мечтал нянчиться с внуками, а в предстоящие новогодние каникулы хотел отдохнуть с семьёй в Таиланде. Я даже не стану приближаться к его окровавленному телу, оставив это занятие толпе праздных зевак и бригаде врачей, которая уже осторожно помещает его в карету скорой помощи.

Я очень хочу остаться честным, а потому я просто выключу свет в своей маленькой комнатке, в комнате, где только дверь и письменный стол с ещё не дописанным листом бумаги да стул с жёсткой спинкой. Здесь нет ни окна, ни телефона, ни чашки чая, чтобы можно было выпить его за пару минут, пока нет света. Как раз за ту пару минут, на которую Гриша всё-таки умер…

…Иии… *Разряд.*

Ну вот, опять светло, можно писать дальше.

С момента дтп прошло около трёх недель, и Благих уже давно перевели из реанимации в общую палату. На радость близким и удивление врачей, Григорий Михайлович идёт на поправку семимильными шагами; кости срастаются, швы заживают, силы прибавляются. Но каждый, кто хоть немного знал его прежде, не мог не заметить ту разительную перемену, которая произошла с Гришей с тех пор, как он пришёл в сознание после того, как его сбила та старая иномарка. Хотя взгляд его стал ещё более серьёзным, в характере Григория Михайловича поселилось какое-то озорное лукавство, какая-то постоянная ироничная усмешка над всем окружающим миром, которая едва проявляется на губах. Но теперь это уже не размазанная мягкотелая улыбка в чём-то виноватого человека, а лишь лёгкая тень, намёк, едва уловимый для глаза, но мгновенно разрушающий всю его внешнюю серьёзность. Видимый взгляд на мир его стал лёгким и непринуждённым, он шутит с соседями по палате, с родными и друзьями, пришедшими его навестить, даже безобидно флиртует с медсёстрами. И хотя взгляд его остался серьёзным, как прежде, теперь Благих не имеет привычки постоянно отводить его, а, однажды

вперив в собеседника, держит им его словно в клещах. Его больше невозможно застать врасплох каким-то неожиданным вопросом. Шутки в его адрес или тут же отскакивают от него, словно мяч, или, не застревая на поверхности, как будто проваливаются в какую-то бездну его личности и, как ничтожные метеоры, даже не пролетая и малой части расстояния, сгорают во время падения.

Если кто-то из близких людей звонит Григорию на мобильный, то больше он не услышит фразы: «Да, слушаю»,—скорее всего, он «по ошибке» дозвонится до «Байконура», или попадёт в «городской дом терпимости», или на мебельную фабрику «Буратино», или начнёт разговор непосредственно с императором Древнего Китая.

Не стесняясь, Благих высмеивает свои ничтожнейшие оплошности, делая это так метко и остроумно, что окружающие едва сдерживают смех, стыдливо сжимая губы.

Жена даже тайком сходила к психологу и поделилась своими наблюдениями. Тот, конечно, её успокоил: мол, это нормально, такое часто бывает, травма, шок и всё такое. Он сказал, что, скорее всего, через некоторое время, когда муж втянется в привычный для него ритм жизни, его поведение станет прежним. Супругу успокоили слова психолога, ведь она вышла замуж и всегда знала только одного Григория—серьёзного, деловитого, немного застенчивого, любящего и открытого. От нынешнего же Григория её порой и в жар бросает. Тот, прежний, был ей понятен и предсказуем, а этот каждый день другой. И хотя ей с ним интересно, и она чувствует, что он любит её, как прежде, но в женское сердце уже пробрался страх необъяснимой и беспредметной ревности.

Что же стало с Григорием Михайловичем? Вы скажете мне, что он стал больше ценить жизнь, а я отвечу: нет, жизнь для него стала менее ценна, чем когда-либо. Вы можете предположить, что он стал больше любить окружающих его людей, а я снова отвечу: нет, прежде он любил их гораздо искренней. Может быть, вам показалось, что он узнал какой-то сокровенный секрет или понял смысл жизни; я же, зная Гришу несколько лучше вашего, могу с уверенностью сказать: единственное, что он понял,—в жизни вообще нет смысла. Я бы хотел с ним поспорить, потому что моя жизнь буквально наполнена смыслом, но, боюсь, он бы не стал меня и слушать или, в лучшем случае, сказал бы какую-нибудь ироничную колкость в ответ на мои неопровержимые доводы. Без всякого зазрения совести он бы высмеял всё, что мне дорого и важно, всякий мой мотив, дающий мне надежду и стремление в жизни. Но беда в том, что я бы не смог на него даже обидеться, потому что Гриша сделал бы это словно не нарочно, мимоходом, как бы рассуждая совсем о других вещах, искусно и непринуждённо. Поэтому я не стану с ним спорить, я не хочу слышать насмешливых подвохов над тем, что мне дорого, и при этом чувствовать себя глупцом, даже не способным как следует рассердиться на глубоко симпатичного мне обидчика.

Прошло больше двух месяцев с того самого дня, как мы встретили Григория Михайловича переходящим дорогу. Он уже дома, работает и живёт нормальной жизнью. К психологу его супруга больше не ходила, хотя прежним Гришино поведение так и не стало. Напротив, он практически полностью обновил свой гардероб, как-то сразу сделавшись более молодым и элегантным, хотя в свои тридцать девять он и прежде выглядел достаточно молодо. Вот уже второй раз в жизни он сделал себе европейский маникюр, а на следующей неделе он записался в салон тату, жене пока не говорит. В довершение ко всему, Григорий Михайлович купил себе дорогой клетчатый шарф и, когда надо и не надо, пижонски наматывает его на шею. Выглядит ужасно, но ему нравится.

Дети не узнают папу, а он не без удовольствия отвешивает им «саечки за испуг». Надо сказать, что и с женой всё в полном порядке. Она уже успокоилась и даже стала привыкать к тому, что никак не может привыкнуть к своему преобразившемуся супругу. В жизни Гриши вдруг всплыли запропастившиеся школьные друзья, а казалось, что уже давно нет ничего общего. А через дорогу он, как и прежде, переходит только на «зелёный». Вот как-то так всё и получилось.

Прошло ещё шесть месяцев. Григорий Михайлович с семьёй находится на острове Пхукет, в Таиланде. Он лениво растянулся на шезлонге и читает «Опыты Мудреца». Жена выбирает фрукты у пляжного торговца, дети ушли купаться. Переворачивая страницы, он обнаружил небольшой плоский образок с Николаем Чудотворцем, непонятно как затесавшийся между страниц. Наверное, жена положила в багажный чемодан, она всегда что-нибудь такое кладёт в дорогу, и книга как раз лежала на дне. Да, что-то в этом роде и получилось, скорее всего. Григорий посмотрел на Николая, Николай же не отвёл строгого взгляда от Григория.

«А ты чего такой серьёзный?»—спросил Гриша. Николай ничего не ответил.

Вдоль берега прогуливался седовласый и загорелый немец в оранжевых бермудах. Почти напротив Григория Михайловича он остановился и повернулся спиной к морю. Благих, не отводя взгляда от Николая Чудотворца, закрыл образком торс загорелого немца. Золотистое одеяние Николая гармонично завершилось бермудами и старыми сланцами неопределённого цвета.

«То-то»,—сказал Гриша и лукаво сжал губы.

Проверка на вшивость

Станислав Фёдорович был человеком пытливого ума. Пытливость его ума проявлялась по-разному,

чаще в ситуациях бытовых и повседневных, но так или иначе связанных с межчеловеческими отношениями. Главной чертой характера Хреногорова, по его собственному мнению, была — наблюдательность. Он любил наблюдать за поведением людей тогда, когда тем казалось, что за ними никто не наблюдает. Причём наблюдения эти носили не прямой, а, так сказать, умозрительный характер.

Немного отвлекусь от основной темы рассказа и подробнее остановлюсь на фамилии Станислава Фёдоровича. Если бы была возможность не упоминать её, то я бы с радостью так и поступил. Но посудите сами, тогда весь рассказ я должен постоянно только и говорить: Станислав Фёдорович, Станислав Фёдорович, Станислав Фёдорович — или чередовать с местоимением «он». Думаю, тогда, возможно, и без того нудный рассказ станет ещё более нудным. Поэтому без фамилии никуда не денешься, а раз она у него именно такая, то и пришлось её озвучить. Надо сказать, фамилия эта была одновременно и гордостью, и «больным местом» всех Хреногоровых. В силу её, я бы сказал, чрезмерной мужественности; ведь согласитесь, быть Хреногоровым — мужчиной совсем не то же самое, что Хреногоровой — женщиной. К счастью, хреногоровские гены как будто чувствовали этот недостаток своей фамилии и плодили на свет исключительно представителей сильной половины человечества. Станислав Фёдорович был единственным сыном Фёдора Кузьмича. Фёдор Кузьмич был единственным сыном Кузьмы Осиповича. Кузьма Осипович был единственным сыном Осипа Дермидонтовича, а Осип Дермидонтович, в свою очередь, был единственным сыном Дермидонта Фридри… впрочем, номинально мать воспитывала Дермидонта одна.

Но всё же как ни крути, а без женщин нельзя. И жена у Станислава Фёдоровича была. Ольга Павловна, хотя ей уже и было пятьдесят три (она на два года младше Хреногорова), была женщиной, не только сохранившей красоту, но и приумножившей её своей добротой и женским обаянием. В девичестве — Смирнова, она так сильно любила Станислава Фёдоровича, что, не поддавшись на его уговоры оставить свою фамилию, словно жена декабриста, добровольно и искренне приняла эту фамильную хреногоровскую ссылку. И за это Станислав Фёдорович наряду с любовью питал к ней глубокое уважение — уважение не как к личности, что, в общем, само собой и разумеется, а как к некоему характеру, способному на глубокие человеческие поступки. Таких людей он очень уважал, людей, которые способны делать вещи пусть и нерациональные, но внутренне красивые. И именно для выявления этих людей он так любил применять свои наблюдательность и пытливый ум.

Каждый из нас непроизвольно ускоряет шаг за несколько метров до подъездных дверей, если видит, что один из жильцов уже открыл дверь магнитным ключом. А человек, открывший дверь, видя, что кто-то идёт следом, тоже как бы непроизвольно придерживает дверь, секунду или чуть более дожидаясь нас. Казалось бы, действие этого человека лишено всякой логики, ведь он знает, что у нас тоже есть ключ, но дверь всё равно придерживает, потому что закрывать её «перед носом» как-то невежливо. Вы спросите, о чём это я сейчас? Ведь ситуация вполне обыденная и бытовая, я полностью согласен, но только не для Станислава Фёдоровича, так как именно на такого рода детали он и направлял все свои интеллектуальные усилия по выявлению человеческой сути.

Вернёмся к ситуации с дверью, но на этот раз расстояние между вами и человеком несколько больше, и «фактор вежливости» начинает медленно растворяться в пространстве, находящемся между двумя людьми. И, как бы постепенно увеличивая это пространство, мы достигнем того предела расстояния, при котором человек уже не будет вас ждать ни при каких условиях. Расстояние это у каждого соседа по подъезду Хреногорова было строго индивидуально, как отпечаток пальцев, ведь за большим количеством лет, прожитых в этом доме, Станислав Фёдорович волей-неволей успел подвергнуть этому тесту всех своих соседей. И уважение Хреногорова к людям, живущим с ним в одном подъезде, было прямо пропорционально вышеуказанному расстоянию. Однако «формула уважения» в целом была гораздо сложнее, ведь за подъездной дверью следует лифт. Надо отметить, что лифт в доме Станислава Фёдоровича был старого образца, и, в отличие от своих более современных собратьев, он мог подниматься и опускаться без пассажиров внутри. И, как это часто бывает, когда желающих уехать больше, чем кабина может вместить, люди сами собой разбиваются на две группы, и «оставшаяся» просит «отъезжающую» отправить ей лифт. И действительно, меньше чем через минуту вертикальный извозчик вновь распахивает свои двери, забирая вторую партию пассажиров.

Видя, что кто-нибудь из соседей, торопливо открыв подъездную дверь, устремлялся дальше, к лифту, Хреногоров едва заметно улыбался. Он не спеша заходил в подъезд и, остановившись возле раздвижных дверей, прислушивался к работе механизма. Механизм, как бы почувствовав настроение Станислава Фёдоровича, тоже никуда не спешил и плавно поднимал пассажира на один из верхних этажей. Затем кабина лифта с бряканьем останавливалась на нужной площадке. И вот тут-то для Хреногорова наступало мгновение, которого он всегда ждал с особым трепетом. Ведь там, наверху, человек знает, что внизу ждут лифт.

Ведь, подходя к подъезду, человек чувствовал, что за ним следом кто-то идёт; заходя в кабину, он слышал, как при считывании магнитного ключа пиликает домофон. Нажмёт ли при выходе из лифта один из соседей Станислава Фёдоровича на кнопку с цифрой «1»? Если да, то, едва шумно раскрывшись, двери тут же закрывались, и механизм начинал так же не спеша опускать кабину, но в этой неторопливости Хреногоров уже чувствовал какую-то особую форму ускорения времени, мягкую и плавную. И, лишь слегка довольно качнув головой, изрекал: «Челове-ек». Если нет, то двери автоматически закрывались только через несколько секунд, и спустя ещё несколько мгновений полной отстранённости, от вдавленной указательным пальцем Станислава Фёдоровича в свою панель кнопки, лифт оживал и устремлялся на первый этаж. Теперь же этот спуск кабины казался Станиславу Фёдоровичу каким-то грохочущим падением, но падением слишком затянувшимся, а потому раздражающим. В таких случаях Хреногоров ничего не говорил, а лишь недовольно качал головой. Иногда он как бы оправдывал соседа: мол, «забегался» или «задумался о чём-то своём»,—а иногда просто покачивал головой несколько дольше обычного.

Пожалуй, и сам Станислав Фёдорович уже не вспомнил бы, когда именно появилась у него эта привычка. Да, скорее всего, не было какого-то одного конкретного дня, склонность к подобным «проверкам» развивалась в нём постепенно, обрастая всё более мелкими нюансами, но со временем она настолько сильно в нём укоренилась, что стала непроизвольной. На её основе Хреногоров делил людей на собственно «людей» и на «мышей». «Мыши»—всегда стараются проскочить быстро и незаметно. Окружающих они воспринимают как раздражителей, как причину беспокойства, окружающие их напрягают только самим фактом своего существования. И хотя подобные «мыши» по своей природе безвредны, но они в то же время и абсолютно бесполезны, и как только появляется возможность снять маску «социальной вежливости», они в полной мере проявляют свою «мышиную суть». «Люди» же, по наблюдениям Станислава Фёдоровича, напротив, ведут себя открыто, им чужда бытовая мелочность, они не прячутся, не стараются забиться в свою норку, и своими поступками они как бы показывают окружающим: «Смотри, я—помню о тебе. Я знаю, что ты—есть».

Справедливости ради стоит отметить, что сам Хреногоров всегда придерживал двери подъезда или лифта, а если была необходимость, то отправлял его при выходе на своей площадке вниз. Также надо сказать, что и деление это было в какой-то степени условным. Так, например, случалось, что «закоренелая мышь» вдруг проявляла «человеческие качества», и это не могло не удивить Станислава Фёдоровича. Причём удивление бывало настолько искренним и неожиданным, что казалось, будто брови и глаза Хреногорова, не успев заранее договориться, как вести себя в подобной ситуации, реагировали совершенно по-разному: первые поднимались вверх, а вторые, напротив, опускали взгляд вниз, куда-то прямо перед собой,—и он многозначительно изрекал: «Надо же…» Также бывало, что «стопроцентный, проверенный человек» вдруг ни с того ни с сего показывал «мышиное нутро». Этот факт очень озадачивал Станислава Фёдоровича, и он, словно ответственный попечитель, начинал более пристально «приглядывать» за подопечным, стараясь первым здороваться, по возможности, что называется, переброситься парой слов о жизни, как бы «прощупывая» человека изнутри. Он, словно врач-педиатр, вооружившись нехитрым инструментом, быстро, чтобы не утомить процедурой, осматривал гланды, зрачки, стучал под коленной чашкой и лёгким касанием ладони проверял температуру. И только убедившись, что всё в порядке, он успокаивался, вновь возвращая «подопечному» звание «человек».

В какой-то степени забота о людях в целом тоже была особенностью Хреногорова. Причём забота эта носила как бы извинительный характер. Станислав Фёдорович относился к ним почти снисходительно и дружелюбно-оберегающе, как относится старшеклассник к первоклашкам. Причина такого отношения глубоко скрывалась в потаённых уголках характера Хреногорова, но осмелюсь предположить, что в какой-то степени это было связано с его огромным ростом, выше ста девяноста пяти, и богатырским телосложением. Вообще, все Хреногоровы мужского рода были исполинами, но их достаточно тонкое душевное устройство, как бы сопоставляя свою физическую мощь с громозвучностью фамилии, испытывало что-то вроде неудобства перед окружающими. Станислав Фёдорович очень стеснялся не только проявить свою огромную силу, но даже показаться сколько-нибудь неловким или невнимательным в отношении других людей, он боялся выглядеть неотёсанным, малокультурным великаном. Да, возможно, именно сочетание его исполинского роста и силы со столь громозвучной фамилией, а также достаточно организованное и утончённое устройство его внутреннего мира и порождали в нём эту искреннюю и бескорыстную услужливость окружающим.

Ещё одним излюбленным местом «маленьких тестов» Хреногорова был блок подземных гаражей, расположенный во дворе его дома. Станислав Фёдорович был одним из сорока членов гаражного кооператива «Старт» и счастливым обладателем трёхуровневого подземного гаража. Основные

ворота блока были достаточно массивны и имели огромный замок со специальным ключом. Ключ этот был тоже немаленький, размером со средний охотничий нож. Открыв ключом небольшую дверь в основных воротах, нужно было, уже изнутри, отодвинуть четыре массивных вертикальных засова и только тогда, со скрежетом и каким-то тяжёлым стальным дребезжаньем, открыть ворота, изготовленные, казалось, из бронированной стали, применяемой на боевой технике для защиты от ракетных ударов. Вообще, всё это архитектурное сооружение постсоветского зодчества по стилю исполнения было больше похоже на укреплённый подземный бункер. Этот негаснущий возле входа фонарь с плафоном из армированной стали, освещающий серый выпуклый щит с толстой рукояткой на боку, эти угловатые вентиляционные рукава под потолком, эта редкая капель с межпанельных швов, сумрак и запах влажного бетона,— всё это настраивало каждого входящего на какой-то военный, почти боевой лад. Именно поэтому жёны всегда предпочитали оставаться на улице, возле основного входа, пока мужья выгоняли авто, или вообще выходили из дома чуть позже, когда машина ждала их уже возле подъезда. И даже доска объявлений возле щитка, казалось, оповещала посетителей о времени очередных бомбардировок, а не об очередном собрании членов кооператива. И Хреногоров, вскользь окинув её взглядом, поднимал массивную рукоятку на боку щитка вверх, и внутреннее пространство бокса озарялось тусклым мерцающим светом, исходящим от «световых дорожек» под потолком, местами прерывающихся перегоревшими лампами и разбегающихся по двум улицам блока.

Далее он следовал к своему гаражу. Гараж Станислава Фёдоровича находился на левой улице блока, почти посередине. Его красные ворота в верхнем левом углу украшала цифра «12». Надо сказать, что автовладельцы примерно в одно время как выгоняли машины, так и ставили их обратно. Так или иначе, а, за редким исключением, Хреногоров обязательно с кем-то «пересекался». Непосредственно знаком он был лишь с пятью-шестью соседями, остальных же знал только в лицо или вообще — примерно, потому как многие из них были не только не из его подъезда, но даже не из его дома. Но, встречая людей в полуосвещённых переходах подземного гаражного блока, он, как бы приветствуя, всем близоруко кивал, получая в ответ такие же знаки внимания.

Иной раз, уже открывая ворота своего гаража, он слышал шаги чьей-то торопливой походки, разносящиеся эхом по двум улицам подземелья. И пока Станислав Фёдорович, включив зажигание, давал двигателю немного прогреться, тот, другой, быстро выгонял машину из своего гаража, «клацал» дверным замком и вылетал из подземного блока, окрылённый удачей, что удалось избежать возни с главными воротами. Хреногоров, посмотрев в сторону главного выезда, недовольно покачивал головой. Его расстраивало не то, что ему приходится открывать и закрывать главные ворота, а другие выезжают «на халяву»,— его расстраивала мелкость человеческой души, допускавшая такие поступки. Станислав Фёдорович выгонял машину из подземелья и затворял основные ворота, так как это было непременным условием для всех членов кооператива: если в блоке никого нет, ворота должны быть закрыты. Он подъезжал к подъезду, где его ждала Ольга Павловна, но достаточно было только одного взгляда на её приветливое и улыбчивое лицо, как всё плохое забывалось само собой, и, подождав, пока жена церемонно рассядется в кресле, Хреногоров выруливал из двора.

Иногда Станислав Фёдорович подолгу рассуждал над мотивами человеческих поступков, он как бы примерял на себя различные ситуации, происходящие с другими, думал, как он повёл бы себя, будь сам на их месте. Представлял, что бы они могли чувствовать, о чём думать, какими мотивами руководствоваться. И в этих своих размышлениях он как бы погружался в иную реальность, возможно, в чём-то даже смешную и наивную с точки зрения человека, пребывающего в рациональной бытовой повседневности; но когда он в своих размышлениях пребывал в той, иной реальности, в свою очередь, вся физическая действительность, вся материальность вещей вдруг становилась для него столь же смешной и какой-то нелепой, надуманной чьим-то больным воображением.

Та же ситуация с «маленькими проверками», только с точностью до наоборот, повторялась и когда Хреногоров ставил машину в гараж. Однажды он уже почти на выходе встретился с автовладельцем с соседнего гаражного прохода. В этот раз так же случилось, что Станислав Фёдорович первым подъехал к гаражу и поэтому открывал ворота сам. Он обратил внимание, что почти сразу за ним в гараж заехала другая машина. И теперь, встретив человека, спешно шагающего к выходу, он сразу понял, на что тот рассчитывает. Они обменялись кивками. Хреногоров слегка замедлил шаг, человек же, напротив, почти незаметно его ускорил. Он вышел первым, не оглянувшись, Станислав Фёдорович принялся закрывать ворота, лишь краем глаза обратив внимание на жену человека, ожидающую его возле входа. Это была приятная молодая женщина лет тридцати — тридцати пяти. Её искренняя улыбка и миловидные черты обратили на себя внимание Хреногорова. Почти сразу он увидел в ней что-то знакомое, почти родное. Эта женщина располагала не только типом внешности, но даже типом красоты, типом очарования его супруги. Так бывает, что без всяких

причин мы иногда встречаем людей, очень похожих на наших близких. Может, эту иллюзию дарит нам какое-то особенное освещение, сочетание теней, нотка настроения, мелькнувшая в чертах незнакомого человека, тут же растворившаяся, но уже воспринятая нами как нечто постоянное. Как бы там ни было, но, закрыв ворота, Станислав Фёдорович погрузился в размышления. Ведь он заметил ту нежность взгляда женщины, направленную к мужу, ту искренность чувств, которая не может появиться к человеку, не заслужившему её. И это чувство внутреннего противоречия, чувство недопонимания чего-то сначала, словно химическая реакция, завладело всеми мыслями Хреногорова. Вспенило, перемешало, закружило десятками маленьких завихрений. Но реакция эта была весьма скоротечна, и через несколько минут система вновь пришла в состояние равновесия, мысли вновь взяли привычные скорости и направления, лишь где-то в глубине появилась едва заметная мутная взвесь осадка. Впрочем, этому осадку недолго было суждено оставаться в покое.

На следующий день Станислав Фёдорович с супругой допоздна задержались в гостях. Когда они подъехали к гаражу, уже смеркалось, и Ольга Павловна не захотела идти домой одна. Основные ворота были открыты, в подземелье горел свет, и они напрямик проехали к своему гаражу. Сосед напротив уже загнал машину и что-то «колдовал» с дверным замком, то открывая, то закрывая дверь. Хреногоров, поприветствовав знакомого, поставил в гараж машину и вместе с супругой направился к выходу; сосед всё ещё был занят своим делом. Подойдя к основным воротам, он было принялся их закрывать, но слова, произнесённые Ольгой Павловной, чуть не вогнали его в ступор: «Зачем? Там же ещё люди, пусть они и закроют…» Станислав Фёдорович исподлобья посмотрел на жену, он не знал, что ответить, и лишь молча закончил начатое. Он снова посмотрел на жену: это была всё та же улыбчивая и добродушная Ольга Павловна. И хотя внешне это никак не проявилось, но вчерашняя реакция вскипела в нём с ещё большей силой, растворяя в себе, казалось, основы хреногоровского понимания людей. Супруга оживлённо делилась впечатлениями о проведённом вечере, Станислав Фёдорович, как водится, многозначительно кивал в ответ на её высказывания. И два человека медленно поднимались к своему подъезду, сопровождаемые жёлтым светом фонаря и стрекотанием кузнечика. Но всё время этого неторопливого движения сознание Хреногорова, словно учёный отшельник, посвятивший годы своей жизни открытию какой-то важной формулы и вдруг осознавший, что где-то в самом начале он сделал непоправимую ошибку и ошибка эта свела на нет годы его изысканий, жгло в камине исписанные за годы работы листы бумаги. И, поняв, что ничего не осталось, перед дверями подъезда Станислав Фёдорович как будто на мгновение потерял точку опоры самого себя, но только на мгновение. Он вдруг перестал кивать супруге в ответ на её реплики относительно предложенных в гостях блюд и с видом знатока изрёк: «Нет, что ты там ни говори, а отбивные были жестковаты. В смысле, конечно, хорошо, но с твоими отбивными и сравнивать нельзя». Хреногоров приобнял жену за талию, и они скрылись в подъезде под мелодичное пиликанье домофона.

Субмарина

Кирпичи уже давно ждали своего часа. Пару лет назад в центре города ломали старые бани, и отец, взяв Егора, поехал добывать стройматериал для пристройки. Занятие простое и рутинное: бери себе старые кирпичи, очищай от остатков цемента да складывай в багажник. Так незаметно во дворе накопилась большая гора стопками уложенных кирпичей. Но сроки начала строительства пристройки постоянно переносились. Может быть, оттого, что отец Егора больше любил собирать что-либо, будь то старые кирпичи или брошенные на обочине дороги шпалы, оторванные листы жести или бордюрные камни, выкорчеванные дорожниками для замены. Всё это добро он регулярно привозил, тщательно распихивая по углам ограды. Может, оттого, что сама необходимость строительства пристройки ещё не сформировалась окончательно, не приняла, так сказать, осмысленные форму и содержание. В общем, со строительством всё как-то не складывалось. Наконец, поняв, что помощи ждать неоткуда, мать решила взять процесс под свой личный контроль, чему, собственно, отец никак и не препятствовал, а даже обрадовался, потому как в последнее время у него было особенно много работы. А работа у него была самая что ни на есть настоящая, работал он на своём грузовике в какой-то фирме по доставке грузов. Уезжал рано, приезжал поздно, вечно что-то регулировал, подкручивал, менял или даже стучал в своём «газике», ел и ложился спать.

Дело было за малым: нужно было найти подрядчика на выполнение строительных работ, деньги на оплату отец великодушно согласился выделить, а также назначил Егора в помощники будущему работнику.

Первым подрядчиком, выдвинувшим свою кандидатуру, был дядя Толик с другом Серёгой. Надо сказать, что дядя Толик был давним знакомым родителей Егора и настоящим строителем. Он так лихо взялся за дело, что в первый день уже была готова траншея для фундамента, а на второй день приехали грузовик с краном, и дядя Толик с Серёгой уложили в траншею непонятно откуда взявшиеся фундаментные блоки.

«Ну всё, Егорыч, завтра начинаем,—сказал дядя Толик, расположившись с Серёгой на уложенных блоках.—А сегодня надо разговеться, чтобы и дальше всё как по маслу».

Но дальше почему-то «как по маслу» не получилось. Вечером следующего дня дядя Толик всё-таки пришёл, но уже без Серёги и в совершенно нерабочем состоянии; он клятвенно пообещал, что завтра работа закипит с неуёмной силой, но этого вновь не произошло—и послезавтра, и послепослезавтра. Мать начинала понимать, что ситуация с горой кирпича посреди двора грозит, так и не сдвинувшись с мёртвой точки, вновь замереть на неопределённый срок, только теперь ещё была перекопана половина ограды, снесено крыльцо и, как временная дорожка, через фундамент брошен горбыль.

На роль нового подрядчика был выбран сосед—дядя Володя. Вообще, дядю Володю уже впору было называть дедой Володей, ему было около семидесяти, но дедом его называли только внуки. Дядя Володя тоже был строитель—когда-то. Сейчас же это был обыкновенный пенсионер, жил он с тётей Лидой в непосредственном соседстве с семьёй Егора. Их огороды разделял невысокий штакетник, и Егор привык с самого детства воспринимать дядю Володю как неотъемлемую часть соседского пейзажа. Надо сказать, что это была наиболее колоритная его часть. Начать с того, что, когда дядя Володя был трезвый, он постоянно чем-то занимался, что-то мастерил, пилил, строгал, строил или реконструировал. Будь то парник, дорожка к бане, навес, теплица, забор и т.п. Совершенно непонятно, с чем это связано, но если Егор пытался вспомнить, когда именно дядя Володя трудился над тем или иным своим сооружением, то в памяти непременно всплывал жаркий и солнечный день. Все краски этого дня были густо разбавлены сочной зеленью огорода, почти фиолетовым оттенком неба и мягким неопределённым цветом свежеструганной древесины. А дядя Володя же был единственный подвижный элемент в этой летней картине непрерывного созидания.

Элемент этот был невысокого роста, около ста шестидесяти пяти, ужасно косолапый, даже можно сказать—кривоногий, вечно раздетый до пояса, облачённый в серые затёртые и местами дырявые шаровары. Спина и шея его были почти бурыми от загара, и когда солнце и физическая работа, по отдельности бессильные против этого маленького и упрямого человека, совместными усилиями всё-таки одолевали его терпение, он подходил к летнему водопроводу и, опустив голову с седыми коротко остриженными волосами, открывал кран. И тогда воспоминания Егора наполнялись ещё и летящими от этой бурой спины во все стороны брызгами, фырканьем и отборным матом.

Когда же дядя Володя уходил в запой, то на нём появлялись рубаха в синюю клетку и галоши. Погода, как правило, становилась более пасмурная, и даже иногда моросил дождик. Едва же державшийся на ногах дядя Володя вставал посреди своего огорода и, подняв лицо навстречу каплям, застывал так на несколько минут. Потом вдруг шлёпал ладонями себя в грудь и, растопырив руки в разные стороны, пытался как бы пойти в пляс на своих кривых ногах, но, дав крутой крен и едва удержавшись, вновь замирал лицом вверх.

В общем, кипучесть натуры этого человека чувствовалась в каждом его движении; то он лихо присвистнет соседской собаке, то ехидно подсядет за спиной своей престарелой супруги. Жесты его рук всегда начинались почти плавно, а завершались молниеносным, едва уловимым выхлестом. И если попытаться отнести его темперамент к какому-либо характеру, то дядя Володя был казак. Но не такой казак, что чубатый ходит с нагайкой, в форме, штанах с лампасами и картузе, нет. Дядя Володя был казак Запорожской Сечи, в шароварах, испачканных дёгтем, жилистый, загорелый как головешка, часто пьяный и лихой, но в то же время он мог быть неимоверно упрямым и усердным.

Как-то, пару лет назад, когда Егору было около четырнадцати, он решил сам сделать на кухню что-то вроде столешницы для готовки и раковины, потому что прежняя кухонная утварь уже пришла в полную негодность. Родители эту идею восприняли с одобрением: ведь, во-первых, не надо тратить деньги на покупку, а во-вторых, всё равно хуже, чем есть, уже не получится. Всё необходимое для работы можно было найти в разных частях двора: под навесом—бруски, в жестяной склянке—шурупы, откуда-то выкрученные и замоченные в керосине; к стене гаража приставлены листы двп, тоже почти новые. Дверцы старого шкафа, что за баней, покрыты пластиком, они отлично подойдут на роль непосредственно столешницы.

Вот так, стаскав всё необходимое на площадку к бане, сняв все размеры и составив чертёж предполагаемого результата своего труда, Егор принялся за работу. Надо сказать, что, в отличие от отца, он как раз имел более развитую не собирательскую, а созидательскую способность. И каждый раз, делая что-то своими руками, Егор ощущал, как эта способность в нём крепла и развивалась. Качество его изделий словно на глазах эволюционировало, совершенствуясь и обретая черты индивидуального стиля. Он работал не спеша, осознавая всю ответственность. Ведь это не будка, не самокат, не угольник, это—домашняя мебель, а она должна быть не просто лучше прежней, она должна быть красивой, чтобы не было стыдно перед гостями родителей или своими друзьями, чтобы нравилось самому. В общем, в первый вечер он напилил по размерам бруски, во второй—начал скручивать

каркас, а дядя Володя тут как тут. Навалился на штакетник, сам в шароварах, рубахе и галошах: «Ты, Егорка, что это делаешь?» В это время тётя Лида на летней кухне как раз нашла пустую бутылку и кричит ему охрипшим голосом: «Ты, старый чёрт, где опять взял-то?! Да когда ж ты сопьёшься-то, наконец? Скотина!» «Старый чёрт» протиснулся в узкую калитку; хорошие соседи часто такие делают: если один уехал, другой и огород полить может, и собаку покормить. Короче говоря, и дяде Володе с Егором тихо и мирно: Егорка его не бранит, старым чёртом не обзывает, да ещё и советом можно помочь. И Егору польза: дядя Володя хоть и пьяный, а вещи говорит дельные, только успевай запоминать. Так они три вечера подряд и просидели; «старый чёрт» осушит свою чекушку—и «огородами» к Егору. А тот мастерит и слушает его байки да советы. Надо сказать, столешница получилась хорошая, а когда Егор, опять же по совету, покрыл её морилкой и лаком, то и вовсе не хуже, чем покупная, вышла.

Дядя Володя важной походкой прошёлся вдоль фундамента, осмотрел кирпичи, мешки цемента, песок. Сказал, что мастерок и прочий инструментарий у него свой и что завтра у него ещё есть дела, а послезавтра можно начинать работу. Так и решили.

Вечером того же дня дядя Володя уже что-то пытался отплясывать посреди огорода, но попытки эти носили больше символический характер, так как одной рукой для него жизненно важно было придерживаться за угол теплицы. И, истратив последние силы в этих бесплодных стараниях, он, как старый гиббон, бочком пошёл на своих кривых ногах куда-то в сторону дома. Мать была полностью психологически подавлена и разочарована во всех строителях на свете, отец был на работе. Егор же, словно в чём-то абсолютно уверенный, оставался спокоен.

Назавтра картина ещё более усугубилась; теперь стало абсолютно ясно, какие именно незавершённые дела были у дяди Володи, но дела эти были настолько запущены, что, казалось, должно произойти как минимум чудо, чтобы эта «пьяная сволочь», как его весь день называла тётя Лида, смогла разобраться с ними к утру следующего дня.

Сколько бы слов сомнений и разочарований ни высказывала мать в отношении загулявшего соседа, одной его черты она никак не могла разглядеть, а потому и утро следующего дня для неё явилось полной неожиданностью. Дело в том, что, в отличие от того же дяди Толика, пьянство дяди Володи имело радикально иную природу. И если первый подобен маленькому мальчику, пообещавшему не лазить больше в бабушкин буфет за ирисками, но, тем не менее, постоянно туда наведывавшемуся и вновь клятвенно обещающему не лазить, то второй «мальчик» действительно держит своё слово, но перед тем как его дать, напоследок набивает полный рот сладостей.

В восемь утра чисто выбритый дядя Володя с инструментом стоял на стройплощадке. Работа началась плавно и как бы нехотя. Егор замешивает раствор и подаёт кирпичи, сосед начал кладку.

Руки старого строителя постепенно вспоминают работу с камнем, к ним возвращается, казалось бы, совершено забытая моторика, всё ловчее и ловчее дядя Володя делает перехваты и пристукивания, всё ровнее скалывает половину, треть, четверть кирпича. Кирпич огромный, старинный, килограмм по пять.

«Хороший кирпич…»—говорит дядя Володя, как бы взвешивая каждый в руке, и, будто старый паровоз, неизвестно сколько времени простоявший в далёком тупике и заработавший по чьей-то ироничной прихоти, он начинает всё быстрее и быстрее набирать обороты. Этому паровозу неведомо, что уже давно есть современные скоростные поезда, он просто делает то, что должен делать, увеличивая давление в котле и разгоняясь всё сильнее и сильнее.

К обеду Егор едва поспевает за пенсионером. Мастерок дяди Володи мелькает, как дирижёрская палочка, и лишь к вечеру движения этой палочки начинают несколько замедляться, но они не становятся смазанными или незаконченными, просто мелодия стала медленней и певучей, не утратив разнообразия и ритма.

На следующее утро всё тело Егора ломит, суставы и мышцы отекли и подают первые признаки болезненности, а дяде Володе хоть бы что, только пот с загорелой спины стекает на шаровары. Его кривые ноги будто специально изогнуты таким образом, чтобы жилистое тело чувствовало надёжную опору и полную свободу движения; снова мелькает мастерок, и Егору некогда думать, некогда стоять, тело сотнями движений, словно губка, выжимает из себя воду. Лопаются волдыри мозолей, кровоточат ссадины, но связки мышц постепенно обретают лёгкость, и работа опять поглощает всё внимание, все силы.

Чем дольше работал Егор с соседом, тем бóльшим уважением он проникался к этому человеку. Этот маленький муравей упорством и усердием внушал безоговорочную веру в свои силы. И казалось совершенно очевидным, что если встанет на его пути какая-нибудь непреодолимая преграда или трудность, то дядя Володя упрётся своими кривыми ногами в землю, выругается матом и преодолеет любую непреодолимость, превозможет любую трудность.

Всё выше и выше поднимаются стены пристройки. Вот уже проявились дверной и оконный проёмы, вот уже уложены потолочные балки; пятый день работают Егор с дядей Володей, и каждый

день пенсионер выходит на работу в восемь утра, свеж и чисто выбрит.

Огрубели мозоли, работа, не став медленней, приобрела размеренность, словно укатав колею навыка, и кажется, что колея эта может тянуться куда-то в бесконечность. И уже нет усталости, нет боли, есть непрерывное движение по этой проторённой дорожке, почти под уклон, почти легко.

На следующий день, как закончили стройку, начался дождь, капли бились о ещё не окрашенную жесть новой крыши, наполняя двор непривычным шумом. И хотя впереди было ещё много работы, но миссия дяди Володи закончилась, он получил расчёт и сидел, довольный, на лавке возле бани, «напихав полный рот бабушкиных ирисок». За воротами послышался шум лесовоза—его сын иногда оставлял свою огромную машину во дворе. Услышав знакомый рёв мотора, довольный пенсионер пошёл качающейся походкой к воротам. Вдруг к этому рычащему шуму присоединился визг тормозов, и, как жирной точкой, в конце всё завершилось глухим хлопком. Дядя Володя, сначала остановившись и как бы подсев, заковылял к воротам уже почти бегом. И вот за оградой раздаётся его отборный трёхэтажный мат: пока сын маневрировал перед воротами, в его лесовоз врезалась другая машина—или он в неё врезался, поди разбери.

В общем, шум, крики, дядя Володя забегает обратно во двор, он и сам толком не знает, что надо делать. Он устремляется к входным дверям, но его походка замедляется и обмякает, он падает, неестественно растянувшись всем телом возле будки. На улице всё ещё крики, но через какое-то время всё умолкает. Помятая легковушка медленно отъезжает от колеса грузовика. Никто не виноват, никому ничего не нужно…

Всё как обычно: соседи, скорая, ненужная суета. Егор не пошёл смотреть, он и сам не знал почему—просто не пошёл, и всё. Может, он не хотел разрушать в себе иллюзию об удивительной выносливости и живучести этого человека, а может, он попросту и не поверил в случившееся. Да просто ушёл казак в свою Сечь и растворился миражом.

Много лет прошло с тех пор. Дом, в котором вырос Егор, давно снесли вместе с пристройкой и прочими соседскими домами. На этом месте стоит кирпичная шестнадцатиэтажка. Сам Егор переехал в Новосибирск, живёт на Красном и, наверное, уже забыл об этой истории. А если и не забыл, то хранится она в его памяти где-то очень глубоко, словно субмарина, подолгу не поднимаясь на поверхность. Да и не нужно ей подниматься, негде на этой зыбкой накрахмаленной поверхности жёстко упереться ногами, нет на ней колеи, уходящей в бесконечность, только кольца от разводов. И ведь, в конце концов, на то она и субмарина, чтобы тихо и незаметно, год за годом, нести своё дежурство.

Григорий Горнов

На острове цикад

● ● ●

Прости меня. Мой светлый путь был низок.
Уста мои не ведали преград.
И лес казался тьмой, был близок.
Я был паломником на острове цикад.
И их игумен сгустком вдалеке
Вдруг перешёл дорогу, скрылся в чаще.
Луна, как ты, плескалась в молоке.
А ты спала, ворочаясь всё чаще,
Как рыба—в телеграфных проводах:
Вода ушла, оставив только сети.
Я вспомнил фотографию в газете,
Ты там стоишь с полковником в летах,
И вас, как древо, обнимают дети.

Первый день

Не думай, посмотри из-за плеча
На первый день потерянного года:
Там, у путей Воронежского хода,
Дымит тобой оставленный очаг.

И только Дом единственно правдив:
Единство в нём пути и встречи.
Прощаясь, ты уходишь в бесконечность,
Безбрежный мир в пылинку обратив.

Я не расслышу правильности нот
И погрешу словами, то есть дальше
Не будет никого. И, кроме фальши,
Я ничего не запишу в блокнот.

Игорь Герман

Урок гражданского права

Уже вторую перемену ученик четвёртого класса Миша Елесин собирал вокруг себя большую группу ребят. Заинтересованный мальчишник после каждого звонка с урока сбивался в одном из уголков школьного коридора. Собственно, центром внимания становился не сам Миша, а какой-то предмет в его руках, который и обладатель, и облепившие ребята внимательно рассматривали, увлечённо склонив головы.

Любопытствующих одноклассниц мальчики, расступаясь, допускали до своего секрета, а затем провожали торжествующим хихиканьем, когда покрасневшие девочки прорывались сквозь мальчишеский строй и торопливо убегали.

Заметив кого-либо из учителей, группа как по команде разбредалась в разные стороны. Миша Елесин уходил в класс, но спустя минуту появлялся в коридоре вновь, и мальчиков опять тянуло к нему, словно стайку воробьёв на корочку хлеба.

Возвращаясь из учительской на урок русского языка, Нина Александровна заметила у лестницы своих учеников, притихших и что-то сосредоточенно рассматривавших. Занятая своими мыслями, она, не останавливаясь, прошла мимо. Вскоре прозвенел звонок, и дети уселись за партами на свои места.

Весь урок Нину Александровну не покидало странное ощущение. На первый взгляд, всё было так, как всегда, и только напряжённая тишина на протяжении долгих сорока пяти минут наводила опытного педагога на мысль о существовании какой-то тайны, связывавшей детей, но пока ещё неведомой классному руководителю.

На перемене Нине Александровне сообщили, что в связи с плановой вакцинацией необходимо к началу следующего урока привести свой класс в медицинский кабинет. Прививки отнимут немного времени, и полностью освобождать детей от урока нет необходимости.

К концу перемены, проходя по коридору, Нина Александровна опять обратила внимание на мальчишек, окруживших Мишу Елесина. Увидев учительницу, ребята сделали безразличный вид и разошлись. Нина Александровна успела рассмотреть предмет в руках Миши, который он тут же спрятал в карман. Это был мобильный телефон.

Прозвеневший звонок собрал в класс гудевший детский улей.

— Ти-ши-на!..— перекрыла учительница возбуждённые высокие голоса.— Слушайте меня внимательно: сейчас вы все подниметесь на второй этаж и подойдёте к двести шестому кабинету. Это медпункт…

— Зачем?— перебил кто-то из мальчиков.

— Дослушайте— и всё узнаете… Подойдёте к медпункту. Там вам будут делать прививки.

Четвёртый класс хором выразил своё неудовольствие.

— Это совсем не больно,— объяснила Нина Александровна.— Все дружно стоим возле двести шестого кабинета, входим по одному, выходим, ждём всех остальных и вместе возвращаемся в класс. Понятно?

— Сотики брать с собой?— спросил писклявый девичий голосок.

— Сотики можете оставить здесь. Я замкну класс, и они никуда не денутся. В коридоре соблюдать полную тишину: идут уроки. Всё, поторопитесь, я иду следом.

Ученики вышли в коридор и потянулись к лестничной клетке. Класс опустел. Нина Александровна уже подходила к двери, как вдруг в последний момент вспомнила о мальчишеском междусобойчике, толкавшемся каждую перемену возле Миши Елесина. Если в первый раз она пропустила этот факт мимо своего внимания, то повторение картины на следующей перемене заставило её насторожиться. Нине Александровне показалось подозрительным то, с какой поспешностью Миша спрятал свой телефон.

Остановившись, учительница на секунду задумалась и посмотрела на парту Елесина. Его новенький мобильник беспечно лежал возле учебника «Окружающий мир». Нина Александровна вернулась, взяла Мишин телефон, некоторое время смотрела на чёрный квадратик дисплея, а затем нажала одну из кнопок.

Мобильник послушно высветил стоп-кадр неоконченного видеоролика. На застывшей картинке крупным планом был зафиксирован самый откровенный момент главной тайны отношений мужчины и женщины.

От неожиданности Нину Александровну передёрнуло, но она, теперь уже решив идти до конца, активировала кнопку воспроизведения.

Оставшиеся пятнадцать секунд ролика педагог досмотрела до конца, стоя в немой растерянности. У неё было такое ощущение, будто её публично окатили помоями. Она оглянулась на полуоткрытую дверь класса и брезгливо положила телефон на место.

Вышла в коридор, замкнула дверь и нервно зашагала к двести шестому кабинету. Её душа клокотала негодованием. Ведь это безобразие определённо видел весь класс! Теперь ей стала понятна причина провокационной тишины, царившей на уроке. Значит, об этом знали все, кроме учительницы. Знали и помалкивали!..

Нина Александровна на ходу подбирала слова, с которых она собиралась начать серьёзный разговор с детьми.

У медкабинета она молча выстроила учеников в колонну по одному. Миша Елесин стоял первым. Он храбро вошёл в кабинет и вскоре вышел оттуда, натягивая на себя курточку.

— Не больно,— сказал он то ли ребятам, то ли Нине Александровне, как-то по-особенному смотревшей на него.

Миша был выше и крупнее своих сверстников, но не отличался ни физической силой, ни смелостью. Учился посредственно, стремлений к знаниям не проявлял, хотя, в общем, был способным и неглупым мальчиком. В нём отсутствовало первое и самое главное качество ученика — желание. То, что у Миши есть персональный компьютер, Нина Александровна знала, как знала и то, что через Интернет может нацеплять всяческой дряни любой пользователь, независимо от своего возраста, пола, уровня воспитания и внутренней культуры. В наше время никто не застрахован от агрессивной навязчивости липкой Всемирной паутины и безнравственности плетущих её пауков, но козырять закачанной оттуда грязью перед одноклассниками!.. В десять-то лет — не рановато ли?..

Когда последняя девочка робко вышла из дверей медкабинета, Нина Александровна повела детей в класс.

Она в строгом молчании дождалась, когда они рассядутся по местам, затихнут и обратят на неё внимание. Самые сообразительные ученики зашикали на галдевших товарищей, и в классе установилась образцовая тишина.

Нина Александровна достаточно долго, не нарушая этой тишины, немым укором стояла у доски. Заглянув в глаза каждому ребёнку, она намеренно задержала взгляд на невинном взоре Миши Елесина. Она внимательно смотрела на него, а он на неё, не обнаруживая при этом ни малейшего смущения.

Затянувшаяся игра в молчанку первой утомила учительницу, и она решила перейти непосредственно к делу.

— Так... Послушайте меня внимательно. Сейчас я у вас кое-что спрошу, и вы должны мне ответить честно. Слышите — честно!.. Итак: поднимите руки те, кто не смотрел на переменах того, что записано на телефоне у Миши Елесина!..

В классе, казалось, стало ещё тише. Руки никто не поднял. Нина Александровна растерялась.

— Что,— не поняла она,— это увлекательное кино видели все?

Три девочки неуверенно вытянули руки вверх.

— Хорошо,— сказала учительница стыдливо съёжившемуся классу.— Значит, из двадцати семи человек только у троих хватило ума и совести не смотреть того свинства, которым угощал вас сегодня Миша. Ну что же... молодцы.

— Мы с Настей не знали, что там,— попыталась оправдаться одна из девочек.

— А к нам сами подошли и показали,— добавила другая.

Мальчишки смущённо помалкивали. Теперь, когда карты были раскрыты и своё причастие к запретно-греховному отрицать стало невозможно, весь класс уткнул носы в парты.

— Чего головы опустили? Стыдно мне в глаза смотреть?.. Это хорошо. Когда стыдно, это очень хорошо. Если у человека есть стыд, значит, он ещё человек. Если стыда нет, он — свободная личность. Так вот: свободными личностями вам становиться ещё рано. Некоторые поступки не красят взрослых, а уж детей тем более.— Она возмущённо помолчала.— Как вы могли это смотреть?!.. А?.. Саша,— обратилась Нина Александровна к примеру класса Саше Казанцеву.— Тебе не совестно было? Ну скажи: не совестно?..

Не поднимая головы, мальчик пробурчал невнятное оправдание.

— Что-что?..— не поняла учительница.

— Все смотрели, и я смотрел,— чуть громче повторил Саша.

— А если все заберутся на крышу и начнут оттуда прыгать, ты тоже будешь это делать?— привела учительница вечный в своей простоте и гениальности пример.— Ну, говори: тоже прыгнешь вниз?.. Я была о тебе лучшего мнения.

Саша Казанцев обиженно промолчал.

— Это касается не только Саши, это касается всех,— продолжала Нина Александровна.— Запомните, дети: если кто-то когда-то предложит вам сделать что-то некрасивое, не бойтесь сказать «нет», даже если это некрасивое будут делать все вокруг. Не бойтесь иметь собственное мнение, не идите ни у кого на поводу. А иногда нужно уметь сказать «нет» и самому себе. Сегодня этого «нет» не сказал себе никто из вас, я так понимаю. Вы покорно пошли туда, куда повёл вас Миша Елесин...— Нина Александровна остановила суровый взгляд на виновнике некрасивой истории.— Миша, встань.

Покрасневший мальчик нехотя поднялся, глядя в пол.
— Ну, рассказывай…
— Что рассказывать?
— Ну, для начала скажи, где взял эту гадость.
— В Интернете,— несмело признался Миша.
— Очень хорошо. Сам скачал?
— Сам.
— Молодец. Прямо мастер на все руки. А в класс зачем это принёс?.. А?.. Ну, говори: зачем принёс это в класс?
— Не знаю.
— За свои поступки нужно уметь отвечать. Вот и объясни всем нам: зачем ты эту мерзость принёс в школу?— Нина Александровна не сводила строгих глаз с совершенно смутившегося ученика.— Я жду.
— Так… посмеяться,— наконец едва слышно выдавил из себя Миша.
— Посмеяться?!— воскликнула учительница и, оглядев испуганно молчавший класс, спросила:— Ну что, кому из вас было смешно?..

Дети ещё крепче вжались в свои стулья, не смея даже пошевелиться. Никто не произнёс ни слова.
— Вот, Миша,— говорила Нина Александровна,— оказывается, смешно не было никому. Честно признаюсь тебе: мне вот тоже было не особенно весело, когда я увидела всё это. Так что праздника не получилось, ты уж извини.— Помолчав, она устало вздохнула.— Мама-то знает о том, что ты находишь в Интернете, что скачиваешь оттуда и что приносишь в школу?.. Знает?
— Нет,— ответил Миша.
— А теперь узнает обязательно,— пообещала Нина Александровна.— Потому что я ей скажу об этом. И ей будет очень стыдно за тебя. Я обязана сообщить маме о твоём поступке. Завтра Диана Сергеевна должна прийти в школу для разговора со мной. Передай ей это, пожалуйста. Если мама не придёт, я тебя на урок не пущу. Ты понял?

Мальчик уныло кивнул головой.

Нина Александровна ещё долго воспитывала класс. Говорила эмоционально и убедительно, пытаясь объяснить детям существование тонкой грани между дозволенным и недозволенным, а также обязанности каждого человека, независимо от возраста, слышать голос своей совести и следовать ему. Говорила о том, что мир взрослых устроен очень сложно и что в этом мире, к сожалению, много делается неправильного, опасного и отвратительного. Не все взрослые могут служить примером для маленьких детей, и дети должны учиться понимать сами, кому из взрослых можно доверять, а кому нельзя, какие поступки нравственны, а какие гадостны!.. Нина Александровна так увлеклась, что не заметила, как пролетело время и прозвенел звонок.

На следующее утро Миша Елесин подошёл к классной руководительнице и сообщил, что мама пообещала прийти сегодня обязательно.
— Хорошо,— ответила на это Нина Александровна и разрешила мальчику занять своё место за партой.

Диана Сергеевна показалась в дверях класса на большой перемене. Нина Александровна пригласила её пройти и подождать несколько минут, пока она отведёт детей в столовую.

Усадив ребятишек за накрытые столы и дождавшись стука ложек по тарелкам, учительница вернулась в класс к ожидавшей её Мишиной маме.

Диана Сергеевна была довольно плотной молодой женщиной высокого роста, с крашенной под вороново крыло короткой стрижкой. Как истинная современная дама, она предпочитала носить джинсы, нимало не заботясь о том, насколько сочетаются они с особенностями её фигуры.

Задумавшаяся родительница неподвижно стояла у учительского стола. Нина Александровна начала издалека. Она рассказала маме о поведении Миши в целом, о том, что он не отличается усидчивостью и дисциплинированностью, о наличии у него способностей, но отсутствии старания, и, наконец, о том, что хотелось бы Диану Сергеевну почаще видеть на родительских собраниях. Когда Нина Александровна подошла к главному вопросу, из школьной столовой уже начали возвращаться ученики.

Одним из первых в класс вошёл Миша. Искоса поглядывая на беседующих взрослых, он сел за свою парту.

Нина Александровна подробно объяснила Диане Сергеевне суть вчерашней ситуации и попросила серьёзно поговорить с Мишей на предмет этики и морали, а кроме этого, изыскать возможность контролировать блуждания сына в Интернете.

Диана Сергеевна слушала, опустив голову и глядя в пол. В течение всей пространной речи классного руководителя она ни разу не подняла глаз.

Нина Александровна полностью высказалась и замолчала, ожидая ответного слова родительницы.

Диана Сергеевна едва слышно произнесла:
— Хорошо,— и сразу же вышла из кабинета.
— Видишь?..— обратилась Нина Александровна к Мише.— Видишь, как ты подвёл свою маму? Ей даже стыдно было смотреть мне в глаза. И мне тоже очень неприятно за весь этот разговор. Своим поступком, Миша, ты поставил нас, взрослых людей, в неловкое положение.

Миша молчал, но Нина Александровна отметила, что, несмотря на своё смущение, он смотрел ей в глаза прямо, открыто и даже, как показалось ей, немного дерзко. Действительно, очень непросто достучаться до сердец сегодняшней молодёжи, и с каждым поколением делать это становится всё

труднее и труднее. Ничего удивительного: чёрствое время востребует чёрствые души.

Нина Александровна сокрушённо вздохнула, села за стол и принялась перелистывать журнал. Минуты через три прозвенел звонок, но начать урок педагог не успела. В класс заглянула секретарь и попросила её пройти в кабинет директора.

— Я ненадолго,— предупредила Нина Александровна радостно заулыбавшихся учеников.— Сидеть тихо! Ни одного звука!..

Поднимаясь по лестнице на второй этаж и шагая по опустевшему школьному коридору, она пыталась угадать причину внезапного вызова к Ольге Петровне, но не угадала.

В кабинете директора находилась также и Диана Сергеевна Елесина. Стало понятно, что разговор будет иметь непосредственное отношение к мальчику Мише.

— Добрый день ещё раз,— поздоровалась Нина Александровна.— С Дианой Сергеевной мы только что разговаривали.

Ольга Петровна не ответила на приветствие. Мишина мама отошла к окну. После вступительной паузы директор начала разговор:

— Нина Александровна... Полагаю, что вы уже догадались, по какому поводу я пригласила вас сюда.

— Думаю, что по поводу инцидента с Мишей.

— Совершенно верно... Совершенно верно...— Ольга Петровна, несмотря на свою внешнюю невозмутимость, была чем-то озадачена.— Дело в том, что мы сейчас тоже беседовали с Дианой Сергеевной, и она, то есть Диана Сергеевна, настояла, чтобы в продолжении нашего разговора обязательно присутствовали вы.

— Хорошо,— согласилась Нина Александровна.— Я слушаю.

Директор внимательно посмотрела на учительницу, выдержавшую пристальный взгляд.

— Нина Александровна... скажите, пожалуйста, каким образом вы узнали, что именно было в телефоне вашего ученика?.. я имею в виду Мишу.

— Его телефон лежал на парте. Я взяла его и посмотрела.

После этих слов Диана Сергеевна шумно засопела у окна, а Ольга Петровна сдержанно выдохнула.

— Нина Александровна,— подчёркнуто спокойно продолжала директор.— Как вы считаете: имели ли вы право брать в руки чужую вещь?

Кабинет на секунду оглох от абсолютной тишины.

— Не понимаю,— растерялась Нина Александровна.— Что вы имеете в виду?

— Дело в том,— вступила в разговор Диана Сергеевна,— что мы сегодня живём в другом мире, и в нём, слава Богу, существуют права. Даже самый маленький человек является гражданином, и у него есть законное право на своё личное пространство и на свою личную собственность. Телефон, уважаемая Нина Александровна, является личной собственностью ребёнка, и никто — слышите?— никто не смеет без разрешения хозяина этого телефона брать в руки, а тем более выискивать в нём какой бы то ни было компромат. Вы вчера нарушили законное право ребёнка на собственность...

— Позвольте...— перебила родительницу возмущённая Нина Александровна.

— Нет уж, теперь вы позвольте!— повысила голос ещё более возмущённая Диана Сергеевна.— Я вас выслушала в классе. Теперь уж вы меня послушайте... Мой сын вчера был в шоке. Он долго не мог успокоиться. Вы опозорили его перед одноклассниками. Мало того, что вы лазили в его личных вещах...

— Потрудитесь выбирать выражения!— вспылила Нина Александровна.— И сбавьте, пожалуйста, тон.

— Я выбираю выражения!— не смутившись и тона не сбавив, продолжала Диана Сергеевна.— Я только называю вещи своими именами... Как мне теперь объяснить сыну, что никому не дозволено вторгаться в его личное пространство, если вчера это его личное пространство было самым возмутительным образом нарушено? И кем?.. Учителем — человеком, являющимся для ученика примером!

Диана Сергеевна активно перевела дух.

— Я могу сказать слово?— Нина Александровна повернулась к Ольге Петровне, явно чувствовавшей себя неловко.

— Да. Пожалуйста.

— Вы здесь говорили о правах,— обратилась классный руководитель к взволнованно блестевшей глазами родительнице.— Так вот, я тоже хочу вступиться за своих учеников. Двадцать четыре ребёнка имели право быть ограждёнными от порнографии, которую распространял ваш сын. Двадцать четыре!.. Таким образом, вашим сыном были нарушены права двадцати четырёх учеников.

— Их никто не заставлял,— возразила Елесина.— Они смотрели по доброй воле. Это тоже выбор каждого человека.

— Извините, о каком выборе в десятилетнем возрасте вы говорите?

— Надо уметь уважать выбор человека любого возраста.

— Нет, такой выбор я уважать не могу.

— Это ваши проблемы,— отрезала Диана Сергеевна.

— Нет, это ваши проблемы,— не согласилась Нина Александровна.— Если вы сейчас потакаете сыну в таких вещах, то рано или поздно всё это станет вашими проблемами. Хорошо ещё, если только вашими.

— Пожалуйста, не нужно меня ни учить, ни воспитывать.

— Я учу не вас, а вашего сына. А воспитывать ребёнка в первую очередь обязаны сами родители.
— Вы хотите сказать, что мой Миша невоспитанный мальчик?
— Вы видели, что у него в телефоне?
— Видела.
— И какова ваша оценка?
— Мальчик начинает интересоваться девочками. Это нормально. Ненормально было бы, если бы мальчик девочками не интересовался.
— Но вы понимаете, что это совершенно другое качество интереса? Это не имеет никакого отношения ни к взрослению ребёнка, ни к любопытству. Это грязная порнография.
— Вас в данном случае это не должно касаться. Со своим сыном я разберусь сама.
— Пожалуйста, разбирайтесь, но так, чтобы в дальнейшем от поступков вашего сына не страдал весь класс.
— В свою очередь я хотела бы попросить вас, чтобы в дальнейшем от ваших противозаконных действий не страдал мой сын!..
— Диана Сергеевна,— осторожно заговорила Ольга Петровна.— Давайте будем немного сдержаннее в своих оценках. Нина Александровна педагог с большим стажем, её уважают коллеги и любят ученики.

Разгорячённая родительница замолчала, но тут же, передохнув, упрямо продолжила:
— Конечно, сам ребёнок не может за себя постоять, это понятно. Но детская беззащитность ещё не повод для вседозволенности, тем более в образовательном учреждении… Моему сыну нанесена психологическая травма,— обратилась она к директору.— В качестве компенсации за моральный ущерб я требую от Нины Александровны извинений.
— Что?!..— глаза учительницы гневно засверкали.

Ольга Петровна сжала губы и промолчала.
— Оскорбление моему ребёнку было нанесено публично, поэтому и признание своей неправоты тоже должно быть принесено педагогом при всём классе.
— Вы соображаете, что говорите?— задохнулась от возмущения Нина Александровна.— Всему есть граница.
— Вот именно, граница есть всему. Вы первая её нарушили и должны за это отвечать. Кстати, это будет прекрасным примером детям в том, как должен вести себя человек, осознающий свою неправоту.
— Диана Сергеевна, это уже слишком,— попыталась остановить разгоревшийся конфликт директор.— Давайте все вместе сделаем правильные выводы из случившегося и разойдёмся по-хорошему.
— Нет, это принципиально, Ольга Петровна,— не согласилась родительница.— Мой сын должен знать свои права и никому не позволять посягать на них.
— Что касается извинений,— срывающимся голосом заговорила Нина Александровна,— то в первую очередь класс должен услышать их от Миши.
— Миша не трогал чужих вещей. А то, что он по своему детскому недомыслию скачал из Интернета, может найти и увидеть любой ребёнок, хотя бы немного разбирающийся в кнопках компьютера. Так что здесь нет никакого преступления, и извиняться ему не за что.
— В таком случае боюсь, что и я помочь вам ничем не смогу.
— Ну что же…— пожала плечами Диана Сергеевна и решительно вышла из кабинета.

Последующие субботу и воскресенье Нина Александровна находилась под сильным впечатлением. Учителям не привыкать к претензиям и напраслинам со стороны родителей, но этот случай, по её мнению, был вопиющим. Она уже давно так не нервничала.

В понедельник, по окончании последнего урока, Нину Александровну опять пригласили в кабинет директора. Учительница холодком в груди почувствовала предстоящее продолжение неприятной темы и не ошиблась.

Ольга Петровна на этот раз была в кабинете одна. Она предложила присесть Нине Александровне, после чего, избегая глаз собеседницы, сообщила, что сейчас звонили из городского отдела народного образования. Мама Миши Елесина была сегодня там и заявила о нарушении прав ребёнка в школе, где учится её сын.
— Ну, это уже смешно,— сказала Нина Александровна.
— Нет, как раз это совсем не смешно,— возразила директор.— Наша школа прозвучала на уровне города, но совсем не так, как хотелось бы всем нам.
— Беспокойная мамаша. Чего она добивается?
— Она добивается извинений.

Нина Александровна хотела высказать всё, что думала, но осеклась и замолчала.
— Неприятная история,— Ольга Петровна задумчиво постучала карандашом по полированной поверхности стола и повторила:— Неприятная история.
— Что сказали в гороно?
— В гороно сказали, что классный руководитель была неправа.
— Как?..
— Дорогая Нина Александровна…— директор наконец подняла взгляд на побледневшую учительницу.— Да поймите же вы, что при любом раскладе неправым в такой ситуации всегда выглядит тот, кто без разрешения взял чужую вещь. С этим согласится любой суд. Если дело до него, конечно, дойдёт.

— А что, может?
— К сожалению. Мама полна решимости до победного конца бороться за права человека в отдельно взятой школе. И нам это грозит совершенно ненужной славой. Мало того, Диана Сергеевна пообещала передать информацию в край, если здесь её требования не будут удовлетворены.
— Прямо террористка какая-то,— попыталась пошутить Нина Александровна, но глаза директора смотрели на неё серьёзно и безжалостно.
— В этом случае наша школа приобретёт большую популярность. Вот как бы нам её избежать?..
— Я извиняться не буду,— тихо сказала Нина Александровна.— Это иезуитство.
— Послушай, Нина,— вдруг тепло и откровенно заговорила Ольга Петровна.— Мне год до пенсии, тебе год до пенсии. У нас с тобой очень хорошие отношения, поэтому давай я скажу тебе всё без затей. Из гороно мне недвусмысленно намекнули, что я должна уладить этот конфликт, потому что там тоже не заинтересованы в его раздувании. Как ты сама понимаешь, нарушение прав ребёнка — это такая пачкотня, после которой долго не отмоешься. И никто не будет разбираться, что там было у этого мальчика в телефоне. Тут главное звон, а не суть. Если звона всё же избежать не удастся, то по окончании учебного года, дорогая моя Нина, я должна буду отправить тебя на заслуженный отдых. Я знаю, что и меня вслед за тобой ожидает такая же участь. Подумай теперь сама: у тебя дети, у меня дети; у тебя внуки, у меня внуки. Кто будет им помогать?.. Тем более у тебя дочь без мужа… Вот скажи: стоит ли всё это каких-то дурацких принципов, которые, по большому счёту, никому не нужны?

Нина Александровна смотрела на Ольгу Петровну и молчала.

— Ты должна извиниться,— сказала директор.— У тебя, Нина, нет выбора. Единственное, чем я могу тебе помочь, это уговорить мамашу выслушать твоё покаяние не в классе, а здесь, у меня.

Совершенно белая, Нина Александровна вышла из кабинета…

Ольга Петровна сдержала своё слово. На следующий день она вновь пригласила провинившегося педагога в директорскую. Здесь уже ожидали Диана Сергеевна с сыном Мишей. Видавшая виды учительница волновалась, как школьница на экзамене.

В своём вступительном слове она объяснила смущённому ученику, что не всё можно и нужно приносить в школу, что он уже взрослый человек и должен отвечать за свои поступки, что, в конце концов, нельзя заставлять так нервничать и маму, и классного руководителя. Затем она начала говорить о том, что учителя такие же люди, как и все, и им тоже свойственно ошибаться. Но, в отличие от некоторых детей, взрослые всё же находят в себе силы признавать свои ошибки. Поэтому Нина Александровна соглашается, что была неправа, взяв без разрешения Мишин телефон. Чужие вещи вообще брать нехорошо, даже если этим ты кому-то хочешь сделать доброе дело. Нина Александровна теперь сама убедилась в этом и приносит Мише извинения за свой неправильный поступок.

Она хотела ещё что-то прибавить, но у неё вдруг закончились и мысли, и слова. Просто закончились, и всё. Словно из часов вынули батарейку, и они беспомощно остановились.

Диана Сергеевна посчитала себя достаточно удовлетворённой. Права ребёнка были восстановлены…

По окончании уроков, проводив последнего ученика за дверь, Нина Александровна замкнула за ним класс и, не найдя в себе сил вернуться на учительское место, тяжело опустилась на стул у ближайшей парты.

Никто не видел, как она плакала.

Евгений Степанов

Три значка

«Аллё, Европа»

Кое-что в этой жизни испытать я всё-таки успел. Сидел в кутузке в Швейцарии (пусть и совсем недолго), ночевал на улицах Нью-Йорка и Парижа, работал вышибалой в ресторане в Москве. Всякое бывало. Но всё это — жалкие цветочки по сравнению с моим тяжким опытом работы сопровождающим туристических групп.

…Это раньше, в золотые годы «застоя», за границу советских людей отправляли только две замечательные организации — «Интурист» и КГБ. Сейчас — отправляют все, кому не лень. Туризм постсоветских людей принял для иных стран просто угрожающий характер. Русские — всюду! Только ленивый не побывал где-нибудь на Мальдивах или Гавайях. Про Париж и Нью-Йорк я вообще не говорю.

Турфирма, в которой я работал, специализировалась на Европе. Мы совершали автобусные туры по следующему маршруту: Москва — Варшава — Берлин — Прага — Париж — Люксембург — Берлин — Варшава — Москва.

…Это была самая рядовая поездка.

Группа состояла из… *семидесяти* человек. И когда я собирался в поездку, сдав заблаговременно все статьи в печатавшие меня издания, одна моя знакомая, которая была занята в своё время в аналогичном бизнесе, пожелала мне только одного: «Женюра, вернись на Родину живым…»

…Я встретил свою весёленькую группку на Белорусском вокзале (до Польши мы ехали на поезде).

Среди туристов было много детей. Слава Богу, с ними оказалась классная руководительница, на которую я возложил ряд обязанностей.

Прямо у вокзала ко мне подошла одна мамаша и вручила, точно новогодние подарки, двух своих несовершеннолетних ребятишек тринадцати и пятнадцати лет. Соответственно, девочку и мальчика. Машу и Лёшу. Я стал *персонально* отвечать и за них. Сама мамаша вместе с нами не ехала, поскольку через три дня отбывала с мужем отдыхать в Египет…

Забегая вперёд, скажу, что поначалу я детей опекал весьма активно. Покупал им мороженое, конфеты. Но, видимо, покупал не то. Уже в Варшаве, в первом попавшемся магазине, Маша приобрела весьма эффектную кофточку и поспешила мне похвастаться:

— Дядя Женя, смотрите, какую я купила развратную и прикольную штуковину. Отпад! Правда, клёво? Я торчу! А вы?

После этого, опасаясь непредвиденных последствий, опекать конкретно Машу я стал несколько меньше.

В Прагу мы ехали уже на автобусе (двухэтажном). По дороге он благополучно сломался. Пришлось звонить в нашу принимающую фирму и просить заменить автобус.

Сотрудники фирмы решили автобус не менять, но пообещали прислать механика.

Он приехал. Через сутки.

За это время я разместил людей в близлежащей гостинице. Ещё на один день. Принимающая фирма обречённо оплатила.

Пока автобус починяли, пропал один из туристов. Мальчик.

Его моложавая, милая мама — Татьяна Ломацкая — была, мягко говоря, взволнована. Она схватила меня за рукав, запихнула в такси и повезла в полицию. Там она начала кричать, что пропал её малолетний сын Виталик.

Чешские учтивые полицаи стали спрашивать приметы малолетнего сына.

— Он совсем несмышлёный, Виталька, маленький, — сквозь слёзы причитала несчастная мать, — рост сто восемьдесят три сантиметра, размер обуви сорок пятый, семнадцать лет.

Молоденький офицер галантно пригласил нас в полицейскую машину, и мы поехали по ночной Праге искать малолетнего сына семнадцати годков отроду. Нашли. Совершенно случайно. Виталик забрёл в ночной клуб и безмятежно пил пиво. Очень удивился нашим поискам: оказалось, он предупредил мать, что вернётся в гостиницу поздно ночью.

А публика тем временем начала показывать характер.

Утром в Праге, на завтраке, парочка молоденьких женщин, Бубенчикова и Рачкова, опоздали, как говорится, к раздаче, а школьники, разумеется, не опоздали. На столах было неряшливо и несколько пустовато.

Бубенчикова и Рачкова стали требовательно спрашивать: где еда? Я объяснил, что на столе. Нужно, мол, подойти и взять свою порцию.

— Не будем!

— Кто же за вас это должен сделать? Я?

— Неужели мы?

Я не стал препираться, просто отдал им свой сухой паёк, приготовленный мне моей дальновидной женой ещё дома, в Москве.

Лучше всех вели себя пожилые, восьмидесятилетние ветераны отечественного туризма Берс Аронович и Марта Вениаминовна Розенберги. Ничего, что они то и дело задавали «детские» вопросы типа: «А в Брно мы будем? А в Дрезденскую галерею зайдём? А по Нилу покатаемся на плотах? А Ниагару увидим?»

Иногда мне казалось, что они что-то перепутали и просто совершают кругосветное путешествие. Но я отдавал себе отчёт в том, что восемьдесят лет — дело серьёзное. И многие вещи в столь уважаемом возрасте элементарно можно перепутать.

Я отвечал пожилым людям просто и лаконично: едем строго по маршруту.

Этим ответом я, вероятно, только укреплял их таинственные наполеоновские планы.

В Париже я поселил всех в очень хорошей гостинице, прямо в центре города, на площади Италии. Правда, при размещении выяснились странные обстоятельства. Супруги Зотовы, ранее всегда располагавшиеся в одном полулюксе, неожиданно пожелали жить в отдельных одноместных номерах.

Зотовы поссорились.

— Я хочу спать в отдельной кровати и в отдельном номере! — особенно решительно настаивал Зотов-муж.

— И я хочу спать отдельно (не уточняя от кого!), — говорила Зотова-жена.

Я долго любезничал с девочкой-марокканкой, менеджером отеля. Каких только комплиментов я ей не наговорил! Пришлось даже наврать, что я обожаю Марокко и провожу там все свои отпуска.

Девочка была умная и верила с трудом. Но трогательно улыбалась от сентиментальности.

Проблему решили, не переплатив ни евро. Поселили-таки супругов в разных отдельных номерах.

Но тут же возникла другая проблема. Оказалось, что школьникам (а со мной ехало около двадцати тюменских девятиклассников) выдали ключи не от обычных номеров, а от семейных… То есть номера были, как мы и договаривались с принимающей стороной, двухместные, но кровати там стояли семейные, двуспальные. В каждом номере — одна огромная кровать. Наши поляки опять что-то перепутали, забронировали не те номера.

Девочка-марокканка, отбросив невыгодную сентиментальность в сторону, точно красивую, но бесполезную вещь, сурово объяснила мне, что поменять *столько* номеров невозможно. Точнее, возможно. Но это стоит денег. И больших.

Я задумался: что же делать?

Как ни странно, проблема разрешилась сама собой и очень просто. Тюменские школьники выразили активное желание провести ночи в Париже именно в семейных кроватях…

В Париже от принимающей стороны с нами работала гид Яна, полька, живущая во Франции. Нужно признать, она старалась, куда только нас не водила! Мы посетили величественный Лувр и захолустный Версаль, поднялись на скрипучую и качающуюся Эйфелеву башню, сходили в умопомрачительные Диснейленд и аквапарк, сделали сладостно-неизбежный шопинг и цетера, и цетера.

Однако туристы почему-то совсем не радовались жизни.

— Зачем нас привезли в «Тати»? Здесь такой дешёвый товар! — кричали они в одном месте.

— Зачем нас привезли в Дефанс? Здесь в магазинах всё дорого! — кричали в другом…

И т. д.

В Париже мы пробыли около недели.

Я привык к постоянному стрессу и сну размером в пять часов.

Я понял, что такова моя селяви. И не грустил.

А разные мелкие приключения продолжались. У Бубенчиковой пропал фотоаппарат.

Она прибежала ко мне в номер и начала, извините за каламбур, бубнить:

— Вы за это ответите! Если бы у вас фотоаппарат пропал, вы бы его обязательно нашли. Знайте, если не найдёте мой «Кодак», я из гостиницы не уеду.

Я бы, конечно, очень этого (чтобы Бубенчикова не уезжала) хотел. Но — промолчал. Глубоко в душе я жалел работников гостиницы. Они и не подозревали о тех мрачных перспективах, которые опасно замаячили на их горизонте.

Иногда, в редчайшие минуты свободного времени, я позволял себе немного поразмышлять на отвлечённые темы, повспоминать не худшие времена «застоя», когда для того, чтобы выехать за границу, требовались комсомольские и партийные характеристики (необходимо даже было пройти собеседование в горкоме КПСС), справки из поликлиники и т. д. Как показала жестокая жизненная реальность, это были неприятные, однако не самые бесполезные процедуры. Всё-таки выезжало не так много неадекватных людей. Но это так, к слову.

Как ни странно, меня оценили в фирме «Аллё, Европа», стали приглашать в поездки регулярно. Именно там, на Западе, я стал зарабатывать приличные деньги. Причём совершенно неожиданно. Обычно вторым сопровождающим работал поляк (представитель польской фирмы). Эти ребята ориентировались в прогнившей буржуазной Европе как рыбы в воде.

Однажды я привёз туристов в Париже в музей парфюмерной промышленности «Драгонар» (где духи не только демонстрировали, но и продавали); наши бедные, истощённые невообразимо тяжёлой жизнью тётки накупили там образчиков буржуазной парфюмерной промышленности на тысячи евро.

После этого поляк Джозеф (второй сопровождающий) отвёл меня в сторонку и тихонько вручил в конвертике тысячу евро.

— За что? — изумился я.

— Как за что? Это откат. Мы же привезли очень выгодных клиентов, директор музея нас с тобой отблагодарил. У них сегодня огромная выручка! Самое главное — не вози туристов в другие магазины, вози в этот замечательный, своеобразный музей.

Я понял, что к чему. Однако даже эти милые откаты не могли оставить меня в нервном и утомительном туристическом бизнесе. Всё-таки лучше за границей отдыхать, а не работать.

Три значка

О том, что жизнь прошла, не успев начаться, понимаешь внезапно. И эта мысль ошпаривает, как первый глоток неразведённого спирта, как первая бомба, взорвавшаяся неподалёку от тебя, как первая баба, которая сказала тебе: «А пошёл ты, козёл…»

Сорокадевятилетний бизнесмен Сергей Кротов (для близких Крот) ехал по Ленинградке к себе домой, в достаточно большие четырёхкомнатные апартаменты на станции «Аэропорт»; за рулём просторной «Тойоты Камри» был его постоянный водитель, даргинец Арсен, который работал с ним почти десять лет. Арсен слушал непритязательное «Радио Дача», а Кротов просто молчал. Говорить ему не хотелось. Ни с водителем, ни с кем другим. В принципе, он хорошо знал, что́ ему могли сказать его шофёр, другие сотрудники, жена и дочь, клиенты. Они говорили всегда одно и то же. Арсен, как правило, рассказывал футбольные (околофутбольные) новости; он, дагестанец, точнее, даргинец по национальности, болел за «Анжи» и всегда изумлялся большим зарплатам футболистов; жена (обычно довольно тонко, надо признать, и ненавязчиво!) просила денег; двадцатипятилетняя дочь (она жила с мужем отдельно) хотела новую квартиру; сотрудники намекали на добавку в жалованье; клиенты требовали скидок. В общем, всё сводилось к одному — к финансам. В двадцать первом веке жизнь в Москве предельно упростилась, отношения развивались строго по экономическим законам.

У Кротова деньги водились. Но они у него потому и водились, что он не любил с ними расставаться. Он был риэлтером. Ещё в начале девяностых он сумел выгодно продать доставшуюся по наследству от дедушки — генерала КГБ «двушку» в сталинском доме на Тверской. А потом пошло-поехало. Он продавал и покупал. Продавал и покупал. Риэлтерский бизнес (да, впрочем, и любой другой), по сути, очень прост: нужно что-то дёшево купить и дорого продать.

У Кротова в Москве и за границей находилось в собственности десять объектов недвижимости (квартиры, апарт-отели, офисы, склады), которые он теперь, в двухтысячные, благополучно сдавал. Сдавал, впрочем, не он сам, а его небольшая фирма, в которой работало всего-то пять человек. Они, вышколенные и натасканные, как бойцовые тупорылые псы, охраняли кротовскую элитную недвижимость от рейдеров, следили за порядком в апартаментах и офисах, убирали там, а самое главное — каждый раз собирали дань с клиентов, арендаторов. За почти двадцать лет риэлтерства Кротов ни разу не получил деньги в срок, всегда приходилось клиентов подгонять, а то и просто выбивать из них наличку. Таковы нелёгкие будни капиталиста. А кому сейчас легко?

Кротов ехал и молчал, он думал о том, что проиграл свою жизнь. Он не стал олимпийским чемпионом (хотя был очень перспективным боксёром: при росте сто восемьдесят четыре сантиметра он весил в юности пятьдесят четыре килограмма и своими длинными, как рельсы, руками держал соперников на дистанции, утюжа их, на манер нынешних кумиров подростков — братьев Кличко, прямыми джебами в челюсть и солнечное сплетение), не стал многодетным отцом (хотя детей любил, и женщин у него было предостаточно), не написал в жизни ни одного хорошего стихотворения, хотя пробовал это сделать неоднократно, ещё в детстве и отрочестве — в школе. Не получилось. Не срослось. Так бывает.

Задребезжал ненавистный мобильник. Кротов поначалу не понял, кто говорит. А потом сообразил.

— Привет, Игорёк, конечно, узнал. Что, что ты говоришь?

Ему звонил его школьный приятель Игорь Петров (Петруня), которого он не видел и не слышал… тридцать два года. Он приглашал на встречу выпускников… Неужели уже прошло тридцать два года? Ведь вроде всё это было вчера. Москва семидесятых… Спокойная (как сейчас оказалось), размеренная жизнь, пирожки по четыре копейки, красное фруктовое мороженое за семь, газировка за трюндель, метро за пятачок, секция бокса, тренер Александр Петрович, открытый ринг, метро «Ждановская» (нынешнее «Выхино»), первые поцелуи, Кусковский парк, рядом с которым находилась их школа…

Кротов пообещал, что придёт. А сам задумался: «Ну что я им скажу? Мы не виделись так долго… Какой смысл в этой встрече? Хвастаться друг перед другом поздно, да и нечем, а просто так поточить лясы… Обычно одноклассники собираются

регулярно, а мы как закончили школу, так и разбежались в разные стороны. Кто-то свалил за бугор, кто-то спился и отбросил коньки, кого-то захватил бизнес, жестокий и беспощадный; московская бессмысленная и подлая суета не оставляет времени на сантименты. Что я скажу этим взрослым тёткам и мужикам, с которыми меня ничто не связывает, кроме случайного (или случайность закономерна?) пребывания вместе на протяжении долгих школьных лет?»

И всё-таки повод встретиться был… Точнее, несколько поводов.

…В шестом классе Серёжа Кротов (его тогда уже многие называли Кротом) был влюблён в одну девочку — Беату Кучицкую, худенькую белобрысую польку (она переехала с родителями из Варшавы, её отец работал в СЭВ). Крот посвящал ей наивные и трогательные детско-подростковые стихи, носил портфель, пытался обнять — Беата не разрешала.

У неё было необычное хобби для девочки — она собирала значки. Кротов покупал их в киоске возле метро и дарил ей, она это принимала радостно и благосклонно. У одноклассника Крота — Сеньки Берга (его прозвали почему-то Бурый) — была большая фалеристическая коллекция, и вот у него-то дома однажды Крот и украл три значка, поступил подло, отвратительно, он это понимал, но отступать уже не мог — поздно, поздно, и он, разумеется, подарил их Беате. Значки — большие, круглые, пластмассовые, с изображением Парижа, точнее, Эйфелевой башни, — Сенькин отец привёз из Франции, где каким-то чудом оказался в туристической двухнедельной поездке.

Беата так обрадовалась заграничному подарку, что даже отблагодарила Серёжку поцелуем в щёку.

Крот был на седьмом небе от счастья, никогда раньше девочки его не целовали. Но миг блаженства длился совсем недолго. О воровстве Крота стало известно Бурому и его родителям, они стали его «прессовать», Крот во всём сознался, повинился, но как вернуть значки — не знал, потому что уже подарил их Беате; в общем, ситуация зашла в тупик, и парень находился в состоянии, близком к депрессии, хотя тогда он ещё и не знал такого мудрёного слова… Однако Бурый и его родители почему-то отстали от Крота: то ли простили его, то ли поняли, что всё равно от него ничего не добьёшься. Ворюга — он и есть ворюга. Пусть подавится.

А Кротов переживал, не находил себе места, не знал, что предпринять. Как посмотришь в глаза Бурому? Как скажешь Беате? Как попросишь назад? Не то что поцелуя в щёку не получишь, но и портфель нести не дадут. Парень оказался между молотом и наковальней…

Впрочем, мучился он недолго. Себя мы всегда простим и пожалеем. Кротов постарался удобно забыть о своей подлости, но дал себе слово, что когда-нибудь обязательно поедет в Париж и там купит похожие три значка с Эйфелевой башней, и даже больше значков — целую коллекцию, чтобы Володька остался доволен.

Итак, это была первая причина, по которой следовало идти на встречу выпускников. Значков у Кротова, правда, не оказалось, он их так и не купил во Франции, хотя отдыхал там неоднократно (не успел, забыл, замотался), но он решил отдать Володьке тысячу-другую долларов, чтобы покаяться и закрыть неприятную тему. А что, красивый жест: на тебе, Бурый, тыщонку «гринов» — небось, не лишняя. Купишь себе хоть сотню таких пластмассовых безделушек. Как говорится, примите должок с процентами. Наше вам с кисточкой.

Вторая причина, по которой он решил идти на встречу, была тоже не слишком радостной. В восьмом классе он поссорился со своим очень близким другом, Сашкой Локшиным, и они с ним подрались в мальчишеском туалете; Локша ударил Крота по фейсу, сильно ударил, Крот потом ещё аффектированно махал кулаками, но в цель не попал (именно после этой драки он, кстати, и записался в бокс).

«А что, наверное, пришло время нанести Локше ответный удар, — подумал повзрослевший, но, кажется, не поумневший Крот. — Надо бы смыть с себя тот подростковый позор. Око за око. Зуб за зуб. Небось, до сих пор Локша надо мной смеётся: мол, Крот струсил».

Он решил посоветоваться с женой — набрал её номер. Наташа в это время была в Праге, она частенько уезжала туда на несколько недель, просто жила — они с Кротовым несколько лет назад приобрели там квартирку в центре, — отдыхала и заодно, по мере возможностей, контролировала зарубежные активы (два небольших апарт-отеля) супруга.

Рассказал о звонке одноклассника, поделился своими идеями…

— Ну ты совсем одурел, старый идиот, — резко сказала Наташа. — Какие одноклассники, какая тысяча-другая баксов за дурацкие пластмассовые значки, какой ответный удар?! Тебе через полгода пятьдесят лет, а ты всё как подросток… Всё ветер играет в жопе. Когда же, наконец, ты повзрослеешь? Ну подумай сам: все придут на встречу, выпьют, начнут рассказывать про себя и детей, а ты затеешь драку? Всем морду набьёшь? Мало того что мне жизнь испортил, так ты ещё и одноклассникам хочешь удружить… Ну как ты это себе представляешь? И кстати, ты лучше мне тыщонку-другую (лучше — пять!) пришли. А то денег совсем нет. Или ты хочешь, чтобы я сама твои квартиры убирала?

— Да-да, пришлю. И драться, конечно, глупо, — мнимо покорно отвечал Крот, но от планов своих, разумеется, не отказался.

Третья причина, из-за которой он собирался на встречу и о которой он, конечно, не рассказал жене, была следующая.

В восьмом классе Кротов, не продвинувшись дальше причмокиваний в щёку с Беатой, коварно переметнулся в сторону Нуне Саркисовой, пылкой и более сговорчивой армянки,—они целовались, как взрослые, взасос, но к желанному результату дело не шло и с ней, хотя Крот очень темпераментно настаивал. Нуне стояла насмерть и прямо говорила, что если её отец узнает даже о том, что они целуются, то им обоим секир-башка.

...Сорокадевятилетнему Кротову было стыдно. Стыдно за то, что тогда, в школе, как-то агрессивно добивался своего... Уже во взрослом возрасте он понял, что ничего не надо добиваться силой, просто надо уметь ждать. Глупо трясти яблоню в июне. Нужно в августе подставить ладони—и яблоко само упадёт тебе в руки.

Кротов хотел попросить у Нуне прощения. Да и просто захотелось её увидеть. Что с ней? Как она выглядит? А может быть?..

Приехав домой, Кротов принял душ, надел халат, лёг на свой любимый кожаный диван и, как обычно, врубил висящий на стене телевизор; передавали (как по заказу!) бокс, лучшие бои Майка Тайсона. Кротов взбодрился. Потом позвонили с работы, он опять должен был решать какие-то несуразные и вечные, как человеческая глупость, проблемы; потом по скайпу вышел на связь институтский сумасшедший дружок Ривкин, который просил денег на очередной номер литературного журнала «Парнас».

В общем, жизнь завертелась, и Кротов на время о грядущей встрече выпускников забыл. Однако за день до назначенного мероприятия ему опять позвонил Петруня, и Кротов принял окончательное решение: приду.

Он приехал (сознательно!) на встречу с опозданием. Пусть чуваки дойдут до кондиции, подумал он, так мне будет психологически проще с ними общаться.

Ребята и впрямь уже были подшофе. Они поставили три столика (сделав из них один большой) в парке Кусково (рядом со школой) и выпивали. Многих изрядно развезло. Некоторых Кротов не узнал: толстенькие, седые или лысоватые дядьки, неузнаваемые девочки...

Многие из ребят сами подошли к Серёге. Пожимая одноклассникам руки, Кротов называл каждого по школьному прозвищу: Серый, Шитя, Петруня, Валёк, Цыпа, Завал, Проскур...

Его все называли Кротом.

Выпив, Кротов быстро вошёл в общую тональность разговоров: все рассказывали о детях, дачах, меньше всего—о работе. Шитя (Славка Шитиков) оказался уже дедом, Света Сторчикова—матерью троих детей и бабушкой, Наташка Смирнова поменяла четырёх мужей, родила дочку и сына...

Беата Кучицкая не пришла.

Сенька Берг, у которого Крот украл значки, тоже не пришёл.

Кротов разговорился с его приятелям Пашкой Сахаровым (Рафинадом).

— Ну как Семён?—спросил Крот.

— Что ты, Крот, он теперь не Семён, а Саймон Берг. Он сменил имя, крутейший бизнесмен, у него пять гигантских заводов на всех континентах, принял иудаизм, пейсатый, живёт в основном в Израиле, Штатах и Цюрихе, а точнее—в самолёте, гражданин США; в общем, забурел он, в первой сотне списка «Форбс». Состояние—двенадцать миллиардов долларов. А ты что, раньше не знал? Он самый крутой из нашей школы. Так сказать, отличник капиталистического труда.

— Да-да, конечно, что-то слышал,—сказал ошеломлённый Крот,—он и в школе всегда неплохо соображал... Замечательно...

Кротов понял, что зря взял с собой две тысячи долларов, долг Сеньке отдавать (передавать через Рафинада) было нелепо, лучше он их отдаст Ривкину на его безумный литературный журнал, где он зачем-то печатает разных графоманов со всего света. И где он их столько находит?

...Сашка Локшин сидел на другом конце длинного стола и увлечённо беседовал, выпивая, с Ромкой Цыплаковым (Цыпой).

Кротов слушал других, смотрел по сторонам. Кусковский парк изменился и не изменился; величественная усадьба графа Шереметева стояла как прежде, лес, слава Богу, не вырубили. А вот лодок, лодочной станции, спасательных красных пенопластовых кругов, как во времена их детства, уже не было; никто не купался, мороженщики не разносили мороженое; разумеется, не осталось переодевалок на берегу, где они раньше, пацанами, подглядывали за голыми девчонками; рыбаки не ловили рыбу, и ребята не прыгали, как сумасшедшие, с пирса в воду, как прыгали они, жители микрорайона, в те семидесятые годы прошлого (страшно сказать) тысячелетия.

Спустя какое-то время Сашка Локшин подсел к Сергею.

— Ну что, Кротов, ты до сих пор на меня злобу копишь?

— Да что ты, Санёк!—растерялся и невольно соврал Кротов.—Все хорошо.

— А меня все эти тридцать два года мучает чувство вины перед тобой. Я помню, что в восьмом классе из-за моей тупой принципиальности наша математичка снизила тебе оценку за четверть. Но ты ведь неправильно решил задачу... А я всегда говорю правду. Ты же знаешь, я всегда говорю правду. Да, всегда! И я не мог не сказать, ведь математичка сама попросила проанализировать твою

контрольную работу. Но я на тебя тоже обижен: как ты мог меня тогда ударить? Помнишь, тогда, в восьмом, мы поцапались? И ты меня, подлая душа, так сильно ударил. А я-то, когда кулаками размахивал, старался в тебя не угодить. Ведь мы же были лучшими друзьями. Я скорее имитировал драку. А ты не имитировал... По зубам меня огрел. Как ты мог? Крот, ну как ты мог?

Сашка остекленевшими глазами смотрел на Сергея.

Кротов обнял старого (изрядно окосевшего и милого) друга и совершенно искренне сказал:

— Саня, забудь, мы как были друзья, так и остались. Я действительно не помню уже про оценки по математике, а за то, что я тебя ударил, прости. Мне, честно говоря, казалось, что это ты ударил меня...

Неожиданно Локшин, точно ребёнок, заплакал, потом стал обнимать Кротова, и они ещё выпили по нескольку рюмок.

Потом они наконец-то сообразили подойти к Нуне; она, конечно, немного раздалась, но выглядела очень хорошо—миловидно и сексуально. Кротов поцеловал школьную подругу в щёку.

— А ты, Крот,—великий человек,—неожиданно сказала Нуне,—я слежу за твоими успехами.

— За какими успехами?—растерялся Кротов.

— Ну как же,—щебетала улыбчивая Нуне,—ты же спонсор крутого литературного журнала, а я там как раз печатаю свои стихи. Знаешь, вот уже несколько лет пишу. Как прорвало! Меня Арон Алексеевич Ривкин хвалит, говорит, что я не совсем бездарная. Или это не ты председатель попечительского совета журнала «Парнас»? Там в выходных данных написано: Сергей Александрович Кротов...

— Да, я иногда даю деньги Ривкину, это мой старый институтский кореш, но я даже не знал, что он меня указывает как спонсора...

Кротов выпил ещё рюмку, обнял Нуне и стал игриво гладить её по заднице.

— Ну что ты делаешь, Крот?—хихикала Нуне.—Ты такой же, как был, такая же развратная сволочь.

— Когда я тебя вижу, то теряю рассудок,—улыбаясь, отвечал Сергей.—Когда же ты, наконец, станешь моей?

— Да ты даже ни разу не позвонил за эти годы; вот тебе, кстати, визитка... Давай ещё встретимся. Или ты по-прежнему такой же нерешительный, как в детстве?

...Кротов ехал домой и молчал; он думал о том, что сегодня один из лучших дней в его жизни. А водитель Арсен слушал «Радио Дача». Жизнь ещё не прошла.

ДиН ревю

Евгений Степанов

Профетические функции поэзии, или Поэты-пророки

Москва: «Вест-Консалтинг», 2011 г.—84 с.
Тираж 300 экз. ISBN 978-5-91865-115-5

Новая книга известного московского писателя Евгения Степанова посвящена профетическим (пророческим) свойствам поэзии. Каким образом поэтам удаётся предвидеть будущее? Они обладают медиумными способностями? Или само напечатанное или произнесённое слово (как сакральный элемент) воздействует на будущее? Ответы на поставленные вопросы вы найдёте в этой книге. Рассматривается творчество Александра Пушкина, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Велимира Хлебникова, Максимилиана Волошина, Николая Рубцова и многих других.

Лана Райберг

Тени на асфальте

Отрубите мне руки

Две новые картины «ушли» быстро. Я их очень долго писала, а продала быстро.

«Продала» — неправильное выражение, хотя все художники Сохо выражаются именно так. Правильнее будет сказать: купили.

Мы ведь свой товар только предлагаем. Развешиваем и раскладываем — холсты, фотографии или рисунки. Стараемся сделать это наглядно, аккуратно, эффектно и доступно. А покупатель — обычный горожанин или турист Нью-Йорка — выбирает что приглянется, что «зацепит» глаз. Бывает, летит такой человек по улице, спешит — и вдруг как споткнётся. Растерянно постоит, недоумевая, и медленно подойдёт к выставленной у тротуара картине. И застынет надолго. Потом, спохватившись, продолжит свой путь. А через час или два, глядишь, опять появится. Вот он топчется напротив, делает вид, что кого-то ждёт. А сам так и зыркает!

Зацепило! Клюнуло! И бочком, по-крабьи, тихонечко, чтобы не спугнуть, подбираешься поближе:

— У вас есть какие-нибудь вопросы?

Клиент вздрагивает. Тут уже существует несколько вариантов. Или он немедленно убегает, или лаконично интересуется: «Сколько?» — или вступает в пространную беседу о живописи вообще.

У каждой работы своя судьба. На какую-то долго никто не обращает внимания. Уже и края у неё облупились так, что приходится их подкрашивать, и перевесишь картину от глаз подальше. А потом вдруг откуда-то из толпы выскакивает человек, мгновенно покупает именно эту и тут же исчезает. Перед другой, наоборот, постоянно толпится народ. Все восхищаются, любуются, задают бесчисленное количество вопросов, а почему-то не покупают.

Эти два холста я заприметила в магазине «Секонд-хенд», где они притулились на полу у стены, за коробками с обувью. Не поленилась, вытащила. Оценила крепкие, на совесть сделанные подрамники с поперечной перекладиной, крупноячеистый, хорошо прогрунтованный холст. Подрамник явно не покупной, и холст не фабричной грунтовки.

Намалёвано было что-то кошмарно-радостное, пронзительно-сине-жёлто-розовое. За живопись просили по доллару. Седая старушка в буклях слегка поджала тусклые губы, поражаясь моему выбору. Что она понимает! Холст за доллар!

В «Пёрл Пейнте», магазине художественных принадлежностей, до которого я немного не дошла, такой же будет стоить как минимум десять.

В мою студенческую бытность приходилось самим готовить холсты. В те времена их в продаже не было — во всяком случае, в нашем городе. На стройках мы воровали подходящие рейки. Как могли, сбивали их, кухонным ножом выстругивая пазы. В магазине «Ткани» покупали мешковину или «ткань обёрточную». Кто-то из студентов нашего художественно-графического факультета случайно увидел, как институтские уборщицы получают для мытья полов холщовую ткань прекрасного качества — мягкую, с аккуратным нитяным переплетением, приятного светло-серого цвета. Магазинная мешковина была грубая, дыркастая, тёмно-коричневая, с выступающими венами узлов. На её грунтовку уходило слишком много материала, и всё равно оставались дырочки, через которые протекала масляная краска.

Мы быстро уломали бабушек, и те согласились менять драгоценную ткань на старые вещи — заношенные трико, порванные ситцевые платья или рубашки. Какая разница, чем мыть пол?

Натянутую на подрамник тряпку нужно было проклеить. В консервных банках варили столярный, сделанный из рыбьего желатина клей, который жутко вонял. Жёлто-коричневые шарики клея продавались в строительных магазинах. Я очень удивилась, узнав, что и в Америке в наш супертехнологичный век реставраторы до сих пор пользуются подобным клеем, сделанным из дорогих лососёвых рыб.

Грунтовку «соображали» из яичного желтка, муки и водоэмульсионной краски.

Старшекурсники снисходительно учили «шнурков» премудростям подготовительной работы.

Я очень гордилась своим первым собственноручно изготовленным подрамником — кривоватым, занозистым и хлипким, с торчащими в углах гвоздями.

Подрамники были толстые, тяжёлые. Они прорвали пластиковый пакет, и пришлось тащить

их в руках, сложив «лицом к лицу». Из-за неудобной ноши запланированной долгой прогулки не получилось. Тем не менее, я не отказала себе в удовольствии выпить бокал вина в дорогом ресторане Сохо напротив своего рабочего места на Вест-Бродвее, в качестве компенсации за воскресную несвободу и многочасовое сидение под деревом в ожидании клиента.

Поглядывая через тонкостенный бокал на «своё» деревце и сиротски пустую в будний день улицу, я размышляла о том, что же мне написать на новых холстах, чувствуя знакомое будоражащее покалывание в пальцах. Часто в таких вот посиделках с бокалом вина или чашкой кофе ко мне приходят образы и идеи, которые зарисовываю, записываю на салфетках или в блокноте. Придя домой, воплощаю их в жизнь. Моя любимая тема — одинокая дама в кафе. Почему? Не знаю…

В данный момент меня потянуло на реализм. Решила записать экзотические однодолларовые пейзажи городскими видами. Вспомнила, что в альбоме у меня есть две подходящие зарисовки с натуры. Один рисунок я делала в Сохо, другой — в Бруклине.

В чистом виде пейзажи не пошли, и, долго промучившись, я соскользнула на свою любимую тему — «посадила» на переднем плане по девице, пристроив их за столиками уличного кафе. У одной из них в руке — зелёное яблоко, у другой — налитая спелая вишня. Символы искушения, запретного плода, греха. На заднем плане оставила часть домов, улицу, вечереющее небо.

Из-за многократного наложения краски поверхность вышла шероховатой, выпуклой. Кое-где я сознательно оставляла старую краску, не прописывала куски полностью. Получились наслоения цвета, зыбкость изображения. Я постоянно что-то подправляла, дописывала, выставив рядышком оба холста.

Муж смеялся:

— Стахановка! Поточный метод!

Что-то в этих картинах было такое, что я знала: их купят. И точно. За ту, что с зелёным яблоком, чуть не устроили аукцион две женщины. «Яблоко» приобрела туристка из Мексики, а «Вишенку» взяла русская пара, в подарок друзьям на новоселье. Отойдя в сторону, чтобы не смущать потенциальных покупателей, я улавливала фразы:

— Византийское влияние… Марк Шагал… Экспрессия… Медитативно…

Стоя в стороне, я думала о том, что надо бы начать рисовать с натуры. Руки совсем у меня не получаются. Не руки, а клешни. Стыдно, госпожа художница. Вот сейчас они скажут: «А руки-то, руки какие! Ужас что такое!»

> — Отрубите мне руки, отрубите и бросьте
> два кровавых обрубка на кровавую простынь…

Нет, не сказали. Мне стыдно за несовершенство работ, за увиденные только сейчас недоработки. Картин жалко. Их скоро унесут — в чужой дом и в чужую жизнь, и я чувствую, что потеряла кусочек себя.

В то же время меня стало больше. Я словно дерево, плод которого путешественники забирают с собой в далёкую страну, где из него прорастёт новый побег. Это как эстафета: молекула твоей души отправляется в бессмертие.

Утешает то, что в компьютере «сидят» фотографии картин. При желании их можно повторить, воспроизвести, хотя точно такие не получатся. И повтор — это уже не то, это чисто ремесленная работа, в которой нет творчества, радости и таинства. Механически скопированное изображение теряет душу, магию и энергию.

Нью-йоркчанка уступила право купить «Яблоко» туристке. Они обе повторяли:

— Эта картина особенная!

Я спросила:

— А в чём она особенная? Что в ней привлекло?

Обе женщины не смогли толком ответить. Они несли какую-то чушь о том, что им нравится ожерелье на шее девушки, нравится цвет неба. Причём лица у обеих стали растерянными, они понимали, что дело не в ожерелье, но не могли перевести в слова свои ощущения.

Всезнающий муж позже мне объяснил:

— Живопись — это вибрация. Так же как и музыка. Вибрация и энергия. Человек поймал эту вибрацию. Картина вызывает в нём определённую эмоцию, и потому ему неважно, как ты изобразила пальцы.

Помолчав, он добавил:

— А рисовать ты и вправду не умеешь.

Карта души

Большая часть художников Сохо имеет своё «лицо», метод и стиль. Некоторые из них в погоне за удачей мечутся, меняют направление. Пишут то пейзажи, то абстракцию. Как средневековые алхимики, они пытаются изобрести универсальный стиль или «поймать тему», которая будет нравиться всем. Этих мне жаль. У этих как раз покупают редко. Чем реже покупают, тем больше художник нервничает, тем больше он изобретает. В конце концов депрессия сказывается, и работы, хоть мастерски выполненные, становятся неприятными, депрессивными.

Неужели они этого не понимают? И их дар становится тяжким крестом, источником переживания. Творчество — это радость в первую очередь, хотя часто она мучительна. Рожаешь картину, как ребёнка, в муках. Бесконечно изобретаешь велосипед. Разочаровываешься. Устаёшь. Не закончив одну, берёшься за другую. Скопление дома картин раздражает. Они словно живые — эти люди и лица,

а ты их засовываешь за диван. Места на стенах уже не хватает.

А изображённые тобой коты и бабочки просятся на свободу.

Чем больше размер холста, тем больше за него можно просить. У людей, очевидно, подсознательно срабатывает стереотип. Маленькую работу они ни за что не купят за триста долларов. И бесполезно объяснять, что это писалось долго, лессировками, что каждый слой подсыхал неделю, что детали мелко прописаны. А вот это полотнище изготавливалось за час. Я сама видела, как один из нас разливал гуашь из банки на расстеленный на тротуаре холст и размазывал его щётками. Чисто малярная работа. Главное, чтобы получилось интересно по цвету и эффектно. Просить можно от трёхсот до шестисот.

Сегодня у Эрика купили три холста, по шестьсот долларов каждый. Продать за шестьсот — редкая удача.

Улица гудит. Новость передаётся по эстафете от одного художника к другому, от Хаустон-стрит до Принстон, переваливает через Принстон, ползёт по Спринг-стрит и, ударившись о Брум, по другой стороне Вест-Бродвея начинает обратное восхождение до Хаустон. Оставив товар без присмотра, каждый из них прибегает на несколько минут, стараясь понять, что же такого хорошего в живописи удачливого коллеги и конкурента.

Эрик, молодой парень, недавно закончивший колледж, появился у нас прошлым летом, заняв место переехавшего в Аризону Толика. Я особого внимания на его холсты не обращала. Так, полощутся на ветру серо-голубые тряпки, прочерченные линиями. И чему их только в колледжах учат? Кажется, ни разу не было случая, чтобы у него ничего не купили, даже в самые жаркие, застойные, ленивые дни, когда прохожим не до живописи.

Подхожу поближе и внимательно рассматриваю холст, каждый сантиметр. Да, цвета приятные, сдержанные. Сложная фактура. Как они такую делают? Я в фактурах профан.

Шероховатая поверхность исчерчена линиями, глубокими, продавленными в толстом слое краски, словно по жирной земле проползла гусеница и оставила след. След петляет, ползёт, делает причудливые изгибы, чертит окружности и зигзаги. По пути её следования расплёсканы маленькие лужицы — голубые на сером или коричневатом фоне. Вот и всё.

Стараясь скрыть недоумение, спрашиваю:
— А эти композиции что-то значат?

Эрик лаконично поясняет:
— Это карты.

Чтобы скрыть замешательство, начинаю фантазировать:
— Карта моей души, карта жизни, ошибок, карта прошлого…

Игра увлекает. Задумавшись, продолжаю:
— Карта успеха, Вселенной, вдохновения!

Ещё раз подхожу к вывешенным холстам и, водя пальцем по линиям, представляю, как моя душа будет свободно летать в космической глубине. А голубые пятнышки цвета — это же вселенные! Как я раньше не догадалась!

Эрик польщён. Уверена, что он возьмёт на вооружение мой трёп. Как правило, он долго общается с покупателями. Мне всегда хочется послушать, как другие художники представляют своё творческое кредо, как они «убалтывают» потенциального клиента. Но всегда тактично отхожу в сторону.

Через неделю, в следующий выходной, замечаю ползущую линию на новой работе соседа.

Кай

Кай учился живописи в Берлине. И внешне он напоминает арийца: высокий плечистый блондин, на лоб падает косая чёлка. Руки и ноги у него длинные, ходит он пританцовывая. Мне хочется спросить, не занимался ли он балетом. Сегодня выяснится, что он играет на пианино и даёт уроки музыки. Но за квартиру он уже две недели как задалживает. У него осталось двадцать долларов, а он обещал своей девушке сводить её в ресторан.

Кай уверен, что сегодня, сегодня у него купят много картин! Я боюсь спрашивать, сколько он просит. Холсты его огромных размеров, и на них изображены огромные женские лица. Есть портрет Мэрилин Монро, сложенный из кубиков. Мона Лиза, разбитая на клетки, со съехавшим на сторону ртом. Портрет Монро, уверена, вызов Энди Уорхолу. Техника исполнения — подражание Кларку Чаку.

Кай расположился рядом, заняв место опоздавшего Джеймса, и мы завязываем знакомство. Мои картины вызывают у него ассоциации с Марком Шагалом. Я тоже не остаюсь в долгу. Упоминаю и Уорхола, и Чака. Сказала, что купила изданные дневники Энди Уорхола.

Кай хмурится. Кажется, ему это неприятно. Он говорит, что не любит Уорхола. Зачем же тогда он его копирует?

Легко считываю информацию. Кай считает, что не хуже этих знаменитостей. Он уверен в будущей своей славе и богатстве. Но ведь и Энди Уорхол, и Кларк Чак были новаторами, первооткрывателями, сказавшими своё слово в искусстве. Влияние любимого мастера может сказываться, часто это происходит бессознательно. Но на что может рассчитывать художник, который явно кому-то подражает? Который методично и скрупулёзно, не привнеся ничего своего, копирует умершую знаменитость? Просто доказать, что «и я так могу»?

Портреты, написанные Каем, супертехничны. Но, на мой взгляд, тяжеловаты и депрессивны. Я например, ни за что не повешу дома на стену

чьё-то трёхметрового размера лицо, со всеми его жилками и порами, с притаившимися в уголках глаз кровавыми сгустками, да ещё разбитое на клетки. Меня не нужно удивлять мастерством. Мне нужно что-то для души, для настроения, для вдохновения, восхищения или раздумья.

Кая мне жалко. Я не вижу его душу, я вижу его амбиции и желание заработать. Мастерство его несомненно, трудолюбия не занимать. Если бы он нашёл *свою* тему…

Кай, внимательно осмотрев мой дисплей, тактично советует:
— Может, тебе лучше попробовать стоять возле Метрополитен-музея?

Я спрашиваю, почему. Тщательно подбирая слова, боясь меня невзначай обидеть, он говорит, что в Сохо живут богачи, которые купят скорее очень профессионально выполненную техничную работу классического типа и заплатят за неё требуемую сумму. А в Метрополитене много туристов, которые, насмотревшись на всякие «измы», имеют более широкий спектр предпочтений. И к тому же им хочется купить что-то недорогое на память из Нью-Йорка.

Подтекст явно прочитывается. Кай благодарен мне за информацию о том, как можно подрабатывать в школах. Он тоже хочет мне что-нибудь подсказать. Очевидно, что моя живопись кажется ему жалкой мазнёй, за которую много не дадут. Я не обижаюсь, а ценю доброжелательность и деликатность коллеги.

Сиреневое отчаяние

Джеймс, мой сосед, переживает, что его картины продаются нечасто. Он хороший профессионал и обладает лирическим даром. Но желание угодить покупателю, написать то, что может понравиться, подводит.

Джеймс пишет виды Нью-Йорка. Холсты размером метра полтора на два висят на металлических решётках, меньшие по размеру лежат на столе. Я любуюсь колоритом его работ, нежным, розово-сиреневым. Восхищаюсь, как свободно он манипулирует с перспективой. Полотна его романтичны и величественны. Одно, с запруженными автомобилями улицами, с мокрыми тротуарами и бегущими бликами от света фар, напоминает картину Пименова «Москва». Я «болею» за соседа, переживаю, что чудная «Москва» долго остаётся невостребованной.

Но вот кто захочет повесить на стену двухметровое изображение статуи Свободы?

У его жены торговля идёт бойче.

Возле стола Джены всегда толпится народ — рассматривает коллажи, щупает, спрашивает.

Джена грунтует холст, делая грубую шероховатую поверхность. Рядами наклеивает вырезанные из журналов картинки и фотографии. Густо покрывает поверхность лаком. Поверху разбрызгивает кляксы, рисует орнаменты или цветы.

Коллажи эти тематические, посвящённые известным американским музыкантам, актрисам или просто животным.

Несмотря на обилие изображений, работы смотрятся органично, они «собраны» по цвету. Их можно долго рассматривать.

Джена просит дорого, уступать не любит. Расстраивается, если спускает цену на пятьдесят долларов. Я её успокаиваю:
— Лучше что-то, чем ничего!
Когда-то, зарабатывая в ресторане за десятичасовую беготню с подносами долларов двадцать пять или тридцать, я огорчалась. Менеджер произносил неизменное: «Better than nothing!»[1].

Джеймс и Джена живут только за счёт продажи картин. Поэтому они очень переживают, если какой-то выходной простояли на улице напрасно. Ведь нужно платить за квартиру, машину, телефон и постоянно дорожающее электричество. Маленькую дочку оставить не с кем, и она разделяет с родителями день на мостовой Сохо.

Похоже, что Джеймс долго находится в глубокой депрессии. Мне его жалко. Мужик он хороший, добрый, мягкий. Себя он видит глазами тёщи, которая недовольна тем, что зять не может создать для её дочери и внучки достойной жизни. Семнадцать лет назад они с риском для жизни бежали из Китая, притворившись японцами. Джеймс и Джена мало похожи на китайцев. Они высокого роста, крепкого телосложения.

Отец Джеймса в совершенстве знал русский язык, работал переводчиком. Любимый его писатель — Шолохов. А художник — Айвазовский. Так что Джеймс, как любой русский, знает и Шишкина, и Куинджи, и Толстого с Достоевским. Может быть, поэтому они так хорошо ко мне относятся, что я русская.

Джена родилась в госпитале Шанхая, в котором работали русские врачи. Роды у её матери принимала русская врач Лена. В честь её и назвали девочку. Позже, из-за невозможности произношения, Лена трансформировалась в Джену. А в паспорте у неё так и записано: «Lena Wang».

Этим летом, впервые за годы эмиграции, они ездили в Китай. Везли показать Джениной матери Келли, свою семилетнюю дочь. Мать Джены неожиданно разбогатела, выйдя замуж за фабриканта. Стала тоже заниматься бизнесом, и теперь у неё есть свои фабрики по пошиву одежды. Оказывается, она периодически посылает дочери в Нью-Йорк денежные переводы по двадцать, а то и тридцать тысяч долларов. Зятя презирает и настойчиво советует дочери развестись с неудачником и переехать в Пекин, под мамино крыло.

Мои приятели вернулись из поездки растерянными и удручёнными. Когда-то они спасли свои

1. Лучше, чем ничего.

жизни, эмигрируя из Китая, и были счастливы очутиться в Америке. Сейчас им казалось, что они ошиблись, поспешили. Как будто они выпрыгнули из накренившейся лодки в страхе утонуть. Лодка выпрямилась и продолжила путь, а они так и остались барахтаться в воде, не зная, к какому берегу прибиться. Они были шокированы тем, как изменилась их страна. Почти все их знакомые если не разбогатели, то живут хорошо.

Одноклассник Джеймса руководит фирмой графики и дизайна.

Джена удивлена тем, как много русских в Пекине, какие у них дорогие машины и дома, как много денег они тратят. Она даже познакомилась с одной русской девушкой, хозяйкой бизнеса, которая заканчивала Пекинский университет и прекрасно освоила китайский язык.

Они оба задумываются, не вернуться ли им на родину. Им стыдно, что в Америке они не состоялись, не разбогатели. Джеймс, похоже, ещё больше утонул в своей депрессии. На мой взгляд, у них всё нормально. Зачем сравнивать свою жизнь с чьей-то? Но они так не считают.

Джеймс, рассказывая мне о поездке, ошарашенно повторял:

— Там такие деньги люди зарабатывают! Там деньги просто под ногами лежат!

Ссутулившись, невидяще глядя в никуда, он надолго застывает в одной позе, не замечая, какой сегодня чудный день, как веселы и расслаблены прохожие. Он даже не замечает людей, рассматривающих его картины.

Запах денег

Деньги, деньги! В Манхэттене кругом деньги. Они летают, как осенние листья, подхваченные ветром. Они вертятся в воздухе, они дразнят: попробуй поймай меня!

В Манхэттене деньги гребут лопатой, в Манхэттене ворочают миллиардами. Усталые брокеры, подорвав экономику какого-нибудь Гонолулу, банально в барах накачиваются пивом. Полусбрендившие миллиардеры покупают ненужные им дома, которые заваливают не радующим их антиквариатом, а сами злостно торгуются из-за пятидесяти центов и не платят зарплату своим рабочим.

Словно снежинки, деньги не долетают до подставленных к ним ладоней и тают в воздухе, оставляя дразнящий запах. Запах денег везде. Он рвётся из распахнутых дверей дорогих магазинов, перемешиваясь с музыкальным томным воркованием, он застревает в пластиковых улыбках манекенов, демонстрирующих сногсшибательные наряды, он коварно стелется вместе с дурманящим запахом приправ и гриля, идущим из ресторанов.

Запах денег кварцевым загаром обнимает ноги дефилирующих по тротуару красавиц, вспыхивает бриллиантами на корпусах часов, разбавляет сладкими волнами духов жаркий воздух.

Вот они, рядом! Их стоит только взять!

Каждый из художников Сохо уверен в том, что с тротуара Вест-Бродвея он поднимет деньги и славу. Однажды это случилось с наркоманом Мишелем Баскетом. Судьба наглеца Энди Уорхола — тоже пример для подражания.

Мы не сидим в мастерских, непризнанные, и не складываем полотна вдоль стен. Мы не засовываем их, никем не увиденные, за диваны в крохотных квартирках. Мы выносим их прямо в центр мира и выставляем на всеобщее обозрение, увеличивая процент вероятности встречи с госпожой Удачей. Если бы Корейко жил сейчас, то туго набитый кошелёк он бы ходил искать сюда, на Вест-Бродвей.

— Деньги, деньги! — пел Кай, раскладывая свой дисплей. — Ты не представляешь, какие богатые люди здесь живут! Если такому человеку понравится моя работа, то торговаться он не будет!

Эрик нервно прохаживается возле своих карт. Каждый приезд в Нью-Йорк на выходные из Массачусетса, где он живёт, обходится ему долларов в триста: бензин, отель, еда.

Джеймс нервно потирает подбородок. Ночью он закончил два новых холста и уверен, что их купят. Ему нужно доказать и себе, и жене, а больше всего — тёще, что он настоящий, востребованный художник, что он в состоянии содержать семью, что Джена не ошиблась, выйдя за него замуж. Ещё ему нужно доказать врагу, другому китайскому художнику, что он не хуже.

Чего греха таить, я тоже рассчитываю заработать. Новый холст, над которым трудилась всю неделю, вывесила по центру. Мне самой работа нравится. И я уверена, что она не останется без внимания. Ведь мне так удались движение и цветовая гамма!

Вот уже солнце перекатилось через ущелье улицы, вот уже дамы накинули на обнажённые плечи шёлковые шали, вот уже девочки-продавщицы из модных магазинов одежды в десятый раз покурили на пороге, а наши произведения так и остались невостребованными.

Течёт, мурлыкая довольными голосами, толпа, ныряет в прохладные гроты магазинов. Дамы несут на локотках бумажные пакеты, в которых лежат тысячедолларовые платья.

Рестораны напротив заполнены.

Кай сидит в тряпичном кресле, изящно закрутив длинные ноги в остроносых ботинках.

Руки безвольно сброшены вниз. На тонких запястьях и крупных, с длинными пальцами, кистях обозначились синие реки вен. Чёлка уныло повисла, закрывая глаз. Странно, сейчас он непохож на ловеласа, непохож и на изящного музыканта. Сброшена маска лёгкости и преуспевания, и напоминает он усталого шута, чьё представление жестоко освистано невежественной толпой.

Отражение приземистой фигуры Эрика застряло в витрине французского магазина, среди яйцеголовых манекенов. Что делает там мужиковатый, напоминающий пахаря парень, выходец из многочисленной (восемь братьев и сестёр) семьи?

Джеймс натёр подбородок до красноты. Словно зверь в клетке, он мечется по тротуару: четыре шага вправо, четыре—влево. Я чётко вижу воображаемые прутья решётки его несвободы.

У одного только Человека-Дерева бойко идёт торговля изображениями берёзок.

Пора собираться домой.

Борьба за территорию

«Tree-Man», что по-русски переводится как «Человек-Дерево»,—китаец. Прозвище своё он получил за то, что пишет он исключительно берёзовые рощи. Берёзы в снегу—белое на синем, осеннюю рощу—буйство золотого цвета, тёмно-фиолетовые берёзы, освещённые луной. В Америке таких видов не встретишь. Похоже, что художник жил в России и впечатлился настолько, что избрал навсегда её пейзажи темой для творчества. Даже внешностью и повадками китаец напоминает мужичка из русской глубинки.

Пытаюсь с ним подружиться. Зачем мне это нужно? Что за дурацкая необходимость выказать расположение, понравиться? Зачем скалюсь, показывая зубы в приветственных улыбках? Все люди братья?

Китаец скуп на приветствия. Он предпочитает никого не замечать. На Вест-Бродвее он появился прошлым летом, скромно встав в самом конце улицы, на пересечении с Хаустон-стрит.

С удивлением замечаю, что постепенно китаец передвигается с конца улицы в её центр, поближе ко мне, и занимает всё больше и больше места. Вместо одного стола появляются два, плюс металлический дисплей, плюс подрамники, на которые он ставит большие холсты. Подрамники для устойчивости он привязывает к решёткам деревьев. На нашем блоке всего два дерева, и у одного из них выставляюсь я. Машины у меня нет. Могу взять с собой только семь холстов. Больше я не в состоянии увезти на ручной тележке. Дерево с опоясывающей его решёткой—настоящее спасение. Это мой дисплей. Ведь прислонённые к столу работы не видны прохожим. На все четыре стороны решётки вешаю картины, видные издалека, а на столе раскладываю рисунки, акварели и небольшого размера принты. Обычно китаец приходит раньше меня и беззастенчиво занимает все два дерева и пространство между ними, расставляя бесконечно дублирующиеся берёзы.

Нелюбовь к автору не распространяется на его творения. Как может такой злобный и жадный человек писать такие лирические очаровательные пейзажи?

Приходится втюхивать свой стол между последним его подрамником и дисплеем Джеймса. Картины ставлю прямо на тротуар, прислоняя к столу. Их практически не видно, и к тому же они затрудняют доступ к рисункам. Начинаю злиться и многозначительно посматривать на Человека-Дерево. Тот делает вид, что не замечает. По негласному правилу, художники установили лимит на место в три фута. Китаец превышает норму в три раза.

Каждый выходной он приходит раньше меня и занимает «моё» дерево. Теперь я понимаю, почему он старательно выдерживает нейтралитет. Он сознательно не хочет вступать с коллегами в дружеские отношения. Мы привычно здороваемся, но я начинаю ненавидеть себя за свою неизменную приветливую вежливость.

Зачем я улыбаюсь? Он нагло вытесняет меня, а я улыбаюсь. Я никогда не умела постоять за себя. Пора уже учиться!

Ненавижу себя и в то же время никак не решусь попросить его подвинуться. Начинаю ненавидеть и его. В конце концов решаю: почему я держу эмоции в себе? Я должна быть или абсолютно безразлична к ситуации, или иметь смелость вступить в конфликт.

Наконец решаюсь. Подхожу к его новоприобретённой жене. Кто-то сказал, что он привёз её и её дочь из Китая, обещав им в Америке райскую жизнь.

Соблазнившись, она бросила мужа, работу медсестры и уехала в великий город Нью-Йорк. Человек-Дерево, вопреки обещаниям, не даёт ей возможность подтвердить диплом и работать по специальности. Мы предполагаем, что он даже не женился на ней, что она нелегалка и что он превратил её в домашнюю рабыню.

Тихая, она робко прохаживается вдоль столов, ловя каждый заинтересованный взгляд, услужливо показывает работы, что-то объясняет. Наконец заворачивает купленную картину в пакет и долго кланяется покупателю.

Муж её, вальяжно устроившись в машине, отдыхает. Он постоянно или спит, или ест, или читает газету.

Улыбаясь, прошу её убрать картину хотя бы с одной стороны решётки, чтобы я смогла повесить свою. Объясняю правила. Показываю, что для меня совсем нет места. Говорю, что художники всегда равномерно распределяют территорию. Она кивает, соглашаясь с моими доводами. Идёт к мужу и передаёт ему мою просьбу. Человек-Дерево разражается громким визгливым криком. Он разъярён, взбешён. Он выпрыгнул из машины, машет руками и брызгает слюной.

Я шокирована его поведением. Женщина со слезами на глазах возвращается ко мне и жалуется, что муж всегда кричит на неё и обижает.

Я с трудом понимаю её чирикающий английский. Китаец гневно кричит ей что-то на китайском языке. Вздрагивая, она отворачивается от меня. Я произношу в напрягшуюся спину:
— Извини. Я не хотела, чтобы из-за меня вы ругались.

В тот день активно распространяю среди коллег весть о конфликте. Мне уже не неудобно. Ярость плещется во мне, как вода в тазике, в которой малыш устроил бурю.

Что это? Благородное негодование или звериный инстинкт — борьба за территорию?

Так когда-то в деревнях мужики убивали друг друга кольями за оттяпанную соседом пядь земли. Понимаю, что интеллигентности во мне не осталось ни на грош, что я встала на одну доску с врагом, но уступить ему — значит, потерять уважение к себе.

Меня выживают с моего куска земли, а я молча, подтирая сопли, сдаюсь? Нет уж!

Оказывается, с этим китайцем уже все успели поругаться. Он пытался вытеснить Джеймса с его законного, годами занимаемого места, и они даже подрались. Китаец нападал на Кая, толкал его дисплей. Кто-то видел, как возле Метрополитен-музея, возле которого он торгует картинами в будние дни, он дрался с другим художником. Тихой сапой выжил меня, совершенно спокойно и безжалостно. Пытаюсь подбить команду дать отпор наглецу. Все мне сочувствуют, но советуют только одно — приходить раньше.

Обычно я прихожу в девять. Делать нечего. В следующий выходной выскакиваю из дома в пять утра. На улице ещё темно. Грохоча, тащу тележку, аккуратно объезжая спящих бомжей. На пустой улице, торжествуя и торопясь, вывешиваю на решётку дерева холсты. Расставляю стол. Рисунки ещё лежат в пакетах. Люди начнут выходить из домов часов в десять утра. Из машины, жмурясь, вылезает Эрик. Он меня поздравляет с прибытием и советует не уходить, пока не приедет китаец. Тот может сбросить на землю мои картины и повесить свои. Эрик идёт завтракать в ресторан через дорогу.

Терпеливо, как постовой, торчу в серой прохладе спящего города. Наконец через полтора часа из лихо затормозившей машины выскакивает враг. Он зол и расстроен. По-хозяйски обегает вокруг дерева. Занято! Я смотрю на него в упор, прищурив глаза. Не улыбаюсь, не здороваюсь. Он проходит мимо, смачно сплюнув мне под ноги. Я, сдерживая ярость, чеканю:
— Если ты ещё раз плюнешь или тронешь меня или мои картины, я вызову полицию!

Сгораю от желания ударить его. Сдерживаю себя изо всех сил. Мне даже хочется, чтобы он поскандалил. В кулаке у меня зажат телефон. Китаец расставляет свой товар рядом, за деревом. Он злобно смотрит на меня, но мои картины с дерева не сбрасывает. Победа!

Я демонстративно спокойно прохожу мимо. Буду завтракать в ресторане через дорогу. Жена китайца отводит глаза. Похоже, что муж её хорошо обработал и запретил разговаривать со мной.

Бедная женщина! В дальнейшем я облегчу её мучения и буду делать вид, что не знаю её.

Человек-Дерево тоже перестанет для меня существовать.

Мода и искусство

Целый день художники сидят на улице, напротив магазинов модной одежды. Мы давно знаем всех продавщиц и продавцов в лицо, так же как и они нас. Разделённые узким тротуаром, параллельно друг другу ведём сложную, насыщенную, иногда скучную жизнь. Художники торчат у всех на виду, продавщицы же спрятаны в прохладном нутре помещений. Иногда в бликующей стеклянной стене мелькают их худощавые фигурки, и я пугаюсь. Мне кажется, что это ожили манекены.

Девочки все как одна похожи на манекенщиц. Они по очереди выходят на крыльцо покурить. Щурясь от яркого света, торопливо пробегают глазами по выставленным напротив картинам. Мне интересно: раздражают ли их художники, или, наоборот, им веселее с нами? Есть на что поглядеть. Ведь это же с ума сойти можно — проводить каждый день по восемь часов в полупустой коробке, среди неподвижно висящих платьев.

Позиция продавщиц лучше, чем художников. Они могут беспрепятственно рассматривать нас из самой глубины помещений, а мы их видим, только когда они слишком близко подходят к выходу. Прошлым летом, когда место под деревом было занято китайцем, мне пришлось встать в самом конце улицы, напротив французского бутика. Цены в нём ещё те! В витрине висят платья, которые можно надеть разве что на подиум — из целлофана или бумаги, проволоки или тонких металлических пластинок.

Из дверей выскакивает необыкновенной красоты чернокожая девушка, с изящными манерами, одетая во всё чёрное.

Это был тот самый случай — любовь к картине с первого взгляда. Я как раз, пыхтя, привязывала к принесённой со стройки оранжевой металлической оградке новый холст. Не буду тратить слова на описание таинства покупки. Меня даже смутило нескрываемое восхищение и некоторая оторопь, с которыми красавица рассматривала холст.
— Сколько?

Называю цену. Мне кажется, что прошу я слишком много, двести долларов. Сделана работа акриликом по холсту, причём достаточно быстро. Холст на подрамник не натянут, это так называемая «простыня». Тёмно-синий фон, девушка

в голубом платье сидит на одном колене, из руки она выпускает стайку бабочек малинового цвета. Ноги её переплетены растениями с мелкими красными ягодами.

Как всегда, вижу недостатки: и рука опять как грабля, и бабочки кривобокие. Что, трудно найти открытку с бабочкой или распечатать с Интернета? Да в детской книжке подсмотреть, на худой конец! Нет, выдумываю какие-то несуществующие в природе виды.

Красавица согласно кивает. Кажется, цена ей показалась невысокой. Чёрт! Нужно было просить триста пятьдесят.

Когда я научусь продавать свои картины?! Знакомые художники ругают меня за то, что я себя не ценю. Как будто цена произведения—это материализовавшаяся самооценка. По каким критериям оценивать живопись—по количеству затрачиваемого времени, нервов, души?

— Эту и эту!—она проткнула воздух тонким чёрным пальчиком с бриллиантовым кольцом.—Только дерево!—она беспомощно подбирает слова, чертя в воздухе прямоугольник.

— Натянуть на подрамник!—догадываюсь я.

Через пару дней везу в магазин натянутые на подрамник холсты. На всякий случай захватила ещё парочку. Захожу в тёмный зал, освещённый свечами. Стекло и бетон, деревянные неструганные балки и кирпичная стена—таков интерьер бутика. Звучит какая-то развратная чарующая музыка, в такт ей хрипит и подвывает низкий мужской голос.

Выставленные у стены картины непостижимым образом меняются. Боже! Какая красота! Неужели это я изобразила такое?

Я уже не замечаю недостатков рисунка и композиции. Девушки на картинах слушают музыку. Одна из них—под зонтом, в окружении кленовых листьев, другая—та самая, коленопреклонённая, с бабочками.

Откуда-то из тёмных углов подтянулись манекенного вида продавщицы, на французском обсуждают работы. Я скромно стою в стороне. Мне дают деньги, я пытаюсь что-то говорить, но понимаю, что меня не слушают. Красавица замкнулась. Заплатив и став обладательницей двух работ, она более не нуждается во мне. Преклонение перед мастером исчезло. Картины теперь принадлежат ей.

Чувствую себя разносчиком пиццы, которого выпроваживают за дверь. Я не разносчик, я художник! Эту красоту создала я!

Собираю оставшиеся холсты и тихо выскальзываю из полумрака бутика в слепящий грохочущий город. Деньги жгут карман. Завтра от них не останется и следа. Столько всего нужно! Хочется приобрести что-то для себя—или хорошую косметику, или модное платье. Эквивалент кажется неравноценным. Променять картину на какое-то платье! Иду в кафе и долго сижу за бокалом вина.

В следующий выходной на двери магазина висит табличка: «Помещение продаётся».

Сейчас на месте бутика кофейня «Старбак».

Куда подевались его продавщицы? Вернулись во Францию? Где висят мои картины?

В другом магазине французской одежды работают две русские девушки. Я их ошибочно принимала за француженок. Обычно мы только сдержанно здоровались кивком головы, пока однажды я, опоздав к дереву, не встала прямо напротив входа в их магазин. Черноволосая выскочила на порог. Гортанно крикнула мне:

— Я хозяйка! Ты не имеешь права стоять напротив входа! Подвинься!

Я безропотно оттащила стол вправо, отодвинув стойку с очередным берёзовым шедевром соседа. Девушка, кажется, устыдилась. Она подошла ко мне и извиняющимся голосом сообщила, что им попадёт от хозяйки: вход в магазин ничего не должно перекрывать. Я ей предложила выбрать со стола себе в подарок рисунок. Она радостно стала копаться в коробках с принтами. Выбежала её коллега-блондинка. Я и ей подарила работку.

Оказалось, что они обе разговаривают на русском. Мария—грузинка, а Алина—армянка. Теперь во время перекура они подходят ко мне поговорить, посмотреть, что у меня новенького. Алина учится на дизайнера, она аккуратна, подтянута и мечтает о хорошей карьере.

Мария частенько приходит на работу заспанная. Пару раз жаловалась мне, что накануне перепила. Иногда её навещает американский бой-френд. Отойдя от входа, они обнимаются и целуются. Мария косит взглядом в сторону, ей нравится внимание прохожих.

Мария мечтает удачно выйти замуж. Обязательно за американца и обязательно за богатого.

Мария попросила меня написать для неё картину.

— Я хочу, чтобы ты нарисовала девушку на диване. Голую…— она смущённо хихикает.—Пусть она курит! И она должна быть такая, такая… ну ты понимаешь! Чтобы каждый зашёл и сказал: «Ах!»

Я сказала, что понимаю.

Возможно, в следующих записках я отмечу, что однажды американец, за которого Мария собиралась замуж, официально, не объясняя причин, объявит ей о прекращении отношений. Она запьёт, впадёт в депрессию, из которой будет долго выдираться. О заказанной картине, которую я почти закончила и которую из-за огромного размера и специфичного изображения не рискну вывешивать на улице, она больше и не вспомнит.

В следующий выходной вижу Марию, буквально ползущую по улице. Глаза у неё запали, лицо

осунулось, кожа из-под пудры отливает синевой. Перепила?

— Мария! Случилось что-то?

— А ты разве не знаешь? Война! Русские бомбили в Грузии! Я не знаю, как там мама, как братья. Не дозвониться, телефоны не отвечают…

Мария долго не может открыть магазин, по щекам её бегут слёзы. Я успокаиваю:

— Не плачь! Даст Бог, всё будет в порядке с твоими! Лишь бы живы были, потом вытащишь их оттуда!

Лицо у Марии потустороннее. Это уже не косящая под француженку американка, это беженка. С плохим английским, со страхом оказаться без работы. С родственниками, которым она посылает деньги и которых могут убить. Над солнечной улицей словно пролетела страшная хищная птица. Вот тень от её крыла! Как люди могут улыбаться, если где-то идёт война?

Силуэт одиночества

Бернедикт приезжает в Нью-Йорк из Пенсильвании. Живёт она в Принстоне. Это маленький, чистенький и славный городок с университетом, уютным парком, художественным музеем. Я была там несколько раз — в книжном магазине-кофейне была моя выставка. Бернедикт выезжает в три часа утра, чтобы, во-первых, не попасть в пробку и чтобы приехать раньше китайца и занять «своё» деревце, на которое она тоже, как и я, вешает рисунки, оформленные в рамочки. Приезжает она в пять утра, когда Вест-Бродвей тих, тёмен и пуст. Занимает деревце, выставляет столики и спит в машине, припаркованной рядом.

Мне нравится Бернедикт, но не нравится её творчество. Бернедикт продаёт «ню», сделанные фломастером. По-моему, она крутится обнажённой у зеркала, принимая вычурные позы, и делает с самой себя быстрые, угловатые и манерные наброски. Подозреваю, что ей не нравятся моя живопись и графика. Но об этом, конечно, мы умалчиваем.

Бернедикт за сорок. Она щуплая, невысокая и рыжеволосая. Одета всегда экстремально чистенько, аккуратно, со вкусом. Она училась на дизайнера женской одежды, но до степени бакалавра не дотянула. У неё «ассошиэйтед дегри», то есть вроде как бы образование и есть, но самое начальное.

У неё нет постоянной работы, и она перебивается сезонными заработками. Нянчит детей в богатых семьях, по субботам подрабатывает на «парти», где детям рисует на лицах микки-маусов и спайдерменов. В летнем лагере при школе ведёт кружок искусств. Бернедикт всегда ровна, приветлива и доброжелательна. Она производит приятное впечатление, с лёгкостью проходит многочисленные интервью. Мне интересно, почему она, коренная американка, неглупая и не без способностей женщина, не смогла закончить учёбу в колледже, почему у неё нет постоянной работы и почему она не замужем. Детей у неё нет. Но, конечно, ни за что не спрошу. Если только она сама не расскажет.

По моим наблюдениям, сойтись с мужчиной ей мешает излишнее, переходящее в манию стремление к чистоте и обострённое чувство «прайвеси». Так, она обмолвилась однажды, что ужасно не любит, когда кто-то заходит в её ванную комнату, и поэтому редко приглашает к себе гостей. В Нью-Йорке у неё есть друзья, у которых она может переночевать с субботы на воскресенье, избавив себя таким образом от недосыпания и пятичасового сидения за рулём. Но она предпочитает возвращаться в Принстон и после трёхчасового сна выезжать обратно. Зато помылась в своей ванной!

Как-то она принесла фотографию своей спальни. Я даже не сразу поняла, что это такое — то ли церковный алтарь, то ли хрустальное ложе спящей красавицы. Высокая кровать, занимающая почти всю площадь комнаты, застелена белым покрывалом. Белый, от потолка, шёлковый балдахин. Непорочное святилище невинности. Яростно защищаемое одиночество. Холодный кокон убежища от любви, которая не всегда идеальна, стерильна, хрустяща от чистоты, которая не всегда вкусно пахнет.

Мне больше импонируют люди, спящие на низких, приземистых тахтах. Люди, которые застилают постель клетчатым пледом. Я опасаюсь тех, которые спят на тронах, убранных с восточной роскошью.

Как многие одинокие люди, Бернедикт излишне словоохотлива. Но её болтовня не давит. Слова её, как бабочки, порхают, перескакивая с предмета на предмет. В отличие от Джены, она почти никогда не задаёт вопросов. Легко меняет темы разговора. Бернедикт тактична и никогда не навязывает своего общества, если видит, что я читаю или рисую.

Прервав беседу, я извиняюсь:

— Пойду попишу, пока не растеряла мысли.

— Лана, о чём ты пишешь?

Этот простой вопрос приводит меня в замешательство. Тщательно подбирая слова, помычав и похмыкав, медленно отвечаю:

— Не знаю. Обо всём. Иногда просто описываю свой день.

— Как дневник?

— Ну, не совсем как дневник. Иногда вспомню что-то из прошлого, и возникают ассоциации с теперешним житьём…

Бернедикт впервые перебивает меня:

— А у меня ничего в жизни интересного не было!

— Не может такого быть! Любая жизнь интересна! Всегда найдётся что-то, что ты захочешь вспомнить и описать.

Выдержанная, спокойная Бернедикт почти кричит:

— Нет! В моей жизни ничего особенного никогда не было! Родилась и жила в маленьком провинциальном городке. Помню только скуку. Пустую улицу за окном. Длинные, скучные вечера. И всегда я хотела сбежать оттуда! Сбежала. Училась — недоучилась. Чего хотела достичь — не достигла. Замуж выйти не получается. Ребёнка и то не родила. Всегда одна. О чём тут писать?

Я пытаюсь скрыть замешательство:

— Вот об этом и можно написать. Ты мне рассказала потрясающую историю. Можешь её назвать «Похвала скуке». Можно описать, как ты уехала из дому, рассказать о своих надеждах. Можно исповедоваться. Провести расследование: например, почему не получается выйти замуж…

Бернедикт задумывается.

— Значит, нужно решить, что, и как, и зачем? Я не смогу. Во-первых, я никому не доверяю. Во-вторых, у меня нет воображения.

— А ты отнесись к писательству как к живописи. Например, сделай акварельный этюд в словах. Попробуй передать эмоции, настроение…

Бернедикт жёстко обрывает меня:

— Я не умею. И не хочу.

Я, спохватившись, подвожу черту:

— Да, что-то я разагитировалась. Ну конечно, это должна быть потребность — писать. Если её нет, то какой смысл себя мучить?

Я иду к своему столу, усаживаюсь в низкое тряпичное креслице. Все мысли подрастерялись. Уже и забыла, что такое важное хотела записать. Неожиданная ярость и упрямство всегда спокойной, милой Бернедикт озадачили. Бедная! Как ей помочь?

Осторожно смотрю в её сторону. Бернедикт сидит, согнувшись, на высоком стуле, под розовым зонтом. Сосредоточенно она смотрит в женский глянцевый журнал. На асфальте застыла её скрюченная тень.

Воздушные шары

Келли — дочка Джеймса и Джены. Я её знаю с четырёхлетнего возраста. Сейчас Келли восемь лет. Это значит, что четыре года все те выходные, когда я приезжаю в Сохо, мы проводим вместе. Не скажу, что это меня сильно радует. Дело не в том, что я не люблю детей, а в том, что мне хочется порисовать, подумать, почеркать в тетрадке, а то и просто почитать книгу.

Келли славная девочка, смышлёная, развитая, не по возрасту умная. Ей не хватает общения. У неё нет подружек. Мама с ней строга. Постоянно заставляет заниматься. В пять лет девочка уже бегло читала. В семь — может написать сочинение на уровне пятиклассника.

Келли приносит раскладной стул, устраивается возле меня и постоянно требует внимания. Я не могу прогнать маленькое существо. Но и развлекать её у меня тоже нет сил. Хитрю, эксплуатируя её уважение к учителям. Даю ей тему сочинения. Задание, что нарисовать. Засекаю время, сколько минут она помолчит. Если десять, то это удача.

Келли просит порисовать с ней вместе, поиграть в мячик, побегать по тротуару. Она без конца задаёт вопросы, громко смеётся, требует, чтобы вместе с ней по видеоплейеру смотрела кино, и внимательно следит, не отвожу ли я в сторону глаза. К концу дня я так выматываюсь, словно таскала брёвна. Потом, кажется, у меня начинается профессиональная болезнь учителей — не выношу громких детских голосов.

Однажды мне особенно хотелось уединения, и я впервые отчитала малолетнюю подружку, попросила её оставить меня в покое. Келли обиделась и пожаловалась маме. После того случая она больше времени проводит с Бернедикт.

Я, хоть и испытываю чувство вины, девочку обратно не приваживаю, невозмутимо читаю. Я же не няня, в самом деле! Потом — изживаю в себе потребность всем нравиться, со всеми быть в хороших отношениях. Я не против этого, но не в ущерб собственному времени и желаниям. С возрастом понимаешь, что полезно быть эгоистичной. Иначе растащат на куски соседки и подружки!

Сегодня Бернедикт не приехала, и Келли весь день сидит возле меня. Она любит рисовать, но без задания делать этого не может. Ей нужны чёткие инструкции: что и как. Девочка зажата, она боится сделать «ошибку». Боится не оправдать ожидания взрослых — последствие излишней маминой строгости и повышенных требований. В моей практике работы с детьми приходится сталкиваться с тем, что дети из хороших семей слишком зажаты, шагу не могут ступить без спроса.

Вот и сейчас она ноет:

— Лана! Я не знаю, что рисовать! Ну скажи мне, что: Синдереллу или Спящую Красавицу? Кого ты больше любишь?

Я сознательно «вредничаю». Хочу, чтобы Келли сделала выбор самостоятельно.

— А мне всё равно! Кого ты хочешь нарисовать? А почему ты рисуешь только Синдерелл? Можно же ведь изобразить что-то другое. Вот рассказывай сама себе историю — и рисуй…

— Я не умею сочинять истории! Помоги мне!

Так, что бы такое сочинить?..

— Представь, что ты пришла в лес. А там — озеро. Что интересного можно увидеть в озере?

Келли неуверенно спрашивает:

— Рыбку?

Мне очень хочется, чтобы её глазёнки зажглись и чтобы она воскликнула: «Русалку!» Но нет. Девочка с недоумением смотрит на меня. Что, мол, я сочиняю такое неинтересное?

Вздохнув, продолжаю:

— Ладно, оставим озеро. Представь, что ты идёшь… — я замешкалась.

Келли подхватила:

— В за́мок!

— Замечательно! И встречаешь там девочку-привидение. У неё голубое платье, голубое лицо. Она плывёт по воздуху. И ты с ней подружилась. Можешь нарисовать, как ты идёшь по за́мку, и рядом по воздуху плывёт девочка-привидение?

Задав с десяток уточняющих вопросов, Келли углубляется в работу. Так, если повезёт, то минут десять можно почитать.

Из магазина напротив выходит покурить высокий элегантный продавец, француз. Весело он кричит мне:

— Как поживаешь, мисс Пикассо?

Надеюсь, что это комплимент.

По тротуару идёт девочка в голубом платье, в руках у неё связка разноцветных шаров.

Почему?

Вчера к нам заходил знакомый художник. Он жаловался на то, что не любит отвечать на вопросы, связанные с интерпретацией его картин. Открытия выставок для него — сущее мучение. Художник он сложный, неоднозначный, сюжеты его картин метафизичны. Конкретных образов там нет, их, скорее, нужно угадывать. Непосвящённого человека, привыкшего к простому и понятному изложению мира: вот ложка, лодка, стул и лошадь, пейзаж, зима или портрет, — его картины могут испугать, вызвать недоумение, растерянность.

Космическая холодная глубина. Сгустки полусформировавшихся тел. Или, наоборот, это лохмотья тел. Или трансформация человека в дьявола. Возможно, это наша собственная суть. Мир души, сплетённой из происков дьявола и божественного совершенства. Хаос. Боль. Смятение. Жестокость. Любовь. Рождение.

Человек на выставке «не догоняет», что это такое изображено. Он требует объяснений. Вот вынь ему и положь: что, как, зачем и почему? Что ответить такому посетителю?

Приятеля нашего я хорошо понимаю. Объяснять своё творчество сродни раздеванию на публике. Слова не адекватны ощущению. Философская концепция должна быть изложена на бумаге. Произнесённая, она теряет глубину, приобретает трескучесть штампа. Творчество интимно, сокровенно. Часто это — разговор напрямую с Высшими силами. Как можно переложить в слова миг откровения, озарения, открытия, которое через руку приёмника вытекает на холст ли, клавиши компьютера или нотную бумагу? Создатель говорит с нами. Вы сами должны понять о чём.

Мне легче. Сюжеты моих картин хотя бы «фигуративны» — есть такое определение. И то частенько приходится попотеть, отвечая на вопросы, кого я больше люблю — Пикассо или Шагала, какова моя художественная концепция, к какому направлению отнести мою живопись. Существуют вопросы другой категории, на которые ответить не менее сложно.

— Почему она летит? Это кто — Мэри Поппинс? (Мысленно закатываю глаза.) Это что — сказки? Вы что, любите котов? А почему кот у неё на голове сидит? Почему вы рисуете длинные шеи? Вы что, любите фантазировать?

Заставляю себя не раздражаться. Я ведь вынесла своё творчество «в люди», вот и общайся. Людям любопытно, они с искренним интересом смотрят на меня, ожидая объяснений.

Иногда, под настроение, «умничаю». Иногда вопросов слишком много. Кажется, что меня растаскивают на части, выворачивают наизнанку, не оставляя никаких лазеек для тайны, для сокровенного. Я злюсь, отвечаю уклончиво, не объясняя то, что часто самой непонятно, а скорее — укрываясь:

— Не знаю я, какая концепция. Просто пишу, что в голову придёт… Нет, это не абстракция. И не сюрреализм. Не знаю что. Просто картина. Сюжет. Манера исполнения декоративная. Импрессионистическая? Да, возможно… Кот на голове? Это потому, что я понимаю своего кота. Мне часто кажется, что он — это я, а я — это он. Я хочу показать нашу с ним общность, близость… Нет определённого стиля? Возможно. Каждый раз, садясь за холст, я начинаю изобретать велосипед.

— Почему у девушки деревья растут из головы?

На самом деле — почему? Человек, задавший это вопрос, смотрит серьёзно. Это не просто праздное любопытство. Может быть, для него это важно. Возможно, впервые он задумался о чём-то, ранее ему недоступном.

Здесь я начинаю чувствовать некоторую отстранённость от собственного изображения. Я должна объяснить!

Неуверенно открываю рот, и тут меня начинает «нести». Слова вылетают сами по себе, без моего на то участия, как пчёлы из потревоженного улья.

Сама не понимаю, какова доля правды, позёрства или лицедейства в этом ответе. Вроде это уже и не я, а искусствовед на выставке. И в то же время есть что-то интимное в этом монологе, как будто я изливаю душу случайному незнакомцу.

— Мы существуем в двух мирах: конкретном, реальном, земном — и в мире идей, космоса. Девушка сидит в кафе, она занята обычными мирскими делами — пьёт вино. Но в то же время она — часть природы, Космоса. Я пытаюсь соединить эти две части, показать их связь. Мы не должны забывать об этом. Потому что, застряв в реальном мире,

нам всем нужно платить по счетам,—тут я заговорщицки смотрю на собеседника,—мы теряем что-то важное.

Человек испуганно кивает, задумывается. Нахмурившись, долго рассматривает холсты. Затем с чувством произносит:
— Спасибо!

Улыбается мне светло и открыто и продолжает свой путь. И долго ещё его тень зыбко колышется на размягчённом от жары асфальте.

Я же чувствую и странный подъём, и опустошение одновременно. Надеюсь, что сегодня мне больше не зададут подобный вопрос. А если зададут, то лучше отшутиться.

Д*и*Н ЦИТАТА

Владимир Коркунов

Кровь и грехи съеденного яблока

…Само по себе «имя» поэта—Ахматов—заставляет на него коситься с немым вопросом: не травести ли это? Пережив нелёгкие школьные годы, стерпев обиды и насмешки, Ахматов и сейчас не сделался таким, как все, не вошёл в колею. И в мире поэзии обречён на вечное сравнение и вечное же не(до)понимание.

Но, может быть, это лучше для творчества?

Он умирал и возрождался много раз, этот поэт, ставший при жизни на перекрестье поэтик и имён. Он играл словами, перемигивался с классиками, но никогда не опускался до позиционирования их идей как своих—скорее, объединял их:

> Морозцем, как рубанком, на ветру
> Снимает стружку с набожных прохожих.
> В такую ночь, я знаю, что умру,
> И то, что «весь умру», я знаю тоже.

Заимствованный поэтизм «весь умру» отбрасывает заложенный в него смысл и предстаёт в виде перевёртыша. Но кажущаяся нелепость (разве можно умереть не всему?!) предстаёт поэтической автологией с усилением посредством цитаты. Ахматов понимает, что его фамилия преобразуется в слово-имя «Ахматова» лишь в родительном падеже, то есть когда его «нет». И его протагонист намеренно уходит из стиха и, так получается, из жизни. Отсюда перекличка с «не умру» и переход в полную смерть—и физическую, и духовную. Игра, построенная на едва уловимой аллюзии, где рядовому читателю видится лишь обыгранная поэтом цитата из классика. Видится—при быстром прочтении. Более глубокое дарует неожиданное открытие: автор стиха в глубине подсознания осознаёт, что третьей «ахма» ему не стать. Человек сам коробит гордость и эгоизм, соглашаясь с очевидным, и полунамёком говорит читателю об этом. Тогда, чёрт возьми, для чего всё остальное? Для чего писать дальше, если в роковой день он умрёт весь, без остатка?

Преодоление или «осваивание» классиков идёт у Ахматова не только посредством слов и новых смыслов, но и методом поэтической игры (какой бы грустной она ни была). Обыгрывая строки Анны Андреевны о творческом поиске, Алексей Дмитриевич использует метатезу:

> Мои стихи из сора не растут.
> Они растут, скорее, из позора…—

с последующей рифмой—«измором».

Вообще, кажется подчас, что реминисценция—излюбленный приём Ахматова, на который он наслаивает уже свои мысли, кутаясь и прячась за кидающимися «в лоб» цитатами и аллюзиями. Это ведь тоже своеобразный поэтический метод, намеренное отождествление с «лица необщим выраженьем» (то есть—музой) классиков. Потому что в сухом остатке у читателя вполне могут оказаться строчки, вернее, слова из стихов Пушкина, Маяковского, Ахматовой, Заболоцкого, Тютчева, Мандельштама и прочих прототипов поэтики Ахматова. В этом, однако, кроется немалый секрет. Секрет, сопряжённый с подвохом, ставший, как мы говорили, самостоятельным приёмом.

Владимир Коркунов. Кровь и грехи съеденного яблока.
Параллели поэтического мира Алексея Ахматова.
«Зинзивер», №3, 2012 г.
http://magazines.russ.ru/zin/2012/3/k16.html

Ольга Черенцова

Царевна-лягушка

Ночью не давал спать гвалт лягушек—самых крикливых существ на острове. Но я и так не спала. Ждала приезда Нюты.

Уже месяц везде её подстерегаю, ищу возможности поговорить. Но приблизиться к себе она не давала, отворачивалась, а один раз, раздосадованная моей настойчивостью, натравила на меня своего парня—плечистого, с тяжёлым взглядом субъекта. Что она в нём нашла, для меня оставалось загадкой. За свою слепоту она расплатилась: неделю назад он выманил у неё крупную сумму денег и сбежал. Я знала, что долго переживать Нюта не будет. С лёгкостью увлекаясь первым встречным, она мгновенно забывала о том, в кого была влюблена накануне. А деньги были отцовскими, он ещё даст. Сейчас она приедет и сразу же, едва распаковав чемоданы, впустит в свою жизнь очередного проходимца. Об этом и о многом другом я должна была её предупредить. Хотя шансов, что она мне поверит, не было.

Я встала и вышла на балкон. Ночи в горах Пуэрто-Рико не тихие: живность не спит, а поёт и стрекочет на все лады. Несмотря на этот шум, остров вполне можно было назвать райским местом. Картину портила лишь гостиница, в которой я остановилась,—двухэтажный древний домик. Всё в ней шаталось, дребезжало и выглядело ненадёжным… вот как этот хлипкий балкон, подозрительно заскрипевший, когда я облокотилась о перила. Не сорвётся ли он вниз? Ну, сорвётся—какая разница! У меня же никого и ничего не осталось. На последние гроши я приехала на остров, решила устроить пир во время чумы и кутнуть. Но главной целью было заставить Нюту меня выслушать. В этот раз ей не удастся этого избежать.

У подножья гостиницы вилась тонкая каменная лестница с полуразбитыми ступеньками. По ней бегали пятна света от болтавшегося на проводе дырчатого фонаря, и казалось, что по ней скачут лягушки. Их здесь было множество—недаром они символ острова. Людей они не боялись, садились рядом и устраивали концерт. Звенели по-птичьи, лаяли по-собачьи, хрюкали, крякали. Могли посоперничать с пересмешниками.

Тут я увидела, что не лягушки прыгают по лестнице, а волнисто ползёт пёстрая лента, спешит к парочке на скамейке. Я встала, и балкон от моих шагов качнулся вправо.

—Эй!—окликнула я их.—Осторожно, змея!

Эти двое равнодушно глянули в ответ и, приняв меня за тень от расшумевшихся от ветра пальм, отвернулись. А пальмовые листья были широкие, обмахивали, как опахала, обдували прохладой—что было очень кстати. Кондиционера в этом захудалом отеле не было.

Змея пропала. Да и была ли она? Я посмотрела на часы. До утра ещё далеко. Так я и сидела на балконе, пока не порозовело наконец небо. Гостиница проснулась. Доносившиеся из ресторана голоса и звон посуды взлетали вверх, к верхушкам гор. Запахло кофе и чем-то печёным. Готовили в отеле отменно, чего я никак не ожидала, глядя на его дряхлый вид.

Пора идти. Нюта уже здесь. Я представила, как она выходит из такси, направляется к двери гостиницы, чувствуя, как провожает её взглядом водитель (пуэрториканские мужчины не смотрят, а обжигают глазами), как подходит к клерку. Как, подчёркнуто всех игнорируя, идёт к себе в номер, в котором ей, избалованной дорогими отелями, ничего не нравится. Комната—едва развернуться. Обстановка скупая. Стены—болотной окраски, как и местные лягушки. Одна из них, обнаглев, забралась в ванную. Нюта морщится. Ванная с напёрсток! А запах-то—ужас: трухлявый, сырой! Надо бы выставить лягушку за дверь, но та, ворчливо тявкая по-собачьи, забралась под шкафчик. А телефона, чтобы позвонить и потребовать очистить номер от этого склизкого существа, нет. Она вытаскивает из сумки сотовый. По какому номеру звонить—неизвестно. Справочника тоже нет. Выбрала эту гостиницу ради экзотики, а теперь недовольна. Всё скрашивал только вид из окна: зелёные горы, обвитые узкими дорогами, по которым носились лихачи. Дороги крутились, петляли, извивались, как и померещившаяся мне змея на лестнице. Убиться на них, свалиться в пропасть было проще простого, но редко кто сваливался. Местные жители—почище каскадёров.

Нюта переодевается, подходит к зеркалу, любуется собой. Двадцать лет, изумительная, с блестящим будущим—так она считает. Знала бы она! Она распахивает окно, и в комнату влетает треск

насекомых. Она вдыхает горный воздух—прохладный по утрам, чистый—и думает, что всё-таки не зря сюда приехала. И прихватив сумочку, спускается вниз, в ресторан, не подозревая, что за одним из столиков уже сижу, поджидая её, я.

— Вы, как я вижу, любительница кофе,—вторглась в мои мысли официантка.

Два дня прохлаждаюсь в этом отеле, просаживаю последнее, а она ни разу, даже получая от меня неплохие чаевые, не улыбнулась. Многие официантки на острове держались отчуждённо, приветливость у них даже за деньги не купишь. Хорошо хоть отвечали по-английски, а не притворялись, что понимают только родной испанский.

— Да, любительница,—подтвердила я и опять попросила целый кофейник.

Кофе в гостинице выдавали крохотными порциями: два глотка—и всё выпил. Уломать её принести побольше, а не бегать взад-вперёд с чашечками, было невозможно. Все пуэрториканцы упрямый народец или только эта женщина?

— Кофейников у нас нет,—отрезала она и покосилась на Нюту.

Та в эту минуту вошла в ресторан. Выбрала столик и стала изучать меню. Меня она пока не заметила. «А вот и наш герой!»—засекла я парня, в которого она сейчас не преминёт влюбиться. У него были все шансы вскружить ей голову. Такие, как он, ей нравились: накачанный, с заурядно-рекламной внешностью—подобный молодчик красовался на щите у дороги. Он был как красивая игрушка, которую хочется заполучить. А роковое слово «хочется» не раз Нюту подводило. Поэтому этому парню не представит никакого труда влезть в её жизнь и перевернуть там всё вверх тормашками.

Он тем временем расположился напротив Нюты и впился в неё взглядом. Глядя на него, я переделала его в уме в старика. Отняла у него бицепсы, разрисовала лицо морщинами, согнула спину, вложила ему в руку палку, без которой он не сможет передвигаться. Сделала его таким, во что превратят его в будущем распутство и алкоголь. Было что-то в его лице, указывающее на эти пороки. Пора признаться, что я приехала сюда с целью помешать их знакомству. Но пока помешала не я, а появившаяся в дверях его девушка, с которой он здесь отдыхал.

Официантка, не менее сумрачная, чем моя, принесла Нюте завтрак. Нюта, довольная (краем глаза она успела поймать этого парня), расслабленная, ловила своё отражение во всех стёклах ресторана—как ни забавно, от неуверенности, что хорошо выглядит. Да нет, хорошо. Вон мелькнуло её личико в зеркальной двери, из-за которой появилась моя официантка с кофейником (сумела-таки достать!). Успокоенная, Нюта отправила в рот кусок оладьи. Кокетничая неизвестно с кем (молодчик уже ушёл), слизнула с губ след варенья. Её взор бегал по горам, за которыми пряталось утреннее солнце. Освещённые его лучами сзади, со спин, горы почернели—вроде снятых против света изображений на фотографиях. А вокруг их покатых верхушек расходилось сияние—как на иконах, невольно сделала я сравнение, вспомнив, что у Нюты в чемодане лежит карманная иконка. Она всегда таскала её с собой, веря, что та убережёт от неприятностей. Святое простодушие! Зачем иконке сто раз её спасать, если толку от этого никакого?

Пока она с удовольствием ест оладьи, вкратце расскажу о ней. Актриса. Снялась пару раз в небольших ролях в сериалах—мелькнула на экране, как её отражение в зеркальной двери минуту назад. Но была уверена, как и многие девчонки, что доберётся до Голливуда и станет звездой. Её самонадеянность меня смешила. Несмотря на то, что её судьба меня волновала, многое в ней мне не нравилось, многое я бы переделала. Оставила бы только её отзывчивость. Хотя это качество притягивало к ней немало вымогателей.

Отец Нюты был состоятельным человеком. Жил в Америке, где у него был свой бизнес, а в последние годы обосновался и в Москве. Дочери ни в чём не отказывал, оплачивал все её нужды, путешествия, прихоти и нянек, с которыми она часто оставляла свою маленькую дочь—родившуюся два года назад от какого-то очередного прохвоста. Отец, как обычно, её простил. Он верил всему, что бы она ни говорила. Считая, что прекрасно знает свою дочь, он на самом деле её не знал. Если ей не удалось стать актрисой на экране, то в жизни с лихвой удалось. Преувеличивать, искажать, входить в роль она умела.

Наивная девочка! Она не учитывала того, что, когда не станет отца, источник иссякнет и её обдерут как липку. Об этом я тоже хотела её предупредить. Ну что ж, попробую. Я встала и подошла к ней. Она в эту минуту зачерпывала ложкой вишнёвое варенье. Увидев меня, нахмурилась, резко опустила руку и уронила сладкие ягоды на колени.

— Опять вы! Ну сколько можно!—рассердилась она и, стирая салфеткой пятно с юбки, обвинила:—Из-за вас новую вещь испортила!

— Извиняюсь,—сказала я и без приглашения опустилась на стул.

— Что это вы здесь расселись?! Хотите, чтобы я вызвала полицию?

— Нет, не хочу. Всё, что я прошу, так это несколько минут. Если вы меня выслушаете, я уйду, и вы меня больше не увидите,—пообещала я, хотя сомневалась, что сдержу своё слово.

Если с ней что-то случится—сразу прибегу. Если смогу. Я боялась, что возможности может больше и не представиться.

— Что-то с трудом верится, что отстанете. Вы уже месяц меня преследуете, даже сюда притащились!

И не жалко вам тратить столько денег на слежку за мной? На миллионершу вы что-то непохожи,— съязвила она.—Что вам, собственно, нужно?
— Поговорить.
— Хорошо, говорите, но только быстро, у меня нет времени,—неожиданно сдалась она.

Выбрала новую тактику: выслушает, притворится, что верит, и таким образом от меня избавится. Да нет, никогда не избавится!

И тут я засомневалась. Так долго ждала этого момента, написала на бумажке свою речь, вызубрила её, чтобы не запнуться, не дать ей меня оборвать и расхохотаться: «Да вы попросту сумасшедшая!»—а когда желанный миг настал, мне стало её жалко. Несмотря на всю браваду, она была далеко не такой уверенной в себе, как думала. Как я смогу её убедить? Не сделаю ли хуже? Нет, должна всё ей сказать. Иначе она потеряет свою дочь.
— Мне надо кое о чём вас предупредить.
— О чём?—спросила она и огляделась.

Искала этого мускулистого парня. Зря она беспокоится, никуда он не денется. Поджидает её у бассейна, куда она отправится после завтрака.
— Ну хотя бы о том, что надо сторониться этого молодого человека, который вам приглянулся,—не удержалась я.

Начинать я собиралась издалека, но в последний момент решила её удивить. Это удалось. Она даже испугалась. Её глаза посветлели, стали почти прозрачными от выбравшегося из-за гор солнца. Капля его света упала на серьги в ушах—не бриллиантовые, как можно было бы предположить, зная, что в средствах она не нуждалась, а недорогие. Ещё одна любопытная её черта—за высокими ценами она не гналась, могла купить дешёвое, лишь бы пришлось по душе. Нет, всё-таки что-то в ней мне нравилось.

Вышел владелец гостиницы. Окинул взглядом помещение, всем улыбнулся и, открыв окна, убежал на кухню. Запахло свежестью, зеленью, пряностью. Горный воздух в Пуэрто-Рико по утрам—само лекарство и совсем не густой и влажный, как на берегу океана. Пока Нюта молчала, мне ничего не оставалось делать, как любоваться природой. Растения здесь фантастические, как на холстах сюрреалистов. Не побывал ли в этих краях Дали и их увековечил?
— С чего вы взяли, что мне кто-то приглянулся? Понятия не имею, о ком вы говорите,—наконец произнесла она.
— Говорю о том парне, на которого вы посматривали полчаса назад.
— Мало ли на кого я смотрю! Это не ваше дело!
— Я просто хотела вас предостеречь: этот человек доставит вам массу неприятностей.
— Откуда вы знаете? Вы его девушка?—и усмехнулась.—Не думаю, чтобы вы подходили ему по возрасту.
— Нет. Его девушка—это та, с которой вы его видели.
— Вы с ними знакомы?
— Не в этом дело... я потом вам всё расскажу, а сейчас поверьте мне: он принесёт вам много горя, воспользуется вами, обчистит. Я о вас беспокоюсь.
— Никто меня не обчистит! Если уж вы следите за мной, то должны знать, что мой отец никому не позволит!
— Не раз уже позволял, вы же многое от него скрываете.
— Вы что, завели на меня досье?!—вспыхнула она.—Пришли меня шантажировать? С радостью вам заплачу, лишь бы оставили меня в покое.
— Ваши деньги мне не нужны, поберегите их, они вам ещё ох как пригодятся,—решила я разрушить её иллюзию.—Никогда не знаешь, что в жизни случится... Ваш отец может разориться или жениться, да ещё на молодой, а его жена, несомненно, позаботится о том, чтобы у вас всё отнять. Разве вы хотите жить в нищете? Вы же этого боитесь.

Она не знала, что именно так всё и произойдёт.
— Да, не хочу. А кто хочет? И потом, мне нечего бояться, у меня всё есть. Вам-то какое до всего этого дело?!
— Я не хочу, чтобы вы всего лишились и остались в одиночестве.
— Надо же, какая заботливая!—хохотнула она.— Откуда вы вообще можете знать, что я всего лишусь? Вы что, ясновидящая?

Возмущается, смотрит на меня чуть ли не с отвращением, а при этом не уходит. Значит, мои слова её зацепили. Почему бы и впрямь не сыграть роль провидицы? В этом случае она, возможно, мне поверит. Немало так называемых ясновидиц выкачивало из неё большие суммы, пользуясь её легковерием. Подловатый, конечно, ход, но выбора у меня не было.
— Я видела вас в кино, вы мне понравились,—начала я с лести.—После этого я порылась в Интернете, почитала о вас и... как бы это сказать... кое-что увидела в вашем будущем.
— Вы гадалка?
— Что-то в этом роде.
— Сколько вы берёте?

Она взяла сумочку, вытащила кошелёк.
— Я же сказала, деньги мне не нужны. Всё, что мне нужно, так это рассказать, что вас ждёт. Рассказать?
— Валяйте!—бросила она с наигранным безразличием.

Наконец-то наступил долгожданный момент! Учитывая её вспыльчивость, я старалась звучать помягче, кое-что сглаживала. Пока она слушала, в её глазах поочерёдно сменялись испуг, смятение, гнев. Несмотря на её веру в пророчества, она уловила подвох с моей стороны.

— Многое из того, что вы говорили, почти каждому можно сказать,— подтвердила она мою догадку,— а про то, что меня бросила мать, вы могли легко узнать, вы же следите за мной — значит, насобирали сведений. Недостойное, между прочим, занятие — рыться в чужой жизни.
— Не в такой уж и чужой,— вырвалось у меня.— Я когда-то была знакома с вашей семьёй.
— С кем — с моим отцом? Вы его бывшая любовница?
— Нет, всего лишь знакомая.
— Что-то я вас не помню.

Следовало, конечно, вести себя осторожно, не оглушать её фактами, но я боялась, что мы видимся в последний раз. Поколебавшись, я вытащила из сумки фотографию и протянула ей.
— Кто это? — не поняла она.
— Не узнаёте? Это тот самый удалец, который вам понравился.
— Это не он, это какой-то старик.
— Вот именно, старик,— не без злорадства произнесла я,— в которого он превратится через двадцать лет, когда ему будет всего-то сорок с гаком. На ваши деньги он будет пить, распутничать, а вам будет врать.
— Полный бред! Вы, часом, не больны? — рассмеялась она.
— Выслушайте меня до конца. Если вы свяжетесь с этим типом, то рискуете потерять дочь, он будет плохо с ней обращаться.
— Всё, хватит, с меня достаточно! — она вскочила с места.

Но я видела, что она была встревожена, и, пользуясь этим, быстро протянула ей следующую фотографию.
— Эта женщина вам никого не напоминает?
— Уберите, я не хочу смотреть! — отмахнулась она, но всё-таки глянула.— Откуда это у вас?.. Это моя мать… Постойте… — её растерянный взгляд перескочил со снимка на меня.— Вы чем-то на неё похожи. Кто вы?
— Я же сказала: знакомая вашей семьи.
— Вы лжёте! — посмотрела на меня с неприязнью и спросила: — Так вы моя мать?
— Нет.
— Не верю ни единому вашему слову! — отсекла она.— Не предупреждать вы сюда явились, а испортить нам с отцом жизнь! Или решили покаяться? Так вот, знайте: я не прощаю тех, кто меня предал!

Как же я не учла такого поворота? Я должна была предвидеть, что она примет меня за свою мать. Несмотря на гневный крик, что никогда её не простит, она ждала, что та вернётся, объяснит, почему бросила её, почему ни разу не появилась за эти годы, и скажет, правда ли это, что, как говорит отец, ушла к другому мужчине. Отцу Нюта не поверила — не бросают собственное дитя ради какого-то любовника! Не скрывает ли он что-то?
— Это всё чистая правда,— произнесла я.— Прошу вас, выслушайте меня. Я не хочу, чтобы с вами случилось то, что случилось со мной. У вас есть передо мной преимущество: вы можете всё изменить — себя, обстоятельства, всё предотвратить, тогда вы поможете себе и мне…
— Зачем мне что-то менять?! Меня всё устраивает! — оборвала она.— С какой вообще стати я должна вам помогать?
— Посмотрите ещё раз на эту фотографию. Эта женщина на самом деле похожа на вашу мать… и это понятно, почему похожа… — я остановилась.
— Что вы замолчали? Почему похожа?
— Боюсь, что вы не поверите… На этой фотографии я два года назад, то есть это вы… вы — в будущем. Я тоже Нюта.

И тут произошло то, чего я ждала. Она расхохоталась мне в лицо и крикнула:
— Да вы попросту сумасшедшая!

А что бы я сказала на её месте? Да и как я могла ей объяснить то, что произошло? Я понятия не имела, какие такие силы нас свели, как я очутилась в прошлом. Задержать её мне не удалось. Она убежала.

У меня оставался ещё один день. Попробую её поймать, а потом расплачусь за номер и — прощай, Пуэрто-Рико. Вернусь в свою квартиру-клетку, где меня никто не ждёт. Пойду опять на работу. Платили мне мало, но всё же лучше, чем ничего. А ведь когда-то я выкидывала за час то, на что жила теперь целый месяц. Денег у меня уже давно не было. Они растаяли, как и наивные тщеславные мечты попасть в Голливуд. Отца тоже давно не было… Самой было странно, что сейчас я легко обходилась малым и нисколько не страдала от этого. Не нищеты я страшилась, как Нюта, а одиночества. Об этом я хотела её предупредить. Впрочем, в одиночестве есть свои плюсы: никто тебе не врёт, никто тобой не пользуется, ты сам себе хозяин. Пойду-ка я кутну! Когда ничего нет, не жалко потратить последнее.

Вдоль обвивавших горы узких дорог тянулись косые домишки с трещинами в крышах и в окнах, с развешанным на террасках бельём. Повсюду стояли коптильни. Из них валил дым. Пахло стекающим с мяса жиром и сигаретами, которые курили жарившие свинину и курятину темнолицые мужчины — все как один с одинаковыми глазами-угольками, обжигавшими меня, когда я проходила мимо. Что это с ними? Мне же не двадцать лет, как Нюте, да и вид у меня не располагающий к флирту: уставшая, с несчастливым лицом женщина.

Я направилась к одной коптильне. Пока продавец заворачивал в фольгу кусок курицы, я смотрела на разложенные на подстилке деревянные фигурки. Над ними помахивала листьями пальма. В одну из расщелин её чешуйчатого толстого

ствола было воткнуто зеркальце. А на земле валялись полотенце, гребешок, какие-то ещё принадлежности.
— Сколько стоят ваши поделки? — спросила я его.
— Пять долларов, — подумал мгновенье и добавил: — Отдам две за семь.

Я подошла взять одну на память. Пока выбирала, случайно глянула в зеркало. И увидела в нём другую женщину — не ту, которая вышла из гостиницы, а помолодевшую, с живым лицом. «Трюки света», — не поверила я своему отражению. Расплатилась с продавцом и пошла к видневшейся впереди лавочке. Куплю вина, ещё что-нибудь. Шла, поедая на ходу куриную ножку, и думала, что не такая уж плохая у меня жизнь. Ни о чём уже не мечтаю, ничего не жду, а от этого меньше страдаю. Единственное, что меня по-прежнему терзало, — это разлука с дочерью. С этим я жила ежесекундно. Винила себя. Пустая любовь к никчёмному молодчику сделала меня слепой, и я не видела того, что творилось у меня перед глазами, считала, что дочь всё выдумывает (подросток же, трудный возраст), а когда она крикнула в сердцах, что больше не может жить с ним под одной крышей, и ушла — не остановила её. Была уверена, что прибежит назад, а она не прибежала. Не вернулась она, даже когда я её разыскала. Не пожелала со мной разговаривать. Я постоянно просила у неё в уме прощения, каялась, тосковала по ней. Но обида не проходила. Как она могла отказаться от меня! Вся надежда была теперь на Нюту. На то, что она меня послушается, что-то изменит, и дочь ко мне вернётся. Хотя зря надеюсь. Нюта — это же я, а я в этом возрасте мало кого слушала.

Вечером я пошла к бассейну, где уже поджидал Нюту мускулистый молодчик. Поигрывая своими шарами-бицепсами, он прохаживался с довольным видом, а его девушка, ничего не подозревая, барахталась в воде. Я села на топчан подальше от всех, надеясь, как и он, что Нюта придёт. Хотела взглянуть на неё в последний раз. Утром я улечу не только из Пуэрто-Рико, но и из этого времени, вернусь в своё пустое без моей дочери будущее. И никогда не узнаю, как мы с Нютой встретились и кто нас соединил. Не ангелы ли, выполнившие мою просьбу вернуть мне мою дочь, мою бедную девочку? Тогда не зря Нюта таскала повсюду с собой иконку. А скорее всего, проснусь утром и увижу, что всё привиделось, что я дома, никуда не улетала, что сама себя наказываю снами, бичую за прошлое.

В ресторане Нюты тоже не было. Я вернулась в номер, собрала вещи. Заняло это ровно минуту. Путешествовала я уже давно налегке, в отличие от Нюты, притащившей на остров два чемодана. Распахнув окно, я вдохнула напоследок ночной горный воздух. Села на кровать, вытащила из сумки деревянную лягушку, которую купила у продавца (её живые собратья голосили, прощаясь со мной, за окном), и, глядя на неё, подумала: как было бы хорошо, если бы Нюта скинула с себя шкурку — вроде царевны-лягушки. Перестала бы самообольщаться и думать о собственной персоне.

Утром меня ожидало такси, в окне которого круглело загорело-усатое лицо водителя. По его взгляду я поняла, что моё отражение в зеркале осталось прежним — живым и помолодевшим. «Да, прежним!» — подтвердило верхнее зеркальце в машине. Неужели Нюта послушалась меня и стёрла из нашей с ней жизни часть невзгод, ошибок и неудач, от которых блёкнут глаза и внешность?

Пока летела в самолёте назад, думала о том, что, несмотря на то, что Нюта — это я, она была совсем другим человеком. Мы даже не испытывали друг к другу симпатии. Эта мысль меня позабавила, и я невольно рассмеялась.
— Возвращаетесь из отпуска? — повернулся ко мне, весело блеснув очками, мой сосед слева — весьма приятной наружности господин.
— Да, из отпуска, — кивнула я.

Самолёт покачивался, убаюкивал. Я задремала…

Утром я проснулась по привычке до звона будильника. Пора было вставать и ехать в ресторан, отнимавший у меня все силы и время, — моё любимое детище, которое я открыла несколько лет назад. Я вскочила, пошла на кухню, откуда доносилось звяканье посуды. Сейчас выпью крепкий кофе, взбодрюсь, проглочу на ходу кусок яичницы, она как раз жарится на сковородке, аппетитно пахнет. Побегу на работу, вернусь поздно, завтра та же круговерть… нет, надо сделать передышку, съездить куда-то вдвоём, она давно уже ждёт, я же обещала… Не смотаться ли на океан? Весело проведём время, а то она права — у меня одна работа на уме. Хоть и любимая работа, от неё иногда надо отдыхать.

Я вошла на кухню.
— Привет, мам! Как спалось? — улыбнулась мне моя дочь.

Сергей Бирюков

Лейпцигская нота

Представьте себе человека, который живёт в городе Тамбове, при этом ближайший крупный город называется Липецк. Понятно, что эти города находятся в России. И представьте, что этот человек в какой-то момент переселяется в город Галле, и при этом ближайший крупный город называется Лейпциг. Это уже Германия.

Но липа цветёт и в России, и в Германии одинаково. Ну, немного разнятся сроки…

А так понятно, что славяне населяли Саксонию ещё до саксонцев и место поселения с обилием лип назвали Липецком. Поляки его называют просто Липск, ну а у саксонцев он превратился в Leipcig.

Но речь совсем не об этимологии и топонимике. Хотя и об этом тоже, но косвенно. А прямо о том, что история человечества—это история постоянных перемещений человеков в пространстве планеты. Иногда эти перемещения относительно затихают, иногда относительно усиливаются.

Может быть, мы сейчас находимся в такой стадии усиления. И вот на этой стадии оказалось так, что жители, допустим, Красноярска или совсем уж Семипалатинска оказываются в Лейпциге. Причём в возрасте достаточно юном, этак лет восемнадцати-двадцати, когда ещё не утрачена способность к освоению иного языка и несколько иной ментальности. И вот они попадают в это другое языковое и ментальное пространство, а сами они уже довольно укоренены в пространстве ином, хотя бы потому, что они в нём выросли. И какое бы ни было это пространство, оно родное, без всяких кавычек, потому что оно помножено на время, допустим восемнадцать лет, но и на время более длительное—может быть, несколько веков, а то и тысячелетие. Да-да… И это новое пространство, оно ровно так же помножено на время, тоже тысячелетнее, ну и ближневековое, разумеется.

И вот предположим, что один, два, три человека, оказавшиеся лет десять назад в немецком Липецке, они одарены поэтически, они уже начинали писать у себя в Семипалатинске или Красноярске. И они попадают сюда, в новый для них город, и продолжают писать. Куда же деваться, они уже инфицированы стихами, сочинением, письмом. Между прочим,приезжают люди и уже в возрасте, и никогда не писавшие, может, только в детстве баловались, а здесь начинают писать. Как—не будем говорить. Не это главное. Другое. Письмо, писание текстов—это поиск связи с оставленной страной. Вот что это такое—абсолютно психологическое и даже биологическое явление! Имеет ли это отношение к поэзии? Иногда имеет, иногда нет.

Это уже зависит от того, насколько человек одарён и насколько он осознанно занимается творчеством. Иногда имеет в том смысле, что воспроизводятся хотя бы усвоенные образцы поэтического…

Разумеется, и в случае осознанного письма и наличия таланта—тоже и воспроизведение, и ориентация на образцы. Всё это есть. Другое дело—сколько при этом есть своего. В данном случае достаточно. За долгие годы общения со стихослагателями разных уровней научаешься различать подлинное, фальшь слышится моментально. Никаким мастерством не укрыть.

И вот я вслушиваюсь в голоса Елены, Сергея, Анатолия. И верю этим голосам. Они очень разные. Сергей мне представляется внутренне собранным, сдержанным наблюдателем, который очень точно, и не без тонкой иронии иногда, проницает видимое. Елена женственным жестом соединяет тоникой целые катастрофы иллюзий и реальности. Анатолий, самоопределяясь близостью есенинской линии русской поэзии, записывает кардиограмму рок-отчаяния.

Это не оценочные определения. Я просто пытаюсь зафиксировать на мониторе свои впечатления. И не только от услышанного вживе, но и от услышанного сквозь прочитанное глазами. О различиях уже шла речь, но есть и общее, которое так и хочется определить, по аналогии с парижской, лейпцигской нотой…

По-разному, но стихи моих молодых друзей заставили меня снова и снова думать о том, что мир остаётся несовершенным, недостроенным даже в самых (как кажется) комфортных условиях. В том числе внутренний мир человека… И стихи, поэзия всегда самым неожиданным образом выявляют это несовершенство. *Поэзия* создаётся вообще на разломе, на границе миров (обозначим их как божественный и профанный). Здесь её власть, здесь её сила. Здесь она пытается сшить несшиваемое, которое всё время рвётся. Поэзия—это всегда попытка, это не окончательный вариант. И нет ли тут сродственности Жизни?!

Елена Иноземцева

Весна на изломе

● ● ●

Когда растает в марте чёрный снег,
когда деревья вычертят узоры
на фоне неба, слушай «Back to Black»
и уходи от трудных разговоров.
А лучше их вообще не заводи,
скрывая боль под траурные складки.
И если что-то ёкает в груди —
наплюй на всё, спасайся без оглядки.
Здесь, в этой местности, любить запрещено:
«è vietate, — видишь ли, — amare».
Бушует март. За окнами темно.
Что ж, пей вино, закусывай Омаром
Хайямом, чьи премудрости уже
прижились в речи, стали поговоркой:
мол, лучше будь один, когда в душе
любовь взялась, как снег подталый, коркой.
Мол, лучше будь разумен и держи
себя в руках, когда, ввиду разлуки,
бушует март, бушует ночь, и жизнь
тебе, как мент, заламывает руки.

● ● ●

Весна, несомненно, выкинет фортель.
Оно уже в воздухе, рядом, оно
играет уже не пиано, а форте
и бродит в крови твоей чёрным вином.

Так голые ветви друг друга ласкают,
так воды сливаются жадно в одно
широкое русло, так пишет мазками
весна, точно Шиле, своё полотно.

И мчатся машины по лужам, по грязи
ступают прохожие, в голосе — дрожь.
Весна перепишет «Опасные связи»,
сменив декорации, ты — перечтёшь.

Весна — лишь начало немыслимых бедствий.
Вороньи пророчества над головой.
Они напророчат разбитое сердце,
и привкус надежды — жестокой, больной.

Весна затуманит глаза: поглядишь и
потребуешь: «Рюмку чего-нибудь, плиз!»
Допишешь последнее четверостишье
и выйдешь из текста — на улицы, в жизнь…

● ● ●

Твой город взорван воздухом весны,
чудны́м и чу́дным светом полнолунья.
Как улицы становятся тесны…
и ты раздавлен близостью июня.

Гудит в ночи последний паровоз,
вздыхают баржи, выстроясь у плёса,
а сердце выскочит, как на дорогу пёс,
с цепи сорвавшийся, — и сразу под колёса…

● ● ●

Опять из Трои никаких вестей:
Никто не шлёт с оказией письма,
Никто не выпускает голубей,
Чьи перья розоваты, как весна.

Никто не передаст последний слух:
Она ещё прекрасней, чем была,
И влюблена — и даже сразу в двух,
Но ни с одним пока что не пила.

Конь деревянный сгнил давным-давно:
Никто ему ворота не открыл.
Ахилл забыл свой меч и пьёт вино,
Но с ней он тоже, кажется, не пил.

Сойти б с ума, да вдруг оно придёт,
Вдруг принесёт, как водится, Борей?..
Но все молчат — весь олимпийский сброд:
Ни слова и ни возгласа о ней.

А может, и она, и Троя — миф?
Но не спросить, не свериться ни с кем.
Соображают греки на троих,
Упрямый Шлиман роется в песке.

Кому сказать, что стены сожжены?
Кого простить, с кем встретиться в бою?..
Унылы волны, зимы холодны,
Харибды спят, сирены не поют.

На море штиль — который год подряд.
Попутный ветер не ведёт гостей.
По синеве блуждает скорбно взгляд.
Который год из Трои нет вестей.

Анатолий Гринвальд

Солнце до востребования

Забытая мелодия для флейты

здесь правды нет как у бомжа в карманах
нет денег и не знает где украсть их
здесь правда под замком и спит на нарах
в крестах и перечёркнута крест накрест
и я пропахший насмерть перегаром
не сплю ночей и за неё расстроен:
баланду в карты правда проиграла
залётному катале из ростова
на десять дней вперёд и божьим духом
сыта не будешь сколько б ни просила
она наверное здесь спятит с голодухи
ведь с воли не дождаться ей посылок
она не жалуется ни на что но боже правый
в один из дней точней в свой день рожденья
она умрёт как умирает только правда
в глазах её не будет осужденья
вдруг вспомнят все о ней когда её не станет
на кладбище толпа и с мыслями благими
придут священники с тяжёлыми крестами
и будут лгать на свежевырытой могиле

Дикая собака динго

Пойдём на пляж, увидим голубей
(Наверно, это повод удивиться).
…И небо здесь бывает голубей,
Чем на компьютере заставка «Виндоус».
Пойдём на пляж, в панаме ты, а я
Твою ладонь сожму нетерпеливо…
Нам по пути весь смысл бытия
Откроется, как поллитровка с пивом.
Пойдём на пляж, ты в теле молодом
(Оно тебе подходит этим летом)…
Ты пьёшь коктейль с лимоном и со льдом…
А я в зелёных джинсах из вельвета…
Пойдём на пляж, поверим в эту ложь,
Там дом стоит, в котором жил Волошин…
Ты в море мелким брассом уплывёшь—
И никогда обратно не вернёшься.
Пойдём на пляж, там, словно жёлуди,
Туристы жарятся под солнцем алым…
Оно там выжжет на моей груди
Кириллицей твои инициалы.

Первое послание Лао-цзы из загробного мира

Андрею Геласимову

всё может и не так переплестись
в процессе поиска решения простого
и постепенно проявляются листы
как фотографии в химическом растворе
слов очень много—успевай их трать
как деньги после выигрыша в рулетку
и словно лекционная тетрадь
исписаны манжеты и салфетки
глаголы истиной локальною сочась
по новому предметы называют
диктуйте мне помедленней сейчас
не успеваю я записывать за вами
планета в космосе подвешенной висит
игрушкой ёлочной изящною и хрупкой
но где взять слово от которого весь мир
изменится словно подросток трудный
от поцелуя первого в каких
мне словарях его искать в какой же прессе
быть может его знают старики
сидящие на лавке у подъезда
оно короткое и весь формат листа
займёт едва ли как посланья канта
его наверняка знал тот солдат
который лёг под танк с ручной гранатой
с ним не убить и веры не сломать
и кроткая в заношенной косынке
его прошепчет еле слышно мать
на зону провожающая сына
и сам не веря в эту красоту
его шекспир запечатлел искусно
оно стекало кровью по кресту
пробитого компостером исуса
его не отыскать нам в букварях
как это ни печально но всё реже
его влюблённые друг другу говорят
не раскрывая уст своих безгрешных
хоть велика его первоначальная цена
что я скажу навряд ли будет новым—
оно отыщет каждого из нас
как предназначенная пуля—рядового

* * *

Мой Лейпциг беден. Ходит бедный Бах
По Лейпцигу в залатанной рубахе.
Незнаменит. Гоним. Несчастлив в браке.
Сшибает у туристов на табак.
В подвале грязном Гёте пьёт «Кадарку».
Заходит Фауст—сразу лезет в драку.
Вбегает санитар с креслом-каталкой,
Ремнями, как бантами на подарке,
Завязывает Гёте и увозит
В больницу на окраине. Там воздух
Настолько чист, что ночью видно звёзды.
Там добрый доктор с бородёнкой вострой—
На Мефистофеля манерою похожий—
Лезть в душу фразами, иголками—под кожу
Приходит по ночам и корчит рожи.
Там очень страшно. Тело долбит дрожью.
Все формы там сливаются в одно
Из зеркала глядящее пятно.

Семнадцать мгновений весны

идёт июль день вроде как среда
ползёт к логическому завершенью
и окружающая нас среда
несовершенна
пройтись за пивом позвонить в москву
зависнуть над холстом вздыхая тяжко
не поддаётся всё никак мазку
пейзаж в окне моей пятиэтажки
нужна собака мне собака-поводырь
и больше ничего собаки кроме
чтобы найти тебя в одной из чёрных дыр
навеки спального микрорайона
идёт июль день вроде как среда
я прохожу но без собаки мимо церкви
за мной из окон бабушки следят
свои шифровки отправляют в центр

Солнце до востребования

в такие дни острей заметен голод
по прошлому что кончилось так рано
и осень накрывает этот город
как школьника косяк марихуаны
смотря тв опустошаешь тару
выкуриваешь за день по две пачки
сдают деревья карты тротуарам
и русский бог готов к медвежьей спячке
твой друг в сибири (был бы он поближе)…
мешая спирт отчайно с кока-колой
он тоже что-то там наверно пишет
заимствуя у бродского глаголы
он пишет что ни власти ни короны
не хочет что вчера синиц с руки кормил
и что в углу висит старинная икона
как дверь отсюда в параллельный мир

Граффити

где улицы светом залиты
где ленин и ныне живой
мажорная девочка лида
на старом арбате живёт

и выбрав давно образ жизни
послав на три буквы тоску
она на своём ламборджини
летит сквозь ночную москву

давыдова за день полпачки
поклонников не сосчитать
она никогда—да—не плачет
и платит всегда по счетам

ей нравятся эмо и готы
майорка египет и нил
и был бы я пушкин иль гёте
я стиш бы о ней сочинил

а в доме напротив макдональс
где перед отправкою в часть
алёша на кухне готовил
бигмаки за три бакса в час

и можно сказать без поллитра
что выдумал этот кретин—
мажорная девочка лида
в его поселилась груди

ах бедный бигмачный мой дилер
любви безответной сапёр
ведь лида порою сюда заходила
не видя алёшу в упор

и вот уже осень и сборы
и поезд в свою военчасть
и мама стоит у забора
стараясь не плакать сейчас

главкомы не думая сложно
не зная за это вины
в чечню оправляли алёшу
хотя там и нет той войны

вёл честно со смертью корриду
алёша
но лёжа в кровати посла
мажорная девочка лида
от пули его не спасла

и зная что больше не властны
над ним командиры полка
он боли своей улыбался
он в рану свой палец макал

и словно какое открытие
с улыбкою в четверть лица
мажорная девочка лида
он кровью на скалах писал

Сергей Тенятников

Презумпция невиновности

спам

самолёт летит из осаждённой вены.
я живу в созвездии европы. макияж
в домах меняют окна, к мятежу
готовятся на кухнях жёны.
разговоры коротки, как выстрелы,
но холостыми. мусульмане пробиваются к мечети.
и идут за ними, не скрываясь, тени, точно черти.
так светло — как будто миллионы солнц созрели,
будто папа римский стал наполеоном.
джинса неба разорвалась от потуги,
между облаков сверкают ягодицы бога.
паранджа похожа на попону —
тут и там гуляют запряжённые колясками кентавры.
в моё сердце проникает вирус из лэптопа;
кутается в ночи паранджу европа.
этот текст опубликован на правах рекламы.

неизбранное произведение

как держит земля людей…
истоптанная живыми,
вымощенная мёртвыми,
исписанная цитатами
улиц и прозой ландшафта.

как держит полка книги…
потрёпанные переплёты,
плесень, пепел, пыль.
и как полка без книг — земля
без людей такая же плоская.

презумпция невиновности

сто лет вперёд,
сто лет назад
плывут в воде,
как рыбы, наши лица.
мы открываем рты и
закрываем снова.
мы знаем: есть свет,
есть тьма.
вода в глазах.
вода во рту.
мы — дождь.
мы — снег.
мы превратимся в пар.
и мы не признаём себя виновными.

синие ландшафты

запёкшаяся под ногтем кровь
горит, как солнце. история
учит нас только одному:
рано или поздно тень от любого
предмета превращается в памятник.
и дело тут не в подвиге или в идее:
т. к., чтобы разрушить рим,
не обязательно быть варваром,
чтобы построить новый — напротив.
дело, должно быть, в страхе:
вдруг демиург не найдёт для всех
героев места в этом мире?
история — не память, а, скорее,
беспамятство, в которое впадает
всякий археолог в зените
своей славы или слабости.
и прошлое — не тайна, а чудо
старости: помнить первую любовь,
при этом не зная своего имени.
что ни говори, мы все превратимся
когда-нибудь в собственную одежду.

наше будущее — зеркало.
и оно по праву принадлежит
женщинам. бумага ждёт ответа,
но проблема заключается
не в вопросе, а в личности
вопрошающего. скажу так:
быть варваром перед воротами
рима всё-таки перспективнее,
чем римлянином, ведущим свою
родословную от базарного вора.
т. к. будущее — не эволюция
и даже не отклонение от
прогноза погоды. я и сам
родом из того обрывка
империи, который художники
частенько изображают между
ираном и северной кореей.
но это уже стало историей,
а история учит нас
только одному:
см. выше.

берлинская стена

индейцев с каждой ночью становится
меньше. вымирают от плохой погоды и водки.
будешь в резервации, в восточном берлине,
запишешь в запотевшем окне, как в блокноте истории,—
к тебе лицом строительный кран стоит в треть
оборота, держа бетонную плиту, словно независимость—
статуя свободы. краснокожие медленно, но
верно терпят поражение в последних правах на анашу и
дешёвое пиво. ходят слухи, что в долине потухших
небоскрёбов нашли зелёное золото и скоро
её заселят ковбои со своими коровами.
ты идёшь по улице, как по высохшему руслу реки,
не видя дальше собственного голоса—внемую.
с деревьев отлетает листва, точно чешуя
с мёртвых рыб. стрелки времени на красной
ратуше застывают, словно в янтаре насекомые.
плакать хочется. больно. ты снимаешь бейсболку,
будто скальп с головы.

зарисовка в вагоне-ресторане

в поезде мест хватает на всех
не всегда но всё-таки
кто спит кто читает газеты
другие ходят по вагонам
курят в тамбуре кто на нервах—взатяг
но большинство спокойны расслаблены
видно лето даёт о себе знать в виде отпуска
солнце греет мужчин ниже женщин выше пояса
вперемежку пахнет соляркой и донником
и растрёпанным запахом воблы на соседнем столике
всё что осталось в этом вагоне: пиво на донышке
горячий воздух из радиоприёмника
и спокойствие девушки передающей военные сводки

язык времени

бродят призраки в европе…
я сижу в своей чужой квартире.
на тарелке в праздничном укропе
помидоры будто их прикончил киллер.
мне всё снится что мне снится
будто мёртвый данте круче дуче.
только сколько ни голосовать за солнце
всё равно на небо лезут тучи.
(медленно дымит будто паяльник сигарета
прожигая горло саксофона.)
бродит по европе гитлер—
несгораемый как сейф он.
в мастерской что выше туч и солнца
выше творит художник постаревший.
а на стадионе данте лишний будто предан суду линча
где фанаты глазго рейнджерс после матча ждут реванша.

Флориан Лафани

Увертюра

Перевод с французского Николая Переяслова

Предчувствия

То ль это всполох утренней зари,
то ли гримаса уходящей ночи,
то ль на столбах внезапно фонари
перемигнулись светом между прочим.

Я спотыкаюсь о былые дни,
в которых сердце корчилось от боли,—
как бесконечно медленно они
приоткрывали дверь моей неволи!

И вот я снова слышу, как в груди
грохочет сердце, гибельно ликуя,
завидев дверь в ловушку впереди,
где ждёт во тьме приманка поцелуя…

У моря

Ветер разносит игриво русалочий дух
и распевает стихи о глубинах прекрасных.
Я прохожу сквозь завесу божественных красок,
сердцем туману дивясь, что висит, точно пух.

Там, где лохматую пену весёлый прибой
шлёпает с ходу на мокрый песок, как на блюдо,
сотни и тысячи крохотных крабов-малюток
мечутся шустрой и неугомонной гурьбой.

Вот оно, море! Бездонней—лишь память о прошлом,
что в своих безднах сокровища предков хранит.
Больше не нужно бить молотом в скальный гранит,
Можно смеяться и думать о чём-то хорошем…

Дорога к дому

Туман в душе и боль сердечных мук
рождает странный и тревожный звук—
и я на это откликаюсь дрожью,
готовый мчать за ним по бездорожью,
сдвигая мыслью камни на пути,
чтоб, не теряя времени, прийти
мне в ту реальность, что из всех одна
моей мечтой о чуде рождена.
Мост изо льда передо мной искрится,
а снизу пламя злится, как тигрица…
Лечу вперёд, как гонщик за рулём,
ко всем вчерашним страхам равнодушен.
Пусть мне не стать в том царстве королём—
но я там нужен. И тот мир мне нужен.

Увертюра

В конце концов, для слёз, готовых литься,
всегда найдётся повод хлынуть всласть,
когда, как вихрь, нас втягивает в страсть
безумное стремление влюбиться
и в поцелуях заживо пропасть.
Тем, кто влюблён, так нелегко очнуться
средь миража, что их, как гром, потряс.
Они живут, как будто в первый раз
пришлось навстречу счастью им качнуться…
(Так флорентийцы—прячут свои чувства,
словно мошну от посторонних глаз.)

Искушения

Как жестока порой партитура любви,
когда взгляд дорогой вдруг глядит незнакомо,
и гудят её грубые ноты в крови
не как колокол счастья—как стук метронома!
Разве это хоть малость похоже
на ту радость, что ждал я до дрожи?
Это всё меня мучит и гложет…

Я как будто анафеме предан тобой!
В моё сердце, готовое ринуться в бой,—
как враги в осаждённую Трою,
подозрения вкрались коварной гурьбой
и ослабили силы героя.
«Ты любовь представляешь—игрою?..»

Чувства так неожиданны и глубоки,
как царапины, что оставляют клинки
на столешнице гладкой случайно…
Нам хватает порой и нечаянной,
кем-то брошенной беглой улыбки,
чтоб поверить в любви призрак зыбкий.

Красотой ослеплённый постыдной,
я старался держаться солидно,
так боясь, что услышу вдруг: «Нет»,—
как удар метронома в ответ…

Знать, не зря говорят: «Чтоб любовь уберечь—
надо к ней все мосты, словно рукопись, сжечь…»

Рана

Я порезался острым осколком разбитых небес.
Капля крови упала на море—и высохло море.
Капля боли упала на мир—и там вспыхнуло горе.
Но я смерть обманул, заведя её в звёзды, как в лес.

Всё труднее дышать. И всё меньше надежды в крови.
Будто тонешь в пучине, крича себе в страхе: «Плыви!..»
Но пока остаётся хоть вздох, этот вздох—для любви.

От тебя мне хватило б и слова, чтоб ринуться вдаль
и, туман миражей разогнав, встретить новую битву,
твёрдо шпагу держа и творя в своём сердце молитву
ради тайного взгляда, что прячет до срока вуаль.

В моём сердце звучат и мифический голос сирен,
и мотив твоей песни, что слышится мне из-за стен.
И они не дадут превратиться любви моей—в тлен.

Возмужание

Я спрятал себя за Парнасским холмом
и, сердца осколки собрав, как каменья,
построил из них для укрытия дом,
чтоб взгляд не тревожили тучи забвенья.

Светло и печально
поплыл в небе звон—
то в храме венчанье
вещает всем он.

Я склоном спустился,
гонясь за судьбой,
как будто пустился
с насмешками в бой.

Меня кто-то просит вернуться назад
в пещеру, где тени по стенам висят,
но я уж настолько был жизнью томим,
что плавился иней под взглядом моим.

Все давние страхи умчались куда-то, как птицы,
и прахом рассыпались стены давившей темницы,
и сердце рванулось куда-то всё выше и выше—
к тем высям, откуда когда-то я молнией вышел…

Дубовая роща

Стихи немецких поэтов в переводах Бориса Марковского

Райнер Мария Рильке

● ● ●

Здесь воздух затхл, как в комнате больного,
где смерть исхода терпеливо ждёт;
на мокрых крышах—отблеск дня иного,
как от свечи, что через миг умрёт.

Есть даже в смерти некий промежуток:
вот ожил лист—и всё, и был таков…
И, как над лесом стая диких уток,
ползёт по небу стая облаков.

На Малой Стра́не

В каждом каменном изгибе
древних башен—боль и трепет,—
узкий двор себе на гибель
навсегда забыл о небе.

Лестничных амуров сразу
узнаёшь по жалким позам;
высоко на крышах в вазах
лепестки роняют розы.

Есть калитка там. Кто знает,
что́ за слово удивлённо
солнце по складам читает
там, где слёзы льёт мадонна?

У капуцинов

Добрейший патер Гвардиан
мне предлагает рюмку водки,
такой, что судорога—в глотке,
глоток—и мёртвый будет пьян.

Он ищет ключик от ларца
с сокровищем. Не взял ли кто-то?
Нашёл! нашёл! И капли пота
стекают с жирного лица.

Наполнив рюмки в третий раз,
он каламбурит: «Все мы—гости;
однажды сгинем на погосте,
но дух!—останется от нас».

● ● ●

Над белым за́мком хлопьев хоровод.
В пустынных залах—леденящий холод.
Повсюду—смерть. И край стены отколот.
И снег лежит от окон до ворот.

Повсюду—снег. На крыше—серый лёд.
То—смерть моя вдоль белых стен крадётся
в продрогший сад… Она ещё вернётся
и стрелки на часах переведёт.

● ● ●

Ночь залегла в глубинах парка,
и звёзды кротко светят нам;
луны серебряная барка
плывёт к далёким берегам.

Фонтан рассказывает сказку,
как будто грезит наяву,—
почти без звука, глухо, вязко
упало яблоко в траву.

А от холмов, где кем-то щедро
гряда дубов наклонена,
уже летит на крыльях ветра
дух виноградного вина.

Венеция

Чуждый говор. Мы—в гондоле.
Город в сумрак погружён.
Лодка движется там, что ли,
мимо мраморных колонн?

Тишина. Лишь гондольеров
смех звучит. Весло поёт…
Из каналов тёмно-серых
ночь огромная встаёт.

Чёрный след волной изрезан,
ко́локола дальний звон.
Снится мне: я—мёртвый цезарь
в день державных похорон.

Осень

Листва летит с деревьев и с небес,
чтобы, очнувшись на оконной раме,
пролепетать: «Не так ли будет с вами?»

Так и земля, как мотылёк на пламя,
летит сквозь ночь звезде наперерез.

Вот так же падает, скрывая страх,
из рук твоих—заколка или скрепка…

И всё же есть Один, кто держит крепко
паденья наши в бережных руках.

● ● ●

Чужими стали ваши плечи,
чужими—золото волос,
и обольстительные речи,
и редкие ночные встречи,
когда во тьме пылают свечи,
чей воск неотличим от слёз.

Мы словно два изображенья
над опустевшим алтарём:
ещё исполнены движенья,
ещё полны любви, смиренья,
как будто от богослуженья
мы всё ещё чего-то ждём.

В старом доме

Я в старом доме; тишина.
Всю целиком, как на ладони,
я вижу Прагу в медальоне
распахнутого вдаль окна.

Закат давно уже погас,
лишь вдалеке, мерцая скупо,
вздымает свой волшебный купол
загадочный *Sankt Nikolas.*

Звезда над городом горит,
как будто свет зажёгся в храме,
как будто в старом доме «*Amen*»
мне тихий голос говорит.

Когда наступает весна

Трава блестит под солнцем ярко;
земля весенняя согрета;
мелькнула первая карета
    в аллеях парка.

И где вчера лишь ворон каркал,
один, среди морозных елей,—
сегодня птицы вдруг запели
    в аллеях парка.

Весенний ветер слишком жарко
ласкает гипсовые плечи;
всё те же поцелуи, речи—
    в аллеях парка.

Дворянский дом

Дворянский дом с причудливым фронтоном,
весь в готике, как шрифт на обелиске.
Пустынный двор, и в нём—булыжник склизкий,
и лампа тусклая—в стекле оконном.

Сизоголовый голубь клювом старым
стучит в окно, как дятел или плотник;
здесь ласточки гнездятся в подворотнях;
здесь—колдовство, здесь—колдовские чары.

● ● ●

Здесь что ни день—один и тот же сон:
здесь дети спят, уткнувшись в звёздный полог,
здесь старики, чей век—увы!—недолог,
глядят из окон строго, как с икон.

Здесь что ни день—один и тот же сон:
вечерний звон над полем тихо льётся,
и девушки, сгрудившись у колодца,
в смущенье ждут, когда растает он.

Не туча ли закрыла небосклон?
Нет, это липа машет мне ветвями
и вдаль зовёт… Так дни летят за днями,
и что ни день—один и тот же сон.

В предместье

Старуха в чёрном, что жила над нами,—
она мертва. Но кто она?—Бог весть!
У нищих нет имён, а если есть—
какой в них прок? Бог с ними, с именами…

Внизу пылятся траурные дроги.
Дверь заколочена; ну что ж, пора!
Гроб с руганью выносят со двора,
едва не уронив среди дороги.

Унылый кучер трогает и вскоре,
забыв про смерть, орёт: «Чёрт побери!»—
как будто там лишь жалкий гроб внутри,
а не вся жизнь её—любовь и горе.

Осенний день

Над нами—время. Лето—позади.
И тень Твоя уже на циферблате,
вот-вот пойдут осенние дожди.

Ещё хоть несколько таких недель!
Так целой жизни оказалось мало,
чтобы допить—уже со дна бокала—
вина осеннего тяжёлый хмель.

Кто одинок—тот будет им и впредь.
Кто счастья ждёт—тот не увидит счастья,
тот будет вздрагивать, ломать запястья,
бродить в аллеях парка и смотреть,
как листья падают в часы ненастья.

Пауль Целан

Песня в пустыне

Чёрный венок из обугленных листьев я сплёл на окраине Аккры:
там я скакал на коне и потом заколол его шпагой.
Из деревянной посуды пил пепел колодезный Аккры
и на восток по развалинам неба шёл медленным шагом.

Просто ангелы умерли, просто Бог вдруг ослеп в окрестностях Аккры,
нет никого, кто бы сон мне вернул и покой подарил мне.
Месяц—прекрасный цветок—он растоптан в окрестностях Аккры:
руки шипами цветут и сплетаются в бешеном ритме.

Что ж, напоследок склониться в поклоне, когда они молятся в Аккре…
О, как непрочна кольчуга у ночи—кровь каплет из раны!
Брат ваш смеющийся, ангел железный из Аккры,
всё ещё имя твердит и всё ещё помнит тот отблеск багряный.

Воспоминание о Франции

Повторяй за мной: небо Парижа, огромный
осенний безвременник…
Помнишь, на цветочном базаре мы покупали сердца:
они были голубыми и расцветали в воде.
Вдруг в нашей комнате закапал дождь,
пришёл сосед, месье Ле Санж, печальный карлик,
мы сели играть с ним в карты, я проиграл зрачки,
ты одолжила мне волосы, я проиграл их,
он встал и вышел.
Дождь, как слуга, последовал за ним.
Мы оба умерли, но мы могли дышать.

Фридрих Гёльдерлин

Дубовая роща

От людей пришёл я к вам, гордые дети природы!
От людей, где деревья живут в дружелюбном
пространстве,
Окружённые вечной любовью и вечной заботой.
Но вы! Вы стоите, как гордое племя Титанов,
У подножия гор, подвластны лишь солнцу и небу,
Вас вскормившему и воспитавшему вас на свободе.
Не у людей вы учились хорошим манерам,
Нет, вы уходите вверх, к облакам, ваши сильные корни
Переплетаются между собой, и, как коршун добычу,
Вы когтите пространство, в то время как шумные кроны
Тянутся ввысь и уже облаков достигают.
В каждом из вас—целый мир, вы, как звёзды на небе,
Сосуществуете мирно в свободном союзе.
Ах, если б только и я мог с рабством смириться:
навряд ли
Стал бы завидовать вам—скорее, вернулся бы к людям.
Впрочем, довольно с меня, прочь, одинокое сердце,
Прочь от людей навсегда—лучше в лесах затеряться!

Герман Гессе

Без передышки

Сердце, птаха, что с тобой?
Всё твердишь свои вопросы:
Скоро ли минуют грозы?
Скоро ли придёт покой?

О, я знаю: и в аду
Успокоимся едва ли,
И в раю найдём беду,
Ту, что раньше не встречали;

И опять, в который раз,
Всё завертится по кругу
В шевеленье звёздных масс,
В притяженье их друг к другу.

Элеонор

Вдруг осенью я вспомнил о тебе—
Леса стоят во тьме, сам по себе
День вдруг погас за дальними холмами.
Какой-то звук доносится с небес:
Не ветер ли раскачивает лес
С безлиственными деревами?

Ночь подступает; стали вдруг видны
На небе звёзды; бледный серп луны
Неярким светом землю озаряет
И равнодушно смотрит сверху вниз
На сонный лес и на лепной карниз,
Что плотно к крыше прилегает.

Зимой, когда за окнами темно
Становится, и снег стучит в окно,
И страшный ветер сад ночной тиранит,—
Рояль звучит, и с чудною тоской
Мне прямо в сердце льётся голос твой
И, словно нож, мне сердце ранит.

Тогда вдруг к лампе тянется рука,
Неверный свет плывёт издалека,
И твой портрет в тяжёлой старой раме
Грустит, как встарь, под бременем надежд—
Тогда целу́ю край твоих одежд
И на колени падаю, как в храме.

В тумане

С лёгкой котомкою странник,
Куст или камень у ног,
Кто бы там ни был в тумане—
Каждый из нас одинок.

Всё же подымем стакан—
Дружба превыше всего,
Хоть над дорогой—туман
И не видать ничего.

Тот не приблизится к свету,
Кто в темноту не войдёт,
Кто не погрузится в Лету
И навсегда не умрёт.

С лёгкой котомкою странник,
Куст или камень у ног,
Кто бы там ни был в тумане—
Каждый из нас одинок.

На севере

Хочешь знать, о чём мечтаю?
Будто в молодости ранней
Вижу солнечную стаю
Жёлтых скал и белых зданий.

Белый город в дымке синей,
Город мраморных окраин
Вдруг предстал как на картине:
То—Флоренция, я знаю.

Там в саду, заглохшем, старом,
Где стучит от ветра ставень,
Счастье ждёт меня задаром,
Что когда-то я оставил.

Гавот

Две скрипки в городском саду
Поют в два голоса, и пары
Кружат, как лебеди в пруду,—
Всё тот же, тот же танец старый.

Ах, этот бедный старый сад,
Он знает: было всё иначе
Каких-то двадцать лет назад,
Но это ничего не значит.

Гильермо Кальдерон

Нева

Перевод с испанского Евгения Шторна

Санкт-Петербург. Сто лет тому назад, вечером 9 января 1905 года. В репетиционной одного из столичных театров.

ОЛЬГА. «О мой милый, мой нежный прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье моё, прощай!.. Прощай!.. В последний раз взглянуть на стены, на окна... По этой комнате любила ходить покойная мать...» Не выходит! У меня никак не выходит этот чёртов монолог. Вру, что твой Распутин. Я в панике. Я уже вижу всё, что случится в будущую субботу. В вечер премьеры все эти столичные львицы придут посмотреть на меня. И все эти столичные актрисы придут посмотреть на меня. Посмотреть на мой позор. Посмотреть, как провалится Ольга Книппер. Они жаждут увидеть, как я буду фальшивить, как бездушно я скажу каждое из этих чудных слов. Их смех будет раздаваться всякий раз, как я ошибусь, и они начнут шуршать обёртками от шоколадных конфет. Но в конце, когда опустится занавес и я, улыбаясь, выйду к ним, униженная, благодарная... они будут, стиснув зубы, аплодировать мне как сумасшедшие. И они станут дожидаться меня в коридоре у гримёрки, чтобы обнять меня, а я, робкая, раскрасневшаяся от стыда и от жары, в ореоле дорогих духов, скрывающих запах пота, невыносимого всякой драматической актрисе... я выйду к ним благодарить. Взмокшая, как псинка, я буду спрашивать у них: «Вам понравилось? Ах, вы действительно так думаете? Вы даже представить себе не можете, как я нервничала. Спасибо, что пришли разделить со мной эти минуты душевного волнения. Но вам действительно понравилось? Если бы вам не понравилось, вы бы мне прямо об этом сказали, не так ли?» Ве-ли-ко-лепно, Ольга! Какой трогательный момент, когда ты осушала бокал... когда ты смотрела в окно, у меня остановилось сердце. Сегодня ты играла спиной, Ольга Книппер. Твоя спина передавала даже больше оттенков, чем твоё лицо. И так, сквозь лживую лесть, держа в охапке цветы, я выйду из театра через чёрный ход. А там, на улице, меня будет дожидаться ещё больше заледенелых цветов, оставленных другими поклонниками, что не выдержали сорокоградусных морозов столичного града Санкт-Петербурга. И я сяду в свой экипаж и буду слышать, как они шепчутся в своих каретах, что уносят их прочь от Невского проспекта, прочь от Дворцовой набережной: «Ах, эта напыщенная Ольга Книппер! Нем-чу-ра дур-но вы-ря-жен-ная Ольга Книппер! Мы пришли посмотреть на неё только потому, что она его вдова—гениального Антона Павловича Чехова. Самого великого русского писателя после графа Толстого. Любимого писателя, подаренного нам небольшим городом Таганрогом на берегах Азовского моря, на юге России, семнадцатого января тысяча восемьсот шестидесятого года, третьего из шести детей, пяти сыновей и одной дочери, его семья происходила из крепостных, выкупивших свою свободу, и он благодаря своему уму и старанию сумел выучиться на врача в Москве. Писатель, оставивший нам в наследство великие пьесы и многочисленные рассказы, помогающие понять нашу самобытную душу. Антон Павлович, трагически скончавшийся тому каких-то шесть месяцев в немецком лесу, в смешной гостинице, что-то вроде санатория, от продолжительной болезни, от туберкулёза, от слабых лёгких истинного артиста». И эти коровы будут говорить, дыша чёрным паром, с губами, разъеденными водкой, что я плохая актриса. Что я дилетантка, бездарная марионетка Станиславского и Немировича-Данченко. Что я курица, шлюха, пастушка. Я, ведущая актриса Московского Художественного театра, где репетируют, чувствуют и исполняют роли на грани самозабвения. И даже хуже. Они скажут, что я была ему плохой женой. Что я позволила своему мужу выхаркать свои лёгкие там, в Ялте, пока я расхаживала по московской сцене в образах, созданных им для меня. Но зачем тогда мне понимать, что чувствует Ирина, когда хочет вернуться в Москву? А незачем! Знать, что мой писатель выразил в этой героине свою тоску обо мне, о своей актрисуле, о своём пёсике, о своём маленьком крокодильчике... знать, что

он писал её, думая обо мне в своём ялтинском доме, в своей жаркой Сибири… мне незачем, ибо я ничего не чувствую. А для того, чтобы играть, надо чувствовать, поэтому, Ольга Книппер, ты больше не можешь играть. И мне не по силам более ни этот монолог, ни эта роль. И меня разорвут на части здесь, в этом городе Санкт-Петербурге, в этом французском городе. С чего это я взяла, что будет лучше уехать на время из Москвы и поработать вблизи от августейшей фамилии, что этот город сможет излечить моё сердце, разбитое смертью моего писателя, настигшей нас полгода тому назад? Нет, здесь ещё хуже. Так напряжённо в Петровом граде, что я даже плакать разучилась. Всё, состоящее из воды, стало льдом — всё, включая людей. Ночью дворцы блестят и исходят паром, и все — даже дети — ведут себя так, как если бы дни этого мира были сочтены. В моей жизни не было ничего важнее театра. Всякий раз, как я надеваю платье новой героини, я должна оставаться самой собой. И презирать славу и всех, кто меня любит. И презирать знаменитостей и самоё себя, раскрашивающую своё лицо у зеркала, или когда я надеваю новый костюм и мне тесно в нём, потому что я толстая, или когда я в антракте пожираю с жадностью плитку шоколада. Я сижу в гримёрке, с набитым ртом, и не могу дышать, сопя носом, как свинья, как курица, как пастушка. Потому что для меня, Сергей, это — наказание. Меня унижает то, что на меня смотрят. Однако мне доставляет удовольствие, когда меня приглашают и говорят: «Мы хотим, чтобы вы исполнили такую-то роль». Мне льстит, что я подхожу совершенно для той или иной роли. И я ненавижу провалы. Мне нравится, чтобы меня любили. Порою это делает меня немного счастливей. Сергей, а почему никто более не явился на репетицию?

АЛЕКО. Не унывайте, Ольга, мы счастливы принять у себя такую актрису, как вы.

ОЛЬГА. Благодарю вас.

АЛЕКО. Знаете, Ольга, а мне нравится быть актёром. Я счастлив, но я стыжусь своего счастья. И если никто не пришёл на репетицию, так это потому, что нынче Кровавое воскресенье.

ОЛЬГА. Какое сегодня число?

АЛЕКО. Девятое января тысяча девятьсот пятого года, запомните этот день. Когда я шёл сегодня на репетицию, я стал свидетелем стачки рабочих, окончившейся стрельбой. Я боюсь, что другие актёры могли погибнуть там. Не знаю, понимаете ли вы, но, похоже, в нашей стране настало время революции. Да, и меня зовут не Сергеем, а Алеко.

Кто-то входит.

ОЛЬГА. Кто это?

МАША. Маша.

АЛЕКО. Маша!

ОЛЬГА. Маша, играйте.

МАША. Что?

ОЛЬГА. Финальная сцена. Мой монолог.

МАША. Ольга, напомните мне слова.

ОЛЬГА. «О мой милый, мой нежный…»

МАША. Ах, да… un, deux, trois… «О мой милый, мой нежный прекрасный сад!… Моя жизнь, моя молодость, счастье моё, прощай!… Прощай!… В последний раз взглянуть на стены, на окна… По этой комнате любила ходить покойная мать…»

АЛЕКО. У тебя вышло как-то бездушно.

МАША. Что?

АЛЕКО. Бездушно.

ОЛЬГА. Единственное, что ты сказала верно, — это «un, deux, trois». Маша, я хочу, чтобы ты играла.

МАША. С того же места, Ольга?

ОЛЬГА. Нет, играла. Выбери что-нибудь из своего репертуара, что-нибудь любимое… и сыграй нам.

МАША. «Я теперь знаю, понимаю, Костя… что главное — это уменье терпеть…»

Ольга и Алеко смеются.

Продолжать?

ОЛЬГА. Да, продолжайте.

МАША. «…терпеть. Умей нести свой крест и веруй…»

ОЛЬГА. Я пытаюсь поверить, но при всём желании мне это не удаётся… «Умей нести свой крест…» — так могу сказать и я, бездарная актрисулька. У тебя больные бронхи? Тогда почему ты дышишь, как загнанная лошадь? *(Смеётся.)* «Я теперь знаю, понимаю, Костя». Ты похожа на кузнечные меха. Зритель должен плакать, тронутый красотою текста, а не тем, что актриса истязает себя на сцене.

АЛЕКО. Ольга, позвольте задать вам один технический вопрос. Когда Антон Чехов умер… полгода тому назад… на ваших руках… в бреду… от туберкулёза… после непродолжительного брака, и, проведя так немного времени вместе, пока вы были заняты своей карьерой в Московском Художественном театре, а он, одинокий, дожидался вас в Ялте… харкал кровью… свои лёгкие. Когда Антона Чехова, наконец, не стало… что вы почувствовали?

МАША. Ольга, я вам не говорила прежде, но дело в том, что эта обувь мне жмёт — может быть, поэтому я так плохо дышу.

АЛЕКО. Возможно, то, что вы почувствовали, Ольга, отвлекает вас, когда вы выходите на сцену, чтобы плакать, чтобы играть?

ОЛЬГА. Я не помню. Я не помню… Я хочу уйти… Маша, обними меня! Я не помню! Кажется, в комнату ворвалась огромная бабочка в ту ночь, когда Антон умер, только я не помню, до или

после того, как его дыхание остановилось. Ещё я помню, что Антон улыбался, перед тем как испустить дух, но я не помню… Я хочу попросить вас об одолжении. Вы не могли бы разыграть для меня смерть Антона? Это небольшая просьба, Маша, я прошу тебя об одолжении.

АЛЕКО. Ольга, я могу исполнить роль Антона.

ОЛЬГА. Спасибо, Алеко.

МАША. Я тоже могу исполнить роль Чехова.

ОЛЬГА. Да? *(Маше.)* А ну, покашляй. *(Алеко.)* Теперь ты, Алеко.

Алеко кашляет.

Покашляй, Маша.

Маша кашляет.

(Алеко.) Ты будешь играть Антона.

АЛЕКО. Спасибо, Ольга.

ОЛЬГА. Тебе достаётся роль доктора Шверера. Доктор Шверер склонился над Антоном и неразборчиво шепчет ему что-то по-немецки.

МАША. Ольга, но я не говорю по-немецки.

ОЛЬГА *(Алеко)*. Она актриса и не говорит понемецки… а на каком языке, ты думала? Ты будешь говорить по-немецки, потому что доктор Шверер был немец. Сейчас ты вымолвишь: ich sterbe.

АЛЕКО *(Маше)*. Я умираю.

ОЛЬГА. Теперь ты, Маша, введёшь ему инъекцию камфары и затем попросишь Льва Рабенека, русского студента, он отдыхал в Баденвейлере и очень помог нам в тот день, принести бутылочку шампанского. Алеко выпьет бокал шампанского, затем он повернётся ко мне… а затем—он умрёт… умрёт, Маша. Спасибо. Вы прекрасные люди. *(Принимает исходное положение.)* Приготовились!

Алеко кашляет.

МАША. Я доктор Шверер.

ОЛЬГА. Доктор!

МАША. Ich brait sheit und wis if kurt nais kris yaikenshipnein… *(Говорит на импровизированном немецком.)*

Алеко смеётся.

Ольга, я не могу так играть, Алеко насмехается надо мной.

ОЛЬГА. Да как ты смеешь прерывать сцену, едва начав её? Это ты, похоже, насмехаешься. Ты что, меня за клоуна держишь? За буффона? Да на каком основании ты самовольно прерываешь сцену? Будь любезна впредь проявлять уважение. Потому что такими выходками ты выказываешь неуважение не только мне, сцене, театру, такими выходками ты выказываешь неуважение твоему партнёру, который был абсолютно сконцентрирован на площадке. А потом ты удивлённо таращишься на меня, когда я говорю, что ты играешь бездушно. Ты считаешь, что благородный человек может прервать сцену в самом разгаре действия?

МАША. Ольга, прошу вас, простите мне, что…

ОЛЬГА. Маша, я тебя умоляю. Дай мне прийти в себя. Я всё ещё не оправилась от твоей последней выходки.

Пауза.

Приготовились!

Возвращаются к сцене.

МАША. Я доктор Шверер.

ОЛЬГА. Доктор!

МАША. Скорее, Лев! Шампанского!

АЛЕКО *(выпивает шампанское)*. Давно я не пил шампанского. *(Начинает задыхаться и кашлять.)*

ОЛЬГА. Антон!

АЛЕКО. Крокодильчик! *(Умирает.)*

ОЛЬГА. Всё было не так. Нет… было не так.

АЛЕКО. Ольга, может, ничего не получается из-за немецкого? Маша ведь не говорит по-немецки.

МАША. Нет, Алеко. Ольга, согласно Льву Рабенеку, вы не сидели здесь, но застыли вон там.

ОЛЬГА. Да? Спасибо, Машенька, ты чудо! *(Следует Машиным указаниям.)*

МАША. Согласно Льву Рабенеку, некий странный звук стал вырываться из горла Антона Павловича.

Алеко стонет.

Кругом царила гробовая тишина, свет лампады начал гаснуть. Доктор взял Антона Павловича за руку и не произнёс ни слова; казалось, что Антон Павлович был вне опасности, что ему стало лучше. Но когда доктор отпустил руку Антона Павловича, Лев Рабенек произнёс: «Всё кончено, herr Чехов умер». Затем Лев Рабенек подошёл к Ольге и сказал…

ОЛЬГА. Нет, Маша.

МАША. Ольга…

ОЛЬГА. Я не хочу.

МАША. Ольга… *(В роли Льва Рабенека.)* Ольга Леонардовна, доктор сказал, что Антон Чехов умер.

ОЛЬГА. Нет, доктор, нет… скажите, что всё это ложь, прошу вас! *(На грани обморока.)*

МАША *(в роли доктора)*. Ольга! Ольга! *(Взывая о помощи.)* Лев! Ольга!

АЛЕКО. Простите, Ольга, всё так и было?

ОЛЬГА. Нет, всё было не так.

АЛЕКО *(Маше)*. Хватит, хватит! *(Приготавливая новую сцену.)* Грелка, стакан. Ольга, я буду Чеховым. *(Кашляет.)*

ОЛЬГА. Нет, нет, Антоша. Ты обещал мне новую пьесу, об одном писателе, что едет в Москву, потому что хочет увидеть на сцене свою жену

в пьесе, написанной им специально для неё… Ты мне обещал.

АЛЕКО. Крокодильчик… ты даже не представляешь себе, как я хочу вернуться в Москву.

МАША. Алеко, Антон Павлович сохранял достоинство до последнего вздоха.

АЛЕКО. Доктор, я умираю.

МАША *(в роли доктора)*. Скорее, Лев, кислород.

АЛЕКО. Это уже ни к чему, когда его принесут, меня уже не будет.

МАША *(прерывая его)*. Ольга, на следующий день после смерти Антона Павловича журналист московского журнала «Русские ведомости» Григорий Борисович Иоллос взял у вас интервью в отеле Баденвейлера. В час ночи у Антона Павловича начался бред.

АЛЕКО *(в роли Чехова, бредит)*. Я вижу революцию. На следующий день после стачки царь, наш русский цезарь, уедет жить в поле, и мы осиротеем, и будет война, и будет голод, и простые, как я сам, люди будут пожирать друг друга. Пока в один прекрасный день мы все не отправимся на Финляндский вокзал встречать нового вождя, лысого наэлектризованного мужичка, набитого опилками, и вместе с ним мы ворвёмся во французский музей у невских берегов.

МАША *(все возвращаются в исходные роли)*. Ольга кладёт Чехову на грудь мешочек со льдом. Антон Павлович говорит: «Не кладите лёд…»

АЛЕКО. Не кладите лёд на опустошённое сердце, ich sterbe, я умираю.

МАША. Ольга убирает мешочек со льдом с груди Антона Павловича. Окно открыто настежь, и слышится пение птиц. Ольга обнимает Антона Павловича и нежно целует его.

ОЛЬГА. Нет, нет! Нет. *(Обнимает Алеко, целует, а затем начинает ударять его.)*

АЛЕКО. Ольга, простите меня.

ОЛЬГА. За что, Алеко?

АЛЕКО. За то, что я люблю вас, ещё с тех пор, как я увидел вас в «Трёх сёстрах» два месяца тому в Москве. Я так влюбился, что теперь хожу под себя по ночам.

ОЛЬГА. Алеко, я уже своё отлюбила, внутри меня всё перегорело.

АЛЕКО. Тогда спасите меня, Ольга, простите меня. Я хотел смерти вашему Антоше, и желание моё исполнилось. Ольга, прошу вас, простите меня, я так груб и неотёсан. Прошу вас, простите меня, Ольга.

МАША. Вы позволите, я принесу льда?

АЛЕКО. Нет!!! Нет, не уходи! Не оставляй меня наедине с ней!!! Ольга, я голодранец. Я до тринадцати лет бегал без обуви, я питался молоком матери и сестры, когда они рожали мне братьев и племянников. Отец избивал меня, я никогда не видел его трезвым, и он не решался посмотреть мне в глаза. Я вырос в доме одного батюшки, он говорил, что я неплохо пою и что зимой не скулю от голода. Вот какой была моя жизнь в деревне, Ольга, и я был счастлив. Я захотел уехать в город, но в тот день, когда я приехал, я стал свидетелем того, как пьяные мужики палками до смерти забили лошадь. Я склонился над ней, поцеловал её прямо в глаза и ушёл, перепачканный кровью, Ольга. Я так же, как и вы, перепачкан кровью. Поэтому, когда я увидел вас на сцене,—меня пригласила в театр одна женщина, она платила мне за то, что я любил её,—я сошёл с ума от вас. Потому что вы грустная, потому что вы умеете держать себя, потому что я всегда хотел быть таким, как вы, и носить такие же платья, какие носите вы. И с тех пор, как вы стали репетировать с нами, у меня всё время стоит. Я уже две недели выбегаю на мороз помастурбировать, и мой пенис почернел от холода. Я хочу в вас… войти. Я люблю вас и хочу, чтобы вы тоже меня любили, но вы не позволите себе полюбить нищего. Нет, не засматривайтесь на мою солдатскую харю; когда я скину рубаху, вы всё поймёте сами. У нас, у нищих, меньше костей, а те, что есть,—шире, чем у вас, мы вам не ровня. У меня вся жопа изъедена крысами. И от меня воняет бабой там, где должно вонять мужиком, и я не умею любить без того, чтобы хотеть ударить, убить, блевать, молиться, брать и снова любить. Самым важным своим органом я считаю аппендикс, и я хочу вогнать его в ваши чресла и видеть, как заблестят капельки пота у вас на висках.

МАША. Алеко!

ОЛЬГА. Продолжайте, продолжайте.

МАША. Алеко!

АЛЕКО. Нет, я уже закончил.

ОЛЬГА. У вас грязный, сладкий ротик. Я не могу пошевелиться.

АЛЕКО. Я сейчас репетирую этот монолог, по Достоевскому. Вам понравилось?

МАША. Алеко!

ОЛЬГА. Так вы меня не любите? *(Плачет.)*

АЛЕКО. Нет. *(Успокаивая её.)* Ольга, ну Ольга, вы любому можете вскружить голову.

ОЛЬГА. Значит, вы играли?

АЛЕКО. Да!

ОЛЬГА. Попрошу вас впредь ничего такого больше не играть. *(Переходит от слёз к смеху.)*

МАША *(удивлённо)*. Ольга, вы удивительная актриса.

ОЛЬГА. Нет. Была когда-то.

МАША. Когда вы репетируете, я вижу то, о чём вы думаете.

АЛЕКО. А что чувствует?

МАША. Да, и что чувствует—тоже.

ОЛЬГА. Ты знаешь, что я чувствую?

МАША. Ольга, но в чём секрет вашего великого таланта? Вы думаете, что я тоже стала бы

великой актрисой, если бы секс доставлял мне удовольствие?

алеко. А что, Маша, тебе не нравится заниматься любовью?

ольга. Маша, умоляю, давай не будем говорить об этом в присутствии Алеко, я не позволяю себе затрагивать эту тему даже в разговорах с женщинами.

маша. Мне необходимо поговорить о себе.

алеко. Ольга, со мной вам нечего стесняться, мы всё время только об этом и говорим.

ольга. Да?

маша. Да.

алеко. Да.

маша. Мы даже однажды перешли от слов к делу.

ольга. К какому делу?

маша. К сексу.

алеко. К сексу.

ольга. К сексу?

алеко. Да, я занимался с ней сексом.

маша. Да, это случилось летом, в гримёрке нашего театра. Мы это сделали, сидя на стуле.

Алеко указывает на стул, на котором сидит.

Да, на этом самом стуле. Но мне не понравилось.

алеко. А мне понравилось, Ольга. Но я согласился на это только для того, чтобы она справилась с ролью: её героиня—это женщина, влюбившаяся в деревенщину.

маша. В шахтёра.

алеко. Шахтёр, деревенщина—какая разница?

ольга. И тебе это помогло?

маша. Да, я поняла, что если это не приносит тебе удовлетворения, можно придумать себе другого, лучшего мужчину, спровоцировать душевную боль и страдать…

Пауза.

Ольга, а это правда, что вы не позволяли Антону Павловичу заниматься с вами любовью из-за того, что у него был туберкулёз?

ольга. Так вот что о нас говорят?! Актёры!

алеко. Но он вас заразил или нет?

ольга. Нет!!!

Пауза.

Бывало так, что, когда мы занимались любовью, Антон кашлял и харкал кровью, а я продолжала целовать его. А что мне оставалось делать… прогнать его?

маша. Вы думаете об этом, когда вам нужно играть любовные сцены?

ольга. Нет… никогда в жизни.

маша. Алеко говорит, что это помогает.

ольга. Да?

алеко. Да, я думаю, что помогает. Например, Ольга, если кому-то предстоит сказать: «Я люблю тебя»,—но никакой любви он не чувствует,—достаточно вспомнить о том, кого действительно любишь.

ольга. Но ведь перед тобой другой человек?

алеко. Надо подменить его в своём воображении.

ольга. Как?

маша. Приведи пример, Алеко.

алеко. Например… «Мать, прости меня… отрежь мне руку».

Маша смеётся.

ольга. Нет, не смейся! Почему ты смеёшься? Это было прекрасное исполнение. О чём ты думал, Алеко?

алеко. О своей матери, когда я бил её по лицу.

ольга. Ты бил свою мать по лицу?

алеко. Нет, Ольга, это я тоже вообразил себе.

ольга. А ты замечательный актёр, Алеко. Он себе это вообразил, Маша. Твой партнёр замечательный актёр.

алеко. Ольга, спасибо.

маша. Никакой он не замечательный актёр, Ольга, просто он из дворянского рода, он буржуй, и ничем другим он в жизни не занимался.

алеко. Да, Ольга, я дворянин и миллионер. Я вырос среди собак, что ели прямо со стола те же деликатесы, что и мы.

маша. Если бы вы были знакомы с его матерью, Ольга.

алеко. А причём здесь моя мать? А притом, что у моей матери во рту зубы из кости индийских слонов, Ольга. В детстве она всегда наряжала меня в морского офицера.

маша. У них был свой собственный домашний театр… свой театр!

алеко. Да, Ольга, у нас был театр, свой собственный театр и свои собственные актёры; один актёр из крепостных научил меня многим секретам мастерства. Он говорил, что играть—это всё равно что сгорать от любовной страсти, он был жутко сентиментален, и в глазах у него вечно стояли слёзы. С его благословения я приехал в Петербург и сделался актёром.

маша. Чтобы проводить каникулы во Франции.

алеко. Да, я проводил каникулы во Франции, я проводил каникулы во Франции. Знаешь, что со мной случилось во Франции? Я присутствовал при одном гильотинировании; как незатейлив всё-таки человек! Поэтому-то я вечно пьян, с высунутым фиолетовым языком, и поэтому я по два раза в неделю просыпаюсь на улице, голым. Ольга, нам надо вернуться к той жизни, что вели первые христиане, нам надо остановить прогресс. Я ушёл бы жить с моими детьми и их матерями в деревню, даже если бы моим красавицам было не больше пятнадцати лет. Я заставлял бы их молиться, чтобы их бог внушил им, что я насилую их по любви и что

все эти дети, мои дети,—это плоды небесной любви. Хотите, я для вас сыграю?

ОЛЬГА. Да.

АЛЕКО. Какую-нибудь определённую сцену?

ОЛЬГА. Что-нибудь из моей жизни. Не мог бы ты исполнить то, что случилось с Машей Чеховой, сестрой Антона, когда она узнала, что мы собираемся пожениться?

АЛЕКО *(в роли Чехова)*. Маша, сестра, я женюсь.

МАША *(в роли Марии Чеховой)*. Нет.

АЛЕКО. Но ведь мы будем жить все вместе.

МАША. Нет. Зачем тебе жениться, если у тебя есть я?

АЛЕКО. Ты—моя сестра.

МАША. И?..

АЛЕКО. Что «и»?..

МАША. И!..

АЛЕКО. «И»... что?

МАША. И... то, что я тебе готовлю, убираю за тобой, переписываю твои письма, убиваю для тебя котов из охотничьего ружья, я вдохновляю тебя, я смеюсь над твоими рассказами...

АЛЕКО. Но, Маша, я хочу жениться и иметь интимные отношения с другой женщиной.

МАША. Фу, какая гадость! Зачем? Ты можешь и дальше мастурбировать в саду, как ты всегда это делал.

АЛЕКО. Я хочу женщину.

МАША. Я—женщина.

АЛЕКО. Женщину, которую я мог бы целовать.

МАША. Ты можешь меня целовать...

АЛЕКО. Языком?

МАША. Да хоть языком!

АЛЕКО. И трогать твою грудь?

МАША. Нет! Дегенерат... мы ведь родные брат и сестра. Ты хочешь трогать мою грудь? Нет!.. Ну хорошо, трогай мою грудь, делай всё, что тебе заблагорассудится. Но не женись... Никто не будет любить тебя так, как я.

АЛЕКО. Да, я знаю.

МАША. И?

АЛЕКО. Но я хочу попробовать.

МАША. Попробовать что?

АЛЕКО. Попробовать... не знаю, быть женатым человеком, трогать свою жену, спать с нею, рассказывать ей о моих проблемах...

МАША. Но какие у тебя могут быть проблемы, Антон, если все твои проблемы решаю за тебя я?

АЛЕКО. Кашель. Вот одна из них. Туберкулёз, страх смерти, например.

МАША *(после паузы)*. Эта толстая, старая, косоглазая, хромая, дёрганая Ольга Книппер, безвкусно выряженная, бездарная марионетка Станиславского и Немировича-Данченко, курица, пастушка, могильщица. Я её ненавижу. Зловещая актриса; когда она выходит на подмостки, от неё пахнет львицей.

АЛЕКО. Мария... Маша... Я люблю тебя, но только иначе... Я влюблён в неё, в Ольгу.

МАША. Антон, Антоша! Зачем мы выросли? Детьми мы были так счастливы, когда играли в грязи. Я снова хочу быть маленькой девочкой. Выбери меня, я знаю тебя лучше, чем кто-либо.

АЛЕКО. Тебе тоже надо влюбиться.

МАША. Знаешь, чего мне хочется? Мне хочется, чтобы ты женился на ней, чтобы писал для неё пьесы и превратил бы её в богиню, и чтобы ты держал её на расстоянии, в Москве, и чтобы ты рыдал от тоски по ней. И чтобы ты кашлял с каждым разом всё сильнее, и чтобы ты понял, что та, кто не покинула тебя ни на миг, была я, и что секс и вся эта мерзость, о которой ты так грезил,—всё это было сущей ерундой. И чтобы после твоей смерти она страдала от чувства неизгладимой вины, и чтобы она растолстела и больше никогда не смогла бы выйти на сцену. А я останусь здесь, в этом доме, и сохраню всё в точности, как было. До тех пор, пока всё это не станет музеем. Я стану ужасной эгоисткой, а твой сад весь высохнет. О мой милый, мой нежный прекрасный сад!..

АЛЕКО. Маша, Машенька, прошу тебя, не злоупотребляй алкоголем, табаком и рыбой. Пей аспирин и вводи себе мышьяк под лопатку. А если всё это не поможет—подожди, пока ты состаришься, и всё пройдёт, и придут настоящие болезни.

МАША *(Ольге)*. Свинья, немчура поганая, это ты всё устроила, это ты завладела моим братом. Если ты превратишься в Наташу из «Трёх сестёр», я придушу тебя своими собственными руками. Нет, я не стану мараться, перегрызая тебе горло, я просто-напросто тебя придушу... Я хочу покончить с собой, жизнь моя потеряла всякий смысл... Всё из-за женитьбы моего брата... Зачем, Ольга, зачем нужно было причинять себе столько неудобств и выходить за тяжелобольного? Как странно, что ты теперь будешь Чеховой. Ольга, Оленька, ты ведь знаешь, что я тебя обожаю... мы так сроднились с тобой за последние два года... Прошу тебя, найди мне богатого и благородного супруга.

ОЛЬГА. Прекрати юродствовать, Маша. А почему бы тебе не влюбиться?

МАША. Мне? Я ещё никогда не влюблялась. Я завидую вам, Ольга, даже невзирая на смерть вашего Антона.

ОЛЬГА. Разве тебе никогда никто не нравился так, что даже сама идея, что этот человек может состариться и умереть, жгла бы калёным железом?

МАША. Ольга...

ОЛЬГА. Ах, это было замечательно, просто замечательно, Алеко. Мы не должны оставлять театра.

АЛЕКО. Да, мы должны сыграть пьесу, которая излечила бы наши души.

ОЛЬГА. Когда сойдёт снег, мы обязательно сыграем такую пьесу.

МАША. Почему? У тебя болит душа, Алеко?

ОЛЬГА. Ты просто замечательный актёр, Алеко. Машенька, это было просто замечательно. Мы никак не можем оставить теперь театр.

МАША. А почему вы не играете с нами, Ольга?

ОЛЬГА. Я?

МАША. Да.

ОЛЬГА. Для чего?

МАША. Чтобы проверить: а вдруг способности к вам вернулись?

ОЛЬГА. Алеко, а ты что думаешь?

АЛЕКО. Да, я совершенно с ней согласен.

ОЛЬГА. «Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего… Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде… Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, тёплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства—чувства, похожие на нежные, изящные цветы…»

АЛЕКО. Ольга, мне кажется, вам следует снова заняться любовью. Может быть, это поможет вам вернуть свои способности.

ОЛЬГА. А что, если занятие любовью доставит мне удовольствие?

МАША. Тогда вы почувствуете себя отвратительно.

ОЛЬГА. Да?

АЛЕКО. Вы можете испробовать это со мной.

ОЛЬГА. Хорошо.

АЛЕКО. Хорошо?

МАША. Алеко, ты будешь шептать ей на ушко те же милые слова, что шептал мне когда-то?

АЛЕКО. Маша, какие милые слова?

МАША. Что я самая красивая женщина в мире и что ты хочешь, чтобы я родила тебе детей.

АЛЕКО. Маша, а у меня стоял?

МАША. Алеко!

АЛЕКО. Тогда не считается.

ОЛЬГА. Значит, и мне ты скажешь всё то, что говорил Маше?

АЛЕКО. Ну, если вы хотите…

ОЛЬГА. Да. Я хочу. Я хочу, чтобы вы шептали мне всякие нежности. Что вы любите меня, что я такая худенькая и так молодо выгляжу, что у меня упругая грудь и что вы не разлюбите меня, даже когда я буду играть из рук вон плохо. Говорите мне, что я ваш маленький крокодильчик, ваша любимая лютеранка, обнимите меня со всей силой и сломайте мне рёбра, душите меня и заставляйте плакать. Я хочу, чтобы вы кусали свой язык, чтобы вы харкали кровью и чтобы вы называли себя Антоном, и вы будете жить ещё много-много лет, и у нас родятся три девочки.

МАША. Министр Вячеслав фон Плеве был убит.

ОЛЬГА. Как?

МАША. Эсер Егор Созонов бросил ему бомбу.

ОЛЬГА. Какой ужас. Но я совершенно ничего об этом не знала.

МАША. Тому уже полгода, Ольга.

ОЛЬГА. Антон тогда только умер.

АЛЕКО. Очень многих уже убили.

МАША. Он был шефом тайной полиции и антисемитом, чтоб он в гробу перевернулся.

АЛЕКО. Он был человеком.

МАША. Ольга, Алеко у нас православный.

ОЛЬГА. Да? Ты верующий? Но ты ведь добрый христианин, не так ли? Помоги мне, пожалуйста. Сыграй мне ещё разок смерть Антона. Но только не забывай бредить.

АЛЕКО. Я вижу революцию, Ольга. Нашему городу дано новое имя, отныне это Петроневск, или Невоград, или Антончеховград. Я вижу новую войну, белую, зимнюю войну. Нас отправляют на работы в Сибирь. Нам очень холодно, и совсем не остаётся времени читать. Я вижу, как новый человек, новый вождь своими выпачканными в жиру пальцами перекрашивает нас в красный цвет. Я вижу, как солдаты, рабочие и крестьяне умирают и плывут по реке, убитые этим новым царём, этим новым цезарем. А я любил только водку, шампанское, ружья, лук, леса и свободу без Бога. Я вижу, что я не разлюбил Россию. Что всё это стоило того, чтобы выиграть Великую Отечественную войну и отправить пару сучек в космос. Я влюблён в Россию.

МАША. Я тоже думаю о России.

ОЛЬГА. А давайте устроим праздник.

МАША. Давайте.

АЛЕКО. Опять?

МАША. Но ведь то был не праздник.

АЛЕКО. А для меня это был праздник.

ОЛЬГА. Что не было праздником?

АЛЕКО. Когда мы встречали вас в фойе нашего театра.

ОЛЬГА. С шампанским?

МАША. Это был совсем не праздник.

АЛЕКО. А для меня это был праздник.

ОЛЬГА. Праздник—это что-то совсем другое.

АЛЕКО. Для меня это был праздник. Мы ели пирожные и пили вино.

МАША. Шампанское.

АЛЕКО. Может быть, но я пил вино.

МАША. Когда ты пил вино?

ОЛЬГА. Мне не подавали вина.

АЛЕКО. Мы танцевали… я танцевал.

ОЛЬГА. Ты танцевал со мной.

МАША. Когда?

АЛЕКО. Ты была в уборной.

МАША. Нет.

АЛЕКО. Ну, значит, ты смотрела в другую сторону.

МАША. И что же вы танцевали?

ОЛЬГА. Полонез?

МАША. Да, давайте устроим праздник.

ОЛЬГА. Да, мы должны устроить праздник, но только не здесь, где-нибудь в другом месте.

маша. Где-нибудь, где будет больше места.

алеко. Мы можем поехать домой к Андрею.

ольга. У него такой большой дом?

маша. Да, он живёт прямо над рестораном своего брата.

ольга. А что это за ресторан?

маша. Скромный, но чистый.

алеко. Как Маша.

маша. А может быть, устроить праздник где-нибудь в шикарном и грязном месте?

ольга. Как Алеко.

алеко. Да, Ольга. Это в вашем вкусе — шикарное и грязное.

маша. Мы должны пригласить Сергея, чтобы он сыграл нам на арфе. Алеко, ты пригласишь меня на танец?

алеко. Нет, я уже ангажирован Ольгой.

ольга. Но знайте, я буду думать о другом мужчине.

алеко. Я знаю о ком. Я добавлю себе в ром красного вина и сделаю вот что… *(Кашляет, имитируя Чехова.)* Никогда больше не выходи на сцену, Ольга, и не влюбляйся, и не танцуй, у тебя не осталось права на счастье.

ольга. Маша, вам хотелось когда-нибудь кого-нибудь убить?

маша. Да. Я всё время мечтаю о поджоге, Ольга.

ольга. Но я прощаю Алеко. Меня очень забавляет его чувство юмора.

алеко. Спасибо большое.

ольга. Нам просто необходим праздник.

алеко. Да, нам необходим праздник, кровавый праздник. Я хочу сказать тост. Я пью за нашу царицу. Как-то утром она проснулась в хорошем настроении и сказала: «Николай, идёт снег, я хочу на прогулку по Неве». И вот она стоит на палубе своего корабля, и ей доставляет удовольствие смотреть на Россию; вдоль берега бегут солдаты и торопятся возвести для неё целые города. Ольга, во всём белом свете не сыскать лучших декораций, чем наш город. Люди выходят на улицы, ряженные в нищих, ибо в действительности каждый обитающий здесь сказочно богат.

ольга. Я тоже хочу сказать тост. За нашу царствующую фамилию! За нашу императрицу, немку, как и я, дай ей Бог мужественного и здорового сына.

маша. И я хочу сказать тост. Я поднимаю свой бокал за нашего режиссёра, который сегодня не пришёл. Возможно, он сейчас на улице, голый, мёртвый, окаменевший.

ольга. Маша, не будь смешной, мы решили устроить праздник.

алеко. Да, Маша. Не говори так о нашем режиссёре.

маша. Но ведь я же люблю его, Алеко. Нет, вернее, любила.

ольга. Возможно, он всё ещё жив.

алеко. Я предлагаю выпить за Гапона.

ольга. Я обожаю Гапона, он очень сенсуальный актёр.

Маша смеётся.

алеко. Нет, Ольга. За попа Гапона, священника, организовавшего массовое шествие рабочих сегодня утром.

ольга *(Маше).* Ты хихикаешь. Ты насмехаешься над тем, что я не знаю, кто такой этот Гапон. Ну что ж, хохочи, да так — что есть мочи, хохочи во всё горло; если уж ты смеёшься надо мной, так смейся громко, чтобы лопнули перепонки. Пусть всему Петербургу станет известно, что тупая кретинка Ольга Книппер не знает, кто такой Гапон. *(В слезах.)* Я не обязана знать ни о каком Гапоне. Зачем мне знать какого-то там Гапона? Я только что прибыла из Москвы!

алеко. Ольга, присядьте, прошу вас. Ольга, поп Гапон — это священник, это организатор массового шествия рабочих нынче утром.

ольга. Для чего?

маша. Расскажи ей, Алеко.

ольга. А ты заткнись! *(Алеко.)* Для чего?

алеко. Нынче утром рабочие всем миром снесли свою петицию царю.

ольга. И что говорилось в петиции?

маша. Расскажи ей, Алеко.

алеко. Помолчи, прошу тебя!

ольга. Будь любезна заткнуться!

алеко. Петиция взывала к справедливости, к защите. Она гласила: «Мы обнищали, нас угнетают, над нами надругаются, нас душат деспотизм и произвол».

ольга *(смеётся, её слёзы были только игрой).* Нет, Алеко, правда, и что же сделал царь?

алеко. Ничего. Его офицеры вывели на улицы двенадцать тысяч солдат. Отец Гапон остановил шествие и спросил у рабочих, преданных царю: «Товарищи, неужели полиция и солдаты посмеют остановить нас?» И они ответили, что нет. На что отец Гапон сказал им: «Товарищи, лучше умереть всем нам за нашу правду, чем жить при таких законах».

маша. Лучше умереть, отец.

алеко. Да заткнись же ты!

маша. Вот что они сказали; расскажи ей всё, Алеко.

алеко. Рабочие ответили ему: «Мы лучше умрём!» Но когда процессия дошла до Нарвской заставы, эскадрон конницы сбил с ног мятежников, а пехота открыла по ним огонь. Когда отец Гапон увидел эту кровавую расправу, он остановился посреди улицы и закричал: «Нет больше ни Бога, ни царя!»

ольга. А где сейчас отец Гапон?

алеко. Я не знаю.

ольга. Он умер?

маша. Нет, Ольга. Он не умер.

ОЛЬГА. А ты откуда знаешь?

МАША. Я виделась с ним прямо перед тем, как прийти сюда. Дома у Горького.

ОЛЬГА. Ты была дома у моего близкого друга Максима Горького?

МАША. Горький пригласил меня. Им нужна была актриса или кто-нибудь, кто умеет накладывать грим. Они должны были вытащить отца Гапона из города. Я одела его в женщину и надела на него парик.

ОЛЬГА. А где сейчас отец Гапон?

МАША. Я не знаю, Ольга. Я думаю, он сейчас на улице, разыскивает своих ближайших соратников… или тело его давно уже плавает в Неве… Я не знаю.

ОЛЬГА. Как поживает Алексей Максимович?

МАША. Хорошо. Я сказала ему, что если мы сыграем премьеру в эту субботу, то мы непременно ждём его.

ОЛЬГА. Что?

МАША. Он очень хотел увидеть вас.

ОЛЬГА. Да как ты посмела, Маша, сказать ему такое? Ты разве не понимаешь, что мой дар покинул меня? Ты не понимаешь, что с тех пор, как умер Антон, я не могу сказать со сцены ни одной фразы без того, чтобы не соврать? Да и как ты можешь понять это, если ты никогда в жизни никого не любила; но я-то любила, любила и всегда была болезненно ревнивой женщиной… болезненно…

МАША. Ольга, я тоже ревнивая женщина.

ОЛЬГА. Маша, скажи, ты сильно расстроилась, когда узнала, что я решила участвовать в постановке вашего театра?

АЛЕКО. Она закуталась в занавес и ревела навзрыд от негодования, потому что она ужасно меня ревнует.

МАША. Да, я рыдала. Но я мечтала познакомиться с вами, Ольга. Я хотела учиться у вас.

ОЛЬГА. Маша, ты напоминаешь мне меня в семилетнем возрасте. Я тогда ещё не знала, что такое любовь, и была девственницей… Ты бы очень понравилась Антону. Если бы он был здесь, тогда бы я ревела навзрыд, закутавшись в занавес.

МАША. Я бы ему понравилась?

ОЛЬГА. Он бы пришёл от тебя в восторг, он написал бы для тебя пьесу.

МАША. И как бы он назвал её?

ОЛЬГА. «Снега».

МАША. «Нева»?

ОЛЬГА. Нет, «Снега»…

Пауза.

Кто целовался с кем в этой труппе?

МАША. Никто ни с кем.

АЛЕКО *(иронично)*. Нет, Ольга, нам не нравится говорить об этом.

МАША. Это частная информация, Алеко.

АЛЕКО. Это частная собственность?

МАША. Нет, никакая это не частная собственность, это личное, не подлежащее обнародованию.

ОЛЬГА. Прости, Маша, я спросила только потому, что мне нравится знать, с какими людьми я выхожу на сцену, но частное мне не интересно.

МАША. Личное.

ОЛЬГА. Ну да, частное… что ж, поговорим о чём-нибудь другом.

Пауза.

АЛЕКО. Ольга, а вы знали, что наш режиссёр когда-то пел в опере?

ОЛЬГА. Ах, вот как?

АЛЕКО. Да.

Пауза.

А ещё от него забеременела наша билетёрша.

МАША. Алеко!

ОЛЬГА. Нет! Но ведь это ужасно. Этой несчастной, должно быть, не более восемнадцати лет.

МАША. Ей четырнадцать лет, Ольга.

ОЛЬГА. Четырнадцать?! Но, Маша, это превышение должностных полномочий. Как я разочарована в вашем режиссёре, он мне казался таким сдержанным человеком, таким достойным.

МАША. Сдержанным…

АЛЕКО. Достойным…

ОЛЬГА. К тому же он такой низенький и худенький. Он был оперным певцом?

АЛЕКО. Ужасным.

ОЛЬГА. Я не могу себе представить, чтобы цветущая девушка обратила на него внимание. Должно быть, он её изнасиловал.

АЛЕКО. Он ей заплатил.

ОЛЬГА. Нет. Я не намерена более участвовать в беседе, где актёры так скверно говорят о своём режиссёре. Мне это отвратительно.

МАША. Ольга, Алеко поделился с вами, потому что ему нужен один совет.

ОЛЬГА. Маша, ты, видимо, не поняла. Я не собираюсь участвовать в подобных беседах, это унизительно.

МАША. Но вы должны убедить его в том, что совсем не обязательно рассказывать всё это жениху.

ОЛЬГА. Жениху? Какому жениху? Я уже своё отлюбила.

МАША. Нет, Ольга! Жениху билетёрши.

ОЛЬГА. У неё есть жених?

МАША. Да.

ОЛЬГА. И кто он?

МАША. Он актёр нашего театра.

ОЛЬГА. Кто?

МАША. Осип… всегда играет «кушать подано» или крепостных.

ОЛЬГА. А, толстый?

МАША. Не называйте его толстым, Ольга!

ОЛЬГА. Почему? Его это обижает? Мне кажется, что он очень толстый.

МАША. Осип мучается. Вечно придумывает себе новые диеты. Иногда он целыми месяцами не берёт в рот ничего, кроме чёрного хлеба и водки, только от этого он толстеет ещё больше. Я не понимаю, зачем эта девчонка связалась с нашим режиссёром.

АЛЕКО. Проблема заключается в том, что толстяк думает, что она ждёт от него ребёнка, но когда он увидит, что ребёнок родился худым, как наш режиссёр, он умрёт от тоски. Я считаю, мы должны сказать ему всю правду.

МАША. Нет, Алеко. Ты ничего не должен ему говорить. Билетёрша любит Осипа.

АЛЕКО. Она его обманывает, Маша.

МАША. А если ребёнок всё же от Осипа?

АЛЕКО. Нет, не думаю, наш режиссёр—это сущий сатир.

ОЛЬГА. А режиссёр женат?

АЛЕКО. Нет, он говорит, что мы его семья. Он нас любит. Сейчас он живёт со своей сестрой, и у них двое детей.

ОЛЬГА. Что?

АЛЕКО. У них с сестрой.

ОЛЬГА. У режиссёра двое детей от своей сестры?

МАША. Именно, от его родной сестры, Ольга... И он приводит их на репетиции. Дети вполне нормальные, только глаза у них смотрят в разные стороны.

АЛЕКО. Как у баранов.

МАША. Как у рыб. Я никак не могу убедить Алеко в том, что ему не следует ничего рассказывать Осипу. Пусть он станет отцом—может, это решит его проблему.

ОЛЬГА. Да, Алеко. Лучше будет ничего не говорить.

АЛЕКО. Ольга, я не хочу участвовать в этом обмане.

ОЛЬГА. Довольно, Алеко. Все мы люди, у всех у нас свои слабости, мы такие хрупкие. Дай пожить бедному толстяку.

МАША. Осипу.

ОЛЬГА. Осипу. Пусть живёт. Посмотри на меня. Когда ты смотришь на меня, что ты видишь?

АЛЕКО. Я вижу лучшую в мире актрису.

МАША. Идиот.

ОЛЬГА. Что ты видишь? Ты видишь Ольгу Книппер, надломленную женщину, у которой всё в прошлом. Я—облезлая змеиная кожа. Но не суди меня, не смейся надо мной, ты должен говорить обо мне только хорошие слова; говори, что я всегда любила только Антона и что я птица, просто птица.

АЛЕКО. Ольга, вы всегда любили только Антона. Вы—чайка.

ОЛЬГА. А когда придёт Осип, ты не станешь ничего ему говорить.

Пауза.

МАША. Ольга, вы помните Сашу?

ОЛЬГА. Нет.

МАША. Такую высокую, она играла Ирину.

АЛЕКО. Певица.

МАША. Она хорошо поёт. *(Поёт.)* «Дует, дует ветерок...»

ОЛЬГА. Ах да.

МАША. Саша очень хорошая актриса.

ОЛЬГА. На меня она не произвела такого впечатления.

МАША. Конечно, ей не сравниться с Ольгой Книппер.

АЛЕКО. Она очень хорошая актриса, Ольга. Когда она опаздывает на репетицию, она выходит из себя и внушает нам страх.

МАША. Слушай, спроси меня, почему я опоздала.

АЛЕКО. Саша, репетиция была назначена на двенадцать. Почему ты опять опоздала?

МАША. Что, что, что, что, что, что.

АЛЕКО. О, точно. Она всегда говорит «что», на разный манер.

МАША. Она очень хорошая актриса.

АЛЕКО. А ещё она очень хорошенькая.

ОЛЬГА. Да ведь у неё мужицкое лицо!

АЛЕКО. Вот именно, поэтому ей великолепно удаются роли злодеек. К тому же она вечно курит, плюётся и кашляет.

МАША. Как туберкулёзная.

ОЛЬГА. А как кашляют туберкулёзные, Маша?

МАША. Простите.

АЛЕКО. Даже когда снаружи мороз, она выходит покурить на улицу с Егором.

ОЛЬГА. Может, нам следовало пойти на улицу и разыскать её?

МАША. Нет.

АЛЕКО. Нет, нет.

МАША. Нет, нет, нет.

АЛЕКО. «Не надо, не надо, Шурочка!.. Ах, не надо!..»

МАША. «Люблю я вас безумно... Без вас нет смысла моей жизни, нет счастья и радости! Для меня вы всё...»

АЛЕКО. «К чему, к чему, Боже мой, я ничего не понимаю... Шурочка, не надо!..»

МАША. «В детстве моём вы были для меня единственною радостью; я любила вас и вашу душу, как себя, а теперь... я вас люблю, Николай Алексеевич... С вами не то что на край света, а куда хотите, хоть в могилу, только, ради Бога, скорее, иначе я задохнусь...»

АЛЕКО. «Это что же такое? Это значит начинать жизнь сначала? Шурочка, да? Счастье моё... Моя молодость, моя свежесть...»

МАША. Я буду вечно любить тебя, возьми мою руку. Я знаю, придёт лучшее время. Будь деятелен, и ты увидишь, как деятельна и как счастлива я.

ОЛЬГА. Вот это очень хорошо, Маша. Потому что ты говоришь, что ты счастлива, а сама слёз сдержать не можешь.

АЛЕКО. У тебя прекрасно получилось.

МАША. Благодарю тебя, мой зритель. Я хочу посвятить этот спектакль Ольге Книппер, великой актрисе Московского Художественного театра; её тело было найдено вчера плывущим по Неве.

ОЛЬГА. Бедняжка Ольга Книппер, она была так счастлива, а умерла так грустно. Она вышла подышать свежим воздухом, закашлялась кровью и бросилась в Неву. Конец.

МАША. Ольга, вы смелый человек?

ОЛЬГА. Да, я думаю, что да. Нужно обладать огромной смелостью, если хочешь прожить жизнь такую, как я её себе мыслю. Я уже никогда не полюблю, я умру в одиночестве, я утоплю себя в водке, я стану красной, как помидор. Я буду внушать жалость, и люди станут смеяться надо мной. Я стану убогой. Люди скажут, что я ужасно играю, что у меня дрожат руки и что я забываю текст. Мне будут выписывать сильнодействующие средства, как какой-то морфинистке. Все окружающие меня женщины — особенно актрисы — скажут, что Антон унёс с собой в могилу мой талант, когда умер там, в Баденвейлере. И я больше никогда не выйду на сцену, и чёрная зависть пожрёт меня от одной только мысли, что такие актрисульки, как ты, надевают мои туфли.

МАША. Вы счастливый человек, Ольга. Возможно, сегодня это прозвучит для вас странно, но вы очень счастливый человек.

ОЛЬГА. Алеко, нужно бредить. Ты должен бредить.

АЛЕКО. Нет, Ольга, я не любил тебя так сильно. Я больше страдал от гонореи. Если бы мне пришлось выбирать между моей сестрой и тобой, я не знал бы, что делать. Я не боюсь смерти. Просто за всю свою жизнь я так и не решил, верю ли я в Бога или нет. Но я очень сильно любил тебя, Ольга. Только теперь я умираю и не могу думать ни о ком, кроме самого себя и России.

ОЛЬГА. Не переживай, Антоша. Я очень скоро забуду и тебя, и твою смерть… а через сто лет никто о нас и не вспомнит.

МАША. Я тоже не доверяю этим сраным большевикам.

ОЛЬГА. Что происходит в нашей стране?

АЛЕКО. Революционеры взялись за убийство людей.

МАША. Да, но твой царь убил куда больше народу.

ОЛЬГА. Зачем столько смерти?

МАША. Потому что мы хотим смерти царя, мы хотим власть народа.

АЛЕКО. Значит, нужно провести парламентские выборы.

МАША. Да, но нам не нужно, чтобы власть оставалась в руках аристократии, твоих дядюшек и двоюродных братьев. Мы не хотим никакого правительства. Мы распустим армию и сожжём все деньги.

АЛЕКО. Ольга, Маша только что поняла, что царь — это не благосклонный монарх, как мы все думали.

МАША. Нет, Алеко, это ты это только что понял. Ольга, сейчас Алеко будет защищать царя, скажет, что во всём виновны бюрократы, что сегодняшнее шествие было организовано западными агентами и что даже отец Гапон — это шпион с Запада.

АЛЕКО. Никто не думал оправдывать царя, Маша.

ОЛЬГА. Маша, Алеко совсем и не оправдывал царя, это же смешно. Нам всем прекрасно известно, что наш царь слеп, глуп и труслив. Антон неустанно говорил, что никто даже не верит в победу над Японией. Ни для кого не секрет, что наши пьяные генералы совсем разучились драться.

МАША. Правильно, Ольга. Да здравствует Япония! Смерть Российской империи!

ОЛЬГА. Я этого не говорила.

АЛЕКО. Не дай Бог, кто-нибудь услышит тебя, Маша. Значит, ты этого хочешь? Войны и смерти?

МАША. Война классов станет последней, Алеко. Грядёт революция. Даже матросы на Чёрном море поднимают мятежи, потому что их заставляют жрать червивое мясо.

ОЛЬГА. А ведь это правда, Алеко. В нашей стране многим людям даже нечего есть. А что делает царь? Пьёт чай и устраивает охоту на птиц.

АЛЕКО. Но ведь не он один, Ольга. Маша тоже пьёт чай, охотится на мух и не знает сама, чего хочет. Она ждёт, когда её вожди революции вернутся из изгнания, которое они отбывают в кафе Парижа и Женевы.

МАША. Они не мои вожди. У меня нет вождей, и я знаю точно, чего хочу. Я хочу увидеть, как царь будет биться в истерике, когда поймёт, что его подданные не любят его. И ещё я хочу голосовать, и хочу родиться заново и вырасти в твоём доме, и чтобы у меня тоже был свой собственный театр.

АЛЕКО. Нет, потому что в этом случае ты была бы такой, как я, и ты бы считала, что это нехорошо, что нельзя забрасывать бочонками с порохом тех, кто превосходно танцует вальс.

МАША. Ах, значит, это нехорошо?

ОЛЬГА. Маша, это нехорошо.

АЛЕКО. Однако многие, Ольга, думают так же, как она. А ну отвечай мне, как вы собираетесь покончить с убийствами, с самосудом, с мародёрством?.. как вы собираетесь улучшать характер нашего народа?

МАША. Всеобщей забастовкой.

АЛЕКО. Блестящая идея!

МАША. Мы должны покончить с буржуями, делающими всё возможное, чтобы эта ситуация оставалась неизменной.

АЛЕКО. Видите ли, Ольга, дело в том, что время от времени Мария просыпается с пылким желанием перебить всё дворянство.

ОЛЬГА. Неужели это правда, Маша?
МАША. Да, но после завтрака обычно проходит. Хотя меня не оставляет желание сжечь усадьбы и раздать землю крестьянам, чтобы они коллективами обрабатывали землю.
АЛЕКО. А они умеют обрабатывать землю?
МАША. Умеют, Алеко, ещё как умеют. И пока они обрабатывают землю, благородные люди вроде тебя ездят на охоту и зачитываются Библией.
АЛЕКО. Тогда мы сожжём усадьбы, мы сожжём усадьбы. Ещё остались дачи с огромными библиотеками и частными театрами.
МАША. Многое ещё нам предстоит сжечь, Алеко.
ОЛЬГА. Что ещё нужно будет предать огню?
МАША. Церкви, музеи, тюрьмы и некоторых людей.
ОЛЬГА. На вид ты сама невинность, однако стоит тебя послушать…
МАША. Нет, я настоящая сволочь, я готова убить любого, кто косо посмотрит на меня.
АЛЕКО. Не верьте ей, Ольга. У неё на глазах выступают слёзы, когда в дождь мокнут бездомные псы. Стоит ей немного выпить, и она говорит, что все мы братья и что любовь спасёт Россию.
ОЛЬГА. Не будем ничего жечь, Маша; возможно, царь сбежит в Лондон, и нам не придётся ничего предавать огню.
МАША. А если царь останется здесь, чтобы и дальше измываться над своим народом?
ОЛЬГА. Да, возможно, так и будет.
МАША. Что значит «возможно, так и будет»?
ОЛЬГА. Хорошо, но ведь нам нужно какое-нибудь правительство. Генералы и чиновники умеют управлять. К сожалению, наш мужик только пьёт, а потом идёт домой и избивает свою жену.
МАША. Нет, Ольга.
ОЛЬГА. Поэтому мы должны обратить особое внимание на образование, для того чтобы в будущем эти люди могли управлять страной. Но прежде всего мы должны научить их.
АЛЕКО. Наверное, Маша верит в то, что бедные — это хорошие люди уже потому, что они бедные.
ОЛЬГА. А во что веришь ты, Алеко?
АЛЕКО. Я верю в то, что нам необходимо вернуться жить в деревню. Мы будем пахать землю, учиться и молиться. А в старости по дороге в родную церквушку мы встретимся с Богом и отдадим ему душу. Всё оттого, что деньги сделали нас очень бедными, Маша. Ольга, нам надо уехать из Петербурга и начать всё заново.
МАША. Все свои глубокие познания в политике Алеко почерпнул из Нагорной проповеди.
ОЛЬГА. Не надо ничего жечь, Маша. Может быть, Россия сама возгорится. Что бы ни случилось, у нас всегда остаётся искусство. Возможно, пройдёт ещё много времени, и всё останется как теперь. Останутся бедные и богатые, и солдаты по-прежнему будут стрелять на улицах в простых людей. Но мы всегда сможем мечтать и говорить друг другу, что ничего не меняется, что всё остаётся неизменно и должно быть предано огню.
МАША. Ольга, я боготворю вас, я считаю вас великой актрисой, я вам это уже говорила, но, боюсь, вы совершенно ничего не понимаете.
ОЛЬГА. Чего же именно я не понимаю, Маша?
МАША. Сегодня, нет — сейчас всё изменится.
ОЛЬГА. Что изменится?
МАША. Нашу родину ждёт революция. Мы наконец станем свободными, грядёт время солидарности рабочих и крестьян, буржуазия исчезнет с лица земли. Проснитесь же, Ольга, проснись, Алеко, в новом мире не найдётся места богачам.
АЛЕКО. Маша права, Ольга… Мы все станем бедняками.
ОЛЬГА *(поёт)*. «Дует, дует ветерок…» Пустой театр внушает мне страх.
АЛЕКО. Как-то я остался здесь ночью совсем один, но мне не удалось уснуть, потому что я всё время слышал, как кто-то кашлял.
ОЛЬГА. Алеко! Антон всё время кашлял, спрятавшись в тёмных уголках театров.
АЛЕКО. А как он кашлял?

Ольга кашляет.

А какое у него при этом было лицо?
ОЛЬГА. Ужасное… Он ходил вот так.
АЛЕКО. А как вы вели себя, когда с ним случалось такое?
ОЛЬГА. Я играла, делала весёлое выражение лица. Я говорила ему, что он скоро поправится.
АЛЕКО. Но ведь он знал…
ОЛЬГА. Покашляй, Алеко.
АЛЕКО *(кашляет, исполняет роль Чехова)*. Я хочу вернуться в Москву, в Москву, хочу обнять мою сестру. Не сжигайте ничего, и пусть революция никогда не заканчивается. Шампанского!
ОЛЬГА. Нет, не умирай, поправляйся.
АЛЕКО. Ну, Ольга. У меня спал жар, я уже чувствую себя лучше. Я хочу вернуться в Москву, у меня зародилась идея новой пьесы. На этот раз трагедия. Я назову её «Нева».
МАША. «Снега»?
АЛЕКО. Нет, «Нева». Я хочу кушать и ходить купаться на реку. Мне ещё столько книг надо прочесть.
ОЛЬГА. Антон, я беременна. Я не смогу сыграть премьеру твоей новой трагедии.
АЛЕКО. Маша, сестра, ты станешь тётей.
ОЛЬГА. Антон, мы стареем; как хорошо, что не случилось никакой революции.
АЛЕКО. Теперь появилось так много хороших врачей. Они нашли лекарство от туберкулёза. Мы так счастливы. Мои пьесы ставят как комедии, и люди приходят смеяться. Прошло уже столько лет, а я по-прежнему жив. И вокруг нас столько деревьев, столько цветов.

ОЛЬГА. Антон, я умираю, я умираю раньше тебя. Всему виной моё сердце, оно слишком сильно любило, оно израсходовало себя.

АЛЕКО. Моё сердце тоже себя израсходовало. Я бы хотел пожить ещё, я бы отрастил себе длинную белую бороду. Я не хочу уходить.

ОЛЬГА. Не уходи.

АЛЕКО. Я хочу присоединиться к этим несчастным, там, на баррикадах. Ты позволишь?

ОЛЬГА. Там, за окном, больше нет улиц. Там — только чёрный лес.

АЛЕКО. А если бы мы были сейчас в Петербурге… Ты позволила бы мне выйти на улицу?

ОЛЬГА. Нет, Алеко. Снаружи нет ничего, кроме заледенелой реки и солдат, что стреляют в людей. Тебя могут убить, ты можешь простудиться. Помнишь, как ты кашлял? Ты бредил. Ты говорил, что нечто ужасное ожидает нашу родину.

АЛЕКО. Ты права, нечто ужасное творится в нашей стране. Я пойду разыскивать остальных актёров… Я не могу… Не могу… я не могу играть, Ольга… мне стыдно оттого, что на меня смотрят. Как я могу играть, если я ещё не страдал по-настоящему? Иногда я сочувствую униженным и оскорблённым, но мне ещё ни разу не разбивали сердце. Как я могу играть, если я ещё ни разу в жизни не плакал от несчастной любви?

ОЛЬГА. А я? Ты хоть понимаешь, что значит быть Ольгой Книппер? Как я смогу теперь влюбиться, если я совершенно разучилась соблазнять? А мужчины, они имеют свой особый запах, и они вечно чешутся. Спят, молчат, устают. Жрут, и все усы у них запачканы жиром. Прости меня, Антон, за то, что испортила тебе жизнь, за то, что женила тебя на себе. Может быть, ты бы предпочёл умереть от гонореи, лежать с закипающим мочевым пузырём и ходить под себя молочным коктейлем? Может быть, ты бы предпочёл умереть от сифилиса, а не ждать смерти, задыхаясь, сходя с ума, пуская слюни, залеченным, замученным?

АЛЕКО. Ольга, вы хотите меня соблазнить?

ОЛЬГА. Хочешь, я заставлю тебя влюбиться в меня, а потом я разобью твоё сердце?

АЛЕКО. Да, хочу.

МАША. Нет, Ольга. Кому-то это причинит много горя.

ОЛЬГА. Смотри на меня, Алеко. Люби меня. Я хочу спасти тебя, я нуждаюсь в тебе. У нас будет сын, я жду от тебя щеночков. Мне нечего предложить тебе, мне нравится лакейская любовь, я обожаю сквернословить по-немецки и орать во всё горло. После третьего оргазма я тихонько засыпаю, зато утром я встаю пораньше, чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое и прибрать дом. Мне нравится, что от тебя пахнет луком, я люблю смотреть, как ты испражняешься, я буду заботиться о тебе как о ребёнке, я буду доводить тебя до слёз, я дам тебе сожрать свою матку, я буду любить тебя. Иногда я буду бить тебя, а потом, со слезами на глазах, я стану просить у тебя прощения. Перед премьерой я стану закатывать истерики, я буду пожирать куриные крылышки, не вылезая из постели, и я стану жирной, и я дождусь, что ты станешь унижать меня и смеяться надо мной, а когда я похудею, я стану похожа на мужика. Ты будешь для меня самим совершенством, я буду всё тебе прощать и никогда не разлюблю моего жеребца. Моего Алеко, моего нового Антошу, моего нового Антона Павловича. Мой Александр, сможешь ли ты полюбить меня так, как я тебя полюбила?

АЛЕКО. Я уже давно люблю тебя, Ольга.

МАША. Ольга, нас ждёт революция, и она будет прекрасной. Люди будут петь на улицах — и погибать. Порою я думаю, что мне было бы лучше родиться мужчиной. Иметь на лице густую растительность. Нажираться водкой до одури и драться с прохожими до крови. Ходить в грубых башмаках и кожанке. Курить. Плавать зимою в реке вместе с белыми медведями. Оскорблять женщин, свистеть, и всё лицо моё было бы в шрамах. Я бы стала смеяться над своими шутками, наслаждаться своим смрадом. Я вся стала бы ходить в наколках и татуировках, меня бы посадили в тюрьму, меня бы избивали ногами, я не верила бы в Бога, мочилась бы стоя, спала бы только днём, ничего не боялась бы, жгла бы буржуйские дворцы и насиловала бы графинь, княгинь и принцесс. Я стала бы убивать, линчевать и пожирать человеческое мясо, я бы пошла на войну и стала бы стрелять в маленьких мальчиков и насиловать маленьких девочек и ветхих старух. Да, мне бы понравилось быть мужчиной. Я бы чувствовала себя счастливей. Значит, у вас любовь? Вы собираетесь пожениться? Наверное, это поможет вам лучше играть? Революция была необходима, в первую очередь, чтобы мы могли сжечь безнаказанно таких людей, как вы. Сколько можно говорить о любви? Меня уже тошнит от этого. Да, Ольга. Твой муж умер, и ты хочешь ещё раз прожить его смерть, потому что без этого ты не сможешь играть. А кому это важно? Сегодня Кровавое воскресенье, кругом люди умирают с голоду, а ты собираешься репетировать новую пьесу. Вершится мировая история, грядёт революция. И у кого может хватить тупости запереться в репетиционной и страдать от любви и от смерти? Мне стыдно быть актрисой. Это эгоистично, мы попали в буржуйскую западню, в мусорную яму, в лошадиное стойло. Ольга, ты кобыла, нет — ты ослица. Алеко, горе ты моё, молись за меня, когда этот город запылает красным огнём; молись за меня, чтобы после революции мне позволили умереть в Сибири. Молись,

когда запылают церкви. Убогие актёришки, безразличные, невежественные, претенциозные, пустые, ореховая шелуха, гнилые помидоры. Алеко, если ты попадёшь на небо, ты увидишь, как я буду гореть. Вы хотите поставить новую пьесу? Сколько можно повторять «я люблю тебя», «я не люблю тебя»? Я устала. Сколько можно ныть и вещать со сцены прописные истины? И быть ещё более правдоподобными и искать новые формы? Довольно! Настал тысяча девятьсот пятый год, и теперь с театром покончено. Девятнадцатый век подошёл к концу, капитализм изобрёл новые машины. Они омерзительны. Я готова погибнуть, сжигая этот театр, я бы хотела увидеть его объятым пламенем, а вместе с ним — всю его спесь и всю его суетность. Я ненавижу театральную любовь, фальшивые жесты, высокомерие, иронию, претензии. Всё это душит меня, Ольга. Я не хочу работать в гриме, не хочу играть хорошеньких. Хотите сделать что-нибудь настоящее? Идите на улицу и полюбуйтесь на безыскусную мощь политического насилия, на закат режима. Это так чудно — убивать солдат и забрасывать бомбами министров, в воздухе пахнет справедливостью. Остальные актёры не придут, они убиты. Мне невыносимы твои заученные жесты, твои горькие слёзы, твоя гориллья улыбка и умение держать паузу. Курятник, склад мёртвых идей. Грядёт революция, и те, кто останутся в живых, познают свободу. Мы будем пить, побеждать в войнах и петь на похоронах. Только, Ольга, Алеко, не говорите мне о любви, говорите мне о голоде. Постройте госпиталь, выходите на демонстрации, крадите оружие, убейте какого-нибудь солдата, убейте какого-нибудь буржуя, сделайте хоть что-нибудь, за что вам не будет стыдно, попробуйте разговаривать без перетянутого жабо горла. О мой милый, мой нежный прекрасный театр!.. Мне смешна всякая любовь. Театр — это дерьмо, и актёры в нём — тоже дерьмо. Я вижу революцию, миру приходит конец, и мы никогда не станем свободными. Зачем мы тратим на это своё время? Как можешь ты выходить на сцену, зная, что там, на улице, в мире, простые люди умирают с голоду? Буржуйское искусство, буржуйский театр. Я ненавижу зрителя, что приходит сюда страдать, я ненавижу себя за то, что я актриса. Зачем нужны бедные люди? Я хочу умереть; я потратила свою жизнь, пытаясь стать павлином, а теперь я просто разочарованный в жизни нытик. Я бы всё отдала за то, чтобы погибнуть сегодня, погибнуть, как наш режиссёр, как Осип, как Саша, как Андрей, как билетёрша, как Егор и как все остальные. Я бы хотела быть мёртвой. Но прежде чем испустить дух, пока моё тело исходит кровью, я бы подумала: любите друг друга, плачьте, молитесь, играйте, смейтесь — мне всё равно, мне всё равно. Всё, что вы говорите, — для меня это не более чем блевотина. Любовь — это секс, а секс — это наш крест, наше несчастье. Мы псы, и вы развратничаете на сцене, как собаки, распухшие, прилипчивые; чтобы разлучить вас, нужно плеснуть в вас кипятком. Я не выношу твой запах пудры и твои сладкие слёзы. Ты хочешь страдать, сидя в удобной позе, как страдают в театре? Тогда устраивайся поудобнее где-нибудь в Персии, в Турции, в Польше или в Маньчжурии, и пусть война раздавит тебя. Ты хочешь плакать? Тогда пойди работать на фабрику, как это делают дети, и высуши себе лёгкие чёрной копотью. Только не вздумай убеждать меня, что на сцене есть место страданию. Страданию есть место в жизни. Я ненавижу зрителя, этакого простака, что приходит сюда поразвлечься, в то время как этот мир катится в тартарары. Он приходит сюда окультуриваться, сопереживать. Ему должно быть стыдно. Отдал бы лучше эти деньги нищим. Людям, умирающим с голоду, детям, у которых выпадают молочные зубы и не растут коренные. Дешёвые актёришки, самодовольные, вы считаете себя художниками, но на самом деле вы призраки, безмозглые куклы — что ты, что она. Вы хотите театра? Слёз? Я покажу вам сцену и слёзы. Мы умрём, и нас забудут. И любовь пройдёт. Солнце не будет светить ни для кого. Россия перестанет существовать, мы умрём совершенно. Жизнь оказалась страшной ошибкой. Только я прошу вас: прекратите разглагольствовать о любви. И не говорите больше о смерти, вы ничего о ней не знаете. Возвращайтесь по своим домам или работайте как все. Даст Бог, театр умрёт вместе с вами. В будущем, когда нашему миру придёт конец, не будет ничего, кроме кинофильмов, и мы будем плакать, сопереживая тому, что происходит на экране, плакать, как курицы, как Ольга Книппер. «Не умирай, Антон, не покидай меня, мой писатель, черкни мне ещё хоть несколько строчек...»

КОНЕЦ

Дмитрий Косяков

Почему я «за»

Почему я не против строительства завода ферросплавов

В Красноярске продолжаются акции протеста против строительства в городе марганцевого завода ферросплавов, плакаты на эту тему соседствуют с предвыборной агитацией ЛДПР и «Единой России». Удивительным мне показалось лишь то, что против оказались сразу все и как-то внезапно. Против завода выступают и КПРФ, и «Единая Россия», и бабушки-пенсионерки, и школьники, и взрослые мужчины-автовладельцы.

Грешным делом, я сперва заподозрил во всём происходящем некий секретный план, провокацию. Да и как ещё оценить происходящий сегодня всплеск эмоций? Ведь решение о строительстве было принято ещё два года назад! Неужели всё это просто предвыборный трюк? Давайте разберёмся по порядку.

Первыми тревогу забили блоггеры. Причём их оценки отличались осторожностью. Упор делался на отдельные негативные аспекты проекта, на его непродуманность. При этом признавалось, что марганец стране необходим, поскольку это один из важнейших видов сырья для чёрной металлургии.

«Годовое потребление марганцевых ферросплавов металлургическими предприятиями России оценивается в 650 тыс. т. До последнего времени Россия удовлетворяла потребности в марганце с помощью поставок с Украины (Никополь [добыча с 1886 г.], Запорожье, Стаханов), из Казахстана (Аксуский завод ферросплавов) и Грузии. С отпадением этих территорий и особенно после существенного ухудшения отношений с двумя из них РФ оказалась перед лицом марганцевой зависимости»[1].

Итак, мнение экспертов было достаточно взвешенным и осторожным. Почему же общественность отреагировала так бурно? В конце концов, рядовой красноярец вовсе не является профессионалом в области химии или металлургической промышленности. Нет у стороннего наблюдателя возможности вникнуть в приводимые цифры и таблицы. Почему же положительные доводы не были услышаны, а негативные оценки были приняты на веру и даже усилены? Откуда взялись ожесточение и паника?

Я вижу проблему в том, что население в принципе настроено пессимистично и смотрит в будущее без каких-либо надежд. Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство не доверяет собственному правительству, негативно относится к проводимой политике. Вспомним, какие страсти бушуют вокруг реформы образования, проекта Закона о ювенальной юстиции, даже вокруг вырубки Химкинского леса[2].

Как отметил публицист Борис Кагарлицкий, «это замечательная черта нашего общества: в нём солидарность развивается быстрее, чем осознание собственного интереса. Да, это парадокс. Если человек не очень верит в успех, то почему же он дерётся? Он дерётся ради принципа»[3].

Народ раздражён до крайней степени, и надо признать, что у него есть на то основания.

Итак, люди ищут выхода своему недовольству, но не имеют ни внятных слов, ни адекватных методов. Люди не в состоянии чётко сформулировать свои претензии к власти и потому готовы спорить и протестовать по любому поводу. Им уже стало очевидно, что чиновники не в состоянии (даже если бы и захотели) защитить их от кризиса, но при этом люди не видят возможности взять ситуацию в свои руки, и потому всё, на что они оказываются способны, это продолжать просить и требовать чего-то от «верхов».

Ну а что же «верхи»? Накануне выборов политикам не остаётся ничего иного, кроме как оседлать волну народного гнева и вознестись на ней в депутатские кресла. Таким образом, власти и народ оказались как будто по одну сторону баррикад. Теперь даже инициаторы строительства вроде бы выступают против завода, ожидая окончания и результатов предвыборной гонки, чтобы потом… всё-таки достроить марганцевый завод. Ведь как ни крути, а завод нужен. И не только «под распил» коррупционерам, но и самим россиянам (и прежде всего красноярцам).

1. Марганец Кузбасса. Начинается освоение Усинского месторождения марганцевых руд в Кемеровской области.
2. Отмечу, что похожая ситуация повторяется с вырубками в красноярском Академгородке.
3. tv.russia.ru/video/diskurs_12118/

Почему я за строительство завода ферросплавов

Давайте вспомним недавнее прошлое, когда наша страна была супердержавой, соперничавшей с США за мировое господство. За счёт чего был достигнут такой высокий уровень? В первую очередь—за счёт экономической самодостаточности. СССР был единым производственным организмом, способным самостоятельно обеспечивать свои нужды, практически ничего не покупая за границей. Экономическая самодостаточность—основа политической независимости. Сегодня мы имеем ситуацию противоположную: Россия почти ничего не производит, а сидит на «нефтяной игле», то есть живёт за счёт экспорта своих ресурсов более развитым странам. Как уже упоминалось выше, это произошло в связи с распадом некогда единого экономического организма, и теперь, если мы хотим вернуть былую независимость или хотя бы просто приподняться с колен, необходимо проводить новую индустриализацию, строить новые заводы. Не век же нам перепродавать друг другу китайские тапочки и японские компьютеры?

Ведь сами подумайте: чем сегодня занимаются красноярцы? Какую общественно-полезную функцию выполняет большинство населения города? Работают продавцами в бесконечных торговых центрах, менеджерами в разнообразных конторках, мелкими чиновниками в непомерно раздутом бюрократическом аппарате, «дизайнерами» да парикмахерами. Ведь это мыльный пузырь, который вот-вот лопнет под второй волной кризиса. Повсюду уже происходят непрерывные сокращения штатов, закрываются конторки, пустеют торговые центры. Даже реформа мили-полиции привела к бесчисленным увольнениям.

Кстати, о рабочих местах. На сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 2 097 000 безработных. При этом кто сказал, что заводу потребуются исключительно чернорабочие? Это—и рабочие места для технической интеллигенции, в частности инженеров. А инженеров ведь нужно где-то обучать. Стало быть, это потребует от правительства региона поддержки захиревшей образовательной системы и т. д. Старшему поколению я просто напомню старую марксистскую идею о базисе и надстройке—они сразу всё поймут.

Против чего же выступать?

Итак, давайте без лишних эмоций рассмотрим аргументы противников марганцевого завода.

1. Строительство ведётся слишком близко от города (микрорайон Солнечный).

Это аргумент не против постройки как таковой, а против постройки в определённом месте. Если завод будет построен достаточно далеко, то большинству красноярцев он станет совершенно безразличен. В конце концов, обывателя интересует только его собственный воздух. Особенно меня умилили антизаводские листовки, наклеенные на стёкла огромных автомобилей.

Не надо забывать, что именно частные легковые автомобили дают до двух третей загрязнения городского воздуха. Если уж нас действительно волнует загазованность и болезни наших детей, почему бы не отказаться от собственных автомобилей? Согласно оценке отдела аналитики «Автостат», к концу 2011 года личный автомобиль будет у каждого четвёртого россиянина, считая даже младенцев. Если же пересчитать этот показатель на количество семей, то автомобиль придётся практически на каждую вторую. Благодаря автомобилям перенаселённость земли увеличивается вдвое.

Равнодушие к этой проблеме позволяет предположить, что красноярцы не столько озабочены реальной экологической ситуацией в регионе, сколько именно ищут повод и способ выхода накопившемуся негативу.

2. Завод строится с нарушениями экологических норм, не предусматриваются необходимые меры предосторожности.

Этот аргумент также не против самой постройки, а против характера строительства, отсутствия очистных сооружений и способов общественного надзора и контроля ситуации.

3. Общественность не верит в то, что прибыли от завода поступят в бюджет, а продукция будет работать на внутренний рынок, а не уйдёт за рубеж (прежде всего—в Китай).

И снова это вопрос общественного надзора и контроля, и это, на мой взгляд, и является подлинной точкой для приложения усилий. Необходимы механизмы государственного контроля деятельности крупных предприятий, необходима также жёсткая отчётность чиновников и руководства предприятий перед гражданами, необходима прозрачность финансовых потоков, необходимы механизмы общественного контроля деятельности крупных производств.

На эти возражения, как правило, приводится последний аргумент:

4. Уследить за соблюдением экологических норм, интересов жителей региона всё равно не удастся. Закрыть этот завод проще, чем контролировать его работу.

На это можно ответить только следующее: назад всегда проще, чем вперёд.

Наталья Тригалева

Музей? Современного? Искусства?

Нужен ли Красноярску музей современного искусства? За вторую половину XX века у нас создано многое, достойное сохранения. Создаётся и сейчас. Только вот лучшие работы красноярских художников вместо музейных фондов уходят в Китай, там наше искусство любят и ценят. Остро стоит проблема творческого наследия. Пока музея удостоен только Ряузов, а Поздеев, Худоногов, Ишханов, Мусат, Довнар, Знак, Горенский, Гладунов и многие другие? Нам есть что показать и чем гордиться. И у нас, отдалённых от центра и мира, есть потребность быть ближе к мировому процессу. О необходимости создании музея современного искусства творческая общественность буквально вопила много лет, но в последнее время, устав, видимо, биться головой о стену, притихла. И вот—нá тебе: преобразование в такой музей Красноярского культурно-исторического музейного центра объявляется делом практически решённым. На некоторых сайтах так и написано: Красноярский музей современного искусства (бывший КИЦ). Наконец-то не будет метаний, что показывать: пейзажистов из Союза художников или московских концептуалистов. Радость-то какая! Для московских концептуалистов. Точнее, для московских разработчиков концепций кицевских биеннале и музейных ночей. Сами-то мы разве что придумаем? Мы-то чо? А мы ничо, так, валенки сибирские. Ходим тут по Красноярску с ружьями да медведей отстреливаем. Из Москвы-то оно виднее!

Широко анонсировалась дискуссия, на которой эту идею предстояло одобрить, да только обсуждения никакого не получилось. Сначала немецкий гость деловито рассказал, как они работают у себя в Нюрнберге, потом ему задавали конкретные вопросы и получали конкретные ответы, а потом замдиректора ККИМЦ Сергей Ковалевский долго что-то вещал о том, какие же они сами молодцы и как тяжко пришлось бы без них современному искусству как фактору культурно-пространственной идентичности. Потом кто-то поругался с каким-то фотографом, потом министр культуры сказал, что дискуссии так не проводятся. И все разошлись. А тема—осталась. И я бы разбила её на темы более частные.

Музей?

Основой создающегося музея обычно является коллекция. Из чего состоит коллекция ККИМЦ—непонятно. Если там слева хранятся идеи, а справа пенопласт—то из чего состоят фонды? Количество единиц хранения—ещё не повод для музеефикации, если нет вещей музейного качества. То, что представлено на их сайте,—и мало, и, мягко говоря, не шедевры.

А ещё для художественного музея нужны специалисты. В руководстве КИЦа—можно, я для простоты изложения буду так называть?—нет людей с серьёзным искусствоведческим образованием. Один никому не известный философ, вдруг мутировавший в культуролога, двое несостоявшихся архитекторов. Представьте, что больницей руководит искусствовед, хотя бы и увлекающийся медициной. Что, нереально? Это может привести к трагическим последствиям, непрофессионализм в нынешних условиях и аморален, и опасен. А вот в учреждении культуры—можно! И не просто руководит по своему усмотрению, но ещё и гуру из себя изображает. Дескать, кто со мной не согласен, тот ничего не понимает. Да, искусство может (с разным качеством, естественно) восприниматься людьми с разным уровнем подготовки—хотя бы на уровне непосредственного, эмоционального восприятия. Это создаёт иллюзию, что искусством может заниматься кто угодно. За редкими исключениями (такими, как Гоген), люди, пришедшие в художественную сферу взрослыми и из других профессий, остаются любителями, не понимают элементарных вещей, зато с самоуверенностью невежества пытаются поучать профессионалов. На самом деле профессионализм в искусстве не менее важен, чем в науке или технике, этой профессии нужно долго и трудно учиться, а ещё лучше—вырасти в этой среде.

Музей, кроме прочего,—здание. Большое здание. Но по планировке, освещению, размерам помещений для художественного музея не годится. Поднимаешься по лестнице, а кажется, что спускаешься в катакомбы. Темнота, глухие стены, лабиринт коридоров и стеклянные окна в полу—знакомая привела пятилетнего ребёнка на выставку, а тот говорит: «Пойдём отсюда, мне страшно!» Даже дорогостоящая реконструкция существенно организацию пространства не изменит.

Современного?

То, что показывают в КИЦе под видом современного и актуального искусства, уже давно и несовременно, и неактуально. Главным образом, это отстой с мировой околохудожественной помойки. Концептуализм возник в 1960–70-е годы и довольно быстро выдохся. Паблик арт — порождение анархического бунтарства 1960-х, рассчитанное на заигрывание с неподготовленным зрителем, — относится скорее к массовой поп-культуре, приколам и развлечениям. Другие «инновации» тоже на самом деле ничего нового не содержат. Так, местечковый вариант давно пройденного.

Искусства?

Бывает в этих стенах и искусство. Экспозиция Поздеева, показывали «Взятие снежного городка» Сурикова, Шагала, Генри Мура, рисунки Дали, были другие неплохие выставки. Параллельно с ними — какие-то двухголовые монстры, динозавры, самоцветы, рыбы, виссарионовцы, буддисты, эзотерики, корпоративные банкеты в выставочном зале и бог знает что ещё. Выставочные площади сдаются кому угодно, лишь бы за деньги. Из-за этой неразборчивости практически все нормальные люди перестали туда ходить. Музейные ночи — просто дешёвые тусовки по недешёвым билетам под видом удовлетворения интереса молодёжи к современному искусству и поиска ими «ответов на свои проблемы». Конечно, если не публику поднимать до уровня художественности, а самим наклониться до уровня публики, популярность легче приобретается.

Бедные-несчастные

В нашей стране беспроигрышно работает ещё один метод приобретения популярности. Для этого надо прикинуться непонятым и гонимым — и слава, считай, уже в кармане. Несчастных у нас любят. И доказывай потом, что кицевский форвард Вася Слонов не был принят в Союз художников из-за низкого профессионализма, а не потому, что его новаторское творчество не поняли закоснелые реакционеры.

Причём разыгрывать сироту казанскую свойственно не только отдельным персонажам. Сам КИЦ этим тоже успешно пользуется. Ах, у нас нет денег, ах, мы бюджетное учреждение, ах, культура финансируется по остаточному принципу! Ах, нас угнетают «дотационные академисты»! Ах, власть поддерживает реакционное искусство! Ах, нам негде выставляться! Ведь у нас с советских времён сохранилось подсознательное убеждение: если художник противостоит официальному искусству — он передовой. Хотя и ситуация давно изменилась, и власть давно ничего не запрещает: пиши что хочешь. Проблема-то не в том, что ты оппозиционный, а в том, что́ ты делаешь — действительно искусство или говно. С трудом верится, что они не знают положения вещей. Знают, конечно же. Но разве грешно приврать для саморекламы?

Хотя — пардон! Про «дотационных академистов», которые, присосавшись к добренькому государству, по старинке кропают пейзажи и исторические баталии, — чистая правда. Имеются таковые среди красноярских художников. Целых четверо получающих ежемесячное содержание от Академии, что-то около 12 000 руб. — побольше уборщицы, поменьше дворника. Остальные двести членов Союза художников не получают ничего ни от Академии, ни от государства. Наоборот, платят 1200 рублей членских взносов, за свой счёт покупают холст, краски, подрамники, багет, перевозят работы на выставки в другие города, оплачивают содержание мастерской и многое другое. Эти люди любят свою профессию и готовы платить за возможность заниматься любимым делом. Зажрались! Более того: если интересно, загляните на сайт администрации Красноярска, откройте документы «Расчёт дополнительного финансирования на реализацию мероприятий программы реализации основных направлений стратегии структурной политики» и саму эту программу и посмотрите, на что планируется потратить и какие деньги, — и сравните, сколько миллионов планируется дать КИЦу и сколько, например, потратить на всё художественное образование в крае. А Союз художников, равно как и другие творческие союзы, в этих программных документах просто не упоминается. Не существует их для нашего государства. Хотя уровень развития общей культуры напрямую зависит от состояния профессионального искусства. Но оно-то как раз никакой государственной поддержки, в отличие от бедного и несчастного музейного центра, не имеет.

А утверждать, что в Союзе художников выставляют только поросшие мхом академизма пейзажи, может только тот, кто не бывает на союзовских выставках. Там показывают и абстрактное искусство, и этноархаику, и многое другое. Различие одно: это сделано профессионально, умно и красиво. И смысла в этом, уверяю вас, никак не меньше, чем в мозге с костылями, горделиво красовавшемся под сводами музейного центра.

Про пейзажистов из Союза художников — тоже отчасти правда. Пейзажистов действительно много — а как вы хотели? Может художник жить посреди эдакой красоты и никак на неё не реагировать? Пока мы живём в городах, пейзажный жанр будет всё больше востребован, и чем дальше мы отрываемся от природы, тем сильнее к ней тянемся. Что, кстати, показывает выставка пейзажа и натюрморта «Осенний вернисаж», которую посетило 10 000 человек, некоторые приходили туда по пять-шесть раз и оставили сотни восторженных отзывов. Это

всё — убогие несовременные люди, не понимающие актуального искусства в версии кица? Не верите? А вот Михаил Павлович Шубский уверен: «*...традиционное искусство, по большому счёту, современного человека не трогает, не задевает*».

Вообще-то, «традиционное искусство» — это термин, обозначающий искусство так называемых традиционных обществ; по своим характеристикам такое искусство аналогично первобытному. То есть если где-то в амазонских джунглях живёт племя, сохранившее в неизменном виде уклад жизни и мировоззрение каменного века, то их художественная деятельность и есть традиционное искусство. Но, похоже, бывший философ, социолог, а также токарь, слесарь-монтажник, инженер-механик, бетонщик, оператор, преподаватель и начальник лаборатории г-н Шубский называет этим словосочетанием всё то, что не вписывается в круг его личных пристрастий. Например, искусство, придерживающееся традиций реализма и других классических направлений.

Можно ли согласиться с тем, что современного человека реалистическое искусство «не трогает»? Во-первых, мы здесь имеем дело с мыслительной ошибкой, которая называется «сверхобобщением». А именно: человек, не способный логически мыслить (проще говоря, дурак, психбольной или неуч), качество, присущее одному объекту, приписывает всем объектам подобного типа. Пример такого мышления: «все мужики — сволочи» или «все бабы — дуры». Достаточно найти хотя бы одного честного мужчину или одну умную женщину, чтобы опровергнуть такой тезис. Так и здесь: если конкретных руководителей конкретного учреждения не интересует «традиционное» искусство, это не означает, что оно не интересно и всему остальному человечеству. Или же пусть они с фактами и цифрами докажут, что молодые люди, преодолевающие высокий конкурс на поступление в художественные училища и институты, должны вымереть, как динозавры. Недавно мы с А. П. Левитиным показывали студентам художественного училища реалистические натюрморты и пейзажи Майи Копытцевой. Более пятидесяти молодых людей, с первого по пятый курсы, смотрели как заворожённые, в полной тишине, их глаза блестели от восторга и желания учиться такой живописи. Это несовременные люди? Им не место в нашей жизни, потому что они не писают кипятком от радости при встрече с иберовским писающим зелёным уродцем?

О том, что реализм умер, говорят уже лет сто с лишним. Если смотреть на развитие искусства упрощённо, может показаться, что каждое новое художественное направление «отменяет» предшествующее. Например, после классицизма пришёл романтизм. Потом романтизм уступил место реализму. А затем импрессионизм появился и выкинул реализм на свалку истории. А импрессионизм довёл «до потолка возможностей» средства правдоподобного изображения реальности, и перед искусством встала проблема того, как изобразить нечто, не существующее материально, — например, эмоции, абстрактные понятия и т. п. Таким образом, искусство пришло к деформации, намеренному искажению некоторых свойств реальных объектов (изменение пропорций, усиление цветовой активности, уплощение или расчленение объёмной формы и так далее), имевшему место в постимпрессионизме или ранних модернистских течениях. А логическим продолжением деформации стал и отказ от предметного изображения. Носителем содержания стала абстрактная художественная форма, наподобие того, как это происходит в музыке. Собственно говоря, на первый план вышли цвет, ритм, линия, контраст и прочие изобразительные средства как таковые. Но все они и в фигуративном искусстве имели не меньшее значение. Просто это было понятно профессионалам. А для простой публики, смотревшей на изобразительное искусство как «двойник реальности», формальные средства, благодаря которым произведения и воспринимались так, как этого хотел художник, воздействовали на подсознание, но на сознательном уровне такой зритель думал, что понимает произведение благодаря сюжету и правдоподобию изображения. А сильно ли изменился простой зритель спустя сто с лишним лет? И виноват ли человек, что, как и тогда, при взгляде на живопись обращает внимание на внешнее жизнеподобие? И что — его, такого несовременного, застрелить за это? Или силком тащить в свою секту? Разве классицисты и романтики разом вымерли, когда на историческую арену выступил классицизм? Нет, в большинстве своём они продолжали жить и продуктивно работать. И у них была своя категория зрителей. Или импрессионисты совершили массовый геноцид реалистов? Ничего подобного. А абстракционизм, хотя некоторые его представители на эту тему хорохорились, никоим образом не уничтожил предметную, фигуративную изобразительность. Хотя и повлиял на неё некоторым образом. И все сообщения о смерти реалистического искусства оказались несколько преувеличенными. Среди всех появившихся и появляющихся направлений реализм выжил, сохранил и свои позиции, и своих приверженцев. И причина этого совершенно проста и понятна. Что, по большому счёту, человеку любого времени интереснее всего? Да он сам, любимый, и жизнь, которую он проживает, и та среда, природная, предметная и социальная, в которой его жизнь проходит. А значит, всегда будет и зритель, которому интересно и приятно видеть это всё в искусстве, и так же всегда будет художник, которому интересно эту жизнь изображать,

анализировать и выражать свои чувства по поводу этой жизни. Например, уважение к человеку или восхищение красотой природы. А поскольку и жизнь в целом, и мировоззрение человека не стоят на месте, то и реалистическое искусство так же вместе с этой жизнью меняется и развивается—и, как смею утверждать, никогда не умрёт. Во всяком случае, до тех пор, пока существует род человеческий. Кстати, западные дилеры сейчас наиболее охотно скупают в России как раз крепкое, профессиональное реалистическое искусство советского периода, а мода на нонконформистов, скорее политическая, чем художественная, практически прошла. Что никоим образом не препятствует появлению новых направлений в искусстве. Они и появляются, и впредь будут появляться—если в этом есть объективная потребность.

А ещё, говорят, в эру инноваций живопись как таковая тоже не нужна. Ничего не напоминает? Вспомните: когда появилось кино, пророчили смерть театру. Не случилось. Говорили, что фотография вытеснит живопись,—не произошло. Телевидение, в свою очередь, не убило кино, а компьютер—не отменил бумажные книги. Хотя—что это я так обобщаю? Кое-кому живопись действительно не нужна. И я даже кое-кого из них знаю. И почему—тоже знаю. Вот почему. Живопись, точно так же как скульптура, графика или декоративно-прикладное искусство,—дело нелёгкое. Чтобы достичь здесь успеха, нужно иметь талант, долго учиться и много работать. А если таланта нет, учиться неохота, работать лень, а быть богатым и знаменитым ужас как хочется?

Забавы дилетантов

Так уж устроен человек, что недостаточно ему, как прочим животным, питаться, размножаться и быть в безопасности. Хочется ему, человеку, ещё и чувствовать свою значимость. Единственный нормальный способ удовлетворения чувства собственной значимости—самореализация. А единственный нормальный способ самореализации состоит в том, чтобы определить свои способности, возможности, развить их по максимуму и заниматься *своим* делом. А это трудно. Трудно стать хорошим философом или архитектором: кто знает философа Шубского или архитектора Ковалевского? А пахать в проектной мастерской, читать лекции студентам или вкалывать на заводе—как-то «в лом», хочется славы и почёта. И они нашли для себя способ тешить самолюбие, причём за государственный счёт. Ладно бы если только для себя, но они ведь и рекламируют себя очень настойчиво. Дескать, мы самые-самые, давайте к нам, тоже такими будете. Причём в такой области, в которой мало кто разбирается, а значит, и критериев оценки не имеет. Если в науке нести всякую чушь—быстро разоблачат. В реалистическом искусстве—тоже трудновато выдать чёрное за белое и наоборот. А в так называемом актуальном—делай что хочешь. На самом-то деле и в нефигуративном искусстве критерии те же самые: композиция, форма, ритм, цветовая гармония, равновесие и прочее. Просто это знают специалисты, а для простого зрителя—тайна, покрытая мраком. Раз ты этого не понимаешь—значит, ты тупой. Или несовременный. А какому человеку, особенно молодому, с не устоявшимся мировоззрением, хочется быть тупым или отсталым? Никакому. А известный по НЛП приём «присоединения»—работает как часы. Обратись к клиенту словом «мы»—и он твой. Например, «умные четверги». Не знаю, происходит там что-нибудь умное или нет, лично я ничего умного в КИЦЕ ни разу не слышала. Но приходит туда молодой человек—и сразу может почувствовать себя умным. Это ведь приятно, особенно если самому ничего делать не надо. Просто приобщись к «умным»—и порядок. Или отдыхают ребята на природе, из мусора складывают кучку, придумывают к ней заумную концепцию—вот и арт-объект сотворили, вот они и креативные. Круто! «Мастерская креативных технологий», или как это у них там называется!

Компенсация ущербности

Если ты нормален, талантлив, любишь искусство, не оглядываясь на всяких указчиков, делаешь то, что душа просит,—найдёшь и единомышленников, и почитателей, и уважение их будет искренним и заслуженным. А если ты ноль без палочки, а прославиться хочется—вот тогда и просыпаешься с вопросом: а что бы такое придумать, чтобы мир удивить? Пределы такой деятельности располагаются обычно в границах от обыкновенной глупости до весьма опасной паранойи. Если личности с параноидным типом характера (а убеждённость в непогрешимости своего мнения как раз их и отличает) удастся собрать вокруг себя фанатиков (тоже неприятная и опасная категория психопатов), то иметь дело с ними чрезвычайно трудно, потому что доводы логики на них не действуют, а прислушиваться к мнению, не совпадающему с их собственным, они неспособны. Их кредо: кто не с нами, тот против нас. Хотя, согласно логике, тот, кто не с нами, не обязательно против нас. Он—может быть и сам по себе, не с нами и не с ними.

Кроме того, деятели такого типа очень любят проповедовать, учить и указывать. Дескать, должно искусство быть креативным и творческим (что, между прочим, одно и то же), актуальным, интеллектуальным, инновационным, интерактивным и далее в том же духе. Вообще-то, человек, по поводу и без повода употребляющий слово «должен», причём не так важно, кому адресованы эти установки долженствования—себе, другим людям

или искусству, является невротиком. Человек самореализованный адекватно смотрит на жизнь и не выдаёт своё мнение за всемирный закон, готов к открытой дискуссии, в которой будет использовать логику и разумные аргументы, а не высказывать некие истины, не подкреплённые доказательствами. Невротик же, каким бы светилом себя ни провозглашал, подсознательно очень неуверен в себе, такая вот «мания величия на почве комплекса неполноценности». Поэтому ему нужно, чтобы все его любили, почитали и слушались, признавали самым лучшим, непогрешимым. Нормальный человек трезво оценивает свои возможности, а невротик фактически приравнивает себя к Богу. Его «установки долженствования» нереалистичны, а если предъявляются к чему-то, от него не зависящему,—абсурдны. Нереально требовать, чтобы какой-либо процесс—например, такой, как развитие искусства,—развивающийся объективно и по своей внутренней логике, вдруг начал тебе подчиняться. При всех человеческих влияниях и субъективных особенностях творцов, искусство—саморазвивающаяся система. Что получилось бы, если бы мы переместились, скажем, в Древнюю Грецию и стали указывать Фидию, какой должна быть скульптура? Ничего. Другое время, другие ценности, другие задачи. Нравится нам это или нет, но через нас, художников, даже если мы думаем, что сами себе хозяева, через наше творчество выражается та или иная эпоха. И против этого, как против закона земного тяготения,—не попрёшь. Можно стоять на берегу Енисея и требовать, чтобы он тёк в другую сторону, но ведь не потечёт! Хоть тресни!

Кружок по интересам

Нет ничего удивительного, что неадекватные идеологи привлекают неадекватных последователей. Подобное притягивает подобное. На «дискуссии» с гордостью прозвучало, что КИЦ, как и положено уважающей себя галерее, имеет своих художников: это Василий Слонов и Виктор Сачивко. Не буду вдаваться в анализ их нетленных произведений, хотя, глядя на них, да и на самих творцов тоже, так и хочется проконсультироваться с психиатром. Если Сачивко, выпускник КИСИ, где рисунок и живопись всегда преподавались слабо, ничего толком не умеет—неудивительно, то Слонов мог бы достичь большего. Он на четвёрки и пятёрки окончил Суриковское училище, хотя и не на живописи, на оформительском отделении, но базовое образование у него есть. Или другая кицевская гордость—Олег Пономарёв, тоже выпускник училища, только махровый троечник. Думал, чем бы мир удивить, и придумал. Вот, все писали кистью, а я—детородным органом. Сочинил этому псевдофилософское объяснение типа «совокупления с живописной поверхностью» и «акта жизнетворения»—и уже гений! Да хоть яйцами холст раскрашивай, лишь бы хорошо получилось. А получается-то—соответственно. Для искусства. А для них—очень даже удобно. Тешь себе амбиции за денежки налогоплательщиков, в том числе и мои, и ваши, и ваших друзей и родных,—а чтобы обосновать свою нужность, прикрывайся мудрёными словами. Чтобы те, кто выделяет деньги, не сомневались в твоей актуальности. А оно нам нужно? Мы этого хотим? Почему диван из хлеба, сфинкс из мусора или звёзды из какашек для понимания смысла жизни и удовлетворения потребности в прекрасном дают больше, чем картины Сурикова (не Александра) или Репина? Всё это чушь собачья, призванная для дилетантов оправдать их существование.

Если такие художества для КИЦа—дело и смысл всей жизни, так пусть господа Шубский и Ковалевский со товарищи организуют кружок по интересам и наслаждаются процессом «креативного творчества» за свои кровные. Или создадут общественную организацию и реализуют свои грандиозные проекты за счёт членских взносов. Если дело живое и нужное—выживет и пробьётся. И актуальность будет доказана. Может, пару лет не финансировать кицевский креатив—и сразу ясно станет, нужна кому-нибудь эта деятельность или нет?

Слова, слова, слова

Что приходит на выручку, когда нет настоящих дел? Естественно, слова. Да не простые, а вот такие: не произведение искусства, а арт-объект; не искусство для публики, но паблик арт. Но это ещё цветочки. А вот и ягодки.

«*Стремясь определить зону индивидуации в культурной сфере, отражая имеющийся опыт, проектную практику и символические обретения, концептуальное ядро Красноярского МСИ можно выделить в феномене «экзистенциально-пространственного растяжения России»*. «Самоопределение в пространстве», «идентичность распространения» исторически связана с территориализацией Сибирской земли. Судьба России решалась освоением «пустоты», раскинувшейся от Европы до Тихого океана. Предметом развёртываемых на сибирском стратегическом плацдарме художественных исследований становятся пространственные структуры воображения».

Впечатляет? А если по-русски пересказать? Дело нелёгкое, большинства из этих перлов в толковых словарях нет. Придётся порыться в специальных—философских, психологических, социологических, экономических, но и в них, к примеру, вы не найдёте «территориализации». Ну нет в русском языке такого слова, что уж поделать. Если следовать логике русского языка (колонизация, глобализация и так далее), то это некий процесс, в результате которого нечто, не являющееся

территорией, в неё превращается. Например, если мы засыплем грунтом какую-нибудь часть акватории Северного Ледовитого океана — это будет «территориализацией». То есть, по логике Ковалевского, до появления КИЦА Сибирь территорией не являлась, но зато теперь на это можно надеяться. Он же говорит, что от Европы до Тихого океана простиралась «пустота». Однако в этой «пустоте» жили и развивались интереснейшие самобытные культуры, с очень даже приличным искусством, — например, было высокоразвитое древнехакасское государство, простиравшееся от Иртыша на западе до Ангары на востоке и до пустыни Гоби на юге.

Ну а что же с переводом на нормальный, человеческий язык? Что получится, если расшифровать фразы, которые я выделила курсивом? А вот что: «Стремясь определить часть физического пространства для формирования себя как самостоятельного индивида в области культурной деятельности, отражая имеющийся опыт, практику осуществления проектов и условные обретения, понимательное ядро музея современного искусства можно выделить в явлении существовательно-пространственного растяжения России». Супер! Снимите шляпы, господа!

Или «символ» — одно из самых модных слов и одно из самых туманных и неопределённых до сих пор понятий. Но если выбрать наиболее информативное из разнообразных определений, то получается, что это определённый объект, выражающий, помимо своих реальных качеств, определённое философское, религиозное или эстетическое содержание. Например, голубь — символ мира, символ Святого Духа; целующиеся голуби символизируют любовь, хотя на самом деле — самец в процессе ухаживания угощает самку отрыжкой пищи из своего зоба. Вот такая проза жизни. «Символические обретения» оставим на радость нашим героям. Раз уж нет обретений настоящих — пусть тешатся символическими.

А что такое «сибирский стратегический плацдарм художественных исследований», и откуда такая воинственная риторика? Как это можно перевести на нормальный человеческий язык? А чего сто́ят «пространственные структуры воображения», которые на вышеозначенном плацдарме надлежит исследовать! Воображение, вообще-то, — один из психических процессов, в нашем мозге проистекающий. И никаких пространственных структур процесс этот не имеет. Вот в его результате означенные структуры появиться могут — архитектурный проект, допустим.

Теперь попробуем с инновационностью разобраться. Термин «инновация» — экономический и подразумевает внедрение новых технологий, материалов и тому подобного с целью увеличения прибыли. По-русски означает «нововведение». Про инновации в искусстве ничего вразумительного вы нигде не найдёте, что не мешает, однако, заявлять, будто современное искусство — это искусство инновационное, актуальное, интеллектуальное. Насчёт интеллектуального особо возражать не буду, но напомню, что искусство тем и отличается от науки, что воздействует на наше сознание с помощью эмоций. Это я не к тому, что искусство должно быть тупым, а к тому, что произведение, построенное только на умствовании и не вызывающее эмоциональной реакции, как минимум скучно, а как максимум — к искусству не относится. А вот нововведения бывают разные. Скажем, развитие цифровых технологий дало такой мощный толчок появлению новых жанров и видов искусства и такие возможности его распространения, какого не наблюдалось за всю многовековую историю культуры. А придуманный нашим славным министерством образования приём в творческие вузы по результатам ЕГЭ — нововведение даже не идиотское, а... Короче, слов нет. Что касается искусства, то оно всегда развивалось, всегда обновлялось, по-другому и быть не может. Процесс совершенно естественный, его ни остановить, ни ускорить. Когда новое возникало в том же темпе, что и социальные, мировоззренческие изменения, или слегка их опережая — всё было гладко. Если революционно — возникали трудности непонимания. Отсюда — непризнание современниками гениев, опередивших своё время. Из этого, правда, не вытекает, что любой непризнанный — гений. Возможно, он просто дурак. Или хвастун.

Актуально-то как!

Другая фишка — так называемое актуальное искусство. Что это такое — никому на самом деле неизвестно. И существует ли такое искусство, и на самом ли деле оно актуальное — вопрос, мягко говоря, спорный. Термин этот внедрили в обиход сами «актуальщики», просто для того, чтобы заявить: то, что делаем мы, — это супер-пупер, молодые люди в этом искусстве ищут ответы на свои проблемы; всё, что делают другие, — отстой; и вообще, дайте нам за это денег.

Актуальный — значит, действующий, жизненный, животрепещущий, злободневный, своевременный, важный, назревший, стоящий на повестке дня, соответствующий моменту, значительный, насущный, современный и т. п. Синоним «современное» — не очень в ходу, потому что им можно назвать всё, что создаётся сейчас, в том числе и другими направлениями, а актуальным художникам это не нравится, они претендуют быть единственными выразителями времени и властителями дум. Ну, и от бюджетного финансирования не отказываются. А иначе, без денег из казны, кто бы их знал-видел? У нас это происходит с КИЦем, в Перми точно так же деньги налогоплательщиков

со свистом проваливаются в гельмановский музей современного искусства. Это — обыкновенная коммерция, обильно замешанная на блефе. Может, во Франции, где давно рисовать разучились, Фабрис Ибер и художник, а здесь-то он кого удивит? Кто восхитится его беспомощными каракулями? Кто испытает душевное волнение и радость творчества, созерцая чучело из фруктов и овощей? Какие глубокие размышления о смысле жизни вызовет перелезание через семьсот тридцать семь пластмассовых тазиков? Какие ценности гуманитарной культуры внедряет в молодые, жаждущие обретения «культурной идентичности» умы квадратный метр губной помады? Какое креативное мышление развивают четыре железные трубы с вертушками и бочками? В чём насущная необходимость и злободневность деревянной то ли будки, то ли клетки? В чём великий смысл разложенных на асфальте позолоченных лопат? Какие умные мысли о бесконечности пространства и постижении трансцендентного смысла дали порождают перевёрнутая восьмёрка на противоположном берегу и четыре корявые буквы, улетающие на воздушных шариках? Да никто, ни в чём и никакие. Все эти акции, интерактив, креативные технологии — для развлечения гламурной тусовки под аккомпанемент псевдокультурологических заклинаний. Ну нет у нас в стране объективной почвы для этого баловства, а в Сибири — и подавно. Чуждо это и нелепо, как пальмы в горшках. Тоже, кстати, недешёвые.

Искусство — вечно

Искусство, если оно настоящее, — и без дотаций живо. Для конкретных творцов, которым за мастерскую заплатить нечем, — может, и трагедия. И гибель даже. А искусство, если оно естественное, если оно человеческое, — вечно. Искусство, в отличие от науки и техники, со временем актуальности не теряет. Потому что оно — о главном в человеке и для человека. Не могут потерять актуальность такие человеческие ценности, как добро, любовь, красота, понимание. И только искусство может выразить эти абстрактные понятия в чувственно воспринимаемом облике. И если искусство это делает — оно будет актуальным всегда. Что, скульптуры Поликлета — неактуальны в силу своей древности? Или творения Микеланджело? Или Рембрандт? Шекспир? Пушкин? Бетховен? Василий Суриков? Рерих? Да и нужно ли искусству быть актуальным, то есть злободневным и соответствующим моменту? Может, это задача для журналистики, политики или министерства ГО и ЧС? Может быть, больше смысла в искусстве, которое говорит о непреходящем? И есть ли у нас другой долг, кроме долга развивать всё лучшее, что в нас заложено? И что, кроме искусства, может нам в этом помочь?

А искусству — нужен музей. Дом, достойный Искусства. Если отвечать на вопрос, готов ли Красноярск к музею современного искусства, — да. Готов. Готов ли Красноярский культурно-исторический музейный центр стать музеем современного искусства? Нет.

Этот текст был написан больше года назад, в пылу полемики вокруг преобразования ККИМЦ в Красноярский музей современого искусства, так называемый КрасМуси. Участники долгих и бурных дискуссий остались каждый при своём мнении. КИЦ по-прежнему называет себя не своим именем. За это время ничего явно не изменилось, изменится ли в обозримом будущем — трудно сказать. Внушает оптимизм то, что на сотрудничество с ККИМЦ пошли молодые и энергичные профессионалы из Молодёжного объединения при Союзе художников. Если они сумеют переломить изгородь дилетантизма, совершить «революцию снизу» — можно рассчитывать на новую жизнь в старом коричневом бункере на Стрелке.

Игорь Панин

Сумерки степных божков

В той степи глухой
Замерзал ямщик…
Народная песня

Замечательный поэт из Перми Юрий Беликов опубликовал в «Литературной газете» (№ 29, 2011) статью «Сеть и Степь». Частично это был ответ и на мою статью «Хотят ли русские…», появившуюся в той же «Литературке» (№ 4, 2011). Тема, затронутая Беликовым, получила дальнейшее развитие в журнале «День и ночь» (№ 5, 2011), где вышла расширенная версия его материала под названием «Между Сетью и Степью», а также несколько объёмных (и не очень) откликов на него.

О чём же, собственно, речь? *«Сеть производит свою иерархию — ценностей, ханов и ханш, репетируя роман Свифта «Путешествия Гулливера». Что в Сети — золото, то в Степи — навоз… То же самое — с ханами и ханшами. Идёт война — между Сетью и Степью. Сеть алчет подчинить себе Степь. Сеть более пассионарна, поскольку молода…»* — утверждает Беликов. Иными словами, он делит писателей на «сетевых» и «бумажных». Первые, по его мнению, никуда не годятся, вторые же являются оплотом духовности, стержнем культуры и т. д.

Вторит Беликову и весьма уважаемая мною поэтесса из Челябинска Нина Ягодинцева: *«Иерархия Сети лукава, Сеть — всего лишь средство связи, одно из — горизонтальная структура. Если воспринимать её в качестве макросубъекта, то нужно иметь в виду: спонтанная цель сетевого общения неизбежно располагается в горизонтальной плоскости. Сеть не будет искать высот, в отличие от Степи, для которой цель — поддерживать вертикаль, соединение земли с Небом над ней. Сеть выбирает то, что не опровергает её горизонтальности, не угрожает ей… Возникает перевёрнутая иерархия с её «минус-ценностями» и разрушающими жизнь смыслами»*.

Вся эта дискуссия столь же интересна, сколь и бессмысленна. Хотя бы потому, что чёткого разграничения между Сетью и Степью (будем для удобства пользоваться этой терминологией) давно уже не существует. Многие «сетевики» имеют публикации в печатных изданиях и выпускают книжки. И наоборот — «бумажники» заводят блоги, открывают собственные сайты, не говоря уже о том, что вовсю пользуются электронной почтой. Так кого относить к Сети, а кого к Степи? К какому лагерю мне отнести, скажем, себя? Начинал я в первой половине девяностых, когда не существовало ещё никаких литсайтов и социальных сетей, и первые мои публикации появились, естественно, на бумаге. А в «нулевые» я совершенно спокойно начал размещать свои тексты в Интернете, нимало не заботясь о том, что это может «подпортить» мне имидж. При этом продолжаю вполне успешно публиковаться в журналах и газетах. И мне всё равно, кем меня будут считать, в какие армии записывать.

Сотни первоклассных авторов ныне публикуют свои произведения сперва на сайтах и в блогах, дабы проверить реакцию читателей, учесть критику и пожелания коллег, а затем уже отправляют тексты в толстые литературные журналы. Но они вряд ли задумываются над тем, к какому лагерю относятся. Настоящие поэты просто пишут и публикуются, используя для этого все доступные средства, включая IT-технологии. Удивительно, что сам Беликов, принадлежа к их числу, с жаром, достойным лучшего применения, обрушивается на Сеть, как это принято в среде замшелых союзписовских ортодоксов, живущих вчерашним веком.

Говоря об иерархии, которую выстраивает Сеть, Беликов и Ягодинцева почему-то умалчивают о том, что ровно те же самые претензии можно предъявить и Степи. Мало, что ли, мы знаем примеров, когда бездарные литчиновники руководили писательскими союзами, гнобили или в упор не замечали действительно выдающихся авторов? И ведь происходило это не при царе Горохе, а ещё совсем недавно, да и — не побоюсь сказать — происходит в наши дни. Кроме того, и сама Степь не хочет ничего слышать о сетевых авторах, которых она точно так же относит к «навозу». И это было бы вполне логично, если бы в самой Степи хозяйничали корифеи нашей словесности. Но что на поверку? Вот, к примеру, какие «стихи» публикует московский журнал «Поэзия», имеющий самое непосредственное отношение к Союзу писателей России:

Ты люби меня, как любишь,
Ты страдай по мне, как знаешь.
Если этого не будет —
Ты мне душу истерзаешь.

> Жди меня, как ждёшь одна ты,
> Мчись ко мне, как заскучаешь.
> Если этого не будет—
> Ты мне душу истерзаешь.

Ну и далее в таком духе. Имени автора называть не стану, отмечу лишь, что он является лауреатом Большой литературной премии Союза писателей России, кроме того—*«за верность традициям русской культуры и литературы постановлением правления Московской областной организации Союза писателей России и редакционно-издательского совета газеты «Московия литературная» №1 от 22.01.2007 г. награждён Золотой Есенинской медалью»*.

Если уважаемые Юрий Беликов, Нина Ягодинцева и все примкнувшие к ним растолкуют мне, чем эти вирши лучше творений среднестатистического графомана из Интернета, буду крайне признателен. Ещё более признателен я буду, если мне объяснят, за что автору процитированных строк дали Большую литературную премию СП и Есенинскую медаль (Сергей Александрович, вероятно, в гробу перевернулся).

Лично я двенадцать лет состою в Союзе писателей России, но за это время не удостоился ни одной СПшной премии, ни одной медали, ни самой захудалой грамоты. Но дело не в их отсутствии или наличии; мне это попросту не нужно. Я прекрасно знаю, каким образом всё это можно получить. Однако совершенно очевидно, что при настоящем раскладе автор процитированных стишков в иерархии СП стоит куда выше меня. Только вряд ли это соответствует реальной расстановке сил и масштабам дарования—давайте уж начистоту, без ложной скромности. Так какие претензии тогда к Сети, если в Степи ситуация ничуть не лучше?

Когда такие лауреаты и медалисты пугаются агрессии, исходящей от Сети, их легко понять: кому они будут нужны со своими виршами, если возникнет (да и уже возникло) единое информационное пространство с нормальной конкуренцией? Талантливый автор никогда не затеряется в Сети; пусть он не завоюет большой популярности, но своё законное место займёт. Графоман может, конечно, вовсю распиарить своё имя, но вряд ли к нему будут относиться всерьёз, несмотря на его зашкаливающий счётчик посещений страницы. А вот в Степи у человека, не вписавшегося в иерархию, не встроившегося в систему, нет никаких шансов. Кому, как не Беликову, об этом знать, создавшему сайт «Дикороссы» и неустанно пропагандирующему творчество «неофициальных» поэтов, не оценённых и не замеченных писательским сообществом?

Несколько лет назад мне довелось проводить международный поэтический конкурс, который формально считался сетевым. На презентации сборника, в который вошли произведения финалистов, неожиданно выступил один из представителей СП, обратившийся к присутствовавшим конкурсантам со снисходительными наставлениями: вы, мол, интернетчики, но теперь опубликованы на бумаге и потому должны чувствовать ответственность, бережнее относиться к слову, а уж мы, старшие товарищи, будем за вами приглядывать… Поскольку данный спич был неуместен и бестактен, он вызвал во мне вполне закономерное раздражение. «Среди присутствующих—авторы «Знамени», «Октября», «Невы», «Нашего современника», «Литературной газеты» и других известных изданий,—сказал я.—А позвольте поинтересоваться, что можете предъявить вы?» Литчиновник стушевался, пробормотал, что он «давно в литературе», но больше не возникал. Оказалось, что многие из этих «интернетчиков» куда именитее представителя СП, причём именно на его территории—в Степи.

Я не вижу, если честно, никакого открытого противостояния, тем более—«войны» между Сетью и Степью, о чём пишут мои оппоненты. Происходит вполне закономерный процесс: молодая Сеть расширяется, а дряхлеющая Степь сужается, однако в чём-то они и дополняют друг друга. Возникновение кинематографа тоже, казалось, поставит крест на театре, но этого не произошло. Точно так же и Сеть никогда не раздавит и не подчинит себе Степь. Жалобы потускневших совписовских божков на развитие Сети напоминают мне стенания замерзающего в степи ямщика. С той лишь разницей, что у ямщика не было выбора, а у писателей он всё-таки есть—нужно лишь избавиться от стереотипов и трезво взглянуть на вещи. Но если этого не могут пока сделать даже продвинутые авторы вроде Беликова и Ягодинцевой, значит, впереди ещё много споров и сломанных копий.

Выиграет в конечном итоге тот, кто перестанет воевать с ветряными мельницами. Вернее, тот, кто не принимает эти мельницы за чудовищ.

Сергей Сутулов-Катеринич

Бриг «Star's & Poetry», или Поэллада из трёх заплывов

Заплыв-1

Возраст? Двадцать… с ветерком. Рябь балтийская.
Горизонт за островком. Речь английская.
Две студентки. Два глупца… (Водка—в содовой…)
Я ныряю—слегонца—за свободой и…
И—плыву-гребу-плыву!—к сердцу острова.
Прошивает синеву бритва вострая:
Катерок сторожевой! Пограничники.
«Удалец полуживой…»—«Прочь, опричники!..»
«Охолонь, пловец-беглец, в „обезьяннике“…»
«Ад-во-ка-та!!!»—«Цыц, стервец полупьяненький!..»
«Медальон отдайте мне…»—«Кукиш—с вишнями!»
…Пошептались по шпане—вышли сникшими.
«Виноваты…» То да сё—морду били, мол-с…
«Протокол порви, осёл!..»—мент и… Билли Бонс!
Билли Бонсом звали мы брата дедова.
Он с войны носил пимы—блажь победова.
Он с войны носил Звезду. Жил без паспорта.
Умер в нуль седьмом году—в сане пастора…
(Медальон—пиратский бриг «Star's & Poetry»
Подарил старик-комбриг: «Чуда ровно три…»)

Заплыв-2

Зрелость. Сорок с небольшим… Сон колышется…
Сигануть решил в Ишим по-мальчишечьи…
Казнь устроила родня домостроева.
Мать растрогала меня. Дочь расстроила.
Мама шепчет: «Дураки…», дочка: «Умницы…»
Посередь плыву реки—вопли с улицы:
«Левый берег крутоват…»—«Путь в Московию!»
«Правый—ад на Ашхабад…»—«Гимн злословию!»
Философствует отец: «Омуль—в ле́дничке:
Доплыви в один конец, ёрш-наследничек…»
(Муза прапору верна—рыбка скользкая.
Африканская жена—ставропольская…)
Двоюро́дные дядья машут саблями,
Тётки, братья и зятья пляшут с граблями.
Улюлюкает родня заишимская—
Комиссары, солдатня, тверь каширская,
Кучера, профессора, ведьма псковская,
Балерины, повара, пермь московская,
Кто—с багром, кто—с утюгом, бабка—с вилами,
Сын грозится бандюгом, тесть—могилами,

Тёща левая давно стала правою—
Бунюэлево кино над державою.
Остаётся прямиком?!—Правь, течение…
(Ах, по ком звонят, по ком предвечерние?)
Плыть сажёнками всегда—вверх, до острова!—
Билли Бонс, моя Звезда—високосная.
(…Дочь заохала меня. Мать заахала.
Бунюэлева фигня—фуга Бахова…)

Заплыв-3

Старость? Скоро—шестьдесят. Атлантический
Пляж. Жарища. Маскарад феерический.
В джазе—Джина, Джон, жираф (для экзотики?!),
Граф, фотограф, батискаф, зебры, зонтики,
В джазе—девушки европ, азий, африк, и
В ритмах—вещий эфиоп всей Галактики!
Маскарад—парад затей звёзд французовых,
Сиракузовых детей, дам медузовых.
Такорадит фраер Берг (мариупольский!)—
Бога ради: фейерверк милых глупостей.
Пиво, кофе с коньяком, ангел (бестия-с?!).
Итальянка с казаком заневестилась.
В джазе—шторм! Тамтам буйка. Сольник шкипера.
Грива зверя-островка—лев из Питера!
Над волной парит индус—Шива Шивою,
Под волной дудит зулус—связь паршивая.
Ба! Двенадцать негритят (верь считалочке?)
В шторм купаться не хотят—лучше в салочки!
Горизонт над островком—синусоидой…
Это я нырнул тайком… (Виски—в содовой…)
И плыву-гребу-плыву к Лёве-острову,
Прогоняя в синеву мысль несносную:
«Золотой пиратский бриг от дурёх сберёг…
Билли Бонс—в сакральный миг!—досчитал до трёх…»
Бунюэлит океан… Лев оскалился!
Пушкин. Царь Салтан. Буян. Вязь пасхальная.
То ли к острову башкой, то ли к берегу:
Вижу башню на Тверской и Америку.
Африканская струна—в ноту главную!
Ставропольская жена—Ярославною…
Час болтало. Два тонул. Преисподняя!!!
(Помню лютую волну по сегодня я…)
Князь Гвидон. Буян. Песок… Сердца джаз внутри…
Медальон—наискосок!—«Star's & Poetry».
(…Рифма точная всегда—жизнь без спонсора.
Бриг. Атлантика. Звезда Билли-Бонсова…)

Борис Панкин

Город-ковчег

• • •

не будет тебе воздаяний на том берегу.
ни хладного ада в награду, иным в назиданье.
лежать тебе камнем разумным — века ни гугу.
ни слова наружу, ни жеста — молчанье, молчанье.

не будет тебе ни забвенья, ни вечного сна.
все эти расклады тебя не коснутся, поскольку
отныне ты — мыслящий камень на все времена.
немой обездвиженный мыслящий камень, и только.

• • •

нет никакого нео, никакой ложки.
нет капитана немо, и чёрной кошки
в комнате без окон, где погашен свет,
нет. кстати, комнаты тоже, как видишь, нет.

нет никакого поля, никакой жизни.
всё, выходи из боя, пока ты лишний.
время сменить пространство, судьбу, планету,
двигаться к свету, переиграть всё это.

двигаться, ощущая биенье пульса.
не обещай, не вздумай назад вернуться.
это чужая память, чужое небо.
не во что падать — глупо, смешно, нелепо.

есть неоглядный космос, звезда в зените.
это так просто — сплюнуть в сердцах: изыди.
в знобком тумане верный нащупать путь.
двинулись с богом, выйдем куда-нибудь.

• • •

когда остановится солнце и я уйду
по шаткому льду туда где нельзя согреться
не вспоминай не сетуй на пустоту
на боли в сердце

всё получилось так как хотела ты
как ты мечтала — честно и откровенно —
гулкое небо пластиковые цветы
сырые стены

длится процессия шаркают сотни ног
вьётся мелодия тонко и прихотливо
створки смыкаются лязгнет вот-вот замок
счастливо

• • •

можжевельник подорожник
хвоя да листва
я тебя любил до дрожи
жаль что ты мертва

жаль что всё прошло и вышло
боком нам с тобой
василёк ромашка пижма
лютик зверобой

• • •

город-ковчег,
где каждой твари по паре.
где печенег
братается с негром в баре.

где славянин
с хазарином пьют зубровку.
где армянин
с арабом берут воровку.

город-ковчег,
в котором чечен как дома.
се — человек.
здесь ему всё знакомо.

вязкая ночь,
блики бельмастых окон.
не превозмочь
комы глухой, глубокой.

• • •

на железнодорожном полотне
в холодном сне лежать тебе и мне
кусками красной плоти на закате

железная дорога в два ряда
уходит монотонно в никуда
и воробьи чирикают некстати

и пролетевший в небе самолёт
оставит свой инверсионный след
как хорошо что белыми ночами

светло почти как днём и смерти нет
пока пичуга малая поёт
и можжевельник шевелит плечами

● ● ●

Когда судьба тебя приметит
и навсегда благословит,
во глубине иных соцветий
не делай изумлённый вид.

В сплетении иных реалий
не жди иной, чем есть, расклад.
Забудь! Всё в умных книжках врали—
не ждут тебя ни рай, ни ад.

Там жизнь, как здесь, благоухает,
и смерть добычу стережёт.
Тиран лютует, плебс буха́ет,
и Кашин вдохновенно лжёт.

Там так же ничего не значит
любое мнение твоё.
«Титаник» тонет, скрипка плачет,
Киркоров бабу в морду бьёт.

На нервных изнурённых лицах
следы бессмысленных страстей.
Там так же никому не сбыться
ни на холсте, ни на кресте.

То Асахара, то Мавроди.
Не демагог, так казнокрад.
Ротация дерьма в природе,
как сто, сто тысяч лет назад.

Вселенная летит по кругу,
ей весело и всё равно—
найдёшь ли ты свой пятый угол,
о чём в ночи рыдает вьюга,
зачем Толстой ходил за плугом.—
Не парься, всё предрешено.

● ● ●

ещё чадит в руке чадило
ещё бликует огнь во лбу
ещё звучит уймись чудило
изгадишь почву и судьбу

расчешешь гондурас до паха
и что останется тогда
окровавленная рубаха
топор изгвазданная плаха
жизнь заскорузлая от страха
хроническая ерунда

молчи таи свои потери
не выставляй их напоказ
не в этот раз по крайней мере
не в этот раз не в этот раз

● ● ●

тяжкий жребий проклиная,
знай: за крайнею чертой
не случится жизнь иная.
только старец с бородой,
что совковая лопата,
в дланях длинное весло,
не за совесть, но за плату
чёлн, гружённый тяжело,
по притокам ахерона
направляет в царство тьмы,
где, по жанровым законам,
навсегда осядем мы.

где ни звука нет, ни света,
льётся скорбная печаль,
да орфей, и. о. поэта,
клянчит в пропуске печать.
но мандат его просрочен,
раскурочен инструмент,
сам бессвязное бормочет,
словно нюхал клей «момент»;
но в краю теней и мрака,
безусловно, решена
участь всякого, и, всяко,
причитаньям грош цена.

это только в дольнем мире:
выйдешь к роще у реки,
вдаришь чувственно по лире,
ляпнешь в рифму две строки—
глядь, несут венок лавровый
и торжественный нектар,—
ювелиру, дескать, слова
за его бесценный дар.
а уж как велись пейзанки—
норовили всё в гарем.
правда, как-то раз по пьянке
упромыслили совсем.

и возврата нет к былому,
как пощады ни канючь,—
скажут: что ещё за клоун?—
да запрут на дальний ключ.
полусонной станешь тенью,
молчаливой и пустой,
уподоблен привиденью,
лёгкой дымке над водой,
по которой древний старец
бодро шлёпает веслом.

хрен чего от нас останется,
никому не повезло.

Варвара Юшманова

Старые секреты

Старые секреты

Кто-то в небе, в небе думает молча о них,
О твоих волосах. Растрепались. Июнь по коже.
Ты решаешь свои невзгоды, но за двоих,
Выбирая себе судьбу на выставке кошек.

Ночь-чернильница прячет, прячет в себя огни,
Убивая кляксами звёзды и переулки.
Синеглазый котёнок в мареве западни
Смотрит дымчато в пропасть резной шкатулки.

Он секреты старые ищет хрупкостью лап,
Коготками цепляет прошлое, как сардину.
И все дни твоей жизни прежней — его юла —
Собираются, собираются воедино:

Дом, из кубиков не построенный, злой маяк,
Ветхий компас немой, рассказанная легенда
И сокровища, похороненные в морях,
Не потраченные впустую, впустую кем-то.

Эти клады нелепые живы и для тебя.
Он мурлычет, мурлычет. Умный, узнавший тайны.
За окном фонарей измученная змея
Смотрит в комнату сонную, ставшую вдруг сакральной.

И пускай те секреты — обыденные клише,
Никому, никому не нужные, даже кошкам, —
Кто-то в небе откроет двери в твоей душе,
И земнее станет немножко, другим немножко.

Счастье

Скоро ли ты обрушишься на меня
Штормом средиземноморским,
Судном лихим пиратским?
Сердце моё осталось лежать под Братском.
Боль моя — подмёрзшая полынья.

Скоро ли ты набросишься на меня
Мягкой, шурша, взлетающей птичьей стаей,
Песнями колокольными, звуком бубна?
Я словно ненастоящая, я — как будто.
Я — мать-и-мачеха, не собирай меня.

Скоро ли ты приблизишься, как прибой,
Как угрожающие грозовые тучи?
Скоро ли, счастье, ты придёшь и измучишь?
Или же мы не встретимся вновь с тобой?

Землетрясение

Бусины застучали по столу,
Закапали в ковёр.
Диван зашатался, почти взбесился,
Стал биться подлокотником в стену.
Большой тяжёлый шкаф задрожал,
То ли испугавшись, то ли
Угрожая упасть на кого-то.
Люстра вспомнила, как в прошлой жизни
Танцевала кадриль.
Крики забегали по лестнице.
Телефон запел.
— Алло. Алло. Как ты?
Что с тобой?
— А что со мной?
— С тобой всё хорошо?
Просто сейчас землетрясение.
— Да? А я думала, просто мир рушится,
оттого что мы не рядом.

Заклинание

Сизый пятихвостый селезень,
Дух зыбучего песка,
Бурый волк, седая плесень,
Белоглазая треска,

В небе чёрном злая прозелень,
Кислый муравьиный мёд,
Пепельный кричащий поползень,
Нынче ночью ваш черёд.

На пяти хвостах заклятие
Разнесётся, покружит.
И в песках умрёт проклятие,
Волчий глаз посторожит.

Плесень съест тропу обманную,
Волшебство шепнёт треска,
Небо хмуростью туманною
Смоет проседь у виска.

Мёд приправит настоящее,
Поползень споёт с водой,
И душа моя болящая
Снова станет молодой.

Лунный князь готовится к войне

Лунных княжеств медные заборы.
Маятник изогнутых теней.
Время сна. Озёра холодней
Сумрака, сжимающего горы.

Лунный князь готовится к войне,
Мысленно полки́ свои считает.
И стальной костюм его блистает,
И алмазный жертвенник—в огне.

Злая пыль лежит на кораблях.
Нервно дышит лунная княгиня.
Ходит радость тропами другими,
Расстилая утро на полях.

Час пришёл. Оскален небосвод.
И встают луняне не по зову,
Заполняя сумрак бирюзовый,—
Маленький неизбранный народ.

Каждый вечер над его страной
В небе появляется планета,
Но она не дарит больше света,
А висит уставшей и больной.

Враг считает блики на Луне,
В телескопы смотрит на затменья,
Но не видит в них предупрежденья:
Князь уже готовится к войне.

● ● ●

Я знаю, что когда-нибудь солгу.
Куда-то неуверенно шагая,
Я встречу человека-попугая,
И он за мной неправду повторит.

Я знаю, что когда-нибудь паду.
И, чествуя души своей изъяны,
Я встречу человека-обезьяну.
Он, как и я, бесстрастно согрешит.

Я знаю, что когда-нибудь уйду
Кричать в лесах неведомых без толка,
И там я встречу человека-волка.
Он в долгой песне душу обнажит.

Я знаю, что когда-то полюблю,
Над болью возвышаясь, как калека.
Я встречу человека-человека.
И он меня не примет, но простит.

Вспомни

Колкая вздорная суета причалит,
И забываешь о трогательном мирке,
О невесомости, что была вначале,
Как в гамаке.

Будто нарочно не видя своей потери,
Биться костяшками пальцев в немые двери,
Пересекать сплошные и клейкий фарш
Нервно и энергично крутить в мясорубке,
Кутаться в ночь, как в шубу из чернобурки,
И каблуками отстукивать марш.

Но не юли! Не ради песка и снега
Ты покидаешь утром свою постель.
Бег ради бега?!
Вздох из-за человека.
Вдох ради человека и целый день.

Вспомни: когда-то жизнь не была скептична,
Солнце было реально, а не тряпично,
Было красиво, славно, и проливал
Дождь, словно суп: густые тёплые капли
Соединяли небо с тобой… и пахли
Озером. И закат устало зевал.

Вспомни сейчас, в минуты лихой недели,
Вместо эмоций несущей переполох,
Ради чего ты утром встаёшь с постели,
Ради кого ты делаешь каждый вдох.

Поцелуй на балконе

Десятилетьями ждать своих королей
Может страна или женщина. Им по силам.
Нужно уметь повсюду ступать красиво,
Быть в серебристом храме всего белей,

Видеть, как сказки жизни плетут узлы
И ворожат ведуньи в цветных нарядах.
Нужно в своей душе наводить порядок,
И прилетят первовестники и послы.

Сузится мир до лестницы к алтарю.
Снова поверит сердце, что временами
Чудо случается. Даже пускай не с нами.
Вильям целует Кэтрин. А я смотрю.

Синяя тетрадь

Красноярский литературный лицей
Мастерская Елены Тимченко

Сергей Ошаров

11 класс

Другие... от слова «друг»

Вы, наверное, будете не слишком опечалены, узнав, что ветер перемен настиг-таки мою грешную душу. Уехав из славного городка академиков, я и не подозревал, что локомотив моей судьбы пойдёт именно под этот, далеко не худший, откос. Поясню.

С самого моего детства я чёртов заика. Это меня никогда не смущало, однако же смущало других. Люди никак не хотели идти на контакт с таким нечленораздельным существом. Посему всё время я проводил в неполном одиночестве.

Друзей у меня была одна штука, что в скором времени переросло в полторы, а спустя много лет—в две. Поясню.

Мой старый добрый друг слегка от меня отдалился, с тех пор как я начал общаться с «ботаником». Затем, придя в лицей, я нашёл ещё одного индивида с незаурядными способностями. О нём и пойдёт речь, но не сейчас.

По сказанному выше можно догадаться, что я чувствовал себя одиноким. Однако менять себя не хотел. Мир! Мир несправедлив ко мне. Я достоин лучшего. Слышите, лучшего! Ну и всё такое. В общем, я был оскорблён Бытием.

Учился я тоже плохо, так как отвечать не любил, а слушанием многого не добьёшься. С девушками также был непорядок, хотя они меня раньше не интересовали, ибо я был мал, а сейчас девушки мне не нужны, ибо я имел неосторожность влюбиться.

Так что будем считать, что Бытие, а также друзья, учёба и девушки мирно проплыли перед моим носом, что я и счёл оскорбительным. Глупо, но кто же из нас без греха?

Скучая за партой, книгами и Мирозданием, я—буквально недавно—обнаружил в Бытии необычайное свойство. Люди—разные. Как я думал раньше? Я—уникум. Я—*индивид*. Все овощи, а я ягода. Все бастарды, а я д'Артаньян. Все пивцо, а я винцо. Ну и так далее.

В общем, картину я обрисовал. Теперь перейдём к товарищу. Мой товарищ—вечно уставший, ибо не ленивый. Я искренне пытаюсь его понять, пускай и странным способом. Вывожу из себя. Непроницаемая стена мирового давления обычно разделяет нас, но в эти моменты я слышу то, что слышу, а не то, что говорят.

Так вот. Товарищ недавно сказал: «Бывает так скучно, что ничего интересного не замечаешь. И вообще, печально так». Месье—большой спорщик и просто ради развлечения затеял полемику. Большую. И был очень прав. Впервые, пожалуй, за всю историю.

Когда смотришь на людей, они кажутся одинаковыми. Почему? Потому что ты ищешь в них себя. Свои свойства. Именно те, которые отличают тебя от остальных. И находишь. Но почему-то именно их. Поэтому люди кажутся одинаковыми, ведь видна лишь одна сторона человека.

Но стоит поискать людей в себе, как сразу становится ясно, что люди-то эти не так просты, как кажется. Что прост-то как раз ты. Что все люди обладают твоими свойствами, но ты не обладаешь их свойствами. Тогда и чувствуешь себя одиноким. Когда люди перестают быть одним целым, тогда тебя окружает множество частностей. И тут начинаются чудеса. В каждом произведении, которое ты считал никуда не годным, начинаешь находить что-то особое. Музыка. Кино. Живопись. Буквально всё становится тем, что оно есть, и давит на тебя.

Это я, собственно, к чему? Я хочу сказать, что не нужно менять ничего, кроме восприятия. Тогда окажется, что у тебя есть Друг и ещё один Друг, и каждый Друг индивидуален. Их много, но они разные. У тебя есть Знание, которое отличается от Знания других. А твоя Любовь—именно Любовь, а не что-то обыденное и пошлое, а очень даже возвышенное и, главное, уникальное! Даже слова «другие» нет. И каждое мгновение—что-то новое. И каждое мгновение—кто-то новый. И каждое мгновение—Мгновение.

Потерять и найти

Это один из тех вечеров, когда понимаешь, что где-то ломаются жизни, разбиваются сердца и трещат лбы, а ты лежишь и дышишь. Или сидишь и скрипишь суставами.

Если отвлечься от дел—например, затаить дыхание,—то можно услышать далёкий перестук колёс на стыках путей, а пьяный небесный стрелочник вновь всё напутал, и чьи-то поезда сходят с рельс. Но тебя это не касается.

Ты выбежал за чебуреком на пару минут. Машинист не стал тебя ждать. Ты бежал и кричал, кричал, покуда не добежал до края платформы и какая-то грубая сила не оттолкнула тебя назад, на холодный бетонный настил. Это, как ни странно, отрезвило тебя. Ты понял, что заперт на этом вокзале.

Сначала ты бросил чебурек на пол, как самого ненавистного врага, и стал топтать его, топтать изо всех сил, превращая в кашу. В кашу, которой стали твои мысли. На следующие двадцать веков он станет твоим лучшим другом. Только он будет напоминать тебе обо всём том, что покинуло тебя вместе с поездом. О твоём багаже. О попутчиках, с которыми ты уже успел породниться.

«Дни за днями идут, словно утки», и наконец случается чудо.

Ты сидишь и, как обычно, дырявишь взглядом горизонт, слушая, как скрипят суставы левой руки. И вдруг слышишь едва различимый звук, который нарушает привычное течение вещей. Скрип дрезины. С трудом оторвав взгляд от самой интересной точки пространства, которую ты смог найти за две тысячи лет, со скрипом поворачиваешь голову налево. И видишь Её. Ангела, который с трудом качает рычаг. Ты вскакиваешь и на деревянных ногах, путаясь в полах своего пальто, бежишь к ней, спрыгиваешь с платформы, продираешься сквозь заросли чертополоха, теперь уже никакая сила не способна тебя удержать — и наконец ты на дрезине. Спокойно и мягко отодвигаешь Её от рычага и начинаешь размеренно качать его, приводя механизм в движение. Ты нашёл своего Ангела, тебе уже ничего не грозит.

В дороге вы мило разговариваете и совсем не замечаете бега времени, а оно неумолимо — и вот вы догоняете поезд и, сев на него, продолжаете свой вечный полёт в бесконечности.

Сны о чём-то главном

Яков Колесников

9 класс

В мире много необъяснимого, и одно из них — сон, удивительное явление в жизни человека… Один знаменитый поэт сказал: «Как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть…»

Сон — такая вещь, детали которой можно разъяснить, лишь угадывая, отчасти даже выдумывая.

С одной стороны, во сне человек всего лишь восстанавливает силы перед очередным трудовым днём; с другой стороны, во сне душа странствует по неизведанным мирам, получая знания, которые проявляются в разных ситуациях, так что сам человек даже не понимает, откуда они в нём.

Сна очень не хватает современным людям, какая-то часть человечества вообще разучилась спать. Сон — единственная грань, связывающая современного человека с миром потусторонним. Люди не спят, не дают душе развиваться, и она деградирует. А на что люди тратят время? На разные глупости, игры, документы, конференции и прочее…

Некоторые люди умеют предугадывать по снам ещё не произошедшие события, во снах иногда нам даются ценные советы, а то и уроки, которые необходимо усвоить.

Мне довольно часто снятся сны. Проснувшись, я всегда заново прокручиваю сон в голове, пытаясь осознать. Так, я стал замечать, что события, переживаемые мной, я уже видел когда-то. В эти моменты я понимаю, что это благодаря снам.

Лидия Колохматова

8 класс

Почему во сне мы можем бывать в других городах, летать и даже общаться с мёртвыми? Все те картины, которые приходят к нам во сне, — наши желания, игры разума или что-то ещё?..

Возможно ли, что, когда мы спим, мы действительно находимся на какой-то неизвестной территории, которая позволяет видеть многое, неизвестное и странное, о чём наяву мы могли и не догадываться? А может, это наша последняя ещё не потерянная связь с космосом? Вероятно ли то, что все эти картинки приходят к нам из какого-то неизведанного мира? Что сон есть вход в пространство, в мир, абсолютно различный с нашим, и что мы, люди, проживаем две жизни? И если это возможно, то что есть реальность?..

Сон — наравне с Адом и Раем — Terra incognita…

Заравшан Джафарова

8 класс

Мечты есть у каждого… Но не у меня. Я никогда не мечтала ни о чём, существовали лишь цели, воплощению которых я отдавалась сердцем, душой и умом. А может, мои сны и есть мои мечты? Эта мысль зародилась у меня однажды июльским солнечным утром, после необычного сна…

…Египет, эпоха античности и… я! Жара, ступни скользят по золотому горячему песку пустыни, лёгкое шёлковое платье до пят, змеёй обвивая тело, чуть касается песка…

Зной, всех вокруг одолевает жажда…

«Где пирамиды? Где? Где? Где?» — вопрошаю я каждого прохожего. Они были другими, не похожими на меня. Все были одеты в белое, а я в синее; ярко украшенный усх обвивал шею и плечи каждого. Но, увы, никто не желал помочь маленькой чужестранке, никто не понимал меня…

Отчаявшись, я побежала прочь от них. Всё больше я отдалялась от людей, проникая всё глубже и глубже в дикие просторы египетской пустыни. Вскоре я оказалась не в силах бежать, ноги запутались в подоле длинного платья, я упала на обжигающий песок, подняла голову и увидела… О, чудо! Нет, мои глаза мне лгут… Чудо света — передо мной были пирамиды… А может, это не мираж? Воодушевлённая мыслью, что вот-вот, скоро, окажусь в одной из них, я быстрым шагом устремилась к пирамидам…

Мне оставалось лишь движение, я уже почти коснулась… Но противный будильник прервал момент блаженного счастья!

Увы, больше этот сон мне никогда не снился…

Книжка с ярмарки

(Мысли по поводу)

Книга испанского писателя и иллюстратора Тассиеса «Украденные имена» — об одиночестве ребёнка, которого никогда не зовут по имени, потому что его украли в школе. Эта книга — о проблеме насилия и агрессии в школе.

Ольга Сирко

9 класс

Нас постоянно преследует вопрос: почему? Задаёмся вопросом, а ответ искать бесполезно. У каждого истина своя, а, как практика показывает, правда со стороны человеку не нужна. Многим проще жить в лести и фальшивых улыбках; ну что ж, это их дело. Тассиес затрагивает, на мой взгляд, именно ту самую правду, о которой мало кто хочет знать. Он говорит о боли и страданиях человека в окружающей его враждебной среде. Как больно наблюдать эту мучительную картину, когда против одного идут все по непонятной причине. Опять задаешь вопрос: почему? И снова не находишь ответа. Порой думаешь, что выхода нет, но это не так. Выход есть всегда, просто мы чаще говорим о его отсутствии, когда он нам не нравится. Общество, находящееся в хорошем положении в школе, опровергает факт плохого взаимопонимания. А люди, скажем так, другого круга утверждают обратное. Эти — другие — люди скитаются без цели в атмосфере Земли. И снова возникает вопрос: почему? Только личности, побывавшие в той и другой ситуации, могут сделать какие-то выводы и научиться находить общий язык между двумя непримиримыми лагерями. Именно через общение, при наличии желания, мы сможем понять, *почему* возникли такие диаметрально противоположные взгляды.

Анна Стадник

8 класс

Личность — это отдельный островок мыслей и желаний, который находится в огромном океане человечества; этот «островок» имеет свои мечты и свои надежды. Человек-личность имеет всегда свой взгляд на всё; у всех будет одно решение поставленной задачи, а у него — совершенно другое, это связано с особенным ходом мысли.

Надо учиться быть сильной личностью, отстаивать свою позицию и противостоять чьей-либо критике.

Дарья Джуманиязова

9 класс

Марионетка

Застыл во времени… Не жив и недвижим.
В оковах я рождён и умираю.
Мечтал я вечно быть, как все вокруг, живым,
Но с каждым часом лишь надежду я теряю.
Как мне хотелось воздуха вдохнуть
Иль потеряться в дымке сновидений,
Из тени убежать куда-нибудь
Подальше от других людских творений.
Устал я жить среди чужих грехов,
В углу заброшенном, под слоем серой пыли.
Я жажду скинуть с плеч весь груз моих оков,
Хочу любить, хочу, чтобы меня любили…
Вы, люди, разучились всё ценить.
Считаете, что жизнь подобна клетке…
Глаза откройте, есть ведь смысл жить,
А цену жизни даст марионетка.

стр. 55 **Астафьева Анастасия Викторовна**
Санкт-Петербург, 1975 г. р.

Родилась в Вологде. Писать начала с пятнадцати лет. Автор многих сказок, повестей, рассказов и статей; участник семинаров и совещаний молодых писателей Вологодчины и Северо-Запада. Печаталась в местной прессе, в «Литературной России», в журналах «Нева», «Очаг», «Мир женщины», «День и ночь», «Невский альманах». По детективу «Сети Арахны» в 1998 году на вологодском областном радио был поставлен одноимённый спектакль. Член Союза российских писателей с 2000 года. В 2003 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького (Москва). В настоящее время студентка пятого курса Санкт-Петербургского университета кино и телевидения (киноведение).

стр. 11 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Автор трёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008). Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль). Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 171 **Герман Игорь Викторович**
Минусинск, 1964 г. р.

Окончил Кемеровский государственный институт культуры. С 1985 года работает актёром в театрах Красноярского края, с 1996 года — в Минусинске. Публикации в журналах «Истоки», «День и ночь», в коллективных сборниках.

стр. 170 **Горнов Григорий**
Москва, 1989 г. р.

Студент Литературного института им. А. М. Горького (семинар С. Арутюнова). Публикации в «Литературной газете», в журнале «Студенческий меридиан».

стр. 202 **Гринвальд Анатолий**
Лейпциг, 1972 г. р.

Родился в Семипалатинске (Казахстан). С 1997 года живёт в Лейпциге (Германия). По специальности славист, историк (университет Лейпцига). Три книги стихов. Печатался в журналах «Арион», «Журнал Поэтов», антологии «Освобождённый Улисс», немецком литературном журнале «Poet».

стр. 17 **Дыхно Эрнест Александрович**
Красноярск, 1936 г. р.

Родился в Хабаровске. Отец, полковник Солошенко Владимир Иванович, в 1937 был репрессирован. Трёхлетнего мальчика усыновил Александр Михайлович Дыхно, ставший его заботливым отцом и другом. С детства увлекался спортом, был подающим надежды футболистом. Уже в шестом классе играл за молодёжную команду Махачкалы, а в Красноярске, будучи учеником восьмого класса общеобразовательной школы № 10, играл в составе взрослой команды «Динамо». Был приглашён в сборную футбольную команду Российской Федерации, но из-за травмы спортивная карьера не сложилась. Окончил Сибирский технологический институт. Во время учёбы работал чертёжником, а после окончания — конструктором на Красноярском комбайновом заводе. В 1985 году был приглашён на работу в Опытное конструкторское бюро Московского вертолётного завода им. М. Л. Миля, где работал инженером-конструктором до 1996 года. Был дважды награждён медалью «Ветеран труда» — в Красноярске и в Москве.

стр. 17 **Дыхно Юрий Александрович**
Красноярск, 1940 г. р.

Родился в Хабаровске. Сын выдающегося врача, основателя красноярской школы хирургов Александра Михайловича Дыхно. В 1964 году с отличием окончил лечебный факультет Красноярского медицинского института, а затем продолжил обучение в клинической ординатуре института хирургии им. А. В. Вишневского АМН.

Доктор медицинских наук, профессор-онколог, заслуженный врач РФ, автор девяти монографий, более трёхсот восьмидесяти научных работ, трёх патентов, семнадцати рационализаторских предложений. Красноярской медицинской ассоциацией удостоен награды «Золотой скальпель» как лучший хирург 2000 года. Награждён золотым знаком Красноярска за заслуги перед городом.

стр. 149 **Замышляев Владимир Иванович**
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в Петрозаводске. Детство провёл в Сусанинском районе Костромской области. По окончании средней школы работал на заводе, служил в армии. Окончил Ленинградский институт культуры. По окончании института приехал в Красноярск. Работал директором краевого Дома народного творчества, в краевом управлении культуры, в краевом Совете профсоюзов. В 1978–1983 годах работал директором Красноярского книжного издательства и зам. гл. редактора журнала «Енисей». Окончил Академию общественных наук (Москва). Кандидат философских наук. После академии находился на партийной работе, преподавал в Красноярском институте искусств. С 1991 года — в Сибирском аэрокосмическом университете им. М. Ф. Решетнёва. Автор четырёх поэтических сборников, публицистических книг «Философия выбора» и «Енисей — река свободы», соавтор более двадцати коллективных сборников, альманахов поэзии и книг публицистики. Печатался в журналах «Енисей», «Звезда», «День и ночь», «Книжное обозрение» и др. Профессор СибГАУ, заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей и Союза журналистов России, член-корреспондент Академии гуманитарных наук (С.-Петербург).

стр. 201 **Иноземцева Елена**
Лейпциг

Родилась в Семипалатинске (Казахстан), там же получила образование (художественно-графический факультет Семипалатинского университета). Работала преподавателем, журналистом, художником-постановщиком в театре. С 1998 года живёт в Германии, окончила Лейпцигский университет (славистика, история искусств). Работала журналистом и редактором в русскоязычных газетах и журналах. Организатор литературного объединения «BUTERBROD». Пишет стихи и прозу. Публикации в литературных альманахах в России, Германии, США, Украине.

стр. 3 **Карлова Ольга Анатольевна**
Красноярск, 1957 г. р.

Выпускница Красноярского государственного педагогического института. Кандидат филологических и доктор философских наук, профессор. Автор нескольких литературоведческих и культурологических монографий, а также многочисленных публикаций в региональной и центральной прессе. С 2004 года работает в правительстве Красноярского края. Заместитель губернатора и заместитель председателя правительства Красноярского края.

стр. 49 **Косенков Борис Михайлович**
Калининград, 1934 г. р.

Родился на Украине. Учился на факультете журналистики Киевского госуниверситета имени Т. Г. Шевченко. Окончил военное училище и Военный институт иностранных языков. Более двадцати лет служил в Вооружённых силах — строевой офицер, затем военный журналист. После увольнения в запас работал редактором в книжном издательстве, корреспондентом областной газеты. С 1987 года — на творческой работе. Профессиональный литератор и переводчик. Член Союза писателей России и Союза журналистов РФ. Три сборника стихов, публикации стихов, прозы и переводов в периодике.

стр. 226 **Косяков Дмитрий Николаевич**
Красноярск, 1982 г. р.

Выпускник филологического факультета КГУ, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова, арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра.

стр. 35 **Красиков Михаил Михайлович**
Харьков, 1959 г. р.

Российский поэт, литературовед, этнограф, фольклорист. Родился в учительской семье. Окончил филологический факультет Харьковского государственного университета в 1982 году. Работал в школе, в библиотеке, в Харьковском университете с 1984 по 1989 годы. С 1990 года — доцент кафедры этики, эстетики и истории культуры Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», преподаёт, директор этнографического музея ХПИ «Слобожанські скарби». В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию «Поэтика художественной целостности литературного произведения».

стр. 17 **Крылова (Виленская) Евгения Михайловна**
Красноярск, 1940 г. р.

Родилась в Вильнюсе. Училась в Москве, в музыкальной школе им. Гнесиных. Работала концертмейстером в музыкальных театрах и педагогом в музыкальных школах, параллельно окончила филологический факультет. Была корреспондентом нескольких газет, делала передачи на телевидении. В Красноярске руководила газетой «Гаскала», затем

создала и стала главным редактором «Вестника национального согласия». Автор книги стихов «Созвучия».

стр. 11

Куняев Станислав Юрьевич

Москва, 1932 г. р.

Родился в Калуге. Известный русский поэт, публицист и общественный деятель, главный редактор журнала «Наш современник» (с 1989 года). В 1952–1957 годах учился на филологическом факультете МГУ, где начал писать стихи. Первый поэтический сборник, «Землепроходцы», вышел в 1960 году в Калуге. В 1957–1960 годах работал в Сибири — в газете города Тайшет Иркутской области. В 1961 году принят в Союз писателей России. В 1960–1963 годах заведовал отделом поэзии журнала «Знамя». В 1976–1980 годах — секретарь Московской писательской организации. Был членом секретариата правления Союза писателей России. Автор многих поэтических книг, среди которых — «Метель заходит в город», «Ночное пространство», «Свиток», «Мать сыра земля», «Высшая воля», «Избранное». Лауреат Государственной премии РСФСР имени М. Горького, премии «России верные сыны», Большой литературной премии России. Награждён орденом Ф. М. Достоевского.

стр. 206

Лафани Флориан

Париж, 1979 г. р.

Автор книги прозы «В преисподней». Этот триллер уже переведён на немецкий и румынский языки. В России книга выйдет в 2012 году. Сейчас пишет второй роман. Опубликовал также сборник коротких рассказов о карточной игре «В плену у покера». Недавно закончил свою первую поэтическую книгу «В предчувствии тьмы».

стр. 208

Марковский Борис

Диммельзее, 1949 г. р.

Поэт, переводчик. Родился в Киеве. С 1994 года живёт в Германии. В 2002 году в издательстве «Алетейя» (СПб.) вышла книга стихов и переводов «Пока дышу — надеюсь...», в 2006 году в том же издательстве — книга избранных стихов и переводов «В трёх шагах от снегопада». С 1998 года — главный редактор международного литературного журнала «Крещатик».

стр. 235

Панин Игорь

Москва, 1972 г. р.

Поэт, прозаик, публицист. Родился в Тольятти. До 1998 года жил в Грузии, окончил Тбилисский государственный университет (факультет филологии). Автор нескольких сборников стихов, публиковался в журналах «Континент», «Дети Ра», «Крещатик», «День и ночь», «Нева» и др. Член СП России. Живёт и работает в Москве.

стр. 239

Панкин Борис

Москва, 1966 г. р.

Родился в Карелии. Учился в СПбГУ (факультет прикладной математики — процессов управления). Работал слесарем на радиозаводе, кочегаром, сменным мастером на аварийном участке. Основная профессия — системный администратор UNIX. Долгое время жил в Санкт-Петербурге, в настоящее время проживает в Москве. Публиковался в журналах «Звезда», «Нева», «Дружба народов», «День и ночь», «Зинзивер», в «Литературной газете» и в газете «День литературы», а также в различных альманахах и сборниках.

стр. 143

Переяслова Марина Вячеславовна

Москва, 1954 г. р.

Родилась в Новокуйбышевске Самарской области. В 1976 году окончила факультет иностранных языков (английский и французский языки) Самарского государственного педагогического университета имени М. Горького. Работала учителем, переводчиком, редактором в Самарском областном книжном издательстве, инструктором Самарского областного отделения Всероссийского общества книголюбов, журналистом Самарского регионального выпуска газеты «Комсомольская правда» («„КП“ в Самаре»). Член Союза писателей России, Союза журналистов Москвы и Международной федерации журналистов. С 1997 года живёт в Москве, работает секретарём исполкома Международного сообщества писательских союзов. Лауреат Международной литературной премии им. С. В. Михалкова «Облака». Дипломант премии «Хрустальная роза Виктора Розова».

стр. 183

Райберг Лана

Нью-Йорк

Родилась в Минске. Образование получила в Витебске, где в 1982 году окончила художественно-графический факультет пединститута. Работала воспитателем в детском саду, маляром, чертёжницей, художником-оформителем в строительной организации, дизайнером на телевизионном заводе, преподавателем декоративно-прикладного кружка в Доме культуры железнодорожников, выставляла акварели на городских и республиканских выставках. Сотрудничала с редакцией газеты «Витебский курьер». Эмигрировала из Витебска в США в 1992 году. В Университете искусств Филадельфии преподаёт искусство младшим школьникам. Член Лондонского объединения художников воображения и Бруклинской ассоциации художников. Состоит в Клубе писателей Нью-Йорка, ежегодный автор альманахов эмигрантской прозы «Побережье» и «Арена». Автор нескольких изданных книг и многочисленных журнальных публикаций.

стр. 47 **Скобло Валерий Самуилович**
Санкт-Петербург, 1947 г. р.

Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета в 1970 году. В 1970–2007 годах работал инженером, научным сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор». Многочисленные публикации в области прикладной математики, радиофизики, оптики. С 1993 года член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи, проза, публицистика публиковались в российских и зарубежных изданиях: «День поэзии», «Молодой Ленинград», «Нева», «Аврора», «Невский альбом», «Петербургский час пик», «Невское время» (СПб), «Арион», «Литературная газета» (Москва), «Независимая русская газета», «Колокол» (Англия), «Горизонт», «Новое русское слово», «Слово / Word» (США), «Иерусалимский журнал» (Израиль), «Крещатик» (ФРГ) и др.; в неподцензурных изданиях (1982–1983): антологии «Острова», журнале «Молчание»; стихи для детей — в детском журнале «Чиж и Ёж» (СПб).

стр. 177 **Степанов Евгений Викторович**
Москва, 1964 г. р.

Выпускник факультета иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университета христианского образования в Женеве и аспирантуры факультета журналистики МГУ. Кандидат филологических наук. Литератор, издатель, культуролог. Автор многочисленных журнальных публикаций и нескольких книг стихов и прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий. Генеральный директор издательства и типографии «Вест-консалтинг». Издатель и главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ» и др. Член Союза журналистов Москвы, Союза писателей Москвы, Русского ПЕН-центра. Почётный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка. Президент Международного Союза писателей XXI века.

стр. 237 **Сутулов-Катеринич Сергей Владимирович**
Ставрополь, 1952 г. р.

Родился в Петропавловске. Поэт, журналист, киносценарист, издатель, главный редактор международного поэтического интернет-альманаха «45-я параллель». Окончил филологический факультет Ставропольского государственного педагогического института и сценарный факультет ВГИКА. Автор книг «Дождь в январе», «Азбука Морзе», «Русский рефрен», «Полная невероять», «Райскій адъ. Лю-блюзы» (совместно с Борисом Юдиным). Участник проекта Юрия Беликова «Дикороссы. Приют неизвестных поэтов». Публиковался в российских и зарубежных изданиях: «День и ночь», «У», «Альбион», «Дети Ра», «Зинзивер», «Крещатик», «Новое русское слово», «Новый берег», «Континент», «Трибуна», «Ковчег», «Острова», «Южная звезда». Член Союза писателей XXI века, Союза российских писателей и Союза журналистов России. Лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси — 2007», премии журнала «Зинзивер» (2008), Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2010), конкурса имени Петра Вегина (2010). Трижды становился лауреатом премии имени Германа Лопатина, учреждённой Ставропольским краевым отделением Союза журналистов России.

стр. 204 **Тенятников Сергей**
Лейпциг, 1981 г. р.

Родился в г. Красноярске, учился на инязе в КГПУ им. В. П. Астафьева. С 1999 года живёт в Германии. Выпускник Лейпцигского университета по специальностям: политолог, историк, филолог. Публиковался на русском и немецком языках в Германии. В данное время проживает в Лейпциге.

стр. 157 **Тийду Алексей**
Красноярск, 1976 г. р.

Родился в городе Назарово. В 1999 году окончил СибГТУ (лесохозяйственный факультет, садово-парковое отделение). В 2003 году окончил Красноярский базовый медицинский колледж по специальности «Стоматология ортопедическая». Публиковался в сборнике короткой прозы «Букватория».

стр. 228 **Тригалева Наталья Вассиановна**
Красноярск, 1959 г. р.

Главный специалист Регионального отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Российской академии художеств. Родилась в Красноярске. Окончила Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова (живописно-педагогическое отделение, 1976–1980), Ленинградский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР (факультет теории и истории искусств, 1981–1987). Автор более шестидесяти искусствоведческих публикаций (научные статьи, доклады, статьи в СМИ, каталогах выставок, альбомах и т. п.).

стр. 53 **Фельдман Елена**
Москва, 1989 г. р.

Родилась в Иваново. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького (факультет художественного перевода), также обучалась художественному переводу в семинаре президента Российской гильдии переводчиков В. П. Голышева. Публиковалась в журналах: «Жёлтая гусеница», «Волга — XXI век», «Порт-Фолио», «Листья», «Иностранная литература», «Кукумбер». Участник

Международной конференции переводчиков (Ясная Поляна, 2007), X Форума молодых писателей России, VII Семинара молодых писателей, пишущих для детей (Мелихово, 2010), VII Семинара молодых писателей, пишущих для детей (Карабиха, 2011). Член Байроновского общества.

стр. 112 Хабибулин Юрий Далилевич

Белгород, 1953 г. р.

Родился в Минусинске Красноярского края. Окончил Грузинский политехнический институт в Тбилиси по специальности «Автоматика и телемеханика». Работал научным сотрудником в системе Академии наук, инженером в технических НИИ, КБ, медицинском институте, лечебных учреждениях, университетах, в сотовой связи, преподавателем по компьютерной технике и программному обеспечению, редактором газеты. Автор двадцати научных работ и изобретений. Награждён нагрудным знаком «Изобретатель СССР». Участвует в работе литературной студии Белгородского регионального отделения Союза писателей России с 2004 года. Рассказы, повести, сказки и отрывки из романов публиковались в литературных журналах «Наш современник», «Звонница», «РБЖ-Азимут», «Белые кручи», «Искусство войны», в литературно-художественных сборниках «Аэлита», «Солнце чужого мира», «Звёзды Внеземелья — 2008», «Звёзды Внеземелья — 2009», «Слово — слову». Автор двух изданных книг: сборника рассказов «Там, где вечно бродит тайна…» и повести «Улыбка чёрной мамбы».

стр. 195 Черенцова Ольга

США

Прозаик и художник. Родилась и выросла в Москве, в семье кинорежиссёра и художницы-модельера. Публиковалась в журналах «Юность», «Кольцо „А“», «Литературная учёба», «Волга — XXI век», «Молодой Петербург», «Чайка», «Новый журнал», «Новый берег», «Побережье», «Слово/Word» и др. Также публиковалась в журналах и книгах по искусству в США: «New Art International», «Literal Latte», «Manhattan Arts» и др. Автор книги «Двойник» (издательство «Луч» / «Литературная учёба» / , Москва, 2009).

стр. 51 Шабалин Сергей

Москва — Нью-Йорк, 1961 г. р.

Родился в Москве. В конце семидесятых эмигрировал вместе с семьёй в США. Окончил нью-йоркский художественный колледж «Center for the Media Arts». По профессии — художник-оформитель. Работал корреспондентом ежедневных газет России и Америки. Автор трёх поэтических сборников. Член Союза писателей Москвы. Стихи публиковались в журналах «Континент», «Новая Юность», «Арион», «Слово / Word», «Время и мы» и др.

стр. 132 Шалыгина Нина Александровна

Красноярск, 1934 г. р.

Выпускница Московского историко-архивного института, Московского института патентоведения и Московского информационного института. Работала архивариусом, руководила Зеленогорским (Красноярского края) городским отделом культуры. Была заместителем начальника штаба ударной комсомольской стройки «Сибволокно», внештатным корреспондентом красноярских СМИ. Руководила зеленогорским литературно-музыкальным объединением «Родники». Автор двенадцати поэтических сборников и шести книг прозы. Дипломант нескольких краевых творческих конкурсов. Член Союза российских писателей.

стр. 124 Шейхова Мариян (Муслимова Миясат Шейховна)

Махачкала, 1960 г. р.

Родилась в селе Убра Лакского района, Дагестан. Получила филологическое и юридическое образование. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы Дагестанского государственного университета. Заместитель министра образования и науки Республики Дагестан. Член Союза журналистов РФ, Союза российских писателей. Стихи начала писать в 2005 году. Автор поэтической книги «Ангелы во крови», посвящённой трагедии в Беслане (2006), а также сборников стихов «Наедине с морем» (2009), «Диалоги с Данте» (2010), «Ангел на кончике кисти» (2011). Автор литературных переводов народных эпических сказаний «Парту-Патима» (2011), а также сборника публицистики «Испытание свободой» (2009). Пишет стихи на русском, некоторые произведения переведены на лакский, грузинский, осетинский языки. Лауреат республиканской литературной премии им Р. Гамзатова, дипломант международного литературного конкурса им. Я. Корчака, номинант премии имени А. Сахарова во всероссийском конкурсе «За журналистику как поступок», победитель международного литературного конкурса «Золотая строфа».

стр. 212 Шторн Евгений

Испания, 1983 г. р.

Родился в Чимкенте (Казахстан). Переводчик-испанист, театральный режиссёр. В 2008 году стал членом труппы и педагогом в «Nexo Teatro» (Бильбао, Испания). В журнале «Современная драматургия» впервые на русском языке в его переводах были опубликованы пьесы мадридского авангардного Неотложного театра. В журнале «Нева» опубликованы пьесы «Любовные письма к Сталину» современного испанского драматурга

Хуана Майорги и «Хранитель Эрмитажа» перуанца Эрбера Мороте. «Вестник Европы» издал перевод пьесы классика испанского театра Альфонсо Састре «Последние дни Иммануила Канта». В настоящее время рядом журналов России и ближнего зарубежья приняты к публикации новые переводы, среди которых «Нездоровые» Антонио Аламо, «Достоевский отправляется на пляж» Марко Антонио де ла Парры. В 2011 году статья Евгения Шторна «Трансатлантический перелёт «Чайки». Аргентинская версия канонической русской пьесы» стала одним из лауреатов конкурса молодых учёных Института Латинской Америки Российской академии наук.

стр. 241

Юшманова Варвара

Красноярск, 1987 г. р.

Поэт, журналист. Родилась в Братске. Окончила Ульяновский государственный университет по специальности «Журналистика». Студентка второго курса Литературного института им. А. М. Горького. Публиковалась в сборниках «Братск—Пушкину», журнале «Волга—XXI век» (Саратов), газете «Вестник» (Ульяновск).

главный редактор

Марина Саввиных

заместители главного редактора

по прозе

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

по поэзии

Александр Щербаков

Сергей Кузнечихин

дизайнер-верстальщик

Олег Наумов

корректор

Андрей Леонтьев

редакционная коллегия

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Марина Москалюк
Красноярск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Марина Переяслова
Москва

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Тарковский
Бахта

Владимир Токмаков
Барнаул

Вероника Шелленберг
Омск

издательский совет

О. А. Карлова
Заместитель председателя
правительства Красноярского края

А. М. Клешко
Заместитель председателя
Законодательного собрания
Красноярского края

Е. Г. Паздникова
Министр культуры
Красноярского края

Т. Л. Савельева
Директор Государственной
универсальной научной
библиотеки Красноярского края

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное сообщество писательских союзов.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использована картина Алексея Беды.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

издатель

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН 2463042749
Расчётный счёт 40702810500600000186
в Красноярском филиале «Банка Москвы»
в г. Красноярске.

БИК 040407967
Корреспондентский счёт 30101810000000000967

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru или по адресу: 660028, Красноярск, а/я 11937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 6.04.2012

Тираж: 1500 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 2941577

Нерест | 90 × 90 | холст, масло

Охота на рыбу | 120 × 120 | холст, масло

В следующем номере

«У «ящеров», обосновавшихся в России, имелись и конкуренты—герпы, «змеелюди», также прибиравшие к рукам государственные и коммерческие структуры. До войн не доходило, однако противостояние было напряжённым, и сторонники тех или других часто гибли в дорожных авариях и автокатастрофах. Недаром в земном фольклоре существовало столько легенд и мифов о драконах, змеелюдях и «лохнесских чудовищах», которые уходили корнями в седую древность, когда на Земле начали высаживаться первые полугуманоиды—ящеролюди, змеелюди, птицесапиенсы и прочие нелюди, кстати, воевавшие между собой за право контролировать человечество».

Василий Головачёв
«Сюрприз для пастуха»

«Что же было в нас, молодых и не очень, значительно старше и по возрасту, и по немалому, с этим возрастом накрепко связанному, с кровью давшемуся и с потом, потому и трагичному, опыту, что же было во всех нас, гражданах грандиозной и бестолковой, горячо любимой и всё же страшноватой, режимной страны, в нас, какой-нибудь горстке всего-то правдолюбцев, единомышленников, по сравнению с остальными, с теми, коих не счесть, с другими, тоже гражданами, советскими, правды жаждавшими желанной, справедливости, жизни достойной и свободы, такое особенное, чем разительно, десятилетиями отличались мы почему-то, по своей ведь воле избравшие самиздат средой обитания, светлой областью духа, от прочих всех вокруг, современников наших? Что, скажите, соединило в нас личный выбор и строгий отбор?»

Владимир Алейников
«Вокруг самиздата»

Рассказы ***Александра Астраханцева***, ***Марата Валеева***, ***Ильи Оганджанова***, ***Яна Бруштейна***…

Новые стихи ***Александра Щербакова***, ***Вячеслава Тюрина***, ***Евгении Краснояровой***, ***Александра Петрушкина***, ***Романа Рубанова***…

и многое-многое другое…